

Крым 4 Крым

Крым Крым

Кут
Тамсут

Кнута Тамсун

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ

Редколлегия:

М. КЛИМОВА

А. СЕРГЕЕВ

Ю. ЯХНИНА



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1996

Кнут Тамсун

СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

ПЛОДЫ ЗЕМЛИ

Роман

ЖЕНЩИНЫ У КОЛОДЦА

Роман

Перевод с норвежского



МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1996

ББК 84(4Нр)
Г18

KNUT HAMSON
1859—1952

Составление
Ю. Яхниной

Комментарии
А. Сергеева

Оформление художника
А. Лепятского

Федеральная программа
книгоиздания России

В книге использованы репродукции с картин
норвежских художников Э. Мунка, Я. Хейберга и Т. Эриксона

ISBN 5-280-02133-4 (Т. 4)
ISBN 5-280-01700-0

© Составление. Яхнина Ю. Я. 1996 г.
© Комментарии. Сергеев А. В. 1996 г.
© Перевод. Белокрыницкая С. С. 1996 г.
© Перевод. Рождественский О. В. 1996 г.

Плоды земли

РОМАН

Перевод под редакцией
Н. Федоровой

MARKENS GRØDE

1917



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Длинная, длинная тропинка стелется по болотам и уходит в леса—кто проложил ее? Мужчина, первый попавший сюда человек. До него здесь тропинки не было. Потом, одно за другим, прошли по неясным следам на мочажинах и болотах животные, и следы стали отчетливее, а там, один за другим, пронюхали о тропинке лопари и стали ходить по ней, когда им нужно было перебраться с горы на гору, чтоб проведать своих оленей. Так и образовалась тропинка чрез обширную пустошь, никому не принадлежавшую, бесхозяйную землю.

Человек идет на север. Он несет мешок, в нем съестные припасы да кое-какие инструменты. Человек крепок и груб, у него рыжая, жесткая, словно железная, борода и мелкие рубцы на лице и руках; где он заполучил эти шрамы—на работе или в бою? Может быть, он бежал от наказания и скрывается, может быть, он философ, ищет покоя и тишины, но как бы то ни было, он идет—человек среди этой огромной пустыни! Он все идет и идет, вокруг не слышно ни птиц, ни зверей, изредка бормочет он про себя какое-нибудь слово; «О-ох, Господи!»—говорит он. Миновав болота и выйдя на приветливую открытую полянку в лесу, он опускает на землю мешок и принимается бродить кругом, исследуя местность, немного погодя возвращается, вскидывает мешок на спину и идет дальше. Так продолжается весь день, он следит время по солнцу, спускается ночь, и он бросается в вереск, положив под голову руку.

Проходит несколько часов, и он снова отправляется в дорогу. «О-ох, Господи!»—он идет прямо на север, следит время по солнцу, закусывает сухой лепешкой с козым сыром, пьет воду из ручья и продолжает свой путь.

И этот день тоже уходит на странствие, потому что в лесу много уютных полянок и все их надо исследовать. Чего он ищет? Места, земли? Должно быть, он выходец из города, глаза у него начеку, и он внимательно глядит вокруг, иногда взбирается на пригорок и что-то высматривает. Вот и опять садится солнце.

Он шагает по западному склону длинной балки, поросшей смешанным лесом, здесь и лиственный лес, и луговинки, так тянется часами, темнеет, но вот он слышит тихое журчанье речки, и это слабое журчанье подбадривает его, как присутствие чего-то живого. Поднявшись на возвышенность, он видит внизу погруженную в сумерки долину, а дальше к югу — небо. Он укладывается спать.

Утром перед ним расстилается вольный ландшафт: лес и луговина, — он спускается в дол по зеленому откосу, далеко внизу видит излучину речки и зайца, который одним махом перескакивает через нее. Человек кивает головой, будто так и нужно, чтобы речка была не шире заячьего прыжка. Сидевшая на яйцах куропатка внезапно срывается у него из-под ног и сердито клохчет, человек снова кивает, оттого, что здесь есть звери и птицы — это тоже хорошо! Он бродит по чернике и бруснике, по зубчатолистным кустикам седмичника и мелким папоротникам; останавливается то тут, то там, ковыряет железкой землю и находит в одном месте чернозем, в другом — болото, удобренное многовековым листопадом и древесным перегноем. Человек кивает головой: здесь он поселится, да, так он и сделает, поселится здесь! Два дня ходит он по окрестностям, но вечерами возвращается к тому же откосу. Ночи спит на подстилке из лапника; он уже так освоился здесь, что даже устроил себе постель из лапника под выступом горы.

Самое трудное было найти место, не чье-нибудь, но его; и теперь дни стали заполняться работой. Он принялся срезать бересту в окрестных лесах, пока в деревьях еще бродил сок, клал бересту под гнет и сушил, а когда накапливалась большая куча, относил в село за много миль и продавал на постройки. Домой же, к откосу, приносил новые мешки с припасами и инструментом, муку, свинину, котел, лопату, ходил по тропинке туда и обратно, и все носил и носил. Прирожденный носильщик, он сновал по лесу, как паром между берегами; казалось, ему нравится выпавший на его долю жребий: много ходить и много носить, будто без ноши на спине жизнь была ленива и совсем ему не по душе.

Однажды он пришел, как всегда, с тяжелой ношей и, кроме того, притащил на веревке двух коз и молодого козла. Он радовался, глядя на своих коз, словно то были коровы, и ласкал их. Проходил мимо первый чужой человек, бродячий лопарь, увидел коз и понял, что попал к человеку, осевшему здесь.

— Ты насовсем тут останешься? — сказал он.

— Да, — ответил человек.

— Как тебя зовут?

— Исаак. Нет ли среди твоих знакомых работницы для меня?

— Нет. Но я поговорю там, куда иду.

— Поговори! Скажи, что у меня есть скотина, а ходить за ней некому.

Стало быть, Исаак; лопарь скажет и это, поселенец не беглый, он назвал свое имя. Он — беглый? Так его мигом бы отыскали. Он просто неутомимый работник, запасал на зиму корм для своих коз, начал расчищать землю, разделять поля, оттащивал камни, складывал из камней ограду. К осени он смастерил себе жилье, землянку из дерна, она была теплая, не пропускала воду, она выдержит бурю и не сгорит в огне. Он может войти в это жилище, затворить дверь и сидеть там у себя, может стоять полновластным хозяином на пороге, когда кто-нибудь проходит мимо. Землянка разделена на две половины, в одном конце жил он сам, в другом — скотина, в глубине, под выступом скалы, он устроил сеновал. Все было под рукой.

Идут мимо еще двое лопарей, отец с сыном, они останавливаются, опершись обеими руками на свои длинные посохи, и смотрят на землянку, на расчищенное место, слышат козьи колокольчики на косогоре.

— Здравствуй, — говорят они, — видать, знатные люди пожаловали в эти края! — Лопари ведь всегда льстят.

— Не знаете ли вы работницы для меня? — отвечает Исаак. У него только одно это на уме.

— Работницы? Нет. Но мы поговорим.

— Будьте так добры! Скажите, что у меня есть дом, и земля, и скотина, но нет работницы, так и скажите.

Он и сам искал работницу всякий раз, когда относил в село бересту, но так и не нашел. Одна вдова да две пожилые девицы посмотрели на него, а пойти с ним не решились; отчего так вышло, Исаак не понимал. Неужели не понимал? Кому охота служить у одинокого мужчины в дальних местах, за много верст от людей, в целом дне

пути от ближайшего жилья! Да и сам мужчина-то вовсе не отличался красотой или приятностью, совсем даже наоборот, а уж когда говорить начинал, то совсем не походил на тенора с возведенными к небесам глазами, а был звероват и груб голосом.

Приходилось, значит, оставаться одному.

Зимой он мастерил большие деревянные корыта, продавал их в селе и носил домой, в снег и вьюгу, мешки с едой и всяким инструментом; трудные были дни, он чуть ли не примерзал к ноше. Так как он держал скотину и ходил за нею сам, то оставлять ее надолго он не мог — и что же он тогда придумал? Голь на выдумку хитра, ум у Исаака был сильный и свежий, он упражнял его все больше и больше. Во-первых, перед уходом из дому он выпускал коз на волю, чтоб они подкормились ветками в лесу. Но придумал и другое: вешал у реки большую деревянную посудину так, что вода, капая по капле, наполняла ее за четырнадцать часов. Полная до краев, посудина под тяжестью воды опускалась, а при этом тянула веревку, соединенную с сеновалом, там открывался люк, и падали три вязки сена: животные получали корм.

Вот как он действовал.

Остроумная выдумка, прямо-таки Божье внушение, и человек выпутался из беды. Все шло хорошо до поздней осени, но вот выпал снег, потом зарядил дождь, и опять пошел снег, снег шел не переставая, механизм стал давать сбой, посудина наполнялась талым снегом, и люк открывался прежде времени. Человек прикрыл посудину, некоторое время все опять было ладно, но когда наступила зима, водная капля замерзла, и приспособление перестало работать.

Тогда козам, как и самому человеку, пришлось обходиться без еды.

Тяжелые дни, человеку надо бы иметь помощника, но помощника не было, и все-таки он не растерялся. Продолжал работать и обустривать свой дом, прорезал в землянке окно, вставил два стекла, в его жизни это был замечательный и радостный день — не надо зажигать очаг, и так все видно, можно сидеть в доме и мастерить деревянные корыта при дневном свете. Все шло к лучшему, ох, Господи! Он никогда не молился по молитвеннику, но мыслями часто обращался к Богу, без этого никак нельзя было обойтись. Звездное небо, шелест в лесу, одиночество, глубокие снега, земные и горные силы —

все это по многу раз на дню возбуждало в нем глубокие и набожные мысли; он был грешен и богобоязнен, по воскресеньям умывался в честь праздника, но трудился, как и всегда по будням.

Пришла весна, он обработал свой маленький участок и посадил картошку. Скота прибавилось, обе козы принесли по паре козлят, с взрослыми и молодняком стало у него семь коз. Он расширил хлев с запасом на будущее и вставил окно на две створки. Становилось светлее и лучше во всех смыслах.

И вот однажды явилась помощница. Она долго бродила взад-вперед по косогору, не отваживаясь подойти; уже за вечерело, когда она насмелилась, пришла все-таки — крупная, кареглазая, дородная и сильная, с большими руками, в лопарских комагах, хотя и не лопарка, и с мешком из телячьей кожи за спиной. На вид, пожалуй, в летах, этак, не в обиду будь сказано, под тридцать.

Чего ей было бояться? Она поклонилась и торопливо промолвила:

— Мне надо за перевал, оттого я и пошла этой дорогой.

— А-а,— сказал мужчина. Он не все понял, она говорила невнятно и вдобавок отворачивала лицо.

— Да,— сказала она.— А путь страсть какой дальний!

— Верно,— ответил он.— Так ты за перевал?

— Да.

— Зачем тебе туда?

— У меня там родня.

— Вот как, у тебя там родня. Как тебя зовут?

— Ингер. А тебя?

— Исаак.

— Вот как, Исаак. Значит, ты здесь живешь?

— Да, здесь вот и живу, сама видишь.

— Пожалуй, тут не плохо,— сказала она одобрительно.

Он был малый не промах и живо смекнул, что пришла она по чьему-нибудь сказу, пожалуй, вышла из дому третьего дня и прямехонько сюда. Может, прослышала, что ему нужна работница.

— Зайди, дай отдых ногам,— сказал он.

Они вошли в землянку, поели ее припасов и попили его козьего молока; потом она сварила кофе, который принесла с собой в склянке. И перед сном они угостились кофе. Он лег, а ночью в нем вспыхнуло желанье, и он взял ее.

Утром она не ушла, не ушла и днем, суетилась по двору, подоила коз, вычистила мелким песком кастрюли и навела в доме чистоту. Она так и не ушла. Ее звали Ингер. Его звали Исаак.

И вот началась для одинокого мужчины новая жизнь.

Правда, жена его говорила невнятно и упорно отворачивалась от людей, стесняясь своей заячьей губы, но не ему на это жаловаться. Не будь этого обезображенного рта, она бы, верно, никогда не пришла к нему, заячья губа была его счастьем. А сам-то он разве уж совсем без порока? Бородатый, коренастый, Исаак походил на страшный мельничный жернов, а мимо окна носился ровно смерч. И у кого еще была такая строгость в лице! Того и гляди рассвирепеет, что твой Варавва. Хорошо, что Ингер от него не убежала.

Она не убежала. Когда он уходил и возвращался домой, Ингер встречала его у землянки, обе составляли одно — землянка и она.

Ему прибавилось заботы о лишнем человеке, но забота оправдывалась: он мог больше бывать вне дома, больше ходить по округе. Во-первых, рядом была река, отличная река, мало того, что красивая с виду, так еще глубокая и быстрая, не какая-нибудь маленькая речонка, текла она, должно быть, из большого озера в горах. Он добыл рыболовные снасти, обследовал реку вверх по течению и однажды вечером вернулся домой с ведром гольцов и горных форелей. Ингер встретила его с изумлением, она была поражена, не знала, что и подумать, она всплеснула руками и сказала:

— Господи Боже милостивый! Ну уж и ты! — Она отлично заметила, что ему нравятся ее похвалы и он гордится ими, а потому прибавила еще несколько лестных слов: мол, никогда она ничего подобного не видала. И как это он умудрился!

И в других отношениях Ингер была тоже хоть куда. Правда, ума в голове у нее не бог весть сколько, однако ж у кого-то из родных остались две ее овцы с ягнятами, и она привела их. Сейчас это было самое что ни на есть нужное в землянке — овцы с шерстью и ягнятами, целых четыре штуки; скота становилось все больше и больше, вот уж поистине задачка, и диво, до чего быстро он рос в числе! В другой раз Ингер принесла кое-что из платья и всякой мелочи: зеркало, нитку красивых стеклянных бус, чесалки для шерсти и прялку. Ну, если этак и дальше

пойдет, скоро вся землянка будет набита от пола до потолка, им самим места не хватит! Исаак, ясное дело, радовался этим земным благам, но, по своей обычной молчаливости, был и на этот раз скуп на слова; шмыгнул к порогу, глянул, какова погода, и шмыгнул обратно. Да, можно сказать, ему здорово повезло, и он чувствовал все большую и большую влюбленность, влечение, или как это там ни назвать.

— Довольно уж тебе хлопотать! — сказал он.

— У меня в одном месте осталось еще больше этого. А еще у меня есть дядя Сиверт, слышал про него?

— Нет.

— А он богач. Общинный казначей в нашем селе.

От любви умный глупеет — Исааку захотелось на свой лад сделать ей что-нибудь приятное, и он явно перестарался.

— Вот что я тебе скажу, — сказал он, — не ходи-ка ты окучивать картошку. Я сам займусь этим вечером, как приду домой.

С этими словами он взял топор и ушел в лес.

Она слышала удары его топора в лесу, совсем недалеко от дома, и по треску догадывалась, что он валит крупные деревья. Послушав некоторое время, она пошла на поле и принялась окучивать картошку. Глупый от любви умнеет.

Вечером он вернулся, волоча за собой на веревке огромное бревно. Грубый и простодушный, Исаак шумно возился с бревном, топотал и кашлял, лишь бы она вышла и подивилась на него.

— Да ты совсем спятил! — и в самом деле воскликнула она, идя ему навстречу. — Человек ты или нет?!

Он не ответил. Чего там! Невелика штука справиться с бревном, стоит ли и говорить об этом!

— А на что тебе эта лесина? — спросила она.

— Да и сам не знаю, — небрежно ответил он.

И тут он увидел, что она уже успела окучить картошку и, стало быть, в усердии почти сравнялась с ним. Это ему не понравилось, он отвязал веревку от бревна и пошел с ней куда-то.

— Опять уходишь? — спросила она.

— Да, — сердито ответил он.

Он вернулся со вторым бревном, но на этот раз не пыхтел и не шумел, а подтащил его, как вол, к землянке и положил на землю.

За лето он перетаскал к землянке много бревен.

Однажды Ингер опять собрала припасов в свою телячью сумку и сказала:

— Пойду проведать своих.

— А-а,— молвил Исаак.

— Да, надо потолковать с ними кое о чем.

Исаак не сразу пошел проводить ее, а порядочно помедлил. Когда же он наконец вышел за дверь, отнюдь не выдавая своим видом любопытства и тяжелых предчувствий, Ингер уже едва виднелась на опушке леса.

— А ты вернешься? — крикнул он, не в силах совладать с собою.

— Неужто не вернусь! — отозвалась она. — Придумаешь тоже!

— А-а.

И вот он опять остался один, о-о-х, Господи! Не ему, полному сил и жадному на работу, расхаживать по землянке и зря топтаться на месте, и он принялся за дело: стал ворочать бревна, обтесывать лесины с обеих сторон. Проработал до вечера, потом подоил коз и лег спать.

Пусто и тихо в землянке, тяжким молчанием веет от дерновых стен и земляного пола, глубоко и серьезно ощущает он свое одиночество. Но прялка и чесальные доски стоят на своем месте, и бусы на нитке лежат, аккуратно припрятанные на полке под потолком. Ингер ничего не унесла с собою. Но на Исаака по дурости напал в белую летнюю ночь страх темноты, и ему чудится, что бог знает кто крадется под окном. Часа в два, судя по свету, он встал и позавтракал, уплел огромный горшок каши на весь день, чтобы не тратить время на новую стряпню. И до вечера поднимал целину, вприбавок к картофельному полю.

Три дня он попережку тесал бревна и копал землю — авось Ингер придет завтра. Не дурно бы припасти рыбы к ее возвращению, вот он и решил пойти к ней навстречу не напрямик через скалы, а кружным путем, мимо рыбалки. Он забрался в незнакомые места в скалах, тут и там высились серые горы и темно-бурые горы и валялись мелкие камни, тяжелые, словно из свинца или меди. В этих темных камнях, наверно, много добра, может, и золото есть, и серебро, он в этом ничего не смыслил, и ему было все равно. Он спустился к реке, рыба хорошо клевала ночью под звенящим комарами небом, опять набралось целое ведро гольцов и форелей, пусть-ка Ин-

гер посмотрит! Возвращаясь утром тем же кружным путем, каким и пришел, он прихватил с собой два тяжелых камня со скалы, они были коричневые, с темносиними крапинками, и очень тяжелые.

Ингер не вернулась. Пошли уже четвертые сутки. Он подоил коз, как в те времена, когда жил с ними один и некому было этим заняться, потом отправился к каменной россыпи и натаскал во двор большие кучи камней для ограды. У него было много грандиозных планов.

На пятый вечер он лег спать с подозрением на сердце, впрочем ведь прялка и чесальные доски остались дома, да и бусы тоже! По-прежнему пусто в землянке, ни звука, часы тянутся бесконечно медленно, и когда со двора послышался какой-то топот, он подумал, что это ему только почудилось.

— О-ох, Господи! — вздохнул он в своей заброшенности, а такие слова Исаак никогда не произносил просто так.

Однако топот послышался снова, а немного спустя под окнами что-то промелькнуло, что-то такое с рогами, что-то живое. Он вскочил, метнулся к двери и увидел призрак.

— Бог или сатана! — пробормотал он, а такие слова Исаак произносил только в крайности. Он увидел корову, Ингер и корову, обе исчезли в хлеву.

Если б он не стоял в эту минуту на пороге и не слышал собственными ушами, как Ингер тихонько разговаривает в хлеву с коровой, он ни за что бы не поверил самому себе, но вот ведь стоит же он! В ту же секунду его охватило дурное предчувствие: спаси ее Господь, что ни говори, она необыкновенная, ну просто замечательная женщина, но что чересчур, то уж чересчур. Прялка и чесальные доски — куда ни шло, бусы уж больно красивые, ну да бог уж и с ними! Но корова, которую она нашла, может быть, где-нибудь на дороге или в загоне, — ведь хозяин непременно хватится ее и обязательно разыщет.

Ингер вышла из хлева и сказала, горделиво улыбаясь:

— А я привела свою корову!

— А-а, — ответил он.

— Меня не было так долго, потому что с ней нельзя быстро идти по горам. Она стельная.

— Так ты привела корову? — спросил он.

— Да, — ответила она, чувствуя потребность поговорить от сознания своего богатства. — Не думаешь же ты, что я вру! — прибавила она.

Исаак опасался самого худшего, но остерегся высказать свои подозрения и проговорил только:

— Поди поешь.

— Ты видел ее? Разве не красавица?

— Замечательная. Откуда она у тебя? — спросил он со всем равнодушием, на какое был способен.

— Ее зовут Златорожка. И чего это ты вздумал класть ограду? Уморишь себя работой, тем оно и кончится. Пойдем же, поглядим корову!

Они пошли в хлев, Исаак был в одном нижнем белье, но это ничего не значило. Они со всем тщанием осмотрели корову: все отметины, голову, вымя, крестец, бока — коричневая с белым, тощая.

Исаак осторожно спросил:

— Как думаешь, сколько ей лет?

— Сколько? — отозвалась Ингер. — Аккурат пошел четвертый год. Я сама ее выхаживала, и все, кто ее ни смотрел, говорили, что сроду не видали такого умного теленка. Как по-твоему, хватит у нас для нее корму?

Исаак начинал верить в то, во что ему так хотелось верить, и заявил:

— Что касаясь до корма, так корма для нее хватит!

Они вернулись в землянку, поели, попили, посидели. Улеглись спать, разговаривали о корове, о великом событии:

— Разве не красивая корова? Скоро у нее будет второй теленок. А зовут ее Златорожка. Ты спишь, Исаак?

— Нет.

— Слышь-ка, она сразу меня признала и пошла за мной, словно ягненок. Мы с ней часок поспали ночью в горах.

— А-а.

— Придется все лето держать ее на привязи, а то ведь убежит, потому что корова — она корова и есть.

— Где же она была раньше? — спросил наконец Исаак.

— У моих родных. Они не хотели отдавать ее, а ребяташки заплакали, когда я ее повела со двора.

Не может того быть, чтоб Ингер умела так замечательно лгать! Значит, она говорила правду, и корова — ее собственная. Теперь на усадьбе, во дворе стало одним важным обзаведеньем больше, все у них теперь есть, можно сказать — ни в чем недостатка! Ох уж эта Ингер, он любил ее, и она отвечала ему взаимностью, они были неприхотливы, жили в век деревянных ложек и были счастливы. «Пора спать!» — думали они. И засыпали.

Наутро просыпались для нового дня, и тут всегда находилось у них то одно, то другое, над чем помаяться, и горе, и радость шли рядом, такова уж жизнь.

Взять хотя бы, для примера, эти бревна — не попробовать ли сложить из них дом? Теперь, бывая в селе, Исаак смотрел в оба и, надумав план постройки, решил поставить сруб. А разве это ему не до зарезу нужно? Во дворе прибавились овцы, прибавилась корова, коз стало много и будет еще больше, скотина уже не помещается в своем отделении в землянке, надо же найти какой-нибудь выход. И уж лучше приняться за дело сейчас, покамест цветет картошка и не начался сенокос. Ингер кое в чем ему пособит.

Ночью Исаак просыпается и встает с постели, Ингер после своего путешествия спит как убитая. Он снова идет в хлев. На сей раз он разговаривает с коровой по-другому, слова не переходят в приторную лесть, он тихонько оглаживает ее, осматривая во всех местах, нет ли где метки, тавра, нанесенного неведомым хозяином. Никакой метки он не находит и уходит из хлева с облегчением.

Вот лежат бревна. Он начинает подкатывать их, поднимает на каменную кладку, ладит проемы для окон, большой для горницы и маленький для клетки. Очень это трудно, он весь уходит в работу, позабывая о времени. Над крышей землянки появился дымок, вышла Ингер и позвала его завтракать.

— Что это ты затеваешь? — спросила она.

— Ты уж встала? — ответил Исаак.

Ох уж этот Исаак, до чего скрытный! Но ему нравится, что она спрашивает, проявляет любопытство и обращает внимание на его затеи. Поев, он не сразу уходит, задержавшись немножко в землянке. Чего он ждет?

— Да что же это я сию! — говорит он, вставая, и прибавляет: — Дел-то ведь хоть отбавляй!

— Дом, что ли, строишь? — спрашивает она. — Неужто не можешь ответить?

Он отвечает из милости, он преисполнен великой гордости оттого, что строит дом и сам со всем справляется, потому и отвечает:

— Ты ведь видишь, что строю.

— Ну да. Так, так.

— Как же не строить? — говорит Исаак. — Вот ты привела ведь корову, надо же ей хлев.

Бедняжка Ингер, Бог не наделил ее таким умом, каким наделил Исаака, свое творение. Да и было это все

еще до того, как она узнала его как следует, научилась понимать его манеру говорить. Ингер сказала:

— Но ведь ты же строишь не хлев?

— Нет,— ответил он.

— Похоже больше, что ты строишь избу.

— По-твоему, так?— сказал он и взглянул на нее с напускным равнодушием, словно удивленный ее мыслью.

— Да. А скотине останется землянка?

Он подумал с минуту.

— Пожалуй, так оно будет лучше!

— Вот видишь,— победоносно проговорила Ингер,— меня тоже не так-то уж просто провести!

— Верно. А что ты скажешь насчет клетки при горнице?

— Клеть? Тогда у нас будет совсем как у людей. Ох, если б все так вышло!

Так оно и вышло. Исаак строил дом, рубил углы и вязал венцы, одновременно складывал очаг из подходящих камней, но эта работа ладилась плохо, и временами он бывал недоволен собой. Когда начался сенокос, ему пришлось оставить стройку, ходить по косогорам и косить траву, огромными копнами приволакивая потом домой сено. Однажды дождливым днем Исаак сказал, что ему надо сходить в село.

— Зачем тебе туда?

— Да я и сам хорошенько не знаю.

Он ушел и пропал двое суток, вернулся с кухонной плитой—словно тяжелогруженная баржа, проплыл он через лес с плитой на спине.

— Да ты просто себя не жалеешь!—воскликнула Ингер.

Исаак разобрал очаг, который так не подходил к новому дому, и поставил на его место плиту.

— Не у всех есть такие плиты,— сказала Ингер.— Господи, помилуй нас, грешных!

Сенокос продолжался. Исаак только и знал, что таскать сено, потому что лесная трава далеко не то, что луговая, а гораздо хуже. Поработать на стройке удалось только в дождливые дни, она продвигалась медленно; к августу, когда все сено было уже убрано, новый дом был доведен едва до половины. В сентябре Исаак сказал, что так дальше не пойдет.

— Сбегай-ка в село и приведи на подмогу работника,— велел он Ингер.

Ингер в последнее время что-то раздалась вширь и уже не могла бегать, но, конечно же, тотчас собралась в дорогу.

Но муж ее вдруг передумал, он снова впал в гордыню, решив, что все сделает сам.

— Незачем беспокоить людей,— сказал он.— Я и один управлюсь.

— Не сдюжишь ты.

— Поможешь мне поднять бревна..

В начале октября Ингер объявила:

— Больше мне немоготу!

Что за досада, нужно ведь непременно поднять стропила, чтоб успеть покрыть дом до осенних дождей, а времени оставалось всего ничего. Что такое стряслось с Ингер? Уж не захворала ли? Изредка она варила козий сыр, но большей частью ее хватало только на то, чтобы по нескольку раз на дню переносить с места на место прикол Златорожки.

— В следующий раз, как пойдешь в село, принеси большую корзину, или ящик, или что-нибудь такое,— как-то попросила Ингер.

— На что тебе?— спросил Исаак.

— Нужно,— ответила Ингер.

Он поднял стропила на веревке, Ингер только подпихивала их одной рукой, но уже само ее присутствие как будто помогало. Дело шло медленно, и хотя крыша была совсем невысокая, но балки чересчур большие и толстые для маленького домика.

Некоторое время держалась ясная осенняя погода, Ингер одна выкопала всю картошку, а Исаак успел покрыть избу до начала затяжных дождей. Козы уже переселились на ночь в землянку к людям, и это не мешало, ничего не мешало, люди не жаловались. Исаак опять собрался в село.

— Принеси же мне большую корзину или ящик!— смиренным тоном снова попросила Ингер.

— Мне надо захватить несколько оконных стекол, которые я заказал,— сказал Исаак,— да еще две крашенные двери,— добавил он важно.

— Ну раз так, придется обойтись без корзины.

— Да на что она тебе?

— На что? Да где же у тебя глаза!

Исаак ушел из дому в глубоком раздумье и вернулся через двое суток, притащив окно, дверь для горницы и дверь для клетки, а сверх того, на груди у него висел

ящик для Ингер, а в ящике — разные съестные припасы. Ингер сказала:

— Дотаскаешься ты когда-нибудь до смерти!

— Ха, до смерти? — Исаак был сейчас настолько далек от недавних мыслей о смерти, что вынул из кармана аптечный пузырек с нефтью и дал Ингер с наставлением усердно лечиться ею, чтоб поправиться. А к тому же теперь у него были окна и крашеные двери, которыми можно заняться, и он тотчас бросился их прилаживать. Ну что за двери: подержанные, правда, но заново выкрашенные красной и белой краской, они гляделись в доме, словно картинки.

Они перебрались в новый дом, а скотина расселилась по всей землянке; одну овцу с ягненком оставили при корове, чтоб той было не так скучно.

Да, много чего достигли поселенцы в этих пустынных краях, просто чудо как много.

III

Пока земля не промерзла, Исаак выбирал из нее камни и очищал от корней, ровнял луг на будущий год; когда ударил мороз, он стал ходить в лес и усердно рубил дрова.

— На что тебе столько дров? — спрашивала Ингер.

— Сам не знаю, — отвечал Исаак, но прекрасно все знал.

Густой нетронутый лес подходил вплотную к строениям, не позволяя расширить площадь под сенокос, а кроме того, Исаак рассчитывал тем или иным способом доставить дрова зимой в село и продать тем, у кого их не будет. Задумка была толковая, Исаак верил в успех, продолжая расчищать лес и рубить его на дрова. Ингер частенько приходила посмотреть, как он работает, а он делал вид, будто ему все равно и вовсе он в ней не нуждается, но она понимала, что доставляет ему удовольствие. Изредка они перебрасывались несколькими словами.

— Неужто тебе нечего больше делать, кроме как приходиться сюда и мерзнуть? — говорил Исаак.

— Мне не холодно, — отвечала Ингер, — а вот ты губишь свое здоровье.

— На-ка надень мою куртку, вон она лежит!

— И надела бы, да некогда мне тут рассиживаться, когда Златорожка собралась телиться.

— Златорожка собралась телиться?

— А ты не слышишь, что ли? Как по-твоему, оставить нам теленка?

— По мне, делай, как хочешь, я не знаю.

— Не след нам есть теленка! Ведь тогда у нас останется только одна корова.

— А я и не думал, что ты за то, чтоб мы съели теленка,— отвечал Исаак.

Одиноким людям, некрасивым и грубым, но сколько доброты друг к другу, к животным, к земле!

И вот Златорожка отелилась. Знаменательный день в безлюдной глуши, огромная благодать и счастье. Златорожке дали вкусного мучного пойла, и Исаак сказал:

— Муки не жалеи!— хотя притащил ее из села на собственном горбу.

Рядом с коровой лежал хорошенький теленок, красавица телочка, тоже красно-пегая, забавно удивленная чудом, которое только что пережила. Через два года она сама станет матерью.

— Из этой телки выйдет чертовски красивая корова,— сказала Ингер,— а я даже не знаю, как бы ее назвать.— Ингер была ну чистое дитя, смекалки у нее всегда не доставало.

— Как назвать?— повторил Исаак.— Сколько ни ищи, а лучше клички, чем Сребророжка, не найдешь.

Выпал первый снег. Как только установился санный путь, Исаак отправился по деревням, ничего по своему обыкновению не объяснив Ингер. Вернулся он с большим сюрпризом— с лошастью и санями!

— Сдается мне, ты не иначе как колдуешь,— сказала Ингер,— ведь не отнял же ты у кого-то лошадь?

— Отнял.

— Может, нашел?

Если б только Исаак мог сказать: моя лошадь, наша! Но он всего лишь взял лошадь на время, чтобы свезти на ней дрова.

Исаак возил в село дрова и возвращался с припасами, мукой, селедкой. А однажды привез в санях быка; он купил его баснословно дешево, потому что в селе уже началась бескормица. Бык был худой, косматый, да и голосом не вышел, но не урод и от хорошего корма должен был оправиться. Племенной бык. Ингер сказала:

— И чего только ты не притащишь!

Да, Исаак притаскивал все, что можно: доски и тес, которые выменял на бревна, точильный камень,

вафельницу, всякие снасти и инструменты, и все это в обмен на дрова. Ингер пыжилась от свалившегося на нее богатства, каждый раз приговаривая:

— Никак еще что-то привез? Теперь у нас есть бык и все-все, что только можно придумать!

И однажды Исаак ответил:

— Больше ничего возить не стану!

Запасов у них теперь хватит на долгое время, они стали зажиточными людьми. Что-то затеет Исаак весной? Сотни раз вышагивал он зимой за своими дровяными возами и вот что надумал: он расчистит место за косогором, вырубит там весь лес, наготовит дров, оставит их сохнуть на лето и зимой будет накладывать на возы вдвое больше дров, чем теперь. Расчет был безошибочный. Сотни раз думал Исаак и о другом—о Златорожке, откуда она взялась, чья была раньше? Нигде не сыскать другой такой жены, как Ингер; бедовая бабенка, податливая и на все согласная; но ведь в один прекрасный день придет кто-нибудь, отберет Златорожку и уведет на веревке. А это может кончиться очень плохо. «Ведь не отнял же ты у кого-то лошадь?»—спросила Ингер. «Может, нашел?»—спросила она. Вот какая была ее первая мысль, она-то не сразу ему поверила, а ему что делать? Вот о чем он все время думал. Да и он хорош, взял да и купил быка для Златорожки, для краденной-то, глядишь, коровы!

А тут подошло время возвращать лошадь. Жалко было, лошадка была маленькая, мохнатая и очень им полюбилась.

— Как-никак, а ты переделал много дел,—сказала Ингер в утешение.

— Время-то идет к весне, когда лошадь мне особенно нужна,—ответил Исаак,—у меня для нее столько работы!

Утром он тихонько выехал из дому с последним возом дров и вернулся только на третий день. Когда он пешком приплелся домой, то уже со двора услышал доносившийся из избы какой-то странный звук и остановился на минутку. Детский плач—о-ох, Господи, что уж тут поделаешь, но все равно, это страшно и удивительно, а Ингер ни словом ни о чем не обмолвилась.

Он вошел, и первое, что бросилось ему в глаза, так это ящик, тот самый, знаменитый ящик, который он притащил домой на своей груди; теперь он свисал на двух веревках с потолка, превратившись в люльку для ребе-

ночка. Ингер возилась, полуодетая, по хозяйству, правда, она уже успела подоить корову и коз.

Когда ребенок перестал кричать, Исаак спросил:

— Ты справилась?

— Да, справилась.

— Так.

— Он родился к вечеру, как ты уехал.

— Так.

— Только я хотела было прибраться и повесить люльку, чтоб все было готово, да насилу успела, потом сразу начались боли.

— Отчего ж ты меня не предупредила?

— Да разве ж я знала, когда! Это мальчик.

— А-а, значит, мальчик.

— Никак не придумаю, как его назвать,— сказала

Ингер.

Исаак увидел маленькое красненькое личико, правильное, без заячьей губы, и головку, густо поросшую волосами. Настоящий здоровый мужичок, вполне соответствующий своему званию и положению в ящике. Исаак был сам не свой, размяк, расчувствовался, перед мельничным жерновом было чудо, оно зародилось когда-то в священном тумане и в жизнь явилось с крошечным личиком, как загадка. Дни и годы превратят это чудо в человека.

— Пойди поешь,— сказала Ингер...

Исаак расчищает лес и рубит деревья на дрова. Теперь не то что вначале, теперь у него есть пила, он пилит дрова, и поленницы растут на глазах, он строит из них улицу, целый город. Ингер теперь больше привязана к дому и не может так часто навещать мужа за работой, зато сам Исаак частенько навещается домой. Надо же, такой смешной маленький мальчишка в ящике! Исааку и в голову не приходит позаботиться о нем, к тому же он пока как есть чурбачок, пусть себе лежит-полеживает! Но разве он не человек, не может он безучастно слышать крик, да еще такой жалобный.

— Нет, нет, не бери его!— говорит Ингер.— У тебя небось руки в смоле!— говорит она.

— У меня руки в смоле? Ты с ума сошла!— отвечает Исаак.— Смолы у меня на руках не было с тех пор, как я поставил этот дом. Дай сюда мальчишку, я его уйму!

— Не надо, он сейчас сам замолчит...

В мае из-за гор к новоселам, поселившимся в глуши, приходит гостья из родни Ингер, она пришла издалека, и принимают ее радушно. Она говорит:

— Пришла посмотреть, как-то живется Златорожке, с тех пор как она ушла от нас!

— А об тебе-то, маленьком, никто и не спросит! — жалобно говорит Ингер малютке.

— Ну-ка, погляжу, какой он у тебя. Вижу, вижу, мальчишка. Лучше некуда! Подумать только, если б год тому назад мне сказали, Ингер, что я разыщу тебя здесь — с мужем, ребенком, с домом и достатком!

— Обо мне и говорить не стоит. Это все он, он взял меня такую, как я была!

— А вы повенчались? Ах, так вы еще не повенчаны!

— Повенчаемся, когда придет время крестить этого мальчика, — говорит Ингер. — Мы бы уж давно повенчались, да все как-то недосуг было. Что скажешь, Исаак?

— Повенчаться-то... ну, понятно.

— Ты не сможешь, Олина, снова прийти к нам в перерыве между полевыми работами присмотреть за скотиной, пока мы съездим? — спрашивает Ингер.

— Отчего же, — обещает гостя.

— Мы тебя отблагодарим.

— Да уж знаю, знаю... Гляжу, вы опять затеяли что-то строить. И что? Неужто вам все мало?

Ингер пользуется случаем и говорит:

— Спроси его сама, мне он не говорит.

— Что я строю? — отвечает Исаак. — Так, пустяковину. На всякий случай сарай строю, вдруг понадобится. А что это ты помянула Златорожку, хочешь посмотреть ее? — спрашивает он гостью.

Они идут в хлев, показывают Олине корову и телку, а бык — бык просто чудо, гостя только головой качает, глядя на скотину и на хлев, — ну надо же, лучше не сыщешь, а уж чистота в хлеву, ну прямо замечательная.

— Я-то знаю, что до ласки и заботливого обхождения со скотиной на Ингер во всем можно положиться! — говорит женщина.

Исаак спрашивает:

— Стало быть, Златорожка раньше жила у тебя?

— Как же, еще телушкой! Правда, не у меня самой, а у моего сына, ну, да ведь это все равно. У нас и посейчас в хлеву живет ее мать!

Давненько не доводилось Исааку слышать более отрадные слова, и на душе у него становится легче, он знает теперь, что Златорожка принадлежит Ингер и ему по праву. И то сказать, он уж было нашел печальный выход из своих сомнений: зарезать по осени Златорожку, выско-

блить кожу, закопать рога в землю и таким образом изгладить всякие следы существования коровы Златорожки в этом мире. Теперь нужда в этом отпала. Он преисполняется гордостью за Ингер.

— Говоришь, чистюля? Другой такой чистюли не сыскать во всем свете! Просто удивительно, как мне повезло, что я раздобыл себе такую работающую жену!

— Да разве иного можно было ожидать! — отвечает Олина.

Эта пришедшая из-за гор женщина по имени Олина, скромная, с негромким голосом, толковая женщина, пробыла у них несколько дней, для спанья ей отвели клеть. Когда она собралась домой, Ингер дала ей немножко шерсти от своих овец, а она почему-то спрятала узелок от Исаака.

Ребенок, Исаак и его жена — мир опять стал прежним, день-деньской в работе, много маленьких и больших радостей: Златорожка хорошо доится, козы принесли козлят и тоже дают много молока, Ингер наварила огромное количество белых и красных сыров и поставила их созревать. Она задумала наделать столько сыров, чтоб купить на них ткацкий станок, — ох уж эта Ингер — и ткать-то она умеет!

Исаак строил сарайчик, у него, видать, тоже был свой план. Он сколотил из двойных досок пристройку к землянке, проделал в ней дверь и оконце в четыре стекла, настлал крышу из горбыля и стал ждать, пока просохнет земля и можно будет нарезать дерну. Все только самое необходимое и нужное — ни пола, ни струганых стен, но зато Исаак смастерил стойло, словно бы для коня, и сколотил ясли.

Май был на исходе. Солнце обсушило пригорки. Исаак покрыл свой сарай дерном — теперь он был полностью готов. И вот однажды утром Исаак наелся на сутки вперед, захватил с собой еще еды, вскинул на плечо мотыгу с лопатой и отправился в село.

— Принеси мне четыре локтя ситцу! — крикнула Ингер ему вдогонку.

— На что он тебе? — отозвался Исаак.

Похоже было, он ушел навсегда; каждый день Ингер смотрела на небо, определяла направление ветра, словно ждала моряка, по ночам выходила во двор и прислушивалась, подумывала даже взять ребенка и пойти разыскивать мужа. Наконец он вернулся с лошадьёю и повозкой.

— Тпр-ру! — громко сказал Исаак, подъехав к самым дверям, и хотя лошадь была смирная и весело заржала, словно почуяв в землянке знакомых, Исаак крикнул в горницу:

— Выйди-ка, поддержи лошадь!

Ингер выскочила во двор.

— Что это? — воскликнула она. — Ах, Исаак, неужто ты опять взял ее взаймы! Да где ж ты пропал столько времени? Ведь нынче пошел шестой день, как тебя нет.

— Где ж мне быть? Пришлось походить по многим местам, прежде чем достал телегу. Поддержи-ка лошадь, говорят тебе!

— Телегу? Да ведь не купил же ты ее?!

Исаак нем, Исаак весь точно налит немотой. Он принимается вытаскивать из телеги плуг и борону, гвозди, съестные припасы, лом и мешок с ячменем.

— Как ребенок? — спрашивает он.

— Ребенку ничего не делается. Так ты, выходит, купил телегу. А я-то только и знаю, что надрываюсь ради ткацкого станка, — говорит она шутливо, обрадовавшись донельзя, что он снова дома.

Исаак опять долго молчит, весь уйдя в свои мысли: куда девать привезенные товары и орудия; по всему видать, не так-то легко найти для них место на дворе. Но когда Ингер перестала выспрашивать его и пустилась вместо того разговаривать с лошадью, Исаак нарушил молчание.

— Ты когда-нибудь видала крестьянский двор без лошади и телеги, без плуга и бороны и без всего, что к ним полагается? А раз уж ты хочешь знать, так я купил и лошадь, и телегу, и все, что в ней лежит, — ответил он.

Ингер только покачала головой да сказала:

— Спаси тебя Христос и помилуй!

А Исаак, он теперь уже не чувствовал себя маленьким и жалким, он словно бы рассчитался с женой за Златорожку, и рассчитался сполна, по-барски: пожалуйста, вот вам от нас — лошадку, да еще за наличные денежки! Его просто обуревала жажда деятельности: он снова схватился за плуг, поднял его с земли, отнес к стене избы и поставил там. Ведь здесь он распоряжается! Потом вытащил из телеги борону, лом, новенькие, только что купленные вилы, все драгоценные земледельческие орудия, истинное сокровище для новосела. Ну что ж, полное обзаведенье, теперь у него есть все, что нужно.

— Гм. Добудем как-нибудь и ткацкий станок,— сказал он,— было б у меня здоровье. Вот тебе ситец, никакого другого, кроме синего, не было.

Он прямо удержу не знал, так и расточал дары. Слово приехал из города.

Ингер говорит:

— Жалко, Олина не видала всего этого, когда была здесь.

Суцая чепуха и женское тщеславие, муж только хмыкнул в ответ на ее слова. Но, конечно, и он тоже ничего не имел против, чтоб Олина увидела все это великолепие.

Заплакал ребенок.

— Ступай к парнишке,— сказал Исаак,— лошадь уж успокоилась.

Он распрягает и ведет лошадь в конюшню — ставит свою собственную лошадь в конюшню! Он кормит, и гладит, и ласкает ее. Сколько он задолжал за лошадь и телегу? Все, всю сумму, за ним огромный долг, но к осени он обязательно расплатится. У него есть на это дрова, немножко прошлогодней бересты и, наконец, порядочный запас хороших бревен. За этим дело не станет. Позже, когда волнение и задор чуть поулеглись в его душе, он пережил много часов горьких опасений и забот, теперь ведь все зависело от лета и осени, от урожая.

Дни уходили на крестьянскую работу, сплошь на крестьянскую работу, он расчистил новые небольшие участки от корней и камней, вспахал, унавозил, заборонил, взмотыжил их и, растирая комья руками, ногами, ухаживая за землей всеми возможными способами, превратил поля в бархатный ковер. Подождал еще день-другой — показалось, как будто собирался дождь, — и посеял ячмень.

Многие сотни лет предки его сеяли ячмень; это было таинство, с благоговением совершаемое в тихий и теплый безветренный вечер, лучше всего непременно к мелкому дождичку и как можно скорее после весеннего пролета диких гусей. Картофель — овощ новый, в нем не было ничего мистического, ничего от религии, его могли сажать и женщины и дети; эти земляные яблоки, вывезенные, как и кофе, из чужих краев, — вкусные и сытные, но сродни репе. Ячмень же — это хлеб, есть ячмень или нет ячменя — это жизнь или смерть. Исаак шагал с непокрытой головой, призывая имя Иисуса, и сеял; он был похож на чурбан с руками, но душой был ровно младенец. Старательно и нежно кидал он в землю пригоршню, был

кроток и смиренен. Ведь прорастут эти ячменные глазки и превратятся в колосья с множеством зерен, и это происходит повсюду на земле, где сеют ячмень. В Иудее, в Америке, в долине Гудбрандсдаль — как же огромен мир, а крошечный кусочек земли, который засеивает Исаак, — в центре всего сущего. Лучистым потоком сыпался ячмень из его ладони, небо, облачное и доброе, предвещало долгий морозящий дождь.

IV

Отсеялись, время шло к сенокосу, а женщина Олина все не появлялась.

В полевых работах наступил перерыв, Исаак приготовил к сенокосу две косы и двое граблей, приделал к телеге высокие борта, чтоб возить сено, смастерил полозья и кой-какие принадлежности для саней на зиму. Много наделал полезных дел. А что до двух полок на стене в горнице, так он и их смастерил, и теперь на них можно было класть разные вещи — и календарь, который он наконец купил, и мутовки, и не бывшие в употреблении поварешки. Ингер утверждала, что эти две полки сущая благодать!

Ингер все казалось благодатью. Вот и Златорожка не порывалась больше убежать, а преспокойно поживала себе с теленком и быком и целыми днями ходила по лесу. Вот и козы нагуляли жиру и чуть что не волочат тяжелое вымя по земле. Ингер сшила длинную рубашку из синего ситца и такой же чепчик, чудо какой хорошенький, это был крестильный наряд. Сам мальчуган лежал тут же и следил глазками за работой; мальчик был хоть куда, и когда она наконец решила назвать его Элесеусом, то и Исаак спорить не стал. Когда рубашка была готова, оказалось, что она на целых два локтя длиннее, чем надо, а каждый локоть ситца стоил денег, но что ж поделаешь, ребенок-то был первенький.

— Если твои бусы когда и могут пригодиться, так именно в этот раз! — сказал Исаак.

Ингер уже и сама о них подумала, о бусах-то, недаром же она была мать и, как все матери, глупая и гордая. На шейку мальчугану бусы не наденешь, но если нашить их на чепчик, будет очень красиво. Так она и сделала.

А Олина все не шла.

Не будь скотины, можно было бы уехать всем вместе и вернуться через три-четыре дня с окрещенным младен-

цем. А не будь этого самого венчания, Ингер могла бы поехать и вовсе одна.

— Не отложить ли нам пока венчание?— сказал Исаак.

Ингер ответила:

— Раньше десяти—двенадцати лет Элесеуса одного дома не оставишь и скотину ему не поручишь!

Ну, значит, надо Исааку что-нибудь придумать. Собственно, все началось как-то без начала, может быть, венчание столь же необходимо, как и крестины, почему он знает. Погода стала поворачивать на засуху, на настоящую знойную сушь; если скоро не выпадет дождь, всходы погибнут, но на все воля Господня. Исаак собрался ехать в деревню, за кем-нибудь. Опять надо было проехать много миль.

И вся эта суматоха ради венчания и крестин! Поистине, у людей, живущих на земле, много хлопот, маленьких и больших.

Но тут пришла Олина...

Теперь они были повенчаны, ребенок окрещен. Они даже позаботились сначала повенчаться, чтоб ребенка записали законным. А сушь продолжалась, солнце жгло маленькие ячменные поля, жгло бархатные ковры муравы, а за что? На все воля Господня. Исаак скосил свои лужки, травы с них набралось совсем немного, хотя весной он их и унавозил; он выкосил косогоры и дальние луговины, он не уставал косить, сушить и возить домой сено, потому что у него была лошадь и большое стадо. А в середине июля пришлось скосить на зеленый корм и ячмень, больше он ни на что не годился. Так что теперь оставалась одна надежда на картофель!

Как же обстояло дело с картофелем? Вправду ли он только и есть, что особый сорт чужеземного кофе и без него можно обойтись? О, картофель замечательный плод, он выдерживает засуху, выдерживает сырость, а сам знай растет. Ему любая погода ни о чем, он удивительно вынослив, если же за ним мало-мальски поухаживать, так он отплачивает в сам-пятнадцать. Ведь кровь у картофеля не та, что у винограда, а вот мясо как у каштана, его можно и варить, и жарить, оно на все годится. Если у человека нет хлеба, но есть картофель, он не будет голодать. Картофель можно печь в горячей золе и есть за ужином, можно сварить в воде и подать на завтрак. А каких приправ он требует? Да почти что никаких, картофель неприхотлив; кринки молока да одной селедки

для него довольно. Богачи едят его с маслом, бедняки окунают в блюдечко с солью; Исаак же по воскресеньям поедал его, запивая вкусным Златорожковым молоком. Презираемый всеми, благословенный картофель!

Но теперь дело оборачивалось плохо и для картофеля.

Не счесть, сколько раз за день Исаак поглядывал на небо. Небо было синее. По вечерам частенько смахивало на дождик. Исаак входил в избу и говорил:

— Сдается, будет-таки дождь!

Часа через два-три всякая надежда опять исчезала.

Засуха продолжалась уже семь недель, жара стояла невыносимая, картошка всю эту пору цвела сильным цветом, поражающим своей неестественной красотой. Поля издали казались покрытыми снегом. Чем все кончится? По календарю ничего нельзя было узнать, теперешние календари ведь не чета прежним, толку от них никакого. Опять вроде бы собрался дождик. Исаак вошел в дом и сказал Ингер:

— С Божьей помощью, нынче ночью будет дождь!

— Разве на то похоже?

— Да. И лошадь мотает головой над кормушкой.

Ингер выглянула в дверь и сказала:

— Ну что ж, увидим!

Упало несколько капель. Часы текли, они поужинали, а когда Исаак ночью вышел на двор, небо было синее.

— Ах ты Господи! — сказала Ингер. — Но зато к завтраму и последний ягель твой просохнет, — прибавила она, пытаясь его утешить.

Да, Исаак насобирав много ягеля самого отборного сорта. Это был драгоценный корм, он сушил его, как сено, и накрывал в лесу берестой. Оставалась неубранной только одна небольшая кучка, оттого он и ответил Ингер с таким глубоким отчаянием и безучастностью:

— Все равно не стану убирать его, хоть бы он и просох!

— Не говори глупостей-то! — сказала Ингер.

На следующий день он и в самом деле не стал убирать ягель, раз так было сказано, — не убрал, и все тут. Пусть себе лежит, дождя все равно нету, пусть себе лежит с Богом! Свезет как-нибудь перед Рождеством, если солнце не спалит его до тех пор!

Столь сильна и глубока была охватившая его обида, что сидеть на пороге, смотреть на свою землю и ощущать себя ее собственником казалось бессмысленным. Вон горят безумным цветом и сохнут картофельные по-

ля, так пусть же и ягель лежит, где лежал, сделайте одолжение! Но Исаак при всем своем простодушии таил какую-никакую хитренькую мыслишку, может, он делал расчет на то, чтоб подразнить синее небо перед новолунием?

К вечеру опять стал как будто собираться дождь.

— Убрал бы ягель-то,— сказала Ингер.

— Зачем?— спросил Исаак, словно бы донельзя удивленный.

— Тебе бы все шутки шутить, а ведь, глядишь, дождь пойдет.

— Неужто не понимаешь, что в нынешнем году не будет дождя?

Однако ночью за окном вдруг сильно потемнело, похоже стало, будто по нему что-то потекло, намочив его. Что бы это могло быть? Ингер проснулась и сказала:

— Вот и дождь, глянь-ка на стекла!

Исаак только хмыкнул.

— Дождь? Никакой это не дождь. Не понимаю, о чем ты?— ответил он.

— Хватит уж прикидываться!— сказала Ингер.

Исаак и в самом деле прикидывался. И обманывал только самого себя. Да, это был дождь, самый настоящий большой дождь, но, хорошенько промочив Исааков ягель, он перестал. Небо опять было синее.

— Ведь я же говорил, что не будет дождя,— упрямо и не без злорадства сказал Исаак.

Для картофеля этот дождь был все равно что ничего; дни приходили и уходили, а небо по-прежнему оставалось синим. Тогда Исаак взялся за дровни и, смилив свое сердце, покорно и усердно принялся строгать полозья да оглобли, о-ох, Господи! Да, дни приходили и уходили, ребенок рос, Ингер сбивала масло и варила сыр, в сущности, не так уж оно было и страшно, один год неурожая работающим людям в деревне можно пережить. А когда миновали девять недель, дождь полил на славу, зарядил на целые сутки, шестнадцать часов кряду лил как из ведра, небеса разверзлись. Будь это недели две назад, Исаак сказал бы: «Слишком поздно!» Теперь же он заметил Ингер:

— Вот увидишь, он немножко поправит картошку!

— Еще бы,— успокоительно сказала Ингер,— он все поправит!

И правда, все будто ожило, дождь поливал каждый день, отава зазеленела, точно по волшебству. А картошка

все цвела, даже сильнее, чем раньше, и на ней выросли крупные ягоды; это-то, положим, было правильно, но кто знает, что с ней делается в земле. Исаак не решался посмотреть. И вот однажды Ингер пришла с двумя десятками мелких картофелин, собранных с одного куста.

— А ей расти еще пять недель! — сказала Ингер.

Ох уж эта Ингер, всегда-то она утешит и скажет ласковые слова своим заячьим ртом. Да и говорила-то она плохо, сильно шепелявя и произнося слова с шипением, словно открывался клапан, из которого выпускали пар; но слушать ее утешения в эдакой глуши было всегда приятно. И характер у нее был жизнерадостный.

— Сделал бы еще одну кровать! — сказала она Исааку.

— Ну, — отозвался он.

— Ладно, ладно, это не к спеху, но все ж таки сделай.

Они начали рыть картошку и выкопали всю к Михайлову дню, по старинному обычаю. Год вышел средний, хороший год, опять оказалось, что картошка не так уж требовательна к погоде, а растет, несмотря ни на что, и может выдержать что угодно. Конечно, не сравнить с настоящим средним годом, с добрым годом, когда дождей выпадает сколько надо, но ничего не поделаешь. Однажды мимо проходил лопарь и подивился, как много собрали новоселы картошки.

— В деревнях она уродилась куда как хуже, — сказал он.

У Исаака опять выдалось до наступления заморозков несколько недель на работу в поле. Скотина свободно ходила на воле и паслась, где ей вздумается. Исааку было приятно работать, слушая звон колокольчиков; правда, подчас это отвлекало его, потому что бык стал совсем баловной и то и дело раскидывал кучи ягеля, а козы куда только не карабкались за кормом, залезая даже на крышу землянки.

Маленькие и большие заботы.

Однажды Исаак слышит сердитый крик: стоя на пороге с ребенком на руках, Ингер показывает пальцем на быка и на молоденькую телку Сребророжку, которые милуются неподалеку. Исаак бросает мотыгу и бежит к ним, но поздно, беда уже случилась.

— Ишь ты, дрянь, раненько начала, всего-то год от роду, на полгода раньше положенного, чертовка эдакая!

Исаак уводит ее в хлев, но все равно — уже поздно.

— Да, да,—говорит Ингер,—но, с другой стороны, оно и к лучшему, а то, глядишь, обе коровы отелились бы по осени.

Ох уж эта Ингер, голова у нее не очень светлая, но, может быть, она и знала, что делала, выпуская утром Сребророжку вместе с быком.

Пришла зима. Ингер чесала шерсть и пряла, Исаак возил дрова, огромные возы сухих дров; весь долг был выплачен, лошадь и телега, луг и борона — все стало его собственностью. Он уезжал, захватив приготовленные Ингер козьи сыры, а возвращался то с нитками, ткацким станком, мотовилом, веретеном, то с мукой и разными припасами, то с досками, тесом и гвоздями, а однажды привез лампу.

— Провалиться мне на месте, ты прямо колдун! — сказала Ингер, хотя давно уже догадывалась, что лампа вот-вот появится в доме.

Они зажигали ее по вечерам и чувствовали себя как в раю, а маленький Элесеус, наверное, думал, что это солнце.

— Посмотри, как он дивится! — говорил Исаак.

Ингер стала прясть при лампе.

Исаак привез холста на рубахи и новые комаги для Ингер. Она просила привезти разных красок для шерстяной пряжи, он и их привез. А однажды он вернулся из села с часами. Что такое? Часы! Ингер стояла как оглушенная, в течение нескольких минут не в силах вымолвить ни слова. Осторожно и бережно Исаак повесил часы на стену, поставил наугад стрелки, подтянул гири и пустил бой. Ребенок повернул глазки на гулкий звук, потом перевел их на мать.

— Да уж, можешь подивиться! — взволнованно сказала она, взяв мальчика на руки. Ведь из всех благ в здешнем уединенье ничто не могло сравниться со стенными часами, которые идут себе всю темную зиму, звонко отбивая каждый час.

Но вот все дрова свезены, Исаак опять стал уходить в лес и валить деревья, прокладывая улицы и строя дровяной город на будущую зиму. Он отходил все дальше и дальше от дома, высокий склон горы стоял уже почти совсем лысый, можно было приступить к его обработке, и теперь Исаак уже не вырубал делянки дочиста, а валил только самые старые деревья с сухими верхушками.

Разумеется, он давно понял, зачем Ингер упомянула про кровать, надо было поторопиться и не откладывать

этого дела в долгий ящик. Однажды, вернувшись темным вечером домой из лесу, он узнал новость: семья прибавилась, опять мальчик, Ингер лежала в постели. И хитра же эта Ингер, утром-то все выпроваживала его в село. «Ты бы промял немножко лошадь,— сказала она,— а то знай себе долбит копытом стойло». — «Недосуг мне такой ерундой заниматься», — ответил Исаак и ушел. Теперь-то он понял, что она просто хотела выпроводить его из дому; почему бы это? Он бы и дома пригодился.

— Почему ты никогда заранее не предупредишь? — спросил он.

— Приготовь себе постель в клетки, будешь там ночевать, — ответила она.

Впрочем, приготовить постель — это еще полдела, нужно ведь и постельное белье. У них же было одно-единственное меховое одеяло, а нового не сделать до осени, когда они будут колоть барашков, но даже и тогда из двух-трех овчин вряд ли выйдет целое одеяло. Исаак здорово мерз по ночам, он пробовал зарываться в стог сена под выступом скалы, пробовал спать в хлеву у коров, чувствуя себя заброшенным и одиноким. Счастье, что стоял май, потом придет июнь, июль...

Удивительно, сколько уже сделано тут, в глуши: жилье для людей, и скотный двор, и возделанные поля — и все это за три года. А Исаак опять что-то строит? Да, новый сарай, кладовую, пристройку к избе. Весь дом сотрясался и ходил ходуном, когда он вгонял в стену восьмидюймовые гвозди. Время от времени в дверях появлялась Ингер, прося его пожалеть ребят. Ну что ж что ребята, поболтай с ними, спой им что-нибудь, дай Элесеусу крышку от ведерка, пусть тоже постучит! Больших гвоздей осталось вбить не так уж много, вот только сюда, в эти пазы, они будут держать всю пристройку. А там пойдут уж только доски и двухдюймовые гвозди, пус-тяковая работа.

Хочешь — не хочешь, а без этого не обойтись. Ведь вот, бочки с сельдями, и мука, и все припасы хранятся в конюшне, чтоб не оставлять их под открытым небом, но свинина после этого отзывается навозом, так что без кладовой никак нельзя. А мальчуганы пусть привыкают к ударам молотка по стене. Элесеус, правда, стал какой-то худенький и бледный, зато второй сосал чисто Божий ангел, и когда не кричал, то спал. Замечательный парнишка. Исаак не перечил, когда Ингер решила назвать его Сивертом; пожалуй, так всего лучше, хотя сам он

наметил было другое имя—Якоб. В иных случаях Ингер рассуждала правильно: Элесеуса назвали в честь священника из ее села, что ж, благородное имя, а Сивертом звали дядю Ингер, общинного казначея, того самого, что был холостяк, богатей и не имел наследников. Чего уж лучше, как назвать ребенка по имени этого дяди?

Опять наступил весенний перерыв в работах, все сущее на земле готовилось к встрече Троицы. Когда у Ингер был только один Элесеус, она никак не могла выбрать время, чтоб помочь мужу,—первенец поглощал все ее внимание; теперь, когда детей стало двое, она рачищала землю и делала многое другое: часами сажала картошку, посеяла морковь и репу. Таковую жену не скоро найдешь. А вдобавок, разве она не ткала? Она пользовалась каждой минутой, чтоб сбегать в клеть и спустить пару шпук, чтоб вышла полушерстяная пряжа для нижнего белья на зиму. А потом окрасила ее и наткала синего и красного холста себе и ребятам, подбавила еще цветных ниток и сделала тюфяк Исааку. Все необходимые да полезные вещи, к тому же и прочные!

Ну что ж, семья новоселов крепко стала на ноги, и если урожай выдастся хороший, им и вовсе можно будет позавидовать. Чего еще не хватает? Конечно же, сеновала и овина с молотильным током, но это цель на будущее, и они ее выполнят, как и остальные цели, дай только время! Вот и маленькая Сребророжка отелилась, козы принесли козлят, овцы—ягнят; молодяжник так и кишел на пастбище. А что же люди? Элесеус уже бойко разгуливал на собственных ножках, а маленького Сиверта окрестили. Ингер? Должно быть, опять тяжелая, уж очень раздобрела. Что для нее родить еще одного ребенка? Ничего—то бишь очень много; милые малютки, она гордилась своими детьми, давая понять, что не всем Бог дает таких больших и красивых детей. Ингер усердно наверстывала молодость. У нее было обезображенное лицо, молодые годы она прожила отщепенкой, парни не смотрели на нее, хотя она умела и плясать и работать, они пренебрегали ее лаской, отворачивались,—теперь настало ее время, она развернулась, зацвела пышным цветом и носила детей. Сам Исаак, хозяин, остался тем же серьезным и угрюмым, но ему везло, и он был доволен. До прихода Ингер он жил тяжкой и тусклой жизнью, знал только картошку да козье молоко; теперь у него было все, что мог пожелать человек в его положении.

Снова пришла засуха, снова неурожай. Лопарь Ос-Андерс, проходивший мимо со своей собакой, рассказывал, что народ в деревнях скопил ячмень на корм скоту.

— Да неужто? Стало быть, совсем уж плохо?— спросила Ингер.

— Да. Но у них был хороший улов сельдей. Дядя твой Сиверт здорово нажился.

— У него и раньше кое-что было! И в котелке и в печке!

— Точь-в-точь как и у тебя, Ингер!

— Да, слава Богу, не на что пожаловаться. Что же про меня говорят дома?

Ос-Андерс качает головой: у него и слов нет, чтоб передать, льстит он.

— Если хочешь кружку парного молока, так скажи,— говорит Ингер.

— Не беспокойся! Вот разве чуточку собаке.

Появилось молоко, появился корм для собаки. Лопарь услышал музыку из горницы и насторожился:

— Что это?

— Это бьют наши часы,— отвечает Ингер, едва не лопаясь от гордости.

Лопарь опять покачал головой и сказал:

— У вас есть дом, и конь, и деньги, скажи мне, чего у вас нет!

— Да мы уж и не знаем, как благодарить Бога.

— Олина велела тебе кланяться.

— А-а! Как она поживает?

— Ничего. А где твой муж?

— Пашет.

— Говорят, он так и не купил землю?— бросает лопарь.

— Не купил? Кто это говорит?

— Люди говорят.

— Да у кого ж ее было покупать? Ведь она общая.

— Да, да.

— А поту он сколько положил на эту землю!

— Они говорят, это государственная земля.

Ингер ничего не поняла и сказала:

— Ну, может быть. Уж не Олина ли это говорит?

— Не помню кто,— ответил лопарь, шныряя по сторонам лукавыми глазами.

Ингер удивлялась, что он ничего не выпрашивает, обычно-то Ос-Андерс всегда что-нибудь выпрашивал, как все лопари; они вечно кланчат. Ос-Андерс сидит, ковыря-

ет в своей глиняной трубке и раскуривает ее. Вот это трубка, он дымит так, что его старое сморщенное лицо выглядит словно таинственный рунический камень.

— Нет смысла спрашивать, твои ли это дети,— подлизывается он.— Они ведь похожи на тебя. Вылитая ты, когда была маленькая!

Ингер была в детстве урод и страшилище — разумеется, глупо его слушать, но она все равно вспыхивает от гордости. Даже лопарь может обрадовать материнское сердце.

— Если б мешок твой был поменьше набит, я бы дала тебе кой-чего,— говорит она.

— Нет, не беспокойся!

Ингер с ребенком уходит в дом, а Элесеус остается с лопарем. Они отлично ладят друг с другом, в мешке у лопаря лежит что-то чудное, мохнатое, мальчик хочет потрогать. Собака возле повизгивает и взлаивает. Когда Ингер выходит с припасами, она слегка вскрикивает и садится на порог.

— Что это у тебя?— спрашивает она.

— Ничего. Заяц.

— Я видела.

— Парнишка твой захотел посмотреть. Собака подняла его сегодня и прикончила.

— Вот тебе еда!— говорит Ингер.

V

По старинному опыту известно, что неурожаи следуют один за другим по меньшей мере два года подряд. Исаак набрался терпения и примирился с судьбой. Ячмень сгорел, укос был посредственный, но картошка как будто опять выправлялась, так что хоть и плохо было, но до голода еще далеко. Исаак же вдобавок припас дрова да бревна для стройки, которые можно было свезти в село, а так как по всему побережью хорошо ловилась сельдь, то денег на покупку дров у людей было вдоволь. Уж не перст ли Провидения, что ячмень не уродился? Где бы он стал молотить его без овина и гумна? Пусть хоть перст Провидения, в конце концов, не беда.

Другое дело, что появились новые тревоги. Что такое сказал Ингер летом какой-то лопарь — что он не купил землю? Разве надо ее покупать? Зачем? Земля лежала себе полеживала, лес стоял-постаивал, он обработал ее,

построил жилье в непроходимой глуши, кормил свою семью и свою скотину, никому не был должен и работал, работал без устали. Бывая в селе, он много раз собирался потолковать с ленсманом, но все откладывал разговор; ленсмана не очень хвалили, а Исаак был не так чтобы речист. Что он ему скажет, когда придет, как объяснит, в чем дело?

Однажды зимой ленсман сам приехал к новоселам, он привез с собой еще другого человека и пропасть бумаг в портфеле,— и был это сам ленсман Гейслер. Он увидел большой открытый бугор, очищенный от леса и ровно круглившийся под снегом, подумал, что все пространство также обработано, и сказал:

— Да ведь это большая усадьба, ты что же, думаешь, такую штуку можно получить задаром?

Вот оно! У Исаака сердце захолонуло от страха, и он ничего не ответил.

— Тебе бы следовало приехать ко мне и купить землю,— сказал ленсман.

— Хорошо.

Ленсман говорил об оценке, размежевании, обложении, государственном налоге,— и чем больше уяснял Исаак суть дела, тем слова ленсмана казались ему все менее и менее фантастическими. Ленсман обратился к своему спутнику и сказал:

— Ну, землемер, как велики угодья?

Но ответа он ждать не стал и записал площадь участка наугад. Спросил Исаака, сколько он привез возов сена и сколько накопал мер картофеля. А как же быть с межеваньем? Ведь в лесу по пояс в сугробах межеванье не проведешь, а летом сюда не добраться. Во сколько сам Исаак определяет лес и выгон?

Этого Исаак не знал; до сих пор он считал своим все, что видел. Ленсман сказал, что казна требует определить границы надела.

— Чем больше у тебя участок, тем дороже он стоит,— сказал он.

— Так.

— Да. И дадут тебе не все, сколько ты охватишь глазом, а по твоей потребности.

— Так.

Ингер принесла молока, и ленсман с землемером выпили его. Она принесла еще молока. Это ленсман-то строгий? Он даже погладил Элесеуса по голове и сказал:

— Он играет в камешки? Дай-ка мне их посмотреть. Что это? Какие тяжелые, должно быть, в них содержится какой-нибудь металл.

— Таких в горах очень много,— сказал Исаак.

Ленсман вернулся к делу.

— Наверно, тебе всего дороже земля, что идет на юг и на запад?—спросил он Исаака.—Скажем, четверть мили на юг?

— Целых четверть мили!—воскликнул его спутник.

— Не две же сотни локтей обрабатывать,—оборвал ленсман.

Исаак спросил:

— А что стоит четверть мили?

Ленсман ответил:

— Не знаю, да этого и никто не знает. Я назначу невысокую цену, ведь это глушь, за много миль от жилья и никаких средств сообщения.

— Да, но целых четверть мили!—опять вмешался землемер.

Ленсман записал четверть мили на юг и спросил:

— А в сторону гор?

— Тут надо бы дотянуть до воды. До большого озера,—ответил Исаак.

Ленсман записал.

— А к северу?

— Туда не так важно,—ответил Исаак.—Там болото и нет хорошего леса.

Ленсман записал по своему усмотрению восьмую мили.

— А на восток?

— Тоже все равно. Там сплошь горы до самой Швеции.

Ленсман записал и это.

А после этого он с минуту что-то подсчитывал и потом сказал:

— Владенье, разумеется, получилось большое, и, находишь оно возле села, ни у кого бы не хватило средств на его покупку. Я назначу за все про все сто далеров. Как ты считаешь?—спросил он землемера.

Тот ответил:

— Да разве это цена!

— Сто далеров!—воскликнула Ингер.—Не бери такого большого участка, Исаак!

— Не буду,—сказал Исаак.

— Вот и я говорю!—подхватил землемер.—Что вы станете делать с таким большим участком?

Ленсман сказал:

— Обрабатывать.

Он сидел и старательно писал, изредка в горнице раздавался плач ребенка, а ему, должно быть, не хотелось переписывать все сызнова, и так ведь попадет домой не раньше ночи, да нет, не раньше утра! Он решительно сложил бумаги в портфель.

— Иди запрягай! — сказал он землемеру. Потом вернулся к Исааку и заявил: — Честно говоря, следовало бы отвести тебе это место даром, да еще приплатить за твои труды. Я так и напишу в своем докладе. А там посмотрим, сколько с тебя возьмет казна.

Исаак — одному Богу известно, как он к этому отнесся. Он, похоже, ничего не имел против того, чтобы участок и его непомерные труды оценили высоко. Должно быть, он вовсе не считал невозможным выплатить со временем сто далеров, потому ничего и не ответил; он будет работать как и раньше, будет возделывать землю и превращать сухостой и валежник в дрова. Верхоглядом Исаак не был, на случайности не рассчитывал, он просто работал.

Ингер поблагодарила ленсмана и попросила его заступиться за них перед казной.

— Конечно. Но я ведь ничего не решаю, я только сообщаю свое мнение. Сколько лет вашему младшему?

— Ровно полгода.

— Мальчик или девочка?

— Мальчик.

Ленсман был не строгий, но беспечный и не очень добросовестный. Своего землемера и судебного пристава Бреде Ольсена он и слушать не стал, важную сделку провел кое-как, крупное дело, решающее судьбу Исаака и его жены и судьбу их потомков, быть может, в бесчисленных поколениях, он закрепил письменно наобум, знай только писал. Но к новоселам он отнесся очень ласково, достал из кармана новенькую серебряную монету и вложил в ладошку маленькому Сиверту, потом кивнул головой и пошел к саням.

Вдруг он спросил:

— Как называется это место?

— Как называется?

— Ну да. Какое у него название? Надо записать название.

Об этом никто и не подумал. Ингер и Исаак только переглянулись.

— Селланро? — проговорил ленсман. Слово это просто вдруг пришло ему в голову, вряд ли даже оно вообще подходило для названия, но он повторил: — Селланро! — кивнул головой и уехал.

Все наугад — границы, цена, название...

Несколько недель спустя, приехавши в село, Исаак узнал, что у ленсмана Гейслера не все благополучно — подняли вопрос о каких-то деньгах, в которых он не смог отчитаться, и его вызывали к амтману. Вот как бывает неладно: случается, люди ковыляют по жизни на авось, пока не наткнутся на тех, что ходят с открытыми глазами!

Однажды Исаак отправился в село с одним из последних возов с дровами, а на обратном пути домой подвез на своих санях ленсмана Гейслера. Ленсман вышел из лесу с небольшим чемоданчиком в руке и сказал:

— Подвези-ка меня!

Некоторое время ехали молча. Только раз ленсман достал из кармана бутылку и хлебнул из нее, предложив и Исааку, но тот отказался.

— Боюсь, не застудить бы живот, — сказал ленсман.

Потом он заговорил о земельных делах Исаака:

— Я сразу же отослал все бумаги и дал благожелательный отзыв. Селланро — красивое название. Собственно, тебе следовало бы отвести участок бесплатно, но если б я так написал, казна непременно бы заартачилась и сама назначила цену. Я назначил пятьдесят далеров.

— Так. Разве вы написали не сто далеров?

Ленсман сдвинул брови, припоминая.

— Насколько мне помнится, я написал пятьдесят далеров.

— Куда вы сейчас едете? — спросил Исаак.

— В Вестерботтен, в семью моей жены.

— Трудно будет добираться туда в эту пору года.

— Как-нибудь доберусь. Ты не проводишь меня немножко?

— Отчего ж. Одному плохо.

Они приехали в усадьбу к Исааку, и ленсман переночевал у них в клети. Наутро он снова хлебнул глоток из бутылки и сказал:

— Я непременно расстрою себе желудок этой поездкой!

Он был такой же, как и в прошлый свой приезд, ласково-властный, но беспечный, ничуть не озабоченный своей судьбой; может, впрочем, она была и не так уж

печальна. Когда Исаак, набравшись храбрости, сказал, что обработал не весь бугор, а только небольшую его часть, несколько маленьких полосок, ленсман дал удивительный ответ:

— Я это прекрасно понял, когда был здесь в прошлый раз и писал бумаги. А возница мой, Бреде, тот ничего не понял, болван этакий. У них в министерстве есть таблица. И если такое малое количество возов сена и мер картофеля приходится на такой большой участок, какой я показал, то по таблице выходит, что земля тут скверная, дешевая. Я сыграл тебе на руку и готов лишиться Царства Небесного за это плутовство. Нам бы надо иметь тридцать две тысячи таких молодцов, как ты.— Ленсман мотнул головой и обратился к Ингер:— Сколько времени младшему?

— Девять месяцев.

— Ага. Мальчик?

— Да.

— Но ты не теряй времени и как можно скорей покончи со всеми формальностями,— продолжал ленсман, обращаясь к Исааку.— Один человек хочет купить землю на полдороге от тебя до села, и тогда твой участок поднимется в цене. Ты купи землю вперед него, а там пусть себе поднимается. Так, по крайней мере, тебе хоть что-нибудь достанется за твои труды. Ты ведь первый тронул эту глушь.

Поблагодарив его за совет, хозяева поинтересовались, не сам ли он оформит сделку. Он ответил, что сделал все, что мог, остальное зависит от казны.

— Я еду в Вестерботтен и уже не вернусь обратно,— равнодушно заметил он.

Он дал Ингер один орт, а это было совсем не мало.

— Не забудь свезти немножко убоины моей семье, когда поедешь в село,— сказал он,— телятины или баранины, что будет. Жена тебе заплатит. Да прихвати с собой кой-когда головки две-три козьего сыру, дети мои его очень любят.

Исаак проводил его через перевал, на вершине горы лежал твердый наст, так что идти было не трудно. Исаак получил за это целый далер.

Так и ушел ленсман Гейслер и не вернулся больше в село. И Бог с ним, говорили люди, человек-то он ненадежный, как есть пройдоха. И не то чтобы знаний было мало, вовсе нет, вполне был образованный, но уж слишком широко размахивался и не церемонился с чужими деньгами. Оказалось, что Гейслер сбежал из села,

получив строгое письмо от амтмана Плейма, но семье его ничего не сделали, и она еще долго продолжала спокойно жить в селе—жена и трое детей. Впрочем, недостающие деньги вскорости были присланы из Швеции, родные ленсмана перестали считаться заложниками, но по-прежнему жили на старом месте, потому что им так нравилось.

Для Исаака и Ингер этот самый Гейслер оказался вовсе не плохим человеком, наоборот. Бог весть каков-то еще будет новый ленсман, может, всю сделку с участком придется переделывать наново!

Амтман прислал в село одного из своих конторщиков, он и стал новым ленсманом—мужчина лет за сорок, сын фогта по фамилии Хейердал. По бедности он не смог стать студентом и чиновником, а пятнадцать лет просидел писарем в конторе амтмана. Не имея средств жениться, он остался холостяком; амтман Плейм получил его в наследство от своего предшественника и платил ему такое же нищенское жалованье, как и тот: Хейердал получал свое жалованье и без усталы писал. Безропотный и усталый, он был, однако ж, надежен, честен, да и работник отличный, в меру своих способностей и знаний. А сделавшись ленсманом, он начал проникаться чувством собственного достоинства.

Исаак набрался храбрости и пошел к нему.

— Дело Селланро—да, вот оно, вернулось недавно из министерства. Они там запрашивают разные сведения, ведь этот ваш Гейслер все запутал,—сказал ленсман.—Королевское министерство желает знать, нет ли на твоём участке больших, богатых морошкой болот? Есть ли строевой лес? Нет ли руды и разных металлов в окрестных горах? В деле упоминается большое горное озеро, водится ли в нем рыба? Правда, Гейслер привел кое-какие данные, но он ведь такой человек, что на него нельзя положиться, приходится все проверять заново. Я при первой же возможности приеду к тебе в Селланро, все осмотрю и произведу оценку. Сколько туда миль? Министерство требует настоящего межеванья, и, разумеется, надо нам его провести.

— Раньше второй половины лета ничего не получится,—сказал Исаак.

— Как-нибудь уж сделаем. Нельзя оттягивать ответ министерству до конца лета. На днях приеду. Заодно и продам от имени казны пахотный участок еще одному человеку.

— Не тому ли, что хочет купить участок на полдороге от меня?

— Не знаю, может, и ему. Он здешний, состоит у меня землемером и приставом. Он просил разрешения на покупку еще у Гейслера, но Гейслер отказал, объяснив свой отказ тем, что тот не способен обработать даже и двухсот локтей! Тогда этот человек написал самому амтману, и теперь дело переслали для отзыва ко мне. Уж этот мне Гейслер!

Ленсман Хейердал приехал к новоселам вместе с оценщиком Бреде; они промокли, пробираясь через болота, и уж совсем вымокли, когда отправились межевать границы по талому весеннему снегу в горах. В первый день ленсман проявил большое усердие, но на второй был утомлен, рассеян и по большей части не поднимался в гору, оставаясь внизу, только покрикивал да показывал Бреде, что делать. Уже и речи не было о том, чтоб «исходить горы вдоль и поперек», а морошковые болота, объяснил он, они самым тщательным образом обследуют на обратном пути.

Министерство указало выяснить много вопросов, должно быть, опять по какой-нибудь таблице. Единственный толковый вопрос был о лесе. На участке Исаака действительно рос строевой лес, но продажного строевого леса не было, разве что он годился для домашнего употребления. Но даже и будь здесь настоящий строевой лес, кто повезет его на продажу за столько миль? Разве что такой мельничный жернов вроде Исаака, который всю зиму возил в село бревна, получая в обмен доски и тес.

Оказалось, что этот замечательный Гейслер представил доклад, которым никак нельзя было пренебречь. И вот новый ленсман изо всех сил старался поймать его на чем-нибудь и найти хоть какую ошибку, но в конце концов махнул на все рукой. Он только чаще, чем Гейслер, советовался со своим землемером и оценщиком, во всем полагаясь на его слова, а оценщик, должно быть, переменял свое отношение и усвоил себе другую точку зрения с тех пор, как сам сделался покупателем казенных земель.

— И что ты думаешь о цене? — спросил ленсман.

— Пятьдесят далеров за глаза для всякого, кто захочет купить, — ответил оценщик.

Ленсман изложил это решение красивыми словами. Гейслер писал: «Владельцу земли придется платить ежегодный налог, и он не видит для себя возможности

заплатить в качестве покупной цены больше пятидесяти далеров, с рассрочкой на десять лет. Казна вольна или согласиться на его предложение, или лишить его земли и плодов его труда». Хейердал написал: «Покупщик почтительно ходатайствует пред высоким министерством о разрешении сохранить за собой землю, которая не принадлежит ему, но в которую он вложил значительный труд, за цену 50 (пятьдесят) далеров, выплачиваемую по благоусмотрению министерства».

— Думаю, мне удастся сохранить за тобой участок,— сказал ленсман Хейердал Исааку.

VI

Сегодня старого быка уведут со двора. Он превратился в сущее чудовище, да и содержать его стало чересчур дорого; Исаак решил отвести его в село, сбить кому-нибудь и купить вместо него подходящего молодого бычка.

А затеяла все это Ингер, и Ингер, конечно, знала, что делала, выпроваживая Исаака из дому именно сегодня.

— Коли уж идти, так нынче,— сказала она.— Бык откормлен, весной на кормленную убоину хорошая цена, можно отправить его в город, а там дают страсть какие цены.

— Да, да,— ответил Исаак.

— Вот только не кинулся бы он на тебя дорогой.

На это Исаак ничего не ответил.

— Впрочем, он целую неделю пасся на воле, огляделся и приобвык чуток.

Исаак промолчал. Но заткнул за пояс большой нож и вывел из хлева быка.

Вот это бык так бык, здоровенный, страшный, бока так и трясутся на ходу. Ноги короткие; на бегу ломает грудью кустарники, чисто паровоз. Шея мощная до безобразия, в этой шее живет слоновья сила.

— Только бы он на тебя не кинулся,— сказала Ингер.

Исаак ответил, помолчав:

— Ну что ж, тогда заколю его дорогой и отнесу в село мясо.

Ингер садится на крыльце. Ее мучают боли, лицо горит, но до ухода Исаака она держится на ногах; но вот он скрылся в лесу с быком, и Ингер громко стонет. Маленький Элесеус спрашивает:

— Маме больно?

— Да, очень.

Он подражает матери, хватается за спину и стонет. Малютка Сиверт спит.

Ингер ведет Элесеуса в горницу, усаживает на пол, дает игрушек, а сама ложится в постель. Пришел ее час. Она все время в полном сознании, следит за Элесеусом, бросает взгляд на стену, смотрит, который час. Она не кричит, почти не шевелится; в утробе у нее идет борьба, и внезапно бремя выскальзывает наружу. Почти в ту же минуту она слышит незнакомый крик, тоненький жалобный голосок, и, не в силах сохранять спокойствие, встает и смотрит на постель. Что же она видит? Лицо ее мгновенно становится серым, теряя всякое выражение, всякий смысл. Из груди вырывается стон, какой-то неестественный, нечеловеческий, похожий на рвущийся из нутра вой.

Она опускается на постель. Проходит минута, но покой не наступает, слабый писк на постели становится громче, она снова встает и смотрит: о Господи, хуже не придумаешь, никакой милости — ребенок в довершение всего девочка!

Исаак, должно быть, успел отойти от дому всего на полмили, едва ли миновал час после его ухода со двора. Десяти минут хватило на то, чтоб произвести дитя на свет и убить...

Исаак вернулся домой на третий день, ведя на привязи тощего молодого бычка, едва передвигавшего ноги; оттого так много времени ушло на дорогу.

— Ну как, все обошлось? — спросила Ингер, еще очень слабая и больная.

Все обошлось сносно. Бык вконец взбесился на последней полмиле от села, Исааку пришлось привязать его и сбегать за подмогой. Когда он вернулся, бык порвал привязь, и его целый час не могли найти. Ну да все устроилось, торговец, скупавший мясо для города, дал хорошую цену.

— А вот и новый бык, — сказал Исаак, — пусть дети подойдут и посмотрят!

Все с тем же неизменным интересом к каждому новому животному, Ингер осмотрела быка, ощупала его, спросила о цене; маленького Сиверта посадили ему на спину.

— А мне жалко старого быка, — сказала Ингер, — он был такой гладкий и умный. Хоть бы уж они зарезали его как следует!

Шли дни, заполненные обычной работой по хозяйству, скотина гуляла на воле, в пустом хлеву прорастал в ящиках и лукошках картофель, предназначенный для посадки. В этом году Исаак посеял ячменя больше прежнего и приложил все усердие, чтоб хорошенько запахать его в землю, разбил грядки для моркови и репы, а Ингер посеяла семена. Все шло по-старому.

Какое-то время Ингер носила на животе торбу с сеном, чтоб казаться толще, постепенно она уменьшала количество сена, а там и вовсе бросила торбу. В один из дней Исаак наконец заметил перемену и с удивлением спросил:

— Что же это, разве нынче ничего не будет?

— Нет,— ответила она,— не будет.

— Да ну. Отчего же?

— Так уж вышло. Неужто ты надумал распахать все, сколько глаз хватает?

— Скинула, что ли?— спросил он.

— Да.

— Так. А сама-то не хворашь?

— Нет. Я все думаю, хорошо бы нам завести свинью.

Неповоротливый умом, Исаак ответил спустя минуту:

— Да, свинью... я и сам подумываю о ней каждую весну. Но покамест у нас не будет много картошки да ячменя, нам ее не прокормить. Посмотрим, что Бог даст нынче.

— А уж как бы хорошо иметь свинью!

— Да.

Дни проходят, побрызгивает дождь, нивы и луг чудесно зеленеют, нынче будет урожай! Мелкие и крупные события сменяют одно другое, это—еда, сон и работа, это—воскресенья с умыванием лица и расчесыванием волос. Исаак сидит в новой красной рубаше, вытканной и сшитой Ингер. Но вот размеренная жизнь потревожена крупным происшествием: где-то в скалах затерялась овца с ягненком, остальные овцы вернулись вечером домой, и Ингер сейчас же хватилась двух пропавших; Исаак отправляется на поиски. И первая мысль Исаака: раз уж случилась беда, хорошо, что случилась она в воскресенье и ему не нужно отрываться от работы. Он ищет много часов, выгон огромный, он ходит и ходит; дома все в волнении, мать коротко успокаивает детей: две овцы пропали, тише вы! Все охвачены тревогой, вся маленькая семья, даже коровы и те понимают, что происходит что-то необычное, и тревожно мычат, так как Ингер

время от времени выходит во двор и громким голосом кричит в сторону леса, хотя скоро уж ночь. Это целое событие в глуши, несчастье для всей округи. Уложив детей спать, Ингер тоже отправляется на поиски. Изредка она аукает, но не получает ответа, должно быть, Исаак зашел очень далеко.

Господи, куда ж это подевались овцы, что с ними приключилось? Уж не медведь ли их задрал? А может, волк забежал из Швеции или Финляндии? Да ничего подобного. Когда Исаак находит наконец овцу, оказывается, что она завязла в расщелине, у нее переломана нога и распорото вымя. Похоже, она попала в расщелину много часов назад, потому что, хотя и поранена довольно сильно, выщипала траву кругом себя до самой земли. Исаак вытаскивает овцу из расщелины, и она сразу начинает щипать траву. Ягненок тут же принимается сосать мать, и раненому вымени сушее лекарство, что оно опрастывается.

Исаак набирает камней и заваливает опасную расщелину, предательскую расщелину; не будет она больше ломать овцам ноги! Он снимает с себя ременные подтяжки, обвязывает ими овцу, туго притянув порванное вымя. Потом вскидывает овцу на плечо и идет домой. Ягненок бежит следом.

А дальше? Лучинки и просмоленные тряпицы. Через несколько дней овца начинает лягаться больной ногой, потому что рана затягивается, излом срастается. Так все и налаживается—до какого-нибудь нового происшествия.

Будничная жизнь, события, целиком занимающие новоселов. О, это вовсе не мелочи, это судьба, сама жизнь, от этого зависит счастье, радость, благополучие.

В промежутке между полевыми работами Исаак обтесывает новые бревна,—наверное, опять что-то задумал. Кроме того, он выламывает подходящие камни и приносит во двор; натаскав достаточно камней, складывает их грядкой. Будь это год назад или около того, Ингер заинтересовалась бы и стала бы добиваться, что такое затевает муж, но теперь она большей частью занимается своим делом и вопросов не задает. Ингер работает так же усердно, как и прежде, держит в порядке дом, детей и скотину, но она начала петь, чего раньше за ней не водилось; учит Элесеуса вечерним молитвам, этого раньше тоже не было. Исааку не хватает ее вопросов, ее любопытство и похвалы давали ему счастье и сознание

своей необыкновенности, теперь она проходит мимо и не замечает, как он убивается на работе. «Должно быть, она все-таки расстроилась в последний раз!» — думает он.

Опять приходит в гости Олина. Будь все как в прошлом году, ее встретили бы с радостью, нынче не то. Ингер с первой же минуты встречает ее недружелюбно; неизвестно по какой причине, но Ингер относится к ней враждебно.

— А я-то думала, опять попаду кстати,— деликатно замечает Олина.

— Как так?

— Да ведь надо бы крестить третьего. Разве нет?

— Нет,— отвечает Ингер,— ради этого тебе не стоило беспокоиться.

— Вот оно что!

Олина принимается расхваливать мальчиков, как они выросли, какие стали хорошенькие, Исаака, который распахал столько земли и опять как будто что-то строит,— просто чудеса, другого такого двора и не найти!

— Скажи ты мне, что ж такое он строит?

— Не знаю, спроси у него сама.

— Нет,— говорит Олина,— неудобно мне. Я только хотела посмотреть, как вы все здесь поживаете, потому что это для меня большая радость. Ну, про Златорожку-то я не стану и спрашивать и поминать, она попала куда следовало!

Некоторое время проходит в дружной болтовне, и Ингер уже не так сердита. Когда часы на стене начинают отбивать свои гулкие удары, на глазах у Олины выступают слезы, в жизни она не слышала такого боя — чисто орган в церкви! Ингер снова преисполняется щедростью и великодушием к своей бедной родственнице и говорит:

— Пойдем в клеть, покажу тебе свою тканьину!

Олина проводит у них весь день. Она разговаривает с Исааком и расхваливает все его дела.

— Я слыхала, ты откупил по миле во все стороны, неужто нельзя было получить задаром? Кто это тебе позавидовал?

Исаак слышит похвалы, которых ему так недоставало, и опять чувствует себя человеком.

— Я у правительства откупил землю,— отвечает он.

— Ну да, ну да, только оно могло бы и не обдирать тебя, это самое правительство! Что это ты строишь?

— Сам не знаю. Так, пустяки.

— И все-то ты строишь! У тебя и двери крашенные, и часы с боем на стене, должно быть, надумал построить чистую избу?

— Будет тебе чепуху городить! — отвечает Исаак. Но он польщен и говорит Ингер: — Сварила бы каши на сливках для гостьи.

— Нету сливок-то, — отвечает Ингер, — я только что сбила из них масло.

— Вовсе это и не чепуха, да ведь я женщина простая, вот мне и интересно, — спешит вставить Олина. — А если это не чистая изба, тогда, значит, огромный домище — для всего твоего добра. У тебя ведь и поля, и луга, и все остальное течет молоком и медом, чисто в Библии.

Исаак спрашивает:

— А в ваших местах какие виды на урожай?

— Да ничего себе. Только бы Господь не спалил его и нынче, ох, грехи мои тяжкие! Все в Его воле и власти. Но такого замечательного урожая, как у вас, в наших местах и в помине нет, куда там!

Ингер спрашивает про остальную родню, в особенности про дядю Сиверта, общинного казначея, он гордость семьи, у него и сети, и невода, он уж и сам не знает, что ему делать со всеми своими богатствами. Во время этого разговора Исаак отходит все дальше на задний план, о его новых строительных затеях и вовсе позабывают. Под конец он не выдерживает и говорит:

— Раз уж тебе непременно хочется знать, Олина, так я хочу построить небольшой овин с гумном.

— Так я и думала! — отвечает Олина. — Люди, которые с умом, всегда все наперед обдумывают и все в голове держат. Речь, понятно, не о горшке и не о кружке, которые не ты выдумал. Стало быть, говоришь, овин с гумном?

Исаак — он что взрослый ребенок, ему не устоять перед лестью Олины, и он сразу попадает на удочку.

— Что касаясь до нового строения, то в нем будет гумно, так я себе наметил в мыслях, — говорит он.

— Гумно! — восторженно произносит Олина и качает головой.

— На что же нам ячмень в поле, когда его нельзя обмолотить?

— Вот это самое я и говорю: ты все обмозговываешь в голове.

Ингер опять нахмурилась, беседа мужа с гостьей, видимо, раздражает ее, она неожиданно говорит:

— Каши на сливках? Где же я тебе возьму сливок? Уж не в речке ли?

Олина чувствует опасность.

— Ингер, милая, Господь с тобой, о чем это ты? Какая еще каша на сливках? Ты и не поминай про нее! Это мне-то, которая побирается по дворам!

Исаак сидит некоторое время молча, потом говорит:

— И чего же это я расселся, мне ведь надо камни ломать для стены!

— Да уж, немало камней надо на такую стену!

— Камней-то?— отвечает Исаак.— Да сколько ни таскай, все вроде как мало!

Исаак уходит, и между женщинами снова воцаряется согласие, у них столько разговоров о деревенских делах, только часы знай бегут. Вечером Олине показывают, как выросло стадо— две коровы, да бык, да два теленка, да множество коз и овец.

— Где ж этому конец?!— вопрошает Олина, возводя глаза к небу.

Она остается у них ночевать.

А на следующий день уходит. Ей опять дают с собой узелок, и поскольку Исаак работает на каменоломне, она делает небольшой крюк, чтоб не попасться ему на глаза.

Через два часа Олина возвращается в усадьбу; войдя в горницу, она спрашивает:

— А где Исаак?

Ингер занята стиркой. Она знает, что Олине не миновать было пройти мимо Исаака и детей в каменоломне, и сразу чувствует беду.

— Исаак? На что тебе Исаак?

— Как на что! Да ведь я с ним не попрощалась.

Молчание. Олина вдруг бессильно опускается на скамью, словно ноги ее не держат. Еще чуть-чуть, и она грохнется в обморок— по всему видать, ей не терпится сообщить что-то из ряда вон выходящее.

Не в силах сдерживаться, Ингер поворачивает к ней полное бешенства и страха лицо.

— Ос-Андерс принес мне от тебя поклон,— говорит она.— Нечего сказать, хороший поклон!

— А что?

— Зайца.

— Да ну!— с удивительной кротостью роняет Олина.

— Не вздумай отпираться!— кричит Ингер, дико сверкая глазами.— Не то заткну тебе глотку вальком! Вот тебе!

Неужели ударила? То-то и оно. И когда Олина от первого удара не падает, а, наоборот, вскакивает и кричит:

— Берегись! Я знаю, что я про тебя знаю!— Ингер снова колотит Олину вальком и валит ее на пол, подминая под себя и давя коленками.

— Ты что же, решила убить меня?— спрашивает Олина. Прямо над собой она видит ужасный рот с заячьей губой, над ней нависла высокая крепкая женщина с тяжелым вальком в руке. Тело у Олины горит от ударов, она вся в крови, но продолжает визжать и не думает сдаваться:— Не иначе как ты решила убить меня!

— Да, решила,— отвечает Ингер и опять бьет ее.— Вот тебе! Забью до смерти!

Она совершенно уверена: Олина знает ее тайну, а остальное ей безразлично.

— Вот тебе по рылу!

— По рылу? Это у тебя рыло!— стонет Олина.— Сам Господь вырезал на твоём лице крест!

Справиться с Олиной трудно, очень трудно, Ингер поневоле останавливается, ее удары ни к чему не приводят, они только утомляют ее. Но она продолжает грозить Олине, тычет вальком прямо ей в глаза, она еще задаст ей, так задаст, что она и своих не узнает!

— Куда подевался мой косарь, вот я сейчас покажу тебе!

Она встает, словно в поисках ножа, но яростный запал уже прошел, и она только с ожесточением ругается. Олина поднимается с пола и садится на скамейку, она вся в крови, лицо желто-синее, распухшее; откинув с лица волосы, она оправляет на голове платок, отплевывается; губы у нее вздулись.

— Тварь ты этакая!— говорит она.

— Рыщешь по лесу, вынюхиваешь,— кричит Ингер,— вот на что ты потратила это время, все-таки разыскала могилку. Но лучше бы ты заодно вырыла могилу и для себя.

— Ну, уж теперь погоди!— отвечает Олина, пылая жадной мести.— Больше я тебе ничего не скажу, но уж не видать тебе горницы с клетью и часов с музыкой!

— Это не в твоей власти!

— А уж об этом мы с Олиной позаботимся!

Обе женщины кричат что есть мочи. Олина не так груба и голосиста, о нет, она почти кротка в своей жестокой злости, но въедлива и страшна:

— Куда это мой узелок подевался, не иначе как оставила его в лесу. Можешь взять назад свою шерсть, не хочу я ее брать!

— А-а, ты, может, думаешь, что я ее украла?

— Ты сама знаешь, что сделала!

Они опять кричат. Ингер считает необходимым уточнить, с которой из своих овец она настригла эту шерсть, Олина спрашивает кротко и ласково:

— Пускай так, но почему мне знать, откуда у тебя взялась эта первая овца?

Ингер называет место и человека, у которого паслись ее первые овцы с ягнятами.

— Заткнула бы лучше свою пасть! — грозит она.

— Ха-ха-ха, — усмежается Олина. У нее на все готов ответ, и она не сдается: — Мою пасть? Вспомни-ка лучше про свою! — Она тычет пальцем в уродливое лицо Ингер, обзывая ее пугалом для Бога и людей. Ингер вся кипит от ярости и, так как Олина толстая, обзывает ее в ответ жирной тетехой.

— Эдакая подлая жирнюга! Ты еще получишь от меня благодарность за зайца, которого ты мне послала!

— За зайца! Да пусть это будет самый большой мой грех! Какой он был, этот заяц?

— Какой бывает заяц?

— Аккурат как ты. Точь-в-точь. Не надо бы тебе смотреть на зайцев.

— Убирайся! — кричит Ингер. — Это ты подослала Ос-Андерса с зайцем. Я упеку тебя на каторгу!

— На каторгу! Ты и в самом деле упомянула каторгу?

— Ты завидуешь мне во всем, прямо лопаешься от зависти, — продолжает Ингер. — Ты глаз не сомкнула с тех пор, как я вышла замуж и заполучила Исаака и все, что у меня есть! Господи Боже, Отец Небесный, и чего тебе от меня надо? Разве я виновата, что твои дети нигде не могут устроиться и никуда не годятся? Невмоготу тебе видеть, что мои дети здоровы, красивы и имена у них благороднее, чем у твоих, и разве моя в том вина, что они красивее и лицом и телом, чем твои!

Если что и могло взбесить Олину, так именно эти слова. У нее было много детей, вышли они такие, какие уродились, но она превозносила и расхваливала их, приписывая им достоинства, каких они вовсе не имели, и скрывая их недостатки.

— Что это ты мелешь? — ответила она Ингер. — Другая бы от стыда давно провалилась сквозь зем-

лю! Мои дети, да они супротив твоих — все равно что светлые ангелы Божьи. И ты еще смеешь говорить о моих детях? Сызмала все семеро были созданы Божьи, а теперь все уже большие и взрослые. Не твоя это работа!

— А твоя Лиза разве не угодила в тюрьму? — спрашивает Ингер.

— Она ничего не сделала плохого, она была невинна, как цветок, — отвечает Олина. — К тому же она замужем в Бергене и, не в пример тебе, ходит в шляпке!

— А что произошло с твоим Нильсом?

— Очень мне надо отвечать тебе. У тебя-то вон один лежит в лесу, что ты с ним сделала? Убила!

— Замолчи и убирайся вон! — вопит Ингер и опять бросается на Олину.

Но Олина не прячется, даже не встает. Эта неустрашимость, смахивающая на ожесточение, снова парализует Ингер, и она только говорит:

— Придется мне, видать, разыскать косарь!

— Не трудись, — советует Олина. — Я и сама уйду. Но коли уж ты дошла до того, что выгоняешь своих родичей, то кто ты после этого — просто тварь!

— Ступай, ступай уж!

Но Олина не уходит. Женщины еще долго бранятся, и всякий раз, как часы бьют полный час или половину, Олина язвительно улыбается, приводя тем самым Ингер в бешенство. В конце концов обе несколько успокаиваются, и Олина собирается уходить.

— Путь у меня длинный и ночь впереди, — говорит она. — Вот жалость-то, надо было мне захватить с собой еды из дому.

Ингер ничего на это не отвечает, она пришла в себя и наливает воды в чашку.

— На, оботрись, если хочешь! — говорит она Олине.

Олина понимает, что перед уходом надо привести себя в порядок, но, не зная, где у нее кровь, обтирает не те места. Ингер стоит молча, глядя на нее.

— Вот здесь, и на виске тоже! — говорит она. — Нет, на другом, ведь я же показываю!

— Почему мне знать, на какой висок ты показываешь! — отвечает Олина.

— И на губах тоже. Да ты что, никак, боишься воды? — спрашивает Ингер.

Кончается тем, что Ингер собственноручно умывает избитую противницу и швыряет ей полотенце.

— Что это я хотела сказать,— совершенно мирным тоном начинает Олина, утираясь.— Как-то Исаак и дети перенесут это?

— Разве он знает? — спрашивает Ингер.

— Неужто нет! Он подошел и увидел.

— И что сказал?

— Что он мог сказать! Лишился языка, как и я.

Молчание.

— Это ты во всем виновата! — жалобно вскрикивает Ингер и раздражается слезами.

— Дай Бог, чтоб у меня не было других грехов.

— Я спрошу у Ос-Андерса, можешь быть уверена!

— Спроси, спроси!

Они беседуют вполне спокойно, и кажется, у Олины немного поубавилось жажды мести. Она политик высокого класса и привыкла находить нужные решения, теперь она выказывает даже некоторое сострадание: если дело это выплывет наружу, очень жалко будет Исаака и детей.

— Да,— говорит Ингер и плачет еще сильнее.— Я все думаю и думаю об этом днем и ночью.

Олина тут же выступает в роли спасительницы, предлагая свою помощь. На все то время, что Ингер будет сидеть в тюрьме, она поселится в усадьбе.

Ингер уже не плачет, она разом прислушивается, обдумывая это предложение.

— Да не будешь ты смотреть за детьми.

— Это я-то не буду смотреть за детьми? Да что ты ерунду городишь!

— Прямо уж ерунду!

— Если у меня к чему и лежит сердце, так именно к детям.

— Да, к твоим собственным,— говорит Ингер,— а уж как ты станешь обращаться с моими? Как подумаю, что ты послала мне зайца, чтоб погубить меня, то одно только и могу сказать: ты большая грешница.

— Кто? Я? — спрашивает Олина.— Это ты про меня говоришь?

— Да, про тебя,— отвечает Ингер и опять плачет.— Ты поступила со мной как самая последняя тварь, и я тебе не верю. А кроме того, если будешь жить здесь, кончится тем, что ты уворуешь всю нашу шерсть. И все сыры пойдут на твою семью, а не на мою.

— Сама ты тварь! — говорит Олина.

Ингер плачет, то и дело вытирая глаза, изредка произносит фразу-другую. Олине, конечно, не след

навязываться, она может и дальше жить у своего сына Нильса. Но когда Ингер посадят в тюрьму, Исааку и невинным малюткам придется несладко. Олина же не прочь пожить здесь и присмотреть за ними. Она изображает все в радужных красках, вовсе не так уж все и плохо.

— Пока суть да дело, подумай об этом,—говорит она.

Ингер убита. Она не переставая плачет и качает головой, не поднимая глаз от пола. Как лунатик, выходит она в кладовку и выносит гостье узелок с припасами.

— Да нет, не беспокойся,—говорит Олина.

— Не идти же тебе голодной через перевал,—отвечает Ингер.

Когда Олина уходит, Ингер бредет к двери, выглядывает во двор, прислушивается. Нет, от каменоломни не доносится ни звука. Она подходит ближе и слышит, как дети играют в камешки. Исаак сидит, зажав между колен лом, опираясь на него как на посох. Так и сидит.

Ингер крадется на опушку леса. В одном месте неподалеку она врыла в землю маленький крест, крест повален, а там, где он стоял, дерн приподнят, и земля разрыта. Она садится и руками снова сгребает землю. Так и сидит.

Она пришла сюда из любопытства, взглянуть, как сильно раскопала Олина могилку, а сидит потому, что скотина еще не вернулась с пастбища домой. Она плачет и качает головой, уставясь в землю.

VII

Дни идут.

Погода стоит чудесная: то светит солнце, то перепадают дожди, по погоде и всходы. Новоселы почти закончили с покосом и собрали пропасть сена, для него не хватает уже места, они складывают сено под скальными выступами, в конюшне, под домом, освобождают сарай от всего, что в нем есть, набивая и его до крыши. Ингер работает на равных с мужем с утра до позднего вечера. Если случается быть дождю, Исаак пользуется всяким перерывом, чтобы поскорее подвести новый сарай под крышу и главное закончить южную стенку, чтобы убрать в сарай все сено. Дело подвигается быстро, авось он скоро с ним управится!

Случившаяся великая беда — да, она не забылась, деяние совершено, и последствий не избежать. Все хорошее

большей частью проходит бесследно, все злое всегда влечет за собой последствия. Исаак с самого начала отнесся к происшедшему очень разумно, он только и сказал жене:

— Как же ты это сделала?

На это Ингер ничего не ответила.

Немного спустя Исаак опять заговорил:

— Ты что же, задушила его?

— Да,— сказала Ингер.

— Зря ты это сделала.

— Да,— ответила она.

— И не пойму я, зачем ты это сделала?

— Она была вылитая я,— ответила Ингер.

— Как это?

— Такой же рот.

Исаак долго думал.

— Вон оно что,— промолвил он.

В тот день они больше об этом не говорили, и оттого, что дни проходили так же спокойно, как раньше, да к тому же столько накопили сена, которое надо было убрать, да ожидался такой же необыкновенный урожай, преступление мало-помалу отходило в их мыслях на задний план. Но все время оно висело над ними и над их кровом. Им не приходилось рассчитывать на молчание Олины, слишком уж оно было ненадежно. Но даже если б Олина и смолчала, заговорили бы другие, обрели бы дар слова немые свидетели — стены в избе, деревья вокруг маленькой могилки в лесу; Ос-Андерс возьмет да и намекнет об этом кое-кому, сама Ингер выдаст себя во сне или наяву. Они приготовились к самому худшему.

А что же было Исааку делать, как не принять все случившееся разумно? Он понимал теперь, почему Ингер каждый раз старалась остаться одна во время родов, одна пережить великий страх за рождение нормального ребенка, одна встретить опасность. Трижды проделывала она это. Исаак качал головой и жалел ее за злую долю. Бедняжка Ингер! Он узнал о посылке с зайцем, которую принес ей лопарь, и оправдал Ингер. Все это привело к великой нежности между ними, к сумасшедшей любви, опасность сблизила их; она была полна к нему грубоватой ласки, а он безумствовал и никак не мог насытиться ею, это он-то, мельничный жернов, чурбан! Она ходила в лопарских комагах, но лопарского в ней ничего не было, она не походила на маленьких, сморщенных лопарок, а наоборот, была стройная и высокая. Сейчас,

в летнюю пору, она ходила босая, высоко обнажив икры, и от этих голых икр Исаак не мог оторвать глаз.

Все лето она продолжала распевать псалмы и учить Элесеуса молитвам, но стала совсем не по-христиански ненавидеть всех лопарей и без стеснения выпроваживала тех, что проходили мимо их жилища.

— Может, вас подослал кто-нибудь, опять у вас, чего доброго, в мешке сидит заяц, ступайте себе мимо!

— Заяц? Какой такой заяц?

— Ты разве не слыхал, какую штуку выкинул Ос-Андерс?

— Нет.

— Ладно уж, я скажу тебе: он принес сюда зайца, когда я ходила тяжелая.

— Слыханное ли дело! Что ж, тебе вышел от этого какой-нибудь вред?

— Не твоя забота, ступай себе дальше. Вот возьми поесть и уходи подобру-поздорову!

— Не найдется ли у тебя кусочка кожи подложить под комаги?

— Нет. А вот жердью тебя угощу, если не уйдешь!

Лопарь, он клянчит тихо и смиренно, но если ему отказать, он копит в сердце зло и мстит. Однажды мимо хутора проходили двое лопарей с двумя детьми. Послали они детей в избу попросить подавания, те вернулись ни с чем, объяснив, что в избе никого нет. Все семейство постояло немножко возле дома, побормотало что-то по-лопарски, потом мужчина сам отправился посмотреть. Он долго не возвращался. Следом за ним пошла жена, потом дети, все они набились в избу, лопоча по-лопарски. Муж сунул голову в клеть, но и там никого не было. Начали бить часы, и все семейство как замороженное замерло на месте.

Почувяв, должно быть, во дворе чужих, Ингер поспешно сбежала с косогора, а увидев, что это лопари, и лопари совсем ей незнакомые, напрямик их спросила:

— Чего вам здесь надо? Разве вы не видели, что в доме никого нет?

— Как же,— говорит лопарь.

Ингер продолжает:

— Ступайте прочь!

Семейство медленно и неохотно пятится к выходу.

— Мы остановились послушать твои часы,— говорит мужчина,— они так замечательно играют.

— Не найдется ли у тебя ломтика хлеба для нас?— просит жена.

- Откуда вы?— спрашивает Ингер.
- Из-за озера, с той стороны. Всю ночь шли.
- А куда идете?
- За перевал.

Ингер идет и отбирает им съестного; когда она возвращается, жена принимается клянчить лоскуток на шапку, моток шерсти, кусочек сыру, все-то ей нужно! Ингер некогда, Исаак с детьми остались на сенокосе.

— Ступайте себе,— говорит она.

Женщина льстит:

— Мы видели твою скотину на пастбище, вот это скотина, чисто звезды на небе!

— Замечательная!— подхватывает и муж.— Не будет ли у тебя парочки старых комаг?

Ингер запирает дверь в избу и возвращается на косогор. Тогда мужчина кричит что-то, а она притворяется, будто не расслышала, и продолжает идти, но на самом деле она все хорошо расслышала.

— Правда ли, что ты покупаешь зайцев?

Как тут было не понять? Лопарь, может, задал вопрос и без всякой задней мысли, просто слышал от кого-нибудь про зайца, а может, спросил и со зла; но для Ингер, во всяком случае, это было не иначе как предупреждение. Предостережение судьбы...

Дни шли. Новоселы были люди здоровые, пусть будет что будет, они делали свою работу и ждали. Они жили тесно, бок о бок, как звери в лесу, спали, ели; вот уж и новой картошки отведали, и она оказалась крупной и рассыпчатой. Удар—почему же они медлят нанести удар? Стоял конец августа, скоро сентябрь, неужели они благополучно проживут и зиму? Они были все время начеку, каждый вечер они вместе заползали в свою берлогу, радуясь, что день прошел и ничего не случилось. Так время проползло до октября, когда к ним приехал ленсман, а с ним человек с портфелем. Через их порог шагнул закон.

Дознание заняло довольно много времени, Ингер допрашивали с глазу на глаз, она ничего не отрицала, могилу в лесу разрыли, труп вынули, забрали для вскрытия. Крошечный трупик был обернут в крестильное платье Элесеуса, на голове—расшитый бусинками чепчик!

Исаак снова обрел дар речи.

— Ну вот, теперь-то уж нам будет хуже некуда,— сказал он.— А я одно говорю: зря ты это сделала.

— Да,— ответила Ингер.

— Как же ты на это пошла?

Ингер молчала.

— И как у тебя рука поднялась!

— Она была точь-в-точь как я. Тогда я свернула ей лицо на сторону.

Исаак покачал головой.

— Она сразу и померла,— продолжала Ингер и зарыдала.

Исаак помолчал.

— Ну, ну, теперь поздно плакать,— сказал он.

— У нее были темные волосики на затылке,— всхлипывала Ингер.

На этом все и кончилось.

И опять пошли дни. Ингер не арестовали, начальство отнеслось к ней милостиво, ленсман Хейердал допрашивал ее, как стал бы допрашивать всякого другого, и только сказал:

— Печально, что случаются такие вещи!

На вопрос Ингер, кто на нее донес, ленсман ответил, что никто в отдельности, но слышал он об этом деле с разных сторон от многих. Не выдала ли она себя сама какому-нибудь лопарю?

Ингер: да, она рассказывала каким-то лопарям, как Ос-Андерс пришел к ней середь лета с зайцем, и от этого у ребенка, которого она носила под сердцем, сделалась заячья губа. А не Олина ли послала зайца?

Ленсман этого не знал. Но если даже и так, он все равно не стал бы заносить в протокол пример такого невежества и суеверия.

— Моя мать тоже увидела зайца, когда меня носила,— сказала Ингер...

Овин был готов, он вышел большим, с сеновалами по обоим концам и гумном посредине. Сарай и прочие временные склады очистили, а сено снесли в овин, ячмень сжали, высушили на жердинах и тоже свезли в овин, Ингер повыдергала морковь и репу. Все было убрано. Теперь только бы жить да радоваться, у новоселов всего припасено вдоволь, Исаак опять принялся распахивать до заморозков новь, увеличивая ячменное поле,— настоящий он был пахарь; но в ноябре Ингер сказала:

— Сейчас ей бы исполнилось полгода, и она бы уже всех нас узнавала!

— Теперь уж ничего с этим не поделаешь,— отвечал Исаак.

Зимой Исаак молотил ячмень в новом овине, а Ингер долгими часами, пока дети играли на сеновале, работала с ним рядом, орудуя цепом не хуже его. Зерно выдалось крупное и полновесное. К новому году установился отличный санный путь. Исаак начал возить дрова в село, у него были уже постоянные покупатели, хорошо платившие за дрова летней сушки. Однажды он сговорился с Ингер взять поеного бычка от Златорожки и свезти его вместе с козым сыром мадам Гейслер. Мадам пришла в восторг и спросила, сколько все это стоит.

— Ничего,— отвечал Исаак.— Ленсман заплатил за все.

— Благослови его Господь, неужели заплатил!— сказала мадам Гейслер и совсем растрогалась. Она послала Элесеусу и Сиверту книжек с картинками, игрушек и печенья. Когда Исаак вернулся домой и Ингер увидела подарок, она отвернулась и заплакала.

— Что с тобой?— спросил Исаак.

— Ничего. Вскорости ей был бы годик, и она бы уж все понимала!— отвечала Ингер.

— Да, но ты ведь знаешь, какая она уродилась,— сказал Исаак, желая ее утешить.— А кроме того, может, все еще и обойдется. Я разузнал, где сейчас Гейслер.

Ингер подняла голову.

— Разве он может помочь?

— Не знаю.

Потом Исаак повез ячмень на мельницу, смолол его и вернулся домой с мукой. А там опять принялся за рубку леса, заготавливая дрова на будущий год. Жизнь его проходила в смене одной работы на другую в зависимости от времен года, от земли к лесу и от леса опять к земле. Миновало уже шесть лет, как Исаак работал на своем хуторе, а Ингер— пять, все могло бы быть хорошо, если б так продолжалось и дальше. Но этому не суждено было быть. Ингер ткала и ходила за скотом, она так же усердно пела псалмы, но, Господи, по части пения она была что колокол без языка.

Как только установился путь, ее вызвали в село для допроса. Исааку пришлось остаться дома. Пока он оставался один, он надумал съездить в Швецию и разыскать Гейслера, может, добрый ленсман опять пожалеет жителей Селланро. Но когда Ингер вернулась, оказалось, что она уже обо всем разузнала, справилась и насчет приговора: согласно параграфу первому, ей полагается

пожизненное заключение. Да, она встала в самом святилище правосудия и откровенно во всем призналась, двое свидетелей из деревенских смотрели на нее жалостливо, а судья допрашивал очень ласково; но все равно ей было не устоять перед светлыми головами законников. Высокопоставленные судейские господа такие искусники, они знают всякие параграфы, выучили их наизусть и все помнят, вот какие у них светлые головы. Но и они не без здравого смысла, даже и не без сердца. Ингер не могла пожаловаться на правосудие; она не рассказала про зайца, но когда, вся в слезах, призналась, что пожалела свое уродливое дитя и потому лишила его жизни, судья тихонько и серьезно кивнул головой.

— Но у тебя самой заячья губа,— сказал он,— а ведь ты же хорошо устроилась?

— Да, слава Богу,— ответила Ингер. И ничего не рассказала о тайных страданиях, пережитых в детстве и юности.

Но судья все-таки, должно быть, кое-что понял, он сам был хромоногий и не мог танцевать.

— Приговор... право, не знаю!— сказал он.— Собственно, полагается пожизненное заключение. И я не знаю, можем ли мы понизить срок и насколько, вторую ли взять нам ступень или третью— с пятнадцати лет до двенадцати или с двенадцати до девяти. Сейчас заседает комиссия по смягчению уложения о наказаниях, пока еще решения не принято. Но будем надеяться на лучшее,— сказал он.

Ингер вернулась домой в тупом спокойствии, арестовать ее признали ненужным. Прошел месяц-другой, и вот однажды вечером Исаак, вернувшись с рыбной ловли, узнал, что в Селланро побывали ленсман и новый пристав. Ингер встретила Исаака радостно и расхвалила его, хотя рыбы он принес совсем мало.

— Что это я хотел сказать, у нас тут были гости?— спросил он.

— Гости? Ты о ком?

— Я вижу свежие следы перед домом. Кто-то ходил тут в сапогах.

— Никого чужих не было, кроме ленсмана и еще одного с ним.

— Так. Чего же им было нужно?

— Сам знаешь.

— Они приезжали за тобой?

— Ну вот, за мной! Они просто привезли приговор. И скажу тебе, Исаак, Господь милостив к нам, все вышло не так, как я боялась.

— Ну,—в волнении проговорил Исаак,—значит, не так уж надолго?

— Да, всего несколько лет.

— Сколько же?

— Тебе, наверно, покажется, что много, но я-то благодарна Господу на всю жизнь!

Ингер так и не сказала, на сколько ее приговорили. Позже вечером Исаак спросил, когда за ней приедут, но она не знала или не хотела сказать. Она опять стала задумчива и все повторяла, что не представляет себе, как все пойдет без нее, наверное, придется все-таки взять Олину. Исаак тоже ничего другого не мог придумать. Да, кстати, куда же девалась Олина? Против обыкновения она в этом году не наведлась в Селланро. Неужто она всерьез решила не показываться у них после того, как все им расстроила? Наступил перерыв в работах, но Олина не объявлялась. Ждет, поди, чтоб за ней послали! Небось все равно придет побираться, тварь этакая!

Наконец Олина явилась. Господи, вот ведь человек, пришла как ни в чем не бывало, словно ничего и не произошло, сказала даже, что принесла Элесеусу пару чулок с каемкой.

— Захотелось мне посмотреть, как вы тут поживаете за перевалом,—заявила она.

Оказалось, она к ним надолго, а мешок со своими пожитками опять оставила в лесу.

Вечером Ингер отвела мужа в сторону и сказала:

— Ты, кажется, хотел попробовать разыскать Гейслера? Сейчас-то аккурат самое время.

— Да,—ответил Исаак,—раз Олина здесь, могу пойти завтра же с утра.

Ингер очень обрадовалась.

— Да захвати с собой все деньги, какие у тебя есть.

— Ты разве не можешь их спрятать?

— Нет.

Ингер сейчас же приготовила большую торбу с едой, а Исаак встал среди ночи и собрался в путь. Ингер проводила его на крыльцо и не плакала, не жаловалась, а только сказала:

— Дело в том, что за мной могут приехать в любой день.

— Ты что-нибудь знаешь?

— Откуда мне знать! Плядишь, это и не сейчас еще будет. Только бы ты нашел этого Гейслера, он, верно, что-нибудь присоветует!

Что теперь мог сделать Гейслер? Ничего. Но Исаак пошел.

Да, только... только Ингер наверняка кое-что знала, может, она же сама и позаботилась послать за Олиной. Когда Исаак вернулся из Швеции, Ингер уже увезли. При детях осталась Олина.

Для Исаака это была тяжелая весть.

— Она уехала? — громко спросил он.

— Да, — ответила Олина.

— В какой день это было?

— На другой день после того, как ты ушел.

Исаак понял, что Ингер снова решила остаться одна в решительную для нее минуту, оттого-то и велела ему взять с собой все деньги. Ох, а Ингер и самой, наверно, понадобилась бы кое-какая мелочь в дальнюю дорогу!

Но вышло так, что мальчуганы сейчас же занялись маленьким желтеньким поросенком, которого Исаак привез с собой. Впрочем, больше ничего он и не привез! Имевшийся у него адрес Гейслера устарел, Гейслера в Швеции не было, он вернулся в Норвегию и жил в Тронхейме. А поросенка Исаак нес на руках всю дорогу из Швеции, кормил его молоком из бутылки и клал спать к себе на грудь; ему хотелось порадовать Ингер, и вот теперь с ним играют и забавляются Элесеус и Сиверт. Это несколько развеселило Исаака. Вдобавок Олина сказала: ленсман просил передать ему, что казна согласилась наконец продать Исааку Селланро и ему надо только прийти к ленсману в контору и заплатить деньги. Это было хорошее известие, оно вывело Исаака из его тяжкого уныния. Несмотря на страшную усталость, он положил в торбу припасов и сейчас же отправился в село. Наверное, в нем тлела маленькая надежда, что он еще успеет захватить там Ингер.

Сорвалось, Ингер уехала на восемь лет. На душе у Исаака стало пусто и мрачно, он едва слышал, что говорил ленсман: печально, что случаются такие вещи. Он надеется, что Ингер это послужит хорошим уроком, она изменится, исправится и не будет больше убивать своих детей!

Ленсман Хейердал в прошлом году женился. Жена его не хотела быть матерью, решив не иметь детей, благодарю покорно! У нее их и не было.

— Наконец-то мы можем покончить с делом Селланро,— сказал ленсман.— Королевское министерство согласилось на продажу приблизительно на тех условиях, что я предложил.

— Так,— сказал Исаак.

— Тянулось оно долго, но меня утешает, что мои труды не пропали даром. Все, что я изложил, прошло почти точка в точку.

— Точка в точку,— повторил Исаак и кивнул головой.

— Вот купчая, тебе остается затвердить ее на первом же заседании суда.

— Ладно,— сказал Исаак.— А сколько мне придется платить?

— Десять далеров в год. В этот пункт министерство внесло маленькое изменение — десять далеров в год вместо пяти. Не знаю, как ты к этому отнесешься.

— Только бы мне справиться,— сказал Исаак.

— Срок — десять лет.

Исаак испуганно поглядел на него.

— Иначе министерство не соглашается,— сказал ленсман.— Да это, в сущности, вовсе и не цена за такой большой участок, обработанный и обустроенный, как у тебя.

Десять далеров на этот год у Исаака имелись, он выручил их за дрова и за козий сыр, который сделала Ингер. Он уплатил деньги, и еще немножко осталось.

— Прямо счастье для тебя, что министерство не проведало о преступлении твоей жены,— сказал ленсман,— а не то, может статься, передало бы участок кому-нибудь другому.

— Так,— сказал Исаак и спросил: — Стало быть, она и впрямь на восемь лет уехала?

— Да, тут уж ничего не поделаешь, правосудие должно совершиться. Впрочем, приговор ей вынесли мягче мягкого. Теперь тебе остается одно: проведи четкие границы между своим участком и казней. Выруби лес и кустарник по прямой линии по тем вехам, что я расставил и отметил в протоколе. Дрова пойдут в твою пользу. Я приеду немного погодя посмотреть.

Исаак отправился домой.

VIII

Быстро ли идут годы? Да, для того, кто состарился.

Исаак не был стар и немощен, для него годы тянулись долго. Он работал на своей усадьбе, предоста-

вив железной своей бороде расти, как ей заблагорассудится.

Временами череду однообразных дней в этом пустынном уголке нарушал мимохожий лопарь или какое-нибудь происшествие с одним из домашних животных, потом все снова шло по-старому. Однажды к ним пожаловала целая толпа мужчин, они сделали привал в Селланро, поели, попили молока, расспросили Исаака и Олину о тропинке через горы, сказав, что идут проводить телеграфную линию, а в другой раз приехал Гейслер — сам Гейслер. Он беспрепятственно пришел из села в сопровождении двух людей, нагруженных горным инструментом, заступами и мотыгами.

Ох уж этот Гейслер! Он был все такой же, как раньше, нисколько не изменился, поздоровался, поговорил с детьми, вошел в избу, опять вышел, оглядел землю, заглянул на скотный двор, на сеновал.

— Превосходно! — сказал он. — У тебя еще сохранились те камешки, Исаак?

— Какие камешки? — переспросил Исаак.

— Те мелкие тяжелые камни, с которыми твой мальчуган играл в тот раз, когда я был здесь?

Камни оказались в кладовке, они лежали вместо гирек на мышеловках, их тотчас принесли. Ленсман и двое чужаков стали их рассматривать и обсуждать, постукивали по ним, взвешивали на руке.

— Медная лазурь! — сказали они.

— Можешь пойти с нами в горы и показать, где ты нашел эти камни? — спросил ленсман.

Все вместе отправились в горы, и хоть идти было недалеко, они все-таки проходили там несколько дней, взрывая в поисках металлоносных жил скалы. Домой вернулись с двумя торбами, битком набитыми каменной мелочью.

Исааку удалось заодно поговорить с Гейслером обо всех своих обстоятельствах, о покупке участка, который обошелся в сто далеров, вместо пятидесяти.

— Ну, это не играет никакой роли, — легкомысленно бросил Гейслер. — У тебя в горах ценностей, может быть, на тысячи.

— Ну! — сказал Исаак.

— Только ты как можно скорее затверди купчую.

— Ладно.

— А не то, понимаешь, казна начнет с тобой тяжбу. Исаак понял.

— Но самая большая беда у меня с Ингер,— сказал он.

— Да,— отозвался Гейслер и непривычно для себя надолго задумался.— Пожалуй, можно бы добиться пересмотра дела. Если все как следует прояснить, ей, глядишь, немножко сбавят наказание. А то можно подать прошение о помиловании, и тогда мы добьемся того же, но только скорее.

— Вы так считаете?

— Но просить о помиловании еще рано. Надо, чтоб прошло некоторое время. Что это я хотел сказать? Ах да, ты ведь отвез моей семье мяса и козьего сыра — сколько я тебе должен?

— Нисколько, вы и так уже мне много заплатили.

— Я?

— Вы ведь так помогли нам.

— Ну нет,— отрезал Гейслер и выложил на стол несколько далеров.— Возьми! — сказал он.

Этот человек ничего не хотел брать задаром, и денег у него опять было как будто вдоволь, бумажник был набит бумажками. Бог весть, так ли уж у него все замечательно.

— Она пишет, что живется ей хорошо,— продолжал Исаак, весь в мыслях о своем.

— А-а, твоя жена-то?

— Да. А с тех пор, как у нее родилась девочка... у нее ведь родилась большая и здоровенькая девочка...

— Превосходно!

— Да, с тех пор все помогают ей и, говорят, относятся к ней хорошо.

Гейслер сказал:

— Я пошлю эти камешки специалистам и узнаю, что в них есть. Если в них окажется много меди, ты получишь много денег.

— Так,— кивнул Исаак.— А через сколько времени, по-вашему, можно подать прошение о помиловании?

— Немного погодя. Я напишу за тебя. Скоро опять приеду. Ты сказал, твоя жена родила уже после того, как уехала отсюда?

— Да.

— Значит, ее увезли беременной. А этого делать они не имели права.

— Так.

— Это лишний повод, чтоб выпустить ее через некоторое время.

— Вот хорошо-то было бы! — с благодарностью проговорил Исаак.

Исаак не знал, что властям уже пришлось сочинить много длинных бумаг по поводу беременности его жены. В положенное время ее не арестовали по месту жительства по двум причинам: за неимением в селе арестного дома и из мягкосердия. Последствия оказались неожиданными. Когда за Ингер все же приехали, никто не осведомился о ее состоянии, и сама она тоже ничего не сказала. Может, она промолчала умышленно, чтоб иметь при себе ребенка в предстоящие тяжелые годы: если она будет хорошо вести себя, наверно, ей позволят когда-нибудь с ним повидаться. А может, она просто отупела и равнодушно примирилась с тем, чтобы ее увезли, не смотря на ее положение...

Исаак трудился не покладая рук — корчевал пни, пахал землю, прорубил в лесу границы между своим участком и казной, дров опять набралось на целый год. Но так как при нем уже не было Ингер, ради которой стоило бы стараться, то он лез из кожи больше по привычке, чем ради удовольствия. Он пропустил уже два судебных заседания, так и не засвидетельствовав купчей, — не лежало у него к этому сердце, — и только нынче осенью наконец собрался это сделать. Не так уж все хорошо было у него. Терпеливый и упорный — все верно, но он был терпелив и упорен, потому что так уж привык жить. Он снимал козьи и телячьи шкуры, вымачивал их в реке, обкладывал корой, выделывал на изготовку обуви. Зимой уже с первой молотбы он отбирал семена для будущей весны — пусть это будет сделано, куда как лучше, когда все сделано вовремя, он был человек порядка. Но жизнь его стала серой и одинокой, о-ох, Господи, как был, так и есть — бобыль бобылем.

Что за радость ему теперь сидеть по воскресеньям в нарядной красной рубахе, в горнице, когда не для кого стало наряжаться! Воскресенья тянулись дольше всех дней, они осуждали его на праздность и печальные мысли, ему ничего не оставалось, как только бродить по усадьбе, соображая, что еще осталось сделать. Всякий раз он брал с собой мальчуганов, неся одного из них на руках. Приятно было слушать их болтовню и отвечать на их вопросы.

Старуху Олину он держал при себе, потому что никого другого больше не было. Что и говорить, иметь в доме Олину было вовсе не так уж плохо, она чесала

шерсть и пряла, вязала чулки и варежки и тоже варила козий сыр; но рука у нее была несчастливая и работала она без любви, потому что ничто из того, к чему она прикасалась, ей не принадлежало. Вот, например, купил как-то Исаак у торговца, еще при Ингер, очень хорошенькую коробочку, она стояла на полке, затейливая глиняная коробочка с собачьей головой на крышке, должно быть, табакерка; сняла как-то Олина крышку с коробочки и уронила на пол. Ингер отсадила в ящик несколько отводков фуксии, прикрыв их стеклом; Олина подняла стекло и положила опять на место, но как-то неловко и слишком плотно,—на следующий день все отводки погибли. Исааку, верно, неприятно было глядеть на все это, он, должно быть, и скривился, а так как с виду он и без того был не особенно кроткий, то, пожалуй, выражение лица у него стало не очень-то доброе. Но Олину так просто не возьмешь.

— Не нарочно ведь! — буркнула она.

— Знаю,— ответил Исаак,— но ты бы лучше не трогала.

— Больше я не прикоснусь к ее цветам,— сказала Олина. Но они уже все равно погибли.

И почему это лопари стали теперь захаживать в Селланро гораздо чаще, чем прежде? Ос-Андерс—какие-такие у него тут дела, неужто он не может просто пройти мимо? За одно лето он дважды ходил через перевал, а ведь у Ос-Андерса не было оленей, за которыми надо присматривать, он кормился подаванием и жил из милости у других лопарей. Стоило ему появиться на хуторе, как Олина тотчас бросала работу и принималась сплетничать с ним о знакомых сельчанах, а когда он уходил, мешок у него бывал туго набит всякой всячиной. Исаак угрюмо молчал два года.

Но вот Олине опять понадобились новые ботинки, и тут уж он не стал молчать. Была осень, Олина же каждый день трепала ботинки, вместо того чтоб ходить в комагах или деревянных башмаках. Исаак сказал:

— Нынче хорошая погода. Гм! — Это для начала.

— Да,— ответила Олина.

— Послушай-ка, Элесеус, разве утром на полке было не десять сыров? — спросил Исаак.

— Да, десять,— ответил Элесеус.

— А сейчас только девять.

Элесеус снова пересчитал сыры, задумался ненадолго и вдруг вспомнил:

— Ну да, а еще тот, что унес Ос-Андерс, вот и будет десять.

В горнице воцарилось молчание. Маленький Сиверт тоже принялся считать и повторил за братом:

— Вот и будет десять.

Снова воцарилось молчание. Олине ничего не оставалось, как объяснить:

— И что из того, что я дала ему крошечный сырок? А детям еще рано соваться не в свои дела. Теперь-то понятно, в кого они уродились! И уж точно, что не в тебя, Исаак.

На этот намек никак нельзя было не ответить.

— Дети такие, как надо. А вот ты скажи мне, какие такие благодеяния оказал Ос-Андерс мне и моей семье?

— Благодеяния? — переспрашивает Олина.

— Да.

— Он-то, Ос-Андерс? — говорит она.

— Да. За что это я должен давать ему козьи сыры?

Но Олина уже пришла в себя и дает следующий ответ:

— Господь с тобой, Исаак! Да разве это я привадила Ос-Андерса? Помереть мне на этом месте, если я когда с ним заговаривала!

Блестяще. Исаак вынужден сдаться, как и много раз прежде.

Олина же и не думает сдаваться!

— А коли я должна ходить на зиму глядя босая и не иметь божеской обуви на ноги, то ты мне так и скажи. Я говорила тебе про ботинки и три и четыре недели назад, но их и в помине нет, а я как ходила босая, так и хожу.

— А что такое приключилось с твоими деревянными башмаками, что ты их не носишь? — спрашивает Исаак.

— Что с ними приключилось? — недоумевает Олина.

— Да, позволь спросить.

— С деревянными башмаками?

— Да.

— Ты вот не заговариваешь о том, что я чешу шерсть и пряду, и хожу за скотиной, и держу детей в чистоте, об этом ты не заговариваешь! А ведь и жена твоя, которая попала в тюрьму, даже та, кажись, не ходила босиком по снегу.

— Она ходила в деревянных башмаках, — ответил Исаак. — А когда шла в церковь или к приличным людям, надевала комаги, — сказал он.

— Да, да, — отозвалась Олина, — этак ведь куда роскошней!

— Вот-вот. А летом вкладывала в комаги сухую осоку. Ты же круглый год расхаживаешь в чулках и ботинках! Олина сказала:

— Что до этого, так мои деревянные башмаки, наверное, скоро вконец износятся. Вот уж не думала, что стану стаптывать такие хорошие башмаки ради чужих дел.— Она говорила тихим елейным голосом, глаза у нее были полузакрыты, а вид ласковый и коварный.— Эта твоя Ингер,— продолжала она,— мы ее звали подкидышем,— она только и знала, что терлась около моих детей и научилась кой-чему за все те годы. И вот теперь нам за это благодарность. Моя дочь в Бергене ходит в шляпке, может, и Ингер тоже поехала на юг, в Тронхейм, чтоб купить себе шляпку, хе-хе.

Исаак встал, намереваясь уйти. Но Олина уже дала волю своему сердцу, всей своей годами копившейся черной злобе, вся она была словно воплощение тьмы и мрака; ни у одной из ее дочерей, заявила она, лицо не разорвано, словно у мечущего пламя хищного зверя, вот и вышли они честные и добропорядочные. Не все ведь так хватко умеют убивать детей!

— Поосторожнее! — крикнул Исаак и, чтоб прояснить свою мысль, прибавил: — Экая чертова баба!

Но Олина и не собиралась осторожничать, ха-ха-ха! — Олина ухмыльнулась, закатила глаза к потолку, давая понять, какое это, в сущности, безобразие — ходить себе как ни в чем не бывало с заячьей губой среди других людей. Надо же иметь совесть!

Исаак был несказанно рад, когда ему удалось наконец вырваться из дома. И что же ему оставалось делать, как не купить Олине ботинки? Один в этой лесной глухомани, он не мог, как другие равные богам счастливы, скрестить руки на груди и заявить служанке: «Уйди!» Столь ему необходимая, она была в полной безопасности, что бы ни сказала и что бы ни сделала.

Ночи стоят прохладные и лунные, болота застывают так, что при необходимости могут выдержать и человека, за день солнце опять растапливает их, и они снова становятся непроходимыми. В одну из таких холодных ночей Исаак отправляется в село заказать Олине ботинки. Он несет с собой два козьих сыра для мадам Гейслер.

На полдороге к селу уже поселился новый сосед. Должно быть, человек со средствами: дом ему строили плотники из села, и вдобавок он нанял работника

вспахать полосу песчаной земли под картошку; сам он работал мало, а то и вовсе не работал. Это был Бреде Ольсен, подручный ленсмана и пристав, к которому обращались всякий раз, когда надо было послать за доктором или когда жена пастора собиралась заколоть свинью. Ему еще не исполнилось и тридцати, а кормить приходилось четверых детей, не считая жены, которая и сама-то была не лучше ребенка. Да, средств у Бреде было, верно, не очень много, не много наживешь, служа всем затычкой да разъезжая по округе и составляя описи за недоимки; и вот он решил заняться земледелием. Под дом свой на хуторе он взял ссуду в банке. Участок его назывался Брейдаблик, это жена ленсмана Хейердала придумала такое красивое название.

Исаак быстро проходит мимо, не завернув к соседу, но окно в доме облеплено детскими лицами, хотя еще совсем рано. Исаак торопится, ему хочется следующей ночью дойти до этого же места. Человеку в глуши много есть о чем подумать и ко многому приходится приспособливаться. Сейчас у него на уме не столько работа, как он скучает по мальчуганам, оставшимся дома с Олиной.

Дорогой он вспоминает, как впервые появился в этих местах. Время идет своей чередой, последние два года тянулись долго; много чего было хорошего в Селланро, кое-чего было и плохого, о-ох, Господи! Вот, стало быть, и еще один хуторок появился в тутошной глуши, Исаак признал это место, одно из тех удобных мест, которые он сам отыскал тогда на своем пути, но в конце концов прошел мимо. Оно ближе к селу, это правда, но лес здесь не так хорош; местность ровная, но болотистая; землю легко поднять, но трудно копать. Вспаханное болото еще ведь не поле! И что это значит, неужто Бреде не думает устроить навес сбоку сеновала для инструмента и повозок? Исаак заметил, что телега стоит посреди двора, под открытым небом.

С сапожником он обо всем договорился, а мадам Гейслер, оказывается, уехала, поэтому сыры он продал торговцу. Вечером он отправляется домой. Мороз все крепчает, так что идти легко, но на душе у Исаака тяжело. Бог весть когда теперь придет Гейслер, раз и жена его уехала, может, вовсе никогда не вернется. Ингер нету, а время идет.

На обратном пути он тоже не заходит к Бреде, нет, он делает крюк и обходит Брейдаблик стороной. Ему не

хочется ни с кем говорить, только бы идти. «А телега-то у Бреде все еще стоит на дворе, пожалуй, так и останется на зиму!» — думает он. Ну да, каждому свое! Вот у него самого, у Исаака, и телега есть, и навес для нее, а лучше ли ему от этого? Дом у него только наполовину дом, был когда-то целым, а теперь только половина осталась.

Когда среди дня он наконец издали видит свой дом на откосе, на душе у него светлеет, хотя он устал и измучен после двух суток пути: дом стоит как стоял, из трубы вьется дым, оба мальчика играют на дворе; едва завидев его, они бегут ему навстречу. Он входит в избу, в горнице сидят два лопаря, Олина в удивлении встает со скамейки.

— Что это? Ты уж вернулся? — говорит она. Она варит кофе на плите. Кофе? Кофе!

Исаак и раньше замечал: когда к ним приходил Ос-Андерс или другие лопари, Олина варила кофе в маленькой Ингеровой кастрюльке. Она варит его и тогда, когда Исаак работает в лесу или в поле, если же он неожиданно приходит домой и видит это, она молчит. Но он знает, что всякий раз у него становится одним козьим сыром или мотком шерсти меньше. И потому у него хватает мудрости не поднимать руку на Олину за ее низость. В общем, Исаак старается быть все добрее и добрее, ради чего бы он это ни делал — то ли ради мира в доме, то ли в надежде, что Бог за это скорее возвратит ему Ингер. Он склонен к раздумьям и предрассудкам, даже его крестьянское лукавство искренне и простодушно. Осенью оказалось, что дерновая крыша в конюшне начала протекать над лошадью; Исаак пожевал-пожевал свою железную бороду, а потом улыбнулся, словно сообразив, в чем штука, и заложил крышу тесинами. У него не вырвалось ни одного сердитого слова. Другой пример: кладовая, в которой он держал съестные припасы, стояла на высоких каменных подпорках по углам. Мелкие птицы залетали в нее сквозь большие отверстия в каменной кладке и метались, не находя выхода. Олина жаловалась, что воробьи клюют провизию, портят и пачкают сало. Исаак сказал:

— Плохо, что птицы залетают, а вылететь не могут! — И в разгар спешной работы наломал камней и заложил отверстия.

Бог знает, что он думал при этом, может, надеялся, что Ингер скорее вернется к нему, если он будет совершать добрые поступки.

Годы идут.

Опять приехал в Селланро инженер с бригадиром и двумя рабочими, и опять они собирались вести через горы телеграфную линию. Судя по всему, теперь линия пройдет чуть выше усадьбы, в лесу предполагалось прорубить широкую просеку, ну что ж, это неплохо, здесь станет не так пустынно, мир ярким светом ворвался и сюда.

Инженер сказал:

— Тут будет центральный пункт между двух долин, тебе, может быть, предложат надзор за линией по обе стороны.

— Так,— сказал Исаак.

— Получать будешь двадцать пять далеров в год.

— Так,— сказал Исаак,— а что мне за это придется делать?

— Держать линию в порядке, чинить провода, если они порвутся, корчевать кусты, которые растут на линии. У тебя на стене будет висеть маленькая машинка, которая показывает, когда надо выходить на линию. И тогда бросай все свои занятия и иди.

Исаак призадумался.

— Я мог бы взять эту работу на зиму,— сказал он.

— На весь год,— возразил инженер,— разумеется, на весь год, и на зиму и на лето.

Исаак заявил:

— Весной, летом и осенью у меня полно работы на земле, ни на что другое времени нет.

Инженер добрую минуту смотрел на него, а после задал удивительный вопрос:

— Да разве ты на этом больше выгадаешь?

— Выгадаю?— переспросил Исаак.

— Разве ты больше заработаешь на земле за те дни, когда будешь обходить линию?

— Вот уж этого я не знаю,— ответил Исаак.— Только ведь живу-то я здесь ради земли. У меня большая семья, много скотины, всех надо прокормить. Мы живем землей.

— Ну что ж,— сказал инженер,— я могу предложить это место кому-нибудь другому.

Угроза эта, видимо, принесла Исааку большое облегчение, ему вовсе не хотелось обижать важного барина, и он поспешил объяснить:

— У меня ведь лошадь и пять коров, да еще бык. Два десятка овец и шестнадцать коз. Скотина дает нам пищу, и шерсть, и кожи, надо же ее кормить.

— Ясно,— коротко кивнул инженер.

— Да-да. Вот я и не знаю, как добуду ей корм, если в самую страду придется за телеграфом смотреть.

Инженер сказал:

— Не будем больше говорить об этом. Поручим надзор вашему соседу, Бреде Ольсену, он, наверное, с радостью согласится.— Инженер повернулся к своим спутникам: — Идемте дальше, ребята!

Олина по тону разговора верно поняла, что Исаак заупрямился, сделал глупость, и обрадовалась.

— Что это ты сказал, Исаак: шестнадцать коз? А ведь их сейчас только пятнадцать.

Исаак посмотрел на нее. И Олина тоже посмотрела прямо ему в глаза.

— Разве коз не шестнадцать?— спросил он.

— Нет,— ответила она и беспомощно взглянула на присутствующих, как бы подчеркивая его бестолковость.

— Так,— тихонько протянул Исаак. Он закусил зубами бороду и стал грызть ее.

Инженер и его спутники ушли.

Вздумай Исаак выразить Олине свое неудовольствие или, чего доброго, искалечить ее, то ему представлялся удобный случай, о, замечательный случай, они были в горнице одни, мальчики побежали провожать приезжих. Исаак стоял посреди комнаты, Олина сидела возле печки. Исаак дважды откашлялся, показывая, что собирается заговорить. Но он молчал, проявив этим свою душевную силу. Неужто он не знает собственных коз как свои пять пальцев? С ума сошла эта баба, что ли! И как это может пропасть из хлева хоть одна животина, когда он самолично ухаживает за ними и ежедневно со всеми разговаривает, со всеми шестнадцатью козами наперечет! Значит, Олина наверняка стащила одну козу, когда вчера сюда приходила женщина из Брейдаблика.

— Гм!— сказал Исаак, едва удерживаясь от искушения сказать что-нибудь еще. Что же сделала Олина? Может, и не прямое убийство, но не очень далеко от того. Для Исаака пропажа шестнадцатой козы была вопросом страшной серьезности.

Но не мог же он век стоять посреди горницы и молчать. Вот он и сказал:

— Гм. Так сейчас всего пятнадцать коз?

— Да,— кротко ответила Олина.— Посчитай сам, у меня больше пятнадцати не набирается.

Вот теперь, в эту самую минуту, он смог бы это сделать: протянуть руку и значительно изменить фигуру Олины одним хорошим тычком. Мог. Но не стал, а вместо этого храбро произнес, идя к двери:

— Сейчас я больше ничего не скажу!— И с этими словами вышел из комнаты с таким видом, как будто в следующий раз за этим дело не станет.

— Элесеус!— крикнул он.

Где Элесеус, куда подевались оба парнишки? Отец хотел обратиться к ним с вопросом, они уже большие мальчики, могли видеть, что делается в доме. Он обнаружил их под овином, они забились в самую глубину, снаружи их не видать, и выдали себя лишь боязливым шепотом. И вот они выползли на свет, словно два преступника.

Оказалось, что Элесеус нашел огрызок цветного карандаша, забытый инженером, а когда побежал отдать его, взрослые, широко шагавшие мужчины, были уже далеко в лесу; Элесеус остановился. У него явилась мысль, что, пожалуй, недурно бы оставить карандаш себе. Он кликнул маленького Сиверта, чтоб вместе решить это дело, и оба заползли со своей добычей под овин. Ну что за карандашик!— замечательное событие в их жизни, просто чудо! Они набрали щепок и исписали их значками, а карандаш писал с одного конца красным, с другого— синим; ребяташки писали поочередно. Когда отец стал настойчиво и громко звать их, Элесеус прошептал:

— Небось вернулись за карандашом!— Радость сразу померкла, ее точно вымело из души, их маленькие сердечки сильно забились, застучали. Братья выползли наружу. Элесеус протянул отцу руку с карандашом: вот он, они его не сломали, но лучше бы он никогда не попадался им на глаза!

Никакого инженера во дворе не оказалось. Сердца их опять успокоились, после пережитого волнения они вновь ощутили райское блаженство.

— Здесь вчера была женщина,— сказал отец.

— Да, а что?

— Соседка снизу. Вы видали, как она уходила?

— Да-а!

— Была с ней коза?

— Нет,— сказали мальчики.— Коза?

— С ней была коза, когда она уходила домой?

— Нет. Какая коза?

Исаак погрузился в размышления.

Вечером, когда скотина вернулась с пастбища, он пересчитал коз, их оказалось шестнадцать. Он пересчитал их снова, он пересчитывал их пять раз — коз было шестнадцать. Ни одна не пропала.

Исаак вздохнул с облегчением. Как же это понимать? Олина, тварь этакая, должно быть, не умеет считать до шестнадцати.

Он с досадой сказал ей:

— Что ты болтаешь и путаешь, ведь коз-то шестнадцать!

— Разве шестнадцать? — невинно спросила она.

— Да.

— Ну-у. Так, так.

— Нечего сказать, хорошо ты считаешь!

Олина ответила тихо и обиженно:

— Раз все козы налицо, значит, слава Богу, Олина ни одной не съела. Я рада за нее!

Она удивила его этой загадкой и успокоила. Больше он скотину не пересчитывал, ему даже в голову не пришло пересчитать овец. Выходит, Олина вовсе не так уж плоха; как-никак, она ведет его дом и хозяйство, ходит за его скотиной, она просто очень глупа и вредит только самой себе, а не ему. Бог с ней, пусть живет, что с нее взять. Но серой и безрадостной казалась жизнь Исааку.

Прошли годы. На крыше избы выросла трава, даже крыша овина, которая была на несколько лет моложе, стояла зеленая. Лесные мыши давно уже пробрались в кладовую. На хуторе развелось много синиц и других мелких птишек, на бугре жили тетерки, налетели даже грачи и вороны. А самое удивительное случилось прошлым летом: вдруг прилетели чайки с побережья, прилетели за много миль с моря и опустились на землю, на этом участке в глуши! Вот какую известность приобрел на белом свете хуторок! А как по-вашему, какие мысли зашевелились у Элесеуса и маленького Сиверта, когда они увидели чаек? Птицы были незнакомые, из далеких-далеких краев, их было немного, но все-таки шесть штук, беленькие, одна в одну, они расхаживали пешочком по земле, изредка пощипывая травку.

— Отец, зачем они сюда прилетели? — спросили ребята.

— Оттого, что почуяли на море грозу, — отвечал отец.

Вот ведь какие они загадочные и непонятные, эти чайки!

А сколько других полезных и хороших знаний преподавал Исаак своим детям. Они уже настолько выросли, что пора было отдать их в школу, но школа находилась за много миль в селе, и до нее было не добраться. Исаак сам учил мальчиков азбуке по воскресеньям, за бóльшим он и не гнался, нет, этот прирожденный землепашец за наукой не гнался, поэтому катехизис и священная история спокойно лежали на полке, рядом с козьими сырами. Исаак, должно быть, полагал, что книжная неученость составляет до известной степени силу человека, и потому предоставлял детям расти свободно. Оба они были его радостью и благословением; Исаак часто вспоминал, какие они были крошечные и как мать не позволяла ему брать их на руки, потому что руки у него в смоле. Ха, смола, что может быть чище ее? Деготь, козье молоко или, скажем, костный мозг тоже здоровые и превосходные вещи, но смола, сосновая смола — тут и толковать не о чем!

И вот дети блаженствовали, живя в грязи и невежестве, но в редкие дни, когда им случалось помыться, они были прехорошенькие, а маленький Сиверт был еще и крепыш. Элесеус, тот вышел потоньше и посерьезнее.

— А откуда чайкам знать, что собирается гроза? — спросил он.

— Они чувят погоду, — отвечал отец. — Но уж если на то пошло, никто так не чуует погоду, как муха, — сказал он. — Бог ее знает, что с ней делается в непогоду, ревматизм, что ли, разыгрывается, или головокружение начинается, или еще что. И муху никогда не надо отгонять, а то она еще хуже пристанет, — сказал он. — Запомните, ребятки. Овод — тот другого нрава, он сам помирает. Овод, он так: появится ни с того ни с сего в какой-нибудь день летом, потом так же ни с того ни с сего и пропадет.

— Куда же он девается? — спросил Элесеус.

— Куда девается? Сало в нем свернется, он упадет и не может подняться!

Каждый день приносил им новые познания: прыгая с высоких камней, язык надо отводить подальше в рот, а не держать между зубами. Когда они вырастут и захотят, чтоб в церкви от них хорошо пахло, пусть потрут листком пижмы, что растет на бугре. Отец был полон премудрости. Он рассказывал детям про камни и про кремень, про то, что белый камень тверже серого; когда же он нашел кремень, пришлось разыскать губу — нарост

на дереве,—сварить ее в щелоке и сделать трут. А уж потом он высек детям из кремня огонь. Он учил их и про луну: когда ее можно взять левой рукой, она, стало быть, на прибыли, а когда можно взять правой рукой—на ущербе,—запомните, ребятки! Изредка случалось, что Исаак заносился чересчур высоко и говорил мудреные, непонятные слова: так однажды он принялся разглагольствовать насчет того, что верблюду труднее попасть на небо, чем человеку пролезть в игольное ушко. В другой раз, поучая их о славе ангелов, он сказал, что каблуки у них подбиты звездами вместо сапожных гвоздей. Школьный учитель в селе, наверное, посмеялся бы над незлобивой и простодушной наукой, удовлетворявшей хуторян, но фантазии детей Исаака она давала крепкую и здоровую пищу. Они воспитывались и образовывались для своего собственного тесного мира—что же могло быть лучше? Осенью, когда кололи скотину, мальчишки преисполнялись любопытства, страха и печали за животных, которых ожидала смерть. Исаак держал животину одной рукой, а другой—закалывал, Олина же спускала кровь. Вот из хлева вывели старого козла, такого умного и бородатого, ребятишки стояли в уголке и смотрели.

— Чертовски холодный нынче ветер,—сказал Элеус, высморкался пальцами и вытер глаза.

Маленький Сиверт не стал скрывать слез и, не в силах сдержаться, закричал:

— Ой, бедненький старенький козлик!

Когда козла закололи, Исаак подошел к детям и преподал им следующее наставление:

— Никогда не надо жалеть вслух убойную скотину. Она от этого только труднее помирает. Запомните!

Так шли годы, и вот снова наступила весна.

Ингер опять прислала письмо, что живется ей хорошо и она многому научилась в тюрьме. Девчоночка уже большая, и зовут ее Леопольдина, по тому дню, в какой она родилась, пятнадцатого ноября. Она все умеет делать, особенно же мастерица на вязанье и шитье, замечательно это у нее выходит, и по материи и по канве.

Удивительнее всего в этом последнем письме было то, что Ингер написала его сама. Исаак на эти дела был не мастер, ему пришлось сходить в село к торговцу, чтобы тот прочитал ему письмо; но уж после этого письмо накрепко засело у него в голове, и, придя домой, он знал его наизусть.

И вот он с величайшей торжественностью сел за стол, разложил перед собой письмо и стал читать его детям. Пусть Олина увидит, что он умеет читать по писаному, впрочем, к ней он не обратился ни с одним словом. Кончив читать, он сказал:

— Ну вот, слышите, Элесеус и Сиверт, ваша мать сама написала это письмо и научилась делать столько разных вещей. А маленькая сестричка ваша знает больше, чем все мы вместе взятые. Запомните!

Дети сидели и молча дивились.

— Вот это знатно! — промолвила Олина.

Что она хотела сказать? Уж не сомневалась ли в правдивости Ингер? Или не доверяла его чтению? Не стоит допытываться настоящего мнения Олины, сидевшей с кротким выражением на лице и говорившей загадками. Исаак решил не обращать на нее внимания.

— А когда ваша мама вернется домой, вы тоже научитесь писать, — сказал он мальчикам.

Олина перевесила одежду, сушившуюся у печки, переставила котел, опять перевесила одежду. И все время сосредоточенно о чем-то думала.

— Раз уж у вас здесь в лесу пошло такое знатное житье, ты бы принес в дом полфунта кофейку, — сказала она Исааку.

— Кофейку? — невольно вырвалось у Исаака.

Олина спокойно ответила:

— До сих пор я сама покупала понемножку на собственные деньги.

Кофе, который был для Исаака все равно что мечта, сказка, радуга! Олина, понятно, пустословила, он не сердился на нее; но в конце концов он задним числом вспомнил Олинины проделки с лопарями и сказал с досадой:

— Это чтоб я-то покупал тебе кофе! Да никак ты сказала, полфунта? Говорила бы уж — фунт. Этого еще не доставало!

— Будет тебе, Исаак! У брата моего Нильса пьют кофе, и у соседа Бреде в Брейдаблике тоже.

— Да, оттого, что у них нет молока, и в помине не водится.

— Уж как там ни на есть. А только раз уж ты такой ученый и читаешь по писаному без запиночки — так ты должен знать, что кофе пьют в каждом доме.

— Тварь! — сказал Исаак.

Олина опустила на лавку, отнюдь не собираясь молчать.

— А что до Ингер,— сказала она,— раз уж я осмеливаюсь вымолвить такое святое слово...

— Можешь говорить, что хочешь. Мне все равно.

— Она вернется домой, и всему научилась. Чего доброго, завела себе жемчужное ожерелье и шляпку с перьями?

— Да уж наверно.

— Ну что ж,— сказала Олина,— так пусть тогда хоть немножко отблагодарит меня за все, чего достигла.

— Тебя?— спросил Исаак. Он был в недоуменье.

Олина смиренно ответила:

— Потому что это я, в меру слабых сил своих, помогла выпроводить ее отсюда.

Исаак в ответ не мог вымолвить ни звука, все слова замерли у него на языке, он только сидел, уставясь в одну точку. Уж не ослышался ли он? Олина же сидела как ни в чем ни бывало. Да, в словесном бою Исаак явно терпел поражение.

Он вышел, потемнев лицом. Олина, эта тварь, питающаяся злобой и жиреющая от нее. «Эх, жалко, я не убил ее в первый же год!— подумал он и сам себя испугался.— Вот был бы молодец-то»,— продолжал он думать. Молодец— он? Ничего страшнее нельзя себе и представить.

И тут происходит нечто в высшей степени забавное: он идет в хлев и считает коз. Они стоят, рядом с ними их козлята, и все налицо. Он считает коров, свинью, четырнадцать кур, двух телят.

— А про овец-то я и позабыл!— говорит он себе вслух, пересчитывая овец, и делает вид, будто ему очень важно узнать, все ли овцы целы. Исаак отлично знает, что одна овца исчезла, знает давно, зачем же разыгрывать комедию? А произошло вот что: Олина в свое время сбила его с толку, наврав, будто пропала коза, хотя козы были все целы; он тогда разбушевался, но что проку? Он никогда ничего не добивался в спорах с Олиной. Осенью, собираясь колоть скотину, он сразу заметил, что одной суягной овцы нету, но у него не хватило храбрости тогда же потребовать от Олины отчета. Не собрался он и позже.

Но сегодня он мрачен, Исаак мрачен, Олина донельзя взбесила его. Он опять считает овец, тычет указательным пальцем в каждую овцу и считает вслух— пусть Олина послушает, если стоит за дверью. И громко говорит разные скверные вещи про Олину: надо же, придумала совсем новый способ кормить овец, да такой, что одна

суягная овца и вовсе пропала, вот какая дармоедка и воровка! О, пусть себе Олина стоит за дверью, пусть как следует наберется страху.

Он выходит из хлева, идет в конюшню и считает лошадь, оттуда направляется к дому — он пойдет домой и все ей скажет! Но Олина, должно быть, заметила кое-что в окошко, она тихонько выходит из дверей и, держа в руках лоханку, семенит к хлеву.

— Куда ты девала лопухую суягную овцу? — спрашивает Исаак.

— Суягную овцу? — переспрашивает Олина.

— Будь она на месте, у нее было бы теперь два ягненка, куда ты их девала? Она всегда приносила по два ягненка. Стало быть, я из-за тебя потерял трех овец, понятно?

Олина стоит пораженная, уничтоженная обвинением, она качает головой, ноги точно тают под ней, так что она, того и гляди, упадет и расшибется. Голова ее все это время лихорадочно работает, изворотливость всегда выручала ее, всегда приносила ей барыш, не изменит она ей и теперь.

— Я краду коз, и я краду овец, — тихо говорит она. — Вот только не знаю, что я с ними делаю? Съедаю, наверно.

— Да уж, черт тебя знает, что ты с ними делаешь.

— Стало быть, ты так плохо кормишь меня, Исаак, что мне ничего не остается, как красть? Но я хоть в глаза, хоть за глаза скажу, что за все эти годы мне не было нужды красть.

— А куда же ты девала овцу? Ос-Андерсу отдала, что ли?

— Ос-Андерсу! — Олина ставит наземь лоханку и молитвенно складывает руки. — Да спаси меня Господь от греха! О какой овце с ягненком ты толкуешь? Не о яловой ли козе, еще лопухая такая?

— Тварь! — бросает Исаак и поворачивается уходить.

— Ну не чудак ли ты, Исаак! Всего-то у тебя вдоволь, и скотины во дворе, что звезд на небе, а тебе все мало! Почему я знаю, какую овцу и каких двух ягнят ты с меня спрашиваешь? Благодарил бы лучше Бога за Его милосердие до тысячного колена. Вот пройдет лето да самая малость зимы, и опять овцы пойдут ягниться, и у тебя станет втрое больше, чем сейчас!

Ох уж эта Олина!

Исаак уходит, ворча, словно медведь. «И болван же я был, что не убил ее в тот первый день! — думает он,

по-всякому ругая себя.— Вот простофиля-то, дурак эдакий! Ну да и сейчас еще не поздно, только подожди, только зайди в хлев! Нынче вечером, пожалуй, уж не стоит с ней возиться, а завтра посмотрим. Три овцы пропали! Говорит — кофейку!»

Х

На следующий день произошло весьма крупное событие: на хутор явились гости, явился Гейслер. Болота еще не просохли, но Гейслер не обращал внимания на дорогу, он пришел пешком, в богатейших сапогах с длинными голенищами и широкими лакированными отворотами; перчатки на нем были желтые, а сам он — страсть какой нарядный; человек из села нес его багаж.

Пришел он, собственно, затем, чтоб купить у Исаака горный участок, медную жилу, — какую им назначить за нее цену? А кстати, принес и поклон от Ингер — молодец баба, все ее там полюбили; он приехал из Тронхейма и сам говорил с ней.

— Ну, Исаак, много же ты здесь наработал!

— Да не без того. Так вы говорили с Ингер?

— Что это там у тебя? Ты поставил мельницу и сам мелешь себе муку? Великолепно. А целины-то сколько поднял с тех пор, что я здесь не был.

— Так с ней все благополучно?

— Да, благополучно. С гвоей женой-то? Сейчас расскажу! Пойдем в клеть.

— Нет, там не прибрано! — говорит Олина, по многим причинам не желая их туда пускать.

Они вошли в клеть и затворили за собой дверь, Олина осталась в горнице, так ничего и не услышав.

Ленсман Гейслер сел, хлопнул себя изо всех сил по коленкам и стал решать Исаакову судьбу.

— Надеюсь, ты еще не продал свою медную скалу? — спросил он.

— Нет.

— Отлично. Я покупаю ее. С Ингер я говорил, и не с ней одной. Ее, наверное, скоро освободят, дело сейчас у короля.

— У короля!

— У короля. Я был у твоей жены, разумеется, меня пустили без всяких затруднений, мы долго разговаривали: «Ну, Ингер, говорю, ведь ты хорошо поживаешь,

вправду хорошо?» — «Да, пожаловаться не на что». — «А по дому скучаешь?» — «Да уж не без того». — «Ты скоро попадешь домой», — говорю. И вот что я скажу тебе, Исаак, она молодец баба, никаких слез, наоборот, она улыбалась и смеялась — кстати, ей сделали операцию и теперь у нее нормальный рот. «Прощай, — сказал ей, — ты здесь недолго останешься, вот тебе мое слово!»

Я пошел к директору, еще бы недоставало, чтоб он меня не принял! «У вас, — говорю, — есть тут одна женщина, которую надо выпустить и поскорее отправить домой, Ингер Селланро». — «Ингер? — сказал он. — Да, хорошая женщина, я, — говорит, — был бы рад оставить ее еще на двадцать лет». — «Ну, из этого ничего не выйдет, — сказал я, — она и так пробыла у вас чересчур долго». — «Чересчур долго? — спросил он. — Разве вы знаете ее дело?» — «Я знаю дело как нельзя лучше, — отвечал я, — я был у них ленсманом». — «Пожалуйста, садитесь, — сказал он тогда (еще бы!). — Мы стараемся сделать, что можно, для Ингер и ее девочки, — сказал директор. — Так она, стало быть, из ваших мест? Мы помогли ей приобрести швейную машину, сделали помощницей заведующей мастерской и многому научили ее: домоводству, ткацкому ремеслу, красильному, шитью, кройке. Так вы говорите, она пробыла здесь слишком долго?» У меня был готов на это ответ, но я решил подождать и сказал только: «Да, дело ее велось неправильно, оно должно быть пересмотрено; теперь, после пересмотра уголовного уложения, ее, может быть, и совсем оправдали бы. Ей послали зайца, когда она была беременна». — «Зайца?» — спросил директор. «Зайца, — ответил я, — и ребенок родился с заячьей губой». Директор улыбнулся и сказал: «Ах вот как. И вы полагаете, что на этот момент было обращено недостаточно внимания?» — «Да, — сказал я, — об этом моменте совсем даже и не упоминалось». — «Но ведь это не так уж и важно?» — «Для нее это оказалось довольно важно». — «Неужели вы думаете, что заяц может творить чудеса?» — спросил он. Я отвечал: «Может ли заяц творить чудеса или нет, об этом я с господином директором спорить не стану. Вопрос в том, какое влияние мог оказать вид зайца при данных обстоятельствах на женщину с заячьей губой — на жертву». Он подумал с минуту, потом сказал: «Да, но наше дело здесь только принять приговоренных, мы не проверяем приговор. Согласно приговору, Ингер пробыла у нас не дольше, чем полагалось».

Тут я заговорил о чем следовало: «В самом приговоре о заключении Ингер Селланро допущена ошибка». — «Ошибка?» — «Во-первых, ее не следовало увозить в том состоянии, в каком она находилась». Директор удивленно посмотрел на меня. «Ах, так, — сказал он. — Однако ведь не нам же, в тюрьме, разбирать это». — «Во-вторых, — сказал я, — она не должна была целых два месяца отбывать наказание в полной мере, пока тюремное начальство не обнаружило ее состояние». Это попало в точку, директор молчал долго. «У вас есть доверенность на ведение дела этой женщины?» — спросил он. «Да», — сказал я. «Как я уже говорил, мы довольны Ингер и обращаемся с нею соответственно, — заговорил директор и опять стал перечислять, чему они ее научили. — Мы, — говорит, — научили ее даже читать и писать». И дочку ее тоже, мол, пристроили у кого-то, и так далее. Я разъяснил, какова обстановка в семье Ингер; двое малышей, наемная работница для ухода за ними, и так далее. «У меня есть заявление от ее мужа, — сказал я, — оно будет приложено или к заявлению о пересмотре дела, или к ходатайству о помиловании». — «Я бы хотел взглянуть на это заявление», — сказал директор. «Я принесу его завтра в присутственные часы», — ответил я.

Исаак сидел и слушал, это было поразительно, какое-то приключение, случившееся в чужом краю. Он глаз не отрывал от губ Гейслера.

Гейслер продолжал рассказывать:

— Я пошел к себе в гостиницу и написал заявление, как будто от тебя, и подписался: Исаак Селланро. Но ты не думай, будто я написал хоть одно слово насчет того, что они неправильно поступали в тюрьме. Даже и не намекнул. На следующий день я отнес документ. «Пожалуйста, садитесь!» — сейчас же сказал директор. Прочитал мое заявление, изредка кивая головой, и в конце концов сказал: «Прекрасно. Но для пересмотра дела оно не годится». — «Годится, вместе с дополнительным заявлением, которое у меня тоже есть», — сказал я и опять попал в точку. Директор поспешно сказал: «Я со вчерашнего дня все думаю об этом деле и нахожу достаточно оснований для возбуждения ходатайства за Ингер». — «Которое вы, господин директор, при случае, поддержите?» — спросил я. «Я дам отзыв, хороший отзыв». Тогда я поклонился и сказал: «В таком случае помилование обеспечено. Благодарю вас от имени несчастного мужа и покинутой семьи». — «Я думаю, нам

незачем запрашивать дополнительные сведения из ее родных мест,—сказал директор,—вы ведь все знаете?» Я отлично понял, почему ему было важно, чтобы все происходило, так сказать, втихомолку, и ответил: «Сведения с места только затянут вопрос». Вот тебе и вся история, Исаак.—Гейслер посмотрел на часы.—А теперь к делу! Ты можешь проводить меня к медной скале?

Исаак, камень и чурбан по натуре, не мог так мгновенно поменять тему разговора и, весь полный мыслей и изумления, снова принялся за расспросы. Он услышал, что ходатайство направлено королю и будет рассматриваться на одном из ближайших заседаний государственного совета.

— Чудеса! — проговорил он.

Они отправились в горы, Гейслер, его провожатый и Исаак, и пробыли там несколько часов; за это короткое время Гейслер прошел по ходу медной жилы, прихватил еще порядочный кусок и наметил вехами границы участка, который собирался купить. Он был торопыга. Но отнюдь не дурак, быстрые суждения его были на редкость уверенны.

Вернувшись на хутор — опять с мешком образцов, — он достал письменные принадлежности и сел писать. Но занимался не только писанием, а по временам и болтал.

— Да, Исаак, очень уж больших денег ты пока не получишь, но сотню-другую далеров я тебе дам! — Он опять принялся за писанину. — Напомни мне посмотреть твою мельницу перед уходом, — сказал он. Потом заметил синие и красные линии на ткацком станке и спросил: — Кто это нарисовал?

А это Элесеус изобразил лошадь и козла; за неимением бумаги он намалевал их карандашом на станке и на других деревянных вещах. Гейслер сказал:

— Недурно сделано! — и дал Элесеусу мелкую монетку.

Гейслер пописал еще немножко, потом сказал:

— Должно быть, здесь скоро появятся новые хуторяне?

На это его провожатый заметил:

— Уже начали появляться.

— Кто же?

— Да вот хоть бы первый, в Брейдаблике, как его называют, Бреде из Брейдаблика.

— Ах, этот! — презрительно фыркнул Гейслер.

— Он самый, а уж после него купили участки еще несколько человек.

— Были бы толковые люди! — сказал Гейслер. И, увидев в комнате двух ребятшек, притянул к себе маленького Сиверта, дав и ему монетку. Удивительный человек этот Гейслер! Только вот глаза у него, видно, стали побаливать, края век словно красным инеем подернуты. Так бывает от бессонных ночей, а еще и от крепких напитков. Но не похоже, чтоб он был чем-то удручен; болтая о том о сем, он, вероятно, все время думал о лежавшем перед ним документе, потому что вдруг схватил перо и приписал несколько строчек.

Но вот он как будто бы кончил. И обернулся к Исааку.

— Как я уже сказал, богачом ты от этой сделки не станешь. Но со временем, может, получишь и побольше. Мы так и запишем, что со временем ты получишь еще кое-что. А две сотни твои уже сейчас.

Исаак не особенно ясно понимал, что да как, но двести далеров — это, что ни говори, опять-таки чудо и огромная сумма. Он собирался получить ее только на бумаге, а вовсе не наличными, но пусть уж будет так; у Исаака было совсем другое на уме, и он спросил:

— Значит, вы думаете, ее помилуют?

— Твою жену? Будь в здешнем селе телеграф, — ответил Гейслер, — я запросил бы Тронхейм, может, ее уже и выпустили.

Исаак слышал кое-что о телеграфе — этакая чудная штука, проволока, протянутая на высоких столбах, что-то такое совсем потустороннее, — у него шевельнулось недоверие к словам Гейслера, и он возразил:

— А вдруг король откажет?

Тогда Гейслер ответил:

— В таком случае я пошлю дополнительное заявление, в котором будет сказано все. И тогда уж твою жену непременно освободят. Можешь не сомневаться.

Затем он прочитал написанное соглашение на продажу участка: двести далеров немедленно и в дальнейшем порядочный процент при разработке или возможном сбыте медной руды.

— Подпиши вот здесь! — сказал Гейслер.

Исаак охотно подписал бы бумагу, но писака он был плохой, всю свою жизнь резал буквы только на дереве. А тут еще рядом стояла эта противная Олина, глядя на него во все глаза; он взял перо — чертовски легонькая штучка, — повернул как надо и подписал — подписал свое имя. Затем Гейслер приписал еще что-то, должно быть,

разъяснение к его подписи, а провожатый Гейслера расписался в качестве свидетеля.

Готово.

Но Олина по-прежнему недвижно стояла позади, собственнно, она точно окаменела на месте. Что такое происходит?

— Подавай на стол, Олина! — сказал Исаак, пожалуй, немного громче обычного, оттого что писал на бумаге. — Уж чем богаты, тем и рады, — сказал он Гейслеру.

— Очень вкусно пахнет мясом и похлебкой, — сказал Гейслер. — Ну, смотри, Исаак, вот деньги! — Гейслер достал бумажник, большой и толстый, вынул из него две пачки кредиток, пересчитал и положил на стол. — Пересчитай сам!

Молчание. Тишина.

— Исаак! — окликнул Гейслер.

— А-а. Ну да, ну да, — ответил Исаак и пробормотал в крайнем смущении: — У меня и в расчете такого не было после всего, что вы для нас сделали...

— Здесь должно быть десять десятков, а здесь двадцать пятерок, — отрезал Гейслер. — Надеюсь, со временем тебе доведется получить больше.

Наконец Олина пришла в себя. Чудо совершилось. Она подала на стол.

На следующее утро Гейслер сходил на реку и осмотрел мельницу. Все тут было маленькое и сделано очень грубо, словно мельница предназначалась для гномов, но крепкое и пригодное для людей. Исаак провел своего гостя немного дальше, вверх по реке, и показал еще один порог, на котором он уже немножко поработал, здесь он собирался устроить маленькую лесопилку — если Господь даст здоровья.

— Только ведь очень уж далеко отсюда до школы, — сказал он, — придется устроить ребятишек в селе.

Беспечный Гейслер не усмотрел в этом особого неудобства:

— Как раз сейчас тут появятся все больше и больше новоселов, так что, наверно, со временем будет образован школьный округ.

— Ну, это-то уж произойдет, когда мои ребята вырастут.

— А если даже и устроить их у кого-нибудь в селе? Свезешь туда мальчуганов и провизии и будешь брать их домой через три, через шесть недель, разве это тебе трудно?

— Нет, — ответил Исаак.

Ну да, ничего ему не трудно, если вернется Ингер. Дом и земля, еда и всякая красота — все у него есть, и большие деньги есть, и железное мужицкое здоровье.

После отъезда Гейслера Исаак начал обдумывать разные далеко идущие планы. Потому что этот Гейслер — дай ему Господь здоровья! — на прощанье сказал такие обнадеживающие слова, он, мол, пришлет Исааку весточку с первой же оказией — как только доберется до телеграфа.

— Недельки через две справься в почтовой конторе, — сказал он.

Уже одно это было просто замечательно, и Исаак перво-наперво стал мастерить сиденье для телеги. Правда-правда, такое сиденье, которое можно будет снимать, когда придет время возить удобрения, и снова устанавливать для поездок. Готовое сиденье оказалось таким уж белым и новеньким, что придется покрасить его в более темный цвет. А впрочем, сколько у него еще всяких других дел! Покраска всех построек на усадьбе. И разве он не думал годами о большом сарае с помостом для сена? И разве не мечтал поскорее закончить лесопилку, обнести оградой весь участок, построить на озере лодку? О чем только он не думал! Но сколько бы он ни трудился, все равно не хватало времени. Не успеешь оглянуться, пришло воскресенье, а чуть погода, глядишь, — снова воскресенье.

Но усадьбу он покрасит непременно — строения стояли такие серые и голые, словно раздетые. Время было. Полевые работы еще не начались, весна не установилась, мелкий скот гулял на воле, но мерзлота покуда не оттаяла.

Он берет с собой несколько дюжин яиц на продажу, отправляется в село и возвращается с краской. Ее хватило на одну постройку, на овин, он вышел красный. Он приносит еще краски — желтой охры для избы.

— Видать, так и есть, как я говорила, страсть как важно здесь будет! — что ни день бормочет Олина. Да, Олина отлично понимает, что ее житью в Селланро скоро придет конец, в ней достаточно упрямства и стойкости, чтоб перенести это, но горечи это не отбавляло. Что до Исаака, то он вовсе перестал обращать на нее внимание, хотя напоследок она крала что ни попадя. Исаак даже подарил ей годовалого барана, ведь в сущности она довольно долго прожила у него, получая

совсем небольшую плату. Впрочем, Олина и к детям относилась неплохо, не то что она была строга и справедлива, но зато умела ладить с ними, выслушивала их, когда они к ней обращались, почти ни в чем им не перечила. Если они приходили к ней, когда она варила сыр, она давала им попробовать, если в воскресенье приставали, чтоб не умыться, она позволяла.

Загрунтовав постройки, Исаак опять отправился в село и набрал краски, сколько мог унести, а было это немало. Он трижды прокрасил все стены и побелил окна и углы. Когда теперь, возвращаясь из села, он глядел на свою усадьбу, ему казалось, что перед ним какой-то волшебный замок. Дремучая глушь сделалась неузнаваемой, благодать осенила ее, жизнь восстала из долгого сна, здесь поселились люди, вокруг домов играли дети. До самых синих гор стоит большой, ласковый лес.

В последний раз, когда Исаак пришел за краской, торговец передал ему синий конверт с гербом, взяв за него пять скиллингов. Это была телеграмма, пересланная дальше по почте, и была она от ленсмана Гейслера. Благословен будь этот Гейслер, вот ведь удивительный человек! В телеграмме было всего несколько слов: «Ингер на свободе, скоро приедет. *Гейслер*». Лавка завертелась в глазах Исаака, а прилавок и люди уплыли куда-то далеко-далеко. Он больше почувствовал, чем услышал свои слова:

— Благодарение и слава Тебе, Господи!

— А ведь она, пожалуй, может приехать уже завтра,— сказал торговец,— если успела вовремя выехать из Тронхейма.

— Ага,— сказал Исаак.

Он подождал до завтра. Ялик, привозивший почту с пароходной пристани, вернулся, но Ингер в нем не было.

— Значит, раньше будущей недели не жди,— сказал торговец.

Отчасти то, что у Исаака оставалось так много времени впереди, было совсем неплохо, ведь столько еще всего надо переделать. Не может же он обо всем позабыть и забросить свою землю! Он возвращается домой и принимается вывозить на поля навоз. С этим делом быстро покончено. Тогда он принимается пробивать ломом землю в полях, день за днем следя за оттаиванием почвы. Солнце большое и яркое, снег сошел, все вокруг зеленеет, вот уже и крупный скот выпущен на волю. В один пре-

красный день Исаак принимается за пахоту, а несколько дней спустя сеет ячмень и сажает картошку. Ребятишки тоже сажают картошку, они словно ангелы, у них маленькие благословенные ручонки, и они легко обгоняют отца.

Потом Исаак моет на реке телегу и прилаживает к ней сиденье. Он объясняет мальчуганам, что собирается в село.

— Ты разве не пешком пойдешь?

— Нет. Я нынче решил съездить на лошади и с телегой.

— А нам нельзя с тобой?

— Будьте умники и оставайтесь покамест дома. Нынче придет ваша мама и научит вас разным штукам.

Элесеусу охота учиться, и он спрашивает:

— Когда ты писал на бумаге, как это у тебя получалось?

— Да никак,— отвечает отец,— рука была словно привязанная.

— А оно не хочет раскатиться, как по льду?

— Кто?

— Да перо, которым пишешь?

— А-а, ну да! Только надо научиться управлять им.

Маленький Сиверт был другого склада и не интересовался перьями, ему бы только посидеть в телеге, да опробовать новое сиденье, да помахать кнутом на воображаемую лошадь и промчаться на ней во всю прыть. Поэтому-то отец посадил обоих мальчиков на телегу, и они проехали с ним порядочный кусок по дороге.

XI

Исаак едет, не останавливаясь, пока не доезжает до ржавчика, тут он делает остановку. Ржавчик — дно у него черное, маленькая лужица воды неподвижна. Исаак знает, на что она годится, наверно, ни разу в жизни не пользовался он никаким другим зеркалом, кроме как таким вот ржавчиком. Что ж, сегодня на нем нарядная красная рубаха, он достает ножницы и подстригает себе бороду. Экий фат, этот мельничный жернов, неужто он и впрямь решил прифрантиться и расстаться со своей пятилетней железной бородой? Он стрижет ее, стрижет, время от времени поглядывая в зеркало. Что и говорить, можно было бы все это проделать и дома, но он стеснялся Олины, довольно уж и того, что под носом

у нее он надел красную рубаху. Он стрижет и стрижет, ключья бороды падают на зеркало. Но вот лошадь начинает проявлять беспокойство, ему приходится прервать свой туалет, посчитав его законченным. И — что ж! — он и впрямь чувствует себя моложе — черт его знает, отчего это, но он и впрямь стал как будто стройнее. Он снова отправляется в путь.

На следующий день приходит почтовый пароход. Исаак встречает его, стоя на утесе, возле пристани торговца, но Ингер не видно. Господи, пассажиров много, и взрослых, и детей, а Ингер нету. Он держится поодаль, присев на утес, теперь сидеть здесь уже незачем, и он идет к пароходу. С борта на берег продолжают выгружать ящики, бочонки, на берег сходят пассажиры, выносят почту, но Исаак не видит своих. Зато он видит женщину с маленькой девочкой, стоящих у двери в трюм, но женщина эта красивее, чем Ингер, хотя и Ингер вовсе не безобразна. Господи, да ведь это же и есть Ингер! «Гм!» — произнес Исаак и устремился наверх. Они поздоровались, она сказала «здравствуй» и протянула ему руку, немножко озябшая, бледная и усталая от морской болезни и путешествия, а Исаак только стоял молча и наконец выговорил:

— Н-да, погода-то какая хорошая!

— Я тебя видела, но не хотела выставляться, — сказала Ингер. — Ты сегодня приехал в село? — спросила она.

— Да. Гм!

— Дома все здоровы?

— Да, спасибо.

— А это Леопольдина, она гораздо лучше меня перенесла дорогу. Это твой папа, поздоровайся с папой, Леопольдина.

— Гм! — буркнул Исаак, чувствовавший себя так, словно был чужой промежду них.

Ингер сказала:

— Вон видишь швейную машинку, это моя. И еще у меня есть сундук.

Исаак отправился, отправился более чем охотно за сундуком, матросы помогли ему найти его, но за машинкой Ингер пришлось пойти самой. Это был красивый ящик незнакомой формы, с круглым верхом и ручкой — швейная машинка в этих-то местах! Исаак навьючил на себя сундук и машинку и посмотрел на свою семью.

— Я скоренько сбегаю наверх, отнесу все это, а потом вернусь за ней, — сказал он.

— За кем? — улыбаясь, спросила Ингер. — Ты думаешь, такая большая девочка не умеет ходить сама?

Они пошли в гору, к лошади и телеге.

— У тебя новая лошадь? — сказала Ингер. — И телега с сиденьем?

— Само собой. Да, что я хотел сказать: не хочешь ли закусить немножко? Я захватил с собой.

— Уж когда выедем из села, — ответила она. — Как по-твоему, Леопольдина, сможешь сидеть одна?

Но отец воспротивился:

— Нет, чего доброго, упадет под колеса. Садись рядом с ней и правь сама.

Они поехали в телеге, а Исаак пошел сзади.

Он шел и смотрел на женщину и девочку, сидевших в телеге. Вот Ингер и приехала, чужая с виду и по платью, красивая, заячьей губы больше нет, остался только красный рубчик на верхней губе. Она уже не шепелявит, это самое замечательное, говорит совсем чисто. Бахромчатый, серый с красным, шерстяной платок удивительно идет к ее темным волосам. Она обернулась к нему и сказала:

— Хорошо, если б ты прихватил с собой одеяло, вечером ребенку будет, пожалуй, холодно.

— Пусть она наденет мою куртку, — сказал Исаак, — а когда въедем в лес, так там у меня припрятано одеяло.

— Значит, одеяло у тебя в лесу?

— Да. Я не взял его сразу с собой, на случай, если вы сегодня не приедете.

— Так что ты мне сказал? Мальчики, значит, тоже здоровы?

— Да, спасибо.

— Наверно, очень выросли?

— Да, не без того. Нынче сами сажали картошку.

— Ох ты, — сказала мать, улыбаясь, и покачала головой, — неужто они уже умеют сажать картошку?

— Элесеус мне по этих пор, а Сиверт вот по этих, — сказал Исаак, показывая на себе.

Маленькая Леопольдина попросила есть. И что за красивенькая малютка, чисто божья коровка, что прилетела в телегу! Она говорила нараспев, на непонятном тронхеймском наречии, кое-что отцу приходилось даже переводить. Лицом она вышла в мальчиков, карие глаза и овальные щеки, какие все трое унаследовали от матери; дети пошли в мать, и слава Богу! Исаак немножко стесняется своей маленькой дочки, стесняется

ее маленьких башмачков, длинных, тоненьких ножек в шерстяных чулках, короткого платьица; здороваясь с незнакомым папой, она присела и подала ему крошечную ручку.

Въехали в лес и сделали привал, все принялись за еду, лошади задали корму. Леопольдина бегала по вереску с куском хлеба в руке.

— Ты не очень изменился,— сказала Ингер, глядя на мужа.

Исаак отвернулся и ответил:

— Это тебе так кажется. А вот ты стала страх какая красивая!

— Ха-ха-ха, ну нет, я уж теперь старуха,— сказала она шутливо.

Что уж тут говорить, Исаак все еще чувствовал себя неуверенно, скованно, точно стыдился чего-то. Сколько лет его жене? Наверное, не меньше тридцати— конечно, не может быть ей больше, никак не может. И хотя Исаак сидел, держа в руке кусок хлеба, он сорвал веточку вереска и стал его жевать.

— Чего это ты вереск ешь!— смеясь, воскликнула Ингер.

Исаак отбросил вереск, сунул в рот кусок хлеба, встал и, отойдя к лошади, поднял ей передние ноги с земли. Ингер с изумлением взирала на эту сцену— лошадь покорно стояла на задних ногах.

— Зачем ты это?— спросила она.

— Она такая смиренная,— сказал он про лошадь и опустил ее ноги на землю. Для чего он это сделал? Должно быть, не смог с собой совладать. А может, хотел скрыть этим свое смущение.

Потом двинулись дальше, и некоторое время все трое шли пешком. Впереди показался новый хутор.

— Что это такое?— спросила Ингер.

— Это участок, который купил Бреде.

— Бреде?

— Называется Брейдаблик. Сплошь болота, леса почти совсем нет.

Они еще поговорили об этом, проходя мимо Брейдаблика. Исаак заметил, что телега Бреде так и стоит под открытым небом.

Но вот девочка захотела спать, и отец бережно поднял ее на руки. Они все шли и шли, Леопольдина скоро заснула, и тогда Ингер сказала:

— Давай завернем ее в одеяло и положим в телегу, пусть спит, сколько хочет.

— Ее там растрясет,— возражает отец и продолжает нести девочку дальше.

Пустошь кончается, они снова въезжают в лес, и Ингер говорит: «Тпру!» Она останавливает лошадь, берет ребенка у Исаака и просит его передвинуть сундук и швейную машинку, чтобы Леопольдину можно было положить на дно телеги.

— Ничего ее не растрясет, что за глупости!

Исаак устраивает все как надо, закутывает дочку в одеяло и подкладывает ей под голову свою куртку. И снова они едут дальше.

Муж и жена идут и говорят о том о сем. Солнце долго не садится, погода теплая.

— Олина — где она спит? — спрашивает Ингер.

— В клетки.

— А! А мальчики?

— В горнице, в своих постелях. В горнице две кровати, как и тогда, когда ты уезжала.

— Я иду и все смотрю на тебя, ты точь-в-точь такой же, как был,— говорит Ингер.— А ведь небось столько всего перетаскал на этих своих плечах, и, гляди, не ослабели.

— Не-ет. А я вот хотел спросить: выходит, тебе сносно жилось все эти годы? — с волнением задал вопрос Исаак.

Ингер ответила, что да, жаловаться не приходится.

Разговор между ними пошел более доверительный, Исаак осведомился, не устала ли она, не лучше ли ей ехать в телеге.

— Нет, спасибо,— сказала она.— Не пойму только, что это со мной сделалось: после морской болезни я все время точно голодная.

— Хочешь поесть?

— Да. Если это не очень нас задержит.

Ох уж эта Ингер, она, верно, вовсе не была голодна, а просто хотела покормить Исаака, ведь он в последний привал так толком и не поел, принявшись жевать веточку вереска.

И так как вечер был светлый и теплый, а ехать им еще было с добрую милю, они опять принялись закусывать.

Ингер вынула из сундука сверток и сказала:

— Я тут привезла кое-чего мальчишкам. Зайдем за кусты, а то солнце прямо в глаза.

Они зашли за кусты, и она показала ему подарки: красивые подтяжки с пружками для мальчиков, тетрадки

с прописями, обоим по карандашу, обоим по перочинному ножичку. Себе она везла замечательную книгу.

— Ты только посмотри, это молитвенник, и здесь написано мое имя. Подарок директора на память.

Исаак восхищался каждой вещью. Она показала несколько маленьких воротничков Леопольдины и протянула Исааку черный, блестящий, как шелк, шарф.

— Это мне? — спросил он.

— Да, тебе.

Исаак осторожно взял шарф в руки и погладил.

— Красивый, правда?

— Очень! В таком можно объездить весь свет! — Пальцы у него стали какие-то чудные, так и прилипли к этому чудесному шелку.

Вот уже и показывать больше нечего, но, складывая подарки, Ингер села на землю, вытянув вперед ноги, так что стали видны ее чулки с красными каемками.

— Гм. Должно быть, это городские чулки? — спросил Исаак.

— Да. Они из городской пряжи, да только я сама их связала — на спицах. Они очень длинные, выше колена, вот посмотри...

Немного погодя она услышала свой собственный шепот:

— А ты... ты все такой же... как был!

Чуть позже они снова отправились в путь, Ингер сидит в телеге, держа в руках вожжи.

— Я привезла с собой пакетик кофе, — говорит она, — только нынче вечером тебе не придется его попробовать, он не жареный.

— Ничего! — отвечает он.

Через час солнце село, становится свежо, Ингер слезает с телеги и идет пешком. Они плотнее укутывают Леопольдину одеялом и улыбаются тому, что она так долго спит. Муж и жена тихонько переговариваются на ходу. Как приятно слушать Ингер, никто не говорит чище, чем она сейчас!

— Разве у нас теперь не четыре коровы? — спрашивает она.

— Что ты, больше, — гордо отвечает он, — у нас их восемь.

— Восемь коров!

— Да, вместе с быком.

— А масло продаете?

— Как же. И яйца.

- У нас и куры есть?
- Само собой. И свинья.

Порой удивление Ингер столь велико, что в растерянности она на минутку останавливает лошадь: «Тпру!» Гордость переполняет Исаака, и он старается изо всех сил еще больше ее огоршить.

— А Гейслер-то,— говорит он,— помнишь Гейслера? Он был у нас недавно.

— И что же?

— Купил у меня медную гору.

— Да ну? Что это за медная гора?

— Из меди. Она вон там, наверху, на северной стороне озера.

— А-а. Наверно, ты немного за нее получил?

— Как бы не так! Не такой он человек, чтобы не заплатить как следует.

— Сколько ж он тебе дал?

— Гм. Не поверишь — целых двести далеров.

— И ты их получил? — восклицает Ингер и опять останавливается на минутку: — Тпру!

— Получил. И за участок все выплатил давным-давно,— сказал Исаак.

— Нет, ты прямо как есть волшебник!

Поистине приятно было удивлять Ингер и превращать ее в богачку; поэтому Исаак прибавил, что у них нет никаких долгов, ни торговцу, ни кому другому. И у него припрятаны не только Гейслеровы двести далеров, но еще и сверх того, еще целых сто шестьдесят далеров. Так что он уж и не знает, как им благодарить Бога.

Они снова заговорили о Гейслере, Ингер рассказала, как он потрудился для ее освобождения. Прошло это не так-то гладко: он долго приставал к директору, много раз был у него, писал даже кому-то из государственных советников или каким-то другим начальникам, и все это за спиной у директора, а когда директор узнал, то, как и можно было ожидать, очень рассердился. Но Гейслер его не испугался и потребовал нового разбирательства, нового суда и все такое. Тут уж королю пришлось подписать прошение.

Бывший ленсман Гейслер всегда по-доброму относился к двум этим людям, и они часто задавались вопросом, за что бы это; все, что он делал, он делал за простую благодарность, а это было непонятно. Ингер разговаривала с ним в Тронхейме, но все равно не разобралась в нем.

— Он никого другого в селе не хочет знать, кроме нас,— объяснила она.

— Он сам сказал?

— Да. Он зол на здешнее село. Я, говорит, еще им покажу — селу-то!

— Ну-ну.

— И они, говорит, еще пожалеют, что остались без меня.

Они выехали на опушку и увидели впереди свой дом. Построек на усадьбе стало больше, чем прежде, и все они были красиво выкрашены; с трудом узнавая знакомые места, Ингер резко осадила лошадь.

— Да ведь это же не... Это все не у нас! — воскликнула она.

Маленькая Леопольдина наконец проснулась, она хорошо выпалась, ее спустили на землю, и она пошла рядом с ними.

— Мы туда едем? — спросила она.

— Да. Красиво, правда?

На дворе возле дома двигались маленькие фигурки, это были Элесеус и Сиверт, поджидавшие приезжих; увидя их, они побежали им навстречу. Ингер так озябла, такой на нее напал кашель и насморк, что это отозвалось даже на глазах и они наполнились влагой.

— На пароходе так простужаешься, видал, что делается с глазами от сырости и холода!

А мальчики, подбежав ближе, вдруг остановились, в изумлении уставившись на приезжих. Мать свою они совсем позабыли, маленькую сестренку и вовсе никогда не видали. Но папа — его они узнали, только когда он подошел совсем близко. Он остриг свою длинную бороду.

ХII

Теперь опять все хорошо.

Исаак сеет овес, боронит его, заглаживает катком. Маленькая Леопольдина прибегает и просит покатать ее на катке. Вот выдумала,— покататься на катке! — она такая маленькая и ничего еще не понимает, братья-то ее хорошо знают, что на папином катке нет сиденья.

Но папе приятно, что к нему пришла маленькая Леопольдина и что она такая доверчивая, он разговаривает с ней и просит поосторожнее ходить по полю, чтоб не набрать в башмачки земли.

— Гляди-ка, да на тебе сегодня голубенькое платьице? Покажи-ка, верно, верно, голубенькое! И поясок и все такое. Ты помнишь большой пароход, на котором приехала? А машины видела? Ну а теперь иди домой к мальчикам. Займитесь чем-нибудь.

После отъезда Олины Ингер впряглась в свою прежнюю работу по дому и на скотном дворе. Она, пожалуй, несколько перебарщивает, стремясь навести в доме чистоту и порядок и показать, что она хочет все переделать по-своему, но ведь и впрямь просто замечательно, какая во всем произошла перемена, даже стекла в землянке у скотины начисто вымыты и аккуратно подметены стойла.

Но так было только в первые дни, в первую неделю, потом пыл у нее понемножку начал остывать. По правде говоря, все это великолепие на скотном дворе никому было не нужно, а потраченное время можно было использовать куда как лучше: Ингер так многому научилась в городе, вот и следовало извлечь выгоду из этой науки. Она снова взялась за прялку и ткацкий станок — что правда, то правда, она стала еще мастеровитее и проворнее, чем прежде, чересчур даже проворна, — куда там! — особенно когда на нее смотрел Исаак; он никак не мог взять в толк, как это человек может так быстро перебирать пальцами, длинными, красивыми пальцами на большой руке. Но в самый разгар работы Ингер вдруг бросала ее и бралась за другую. Впрочем, в ее домашнем хозяйстве дел теперь стало гораздо больше, чем прежде, только успевай вертеться, может, она стала менее терпелива, в ней как будто поселилось какое-то беспокойство, терзая и подгоняя ее.

Вот взять хоть бы цветы, которые она привезла с собой, луковицы и отводки, маленькие растеньица, о которых тоже надо было позаботиться. Окошка стало мало, подоконник слишком узок для цветочных горшков, да и горшков-то не было. Исааку пришлось смастерить ей маленькие ящички для бегоний, фуксий и роз. А кроме того, одного окошка и вообще мало — что такое одно окно для целой горницы!

— И вот еще что, — сказала Ингер, — у меня нет утюга. Мне нужен утюг, чтоб приглаживать швы, когда я шью белье и платье, а то настоящего шва не сделаешь; хоть какой-нибудь утюг да нужен.

Исаак обещал поехать в село и дать заказ кузнецу выковать замечательный утюг. Да, Исаак был готов

сделать все, что она ни попросит, готов был исполнять все требования Ингер, потому что он понял: она многому научилась и стала совсем другая. И речь у нее тоже стала другая, лучше, благороднее. Она уже не кричит ему как прежде: «Иди поешь!» Теперь она говорит: «Пожалуйста, пойди покушай!» Все переменялось. В прежние времена он, бывало, скажет самое большее «ладно» и продолжает работать еще с добрый час, прежде чем пойдет есть. Теперь он отвечает: «Спасибо!»—и идет сейчас же. От любви умный глупеет, иногда Исаак отвечает: «Спасибо, спасибо!» Ну, конечно, все переменялось, и не слишком ли уж по-благородному стали они жить? Когда Исаак говорит «навоз» или называет вещи обычными для землепашца словами, Ингер, «ради детей», поправляет: «Удобрение».

Она заботилась о детях, учила их всему и во всем помогала: крошка Леопольдина преуспевала в вязанье крючком, а мальчуганы—в письме и школьных науках, стало быть, они не придут в сельскую школу неподготовленными. Особенно прилежным оказался Элесеус, маленький же Сиверт занятиями не интересовался, попросту сказать, он был шалопай и проказник, а однажды даже осмелился отвинтить что-то с маминой швейной машины и настругать стружек со стульев и со стола подаренным перочинным ножом. Ему пригрозили отнять перочинный нож.

Кроме того, в распоряжении детей были все животные на хуторе, а у Элесеуса вдобавок имелся еще и цветной карандаш. Он очень его берег и неохотно давал брату, но с течением времени все стены в доме покрылись рисунками, а карандаш укорачивался с угрожающей быстротой. В конце концов Элесеусу пришлось посадить Сиверта на голодный паек, выдавая ему карандаш только на один рисунок по воскресеньям. Это решение никак не совпадало с желаниями Сиверта, но не такой был Элесеус человек, чтоб с ним можно было торговаться. Не то чтобы он был сильнее, просто руки у него были длиннее и в драке он был увертливее.

А Сиверт-то! То он нашел в лесу выводок куропаток, однажды с гордостью рассказал про какую-то чудную мышиную нору, а в другой раз—про форель в реке ростом с человека, но это были чистые выдумки, Сиверту ничего не стоило выдать черное за белое, впрочем, в остальном он был славный малый. Когда у кошки появились котята, не кто другой, как он приносил ей молоко, потому что на Элесеуса она только и знала, что

фыркать, и Сиверту не надоедало подолгу стоять и глядеть в ящик, в этот домик, населенный котятами с крошечными лапками.

А куры, которых он наблюдал день за днем, и петух с конской гривой и ярким опереньем, куры, которые разгуливали по двору, переговариваясь между собой и поклевывая песок, или вдруг принимались истошно вопить, снеся яйцо.

И еще был старый баран. Маленькому Сиверту, который знал теперь куда больше прежнего, все равно никогда было не сказать про барана: «Господи, да у него же совсем римский нос!» Ну не мог он сказать такое. Зато Сиверт мог сказать другое: он знал барана еще с тех пор, как тот был ягненком, он понимал его, составляя с ним одно целое, был ему родным, равным с ним. Однажды он пережил незабываемую минуту, ощутив в душе какое-то мистическое первобытное чувство: баран щипал траву, вдруг он поднял голову и, перестав жевать, уставился куда-то вдаль. Сиверт невольно посмотрел в том же направлении — нет, ничего примечательного. И тут он сам ощутил в душе что-то необыкновенное. «Словно в Эдемский сад заглянул!» — подумал он.

Были еще коровы, которых на каждого из детей приходилось по две, большие, медлительные животные, такие добродушные и ласковые, что маленьким человечкам ничего не стоило в любую минуту подойти к ним и погладить. Была свинья, белая и очень опрятная при хорошем уходе, прислушивающаяся ко всем звукам, помешанная на еде чудачка, пугливая, как девчонка. И был козел — в Селланро всегда жил старый козел, когда один помирал, его место занимал другой. Где еще увидишь такое козлиное выражение, какое бывает у козла! Как раз нынче под его присмотром было очень много коз, но иногда ему надоедала и прискучивала вся эта компания, и тогда он укладывался на землю, задумчивый и долгобородый, настоящий праотец Авраам. А потом вдруг снова вскакивал и мекал на коз. От него всегда шел резкий, острый запах.

Повседневная жизнь на хуторе идет своим чередом. Когда редкий путник, пробираясь через горы, проходит мимо и спрашивает: «И хорошо ли вы тут поживаете?» — Исаак отвечает и Ингер отвечает: «Да, спасибо тебе на спросе!»

Исаак все работает и работает, по всем своим делам он сверяется с календарем, следит за фазами луны,

сообразуется со сменами времен года, работает. Он проложил довольно большой кусок дороги на спуске к низине, так что может теперь ездить в село на лошади с телегой, но по-прежнему чаще ходит пешком, неся на себе козий сыр или кожи, кору, бересту, масло, яйца, и продает все эти товары, а вместо них покупает другие. Летом он ездит в село нечасто еще и потому, что от Брейдаблика дорога совсем плохая. Он не раз просил Бреде Ольсена подправить дорогу, и Бреде обещал, но так и не сдержал слова. А больше просить Исаак не хочет, предпочитая таскать тюки на собственном горбу. Ингер тогда говорит: «Диву даюсь, что ты за человек, как ты все это выносишь!» А он выносит все. Сапоги у него такой фантастической величины и тяжести, с подметками, подбитыми таким толстым железом, да еще с ремнями к ним, приколоченными заклепками,—уже одно то, что человек мог ходить в таких сапогах, казалось чудом.

В один из своих походов в село он встречает на болоте несколько партий рабочих, они складывают кучки из камней и ставят телеграфные столбы. В основном это жители здешнего села, Бреде Ольсен тоже с ними, хотя он выселился на хутор и должен бы заниматься земледелием. «И как это он все успевает!»—думает, наверно, Исаак.

Старший из рабочих спрашивает Исаака, не продаст ли он бревен на телеграфные столбы. Нет. Даже за хорошую цену? Нет. Исаак стал немножко сообразительнее, научился разговаривать с людьми. Если он продаст столбы, у него прибавится немножко денег, несколько лишних далеров, но у него не будет леса, так какая же ему от того выгода? Подходит сам инженер и повторяет предложение, но Исаак отказывается.

— У нас и у самих есть столбы,—говорит инженер,—но удобнее взять их из твоего леса, чтоб не возить издалека.

— Мне и для себя не хватает бревен,—говорит Исаак,—я собираюсь построить небольшую лесопилку, а то у меня ни амбара нет, ни других служб.

Тут в разговор вмешивается Бреде Ольсен и говорит: — Будь ты такой, как я, Исаак, ты бы продал столбы.

Уж на что Исаак терпелив, но тут он посмотрел в упор на Бреде и ответил:

— Еще бы!

— Как так?—спросил Бреде.

— Но ведь я не такой, как ты,— сказал Исаак.

Кто-то из рабочих рассмеялся, услышав этот ответ.

Ну да, у Исаака были особые причины немножко осадить соседа — не далее как сегодня он видел пасущихся на брейдабликском поле трех овец и одну сейчас же признал, ту самую, лопоухую, что утащила Олина.

«Пусть себе Бреде оставит мою овцу,— думал он, возвращаясь домой,— пусть Бреде с женой станут богаче на одну овцу!»

А лесопилку он тоже все время держал в мыслях, это правда, и даже привез домой по последнему зимнему пути большую дисковую пилу и принадлежности к ней, которые торговец выписал для него из Тронхейма. Теперь эти машинные части лежали в сарае, смазанные льняным маслом для предохранения от ржавчины. Часть бревен, необходимых для сооружения запруды, он тоже привез и мог хоть сейчас начать строительство, но все время откладывал. Он и сам не понимал почему: то ли стал уставать, то ли сдавать? Для других в этом не было бы ничего удивительного, ему же самому казалось невероятным. Голова, что ли, у него ослабела? Раньше его не пугала никакая работа, но, должно быть, он немного изменился с тех пор, как построил мельницу на таком большом водопаде. Можно, конечно, взять помощника из села, но ему хотелось опять попробовать самому — начать на днях, Ингер подсобит.

Он сказал об этом Ингер:

— Гм. Не выберешь ли ты как-нибудь часок-другой подсобить мне на лесопилке?

Ингер подумала.

— Конечно, если будет время. Так ты решил строить лесопилку?

— Да, есть у меня такая задумка. В голове-то я уже все обмозговал.

— Ее строить труднее, чем мельницу?

— Куда труднее. В десять раз труднее,— похвастал он.— Господи помилуй, тут ведь все надо приладить, до самой малюсенькой черточки, а пила — та должна пройти точно по середине.

— Как-то ты с этим справишься? — рассеянно сказала Ингер.

Исаак обиделся на эти ее слова и сказал:

— Надо попробовать.

— А нельзя найти какого-нибудь мастеровитого человека, чтоб помог тебе? — спросила она.

— Нет.

— Так ведь не справишься!— сказала она и отвернулась.

Исаак медленно, словно медведь лапу, поднял руку и провел по волосам.

— Вот этого-то я и боюсь,— сказал он,— боюсь, что не справлюсь, затем и прошу тебя помочь, потому что ты-то это понимаешь.

Тут медведь правда попал в точку, но только это ни к чему не привело. Ингер вскинула голову, сердито хлопнула себя по бедрам и наотрез отказалась работать на лесопилке.

— Так,— сказал Исаак.

— Уж не прикажешь ли ты мне мокнуть в реке и терять здоровье? А кто станет шить на машинке, ходить за скотиной, заниматься хозяйством и все такое?

— Ну, ладно, ладно,— согласился Исаак.

А и помощь-то ему требовалась всего на четыре угловых столба да на два средних по обеим продольным стенам— вот и все! Неужто Ингер превратилась в такую неженку от долгого житья в городе?

А все дело было в том, что Ингер очень сильно изменилась и уже не столько думала о благе своих ближних, сколько о самой себе.

Она освоила чесальные доски, прялку и ткацкий станок, но гораздо больше любила шить на машинке; когда же кузнец выковал для нее утюг, она оказалась вполне вооруженной, чтобы заняться шитьем. То была ее профессия. Для начала она сшила несколько платиц Леопольдине. Исааку они очень понравились, и он принялся на все лады расхваливать их, пожалуй даже чуть чрезмерно. Ингер дала понять, что это сущие пустяки по сравнению с тем, на что она способна.

— Только очень уж они короткие,— сказал Исаак.

— В городе аккурат такие носят,— сказала Ингер,— ты в этом ничего не понимаешь.

Исаак, стало быть, вмешался куда не следовало и потому намекнул, что неплохо бы купить какой-нибудь материи для нее самой, для самой Ингер.

— На пальто?— спросила Ингер.

— Да, или на что хочешь.

Ингер согласилась на материю для пальто и объяснила, какую ей хочется.

Но когда она сшила пальто, надо же было кому-нибудь показать его, и потому, когда мальчиков повезли

в школу, она отправилась в село вместе с ними. Путешествие это оказалось не вовсе бесполезным, оно оставило свои следы.

Во-первых, когда они проезжали мимо Брейдаблика, хозяйка Брейдаблика вышла из дома с детьми посмотреть на проезжающих. В телеге сидели, словно господа, Ингер и оба мальчика, мальчики ехали в школу, а на Ингер было надето пальто. При виде этого в сердце хозяйки Брейдаблика впиалась змея: без пальто она бы еще и обошлась, слава Богу, ума хватит, но у нее самой были дети, взрослая девочка Барбру, следующий за нею Хельге и Катрина — все школьного возраста. Само собой, двое старших ходили прежде в сельскую школу, но когда семья переселилась на болота, в этот отдаленный Брейдаблик, дети опять превратились в язычников.

— А ты захватила с собой еду для ребят? — спросила хозяйка.

— Еду-то? Не видишь разве сундук? Это мой дорожный сундук, я привезла его с собой домой, так вот, в нем доверху еды.

— Чего же ты взяла?

— Чего взяла? Свинины и мяса на варево, масла, хлеба и сыра на завтраки.

— Ну и богато живете! — сказала хозяйка, а ее худенькие, бледные детишки слушали, раскрыв рот, обо всех этих яствах.

— У кого же ты их поселишь? — спросила хозяйка.

— У кузнеца.

— Так, — промолвила хозяйка. — Мои тоже скоро отправятся в школу, но они-то будут жить у ленсмана.

— Вот как, — сказала Ингер.

— Да, а не то у доктора или у священника. Ведь мой Бреде на короткой ноге со всеми важными господами.

Тут Ингер оправила пальто, наивыгоднейшим образом выпустив черную шелковую бахрому.

— Откуда у тебя это пальто? — спросила хозяйка. — Привезла из города?

— Сама сшила.

— Вот я и говорю: вы там, в глуши, того и гляди, лопнете от богатства.

Всю дорогу Ингер переполняло чувство радости и гордости, а въехав в село, она, быть может, уж слишком явно выказала свое превосходство; во всяком случае,

супругу ленсмана Хейердала весьма раздосадовало, что она явилась в село в пальто: не иначе как хозяйка Селланро забыла, кто она такая, забыла, откуда приехала после шестилетнего отсутствия. Как бы то ни было, Ингер продемонстрировала свое пальто, и ни жена торговца, ни кузнеца жена, ни учительша не имели ничего против, чтоб занять такое же, но решили пока повременить.

А вскоре у Ингер не стало отбоя от гостей. Несколько женщин пришли из-за перевала любопытства ради; должно быть, Олина ненароком упомянула о ней, разговаривая с той или другой; женщины приносили разные новости из родного села Ингер, а взамен получали угощение и разрешение полюбоваться швейной машинкой. Потом появились две молоденькие девушки из прибрежного села, а за ними еще две, посоветоваться с Ингер: стояла осень, они скопили денег на обновы, не расскажет ли им Ингер, какие теперь на свете моды, а может, и скроит что-нибудь из их материи. Ингер оживлялась от этих визитов, прямо расцветала, она была приветлива, благожелательна и, будучи большой мастерицей, кроила без всяких выкроек; иногда она прямо тут же тачала длинные швы на машинке, ничего не беря за это, и, отдавая девушке раскроенную материю, шутливо говорила: «Ну вот, а пуговицы уж пришьешь сама!»

Поздней осенью Ингер получила приглашение приехать в село, пошить на начальство. Пришлось отказаться: у нее семья, и скотина, и разные домашние дела, а прислуги нет. Чего у нее нет? Прислуги!

Она сказала Исааку:

— Будь у меня помощница, я бы шила гораздо больше.

Исаак не понял:

— Помощница?

— Ну да, помощница в доме, служанка.

Тут у Исаака, должно быть, пошли круги перед глазами, потому что он усмехнулся в свою железную бороду, приняв ее слова за шутку.

— Да уж, самая пора нанять служанку! — сказал он.

— В городе они у всех хозяек есть, — ответила Ингер.

— Ну-ну, — промолвил Исаак.

По правде сказать, ему было не до веселья и радости, он был не в духе оттого, что начал строить лесопилку, а дело у него не клеилось: не мог он одной рукой держать столб, а другой орудовать ватерпасом и одновременно

укреплять поперечины. Но с тех пор, как мальчики возвратились из школы, дело явно пошло на лад, ребятишки оказались на редкость полезны, при этом Сиверт был молодчина по части вбивания гвоздей, Элесеус же ловчее действовал шнуром. После недельной работы Исааку и мальчуганам удалось-таки установить столбы и надежно укрепить их толстыми, как балка, поперечинами. Самая трудная работа была позади.

Лесопилка ладилась, да и все другое ладилось. Но по вечерам Исаак начал чувствовать усталость. Ведь надо было не только ставить лесопилку, на нем лежали и все другие дела по хутору. Сено свезли в амбар, ячмень же еще наливался на корню, скоро придет время уборки, а там, глядишь, и картошка поспеет. Впрочем, Исааку здорово помогали мальчики. Он их не благодарил, такое не в обычае было у таких, как он и ему подобных, но он был ими очень доволен. Иногда в разгар рабочего дня им случалось присесть передохнуть, и тогда, разговаривая с ними, отец, казалось, всерьез советовался с сыновьями, за какие дела им приняться раньше, а какие отложить. Эти минуты преисполняли ребятишек гордостью, и они научились, чтоб не ошибиться, хорошенько думать перед тем, как сказать свое слово.

— Неладно будет, если не подведем лесопилку под крышу до осенней мокроты,— говорил Исаак.

Если б только Ингер была такая, как в прежние времена! Но Ингер, должно быть, как и можно было ожидать, сдала здоровьем после столь долгого пребывания в заключении. Что характер ее изменился— это само собой, но она стала как-то уж очень рассеянна и легкомысленна, пустая душой. Про ребенка, которого она убила, однажды сказала: «Я была порядочная дура, ведь губу-то ей можно было бы зашить, напрасно я ее задушила!» И ни разу не сходила на могилку в лесу, где когда-то уминала руками землю и поставила крест.

Но Ингер вовсе не была чудовище, она продолжала относиться с большой любовью к другим своим детям, заботилась о них, обшивала, просиживала ночи напролет за починкой их платья и белья. Она мечтала вывести их в люди.

И вот ячмень убрали, картошку выкопали. Пришла зима. Да, а лесопилку этой осенью так и не удалось подвести под крышу, но ничего не поделаешь, не помирать же из-за этого! Сделается летом.

А зимой пошла обычная работа: возка дров, починка орудий, инвентаря и сбруи, Ингер занималась хозяйством и шила. Мальчики опять надолго уехали в село, в школу. Они уже несколько зим пользовались одной парой лыж на двоих; пока они жили дома, все было в порядке: один терпеливо ждал, пока другой отбегает свое, или же один становился на лыжи позади другого. Да, они отлично ладили, они не знали иных радостей, они еще не были испорчены. Но в селе условия жизни побогаче, у всех в школе были свои лыжи, оказалось, даже у ребятешек из Брейдаблика у каждого по собственной паре лыж. Так что Исааку пришлось сделать новую пару для Элесеуса, а старая досталась Сиверту.

Исаак сделал больше: он одел мальчуганов и купил им неизносимые сапоги. А после этого пошел к торговцу и заказал ему кольцо.

— Кольцо? — спросил торговец.

— Да, кольцо, носить на пальце. Я так зазнался, что хочу подарить своей жене кольцо на палец.

— Какое же, серебряное или золотое, а то, может, медное, только позолоченное?

— Серебряное.

Торговец долго думал.

— Раз уж на то пошло, Исаак, и ты решил подарить своей жене кольцо, — подари уж золотое, чтоб не стыдно было носить.

— Что?! — громко проговорил Исаак. Но в глубине души он, конечно же, и сам думал о золотом кольце.

Они во всех подробностях обговорили покупку, столковавшись на определенном размере. Исаак тяжело сопел, качал головой и сетовал на слишком высокую цену, но торговец стоял на своем, заявив, что, кроме золотого, другого кольца он и выписывать не станет. Весь обратный путь домой Исаак, в сущности, радуясь своему решению, не переставал ужасаться расходам, в какие вводит любовь.

Зима стояла ровная, снежная, и когда к Новому году установился санный путь, из села начали возить на болота телеграфные столбы и складывать их на определенном расстоянии друг от друга. В каждую подводу было впряжено несколько лошадей, они везли столбы мимо Брейдаблика, мимо Селланро; а потом они встретились с другими такими же подводами, шедшими с другой стороны перевала, и вся линия оказалась завершенной.

Так шла жизнь, день за днем, без крупных событий. Да и что могло случиться? Весной начались работы по установке телеграфных столбов; без Бреде Ольсена не обошлось и тут, хотя ему бы в самую пору заняться весенними работами на собственном участке. «И как это он всюду успевает!» — снова подумал Исаак.

Самому Исааку едва хватало времени, чтоб поесть да поспать, он едва-едва управился с весенними делами, правда, земли у него теперь было обработано довольно много.

В оставшееся до покоса время он подвел-таки лесопилку под крышу и мог теперь приняться за установку механизма. Что и говорить, лесопилка вовсе не была чудом искусства, но построена была прочно и основательно, и дело свое делала справно, лесопилка действовала, лесопилка пилила; не раз бывая на лесопилке в селе, Исаак там хорошенько все высмотрел, переняв все хорошее. Получилась славная крошечная лесопилка, но он был доволен ею, вырубил на двери год и поставил свое тавро.

А летом в Селланро произошло все-таки что-то не совсем обыкновенное.

Рабочие, проводившие телеграф, забрались так далеко в глушь, что однажды вечером передний их отряд вышел к хутору и попросился переночевать. Их устроили на ночь в овине. Дни шли, подходили другие партии, всем рабочим давали приют в Селланро, они уходили все дальше и дальше от хутора, но по-прежнему возвращались ночевать в овин. Как-то субботним вечером приехал для расчета с рабочими инженер.

Когда Элесеус увидел инженера, у него от страха сердце ушло в пятки, и он поспешно шмыгнул за дверь, только бы его не спросили про карандаш. И надо же так случиться, что и Сиверта нет дома и не у кого искать поддержки! Элесеус, словно призрак, крался вдоль стены и, наткнувшись наконец на мать, послал ее за Сивертом. Другого выхода не было.

Сиверт отнесся к делу гораздо спокойнее, впрочем, главная-то вина лежала не на нем. Братья уселись в сторонке, подальше от дома, и Элесеус сказал:

— Если б ты взял это на себя!

— Я? — сказал Сиверт.

— Ты гораздо младше, тебе он ничего не сделает.

Сиверт подумал-подумал, понял, что брат угодил в пелуделку, и ему польстило, что Элесеус в нем нуждается.

— Я мог бы, пожалуй, пособить тебе,— сказал он покровительственно.

— Ну пожалуйста!— воскликнул Элесеус и протянул брату огрызок карандаша.— Возьми его насовсем!— сказал он.

Они пошли было домой вместе, но Элесеус сказал, что у него есть еще дела на лесопилке, вернее, на мельнице, надо кое-что посмотреть, а на это потребуется время, вряд ли он управится раньше чем через час. Сиверт пошел один.

В горнице сидел инженер и рассчитывался с рабочими бумажками и серебряными монетами, а покончив с расчетом, налил из кринки в стакан молока, которым угостила его Ингер, и очень благодарил ее. Потом поболтал с маленькой Леопольдиной, а увидев на стенах рисунки, поинтересовался, кто их нарисовал.

— Не ты ли?— спросил он Сиверта. Инженер, наверно, хотел выразить таким образом свою благодарность за гостеприимство и порадовать мать, расхвалив рисунки. Ингер объяснила толково и ясно, что ребятишки рисовали вдвоем, оба брата. Бумаги у них не было, и пока она не вернулась домой и не привезла им ее, они карябали на стенах. А у нее не хватает духу смыть их малеванье.

— И не надо,— сказал инженер.— Бумага?— и выложил на стол много-много больших листов.— Вот, рисуйте себе на здоровье до следующего моего приезда. А как насчет карандашей?

Сиверт протянул ему свой огрызок, показывая, что от карандаша остался совсем маленький кусочек. Инженер дал ему новый, неочиненный цветной карандаш.

— Рисуй себе на здоровье! Только пусть лучше лошадь будет у тебя красная, а козел синий. Ты ведь не видал синих лошадей, верно?

Потом инженер уехал.

В тот же вечер из села пришел человек с коробом, продал рабочим несколько бутылок и ушел. А после его ухода в Селланро стало уже не так тихо, заиграла гармоника, все громко заговорили, запели, а потом немножко и поплясали. Один из рабочих пригласил на танец Ингер, а Ингер,— вот и пойми ее!— Ингер легонько усмехнулась и прошлась с ним несколько кругов. После этого ее стали приглашать и другие, и она порядочно повертелась.

Кто ее поймет, эту Ингер! Должно быть, то был первый счастливый танец в ее жизни, ее домогались, ее

добивались тридцать мужчин, она была среди них одна-единственная, у нее не было соперниц. А как они поднимали и кружили ее, эти здоровенные телеграфисты! Почему и не потанцевать? Элесеус и Сиверт спали крепким сном в клетки под шум и крики, разносившиеся по всей усадьбе, а маленькая Леопольдина не спала, с изумлением глядя на прыжки матери.

Исаак сразу после ужина ушел на поле, а когда вернулся домой, решив ложиться спать, ему поднесли из бутылки, и он тоже выпил глоток-другой. Он сидел и смотрел на танцы, держа на коленях Леопольдину.

— Попляши, попляши! — добродушно сказал он Ингер. — Ног тут много!

Но вскоре музыкант перестал играть, и танцы кончились. Рабочие собрались в село на остаток ночи и весь завтрашний день, с тем чтоб вернуться только в понедельник утром. Вскоре в Селланро все стихло, все ушли, только двое-трое пожилых мужчин остались и пошли укладываться в овин.

Исаак поискал Ингер, чтоб уложить Леопольдину, а не найдя ее, сам внес девочку в дом и уложил спать. И тоже лег.

Среди ночи он проснулся, Ингер рядом не было. «На скотном дворе она, что ли?» — подумал он, встал и отправился на скотный двор.

— Ингер? — позвал он. Никакого ответа. Коровы повернули головы и посмотрели на него, все было спокойно. По старой привычке он пересчитал скотину, пересчитал овец и коз, одну суягную овцу всегда было трудно загнать в хлев, вот и опять она осталась на воле.

— Ингер? — позвал он. Опять никакого ответа. «Не ушла же она с ними в село?» — подумал он.

Летняя ночь была светлая и теплая, Исаак посидел немножко на крыльце, потом встал и пошел в лес искать овцу. А нашел Ингер. Ингер здесь? Ингер и с ней мужчина. Они сидели на вереске, она вертела его фуражку на указательном пальце, они разговаривали, ее, должно быть, опять домогались.

Исаак тихонько подошел к ним сзади, Ингер обернулась и, увидев его, казалось, обессилела и, выронив фуражку, повалилась наперед грудью.

— Гм. Ты знаешь, что суягная овца опять пропала? — сказал Исаак. — Да нет, где тебе знать, — прибавил он.

Молодой телеграфист поднял свою фуражку и бочком пошел прочь.

— Пойду догоню остальных,— проговорил он.— Доброй ночи,— добавил он, уходя. Никто не ответил.

— Так вот ты где!— сказал Исаак.— Здесь и будешь сидеть?

Он пошел к дому. Ингер поднялась на колени, встала на ноги и поплелась за ним, так они и шли гуськом, муж впереди, жена сзади. Пришли домой.

Ингер тем временем опаматовалась, нашла себе оправдание.

— Я как раз и пошла за овцой,— сказала она,— увидела, что ее нет. А тут случился этот парень, помог мне искать. Мы и минутки не посидели, как ты пришел. Куда ж ты сейчас-то?

— Я? Надо же найти животину.

— Да нет, ты ложись. Если уж кому искать, так мне. А ты ложись, тебе надо отдохнуть. Впрочем, овца может остаться и на воле, так ведь и раньше не раз случалось.

— Ну да, чтоб ее сожрали звери!— сказал Исаак и вышел.

— Нет же, не ходи!— крикнула она, догоняя его.— Тебе надо отдохнуть. Я пойду сама.

Исаак дал уговорить себя. Но он и слышать не хотел, чтоб Ингер пошла искать овцу. Оба вернулись в дом.

Ингер кинулась посмотреть на детей, сходила в клеть взглянуть на мальчиков и вела себя так, будто уходила из дома за самым законным делом, пытаясь даже подлеститься к Исааку, словно ожидала этим вечером ласки горячее обычной,— ведь объяснила же она ему все как на духу. Но нет, благодарим покорно, Исаака не так-то легко повернуть куда хочешь, ему бы было куда легче, если б она погрузилась в печаль, не зная, куда деваться от раскаянья. Куда легче! Грош цена тому, что она съезжилась в лесу, что ей стало чуточку не по себе, когда он наткнулся на нее,— грош цена, раз все так скоро прошло!

На следующий день, в воскресенье, он нисколько не помягчел, ушел из дому, отправившись на лесопилку, потом на мельницу, потом в поле, сначала с детьми, потом один. Когда Ингер попыталась присоединиться к ним, Исаак тотчас пошел в другую сторону.

— Мне на реку надо, посмотреть кой-что,— сказал он. Какая-то боль грызла его, но он переносил ее в мрачном молчании, не показывая гнева. Исаак был человек гордый, как Израиль, например,— взысканный и обманутый, но все же верующий.

В понедельник атмосфера на хуторе несколько разрядилась, а с днями впечатление от досадной субботней

ночи постепенно начало сглаживаться. Время многое исправляет, плевками и грязью, едой и сном оно залечивает все раны. У Исаака же ничего особенно страшного не случилось, он даже не был твердо уверен, что его обидели, а кроме того, у него было много другого, о чем подумать: вот-вот наступит пора сенокоса. А в-седьмых и последних, проводка телеграфной линии скоро подойдет к концу, и на хуторе вновь воцарится мир и тишина. Широкая, светлая просека пересекала лиственный лес, столбы с натянутыми проводами шли по ней вплоть до самого горного перевала.

В следующий субботний расчет, который был последним, Исаак по своей воле и желанию устроил так, чтоб не быть дома. Он понес в село масло и сыр и вернулся только в ночь на понедельник. К тому времени все рабочие уже покинули овин, почти все, у него на глазах последний выходил со двора с мешком за спиной, почти последний. Что не все обстоит благополучно, Исаак понял по деревянному сундучку, по-прежнему стоявшему в овине; где его владелец, он не знал, да и не хотел знать, но фуражка с козырьком досадной уликой лежала на сундучке.

Исаак вышвырнул сундучок на двор, вслед за ним швырнул фуражку и запер овин. Потом пошел в конюшню и выглянул в окно. «Пусть сундук стоит там,— должно быть, думает он,— и пусть фуражка валяется там, мне все равно, чьи они, но его, сволочь эдакую, я не желаю знать». Но когда он придет за корзинкой, Исаак выйдет на двор, схватит его легонько за руку и накостыляет как следует. А уж как проводить его со двора, об этом он тоже позаботится!

С этими мыслями Исаак отошел от окна в конюшне, направился в хлев и выглянул оттуда, не находя покоя. Сундучок был обвязан веревкой, у бедняги не было даже замка для него, а веревка ослабла — не слишком ли круто Исаак обошелся с сундуком? Как уж так получилось, только он не чувствовал больше уверенности, что поступил правильно. В эту свою последнюю поездку в село он видел новую борону, которую выписал из города, о, чудо что за машина, ну чистая икона, ее только-только доставили на место. Лишь бы на нее было ниспослано благословение Божие. Может быть, как раз в эту минуту высшая сила, направляющая стопы человека, смотрит на Исаака, решая, заслуживает он благословения или нет. Высшие силы всегда занимали Исаака, ему и самому

довелось однажды собственными глазами увидеть в лесу Бога, и было это удивительно и странно.

Исаак вышел во двор и остановился над сундуком. Подумал немного, сдвинул набекрень шапку и поскреб голову, и вид у него при этом был как у развязного, отважного испанца. Но тут он, должно быть, подумал: «Вот я стою, и никакой я не замечательный и выдающийся человек, а просто собака, и больше ничего!» Обвязав сундук покрепче веревкой и подняв с земли фуражку, он отнес их обратно в овин. Ну, вот все и сделано.

Когда он выходил из овина и спускался к мельнице, прочь от дома, прочь от всего, Ингер не стояла у окна в горнице. Ну что ж, пусть ее стоит где хочет, а впрочем, она небось лежит в постели, где ей и быть? В прежние времена, в первые безгрешные годы их житья на новом месте, тогда Ингер не знала покоя, не ложилась спать, пока он не возвратится домой из села, и всегда встречала его. Нынче все не так, нынче все стало по-другому. Взять хотя бы тот случай, когда он подарил ей кольцо,— хуже и не придумаешь! По скромности своей Исаак не стал говорить ей, что кольцо золотое.

— Ничего в нем особенного, так себе, пустяк, но ты все же надень его на палец, померяй!

— Оно золотое?—спросила она.

— Да, только не очень толстое,—сказал он. Ей бы ответить: «Ну что ты!»—а она вместо этого сказала:

— Верно, совсем не толстое.

— Ну и носи его вроде как травинку,—сказал он уныло.

Но Ингер была все же благодарна ему за кольцо, носила его на правой руке, кольцо поблескивало на пальце, когда она шила; изредка она давала его померить деревенским девушкам и покрасоваться в нем час-другой, когда они приходили к ней за советом. Неужто Исаак не понял тогда, как гордится Ингер кольцом!..

Но до чего же тоскливо сидеть одному на мельнице, всю долгую ночь слушая шум водопада. Исаак не сделал ничего худого, чего ему прятаться? Он вышел с мельницы и пошел полем домой, в избу...

И тут Исаак сконфузился, воистину обрадовался и сконфузился. В горнице сидел Бреде Ольсен, их сосед, не кто другой, как он,—сидел и пил кофе! Ингер вовсе и не спала, оба сидели, разговаривали и пили кофе.

— А вот и Исаак!—ласково сказала Ингер, встала и налила и ему кофе.

— Добрый вечер! — сказал Бреде и был также очень любезен.

Исаак сразу заметил, что Бреде хорошо кутнул на прощанье с рабочими, тянувшими телеграф, видно было, что он не выспался, но это ничего не меняло, он улыбался и был ласков. Разумеется, он прихвастнул: собственно говоря, ему некогда возиться с этой телеграфной работой, у него ведь на руках хутор; но никак нельзя было отказаться, до того пристал к нему инженер. А кончилось все тем, что Бреде пришлось согласиться и взять место инспектора на линии. Не ради платы, конечно, Бреде мог намного больше заработать в селе, но не пристало ему упрячиться. И вот теперь у него на стене висит маленькая блестящая машинка, довольно занятная машинка, что твой телеграф!

Исаак при всем желании не мог злиться на этого хвастунишку и лентяя, к тому же уж очень полегчало у него на душе оттого, что он застал нынче у себя дома соседа, а не чужого человека. Исааку были присущи мужицкая уравновешенность, несложные мужицкие чувства, мужицкая устойчивость и медлительность, он поддакивал Бреде и, покачивая головой, слушал его легковесную болтовню.

— Не нальешь ли еще чашечку кофе для Бреде? — спросил он Ингер. И Ингер налила ему еще кофе.

Ингер рассказала им про инженера, какой он необыкновенно добрый человек, он просмотрел рисунки и тетрадки мальчиков и сказал, что возьмет Элесеуса к себе.

— Возьмет к себе? — переспросил Исаак.

— Да, в город. Хочет, чтоб он писал у него, так ему понравились его рисунки и писанье, что он порешил сделать его конторщиком в своей конторе.

— Вот что! — сказал Исаак.

— А ты как думаешь? Ему уж пора подтвердиться. По-моему, это здорово.

— По-моему, тоже! — сказал Бреде. — И настолько-то я знаю инженера: ежели он сказал такое слово, то так и делает.

— Нам не обойтись здесь без Элесеуса, — сказал Исаак.

После этих слов стало как-то тихо и скучно. Да, с Исааком трудно столковаться.

— А если мальчик захочет уехать? — сказала наконец Ингер. — И если у него хватит ума, чтобы выбиться в люди!

Снова тишина. Но тут Бреде сказал, улыбнувшись:

— Инженер, верно, хотел взять и кого-нибудь из моих! У меня их много. Но старшая у меня Барбру, а она девочка.

— Барбру у вас умница,—из вежливости заметила Ингер.

— Да уж, в грязь лицом не ударит,—сказал и Бреде,—Барбру толковая и расторопная девушка, теперь она поступит к ленсману и будет у них жить.

— Она поступит к ленсману?

— Да, пришлось согласиться! Жена ленсмана все равно бы не отстала.

Давно наступило утро, и Бреде собрался уходить.

— У меня в вашем овине сундучок и фуражка, если только парни не утащили с собой,—пошутил он.

XIV

А время шло.

И, разумеется, Элесеус уехал в город, Ингер поставила на своем. Сначала он пробыл там год, конфирмовался, а после этого прочно обосновался в конторе у инженера, все больше и больше преуспевая в писанье бумаг. А что за письма посылал он домой, то черными чернилами напишет, то красными, чисто картины! А уж какие складные, какие речистые! Изредка он просил денег, просил помочь ему: то ему нужно купить часы с цепочкой, чтобы не просыпать по утрам и не опаздывать в контору, то деньги нужны на трубку и табак, как у всех молодых конторщиков; то на что-то такое, что он называл «карманными деньгами»; то на вечернюю школу, где он обучался черчению, гимнастике и другим предметам, необходимым в его профессии и положении. В общем, содержать Элесеуса на службе в городе стоило недешево.

— Карманные деньги?—спросил Исаак.—Это что же—деньги, которые носят в кармане?

— Должно быть, так,—ответила Ингер,—должно быть, для того, чтоб не оказаться совсем уж без гроша. Да и не так это много—время от времени один далер.

— Вот-вот, аккурат так: далер нынче, далер завтра,—сердито ответил Исаак. Но сердился он больше оттого, что скучал без Элесеуса и хотел, чтоб он был дома.—Этак выйдет много далеров,—продолжал он.—У меня

на это не хватит средств, напиши ему, что больше он ничего не получит.

— Да ладно уж,— оскорбленно проговорила Ингер.

— Сиверт-то небось никаких карманных денег не получает!— сказал Исаак.

Ингер ответила:

— Ты не бывал в городе и не понимаешь: Сиверту не нужны карманные деньги. Вдобавок Сиверта не придется жалеть, когда помрет дядя Сиверт.

— Откуда тебе знать?

— А вот знаю.

И в известном смысле это было верно — дядя Сиверт объявил, что его наследником будет маленький Сиверт. Дядя Сиверт много наслушался об успехах и положении Элесеуса в городе и, сердито покачав головой и поджав губы, поклялся, что племянник, которому дано имя в его честь, в честь дяди Сиверта, не останется внакладе! Но что, собственно, было за душой у дяди Сиверта? Правда ли, что, кроме разоренной усадьбы и рыболовных снастей, было у него и много денег и всякие другие богатства, как все считали? Никто этого не знал. К тому же дядя Сиверт отличался непомерным своеобразием, ему вынь да положь, чтоб Сиверт переехал к нему жить. Это для дяди Сиверта было вопросом чести: раз инженер взял Элесеуса, он возьмет Сиверта. Но как Сиверту уехать из дома? Просто невозможно. Он был единственным помощником отца. А кроме того, мальчик и сам не имел большого желания жить у дяди, у знаменитого на всю округу общинного казначея; однажды он было попробовал, но вскоре вернулся домой. Он тоже уже подтверждался, сильно вытянулся, на щеках у него появился темный пушок, а руки стали большие и мозолистые. Работал он как взрослый мужчина.

Исааку никогда бы не построить нового сарая без помощи Сиверта, а теперь вот сарай стоит, с помостом, отдушинами и всем, что полагается,— большой, ничуть не меньше, чем у священника. Разумеется, построен он из простых жердин, обшитых досками, но сколочен очень прочно, с железными скобами по углам, и обшит дюймовыми досками, напиленными на собственной лесопилке. Сиверт загнал в него не один гвоздь, поднял не одно здоровущее бревно для стропил, чуть не падая под его тяжестью. Сиверт любил работать бок о бок с отцом, он был весь в отца. Ничуть не избалованный, Сиверт, собираясь в церковь, как и в детстве, шел на бугор и натирал

себе лицо и руки для хорошего запаха листком пижмы. Зато у Леопольдины появились в последнее время разные причуды, как и можно было ожидать от девушки и единственной дочери. Нынешним летом она вдруг заявила, что не может есть за ужином кашу без патоки, ну вот никак не может! И работница она была никудышная.

Ингер не отказалась от мысли о служанке, каждую весну она заговаривала об этом, и каждый раз Исаак оставался непреклонен. Сколько бы накроила она матери, нашила, наткала бы тонкого холста, вышила бы туфель, если б у нее было больше времени! И в сущности, Исаак уже был менее несговорчив, чем прежде, хотя все-таки еще продолжал ворчать. Хо-хо, в тот первый раз он произнес длинную отповедь, не по справедливости и разуму и не от гордости, а, к сожалению, от слабости, от злости. Но теперь он, казалось, понемножку сдавался, стыдясь самого себя.

— Если и нужна мне в дом помощница, то именно сейчас,— сказала Ингер.— Потом Леопольдина подрастет и сможет сама многое делать.

— Помощница?— спросил Исаак.— На что тебе помощница?

— На что мне помощница? У тебя-то у самого разве нет помощника? А Сиверт?

Что Исаак мог ответить на такое неразумие? Он ответил:

— Коли у тебя в хозяйстве будет девка, значит, вы вдвоем вспашете, скосите и уберете весь урожай на хуторе. А мы с Сивертом займемся тогда своими делами.

— Уж там видно будет,— ответила Ингер,— но сейчас я могла бы нанять Барбру, она писала об этом домой.

— Какую такую Барбру?— спросил Исаак.— Барбру Бреде?

— Да. Она в Бергене.

— Не хочу я видеть у нас эту Барбру Бреде,— сказал он. И прибавил:— Нанимай любую другую.

Стало быть, от любой другой он не отказывался.

К Барбру из Брейдаблика Исаак не питал ни малейшего доверия, она была легкомысленна и непостоянна, как и ее отец,— а может, как и мать,— ненадежная ветрогонка. У ленсмана она недолго задержалась, всего год; конфирмовавшись, перешла к торговцу и у него прожила тоже год. Потом вдарилась в религию, и когда в село явились члены Армии Спасения, она вступила в ее ряды; ей дали красную повязку на рукав и гитару. В таком

наряде она уехала в Берген на яхте торговца, и было это в прошлом году. А недавно она прислала домой свою фотографию, Исаак ее видел: незнакомая барышня с завитыми волосами и длинной часовой цепочкой на груди. Родители гордились своей Барбру и показывали карточку всем, кто заходил в Брейдаблик; удивительно, какая она стала важная, но красной повязки на рукаве и гитары в руках у нее уже не было.

— Я брал карточку, показывал жене ленсмана, так она не узнала Барбру,— сказал Бреде.

— Она останется жить в Бергене?— подозрительно спросил Исаак.

— Она останется в Бергене, сколько захочет,— отвечал Бреде.— Если только не поедет в Христианию,— прибавил он.— Что ей делать дома? Сейчас она получила новое место и состоит домоправительницей у двух богатых холостяков-конторщиков. Жалованье получает большое.

— Сколько же?— спросил Исаак.

— Так уж точно она в письме не говорит. Но очень большое, как я понял, ежели сравнивать с тем, сколько платят у нас в селе; да еще подарки к Рождеству и разные другие подарки, и у нее за это ничего не вычитают.

— Так,— сказал Исаак.

— А ты не взял бы ее в работницы?

— Я?— вырвалось у Исаака.

— Да нет, хе-хе, я просто так спросил, Барбру останется жить там, где живет сейчас. Что это я хотел сказать? Да! Ты никакого беспорядка не заметил на телеграфе по дороге сюда?

— На телеграфе? Нет.

— С тех пор, как я взял его под свой присмотр, на линии и вправду не найдешь беспорядка. Да и машинка специальная не зря на стене висит, сразу предупредит, ежели что неблагополучно. Как-нибудь схожу на линию, осмотрю. У меня и без того дел невпроворот, одному никак не справиться. Но раз уж я состою инспектором и занимаю общественную должность, придется делать эту работу, покуда хватит сил.

Исаак спросил:

— А ты не думаешь отказаться?

— Не знаю,— ответил Бреде,— я пока не решил. Ко мне все пристают, чтоб я перебирался назад в село.

— Кто же к тебе пристает?— спросил Исаак.

— Да все. Ленсман хочет взять меня в приставы, доктор тянет в кучера, а пасторша не раз готова была

обратиться за помощью, будь до нас не так далеко. А правда, Исаак, что ты получил за свою гору такие большие деньги, как говорят?

— Да, что правда, то правда,— ответил Исаак.

— На что она Гейслеру? Гора-то ведь здесь, у нас. Чудно как-то. Да и сколько лет уж прошло.

Исаак и сам нередко задумывался над этой загадкой, говорил с ленсманом, спрашивал адрес Гейслера, чтоб написать ему. Дело и впрямь было мудреное.

— Ничего я не знаю,— сказал Исаак.

Бреде не скрывал, что интересуется этой сделкой.

— Говорят, на казенной земле не одна твоя гора такая,— сказал он,— в других тоже могут быть разные сокровища, а мы-то ходим, точно бессловесные животные, и ничего этого не видим. Я решил как-нибудь забраться в горы и поизучать их.

— Да ты разве знаешь толк в горах и в породах камней?— спросил Исаак.

— Маленько разбираюсь, да и порасспросил кое-кого. Так или эдак, а надо что-нибудь придумать, не прокормиться мне на хуторе со всем семейством. Никак это невозможно. Ты совсем другое дело, тебе достался весь лес и вся хорошая земля. А здесь одно болото.

— Болото—земля хорошая,—сухо сказал Исаак.— У меня у самого болото.

— Да его ни в жисть не осушишь,— ответил Бреде.

Но осушить болото не такое уж и невозможное дело. Нынче по дороге к низине Исаак видел, как расчищают новые участки—два внизу, против села, а один значительно выше, между Брейдабликом и Селланро. Значит, и тут пошла работа; когда Исаак поселился в этих местах, здесь царило полное безлюдье. Три эти новосела были нездешние, но, должно быть, люди толковые; они начали не с займа денег под постройку дома, а приехали, пожили немного, покопались в земле и опять уехали, словно умерли. Вот как по-настоящему надо браться за дело: рыть, пахать, сеять. Ближайшим соседом Исаака был Аксель Стрём, толковый парень, холостой, уроженец Хельгеланна, он брал у Исаака плуг—распахать свое болото—и только на второй год построил сенной сарай да землянку для себя и двух-трех голов скота. Хутор его назывался Монеланн—Лунный,—очень уж красиво светила на него луна. У него не было в доме женщины, и он так и не смог найти на лето работницу—больно далеко от села,—но делал все на редкость правильно. Не начи-

нать же, как Бреде, с постройки избы, а потом приехать с семьей и кучей ребят на хутор, не имея ни земли, ни скотины, чтобы прокормиться? Да что понимает Бреде Ольсен в осушке болот и распашке целины!

Вот убивать время на всякую ерунду — на это Бреде Ольсен мастер! Заехал однажды в Селланро, ну как же, он собрался в горы, искать по поручению кого-то драгоценные металлы! Вечером вернулся, сказал, что ничего определенного не нашел, обнаружил только кое-какие признаки, сказал и кивнул. Скоро опять поедет, а заодно обследует склоны гор, что смотрят в сторону Швеции.

И верно, Бреде пошел снова в горы. Должно быть, ему понравилось это занятие, а свалил все на телеграф, мол, надо объехать линию. Тем временем его жена с ребяташками копались на земле или оставляли все на волю Божию. Исааку надоели его приходы, и как только появлялся Бреде, он уходил из дома, оставляя Ингер с Бреде разговаривать одних. О чем им было говорить? Бреде часто навещался в село и знал все новости о важных господах, Ингер в свою очередь могла немало порассказать ему о своем знаменитом путешествии в Тронхейм и о тамошней жизни. За те годы, что она пробыла вдали от дома, Ингер стала страсть как болтлива, заводя разговоры с кем ни попадя. Да, это уже совсем не та наивная и справедливая Ингер, что прежде.

Женщины и девушки постоянно заходили в Селланро, то скроить платье, то стачать длинный шов на машинке, и Ингер хорошо их принимала. Снова повадилась приходить и Олина, не утерпела-таки, появлялась и весной и осенью, мягкая, как масло, и насквозь фальшивая.

— Захотелось поглядеть, как вы тут поживаете, — говорила она каждый раз. — Да и соскучилась очень по ребяташкам, страсть как я их полюбила, одно слово — ангелочки. Теперь-то они взрослые парни, но вот ведь чудное дело, никак не могу позабыть, какие они были маленькие и как я за ними ходила. А вы все строите и строите, не иначе как целый город решили построить! У вас не будет колокола на новом сарае, как в усадьбе у священника?

Однажды Олина привела с собой еще одну женщину, и втроем с Ингер они отлично провели вместе целый день. Чем больше народу собиралось вокруг Ингер, тем лучше она кроила и шила, споро орудуя ножницами и утюгом. Все это напоминало ей о днях, проведенных в тюрьме, где было так много женщин. Ингер не

скрывала, где она набралась умения и мастерства— в Тронхейме. Выходило так, будто она там не наказание отбывала, а прожила те годы в учении, обучаясь портняжному делу, ткачеству, красильному делу, письму, и все это дал ей Тронхейм. Она говорила о тюрьме как о родном доме, полном людей,— тут тебе и начальство, и надзирательницы, и сторожа; когда она вернулась домой, она почувствовала себя словно в пустыне, ей было тяжело навсегда лишиться общества, к которому она так привыкла. Она даже прикидывалась иногда, будто простужается, потому что совсем отвыкла от холодного сырого воздуха, даже год спустя после возвращения она боялась выходить из дома в ветер и дождь. Для того-то и была ей нужна помощница— для работы вне дома.

— Да Господи ты Боже мой,— сказала Олина,— тебе ли не держать работницу, раз у тебя есть средства, к тому же ты такая ученая и у тебя такой большой дом!

Кому не приятно, когда тебя так хорошо понимают, и Ингер ей не перечила. Она шила с такой быстротой, что кольцо так и сверкало у ней на руке.

— Вот видишь,— сказала Олина другой женщине,— разве не правду я тебе говорила, что у Ингер золотое кольцо?

— Хотите посмотреть?— спросила Ингер и сняла с пальца кольцо. Олина взяла кольцо и принялась рассматривать его, словно не веря своим глазам, ну чистая обезьяна, разглядывающая орех. Потом сказала, отыскав пробу:

— Ну да, все так и есть, как я говорила про то, сколько у Ингер богатств и денег!

Вторая женщина благоговейно взяла кольцо, подобострастно ухмыльнувшись.

— Надень его, если хочешь,— сказала Ингер,— надень, ему ничего не сделается!

Ингер была сама доброта и радушие. Она принялась рассказывать им про Тронхеймский собор и начала так:

— Неужто вы не видали собора в Тронхейме? Ах да, вы ведь не были в Тронхейме!— И словно собор был ее собственностью, она кинулась на его защиту, хвасталась им, назвала его высоту и размеры— не собор, а просто сказка! Семь священников служат в нем зараз, и один не слышит другого.— Стало быть, вы не видали и колодца святого Олафа. Он находится в самом соборе, и колодец этот бездонный. Когда мы туда ходили, то каждый раз

брали с собой по камешку и бросали в колодец, и он никогда не доставал до дна.

— Никогда не доставал до дна! — прошептали женщины, качая головой.

— А кроме колодца, чего только в этом соборе нет, — восторженно продолжала Ингер, — вот хотя бы серебряная рака. Рака святого Олафа. А мраморная церковь, маленькая церковка из чистейшего мрамора, датчане отняли ее у нас во время войны...

Женщины собрались уходить. Олина отозвала Ингер в сторонку, повела за собой в кладовую, где — она знала — лежат все сыры, и затворила за собой дверь.

— Чего тебе нужно? — спросила Ингер.

Олина зашептала:

— Ос-Андерс не посмеет больше приходить сюда. Я ему не велела.

— Ну что ж, — сказала Ингер.

— Я сказала: пусть только попробует, после того, что он тебе устроил!

— Да, да, — сказала Ингер. — Но он уже был здесь много раз, и пусть себе приходит, я его не боюсь!

— Твоя правда, — сказала Олина, — но я знаю, что знаю, и если хочешь, донесу на него.

— Ну что ж, — сказала Ингер. — Нет, не беспокойся!

Но ей было приятно, что Олина на ее стороне, и обошлось ей это в маленькую головку сыра; Олина же так и рассыпалась в благодарностях.

— Я всегда говорила и говорю: Ингер не раздумывает ни минуты, когда дело идет о подарке, тут уж она дает обеими руками! Конечно, чего тебе бояться Ос-Андерса, но я все-таки запретила ему показываться тебе на глаза. Уж такую-то малость я могла для тебя сделать!

Тогда Ингер сказала:

— Да что из того, если б он и пришел. Он больше не может мне навредить.

Олина насторожила уши.

— Ты разве узнала какое-нибудь средство против этого?

— У меня больше не будет детей, — ответила Ингер.

Обе были на равной ноге, и у обеих оказались равные козыри: кому как не Олине было знать, что лопарь Ос-Андерс помер еще в прошлом году...

Но почему у Ингер не будет больше детей? С мужем она нельзя сказать чтоб не ладила, они жили вовсе не как кошка с собакой, наоборот, хотя у каждого были свои

особенности, ссорились они редко и всегда ненадолго, потом опять все шло по-хорошему. Иной раз Ингер вдруг становилась такою же, как в былые дни, и работала на скотном дворе так же усердно, как прежде, словно, уходя ненадолго в себя, черпала свежие силы. В такие дни Исаак смотрел на жену благодарными глазами, и будь он из тех, кому не терпится выложить свои мысли, он сказал бы в знак признательности: «Что такое? Гм. Да ты с ума сошла!» — или что-нибудь в этом роде. Но он, как правило, слишком долго молчал, каждый раз запаздывая со своей похвалой. Потому, должно быть, Ингер и не старалась постоянно проявлять такое свое трудолюбие.

Ей было за пятьдесят, и она вполне могла бы иметь детей, на вид же ей было не дать, пожалуй, и сорока. Всему-то она научилась в заведении — уж не научилась ли она каким-нибудь фокусам и насчет себя самой? Она вернулась, научившись стольким премудростям от общения с другими убийцами, а может, и наслушавшись кой-чего и от господ, от зрителя, докторов. Однажды она рассказала Исааку, что один молодой врач высказался о ее злодеянии следующим образом: «Зачем наказывать кого-то за убийство детей, будь они даже здоровые, даже нормальные? Ведь они не больше как кусок мяса».

Исаак спросил:

— Он, верно, был зверь зверем?

— Это он-то! — воскликнула Ингер и рассказала, как он был ласков к ней, как именно он пригласил другого доктора сделать ей операцию и благодаря ему она сделалась человеком. Теперь у нее остался только рубец.

Да, теперь у нее только рубец, и она стала совсем красивой женщиной, высокая и статная, смуглая, с густыми волосами, летом по большей части босая, в высоко подоткнутой юбке, с обнаженными икрами ног. Исаак их видел, да и кто их не видел.

Ссориться они не ссорились. Исаак был на это не способен, да и жена его стала уж чересчур скоро на ответ. На хорошую, основательную ссору этому чурбану, этому мельничному жернову требовалось много времени, она забивала его и так и этак словами, и он не находился с ответом, к тому же он любил ее, он очень сильно любил ее. Да и не так уж часто приходилось ему отбиваться, Ингер не было никакой нужды нападать на него, он был во многих отношениях превосходным мужем, и ей ничего не оставалось, как оставить его в покое. На что ей было жаловаться? По совести, Исаак был не худший из мужей,

могла бы вполне заполучить кой-кого и похуже. Чуток поизносился? Ну да, конечно, сказывались некоторые признаки усталости, но это ничего не значило. Он был, как и она, полон по-прежнему здоровьем и неиспользованными запасами сил, и в осень их совместной жизни вносил свою долю ласки с не меньшим, если не с большим сердечным жаром, чем она.

Но были ли в нем какой-либо особый блеск и красота? Нет. И в этом она превзошла его. Порой Ингер приходило на ум, что ей доводилось видеть мужчин и пошικарнее, в красивом платье и с тросточками, господ с носовыми платками и крахмальными воротничками; ох уж эти городские господа! Поэтому она обращалась с Исааком так, как и полагалось обращаться с человеком вроде него, так сказать, в меру его заслуг, не более того: он был мужик мужиком, лесной житель; и теперь-то уж она знала: будь у нее от рождения нормальный рот, она никогда бы за него не вышла. Да, уж тогда-то она вышла бы за другого! Дом, который она получила, жизнь в лесной глухомани, уготованная ей Исааком,— все это, в сущности, лишь сносное существование, во всяком случае, она вполне могла выйти замуж в своем родном селе и общаться с людьми, а не жить, словно дикарь, в этой темной глуши. Она познала другую жизнь и многое повидала.

Не удивительно ли, как меняются взгляды людей! Ингер уже не могла от души радоваться красивому теленку или всплескивать от изумления руками, когда Исаак приносил домой с горного озера большущее ведро, полное рыбы,—нет, она шесть лет прожила в ином мире. Ушли в прошлое и те деньки, когда она так ласково и так заботливо звала его обедать. «Что ж ты не идешь есть?»—говорила она теперь. Разве так обращаются с мужем? Вначале он лишь дивился этой перемене, ее грубому и сварливому тону и отвечал: «Я же не знал, что обед готов». Но она утверждала, что ему положено это знать по солнцу, и тогда он вовсе перестал ей возражать и что-либо говорить по этому поводу.

Но однажды он поймал ее и сполна использовал этот случай: произошло это в тот раз, когда она вздумала украсть у него деньги. Не потому, что он был так уж скуп, но потому, что это были его деньги, и никаких сомнений на этот счет у него не было. Дело чуть не кончилось для нее большой бедой, мог ведь Исаак ее и покалечить. А Ингер вовсе и не была такой уж

испорченной безбожницей, и деньги были нужны ей для Элесеуса, все для того же Элесеуса, который сидел в городе и снова выпрашивал себе далер. Неужто ему так и жить среди благородных господ без гроша в кармане? Или у нее не материнское сердце? Вот она и попросила денег у его отца, а когда он не дал, взяла их сама. Как уж это вышло наружу, подозревал ли ее Исаак или обнаружил пропажу случайно — но только ее проделка открылась, как она в ту же секунду почувствовала, что ее схватили, подняли с пола и швырнули наземь. Такого с ней еще никогда не бывало, на нее обрушилась лавина. В руках Исаака и в помине не было ни слабости, ни усталости. Ингер застонала, голова ее бессильно повисла, и, вся дрожа, она протянула ему далер.

Исаак и тут не стал ничего объяснять, хотя на сей раз Ингер не мешала ему говорить, он почти выдохнул то, что хотел сказать:

— Чертова баба, тебе больше не место в доме!

Он был неузнаваем. Должно быть, дал волку давно копившемуся раздражению.

То был печальный день, миновала долгая ночь, и наступил еще один такой же день. Исаак ушел и дома не ночевал, хотя ему обязательно надо было свезти в сарай просохшее сено; Сиверт ушел с отцом. Ингер осталась с Леопольдиной, коровами, козами, но она чувствовала себя совсем одинокой, почти все время плакала, недоуменно качая головой; такое сильное душевное волнение она пережила лишь один раз в жизни, теперь она вспомнила тот один раз, а случился он, когда она придушила своего крошечного ребеночка.

Куда подевались Исаак с сыном? Они и не думали зря терять время; украв сутки или около того от сенокосной поры, они построили на озере лодку. Вышла изрядно неуклюжая, неприглядная посудина, но прочная и крепкая, как все, что они делали, зато теперь у них была лодка и они могли ловить рыбу неводом.

Они вернулись домой, а сено лежало все такое же сухое. Они доверились небу — и выгадали, остались в барышах. Сиверт сказал:

— А мама-то, видать, убирала сено.

Отец повел глазом на луг и заметил:

— Ага.

Исаак сразу увидел, что большая часть сена исчезла, Ингер, верно, ушла сейчас в дом полдневать. И правиль-

но сделала, что убрала сено, хоть он обругал и поколотил ее вчера. А сено-то тяжелое, большетравное, ей здорово досталось, да еще пришлось выдоить всех коров и коз.

— Ступай поешь,— сказал он Сиверту.

— А ты?

— Не хочу.

Почти сразу как Сиверт вошел в избу, Ингер вышла за дверь и, смиренно остановившись на пороге, сказала:

— Будь добр, зайди в избу и поешь тоже.

В ответ Исаак проворчал что-то невразумительное. Но кротость Ингер в последнее время стала явлением таким редким, что Исаак заколебался в своем упорстве.

— Если б ты вколотил два зубца в мои вилы, я б скопнила и больше,— сказала она. Она обращалась со своей просьбой к хозяину двора, к главе семьи, и была благодарна, когда он не ответил ей язвительным отказом.

— Ты и без того довольно наработала,— проговорил он.

— Да куда там.

— Некогда мне сейчас приколачивать тебе зубцы к вилам, видишь, собирается дождь!

И сам принялся копнить сено.

Должно быть, ему хотелось избавить ее от работы: несколько минут, потраченные на починку вил, наверстались бы в десять раз, если б Ингер пришла ему помочь. А Ингер все-таки пришла со сломанными вилами и копнила так споро, что только успевай поворачиваться; приехал Сиверт с подводой, все втроем они навалились на работу, пот лил с них ручьем, и воз за возом отправлялся на сеновал. Любо-дорого посмотреть! Исаак же снова раздумался о высшей силе, направляющей все наши шаги, от кражи далера до уборки целой кучи сена. А вдобавок на озере стоит лодка, после долгих лет размышлений и сборов стоит теперь готовенькая лодка на озере.

— О-ох, Господи,— вздохнул Исаак.

XV

В общем, вечер вышел замечательный, поворотный пункт. Ингер, казалось, выбившаяся на долгое время из колеи, теперь снова вернулась на свое прежнее место, и всего-то для этого понадобилось поднять ее с пола. Ни

один из них не вспоминал об этом происшествии, Исаак потом даже устыдился за этот далер: и деньги-то всего никакие и все равно с ними пришлось расстаться, ведь в конце концов он отдал его Элесеусу. К тому же разве этот далер не принадлежал столько же Ингер, сколько и ему? Пришло время и Исааку проявить смирение и покорность.

Да, всякие бывали времена, Ингер, видать, опять поменяла свои взгляды на жизнь, опять переменялась, отказалась мало-помалу от своих благородных замашек и снова сделалась серьезной и заботливой женой и хозяйкой. Подумать только, что мужской кулак может сотворить такие чудеса! А и как же иначе, дело-то касалось сильной и работающей женщины, которую изнежило долгое пребывание в искусственной атмосфере,— жизнь столкнула ее с мужчиной, слишком твердо стоявшим на ногах. Он ведь ни на минуту не покинул своего исконного места на земле, своей почвы. Его не сдвинешь.

Да, всякие бывали времена; на следующий год опять случилась засуха, исподволь подтачивая ростки и людскую бодрость. Ячмень сох на корню, картошка — изумительная картошка! — та не сохла, а цвела, цвела. Луга стали серого цвета, картошка же цвела. Высшая сила управляла всем, но луга стали серого цвета.

И вот однажды явился Гейслер, бывший ленсман Гейслер наконец-то явился опять. Удивительно, право, что он не помер, а опять вынырнул. Зачем бы это?

На сей раз Гейслер не хвастал крупными затеями, покупкой горных участков и документами. Наоборот, он был довольно-таки плохо одет, борода и волосы на голове поседели, веки были красные. И вещей за ним теперь уж никто не нес, даже никакого чемоданчика, под мышкой у него был только портфель.

— Здравствуйте,— сказал Гейслер.

— Добрый день,— ответил Исаак и ответила Ингер.— Вот какие к нам пожаловали гости!

Гейслер кивнул головой.

— Спасибо вам за последнюю встречу в Тронхейме! — сказала наособицу Ингер.

Исаак тоже кивнул и сказал:

— Да, спасибо за это от нас обоих!

Но не в привычках Гейслера было впадать в сентиментальность, и он сказал:

— Я иду через перевал в Швецию.

Хотя хуторяне были подавлены из-за засухи, визит Гейслера порадовал их, они радушно угостили его, им

было очень приятно как следует принять его, он сделал им так много добра.

Сам Гейслер несколько не был подавлен, он сейчас же начал рассуждать обо всех проблемах, осматривал землю, кивал головой, по-прежнему держался прямо и гордо, словно у него в кармане лежало много сотен далеров. Он принес с собой бодрость и оживление, и не потому только, что говорил громким голосом, а потому, что говорил весело и возбужденно.

— Великолепное местечко это Селланро!— сказал он.— А теперь за тобой сюда, в глушь, потянулись и другие, я насчитал целых пять усадеб. Есть и еще, кроме этих, Исаак?

— Всего семь, две не видно с дороги.

— Семь дворов, скажем, пятьдесят человек. Придет время, и тут будет густо заселенный район. У вас еще нет здесь школьного округа и школы?

— Есть.

— Да, я слышал. Школа на усадьбе Бреде, потому что она находится почти в центре. Подумать только, Бреде — и вдруг хуторянин-землепашец!— сказал он и зевнул.— Про тебя я все знаю, Исаак, ты — основа всего. Это меня радует. Ты и лесопилку завел?

— Да, уж какая вышла. Но мне большая подмога. Я распилил на ней не одно бревно и для нижних соседей.

— И правильно сделал!

— Вот бы узнать, что вы о ней скажете, если вас не затруднит дойти до нее.

Гейслер кивнул, словно подтверждая, что он знаток и в этом деле: ладно, он осмотрит лесопилку, осмотрит все, что тут сделано. Он спросил:

— У тебя было два сына, где же другой? В городе? В конторе? Гм! А этот с виду молодчина. Тебя как зовут?

— Сиверт.

— А того?

— Элесеус.

— В конторе у какого-то инженера? Чему он там научится? Разве что помирать с голоду. Мог бы поступить и ко мне,— сказал Гейслер.

— Да,— из вежливости ответил Исаак. Ему было жаль Гейслера, ведь не похоже на то, чтоб он мог держать помощника, пожалуй, и одному-то ему приходится трудновато, вон и пиджак у него изрядно-таки протерся на локтях, и на рукавах бахрома.

— Не хотите ли надеть сухие носки? — спросила Ингер, протягивая ему пару своих новых носков, из тех что она связала еще в лучшую свою пору, тоненькие, с каемкой.

— Нет, спасибо, — кратко сказал Гейслер, хотя, конечно, ноги у него были совсем мокрые. — Куда как лучше было бы ему поступить ко мне, — сказал он, имея в виду Элесеуса. — У меня нашлось бы для него дело, — прибавил он, вынув из кармана маленькую серебряную табакерку и повертев ее в руках. Наверно, это был единственный предмет роскоши, оставшийся у него от прошлого.

Но он не мог долго сосредоточиться на чем-нибудь одном: сунув табакерку обратно в карман, он завел разговор о другом.

— Послушай-ка, неужто это луг такой серый? Я было подумал, это тень. Почему горит земля? Пойдем со мной, Сиверт!

Он тут же вскочил из-за стола, обернулся в дверях, поблагодарил Ингер за еду и исчез. Сиверт последовал за ним.

Они направились к реке, Гейслер все время упорно высматривал что-то.

— Здесь! — сказал он, остановившись. И пояснил: — Не годится, чтоб земля пересыхала, когда до реки рукой подать и можно взять воду! К завтрашнему дню луг должен позеленеть!

Изумленный Сиверт сказал:

— Да.

— Вот отсюда пророешь наискосок канавку, земля тут ровная, а дальше мы проведем желоб. Раз у вас есть лесопилка, наверняка есть и длинные доски? Отлично! Сходи за лопатой и мотыгой и начинай копать, а я вернусь и хорошенько размечу линию.

Он опять побежал на усадьбу, в башмаках у него хлюпало, так сильно он промок. Исаака он засадил мастерить желоба, велел сделать как можно больше, их придется проложить там, где не поднять воду в канаву; Исаак попробовал было возразить, что вода, пожалуй, не дойдет до луга, очень уж далеко, сухая земля выпьет ее, прежде чем она достигнет спаленных засухой мест. Гейслер объяснил, что, конечно, это делается не сразу, какое-то время земля будет впитывать воду, но немного погода вода пройдет дальше.

— Завтра в этот час поля и луг зазеленеют!

— Так, — сказал Исаак и изо всех сил принялся колдовать над желобами.

Гейслер побежал обратно к Сиверту.

— Хорошо,— сказал он,— валяй так и дальше, я сразу понял, что ты молодчина! Линия пройдет вот по этим вешкам. Если на пути попадет большой камень — веди канаву вбок, но в той же плоскости. Понимаешь: на такой же высоте.

И опять к Исааку:

— Один желоб у тебя готов, а нам понадобится, может, штук шесть; продолжай дальше, Исаак, завтра все должно зазеленеть, твой урожай спасен.

Гейслер сел на бугорок, хлопнул себя обеими руками по коленкам и заболтал, восторженно перескакивая с одной мысли на другую.

— У тебя есть смола, есть пакля? Удивительно, все-то у тебя есть! Ведь вначале-то желоба будут протекать, потом замкнут и не будут пропускать воду, как бутылки. Говоришь, у тебя есть смола и пакля, потому что ты строил лодку? Где ж твоя лодка? На озере? Надо мне посмотреть и ее!

Чего только он не наобещал. Гейслер и всегда-то подвижный был господин, а сейчас стал, пожалуй, еще легче на подъем, всякое дело он желал делать с наскоку. Ну а уж на этот раз он носился как ветер. И нужно признать, что-что, а приказывать он умел. Разумеется, он был не лишен склонности к преувеличениям, поля и луг никак не могли зазеленеть раньше чем через день-другой, но Гейслер был все-таки молодец, умел видеть и делать нужные выводы, и если урожай в Селланро был спасен, так действительно только благодаря этому странному человеку.

— Сколько ты наготовил желобов? Мало. Чем больше желобов, тем лучше побежит вода. Сколотишь десять или двенадцать желобов в десять локтей, тогда хватит. Говоришь, у тебя есть несколько досок длиной в двенадцать локтей? Пусти их в ход, они окупятся осенью.

Не успокоившись на этом, он вскочил и помчался снова к Сиверту.

— Великолепно, Сиверт, все идет отлично, твой отец сколачивает желоба, у нас их будет больше, чем я мечтал. Ступай, тащи их сюда, сейчас начнем!

Весь день шла горячка, такой гонки и такого необычного темпа Сиверту еще никогда не приходилось выдерживать — они едва выкроили время пойти закусить. И вот вода побежала! Кое-где пришлось прорыть канавку поглубже, кое-где опустить или приподнять желоб, но

вода бежала! До позднего вечера трое мужчин ходили по полю, подправляя то одно, то другое, целиком поглощенные своим занятием, но когда влага начала просачиваться в землю на самых засохших участках, сердца новоселов затрепетали от радости.

— Я позабыл свои часы— который час?— спросил Гейслер.— Завтра в это время все будет зеленое!— сказал он.

Сиверт и ночью встал посмотреть на свои канавки. И встретил отца на поле, вставшего за тем же делом. О Господи, то-то было волнений и переживаний!

Но на следующий день Гейслер был вялый и долго не вставал с постели— весь его пыл прошел. Он был не в силах даже дойти до озера и посмотреть лодку и уж только от стыда сходил взглянуть на лесопилку. Даже и к оросительным канавкам не проявил он прежнего горячего интереса; увидев, что ни луг, ни поле за ночь не позеленели, он утратил всякую бодрость, он уже не думал о том, что вода все бежит и бежит, растекаясь все дальше и дальше по земле. Он ограничился только тем, что сказал:

— Может статься, что толк от этого ты увидишь не раньше чем послезавтра. Но не унывай.

Среди дня притащился Бреде Ольсен и принес с собой образцы камней, которые хотел показать Гейслеру.

— Сдается мне, это что-то прямо удивительное,— сказал Бреде.

Гейслер даже не удосужился посмотреть на его камни.

— Так-то ты занимаешься земледелием— бродишь кругом в погоне за сокровищами?— язвительно спросил он.

Бреде, не пожелав, видимо, выслушивать замечаний от своего бывшего ленсмана, за словом в карман не полез и, перейдя на «ты», сказал:

— Я тебя не уважаю!

— Ты ведь только и делаешь день-деньской, что болтаешься по округе,— сказал Гейслер.

— А ты-то сам,— ответил Бреде,— ты-то сам чем занят? Ах да, у тебя же есть в горах своя собственная скала, которая никому не нужна, а только занимает место. Хе-хе, прямо слово, настоящий хозяин!

— Шел бы ты отсюда!— сказал Гейслер.

Бреде и впрямь не задержался; вскинув свой мешок на спину и не попрощавшись, он зашагал по направлению к дому.

Гейслер же сел за стол и принялся просматривать какие-то бумаги, основательно над ними задумавшись. Похоже было, что он разохотился, решив удостовериться, как обстоят дела с медной скалой, с контрактом, с анализом: это же почти чистая медь, медная лазурь, надо что-то делать, а не вешать голову!

— Собственно, я приехал затем, чтобы все наладить,— сказал он Исааку.— Я рассчитываю очень скоро подрядить большую партию рабочих и начать разработку. Что ты об этом скажешь?

Исааку опять стало его жалко, и он ничего не ответил.

— Для тебя это тоже не безразлично. Хочешь не хочешь, а здесь появится много народа, и будет страшный шум и грохот от взрывов, не знаю, понравится ли тебе это. С другой стороны, в округе забурлит жизнь, все придет в движение и тебе будет легко сбывать свои продукты. Сможешь запрашивать за них сколько вздумается.

— Так,— сказал Исаак.

— Не говоря уже о том, что ты будешь получать большой процент с горной добычи. А это большие деньги, Исаак.

Исаак отвечал:

— Я и так уже получил от вас слишком много.

На следующее утро Гейслер покинул усадьбу и зашагал в восточном направлении, к Швеции. На предложение Исаака проводить его он ответил кратким «Нет, спасибо». До смерти жалко было смотреть, как он уходит, бедный и одинокий. Ингер наготовила ему пропасть самых замечательных припасов, напекла даже вафель, но и этого ей показалось мало; она хотела дать ему еще кувшинчик сливок и побольше яиц, но он наотрез отказался. Так что Ингер даже немножко обиделась.

Гейслеру, конечно же, нелегко было покидать Селланро, против обыкновения ничего не заплатив, и он прикинулся, будто заплатил, будто и в самом деле выложил крупную купюру, сказав Леопольдине:

— Поди-ка сюда, я дам тебе одну интересную штучку!

И протянул ей свою табакерку, серебряную табакерку.

— Вымой ее и держи в ней булавки,— сказал он.— А если не пригодится, так стоит мне только добраться домой, я пришлю тебе что-нибудь другое, там у меня пропасть всякого добра...

Оросительные же канавки продолжали действовать и после ухода Гейслера—ночью и днем, неделю за

неделей; это они заставили поля позеленеть, заставили картофель отцвести, заставили ячмень набрать колос.

С низины стали приходиться новоселы посмотреть на чудо, пришел Аксель Стрём, сосед из Лунного, тот, что был неженат и не имел работницы, но справлялся сам, пришел и он. Он в тот день был в хорошем расположении духа и рассказал, что ему обещали подыскать на лето девушку,—стало быть, придет конец его мукам! Он не уточнил, кто эта девушка, Исаак тоже не спросил; а обещали ему Барбру Бреде, и обойдется ему это лишь в стоимость телеграммы в Берген. Ничего не поделаешь, Аксель выложил деньги на телеграмму, хотя человек он был куда какой расчетливый, попросту говоря, скуповатый.

А выманил Акселя нынче к соседу водопровод, он осмотрел его из конца в конец и страшно заинтересовался. На его участке не было большой реки, зато имелся ручей, не было у него и досок для желобов, но он решил прокопать все ходы в земле, так тоже можно. Пока еще на его низменном участке дела обстоят не так уж плохо, но если засуха затянется, придется и ему подумать об орошении. Осмотрев все, он стал прощаться. Его пригласили в дом, но он отказался за недосугом, он решил нынче же вечером начать копать канаву. И ушел.

Хозяин, не чета Бреде.

А Бреде, ну и побегал же он по болотам, рассказывая о водопроводе и других чудесах, которые завелись в Селланро.

— Не к добру это так уж усердствовать с землей,—твердил он.—Вон Исаак-то до чего дошел—стал прокладывать оросительные каналы!

При всем своем терпении Исаак частенько мечтал избавиться от этого человека, разносившего по округе сплетни про Селланро. Бреде все сваливал на телеграф, мол, покуда он общественное должностное лицо, его обязанность—содержать линию в порядке. Но телеграфное начальство уже не раз делало ему выговоры за упущения в работе, снова и снова предлагая это место Исааку. Бреде был занят вовсе не телеграфом, весь уйдя в мысли о горных металлах, это сделалось у него своего рода болезнью, навязчивой идеей.

Теперь частенько случалось, что он приходил в Селланро, хвастаясь, будто нашел сокровище, и, кивая головой, говорил:

— Не буду распространяться, но и утаивать не стану: я нашел ну просто что-то необыкновенное!

Он попусту растрчивал время и силы. Вернувшись усталый домой, он бросал на пол мешок с образчиками камней, тяжело отдувался после дневных трудов и объявлял, что никто не бьется так из-за куска хлеба, как он. Он посадил немножко картофеля на кислом болоте, и если скашивал крапиву, буйно разросшуюся вокруг его избы, то называл это земледелием. Он занялся не своим делом, чего уж тут было ждать хорошего. Вот уже и дерновая крыша на избе осела, ступеньки на кухню прогнили от сырости, точильный камень валялся на земле, телега вечно стояла под открытым небом.

И при этом Бреде было по-своему хорошо. Ибо все эти мелочи ничуть не тяготили его. Когда дети, играя, катали точильный камень по траве, отец взирал на это с полным благодушием, а иногда и сам помогал им. Легкомысленный и ленивый по натуре, лишенный всякой серьезности, но и мрачности, слабохарактерный, безответственный, он все же как-то умудрялся добывать кой-какое пропитание и худо-бедно перебивался вместе с семейством. Но не будет же торговец вечно кормить Бреде и его семью, он уже не раз повторял это, а теперь объявил об этом окончательно и бесповоротно. Бреде и сам это понимал, пообещав положить этому конец: он продаст свой участок, глядишь, хорошо на этом заработает и рассчитается с торговцем!

Да пусть он на этом и потеряет, он все равно продаст участок — на что ему земля! Он рвался обратно в село, рвался к беспечности, сплетням и мелочной лавочке вместо того, чтоб обрести покой здесь, в глуши, и работать, позабыв большой мир. А ему ли позабыть рождественские праздники, или Семнадцатое мая, или базары в муниципалитете! Он любил поговорить с людьми, потолковать о новостях, а с кем потолкуешь в здешних болотах? Правда, Ингер из Селланро одно время явно проявляла к нему некоторую склонность, но теперь она переменилась, опять стала мрачная и неразговорчивая. К тому же она сидела в тюрьме, и для него, человека общественного, компания совсем неподходящая!

Да, он сам себя устранил, покинув село. Теперь он с завистью видел, что ленсман нашел себе другого пристава, а доктор — другого кучера; он бежал от людей, нуждавшихся в нем, и сейчас, когда его под рукой не было, они спокойно обходились и без него. А ведь какой

он пристав и какой кучер! Если по совести, так за ним, за Бреде, не грех бы и прислать лошадь, чтоб отвезти его обратно в село!

Теперь о Барбру. Почему он надумал пристроить ее в Селланро? Эта затея пришла ему на ум после совещания с женой. Если все пойдет как надо, Селланро откроет будущее для девушки, а может быть, свет забрезжит и для всей семьи Бреде. Вести хозяйство у двух конторщиков в Бергене, конечно, неплохо, но Бог весть что она за это в конце концов получит; Барбру красивая и из себя статная, пожалуй, дома у нее больше шансов хорошо устроиться. В Селланро-то как-никак двое парней.

Когда Бреде понял, что этот план не удастся, он придумал другой. Собственно говоря, невелика честь — породниться с Ингер, побывавшей в тюрьме, а парни есть не в одном Селланро, вот хотя бы Аксель Стрём. У него двор и землянка, человек он работающий и бережливый, и скотины и добра порядком наберется, но ни жены, ни работницы пока нет.

— Я тебе вот что скажу: будет у тебя Барбру, никаких других помощников тебе и не понадобится! — сказал Бреде Акселю. — Погляди-ка на ее карточку! — сказал он.

Прошло две-три недели, и Барбру и впрямь приехала, а Аксель немножко запоздал с сенокосом, приходилось ночью косить сено, а днем сгребать, и все делать одному — и тут, на тебе, приехала Барбру! Суший подарок! Оказалось к тому же, что Барбру умеет работать: она перемыла всю посуду, выстирала белье, сварила обед, подоила коров, а потом пришла и на сенокос, даже помогла таскать сено на сеновал, и тут поспела; Аксель решил определить ей хорошее жалованье и оставить ее на усадьбе.

Оказалось, она не только на фотографии красивая. Прямая и тоненькая, с чуть хрипловатым голосом, Барбру во многом обнаружила зрелость и опытность, уж никак не желторотый птенчик. Но отчего у нее такое узенькое и худое лицо?

— Мне бы узнать тебя с виду, — сказал он, — но на карточке ты совсем не такая.

— Это с дороги, — отвечала она, — да еще и от городского воздуха.

Прошло совсем немного времени, и Барбру опять покруглела, похорошела и сказала:

— Сам понимаешь, такая дорога и такой городской воздух красоты не прибавят! — Она намекнула и на соб-

лазны в Бергене — вот где надо смотреть в оба! И пока они сидели и болтали, она попросила его подписаться на газету, бергенскую газету, чтоб ей следить за новостями на свете. Она привыкла к чтению, к театру и музыке, а здесь так скучно.

На радостях, что ему так повезло с работницей, Аксель Стрём подписался на газету и смотрел сквозь пальцы на то, что члены семейства Бреде частенько заглядывали к нему на хутор, пили и ели. Он хотел поощрить свою работницу. А что могло быть приятнее воскресных вечеров, когда Барбру перебирала струны гитары, напевая своим хрипловатым голосом; Аксель приходил в умиление от незнакомых, красивых песен, от того, что кто-то и в самом деле живет и поет у него на хуторе.

За лето он узнал ее и с некоторых других сторон, но в основном все же остался доволен. Случались и у нее капризы, порой она была дерзка на язык, пожалуй, даже чересчур дерзка. И в тот субботний вечер, когда Акселю непременно нужно было сходить в мелочную лавку в селе, Барбру уж никак не следовало бросить землянку и скотину и уйти как ни в чем не бывало. А причиной всему была маленькая ссора. И куда же она ушла? Да просто домой, в Брейдаблик, но все-таки...

Вернувшись ночью домой, Аксель не обнаружил в землянке Барбру; он наведалься к скотине, поел сам и лег спать. Утром пришла Барбру.

— Захотелось поглядеть, каково это жить в доме с деревянным полом, — сказала она довольно язвительно.

На это Аксель ничего путного ответить не мог, ведь у него-то была простая землянка с земляным полом, а ответил только, что лесу у него достаточно, так что когда-нибудь будет и у него изба с деревянным полом! Тогда она словно бы раскаялась — ведь она была совсем не злая — и, несмотря на воскресенье, пошла в лес за свежими можжевельновыми ветками и выстлала ими земляной пол.

Но раз уж она проявила такую старательность и доброту, то и Акселю пришлось вытащить красивый головной платок, который он купил ей вчера вечером: вообще-то он намеревался припрятать его и добиться за него чего-нибудь посущественнее. Платок ей понравился, она сейчас же повязала его на голову и даже спросила, идет ли он ей. Ну конечно же он очень ей шел, да надень она на голову хоть его кожаную сумку — и та к ней пошла бы!

Тогда она засмеялась и, желая отплатить ему такую же любезностью, сказала:

— Я, пожалуй, и в церковь, и к причастию пойду в этом платке, а не в шляпке. В Бергене мы ведь все ходили в шляпках, кроме разве простых служанок, только что из деревни.

Всего лишь дружеские отношения.

А когда Аксель достал газету, которую принес с почты, Барбру села читать о том, что творится на свете; о налете на ювелирный магазин на Страндгатен, о драке, которую учинили цыгане, о детском трупике, выловленном из морского залива в городе. Он был зашит в старую рубашку с отрезанными рукавами.

— И кто же это выбросил ребеночка? — сказала Барбру. По старой привычке она прочитала и рыночные цены.

Лето шло.

XVI

В Селланро большие перемены.

Да, тут почти ничего не узнать против того, что было вначале. Теперь здесь чего только не понастроено: и дом, и лесопилка, и мельница, глухое безлюдье превратилось в обитаемую землю. А впереди предстояли еще большие изменения. Но примечательнее всего была, наверно, Ингер, так она переменилась и такая опять стала работающая.

Прошлогодний кризис не сразу поборол ее легкомыслие, на первых порах еще случались рецидивы, она то и дело ловила себя на желании поговорить о тюрьме и о Тронхеймском соборе. О, маленькие, невинные штучки: кольцо Ингер сняла с руки, а высоко подоткнутые юбки спустила пониже. Она сделалась задумчива, на усадьбе стало тише, визитов поубавилось, незнакомые девушки и женщины из села приходили реже, потому что она перестала заниматься ими. Живя в глуши, не очень-то повеселишься. Радость не развлечение.

В глуши на каждое время года приходятся свои чудеса, но есть такие, что постоянны и неизменны: тягучий, беспредельный звук, идущий с небес и от земли, бескрайняя даль со всех сторон, лесная тьма, доброта деревьев. На всем печать суровости и мягкости, помыслить и поразмышлять о чем-то здесь невозможно. К северу от Селланро лежало крошечное озерцо, лужица величиной

с аквариум. В нем плавала крошечная рыбка молодь, никогда не выраставшая, там она жила и умирала, ни на что не годясь, Господи, решительно ни на что. Однажды вечером Ингер остановилась возле этой лужицы, прислушиваясь к коровьим колокольчикам, но ничего не услышала, потому что все было мертво, услышала только песню, доносившуюся из аквариума. Она была такая нежная, едва слышная, далекая-далекая. Ее пели эти крошечные рыбки.

Каждую осень и весну обитатели Селланро радовались, глядя на караваны диких гусей, тянувшихся над этим глухим краем, и слушая их крики в небесном пространстве, звучащие словно людская речь. И казалось им тогда, будто мир замер на ту минуту, пока гуси не исчезали из виду. Не чувствовали ли люди в этот миг, что все их существо охватила какая-то слабость? Они снова принимались за работу, но сначала глубоко переводили дух, словно услышав чей-то призыв из дальнего далека.

Великие чудеса окружали их во все времена года: зимою — звезды, зимою же часто — северное сияние, небесный свод из крыльев, фейерверк у Господа Бога. Время от времени, не часто, не постоянно, а лишь время от времени, слышали они гром. В особенности осенью, кругом тьма, люди и животные настраивались на торжественный лад, скот, возвращавшийся с пастбища домой, сбивался в кучку и не двигался. К чему он прислушивался? Ждал ли конца? И чего ждали люди в поле, склонив головы под громовыми ударами?

Весна — вот это благо, это — стремительность, и безумие, и восторг; но осень! Она породила боязнь темноты и настраивала на молитвенный лад, всем чудились призраки и слышались таинственные голоса. В осенний день, случалось, люди выходили из дома и принимались чего-то искать: мужчины искали хорошее дерево на вырубку, а женщины — скотину, которая бегала сломя голову по лесу, наевшись грибов. Домой возвращались с множеством тайн на душе. А что, если они наступили нечаянно на крота и накрепко притоптали заднюю его часть к тропинке, так что ему уже не оторвать туловища от земли? А что, если наткнулись на гнездо горной куропатки, вызвав гнев разъяренной самки? Даже большие мухоморы не лишены значения, человек не зря смотрит на них. Мухомор не цветет и не двигается, но в нем есть что-то властное, он чудовище, он похож на вытащенное из груди легкое, что живет и дышит вне тела.

В конце концов сломилась и Ингер; придавленная глухим безлюдьем, она ударилась в религиозность. Можно ли было этого избежать? Никому в глуши не дано этого миновать, здесь людям присущи не только земные стремления и мысли о бренности жизни, но и благочестие, и богобоязненность, и суеверие. Ингер наверняка считала, что у нее больше, чем у других, причин ожидать небесной кары и кара эта непременно воспоследует; знала ведь, что Бог обходит и озирает по вечерам свой пустынный край, а глаза у него такие зоркие, ее-то уж он найдет! В повседневной своей жизни ей не так уж много удавалось исправить; конечно, она могла запрятать золотое кольцо на самое дно сундука и написать Элесеусу, чтоб и он тоже постарался исправиться; но кроме этого ничего больше не оставалось, как побольше работать и не щадить себя. Еще одно она могла сделать: одеваться в скромные платья и только по воскресеньям повязывать на шею узенькую голубую шелковую ленточку, чтоб отметить праздник. Эта ненастоящая и ненужная бедность явилась выражением своего рода философии — философии самоунижения, стоицизма. Голубая шелковая ленточка была старенькая, Ингер спорила ее с шапочки, которая стала мала Леопольдине, местами она выгорела и, по совести сказать, порядочно запачкалась — Ингер носила ее теперь как смиренное украшение по праздникам. Ну да, она перебарщивала, подражая убогой нищете бедных хижин, она притворялась несчастной, — а разве заслуга ее была бы больше, если б она одевалась так же бедно из нужды? Оставим ее в покое, она имеет право на покой!

Она усердствовала сверх меры и делала больше положенного. В усадьбе было двое мужчин, но Ингер ждала, пока они уходили, и сама пилила дрова. К чему эти мученья, эта епитимья? Маленький простой человек с весьма заурядными способностями, кому в стране будет дело до ее жизни или смерти? Только здесь, в глуши, она что-то из себя представляет. Только здесь она занимает высокое положение, во всяком случае выше всех, и ей казалось, что она достойна всех кар, какие на себя налагала. Муж сказал ей:

— Мы с Сивертом поговорили, и мы не хотим, чтоб ты пилила за нас дрова и мучила себя.

— Я делаю это ради своей совести, — ответила она.

Совесьть? Это опять навело Исаака на размышления; он был человек в летах, тугодум, но слова его, когда до

них доходило дело, были веские и основательные. Совесть, это, должно быть, что-то очень сильное, раз она опять совсем перевернула Ингер. Как бы то ни было, но обращение Ингер в другую веру подействовало и на него, она заразила своего мужа, он стал задумчив и кроток. Зима выдалась унылая и тягостная. Исаак искал уединения, искал убежища. Чтобы сберечь свой лес, он купил несколько участков хорошего строевого леса в казенном лесу на склоне, обращенном к Швеции. Начав валить эти деревья, он решил не брать помощника, он хотел быть один, а Сиверту велел оставаться дома и следить, чтобы мать не изводила себя.

И вот в короткие зимние дни Исаак затемно уходил в лес и затемно возвращался обратно; не всегда на небе светили луна и звезды, порой его собственные утренние следы заносило снегом, и он с трудом находил дорогу. А однажды вечером с ним произошло что-то необыкновенное.

Он уже прошел большую часть пути, на откосе в ярком лунном свете уже виднелся его хутор, такой красивый и чистенький, но маленький и почти вросший в землю: так сильно занесло его снегом. Вот и опять он наготовил бревен, то-то удивятся Ингер и дети, когда узнают, на что они ему понадобились, какую чудесную постройку он задумал. Он сел в снег немножко отдохнуть, чтоб прийти домой не очень усталым.

Как тихо вокруг, да благословит Бог эту тишину и богатство мыслей, оно только ко благу! Но Исаак ведь недаром новосел, он и сейчас прикидывает взглядом, сколько земли ему еще предстоит расчистить, он мысленно отбрасывает в сторону большие камни, приняв твердое решение осушить еще один участок. Вон там неподалеку — он это знает — на его земле протянулся широкий болотистый участок, в нем пропасть руды, на каждой лужице там непременно металлическая пленка, вот его-то он и осушит. Он глазом делит поле на квадраты; у него свои планы и соображения насчет этих квадратов, он сделает их ярко-зелеными и плодоносными. Да, обработанное поле — большая благодать, оно олицетворяет для него и право, и порядок, доставляет наслаждение...

Он встал, не сразу сообразив, где он. Гм? Что случилось? Ничего, он просто немножко отдохнул. Но что-то стоит перед ним, какое-то существо, дух, серый шелк — нет, ничего. Ему стало не по себе, он сделал маленький, неуверенный шаг вперед — прямо на него был обращен

чей-то пристальный взгляд, два широко раскрытых глаза. Одновременно вблизи зашелестели осины. А ведь всякий знает, как неприятно и жутко шелестят осины,— во всяком случае, Исааку никогда не доводилось слышать такого противного шелеста, и он почувствовал, как его пронизывает дрожь. Он протянул вперед руку, и, пожалуй, более беспомощного движения рукой ему еще никогда не приходилось делать.

Но что же это такое перед ним, что-то живое или нет? Исаак в любой день мог поклясться, что высшая сила существует, один раз он даже ее видел, но то, что он видит сейчас, не похоже на Бога. Уж не таков ли видом Святой Дух? Но в таком случае зачем он тут, среди чистого поля,— два глаза, взгляд, и только? Уж не затем ли, чтоб взять его с собой, унести его душу? Ну что ж, пускай, когда-нибудь ведь это все равно должно случиться, а он обретет блаженство и попадет на небо.

Исаак с волнением ждал, что будет дальше, его бил озноб, от призрака веяло холодом, морозом, не иначе это дьявол. Тут Исаак попал, так сказать, на знакомую почву; почему бы ему и не быть дьяволом, но только что же ему здесь надо? И почему он вцепился в Исаака? Ведь он сидел, мысленно распахивая землю,— не это же его рассердило? Никакого греха Исаак за собой не знал, просто он шел из леса домой, усталый и голодный работяга шел в Селланро, ничего плохого на уме у него не было...

Он сделал еще один шаг вперед, маленький шагок, и тотчас попятился назад. Видение не исчезало. Исаак нахмурился, словно хотел сказать: тут что-то не так. Дьявол так дьявол, но высшей власти у него нет. Лютер чуть не убил его однажды, да и многим другим удавалось прогнать его крестным знаменем и именем Иисуса. Не то чтобы Исаак бросал вызов опасности и издевался над ней, но он раздумал умирать и обретать блаженство, как уже было решил перед тем; сделав два шага по направлению к призраку, он перекрестился и крикнул:

— Именем Господа Иисуса!

Но что такое? Услыхав свой крик, он сразу очнулся и увидел вдалеке на откосе Селланро. Осины перестали шелестеть. Оба глаза исчезли.

Он не стал мешкать на пути домой и шутить с опасностью. Но уже стоя на пороге избы, громко и облегченно крикнул и вошел в горницу, полный гордости, как настоящий мужчина, да-да, как человек, многое повидавший.

Ингер вздрогнула и спросила, почему он так страшно бледен.

Он не стал таиться и рассказал, что встретил дьявола.

— Где? — спросила она.

— Вон там. Прямо против нас.

Ингер не выказала никакого неудовольствия. Она, правда, и не похвалила его, но в выражении ее лица не было ничего похожего на гнев или пренебрежение. Наоборот, в последние дни настроение у Ингер немного улучшилось, она стала ласковее, хоть и неизвестно отчего; сейчас она только спросила:

— Это и правда был дьявол?

Исаак кивнул, подтвердив, что, насколько он может судить, — да, дьявол.

— Как же ты от него отделался?

— Я пошел прямо на него во имя Иисуса, — ответил Исаак.

Ингер подавленно покачала головой, и прошло порядочно времени, прежде чем она собралась подать ужин.

— Во всяком случае, один ты больше в лес не пойдешь! — сказала она.

Она встревожилась за него, это обрадовало Исаака. Он притворился, будто нисколько не испугался и никаких провожатых в лесу ему не нужно, но он только притворялся, чтобы жуткое его приключение не перепугало без надобности Ингер. Он ведь мужчина, глава семьи, всем им защитник.

Ингер сразу раскусила его.

— Ну, конечно, ты не хочешь пугать меня, но вперед ты будешь брать с собой Сиверта.

Исаак только хмыкнул.

— Не ровен час, захвораешь или ослабеешь в лесу, сдастся мне, ты и впрямь не совсем здоров в последнее время.

Исаак опять хмыкнул.

Нездоров? Немного устал, измотался — это да. Но нездоров? Пусть Ингер не смешит его, он всегда был здоров и сейчас здоров, он ест, спит, работает, ему ли жаловаться на свое несокрушимое здоровье. Однажды на него упало дерево и сорвало ему ухо; не особенно досадуя, он поднял ухо, прижал его к месту шапкой на несколько дней и ночей, оно и приросло. Когда он чувствовал недомогание, он пил отвар из солодкового корня на горячем молоке и потел, а еще принимал самое испытанное средство — лакрицу, которую покупал

у торговца. Если случалось сильно порезать руку, он давал крови сойти, присыпал рану солью, и она в несколько дней заживала. Доктора в Селланро никогда не приглашали.

Нет, Исаак не был болен. А происшествие с дьяволом может случиться и с самым здоровым человеком. У Исаака не было чувства, что этот страшный случай нанес ему вред, наоборот, он словно придал ему силы. По мере того как подвигалась зима и время неудержимо близилось к весне, он, мужчина и глава семьи, чувствовал себя почти героем: «Я знаю толк в этих вещах, только держитесь меня, при нужде я могу даже и вызвать духов!»

А в общем, дни стали длиннее и светлее, миновала Пасха, бревна уже лежали во дворе, все вокруг сияло, люди вздохнули свободно после долгой зимы.

Ингер опять первая потянулась к солнышку, она уже давно пребывала в хорошем настроении. Отчего бы это? Ха, причина тому была основательная: она опять затяжелела, опять ждала ребенка. Все в ее жизни заровнялось, не осталось ни одной трещины. То было величайшее милосердие после всех ее согрешений, счастье сопровождало ее, счастье ее прямо преследовало! Исаак и тот однажды заметил кое-что и спросил:

— Сдается мне, у тебя опять что-то будет, как же это так?

— Да, слава Богу, наверное будет! — ответила она.

Оба были одинаково удивлены. Разумеется, Ингер была еще не так стара, Исааку она вообще ни для чего не казалась старой, но все равно, опять ребенок, да, да! Леопольдина несколько раз в год уезжала в школу в Брейдаблик, в доме не было малюток, да и Леопольдина-то уже стала совсем большая.

Спустя несколько дней Исаак, что-то про себя решив, отправился в село. Ушел он в субботу вечером, чтобы вернуться утром в понедельник. Он не стал рассказывать, за чем идет, вернулся же с работницей. Ее звали Йенсина.

— Что это ты выдумал? — сказала Ингер. — Она мне не нужна.

Исаак ответил, что теперь-то она ей и нужна.

Во всяком случае, с его стороны это была такая хорошая и добросердечная выдумка, что Ингер совсем растрогалась. Новая работница была дочерью кузнеца, она проживет у них лето, а там видно будет.

— А кроме того, — сказал Исаак, — я послал телеграмму Элесеусу и велел ему приехать.

Внутри у нее что-то дрогнуло — материнское сердце. Телеграмму! Исаак хочет совсем доконать ее своей добротой! Она ведь так горевала, что Элесеус живет в городе, в распутном городе, писала ему о Боге, о том, что отец начинает сдавать, а участок становится все больше и больше. Сиверт всюду не поспеваает, да к тому же он когда-нибудь получит наследство после дяди Сиверта,— все это она написала ему и однажды даже послала денег на дорогу. Но Элесеус стал совсем городским жителем и вовсе не стремился возвращаться к крестьянской жизни; он отвечал: что ему делать дома? Неужто он будет работать по хозяйству, забыв про свою ученость и знания? «По правде сказать, у меня к тому нет никакой охоты,— писал он.— Если же ты пришлешь мне холста на белье, то избавишь меня от необходимости влезать в долги». Понятное дело, мать послала холста, удивительно часто посылала она в город холст на белье; но в те дни, когда в ней пробудилось религиозное чувство, пелена спала у ней с глаз, и она поняла, что холст Элесеус продает, а деньги тратит совсем на другое.

Отец тоже понял это. Он никогда и словом не обмолвился об этом, он знал, что Элесеус у матери — любимчик и что она плачет об нем и кручинится; но двурядная ткань исчезала кусок за куском, и он сообразил наконец, что ни одному человеку в мире не сносить за свою жизнь столько белья. Здравое все обдумав, Исаак решил, что должен вмешаться, снова став мужчиной и главой семьи. Правда, упросить торговца послать телеграмму обошлось в копеечку, но зато телеграмма наверняка подействует должным образом на сына, а кроме того, Исааку и самому было приятно прийти домой и рассказать Ингер, что в город послана телеграмма. На обратном пути ему пришлось тащить на спине еще и сундучок своей новой работницы, но он был полон такой же гордости и таинственности, как и в тот раз, когда возвращался домой с золотым кольцом...

Чудесное настало время, Ингер прямо не знала, что бы ей такое еще сделать хорошего и полезного, и говорила мужу, как когда-то прежде: «Как это ты со всем справляешься!» Или: «Ты совсем изведешься!» Или же: «Ну уж нет, иди-ка скорей домой и перекуси, я напекла тебе вафель!» Чтоб порадовать его, она спросила:

— Любопытно, для чего ты припас эти бревна и что затеваешь строить?

— И сам еще хорошенько не знаю,— напыжившись, ответил он.

Все пошло как в былые, давние времена. А после того, как родился ребенок и оказалось, что это девочка, крупная девочка, хорошенькая и с правильным личиком,— после этого надо быть камнем или же собакой, чтоб не возблагодарить Бога. Но что же он собирался строить? Вот уж будет теперь Олине о чем порассказать, побегав по соседям: пристройку к избе, еще одну избу. И то сказать, народу в Селланро стало куда как много: взяли работницу, да ждут домой Элесеуса, да прибавилась еще новенькая девчоночка— старая изба будет теперь вместо клетки, больше она ни на что и не годится.

И конечно же в один прекрасный день ему пришлось все рассказать Ингер, ей и так уже не терпелось все выведать; и хотя Ингер, скорее всего, уже и знала тайну от Сиверта— они частенько шушукались друг с дружкой,— она все-таки страшно удивилась, всплеснула руками и сказала:

— А не врешь?

Весь сияя от внутреннего довольства, он ответил:

— Ты столько натащила новых ребят в усадьбу, надо же мне о них позаботиться!

Мужчины каждый день уходили ломать камень для каменной стены новой избы. Каждый старался перецеголять другого, один молодой и крепкий— налитые мышцы, глаза, быстро определяющие места для удара и быстро отыскивающие подходящий камень; другой— пожилой, медлительный, длиннорукий, с чудовищной силой наваливающийся на лом. Наломав большую кучу, они давали себе передышку, ведя неспешную беседу.

— Да,— сказал сын.

— Интересно, сколько он просит.

— Ага.

— А ты не слыхал?

— Нет. Слыхал, что двести.

Отец подумал с минуту и сказал:

— Как по-твоему, сгодится этот камень на фундамент?

— Смотря по тому, собьем ли мы с него эту вот горбушку,— ответил Сиверт и, поднявшись с земли, протянул отцу молот, а сам принялся колотить по камню кувалдой. Он покраснелся и вспотел, вытягивался во весь рост и с размаху опускал кувалду, снова выпрямлялся и снова опускал кувалду, и так двадцать раз подряд.

Он не шадил ни инструмента, ни себя, работа была тяжелая, рубашка у него вылезла из штанов, живот обнажился, каждый раз, чтоб размахнуться посильнее, он приподымался на цыпочки. Двадцать ударов.

— Давай посмотрим! — крикнул отец.

Сын остановился и спросил:

— Есть трещина?

Они легли на землю и осмотрели камень, осмотрели этого сумасброда, эту скотину, — нет, трещины не было!

— Давай я попробую молотом, — сказал отец, вставая.

Эта работа еще труднее, вся на силе, молот разогрелся, сталь зазубрилась, рукоятка расшаталась.

— Рукоятка соскочит, — сказал Исаак и остановился. — Больше не могу. Сил не хватает. — Хотя сам он конечно же не думал, что сил у него не хватает.

И отец, этот кряжистый, непритязательный, полный терпения и доброты человек, предоставил сыну нанести последние удары и расколоть камень.

— Вот он и расколосся надвое. Пришлось-таки тебе с ним повозиться! — сказал отец. — Гм. А из Брейдаблика-то ведь может выйти толк.

— И мне так кажется, — сказал сын.

— Ежели осушить да распахать болото.

— Да избу подправить.

— Ну, понятно, избу подправить. Работы там будет невпроворот, что и говорить. Не слышал, мать не собиралась на праздник в церковь?

— Вроде собиралась.

— Та-ак. Надо посмотреть как следует, не найдется ли где хорошая приступка для новой избы. Нигде не видал?

— Нет, — сказал Сиверт.

Они опять принялись за работу.

Дня через два оба пришли к решению, что камней на стену хватит. Был вечер пятницы, они сели передохнуть и опять разговорились.

— Как по-твоему, — сказал отец, — не прикинуть ли нам насчет Брейдаблика?

— Зачем? — спросил сын. — На что он нам?

— Да сам не знаю. Там школа, и расположен он как раз посередке.

— И что из того? — спросил сын.

— Сам не знаю, потому что нам-то он ни к чему.

— Ты уже думал об этом? — спросил сын.

Отец ответил:

— Нет. Разве что Элесеус согласится на нем поработать.

— Элесеус?

— Да уж не знаю.

Оба надолго замолкают. Отец начинает собирать инструменты, собираясь домой.

— Разве что так,—говорит наконец Сиверт.— Ты бы поговорил с ним.

Отец заканчивает сборы и говорит:

— Ну вот, и сегодня мы не нашли хорошей приступки для новой избы.

На следующий день суббота, им надо выйти из дома спозаранку, чтоб успеть перебраться с ребенком через перевал. Работницу Йенсину берут с собой, так что одна крестная мать уже есть, других восприемников придется поискать по ту сторону перевала, среди родных Ингер.

Ингер страх как разрядилась, она сшила себе нарядное ситцевое платье с белой оторочкой у ворота и обшлагов. Ребенок весь в белом, по подолу рубашечки продернута новая голубая шелковая ленточка, да и малютка-то тоже совсем особенная, все время только и знает что улыбается и лепечет что-то свое, прислушиваясь к бою часов в горнице. Отец все никак не мог выбрать ей имя. Право назвать ее оставалось за ним, и он намеревался поставить на своем—вы только слушайте меня! Он колебался между именами Якобина и Ребекка, оба в некотором роде были близки к его имени, а кончилось тем, что он пошел к Ингер и робко спросил:

— Гм. Что ты скажешь насчет Ребекки?

— Ну что ж, хорошо,—ответила Ингер.

Услышав это, Исаак почувствовал себя героем и решительно заявил:

— Если ее как-нибудь называть, так только Ребеккой! Я буду не я, ежели не так!

И, разумеется, он пожелал тоже отправиться в церковь—помочь нести ребенка, и вообще, для порядка. У Ребекки да чтобы не было провожатых! Он подстриг бороду и надел, как в молодые годы, красную рубаху; стояла несусветная жара, но у него был новый зимний костюм, и он нарядился в него. Впрочем, Исаак был не такой человек, чтоб превыше всего ставить расточительность и красоту, поэтому он надел в дорогу огромные сапожищи.

Сиверт и Леопольдина остались дома присматривать за стадом.

Озеро переплыли на лодке, и это было большим облегчением против прежнего, когда приходилось обходить его кругом. На самой середине озера, когда Ингер стала кормить девочку грудью, Исаак увидел, как у нее в вырезе платья блеснуло что-то на тесемочке,— что бы это такое было? В церкви он заметил у нее на пальце золотое кольцо. Ох уж эта Ингер, не могла-таки утерпеть!

XVII

Элесеус приехал домой.

Он пробыл в отсутствии несколько лет и стал ростом выше отца, руки у него были длинные и белые, а усы маленькие и темные. Он не чванился, а явно старался держаться просто и ласково; мать дивилась и радовалась. Его поместили в каморке вместе с Сивертом, братья ладили между собой, устраивали друг другу разные каверзы — и оба потом весело смеялись. Но, разумеется, Элесеусу пришлось помогать строить новую избу, и тут он скоро утомлялся и совсем раскисал, потому что не привык к физической работе. Совсем плохо стало, когда Сиверт отошел от работы и оставил ее на тех двоих — тогда помощи отцу все равно что и не было.

А куда же девался Сиверт? Да вот, явилась в один прекрасный день из-за перевала Олина гонцом от дяди Сиверта и сообщила, что он лежит при смерти! Как тут было Сиверту-младшему не пойти? Вот так положение, и не придумать было времени неудобнее, чтоб оторвать Сиверта от работы, но делать нечего.

Олина сказала:

— Уж как мне некогда было идти, уж так некогда, да что поделаешь, привязалась я ко всем здешним детям и к Сиверту, вот мне и захотелось помочь ему получить наследство.

— Выходит, дядя Сиверт очень болен?

— Господи, да он тает с каждым днем!

— Он лежит?

— Лежит? Не смейтесь над смертью перед престолом Всевышнего! Дяде Сиверту уж не придется больше прыгать и побегать в этом мире!

Из этого ответа им следовало заключить, что дела у дяди Сиверта совсем плохи, и Ингер настояла, чтоб Сиверт-младший сейчас же отправлялся в путь.

А дядя-то Сиверт, этот шутник и бездельник, вовсе и не лежал при смерти, он даже и не все время лежал в постели. Придя к нему, Сиверт-младший нашел в его маленькой усадьбе страшный беспорядок и запустение, даже и весенние работы не были проведены должным образом, даже зимний навоз не вывезен на поля; смерти же пока вроде бы не предвиделось. Дяде Сиверту было уже за семьдесят, он очень исхудал, бродил полуодетый по горнице и часто прикладывался отдохнуть, он явно нуждался в помощнике для разных дел, скажем, для починки сельдяных сетей, которые висели в сарае и ветшали; но от конца он был настолько далек, что преисправно ел соленую рыбу и курил носогрейку.

Пробыв в усадьбе с полчаса и ознакомившись с положением дел, Сиверт собрался обратно домой.

— Домой? — сказал старик.

— Мы строим избу, отцу больше некому помочь.

— А Элесеус-то разве не дома? — спросил старик.

— Дома, да только он совсем непривычный к такой работе.

— Тогда зачем же ты пришел?

Сиверт рассказал, с какой вестью пришла к ним Олина.

— При смерти? — спросил старик. — Так она решила, что я при смерти? Черт возьми!

— Ха-ха-ха-ха, — засмеялся Сиверт.

Старик сердито посмотрел на него и сказал:

— Смеешься над умирающим, а ведь Сивертом тебя назвали в мою честь.

Сиверт был слишком молод, чтоб вешать голову, дядя и всегда-то не больно его интересовал, и теперь он стремился поскорее попасть домой.

— Значит, и ты поверил, что я лежу при смерти, потому и прибежал? — сказал старик.

— Олина так сказала, — отвечал Сиверт.

Помолчав с минуту, дядя продолжил:

— Если ты починишь мои сети в сарае, я тебе кое-что покажу.

— Ну, — сказал Сиверт, — а что?

— Не твое это дело, — отрезал старик и опять улегся в постель.

Переговоры грозили затянуться, и Сиверт прямо весь извертелся от нетерпения. Он вышел на двор и оглянулся по сторонам: все было запущено, неприглядно, руки не поднимались братья за какую-нибудь работу.

Когда он вернулся в горницу, дядя уже встал и сидел у печки.

— Видишь?— сказал он, указывая на дубовый сундучок, стоявший на полу между его ногами. Это был сундучок для хранения денег. Собственно, это был обыкновенный винный погребец с многими отделениями для бутылок, из тех, какие начальство и разные господа в старину брали с собой в дорогу; теперь бутылок в нем не было, старый общинный казначей держал в нем деньги и счета. Ох уж этот погребец! Ходили слухи, будто в нем хранятся все богатства мира, сельчане не раз говорили: «Вот бы мне те денежки, что лежат в сундучке у Сиверта!»

Дядя Сиверт вынул из сундучка какую-то бумагу и торжественно проговорил:

— Ты ведь умеешь читать по писаному? Прочитай этот документ.

Сиверт-младший был не большой мастер читать по писаному, отнюдь нет, но он все-таки прочитал, что назначается наследником всего дядина имущества.

— А теперь можешь поступать как хочешь!— сказал старик и убрал бумагу обратно в ларец.

Сиверт не особенно растрогался: в сущности, документ сказал лишь то, что он знал и раньше, он еще с самого раннего детства только и слышал, что со временем получит наследство после дяди. Другое дело, если б он увидел в сундучке какие-нибудь драгоценности.

— Наверное, в сундучке много всяких диковинок,— сказал он.

— Да уж больше, чем ты думаешь!— сухо отвечал старик.

Донельзя разочарованный и раздосадованный поведением племянника, он запер сундучок и снова улегся в постель. И уже оттуда сообщал племяннику разные новости:

— Я был уполномоченным от села и распоряжался общинными деньгами больше тридцати лет, и мне нет надобности выпрашивать у кого-нибудь помощь. От кого это Олина узнала, что я при смерти? Как будто я не могу послать трех человек за доктором, ежели захочу! Не воображайте, что меня надуете! А ты, Сиверт, неужто не можешь подождать, покуда я умру? Я только вот что тебе скажу: документ ты прочитал, он лежит у меня в погребеце, больше я ничего не скажу. Но если ты от меня уйдешь, так передай Элесеусу, пусть он придет. Его при

крещении не нарекли в мою честь, и он не носит мое земное имя — но все равно, пусть придет!

Несмотря на угрожающий тон старика, Сиверт взвесил его слова и сказал:

— Я передам твою просьбу Элесеусу!

Когда Сиверт вернулся домой, Олина все еще была в Селланро. Она успела за это время сделать не малый кончик, побывала на хуторе у Акселя Стрёма и Барбру и пришла полная сплетен и тайн.

— А Барбру-то потолстела, — зашептала она, — уж не значит ли это что-нибудь? Только никому, смотри, не передавай. Ты уже вернулся, Сиверт? Ну, стало быть, не о чем и спрашивать, дядя твой упокоился? Что ж, он был уже старый человек, на краю могилы. Что... Да ну! Так он не умер? Слава тебе Господи, вот чудеса! Ты говоришь, я все наболтала? Вот уж в чем не грешна, так не грешна: откуда ж мне было знать, что дядя твой обманывает Бога? Он тает на глазах, вот и все, что я сказала, и я готова подтвердить свои слова под присягой. Что ты говоришь, Сиверт? Разве твой дядя не лежит в постели, скрестив руки на груди, и не хрипит, и не говорит, что только лежит и мучается?

Спорить с Олиной было бесполезно, она забивала противника словами и выматывала душу. Услышав, что дядя Сиверт требует к себе Элесеуса, она ухватилась за это обстоятельство, повернув и его в свою пользу:

— Послушайте теперь сами, что за ерунду я наболтала! Старик Сиверт созывает свою родню и тоскует по своей плоти и крови, видимое дело, это уж перед самым концом! Не отказывай ему, Элесеус, ступай сейчас же и застанешь своего дядю еще в живых! Мне тоже надо в ту сторону, нам по пути.

Но перед уходом из Селланро Олина все-таки отозвала в сторонку Ингер и принялась нашептывать ей что-то еще про Барбру:

— Только не говори никому, но уже есть признаки. Видно, теперь уже все идет к тому, что она сделается хозяйкой на хуторе. Иные люди страсть как высоко мелят, хоть сами-то они не больше песчинки с морского берега. Кто бы подумал такое про Барбру! Аксель-то работающий парень, а таких больших угодий да хуторов, как здесь у вас, в нашей стороне не водится, ты и сама это знаешь, ты ведь из нашей деревни и нашего рода. У Барбру в ящичке несколько фунтов шерсти, простая зимняя шерсть, я и не думала у ней просить, да и она мне не

предлагала, мы только и сказали, что «здравствуй» да «прощай», хотя я знала ее еще девчонкой в ту пору, когда ты уезжала в ученье, а я жила в Селланро...

— Маленькая Ребекка плачет,— сказала Ингер, преврав Олину и сунув ей моток шерсти.

Олина рассыпалась в благодарностях.

— Ну вот, разве я не сказала Барбру, что другой такой щедрой на подарки, как Ингер, нет. Столько всего надает, и никогда о том не пожалеет и не попрекнет. Иди, иди к своему ангелочку, в жизни не видывала я ребеночка, так похожего на мать, как твоя Ребекка. А помнишь, как ты раз сказала, что у тебя больше не будет детей? Вот видишь! Да, надо слушать стариков, у которых у самих были дети, потому что пути Господни неисповедимы,— сказала Олина.

И поплелась за Элесеусом по лесу, ссохшаяся от старости, сухонькая, серая и любопытная, неистребимая. Она направлялась к старику Сиверту сказать, что это она — Олина — уговорила Элесеуса пойти к нему.

Элесеуса же не надо было принуждать, уговорить его на это не стоило никакого труда. Он, в сущности, был лучше, чем казался, этот Элесеус, по-своему ловкий парень, добрый и смысленый от природы, только не очень крепкого сложения. На то, что он не особенно сильно стремился из города в деревню, имелись свои причины: он ведь знал, что мать его отбывала наказание за убийство, в городе до этого никому не было дела, а в деревне все это помнили. Недаром же он несколько лет прожил с друзьями, научившими его вдумчивости и деликатности, чего у него прежде не было и в помине. Разве вилка не так же необходима, как нож? Разве не писал он день-деньской слова «кроны» да «эре», а здесь по-прежнему в ходу старинный счет на далеры. И он охотно отправился за перевал, в другой округ,— ведь дома он был вынужден все время держать в узде свое превосходство. Он изо всех сил старался приспособиться к другим, и ему это удавалось, но при этом ему приходилось все время быть настороже. Как, например, в тот день, когда он пришел в Селланро две недели тому назад: хотя лето перевалило уже за половину, он привез с собой свое светло-серое весеннее пальто; вешая его на гвоздь в горнице, он конечно же мог бы повернуть наружу шелковую подкладку со своей монограммой; однако он этого не сделал. То же и с его палкой, с тросточкой. Правда, ею служил всего лишь остов дождевого зонта, от которого

он отодрал спицы, но он не ходил, помахивая ею, как в городе,— куда там, он нес ее, смирененько прижав к бедру.

Нет, нечего было удивляться, что Элесеус отправился за перевал. Он не годился в плотники, он годился лишь на то, чтобы писать буквы, на это способны не все и не каждый, но дома никому не дано было оценить его замечательную ученость, кроме, разве, матери. Он весело шагал по лесу, значительно опередив Олину и решив подождать ее повыше, бежал, как теленок, торопился. Некоторым образом Элесеус удрал из дому тайком, он боялся, что его увидят, а все потому, что захватил с собой весеннее пальто и тросточку. Он надеялся повидать на той стороне людей и себя показать, может, даже попасть в церковь. И вот он радостно мучился на солнце-пеке в ненужном весеннем пальто.

На постройке же дома о нем никто не пожалел, наоборот, отец заполучил обратно Сиверта, а Сиверт был во много раз полезнее и мог работать с утра до вечера. Они недолго провозились с избой, это была пристройка, три стены; рубить бревна не было нужды, они пилили их на лесопилке; из верхних обрезков сразу получались стропила для крыши. И вот в один прекрасный день перед их глазами встала готовая изба, красуясь крышей, настланным полом и врезанными окнами. Большого до полевых работ они сделать не успели, обшить избу тесом и покрасить ее придется уже после сева.

И вдруг из-за гор со стороны Швеции явился Гейслер с большой свитой. Свита была верхом, кони лоснятся, седла под седоками желтые,— должно быть, богатые господа, толстые да тяжелые, лошади так и приседают под ними; среди этих важных господ Гейслер шел пешком. Господ было четверо, пятый Гейслер, кроме того, два конюха вели каждый по вьючной лошади.

Всадники спешили во дворе, и Гейслер сказал:

— Вот это Исаак, здешний маркграф. Здравствуй, Исаак! Видишь, я опять приехал, как сказал.

Гейслер был все такой же. Он хоть и пришел пешком, но не видно было, чтоб он чувствовал себя хуже других; поношенное пальто уныло и сиротливо болталось на его исхудалой спине, но выражение лица было властное и надменное. Он сказал:

— Мы с этими господами собираемся немножко побродить по горам, они так раздобрели, что решили чуть поубавить жира.

Господа, впрочем, оказались ласковые и совсем не гордые, они улыбнулись на слова Гейслера и попросили Исаака извинить их за то, что нагрянули на его хутор словно войной. У них есть с собой провизия, так что они не объедят его, но если им дадут ночлег под крышей, они будут очень благодарны. Может быть, они разместятся в новом доме?

После того, как гости немножко отдохнули, а Гейслер посидел с Ингер и поболтал с детьми, все они ушли в лес и проходили там до вечера. По временам до усадьбы доносились странные громкие выстрелы в горах, и компания вернулась с мешками, полными новых образцов камней.

— Медная лазурь,— говорили они, кивая на камни. Потом завели длинный ученый разговор и стали рассматривать карту, которую сами же и набросали; среди них один был инженер-горняк, другой — механик, третьего называли губернатором, четвертого — фабрикантом; то и дело слышалось: подвесная дорога, канатная дорога. Гейслер изредка вставлял в разговор одно-два слова и каждый раз как будто направлял их беседу, они прислушивались к его словам с большим вниманием.

— Кому принадлежит земля к югу от озера? — спросил Исаака губернатор.

— Казне,— быстро ответил Гейслер. Он не дремал, был все время начеку, в руке он держал документ, который Исаак когда-то подписал своими каракулями. — Я ведь сказал, что казне, а ты опять спрашиваешь! — сказал он. — Решил меня контролировать, так изволь!

Позже вечером Гейслер позвал с собой Исаака в отдельную комнату и сказал:

— Продашь нам медную скалу?

Исаак ответил:

— Да ведь ленсман один раз уже купил у меня скалу и заплатил.

— Верно,— сказал Гейслер,— я купил скалу. Но ведь ты имеешь проценты с продажи или с разработки, так, может, хочешь отказаться от этих процентов?

Исаак не понял, о чем речь, и Гейслеру пришлось объяснить: Исаак не умеет добывать руду, он землепашец, расчищает и распахивает землю; Гейслер тоже не может. Деньги, капитал? О, сколько угодно! Но у него нет времени, такая уйма дел, он все время в разъездах, должен присматривать за своими имениями на севере и на юге. Вот он и задумал продать скалу этим шведским

господам; все они родственники его жены и богатые люди, большие знатоки своего дела, они могут разработать скалу. Теперь понятно?

— Как вы решите, так и я! — заявил Исаак.

Замечательно — такое доверие доставило потрепанному Гейслеру явное удовольствие.

— Уж и не знаю, как тут быть, — сказал он и задумался. Но вдруг, словно все решив, продолжал: — Если ты предоставишь мне свободу действий, я в любом случае сделаю для тебя больше, чем ты сам.

Исаак начал было:

— Гм. Вы уже сделали нам столько добра...

Гейслер нахмурился и оборвал:

— Ладно, ладно!

Утром господа уселись за стол и принялись писать. Писали они о серьезных вещах: во-первых, составили купчую на сорок тысяч крон за горный участок, потом документ, в котором Гейслер отказывался от всех этих денег до единого шиллинга в пользу своей жены и детей. Исаака и Сиверта позвали подписаться под этими бумагами в качестве свидетелей. После этого господа вознамерились откупить у Исаака за сущую безделицу его проценты — за пятьсот крон. Гейслер остановил их.

— Шутки в сторону! — сказал он.

Исаак не очень-то понимал, в чем дело, он уже один раз продал скалу и получил что следовало, вдобавок речь шла о кронах — стало быть, чепуха, не то что далеры. Сиверт же понял гораздо больше, тон переговоров удивил его: здесь, несомненно, решалось семейное дело. Один из господ, к примеру, сказал:

— Дорогой Гейслер, право, неприлично ходить с такими красными глазами!

На что Гейслер резко, но уклончиво ответил:

— Может, и впрямь неприлично. Но в этом мире каждому воздается отнюдь не по заслугам!

Уж не в том ли было дело, что братья и родственники госпожи Гейслер решили купить ее мужа да заодно уж и избавиться от его посещений и его беспокойного родства? Горный же участок, надо полагать, представлял кое-какую ценность, этого никто не отрицал; но находился он на отшибе, господа говорили, что покупают его только затем, чтоб сбывать другим людям, у которых больше возможностей разработать его, чем у них. В этом не было ничего несообразного. Еще они не скрывали, что не знают, сколько выручат за участок в нынешнем его

состоянии: если начнется его разработка, то сорок тысяч, может, вовсе и не цена, если же все останется, как есть,— так это выброшенные деньги. Но как бы то ни было, они порешили совершить выгодную сделку и потому предлагали Исааку за его долю пятьсот крон.

— Я — уполномоченный Исаака,— сказал Гейслер,— и я продам его право не дешевле чем за десять процентов от покупной суммы.

— Четыре тысячи! — воскликнули господа.

— Четыре тысячи,— сказал Гейслер.— Скала была собственностью Исаака, он получает четыре тысячи. Моей собственностью она не была, я получаю сорок тысяч. Так что сделайте милость, обдумайте это!

— Да, но четыре тысячи!

Гейслер встал и сказал:

— В противном случае сделка не состоится!

Они подумали, пошептались, вышли на двор, явно стараясь оттянуть время.

— Седлайте лошадей! — крикнули они конюхам. Один из господ отправился к Ингер и по-княжески рассчитался за кофе, несколько штук яиц и кров. Гейслер похаживал по двору, внешне ко всему равнодушный, но явно не дремал.

— Ну а чем кончилась в прошлом году затея с орошением? — спросил он Сиверта.

— Весь урожай спасли.

— Вижу, вы распахали еще одну мочажину с тех пор, как я был здесь в последний раз?

— Да.

— Надо вам завести вторую лошадь,— сказал Гейслер. Все-то он видел!

— Иди-ка сюда, и давай покончим с делом! — позвал его фабрикант.

Все опять направились в пристройку, и Исааку выплатили его четыре тысячи крон. Гейслеру вручили бумагу, и он сунул ее в карман, словно она ничего не стоила.

— Спрячь ее как следует! — сказали ему господа.— А твоя жена через несколько дней получит банковскую книжку.

Гейслер нахмурился и сказал:

— Хорошо!

Но они еще не до конца развязались с Гейслером. Он и рта не раскрыл, не обратился к ним ни с какой просьбой, он просто стоял, и они видели, как он стоит; может быть, он выговорил сколько-нибудь деньжонок и для

себя самого? Когда фабрикант протянул ему пачку кредиток, Гейслер только кивнул и опять сказал:

— Хорошо.

— А теперь давайте выпьем по стаканчику с Гейслером,— сказал фабрикант.

В эту минуту появился Бреде Ольсен. Чего ему тут понадобилось? Бреде, конечно, слышал вчера громоподобные взрывы и смекнул, что в горах что-то происходит. И вот явился и тоже пожелал продать гору. Он прошел мимо Гейслера и обратился к господам: он-де открыл замечательные породы камней, одни как кровь, другие как серебро; он знает каждый самый маленький закоулочек в окрестных горах и ходит по ним, как по собственному дому, он знает, где залегают жилы с тяжелым металлом,— что это может быть за металл?

— Есть у тебя образцы?— спросил горняк.

Да. Только не лучше ли вам самим пойти в горы? Это недалеко. А образцы-то? Как же, много мешков, много ящиков, Бреде не захватил их с собой, но они у него дома, он может сбегать за образцами. Но куда скорее сбегать в горы, если господа согласятся подождать.

Господа покачали головой и уехали. Бреде обиженно посмотрел им вслед. Если надежда на минуту и вспыхнула в нем, то теперь она погасла, он родился под несчастливой звездой, ничто ему не удавалось. Хорошо еще, характер у него легкий, помогает ему выносить такую жизнь; проводив всадников взглядом, он наконец сказал:

— Скатертью дорожка!

Теперь он опять стал вежлив с Гейслером, прежним своим ленсманом, уже не тыкал его, а поздоровался и заговорил на «вы». Гейслер под каким-то предлогом вытащил из кармана и продемонстрировал туго набитый бумажник.

— Не можете ли вы помочь мне, ленсман?— сказал Бреде.

— Ступай домой и осуши свое болото!— ответил Гейслер, не дав ему ни гроша.

— Мне ничего не стоило притащить с собой целый мешок образцов, но разве не лучше было им самим осмотреть горы, раз уж они приехали сюда?

Гейслер пропустил его слова мимо ушей.

— Ты не видел, куда я девал тот документ?— спросил он Исаака.— Он очень важный, стоит много тысяч крон. Ага, вот он, в пачке кредиток!

— Что это были за люди? Просто приехали покататься верхом? — спросил Бреде.

Гейслер, должно быть, очень переволновался, и теперь, видно, наступила реакция. Но все-таки у него еще достало сил и охоты на кое-какие дела: позвав с собой Сиверта, он отправился в горы, а там разостлал на земле большой лист бумаги и начертил карту местности с южной стороны озера — зачем-то она ему понадобилась. Когда через несколько часов они вернулись на хутор, Бреде еще сидел там, но Гейслер не стал отвечать на его расспросы, он устал и только махнул рукой.

Он проспал без просыпу до раннего утра и встал вместе с солнцем, свежий и бодрый.

— Селланро! — сказал он, вышел на двор и огляделся по сторонам.

— Все эти деньги, что я получил, — сказал Исаак, — неужто они мои?

— Э, суцая безделица! — ответил Гейслер. — Разве ты не понимаешь, что должен был получить еще больше? Собственно, согласно нашему договору, тебе следовало получить их от меня, но, как видишь, все вышло иначе. Сколько тебе дали? Всего тысячу далеров, по старому счету. Я вот стою и думаю, что надо бы тебе завести вторую лошадь.

— Хорошо бы.

— У меня есть одна на примете. Теперешний пристав у ленсмана Хейердала совсем забросил свою усадьбу: ему, кажется, больше нравится разъезжать по торгам. Он уже распродал всю скотину, сейчас собирается продать и лошадь.

— Я с ним потолкую, — сказал Исаак.

Гейслер широким жестом обвел рукой лежащую перед ними местность и сказал:

— Все это принадлежит маркграфу! У тебя есть дом, и скот, и обработанная земля, тебе не грозит голод!

— Да, — отвечал Исаак, — у нас есть все, что создал Господь!

Гейслер побродил по двору, потом вдруг отправился к Ингер.

— Не дашь ли ты мне и на этот раз немножко провизии? — спросил он. — Несколько вафель, без масла и сыра, в них и так много сдобы. Нет, нет, поступай как я говорю, ничего другого я не возьму.

И он опять вышел. Похоже, его одолевали тревожные мысли, он пошел в пристройку и сел писать. Верно, он все продумал заранее, потому что писал очень недолго.

— Это заявление в казну,— важно сказал он Исааку.— В министерство внутренних дел,— добавил он.— У меня ведь столько всяких забот.

Взяв узелок с провизией и простившись со всеми, он как будто вдруг что-то вспомнил:

— Да, вот что, когда я уходил от вас в последний раз, я, должно быть, позабыл— вынул кредитку из бумажника, а потом взял да и положил ее в жилетный карман. Там и нашел ее. У меня ведь столько забот.— С этими словами он сунул что-то в руку Ингер и ушел.

Да, так и ушел Гейслер, с виду довольно бодрый и бравый. Он несколько не опустил и умер нескоро, он приходил в Селланро еще раз и умер только много лет спустя. Когда он уходил с хутора, об нем скучали; Исаак думал было посоветоваться с ним насчет Брейдаблика, но как-то не вышло. Да Гейслер, наверное, и отсоветовал бы ему покупать этот участок— совсем еще не обработанную землю для конторщика вроде Элесеуса.

XVIII

А дядя Сиверт все-таки помер. Элесеусу пришлось прожить у него три недели, но под конец старик таки помер. Элесеус распорядился похоронами и проявил в этом деле большую расторопность, выпросив у соседей несколько горшков фуксий и флаг, который вывесил, приспустив на флагштоке, и купив черной саржи для штор. Послали за Исааком и Ингер, и они приехали на похороны. Элесеус выступал в роли хозяина, устроив угощение для всех приглашенных, а когда покойника выносили, даже произнес над гробом несколько прочувствованных слов, так что мать его от гордости и умиления полезла за носовым платком. Все сошло блестяще.

На обратном пути домой Элесеусу ничего не оставалось, как нести у всех на виду свое весеннее пальто, тросточку же он спрятал в один из рукавов. Все шло хорошо, пока они не стали переправляться в лодке через озеро, тут отец нечаянно наступил на пальто, и послышался треск.

— Что это?— спросил он.

— Да так, ничего,— ответил Элесеус.

Но сломанную палку он не выбросил и по возвращении домой стал придумывать, как бы ее починить.

— Может, скрепить ее как-нибудь?— сказал Сиверт, большой шутник.— Глянь-ка, если приладить с обеих сто-

рон по здоровой щепке да обмотать просмоленными нитками.

— Вот я тебя самого обмотаю просмоленными нитками,— ответил Элесеус.

— Ха-ха-ха. Ты небось был бы рад обмотать палку красной подвязкой?

— Ха-ха-ха,— засмеялся и Элесеус, но потом пошел к матери, выпросил у нее старый наперсток, спилил доншко и приладил его аккуратным ободком на свою тросточку. О, не такие уж бестолковые были длинные белые руки Элесеуса.

Братья постоянно дразнили друг друга.

— Как по-твоему, получу я то, что осталось после дяди Сиверта?— спросил Элесеус.

— Получишь ли? А чего там осталось?— спросил Сиверт.

— Ха-ха, тебе бы прежде всего узнать — чего, скупердй ты этакий!

— По мне, так возьми все!— сказал Сиверт.

— Там от пяти до десяти тысяч.

— Далеров?— воскликнул Сиверт. Он не мог удержаться от удивления.

Элесеус никогда не считал деньги на далеры, но на этот раз так было выгоднее, и он кивнул головой. И оставил Сиверта в этом убеждении до следующего дня.

Потом опять вернулся к той же теме.

— Жалеешь, наверно, о своем вчерашнем подарке?— сказал он.

— Дурак ты!— ответил Сиверт, но пять тысяч далеров как-никак — пять тысяч далеров, а не какая-нибудь мелочь; если брат не жулик и не цыган, он должен отдать ему половину.

— Скажу тебе одно,— заявил наконец Элесеус,— сдастся мне, я не разжирею с этого наследства.

Сиверт с удивлением посмотрел на него:

— Неужто?

— Да, не очень-то, не очень-то я с него разжирею!

Как-никак, а Элесеус научился разбираться в счетах; свой сундучок, знаменитый винный погребец, дядя Сиверт показал и ему, попросив просмотреть все бумаги, проверить итоги и подсчитать кассу. Дядя Сиверт не приставил своего племянника к работе на земле или к починке сетей в амбаре, он задурманил ему голову страшным хаосом цифр и всяких отчетных статей. Если какой-нибудь налогоплательщик десять

лет назад заплатил причитавшийся с него налог козой или несколькими пудами вяленой трески, то коза или треска не значились в ведомости, но старик Сиверт, порывшись в своей памяти, говорил: «Этот заплатил!» — «Ну, тогда эту цифру мы вычеркнем», — говорил Элесеус.

В этом деле Элесеус оказался самым что ни на есть подходящим человеком, он был ласков и то и дело подбадривал старика, уверяя, что состояние его вполне хорошее. Они отлично ладили друг с другом, даже шутили понемножку. Случалось, Элесеус делал глупости, но ведь тем же отличался и старик Сиверт. Так, они взяли да и состряпали документы в пользу не только Сиверта-младшего, но и в пользу села, той общины, которой старик отдал тридцать лет службы. То-то были славные денечки! «Лучше тебя, Элесеус, мне никого не найти», — говорил дядя Сиверт. Как-то посреди лета он послал купить баранью тушу — рыбу ему приносили свежего улова с моря, Элесеусу он приказал платить из ларца. Жилось хорошо. Им удалось залучить к себе Олину, никого лучше им было не найти для участия в пирушке, а также для распространения слухов о последних славных днях старика Сиверта. Удовольствие было обоюдное. «Сдается мне, нам следует позаботиться и об Олине, — сказал дядя Сиверт, — она вдова и с малым достатком. Тебе, Сиверту-младшему и так много достанется». Элесеусу это стоило сущую ерунду: своей опытной рукой он накарябал несколько строк в добавление к последней воле старика, и Олина тоже очутилась в числе наследников.

«Я позабочусь о тебе, — сказал ей старик Сиверт. — В случае, если я не поправлюсь и не задержусь на этой земле, я постараюсь, чтоб ты не пропала с голоду». Олина воскликнула, что она от изумления лишилась дара слова, но слова все-таки нашлись, она была растрогана, плакала и благодарила; никто бы не сумел так, как она, найти связь между земным даром и, например, «великим воздаянием небесным на том свете». Нет, дара слова она не лишилась.

А Элесеус? Если вначале он, может, и отнесся со всей душой к положению дяди, то со временем он начал задумываться. Он попробовал было намекнуть: «Ведь касса-то не то чтобы в полном порядке». — «Ничего, кое-что и после меня останется!» — ответил старик. «Наверно, у тебя есть деньги в каких-нибудь банках?» — спросил Элесеус, потому что ходили такие слухи. «Ну, там видно

будет,—сказал старик.—А сети, а усадьба с постройками, а стадо рыжих да белых коров! Что за ерунду ты несешь, браток!»

Элесеусу было невдомек, сколько могут стоять сети, но стадо он видел своими глазами: все оно состояло из одной коровы. Корова была рыжая с белым. Дядя Сиверт, должно быть, бредил. Да и в счетах старика Элесеус не очень-то разобрался, в них была порядочная каша, особенно с того года, когда счет перешел с далеров на кроны; общинный казначей частенько засчитывал мелкие кроны в полные далеры. Не диво, что он воображал себя богачом! Элесеус опасался, что, когда все разберется, вряд ли от наследства много останется, да пожалуй что и ничего. Может, и вовсе ничего.

Что ж, Сиверт мог с легким сердцем обещать ему то, что останется после дяди.

Братья частенько подшучивали над этим, Сиверт и не думал расстраиваться, наоборот, он бы, наверное, куда больше угрызался, если бы в самом деле проморгал пять тысяч далеров. Он прекрасно понимал, что его называли в честь дяди из чистого расчета, сам он ничего от дяди не заслужил. Потому он и уговаривал Элесеуса принять наследство.

— Оно твое, понятное дело; давай заключим письменный уговор! — сказал он. — Я разрешаю тебе разбогатеть. Смотри не упусти случая!

Вдвоем им было весело. Сиверт больше всех помогал Элесеусу вынести жизнь дома; без него многое было бы гораздо мрачнее.

А тут на Элесеуса опять словно нашла порча, три недели безделья за перевалом не принесли ему пользы, он ходил там в церковь и франтил, встречаясь с девушками. Дома, в Селланро, никого не было, новая служанка Йенсина не в счет, простая работница, она больше подходила Сиверту.

— Вот бы посмотреть, какая стала Барбру из Брейдаблика с тех пор, как выросла,—сказал он.

— Сходи к Акселю Стрёму и посмотри! — ответил Сиверт.

Однажды в воскресенье Элесеус так и сделал. Он ведь побывал на людях, набрался бодрости и веселья, разохотился, его приход внес оживление в землянку Акселя. Да и Барбру была не из таких, чтоб ею стоило пренебречь; во всяком случае, в их глуши она была единственная, она играла на гитаре и бойко разговаривала, к тому же

и пахло от нее не пижмою, а настоящими духами, одеколоном. Элесеус, со своей стороны, дал понять, что приехал домой только на побывку, в отпуск, скоро его опять потребуют в контору. Да, как-никак, а приятно побывать дома, на старом пепелище, к тому же теперь ему одному отвели всю светелку. Но, конечно, это не город!

— Да, что и говорить, деревня городу не чета! — поддержала Барбру.

Аксель совсем стушевался перед этими двумя горожанами, ему стало скучно, и он пошел посмотреть на землю. Они остались на свободе, и Элесеус совсем развернулся. Он рассказал, что побывал в соседнем селе и похоронил своего дядю, не забыв добавить и о том, что держал речь над гробом.

Уходя, он попросил Барбру проводить его немножко. Ну уж нет, извините!

— Разве в городе принято, чтоб дамы провожали кавалеров? — спросила она.

Элесеус покраснел, поняв, что обидел ее.

А в следующее воскресенье снова отправился в Лунное, захватив на этот раз с собой тросточку. Как и в прошлый раз, они весело болтали, и опять Аксель остался ни при чем.

— У твоего отца большая усадьба, и он страсть как застроился, — сказал он.

— Да, он и сейчас строит. Отцу-то что! — ответил Элесеус и прибавил, чтоб порисоваться: — Вот нам, беднякам, хуже!

— Как так?

— А разве вы не слышали? Недавно к нему наведались шведские миллионеры и купили медную скалу.

— Да что ты! Так он получил много денег?

— Ужасно много. Не подумай, что я хвастаю, но они заплатили кучу денег. Да, так что я хотел сказать? Ты говоришь: строит? Я вижу, у тебя тоже приготовлены бревна, сам-то ты когда будешь строиться?

Барбру ответила за него:

— Никогда!

Никогда! — это уж слишком сильно сказано. Аксель наломал камней еще прошлой осенью, зимой перевез их на хутор, в этом году в промежутках между полевыми работами сложил фундамент с подвалом и всем, что положено, осталось только сколотить сруб. Он рассчитывал подвести избу под крышу нынче осенью и собирался

попросить Сиверта прийти на несколько дней помочь ему,— что скажет на это Элесеус?

— Ну что ж. Но можешь взять и меня,— с улыбкой сказал Элесеус.

— Вас? — почтительно спросил Аксель, вдруг переходя на «вы». — У вас дар на другое.

Как приятно быть признанным даже и в глуши!

— Боюсь только, что руки мои не очень к этому пригодны,— жеманно сказал Элесеус.

— Покажи-ка! — промолвила Барбру и взяла его руку.

Аксель опять выключился из разговора и вышел; они снова остались одни. Они были ровесники, вместе учились в школе, вместе играли, целовались и бегали, теперь они с чувством бесконечного превосходства освежали свои детские воспоминания, и Барбру немножко кокетничала. Понятно, Элесеус совсем не то что важные конторщики в Бергене, в очках и с золотыми часами, но здесь, в глуши, и он барин, этого у него не отнимешь! Она вынула и показала ему свою бергенскую фотографию, вот какая она была тогда, а теперь...

— А чем же ты теперь-то плоха? — спросил он.

— По-твоему, я не очень подурнела?

— Подурнела! Вот что я тебе скажу: по-моему, ты стала вдвое красивее, во всяком случае, округлилась. Подурнела? Нет, подумать только!

— Правда, на мне красивое платье, с вырезом у шеи на спине? И серебряная цепочка, видишь? Она стоила очень дорого, мне подарил ее один из конторщиков, у которых я служила. Но потом я ее потеряла. Не то что потеряла, а мне понадобились деньги на дорогу домой.

Элесеус спросил:

— Можно мне взять эту карточку?

— Взять? А что ты мне дашь за нее?

Элесеус отлично знал, что на это ответить, но не посмел.

— Я тоже снимусь, как приеду в город, и пришлю тебе свою,— сказал он.

Она спрятала карточку и сказала:

— Нет, у меня только одна эта и осталась.

Черный мрак заволок его юное сердце, и он протянул руку за карточкой.

— Так дай мне за нее что-нибудь сейчас! — смеясь сказала она. Он обнял ее и крепко-крепко расцеловал.

Стеснения между ними как не бывало, Элесеус расцвел и превзошел самого себя. Они любезничали, шутили, смеялись, и он предложил перейти с ней на «ты».

— Когда ты взяла меня за руку, ты была словно прекрасный лебедь,— сказал он.

— Ну да, вот ты скоро уедешь в город и никогда больше сюда не вернешься,— ответила Барбру.

— Неужели ты так плохо думаешь обо мне?— спросил он.

— А разве у тебя никого нет, кто бы тебя там задержал?

— Нет. Между нами говоря, я ни с кем не помолвлен,— сказал он.

— Как же! Уж наверняка помолвлен.

— Нет, говорю тебе, это истинный факт.

Они долго любезничали, Элесеус окончательно влюбился.

— Я буду писать тебе,— сказал он.— Можно?

— Да,— ответила она.

— Не хочу быть назойливым и делать это без разрешения.— Вдруг его охватила ревность, и он спросил:— Я слышал, ты помолвлена с Акселем, это правда?

— Это с Акселем-то!— сказала она так презрительно, что он тотчас успокоился.— Он зря старается!— сказала она. Но тут же раскаялась и прибавила:— Но сам по себе он ничего, Аксель-то. И газету для меня выписал, и подарки часто делает, этого у него не отнимешь.

— Боже сохрани!— согласился Элесеус.— Он может быть самым выдающимся и замечательным человеком в своем роде, но суть не в этом.

Однако при мысли об Акселе Барбру, должно быть, забеспокоилась, она встала и сказала Элесеусу:

— А сейчас тебе пора уходить, потому что мне надо на скотный двор!

В следующее воскресенье Элесеус пошел к ней значительно позднее, чем прежде, и захватил с собой письмо. Вот это было письмецо! Целая неделя восторга и головоломной работы; он выносил его, вызубрил наизусть: «Фрекен Барбру Бредесен, вот уже два или три раза я имел невыразимое счастье видеть тебя...»

Вечер был поздний, Барбру, наверное, уже освободилась от работы на скотном дворе, а может, даже и легла спать. Не беда, так даже лучше.

Но Барбру не спала, сидела в землянке. И по всему было видно, что у нее нет ни малейшего желания любез-

ничать с ним, ни капельки, у Элесеуса составилось впечатление, что Аксель прибрал ее к рукам, а может, и предостерег ее.

— Пожалуйста, вот письмо, которое я тебе обещал!

— Спасибо! — сказала она, распечатала письмо и прочла без видимой радости. — Хотела бы я уметь так хорошо писать, как ты!

Он был разочарован. Что он сделал? Что с ней? А где Аксель? Ушел. Может, ему надоели эти настойчивые воскресные визиты и захотелось уйти из дому, а может, нашлось неотложное дело, потому что он ушел в село еще вчера. Нету его.

— Что ты сидишь в душной землянке в такой чудесный вечер? Пойдем погуляем! — сказал Элесеус.

— Я дожидаюсь Акселя, — ответила она.

— Акселя? Ты что, не можешь жить без Акселя?

— Могу, но ведь надо же его покормить, когда он вернется.

Время шло, пропадало даром, близости между ними не устанавливалось, Барбру продолжала капризничать. Он попробовал было снова рассказать ей о соседнем селе и снова не забыл упомянуть про свою речь над гробом.

— Я и сказал-то всего несколько слов, но у некоторых на глаза навернулись слезы.

— Да ну, — проворчала она.

— А в воскресенье был в церкви.

— Что тебе там понадобилось?

— Понадобилось? Просто пошел посмотреть. Священник, по моему скромному мнению, проповедует неважно, у него нет никаких хороших приемов.

Время шло.

— Как по-твоему, что подумает Аксель, если застанет тебя здесь и нынче вечером? — сказала вдруг Барбру.

О, если б она ударила его прямо в грудь, он был бы ошеломлен не менее. Неужели она забыла их прошлое свидание? Разве у них не было условлено, что он придет сегодня вечером? Он страшно огорчился и пробормотал:

— Я могу ведь и уйти!

Она, по-видимому, несколько не испугалась.

— Что я тебе сделал? — спросил он дрожащим голосом. Он был очень огорчен, он страдал.

— Сделал? Мне? Да ничего ты мне не сделал.

— Так что же с тобой сегодня случилось?

— Со мной? Ха-ха-ха. А впрочем, я не удивлюсь, если Аксель разозлится.

— Я уйду! — повторил Элесеус. Но она и на этот раз не испугалась, она не обращала ни малейшего внимания на то, что он сидел, борясь со своими чувствами. Упрямая, как осел.

Мало-помалу в нем стало подниматься раздражение, и поначалу он выразил его довольно тонко: она, мол, не самая приятная представительница женского пола! Однако и это не помогло — о, лучше бы он молчал и терпел, — она сделалась только еще хуже. Но и он не стал лучше.

— Знал бы, что ты такая, не пришел бы сегодня, — сказал он.

— И что из того? — ответила она. — Не проветрил бы свою палку, только и всего.

Да, Барбру побывала в Бергене, она видала настоящие тросточки, потому и могла позволить себе так язвительно спросить, каким это ободренным зонтиком он помахивает.

Он и это стерпел.

— Наверное, ты хочешь взять обратно свою карточку? — сказал он.

Если не подействует и это, значит, не подействует ничто, ничего хуже этого и представить себе нельзя в деревне — взять подарок обратно!

— Мне все равно, — уклончиво ответила она.

— Отлично, — дерзко заявил он, — я пришлю ее тебе при первой же okazji. Тогда отдай мне мое письмо!

Он встал.

Ну что ж, она отдала ему письмо, но тут у нее выступили на глазах слезы, да-да, она переменялась: служанка растрогалась, дружок покидал ее, прости навек!

— Не уходи, — сказала она, — мне нет дела до того, что подумает Аксель.

Но тут уж он решил воспользоваться своим преимуществом и стал прощаться.

— Покорно благодарю, — сказал он. — Когда дама ведет себя так, как ты, я удаляюсь.

Он тихонько вышел из землянки и направился домой, посвистывая, помахивая тросточкой и держась молодцом. Черт возьми! Через минутку из землянки вышла и Барбру, дважды окликнув его. Он остановился, отчего же не остановиться, но был как раненый лев. Она с покаянным видом уселась посреди вереска, вертя в руке веточку, понемножку и он начал смягчаться, попросив поцелуя — мол, напоследок, на прощанье. Нет, она не хотела.

— Ах, будь такая же очаровательная, как в прошлый раз! — умолял он, обхаживая ее со всех сторон и напирая все решительнее, чтоб скорее добиться своего.

Но она не пожелала быть очаровательной, а встала. И стояла как истукан. Тогда он молча кивнул и пошел прочь.

Когда он скрылся, из-за кустов вдруг вынырнул Аксель. Барбру вздрогнула и спросила:

— Разве ты пришел сверху?

— Нет, я пришел снизу, — ответил он. — Но я видел, как вы вдвоем здесь прохлаждались.

— Ах, видел! Ну и что, радость тебе от этого?! — вдруг выкрикнула она со злостью. И продолжала не менее капризно: — Чего ты шныряешь повсюду и вынюхиваешь? Какое тебе дело!

Аксель тоже был не в кротком настроении.

— Он и нынче был здесь?

— Ну и что? Чего тебе от него надо?

— Чего мне от него надо? Ты лучше скажи, чего тебе от него надо? Постыдилась бы!

— Стыдиться? Долго молчали, да звонко заговорили! — ответила Барбру старинным присловьем. — Я не обязана сиднем сидеть в твоей землянке, точно памятник, так и знай! Чего мне стыдиться? Как найдешь себе другую экономку, я сейчас же уеду. Попридержи лучше язык, сделай милость. Вот тебе мой ответ. Сейчас я пойду, дам тебе поесть и сварю кофе, а потом могу делать все что мне угодно.

Домой они пришли в полной ссоре.

Да, Аксель и Барбру не всегда жили дружно. Она прожила у него уже года два, изредка между ними случались ссоры, большей частью из-за того, что Барбру хотела уехать. Он упрасивал ее остаться навсегда, переехать к нему совсем, разделить с ним по-настоящему землянку и жизнь; он ведь знал, как плохо остаться одному без помощницы, — и она не раз обещала согласиться, в минуты нежности она даже не могла себе представить, что не останется. Но стоило им поссориться, и она сейчас же грозилась уехать. Если уж не насовсем, то хотя бы ненадолго в город, полечить зубы, они все выболели. Уехать, уехать! Необходимо было удержать Барбру, надеть на нее узду.

Узду? Она смеялась над любой уздой.

— Значит, ты и теперь хочешь уехать? — сказал он.

— А что? — спросила она.

— И ты можешь уехать?

— Почему же не могу? Думаешь, мне некуда податься, раз дело идет к зиме? Да я могу получить место в Бергене в любое время.

Тогда Аксель сказал довольно твердо:

— Теперь уж не может быть, как раньше. Разве ты не ждешь ребенка?

— Ребенка? Нет. О каком таком ребенке ты говоришь?

Аксель вытаращил на нее глаза. Не в своем, что ли, уме эта Барбру?

Другое дело, что он сам — Аксель — проявил, должно быть, слишком большое нетерпение: надев на нее узду, он начал держаться чересчур уверенно, вот уж впрямь ума палата, зря он так часто ей перечил, вызывая лишь раздражение, и уж совсем незачем было приказывать ей сажать по весне картошку, в крайности мог бы справиться и один. Успеет проявить свою власть после свадьбы, а до тех пор надо действовать умно и уступать.

А тут, как назло, вышла эта незадача с Элесеусом, с конторщиком, который припутался со своей тросточкой и своими благородными речами. Разве это достойное поведение для помолвленной девушки, да еще в ее положении! Можно ли представить себе что-нибудь хуже! До сих пор Аксель не имел соперника в здешней глуши, и вдруг положение резко переменялось.

— Вот тебе последние газеты,— сказал он.— И еще одна вещичка, которую я раздобыл для тебя. Плянь-ка, может, и понравится.

Она осталась холодна, хотя оба сидели за столом, потягивая с блюдечка обжигающе горячий кофе. Она ответила с ледяной холодностью:

— Бьюсь об заклад, что это золотое кольцо, которое ты обещал мне целый год с лишним.

Тут онахватила через край, это действительно было кольцо, но не золотое — такого он ей никогда не обещал, это она сейчас выдумала, — а серебряное, с двумя вызолоченными на нем руками, значит, тоже хорошее, и с пробой. Но, увы, эта ее злополучная поездка в Берген! Барбру видела там настоящие обручальные кольца, попробуй-ка втереть ей очки!

— Можешь оставить его себе,— сказала она.

— Да чем же оно плохо?

— Плохо? Ничем оно не плохо,— ответила она и, встав, принялась убирать со стола.

— Для начала сгодится и такое,— сказал он,— соберемся с деньгами, куплю другое.

Она промолчала.

И все же в этот вечер Барбру была злука злукой. Неужто за новое серебряное кольцо не стоило хоть сказать спасибо? Должно быть, щеголь конторщик перевернул все ее мысли. Аксель не мог удержаться, чтоб не сказать:

— Да расскажи ты мне, зачем этот Элесеус сюда бегаёт? Чего он от тебя добивается?

— Добивается от меня?

— Ну да, неужто он не понимает, в каком ты положении? Неужто не видит по тебе?

Барбру круто повернулась к нему и сказала:

— Ага, ты, стало быть, думаешь, что привязал меня к себе, да не тут-то было, вот увидишь!

— Ну?! — сказал Аксель.

— Да-да. Увидишь, что я уеду!

Аксель только усмехнулся на это и даже не очень широко и открыто, чтоб не задеть ее. Потом сказал, словно успокаивая маленького ребенка:

— Ну, будь же умницей, Барбру. Мы ведь с тобой все знаем!

И разумеется, поздно ночью кончилось тем, что Барбру повеселела и даже заснула с серебряным кольцом на пальце.

Все опять пошло на лад.

Для этих двоих в землянке пошло на лад, но с Элесеусом дело обстояло куда как хуже, он никак не мог пережить нанесенную обиду. Не имея понятия об истерических срывах, он решил, что его обманули по чистой злобе, Барбру из Брейдаблика вела себя слишком уж дерзко, пусть она хоть десять раз побывала в Бергене!

Фотографию Барбру он вернул ей: однажды ночью он сам отнес ее в Лунное и просунул на сеновал, где спала Барбру. Он вовсе не хотел делать это в грубой или невежливой форме, поэтому долго перед тем возился с дверью, чтоб разбудить Барбру, а когда она приподнялась на локте и спросила: «Что же, ты нынче и дороги не найдешь?» — то интимный характер этого вопроса кольнул его, как иголка или шпага, но он не закричал, а только молча бросил карточку на пол. И пошел своей дорогой. Пошел? Собственно, он прошел всего несколько шагов, а потом побежал, он был донельзя взволнован и расстроен, сердце бешено колотилось в груди. Чуть

отбежав от дома, он остановился у кустов и оглянулся назад — нет, она не вышла. А у него-то еще теплилась надежда! Если б она была хоть чуточку к нему добрее! Но какого черта он бежит, раз она не гонится в отчаянии за ним по пятам, в одной рубашке и юбке, убитая тем, что наделала своим чисто интимным вопросом, предназначенным вовсе не для него.

Он шел домой без палки, он уже не насвистывал, нет, он уже не был молодцом. Кинжал в груди — не безделица.

На том все и кончилось?

Как-то в воскресенье он опять отправился в Лунное, только затем, чтоб бросить взгляд на усадьбу. С болезненным и чудовищным терпением лежал он в кустах, прислушиваясь и глядя в сторону землянки. Когда там наконец обозначилась какая-то жизнь, то словно затем лишь, чтоб совсем доконать его: Аксель и Барбру вышли из землянки и вместе направились в хлев. Они были очень ласковы друг с другом, переживая блаженные минуты, они шли обнявшись, он, видать, собрался помочь ей в хлеву. Скажите пожалуйста!

Элесеус смотрел на парочку, и ему казалось, что все потеряно, все пропало. А может, думал: вот она идет рука об руку с Акселем Стрёмом; и как же она докатилась до этого, я не знаю, ведь еще совсем недавно она обнимала меня! Они скрылись в хлеву.

Ну и ладно! Наплевать! Неужто он станет лежать в кустах, забыв обо всем на свете? Этого еще недоставало — уткнуться носом в траву и забыть о самом себе. Да кто она такая? Уж он-то, во всяком случае, есть то, что он есть. Наплевать, еще раз наплевать!

Он вскочил на ноги. Отряхнул вереск и сор со штанов, выпрямился, постоял немного. Гнев его и гордыня разрешились странной выходкой: впад в отчаяние, он запел весьма неприличную песенку. И когда он нарочито громко пел самые непристойные куплеты, на лице у него застыло какое-то странное выражение.

XIX

Исаак вернулся из села с новой лошастью.

Ну да, так уж вышло, что он купил лошадь у пристава, и хоть была она, как и сказал Гейслер, заморенная, но стоила двести сорок крон, то есть шестьдесят далеров. Цены на лошадей стали нынче совсем несообразные;

когда Исаак был ребенком, самую лучшую лошадь можно было купить за пятьдесят далеров.

Почему же тогда ему самому не вырастить лошадь? Он не раз думал об этом, представляя себе, как будет выхаживать породистого жеребенка,— да только его пришлось бы дожидаться год, а то и два. Это хорошо для тех, у кого есть время на передышку в земледелии, кто может не распахивать целину на болоте, пока у него не заведется лошадь, чтоб свозить на ней урожай. Пристав так и сказал:

— Мне кормить лошадь ни к чему; то сено, какое у меня есть, мои бабы перетаскают на себе, пока я езжу по делам службы!

Новая лошадь была давней, многолетней мечтой Исаака, и внушил ему мысль о покупке вовсе не Гейслер. Потому он в меру своих возможностей и подготовился к этому событию: лишнее стойло в конюшне, лишняя привязь на лето; телега и сани у него уже есть, к осени сделает еще одни. И про самое важное, про корм, он, конечно, не забыл: зачем он последнее болото еще в прошлом году распахал, как не затем, чтоб иметь запас на зиму и для лошади, не урезая при этом корма коровам? И вот теперь болото засеяно травами. Аккурат для стельных коров.

Да, все-то он хорошо обдумал. У Ингер снова был, как и встарь, повод изумляться и всплескивать руками.

Исаак привез из села новости: Брейдаблик продается, об этом объявляли у церкви. Небольшой урожай, который там собрали, кое-какое сено да картошка тоже идут в продажу, а заодно и скотина, несколько голов коз и овец.

— Неужто он хочет весь распродаться и остаться голышом? — воскликнула Ингер. — И куда он подается?

— В село.

Так оно и было, Бреде перебирался в село. Поначалу он, правда, попробовал устроиться на житье у Акселя Стрёма, у которого по-прежнему жила Барбру. Но попытка его окончилась неудачей. Бреде ни за что на свете не хотел портить отношений между дочерью и Акселем, так что остерегся проявлять назойливость, и все же эта задача опрокинула все его расчеты. Ведь Аксель к осени хотел поставить новую избу, и если они с Барбру переберутся туда, отчего бы Бреде с семьей не поселиться в землянке? Но нет. В том-то и дело, что Бреде мыслил не по-хозяйски, он не понимал, что

Аксель решил выселиться потому, что землянка нужна ему для скотины, которой заметно прибавилось,— землянку предполагалось превратить в хлев. Даже когда ему все объяснили, Бреде не мог взять в толк эти соображения.

— Ведь люди, как-никак, важнее скотины,— сказал он. Аксель же думал совсем по-другому:

— Скотина важнее, а люди всегда найдут себе пристанище на зиму.

Тут вмешалась Барбру:

— Вот как, скотина тебе важнее нас, людей? Хорошо, что я это узнала!

В самом деле, Аксель восстановил против себя все семейство тем, что не нашел для него у себя места. Но он не сдался. Ведь он был отнюдь не глуп и не прост, наоборот, он становился все скупее и скупее; он отлично знал, что этот переезд означает для него несколько лишних ртов, которые ему же и придется кормить.

Бреде успокоил дочь, намекнув, что и сам предпочитает переехать в село; ему невольно жить в этой глухомани, сказал он, оттого-то он и решил продать землю.

В сущности же, продавал усадьбу вовсе не Бреде Ольсен, а банк и торговец продавали Брейдаблик за долги, и только для виду продажа совершалась от имени Бреде. Бреде казалось, что этим он спасается от позора. И когда его встретил Исаак, Бреде вовсе не выглядел подавленным, утешаясь тем, что по-прежнему оставался смотрителем телеграфной линии, что давало верный доход, а со временем наверняка добьется и прежнего своего положения в селе и опять станет нужным человеком и правой рукой ленсмана. Разумеется, Бреде был в какой-то степени расстроен, ведь как-никак, а приходилось расставаться с местом, где он прожил много лет, где он трудился и которое полюбил! Но добрый Бреде никогда не позволял себе впадать в уныние. Эта черта была в нем самая лучшая, более всего подкупающая людей. В один прекрасный день ему взбрело в голову осесть на земле, опыт оказался неудачным, но он с такой же легкостью действовал и в других вопросах, и выходило успешнее: почем знать, может быть, образцы камней, которые у него хранятся, станут началом огромного дела! А взять хотя бы Барбру, которую он пристроил в Лунное, она ведь уже никогда не расстанется с Акселем Стрёмом, за это он готов поручиться, это всякому видно.

Нет, все еще не так плохо, пока у него есть здоровье и он может работать на себя и на своих близких!—

говорил Бреде Ольсен. К тому же дети уже подросли настолько, что могут уехать и позаботиться о себе сами. Вот Хельге, к примеру, нанялся на лов сельдей, а Катрина поступает к доктору. Так что с ними остались только двое младших — ну и, правда, третий на подходе.

Исаак привез из села и еще одну новость: у жены ленсмана родился ребенок. Ингер сразу заинтересовалась: мальчик или девочка?

— Этого не слышал, — ответил Исаак.

У ленсманши родился ребенок — а не она ли постоянно выступала в женском кружке против непомерного числа детей у бедняков. «Дайте женщинам право голоса и возможность распоряжаться собственной судьбой!» — говорила она. А теперь и сама попалась. «Да, — сказала кому-то пасторша, — я ли не распоряжалась собой, ха-ха-ха, а вот ведь, все-таки не ушла от своей судьбы!» Эта острота о госпоже Хейердал ходила по всей деревне и многим была понятна; Ингер, может быть, тоже ее поняла, один только Исаак ничего не понял.

Исаак понимал, как надо работать, как вести хозяйство. Он стал теперь богатым человеком, владел большим участком с отличной усадьбой, но крупные деньги, которые случай дал ему в руки, он употребил не лучшим образом: он их спрятал. Его верой была земля. Живи Исаак в селе, широкий мир, может статься, повлиял бы и на него, там было столько соблазнов, столько замечательных возможностей, он тоже накупил бы ненужной дребедени и ходил бы по будням в красной праздничной рубаше. Здесь, в глуши, он был застрахован от всяких излишеств, он жил на чистом воздухе, умывался по воскресеньям и купался, когда бывал на горном озере. А тысяча далеров — ну что ж, это Божий дар, отчего не спрятать их все до последнего скиллинга? Куда их иначе девать-то? Исааку хватало на необходимые повседневные расходы только от продажи того, что ему давали скот и земля.

Элесеус, этот понимал больше, он посоветовал отцу положить деньги в банк. Может, так было и разумнее, но как бы то ни было, а Исаак все откладывал, и скорее всего вовсе никогда бы на это не решился. Не то чтобы Исаак всегда пренебрегал советами сына, Элесеус был далеко не глуп, он доказал это впоследствии. Нынче, во время сенокоса, он попробовал косить — да, тут он был не большой мастер, ему приходилось держаться поближе к Сиверту, чтоб тот при надобности отбивал его косу;

зато у Элесеуса были длинные руки и сено он сгребал и копнил так, что любо-дорого было смотреть. Сиверт, Элесеус, Леопольдина и работница Йенсина копнили сено после первого покоса, Элесеус себя не щадил, работая граблями так усердно, что ладони у него сплошь покрылись волдырями и пришлось замотать их тряпками. Недели две он ел без всякого аппетита, но работать не бросил. Что-то, должно быть, стряслось с парнем, похоже, ему пошла на пользу некоторая неудача в известном любовном деле, должно быть, и ему довелось изведать вечной скорби и разочарования в жизни. А тут еще он докурил последний табак, привезенный из города, что в других обстоятельствах могло бы заставить иного конторщика хлопнуть дверью и произнести крепкое словцо о том о сем, но нет, Элесеус стойко перенес и это испытание, даже осанка у него стала уверенней, одно слово — настоящий мужчина. И что же выдумал шутник Сиверт, чтоб подразнить его? Когда братья, лежа на камнях у реки, пили воду, Сиверт имел неосторожность предложить брату засушить какого-то замечательного моху на курево.

— Или, может, покуришь его сырым? — добавил он.

— Вот я тебе покажу курево! — ответил Элесеус и, схватив брата за голову, окунул по самые плечи в воду. — Ха, получил! — Сиверт так и пошел домой с мокрыми волосами.

«Сдается мне, Элесеус помаленьку становится настоящим человеком!» — думал иногда Исаак, видя сына за работой.

— Гм. Как по-твоему, Элесеус останется дома? — спросил он Ингер.

Она посмотрела на него с любопытством и осторожностью.

— Трудно сказать. Нет, не останется.

— А ты говорила с ним?

— Нет. Разве что немножко. Но мне так кажется.

— Ну а если у него будет свой клочок земли?

— Как так?

— Станет он на нем работать?

— Нет.

— Выходит, ты, значит, спрашивала?

— Спрашивала? Неужто не видишь, как он изменился? Я не понимаю его!

— Нечего его хаять, — беспристрастно сказал Исаак. — Я вижу одно: он отлично справляется с работой.

— Это да,— послушно согласилась Ингер.

— Не пойму, чего ты нападаешь на парня! — с досадой воскликнул Исаак.— Он день ото дня работает все лучше, что ж тебе еще надо?

Ингер пробормотала:

— Он не такой, как был. Ты бы порасспросил его о жилетках.

— О жилетках? О каких жилетках?

— Он рассказывает, что летом ходил по городу в белых жилетках.

Исаак подумал немного, но так ничего и не понял.

— А разве ему нельзя дать белую жилетку? — спросил он.— Парень ведь имеет право на белую жилетку.— Исаак был в недоумении: все это, ясное дело, бабьи глупости; и вообще непонятно, в чем тут суть, и потому он решил просто перескочить через эту тему: — Как по-твоему, может, посадить его на участок Бреде?

— Кого? — спросила Ингер.

— Да Элесеуса.

— В Брейдаблик? — спросила Ингер.— И не думай!

Дело в том, что она уже обсудила этот план с Элесеусом, а узнала его от Сиверта, который не вытерпел и проболтался. Впрочем, с какой стати Сиверту было умалчивать про этот план, отец-то, поди, и сообщил его лишь затем, чтобы иметь возможность его обсудить. Не первый раз он использовал Сиверта как посредника. И что же ответил Элесеус? То же, что и раньше, то же, что писал в своих письмах из города: «Нет, я не хочу забрасывать науку и снова превращаться в ничтожество!» Вот что он ответил. Мать стала приводить ему разные разумные доводы, но Элесеус на все отвечал отказом, объяснив, что у него другие жизненные планы. У молодого сердца свои тайны, вероятно, после того, что случилось, ему казалось невозможным стать соседом Барбру. Кто его знает. С видом превосходства он возражал матери: он может получить в городе место получше того, что у него было, может поступить в конторщики к амтману или в помощники к судье, а там, глядишь, еще пойдет и выше, через несколько лет он, может статься, сделается ленсманом, или смотрителем маяка, или устроится на службу в таможеню. Перед ученым человеком открывается много возможностей.

Как бы то ни было, ему удалось убедить мать, увлечь ее своими планами, да она и сама еще не очень твердо стояла на ногах, внешний мир до сих пор имел над нею

большую власть. Зимой она еще время от времени читала тот замечательный молитвенник, который ей подарили при выходе из тюрьмы в Тронхейме,— но теперь-то! Неужто Элесеус и вправду может стать ленсманом?

— А почему бы и нет,— ответил Элесеус.— Кто такой Хейердал, как не самый обыкновенный старик канцелярист из конторы амтмана?

Огромные перспективы. Мать была готова упрашивать Элесеуса не менять жизнь, не губить себя. Что такому человеку делать в эдакой глуши!

Но почему же тогда Элесеус вдруг вздумал так усердно работать на отцовской земле? Бог весть, может, у него и были кой-какие задние мысли. Наверное, примешивалось и чувство мужичьей чести, не хотелось отставать от других; да и не мешало подружиться с отцом на случай отъезда из дома; по правде сказать, у него остались в городе кое-какие долгишки и хорошо бы их заплатить, это откроет ему новый большой кредит. Дело-то шло не о какой-нибудь сотне крон, а кое о чем посущественнее.

Элесеус был далеко не глуп, наоборот, по-своему он был довольно хитрый. Он видел, как приехал отец, и отлично знал, что в эту минуту он сидит в горнице у окошка и смотрит на поляну. И если Элесеус как раз сейчас приналяжет на работу, то, скорей всего, выгадает, а уж повредить это никому не повредит.

Была в Элесеусе какая-то червоточина—какая-то вздорность и затаенное лукавство; не то что он был злой, но чуть сумасбродный. Распустился, что ли, за последние годы на свободе? Что могла теперь сделать для него мать? Одно-единственное—оказать ему поддержку. Могла дать увлечь себя сыновними видами на блестящее будущее и замолвить за него словечко отцу, это она вполне могла.

Но Исаака в конце концов рассердило ее нежелание поддержать его, ведь план насчет Брейдаблика, по его мнению, был вовсе не так плох. Нынче, по дороге домой, он даже остановил лошадь и наспех осмотрел заброшенный участок: в хороших руках из него мог получиться толк.

— Почему же мне об этом не думать?—спросил он Ингер.— Мне жалко Элесеуса, я хочу помочь ему устроиться.

— Коли тебе жалко Элесеуса, так не поминай больше про Брейдаблик!—ответила она.

— Вон ты как!

— Да, потому что в голове у него мыслей побольше, чем у нас с тобой.

Исаак и сам не вполне уверен в своей правоте и потому говорить решительно и твердо не может; но его злит, что он так неосторожно выдал свой план, оттого и не хочет теперь от него отступиться.

— Он сделает так, как я хочу! — заявляет вдруг он. И угрожающе возвышает голос, на случай, если Ингер не расслышала: — Да смотри, сколько твоей душе угодно, на меня, но больше я ничего не скажу. Там школа, сам участок находится в самой середине округа, и все такое, и какие это у него мысли в голове? С таким сыном, как он, того и гляди, помрешь с голоду, по-твоему, это лучше? И вот я спрашиваю, как это получилось, что моя собственная плоть и кровь может пойти против... против моей собственной плоти и крови?

Исаак умолк. Он понимал, что чем больше говорит, тем меньше это помогает делу. Он хотел было переменить праздничное платье, в каком ездил в село, но раздумал и остался в чем был — какая от того польза?

— Попробуй поговори с Элесеусом, — сказал он.

Ингер ответила:

— Лучше сам поговори. Меня он не послушает.

Ну конечно, Исаак — всему голова, он и сам это знает, пусть только Элесеус попробует пикнуть! Но, опасаясь, быть может, поражения, Исаак уклончиво говорит:

— Конечно, могу, могу и сам поговорить. Но кроме этих дел мне ведь приходится и о многом другом думать.

— Вот как? — изумленно спрашивает Ингер.

Исаак снова уходит, правда, недалеко, в самый конец своего участка, но, во всяком случае, уходит. Он скрывает какой-то секрет, он хочет спрятаться. А дело вот в чем: он ведь привез из села и третью новость, она куда важнее всех остальных, неизмеримо важнее, он спрятал ее на опушке леса. Вот она стоит, закутанная в мешковину и бумагу, он раскутывает ее, оказывается, это большая машина. Красная с синим, чудесная, с множеством зубцов и ножей, с рукоятками, колесиками, винтами, — косилка. Разумеется, и новая лошадь не случайно приведена именно сегодня — ради косилки.

Он стоит и с невероятным напряжением припоминает с начала и до конца описание, которое ему прочитал торговец; укрепляет в одном месте стальную пружину, в другом подвигает шкворень, потом смазывает каждое колесо, каждое отверстие, тщательно осматривает весь

механизм. Никогда прежде не доводилось Исааку переживать такую минуту. Взять в руки перо и написать на документе свою фамилию — это тоже большой риск, это тоже непросто. Все равно что подогнать множество кривых ножей у бороны для обработки целины. Или установить большую циркулярную пилу на лесопилке так, чтобы она проходила точка в точку по центру, не отклоняясь ни на запад, ни на восток, и не отскочила, чего доброго, к потолку! Но косилка — этакая машина из стальных прутьев, и крюков, и всяких приспособлений, и сотен винтов, — да швейная машина Ингер против нее суцкая пустяковина!

И вот Исаак сам впрягается в косилку и пробует машину. Вот она, великая минута. Потому-то он и решил остаться один на один с машиной и сам выступить в роли лошади. Вдруг машину плохо собрали и она не станет работать, с треском развалившись на куски! Но этого не случилось, машина стала резать траву. Да и как же иначе, Исаак проторчал здесь не один час, изучая ее. Вон уже и солнце закатилось. Он снова впрягается в косилку, и снова машина режет траву. Попробовала бы не резать, этого еще не хватало!

Когда после жаркого дня на землю пала обильная роса и сыновья стали отбивать косы, готовясь к завтрашней работе, Исаак подошел к дому.

— Повесьте на сегодня косы, — сказал он. — Возьмите новую лошадь и отведите на опушку!

Исаак не пошел в избу и не стал есть, хотя все уже поужинали, а покрутился по двору и опять ушел.

— Запрягать телегу? — крикнул вдогонку Сиверт.

— Нет, — ответил отец и не останавливаясь пошел дальше.

Он был до того преисполнен тайны и гордости и выступал с такой многозначительностью, что даже как-то приседал на каждом шагу. Если он шел на смерть и гибель, то тогда он проявлял истинную храбрость, ибо в руках у него не было ничего для защиты.

Когда сыновья, придя с лошадьёю, увидели косилку, они так и застыли. Это была первая косилка в здешних местах, первая в селе, красная с синим, она радовала человеческий глаз. Отец, глава дома, бросил равнодушным, самым обыкновенным голосом:

— Запрягайте!

Они запрягли лошадь в косилку.

И вот косилка трогается, отец правит лошадью. Брр! — бурчит машина, срезая траву, сыновья улыбаясь бегут следом, просто так, ничего не делая. Отец останавливается и оглядывается назад.

— Ничего, но надо бы почище!

Он подвинчивает несколько винтов, чтоб опустить ножи ближе к земле, и снова трогается, проверяя, как работает косилка. Нет, ряд получается неровный, нехороший, ножи подсакивают, отец перебрасывается с сыновьями несколькими словами, Элесеус берет описание машины и читает его.

— Здесь сказано, что, когда пускаешь машину в ход, надо сесть на сиденье, тогда она устойчивее, — говорит он.

— Ну да, — говорит отец. — Я и сам знаю, — отвечает он, — я ведь все изучил.

Он садится на сиденье и едет, машина идет устойчивее. Вдруг она перестает косить, все ножи разом останавливаются. Тпру! Что такое? Отец соскакивает с сиденья, высокомерия как не бывало, перепуганный и растерянный, он склоняется над машиной. Отец и сыновья внимательно осматривают ее: что-то не так, в руках у Элесеуса описание.

— Пляди-ка, вон в траве валяется маленький болтик! — кричит Сиверт, поднимая болтик с земли.

— Как хорошо, что ты нашел его, — говорит отец, словно только этого болтика и не хватало для полного порядка. — Я как раз его и искал.

Но они никак не могут найти для него отверстие, куда к черту девалось отверстие для болтика?

— Вот оно! — говорит Элесеус и показывает отверстие.

Должно быть, Элесеус чувствует свое превосходство, ведь для всех очевидно, что он хорошо разбирается в книжном описании, он излишне долго ищет отверстие для болта, потом говорит:

— Судя по рисунку, болт надо вставить сюда!

— Ясное дело, сюда, — говорит отец, — здесь он и был. — И чтоб придать себе форсу, велит Сиверту поискать, нет ли в траве других болтов. — Должен быть еще один, — говорит он с таким важным видом, словно помнит их все наизусть. — Больше нет? Ну, стало быть, теперь все в порядке!

И снова собирается трогать.

— Да нет, не так! — кричит Элесеус. Он стоит, в руках у него описание с рисунком, в руках у него закон, его

никак не объедешь.— Вот эта пружинка должна быть наверху.

— А? — спрашивает отец.

— У тебя она внизу, ты привинтил ее снизу. Это стальная пружинка, она должна быть наверху, а то болт опять выскочит и ножи останоятся. Вот тут на рисунке видно.

— Я не захватил очков и потому не вижу рисунка, — говорит отец значительно смиреннее.— Возьми и привинти пружину как надо. Но только сделай это как следует! Не будь так далеко, я сходил бы за очками.

Теперь все в порядке, отец опять залезает на сиденье. Элесеус кричит вслед:

— Езжай побыстрее, тогда ножи режут лучше! Тут так написано.

Исаак едет и едет, и все идет хорошо. Брр! — бурчит машина. Она оставляет за собой широкий ряд подрезанной травы, трава ложится ровно, как по ниточке, готовая к сушке и уборке. Вот его увидели из дома, и все женщины выходят к ним, Ингер несет на руках маленькую Ребекку, хотя та давно уж выучилась ходить. Вот они подходят и останавливаются тесной кучкой, четыре женщины впиваются, широко раскрыв глаза, в чудовище. О, какой сильный, какой гордый сидит Исаак на высоком сиденье, в праздничном платье, в куртке и шляпе, хотя пот льет с него ручьем. Он огибает четыре угла, объезжает большую поляну, поворачивает, возвращается обратно, косит траву, проезжает мимо женщин, а те ничего не понимают, словно с луны свалились, машина же бурчит: брр!

Но вот Исаак останавливается и слезает с косилки. Ему хочется послушать, что говорят люди, которые стоят на земле, что-то они скажут. Он слышит приглушенные возгласы, они не хотят ему мешать, эти люди не хотят ему мешать в его большом деле, но задают друг другу робкие вопросы, и эти вопросы он слышит. Из желания ободрить их и быть для всех ласковым, отечески-заботливым главою семейства, Исаак говорит:

— Ну вот, я скошу сегодня этот участок, а уж вы завтра скопните сено!

— Неужто ты даже ужинать не пойдешь? — спрашивает Ингер, совсем подавленная.

— Нет. У меня сейчас другие заботы! — отвечает он.

Потом начинает смазывать машину, давая им понять, что дело это не простое, настоящая наука. И снова при-

нимается косить траву. В конце концов женщины уходят домой.

Счастливым Исаак! Счастливые обитатели Селланро!

Он уверен, что очень скоро к нему нагрянут соседи, Аксель Стрём интересуется всеми новинками, наверно, завтра же придет. А Бреде из Брейдаблика — тот способен примчаться еще нынче ночью. Исаак не прочь объяснить им устройство косилки и показать, как ею управлять. Он скажет, что такой ровный и гладкий ряд не под силу никакой косе и никакому человеку. Но сколько стоит такая первоклассная, синяя с красным, косилка — лучше и не говорить!

Счастливым Исаак!

Когда он в третий раз останавливает машину и смазывает ее, из кармана у него выпадают очки. И хуже всего, что это происходит на глазах у ребят. Уж не вмешательство ли это высших сил, напоминание о том, чтоб он поменьше гордился. Ведь очки все время были при нем, на обратном пути домой он то и дело надевает их, пытаясь разобрать описание, но так ничего и не понял; пришлось вмешаться Элесеусу. О-ох, Господи, хорошо быть ученым! В наказание себе Исаак решает отказать от мысли сделать из Элесеуса землешапка в здешней глуши, он больше не станет об этом и заикаться. И вовсе не из-за этой злополучной незадачи с очками; наоборот, проказник Сиверт не удержался, потянул Элесеуса за рукав и сказал:

— Ну что ж, пошли! Придем домой да сожжем свои косы, отец за нас покосит!

Шутка пришлась как нельзя более кстати.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

Селланро уже не пустынное место, здесь живут семь человек, детей и взрослых. А за короткое время сенокоса появлялось немало и чужих, приходивших посмотреть косилку; из них первый, разумеется, Бреде, но пришел и Аксель Стрём, и соседи снизу, почти что от самого села. А с той стороны, из-за перевала, пришла Олина. Ничто ее не брало.

Олина и в этот раз явилась не без новостей, она никогда не приходила с пустыми руками: наконец-то старика Сиверта обревизовали, и после него не осталось никакого состояния! Как есть ничего!

Тут Олина поджала губы и поочередно обвела всех глазами: что такое, неужто никто в горнице не издал горестный вздох? Неужто потолок не обрушился?

Первым улыбнулся Элесеус.

— Как же так? Ведь тебя вроде бы назвали в честь дяди Сиверта? — вполголоса спрашивает он.

Сиверт-младший отвечает погромче:

— Да. Но все, что после него останется, я подарил тебе.

— Сколько там было?

— От пяти до десяти тысяч.

— Далеров? — восклицает Элесеус и задорно смотрит на Сиверта.

Олина, судя по всему, считает, что сейчас не время шутить, ее саму ведь обошли по всем статьям, но все же у гроба старика Сиверта она горевала изо всех своих слабых сил, обливаясь горючими слезами. Элесеус ведь отлично знал, что написал: столько-то и столько-то Олине — опора и поддержка в старости. Куда же девалась опора? Сломали, как палку коленом!

Бедняжка Олина, маленькое наследство ей совсем не помешало бы, оно бы стало единственным золотым лучиком в ее жизни! Судьба не баловала ее. Да, она поднапорела в злобе, она привыкла перебиваться со дня на день разными уловками и мелким плутовством, она сильна лишь своим умением распускать сплетни и вселять страх перед своим языком! Но уже ничто не сделает ее хуже, а наследство тем паче. Всю свою жизнь она тяжело трудилась, рожала детей, обучала их тем немногим премудростям, которые сама знала, клянчила для них, может, даже и крапа, но всегда заботилась о них — при всей своей бедности она была хорошей матерью. Ловкая и способная, не хуже иного политика, она работала не покладая рук ради себя и своих близких, жила, руководствуясь лишь сиюминутными интересами, и берегла свою шкуру, зарабатывая на этом — где головку сыра, где горсточку шерсти — и живя и ожидая смерти в постоянной готовности к бою. Олина... Может, старик Сиверт на какое-то мгновение вспомнил ее такой, какой она была когда-то — молодая, красивая, румяная, но теперь она стара и безобразна, сущий портрет разрушения, ей давно

пора было умереть. Где ее похоронят? У нее нет откупленного места на кладбище, скорее всего ее закопают рядом с останками чужих, незнакомых людей, там она и упокоится. Олина... Родилась и умерла. Когда-то была молода. Это ее-то наследство! Теперь, на краю могилы? Ну да, единственный золотой лучик, и руки батрачки передохнули бы хоть на минутку. Справедливость восторжествовала бы, настигнув ее своей запоздалой наградой — за то, что она клянчила для своих детей, может, даже и крала, но всегда заботилась о них. Мгновенье — и в душе ее снова воцарится тьма, искоса глядя вокруг и шаря пальцами, она спросит: «Сколько? А не больше?» И опять будет права. Много раз становилась она матерью, дав жизнь нескольким человеческим существам, это стоит большой награды.

Все лопнуло. Судя по проверке Элесеуса, в отчетных бумагах старика Сиверта не все было в порядке, но усадьба и корова, сарай и невода кое-как покрыли недостачу в кассе. И в том, что все обошлось более-менее благополучно, отчасти заслуга Олины, она была так заинтересована в том, чтобы ей хоть что-то отошло, что постаралась вспомнить о кое-каких позабытых статьях прихода и расхода, известных только ей, старой сплетнице, или же о таких, которые ревизия умышленно пропускала, не желая опорочить уважаемых односельчан. Пройдоха Олина! Она и теперь ругала почем зря не самого старика Сиверта, который, конечно же, завещал ей деньги от доброго сердца, и после него остался бы кругленький капиталец, если бы не двое молодчиков из общинного управления, объегоривших ее.

— Но когда-нибудь все это дойдет до ушей Всеведущего! — с угрозой сказала Олина.

Удивительно, она не видела ничего забавного в том, что ее упомянули в завещании, как ни говори, а ей оказали честь, в завещании не упоминался никто из ей подобных!

Обитатели Селланро приняли несчастье спокойно, отчасти они к тому же были к нему готовы. Ингер, правда, не переставала недоумевать.

— И это брат Сиверт? Который всю свою жизнь был таким богачом! — сказала она.

— Он и предстал бы правым и богатым пред Агнцем и Престолом, но его ограбили! — ответила Олина.

Исаак собрался в поле, и Олина сказала:

— Жалко, ты уходишь, Исаак, значит, я не увижу косилку. Ты ведь завел косилку, правда?

— Правда.

— Да, так и говорят. И будто косит она скорее сотни косцов. Чего ты только не заведешь, Исаак, с твоими-то средствами и золотом! Священник у нас тоже завел новый плуг о двух лемехах, но что против тебя наш священник! Так я и скажу ему прямо в глаза.

— Сиверт покажет тебе машину в работе, он управляется с ней гораздо лучше меня,— сказал Исаак и пошел.

Исаак ушел. В Брейдаблике назначен аукцион как раз в полдень, и ему надо туда попасть— пока он решил только это. Не то чтобы Исаак все еще думал купить хутор, но аукцион— первый в их местах, и обидно пропустить его.

Подойдя к Лунному и увидев Барбру, он только кланяется и хочет пройти мимо, но Барбру заговаривает с ним и спрашивает, не вниз ли он идет.

— Да,— отвечает он и хочет идти. Ведь продается усадьба, где она провела детство, оттого он и отвечает так кратко.

— Ты на аукцион? — спрашивает она.

— На аукцион? Нет, просто так иду. А где Аксель?

— Аксель-то? Не знаю, право. Пошел на аукцион. Наверное, и он хочет заполучить что-нибудь по дешевке.

Какая толстая стала Барбру и какая заноза — прямо ужас!

Аукцион уже начался, он слышит выкрики ленсмана и видит много народу. Подойдя ближе, он узнает не всех, есть здесь и чужие, но Бреде щеголяет при полном параде, он оживлен и болтлив.

— Здравствуй, Исаак! Гляди-ка, ты тоже оказал мне честь и уважение, пожаловал на мой аукцион? Спасибо тебе. Мы много лет были соседями и добрыми друзьями и никогда не слыхали друг от друга худого слова! — Бреде умиляется.— Чудно подумать, что приходится покидать насиженное место — столько лет жил здесь и душой прикипел,— но что поделаешь, коли так складывается.

— Может, оно и к лучшему обернется,— утешает его Исаак.

— Да, знаешь,— подхватывает Бреде,— я и сам так думаю. Я не жалею, ну вот ни капли. Выгоды я тут никакой не имел, но, наверно, все обернется к лучшему, дети растут и вылетают из гнезда... жена, правда, скоро принесет еще одного, ну да все равно!

И вдруг Бреде ни с того ни с сего говорит:

— Я отказался от телеграфа.

— Что-что? — спрашивает Исаак.

— Я отказался от телеграфа.

— Отказался от телеграфа?

— С Нового года. На что он мне! А если я поступлю на должность и буду разъезжать с ленсманом или доктором, неужто телеграфу идти у меня на первом месте? Нет, так нельзя! Это хорошо для тех, у кого много времени; а Бреде не станет бегать из-за какой-то телеграфной линии по горам и долам за пустячную плату, а то и вовсе задаром! Вдобавок я не поладил с управлением, опять оно пристаёт ко мне.

Ленсман продолжает выкликать цены на хутор, дошло уже до нескольких сот крон, каких и стоит, по общему мнению, участок, поэтому надбавки делают всего по пяти — десяти крон.

— Кажется, это Аксель набавил! — внезапно говорит Бреде и, загоревшись любопытством, бежит к нему. — Ты хочешь купить мой участок? Разве тебе своего мало?

— Я покупаю не для себя, — уклончиво отвечает Аксель.

— Ну-ну, мне-то ведь все равно, я не к тому спросил.

Ленсман поднимает молоток, новая надбавка, сто крон сразу, никто не предлагает больше, ленсман несколько раз повторяет цену, ждет с минуту, держит молоток на весу, потом ударяет.

— За кем цена?

— Аксель Стрём. Не для себя...

Ленсман заносит в протокол: «Аксель Стрём, по поручению».

— Для кого же ты покупаешь? — спрашивает Бреде. — Меня это не касается, а все-таки...

Но тут сидящие за столом ленсмана господа склоняют друг к другу головы, среди них представитель банка, торговец со своим приказчиком, что-то произошло, кредиторы не покрыли своих расходов. Призывают Бреде, и Бреде, легкомысленный и беспечный, только кивает, что согласен.

— Но кто бы поверил, что за усадьбу больше не дадут! — говорит он. И вдруг возвещает во всеуслышание: — Раз уж у нас тут аукцион и я все равно обеспокоил ленсмана, так заодно я продаю все, что у меня еще осталось: телегу, скотину, вилы, точильный камень, мне они больше не понадобятся, распродаюсь в пух и прах!

Мелкие предложения. Жена Бреде, такая же легкомысленная и беспечная, хотя и с огромным животом, тем

временем вздумала продавать за столиком кофе; ей нравится разыгрывать из себя торговку, она улыбается и, когда Бреде подходит к ней за чашкой кофе, шутки ради требует плату и с него. А Бреде и в самом деле вытаскивает из кармана засаленный кошелек и платит.

— Посмотрите-ка на мою супружницу,— обращается он к присутствующим.— Эта не пропадет!

Телега стоит недорого, она слишком долго стояла под открытым небом, но Аксель Стрём под конец набавляет целых пять крон, и телега тоже остается за ним. Больше Аксель ничего не покупает, но все и без того удивляются, как это такой осторожный человек столько всего накупил.

Теперь настала очередь скотины. Сегодня ее не выпускали на пастбище, и зачем Бреде скотина, раз у него нет земли! Коров Бреде не держал. Он начал свое хозяйство с двумя козами, сейчас их у него четыре. Да еще шесть овец. Лошади тоже нет.

Исаак купил хорошо всем известную лопухую овцу. Когда дети Бреде вывели эту овцу из хлева, Исаак сейчас же стал набавлять на нее цену. Это возбудило внимание, ведь Исаак из Селланро был человек богатый и уважаемый, да и овец ему как будто не требовалось. Жена Бреде приостановила на минуту свою кофейную торговлю и говорит:

— Да, эту овцу стоит купить, Исаак, она старая, но каждый Божий год приносит по два, а то и по три ягненка.

— Знаю,— ответил Исаак и посмотрел на нее,— овца эта мне знакома.

На обратном пути он идет с Акселем Стрёмом, ведя свою овцу на привязи. Аксель неразговорчив, его словно что-то грызет. «У него нет особых причин унывать,— думает, должно быть, Исаак,— зелены у него хорошие, корма он почти все сvez и начал ставить избу. Все у Акселя Стрёма идет своим чередом, не торопко, но верно. Теперь есть и лошадь».

— Ты купил участок Бреде,— сказал Исаак,— будешь его обрабатывать?

— Нет, не буду. Я купил не для себя.

— Угу.

— Как по-твоему, не очень дорого я дал?

— Нет. Там хорошее болото, если им как следует заняться и осушить.

— Я купил его для одного из своих братьев, который живет в Хельгеланне.

- Угу.
- А теперь вот думаю, не поменяться ли мне с ним.
- Поменяться с ним?
- Может, Барбру там будет повеселее.
- Разве что так,— сказал Исаак.

Довольно долго они идут молча. Потом Аксель говорит:

— Ко мне все пристают с телеграфом.

— С телеграфом? Ну-ну. Я и впрямь слышал, что Бреде от него отказался.

— Ну-ну,— с улыбкой отвечает Аксель,— не совсем так, не Бреде отказался, а ему отказали.

— Эва,— говорит Исаак и про себя оправдывает Бреде,— на телеграф много уходит времени.

— Его оставили только до Нового года, с тем чтоб он исправился.

— Угу.

— Как думаешь, не брать мне это место?

Исаак долго думал, потом ответил:

— Платят-то, поди, негусто, а?

— Обещали прибавить.

— Сколько?

— Вдвое.

— Вдвое? Ну, тогда, по-моему, стоит подумать.

— Но они его немножко удлиннили. Просто не знаю, как быть. У меня ведь меньше продажного леса, чем было у тебя, а нужно прикупить кое-что на обзаведенье, а то у меня почти ничего нет. Деньги и наличные требуются постоянно, а скота не так уж и много, чтоб хватало на продажу. Выходит, что для начала надо попытаться с годик на телеграфе...

Ни одному из них не пришло в голову, что Бреде может исправиться и место останется за ним.

Когда они добираются до Лунного, оказывается, что и Олина тоже там. Олина — она удивительная, круглая и жирная, ползает, словно червяк, и перевалило-то ей уже за семьдесят, но куда ей нужно, туда она всегда доберется. Она сидит в землянке и пьет кофе, но, завидя мужчин, бросает все и выходит на двор.

— Здравствуй, Аксель, добро пожаловать с аукциона! Ты ведь не сердись, что я заглянула к вам с Барбру? Все трудишься, избу строишь и богатеешь! Что это, ты купил овцу, Исаак?

— Да,— отвечает Исаак,— узнаешь ее?

— Узнаю ли? Нет...

— Видишь, она ведь лопоухая.

— Лопоухая—как это? Ну так что ж? Что это я хотела спросить. Так кому ж достался участок Бреде? Я как раз говорила Барбру: кто-то, говорю, будет теперь твоим соседом? А бедняжка Барбру только плачет, и не удивительно; но всемогущий Господь послал ей другой дом в Лунном! Лопоухая, говоришь? За свою жизнь я навидалась лопоухих овец. А уж правду сказать, Исаак, эта твоя машина не для моих старых глаз. Сколько она стóит, я даже и спрашивать не хочу, все равно не сосчитать. Если б ты ее видел, Аксель, ты бы понял, о чем я толкую, ведь это все равно что огненная колесница Ильи-пророка, прости Господи мои прегрешенья...

По окончании уборки сена Элесеус стал собираться обратно в город. Он написал инженеру, что едет, но получил примечательный ответ, что времена пошли трудные, приходится экономить, инженер вынужден упразднить его должность и быть сам своим секретарем.

Вот так черт! Но, собственно говоря, зачем окружному инженеру конторщик? Когда он брал мальчика Элесеуса из дому, он, должно быть, хотел разыграть из себя в этой глуши большую персону, и если кормил и одевал его до конфирмации, так и получал за это помощь по части писарских работ. Теперь мальчик вырос, это все изменило.

«Но,—писал инженер,—если ты приедешь, я постараюсь устроить тебя в другую контору, хотя, пожалуй, это будет и нелегко, здесь полно молодых людей, которые ищут работы. Будь здоров».

Разумеется, Элесеусу хотелось вернуться в город, какие могут быть сомнения? Неужто ему губить себя? Ведь он хотел выбиться в люди! И Элесеус ничего не сказал домашним об изменившемся положении, зачем, а кроме того, на него напала какая-то вялость, он и промолчал. Жизнь в Селланро оказывала на него свое действие, немудреная и серенькая, но спокойная и усыпляющая, она развивала мечтательность, не за кем было тянуться, незачем рисоваться. Жизнь в городе как бы расколола его надвое и сделала чувствительнее других и слабее, в сущности, он теперь всюду чувствовал себя чужим. Что ему опять начал нравиться запах пижмы—это еще куда ни шло! Но уж никакого смысла не было для крестьянского парня слушать по вечерам, как мать и девушки доят коров и коз, и впадать в такие вот мысли: они доят, слушай хорошенько, ведь это прямо удивительно, каждая

отдельная струйка, словно песенка, не похожая ни на духовую музыку в городе, ни на оркестр Армии Спасения, ни на пароходный свисток. Струится песенка в по-дойник...

В Селланро не очень-то привыкли показывать свои чувства, и Элесеус побаивался момента разлуки. Снаряжение у него теперь было хорошее, ему опять дали новой тканины на белье, и отец, выходя из дому во двор, даже передал ему немного денег. Деньги — неужели Исаак в самом деле способен расстаться с деньгами? А как же иначе, ведь Ингер заверила его, что это в последний раз, Элесеус вскорости наверняка пойдет в гору и выбьется на дорогу сам.

— Ну ладно,— сказал Исаак.

Настроение у всех сделалось торжественным, дом притих, на последний ужин всем дали по яйцу всмятку, и Сиверт уже стоял во дворе, готовый проводить брата и нести его вещи. Можно было начинать прощаться.

Элесеус начал с Леопольдины. Она ответила, сказав «прощай», и вела себя отлично. И работница Йенсина, чесавшая шерсть, ответила «прощай», но обе смотрели на него во все глаза, должно быть, потому, что веки у него были что-то красноваты. Он протянул руку матери, и она, разумеется, громко заплакала, пренебрегая тем, что он ненавидел слезы.

— Дай тебе Бог всего хорошего! — всхлипнула она.

С отцом вышло всего хуже, это уж точно, и по многим причинам: постаревший, бесконечно заботливый, он носил детей на руках, рассказывал о чайках и всяких других птицах и зверях, о разных чудесах на земле, и все это было совсем недавно, всего несколько лет назад... Отец стоит у окошка, потом вдруг круто поворачивается, хватает сына за руку и говорит быстро и сердито:

— Ну, прощай! А то вон, гляди, новая лошадь отвязалась! — и, отвернувшись, выбегает из комнаты.

Да ведь это он сам только перед тем отвязал новую лошадь, и проказник Сиверт это отлично понял, потому что посмотрел вслед отцу и улыбнулся. Да к тому же новая лошадь ходила по отаве.

Но вот Элесеус готов.

Мать вышла за ним на крыльцо, опять всхлипнула и сказала:

— Господь с тобой! — и передала ему что-то. — Вот, возьми и не благодари его, он не хочет. Да непременно пиши почаще.

Двести крон.

Элесеус посмотрел вниз на откос: отец изо всех сил старался вбить в землю прикол для привязи и что-то у него никак это не получалось, хотя вбивал он его в мягкий луг.

Братья вышли в поле, дошли до Лунного, Барбру стояла на крыльце и пригласила их зайти:

— Что это, ты уж уезжаешь, Элесеус? Ну, так заходи и выпей хоть чашку кофе!

Они заходят в землянку, и Элесеус уже не так сильно терзается любовью и не собирается выпрыгнуть из окна и принять яду, нет, он кладет свое светлое летнее пальто на колени, стараясь, чтоб шелковая подкладка была на виду, потом приглаживает волосы носовым платком и, наконец, говорит совсем уж по-благородному:

— Ну и погода стоит, прямо классическая!

Барбру тоже не остается в долгу, она играет серебряным кольцом на одной руке и золотым на другой — да, она таки получила золотое кольцо, — и на ней передник, длинный-длинный, до самого пола, от шеи и до ног, так что кажется, будто это не она такая толстая, а кто-то другой. А когда кофе сварился и гости стали пить, она сначала принялась шить белый платочек, потом немного повязала крючком воротничок и занялась еще каким-то дамским рукоделем. Барбру ничуть не взволнована визитом, вот и хорошо, голос у него совсем естественный. Элесеус может опять пофорсить.

— Куда ты девала Акселя? — спрашивает Сиверт.

— Где-нибудь ходит, — отвечает она и выпрямляется. — Ну, верно, ты уж никогда больше не приедешь в деревню? — спрашивает она Элесеуса.

— Это в высшей степени неправдоподобно, — отвечает он.

— Здесь не место для человека, привыкшего к городу. Хотела бы я уехать с тобой.

— Ты ведь не всерьез?

— Не всерьез? Я попробовала, каково жить в городе и каково жить в деревне, а жила я не в таком городе, как ты, — куда побольше. Как же мне здесь не скучать?

— Я не то хотел сказать, ты ведь жила в самом Бергене! — поспешно говорит Элесеус, очень уж она раздражена.

— Я-то знаю, не будь у меня газеты, я бы уж давно сбежала отсюда, — сказала она.

— А как же Аксель и все прочее? Вот что я имел в виду.

— Ну, насчет Акселя это не мое дело. Тебя-то самого, скажешь, никто не ждет в городе?

Тут уж Элесеусу в самый раз порисоваться немножко; он закрыл глаза и причмокнул, намекая, что, может, в городе его и впрямь кое-кто ждет. О, не будь здесь Сиверта, он использовал бы этот случай совсем по-другому, а теперь ничего не оставалось, как только ответить:

— Что ты болтаешь!

— Ах!—обиженно сказала она и продолжала противным сварливым голосом.— Болтаю,—сказала она.— Да, от нас, в Лунном, иного и ждать нечего, мы люди маленькие.

Элесеуса, впрочем, это ничуть не тронуло, она сильно подурнела лицом, и ее беременность стала наконец заметна даже и для его детских глаз.

— Поиграй нам немножко на гитаре,—попросил он.

— Нет,—отрезала она.—Что я тебе хотела сказать, Сиверт: не придешь ли ты на несколько дней помочь Акселю ставить новую избу? Может, прямо завтра, когда будешь возвращаться из села?

Сиверт подумал.

— Ладно. Только у меня нет одежды.

— Я сбегая нынче вечером за твоей рабочей одежей, так что к твоему приходу она здесь будет.

— Ну что ж,—сказал Сиверт,—разве что так.

Барбру необычайно оживилась:

— Вот хорошо бы! А то лето проходит, а избу надо бы покрыть до осенней непогоды. Аксель много раз собирался попросить тебя, да все случая не было. Нет, правда, хорошо бы ты сделал нам такое доброе дело!

— В чем смогу помочь — помогу,—сказал Сиверт.

На том и порешили.

Но тут, по совести, настала очередь Элесеуса обидеться. Он, конечно, понимает: Барбру молодец, что так заботится о себе и Акселе и старается найти помощника для стройки, но уж больно она идет напролом—ведь она здесь еще не хозяйка и не век же тому назад он сам целовал ее, эту самую Барбру. Совсем она бесстыжая, что ли?

— Да,—вдруг говорит он,—я еще приеду к тебе на крестины.

Она метнула на него быстрый взгляд—и с досадой ответила:

— На крестины? А еще говоришь, что я болтаю. Впрочем, когда мне понадобится крестный отец, я пошлю за тобой.

Что оставалось Элесеусу, как не улыбнуться смущенно; больше всего ему хотелось в этот момент поскорей обратиться из землянки!

— Спасибо за кофе! — сказал Сиверт.

— Да, спасибо за кофе! — повторил Элесеус, но не встал и не поклонился — как же, очень нужно, злючка она, дрянь!

— Покажи-ка! — сказала Барбру. — У тех конторщиков, у кого я жила, тоже были серебряные пластинки на пальто, только побольше, — сказала она. — Ну, так значит ты придешь нынче, Сиверт, и переночуешь у нас? Я принесу твою одежду.

На этом и распрощались.

Братья ушли. Элесеус, стало быть, о ней не сожалел, к тому же у него в кармане были две крупных купюры! Братья старались не затрагивать грустных тем, ни странного прощанья отца, ни слез матери; они обошли Брейдаблик стороной, чтоб их там не задержали, и весело пошутили над этим плутовством. Но когда впереди увиделось село и Сиверту надо было поворачивать назад, оба слегка приуныли. Сиверт даже сказал:

— А ведь, пожалуй, без тебя будет скучновато!

Элесеус принялся свистеть, и пристально рассматривать свои сапоги, и вытаскивать занозу из пальца, и искать что-то по карманам.

— Бумаги, — сказал он, — куда запропастились мои бумаги?

Но все равно ничего бы из этого не вышло, если б их обоих не выручил Сиверт.

— Счастливо! — крикнул он и, дав брату тумака, помчался прочь. Это помогло, они издали обменялись прощальными словами и зашагали каждый своей дорогой.

Судьба или случай. Элесеус возвращался в город на должность, которой у него уже не было, и тот же особый случай помог Акселю Стрёму заполучить помощника. Они начали ставить избу двадцать первого августа, а через десять дней она была уже и покрыта. Изба-то, правда, получилась небольшая и не больно высокая; только и радости, что деревянная, а не земляная, но вот для скотины на зиму выйдет великолепный хлев из того помещения, где до сих пор жили люди.

Третьего сентября Барбру исчезла. Совсем-то она не ушла, но ни дома, ни на дворе ее не было.

Аксель прилежно плотничал, стараясь приладить окно и дверь к новой избе, ему было ни до чего; но когда подошло время полудничать, а его никто не позвал к столу, он пошел в землянку. Никого. Он приготовил себе поесть, и пока ел, обратил внимание, что все платья Барбру висят на месте, стало быть, она просто куда-то вышла. Он вернулся к избе и еще некоторое время работал, потом опять заглянул в землянку—нет, никого. Должно быть, она где-нибудь прилегла отдохнуть. Он отправился на поиски.

— Барбру!—зовет он. Нету. Он ищет кругом построек, обходит кусты по краю участка, ищет долго, пожалуй, с час, зовет—никого. Он находит ее очень далеко, она лежит на земле, скрытая кустами, у ног ее бежит ручей, она простоволосая и босая, к тому же вся спина у нее мокрешенька.

— Чего ты здесь лежишь?—говорит он.—Отчего не откликнулась?

— Я не могла,—шепчет она, почти неслышно от хрипоты.

— Что это—ты упала в воду?

— Да. Я поскользнулась. О-ох!

— Тебе нехорошо?

— Да. Все уж позади.

— Позади?—спрашивает он.

— Да. Помоги мне добраться домой.

— А где же?..

— Что?

— А ребенка разве нет?

— Нет. Он был мертвый.

— Мертвый?

— Да.

Аксель медлителен и туго соображает, он стоит, не двигаясь.

— Где он?

— Тебе незачем знать,—отвечает она.—Проводи меня домой. Он был мертвый. Я дойду сама, если ты поддержишь меня под руку.

Аксель несет ее домой и сажает на стул. Вода струится с нее.

— Он был мертвый?—спрашивает Аксель.

— Ты же слышал,— отвечает она.

— Куда ты его девала?

— Тебе обязательно надо его понюхать? Ты нашел чего поесть, пока меня не было?

— А зачем ты пошла к ручью?

— Зачем я пошла к ручью? Искала можжевельника.

— Можжевельника?

— Для посуды.

— Там нет можжевельника,— говорит он.

— Ступай работать! — сипло и раздраженно обрывает она.— Зачем я пошла к ручью? Ветки мне нужны были, чистить кастрюли. Я тебя спрашиваю, ты поел?

— Поел? — повторяет он.— Тебе очень плохо?

— Нет.

— По-моему, надо позвать доктора.

— Попробуй только! — отвечает она, встает и начинает искать сухое платье, чтобы переодеться.— Тебе больше не на что швырять деньги?

Аксель возвращается к работе, дело подвигается медленно, но он все-таки понемножку поколачивает и постругивает, чтоб она слышала; в конце концов он прилагивает раму, проконопатив ее мхом.

Вечером Барбру не садится ужинать, а хлопчет по хозяйству, доит коз и корову и только осторожнее обычного переступает через порог. Легла она, как всегда, на сеновале, и в те два раза, что Аксель ночью заходил ее проведать, спала крепко. Ночь она провела спокойно.

На следующее утро она была почти такая же, как всегда, только охрипла до того, что не могла произнести ни слова, и обвязала шею длинным чулком. Они не разговаривали. Дни проходили, происшествие стало забываться, другие события выдвинулись на передний план. Новой избе, собственно, полагалось выстояться и просохнуть, да только прежде ее следовало проконопатить, чтоб не дуло и не протекало, но времени на это взять негде, надо сейчас же перебираться в нее и хлев привести в порядок. Когда с этим покончили и переселение состоялось, подоспела картошка, а там и за ячмень пора братья. Жизнь шла своим чередом.

Но по многим мелким и крупным признакам Аксель понимал, что положение изменилось, Барбру чувствовала себя в Лунном такой же чужой, как и всякая другая работница, ничем с ним не связанная, его власть над ней порвалась со смертью ребенка. Он-то так надеялся, что с рождением ребенка все изменится! Но ребенок родился

и умер. В какой-то из дней Барбру даже сняла кольца с руки и вовсе перестала их носить.

— Что это значит?— спросил он.

— Что значит?— ответила она и тряхнула головой.

Но ничего хорошего это не могло означать, разве что коварство и измену с ее стороны.

Он все же отыскал маленький трупик у ручья. Не потому, что очень уж усердно искал, он и так чуть не в точности знал, где это место, но не трогал его. Случаю было угодно, чтоб он не совсем уж напрочь выбросил его из головы, и вот на том месте стали собираться птицы, шумели сороки, каркали вороны, а немного погодя в головокружительной вышине появилась и пара орлов. Как будто сначала одна сорока увидела, как внизу что-то положили, и не хуже человека подняла крик, не в силах удержать про себя этой новости. Тогда и Аксель очнулся от своего равнодушия и только ждал удобного часа, чтоб прокрасться туда. Он нашел тельце, заваленное мхом и ветками, прижатыми двумя камнями: узел, завернутый в большую тряпку. С любопытством и страхом отогнул он материю; глаза закрыты, темные волосы, мальчик, ножки накрест— вот и все, что он увидел. Узел был мокрый, но уже начал просыхать, и видом походил на скомканное после стирки белье.

Аксель не мог оставить его вот так, сверху. В глубине души он, должно быть, побаивался за себя и за свою землю; он побежал домой за лопатой и выкопал ямку поглубже, но так как ручей был совсем рядом, в ямку просачивалась вода, пришлось перенести могилку повыше на пригорок. Во время работы страх, что Барбру придет и застанет его, исчез, наоборот, он не на шутку разозлился: пусть приходит, он заставит ее хорошенько завернуть и запеленать ребеночка, все равно, мертворожденный он или нет! Он отлично понимал, что потерял со смертью этого ребенка: ему грозит снова остаться на хуторе без помощницы, и это теперь-то, когда скотины прибавилось больше чем втрое. Сделайте одолжение, очень даже хорошо, если она придет! Но Барбру, наверно, догадалась, чем он занят, во всяком случае, она не появилась, и ему пришлось самому завернуть тельце и положить его в новую могилку. Сверху он заложил ямку дерном и тщательно убрал все следы, так что ничего не было заметно, кроме маленькой зеленой кочки среди кустов.

Вернувшись домой, он встретил на дворе Барбру.

— Где ты был?—спросила она.

Ожесточение его, видно, уже прошло, он ответил только:

— Нигде. А ты сама где была?

Но Барбру, похоже, уловила какое-то особенное выражение на его лице и, не сказав больше ни слова, скрылась в доме.

Он пошел за нею.

— Отчего это...—начал он и спросил напрямик:— Отчего ты перестала носить свои кольца? Что это значит?

Вероятно, она сочла за благо пойти на маленькую уступку, потому что улыбнулась и ответила:

— Ты такой сердитый, что прямо смешно! Но если тебе хочется, чтобы я снашивала кольца по будням, изволь!— С этими словами она достала кольца и надела на пальцы.

Но при виде глупого довольного выражения на его лице, она дерзко спросила:

— Ты еще чем-нибудь недоволен?

— Ничем я не недоволен,—ответил он.—Будь только такая, какой была раньше, все то время, как пришла. Только это я и хотел сказать.

— Не так-то легко постоянно быть одной и той же.

Он продолжал:

— Когда я покупал участок твоего отца, я думал, ты захочешь жить там: мы могли бы туда переехать. Что ты скажешь?

Ха, тут он проиграл; так и есть—боится потерять помощницу и остаться один на один со скотиной и хозяйством, она отлично это поняла.

— Да, ты уже говорил об этом,—холодно ответила она.

— Но не получил ответа.

— Ответа?—сказала она.—Слушать больше об этом не желаю!

Акселю казалось, что он и так сделал куда как много: разрешил семье Бреде жить в Брейдаблике и, хотя купил вместе с участком и весь урожай, свез к себе лишь несколько возов сена, а картошку и вовсе всю оставил семье. И хватает же у Барбру совести сердиться! Но ей все нипочем, точно глубоко оскорбленная, она спросила:

— Нам переехать в Брейдаблик, чтобы вся моя семья очутилась на улице?

Не ослышался ли он? Он сидел, открыв рот, потом пробормотал что-то, словно готовясь к пространному ответу, но так ничего и не сказал.

— Разве они не переедут в село? — спросил он.

— Не знаю, — ответила она. — Может, ты им квартиру в селе нанял?

Акселю покуда не хотелось с ней препираться, но не мог он и смолчать, вот и сказал, что она удивляет его, немножко удивляет:

— Ты становишься все злее и сварливее, но ты ведь не всерьез говоришь.

— Что я говорю, я говорю всерьез, — ответила она. — И почему это мои родные не могли переехать сюда, скажи пожалуйста? По крайней мере, мать помогала бы мне хоть сколько-нибудь. Но, по-твоему, у меня вовсе не так уж и много работы, чтоб мне нужна была помощница.

В этом, разумеется, была доля правды, но много было и несообразности; ведь семье Бреде пришлось бы жить в землянке, и куда бы тогда Аксель девал скотину? Куда она клонит, неужто совсем ума-разума лишилась?

— Вот что я скажу тебе, — промолвил он, — возьми лучше в помощь работницу.

— Это на зиму-то глядя, когда и без того дел меньше? Нет. Работницу надо было брать, когда в ней была нужда!

Опять она была отчасти права: когда она была беременна и больна, нужно было взять работницу. Но ведь Барбру никогда не мешкала на работе, все время оставалась такой же работающей и проворной, делала все, что нужно, и ни разу не обмолвилась насчет работницы. Но ей нужна была помощь.

— Ничего я не понимаю, — уныло сказал он.

Молчание.

Барбру спросила:

— Я слышала, ты поступишь на телеграф после отца?

— Как? Кто тебе сказал?

— Говорят.

— Да, — сказал Аксель, — может, и поступлю.

— Вот как.

— Почему ты спрашиваешь?

— Потому, — ответила Барбру, — что ты отнял у моего отца дом, а теперь отнимаешь и хлеб.

Молчание.

Но тут уж Аксель не захотел больше уступать.

— Одно я тебе скажу, — воскликнул он, — не стоишь ты всего того, что я делаю для тебя и для твоих родных!

— Ну-ну, — сказала Барбру.

— Да, не стоишь! — крикнул он и хватил кулаком по столу. Потом встал.

— Не воображай, пожалуйста, что тебе удастся запугать меня! — завизжала она и подвинулась ближе к стене.

— Тебя запугаешь! — Он презрительно засопел. — Ну, а теперь я всерьез хочу знать, что ты сделала с ребенком. Ты его утопила?

— Утопила?

— Да. Он был весь мокрый.

— А, так ты его видел? — вскричала она. — Ты ходил... — Она чуть не сказала «понохотать», но не посмела, не такой у него был вид, чтоб с ним можно было сейчас шутить. — Ты ходил смотреть?

— Я видел, что он побывал в воде.

— Да, — сказала она, — как же тебе не видеть. Он родился в воде, я не могла встать, я поскользнулась.

— Поскользнулась, значит.

— Да. И в ту же минуту ребенок родился.

— Так, — сказал он. — Но ты захватила из дому узел. Должно быть, на случай, что поскользнешься?

— Узел? — повторила она.

— Большую белую тряпку, ты разрешила одну из моих рубах.

— Да, — сказала Барбру, — тряпку я с собой взяла, чтоб завязать в нее можжевелник.

— Можжевелник?

— Ну да, можжевелник. Разве я тебе не говорила, что пошла за можжевелником?

— Как же. За вениками.

— Ну да, какая разница...

Но даже и после такой крупной стычки отношения между ними опять наладились, то есть не совсем наладились, а стали сносными, Барбру вела себя разумнее и покладистее, она чуяла опасность. Но жизнь при этом стала в Лунном еще более натянутой и мучительной, ни доверия, ни радости, постоянная настороженность. Жизнь тянулась день за днем, но пока она еще в общем кое-как тянулась, Аксель был доволен. Он взял к себе эту девушку, она была ему нужна, он любил ее и связал с нею свою жизнь, а переделать и себя и жизнь дело нелегкое. Барбру знала все, что касалось его хозяйства: где стоят чашки и котлы, когда понесут козы и коровы, много ли запасено кормов на зиму или в обрез, вот это молоко на сыр, а это — на еду; разве справиться со всем этим чужому человеку, да чужого, пожалуй, еще и не сыскать.

И все же Аксель Стрём не раз подумывал заменить Барбру другой работницей, временами она становилась настоящей ведьмой, и он почти боялся ее. Даже в ту пору, когда он имел несчастье быть с ней счастливым, его зачастую отпугивала ее необычайная жестокость и грубость, но она была красива, случались у нее и ласковые минуты, и тогда она горячо прижимала его к своей груди. Так было раньше, теперь все прошло. Нет, спасибо, она не желает снова попасть в такую же историю! Но переделать себя и жизнь нелегко, ох как нелегко.

— Давай повенчаемся прямо сейчас! — настаивал Аксель.

— Сейчас? — отвечала она. — Нет, сначала я съезжу в город полечить зубы, а то скоро все вывалится.

Итак, хочешь не хочешь, все оставалось по-старому; Барбру теперь даже не получала жалованья, но имела гораздо больше прежнего, и каждый раз, когда просила денег и он давал их, она рассыпалась в благодарности, словно за подарок. Впрочем, Акселю не понятно было, на что она может тратить деньги, да и зачем ей деньги в глуши? Копит она их, что ли? Но почему, почему она только и делает, что копит их круглый год?

Акселю не понятно было многое: разве не подарил он ей обручальное кольцо, а вдобавок еще и золотое? После этого последнего крупного подарка между ними и правда надолго установились хорошие отношения, но на веки вечные его не хватило, — куда там! — не покупать же ему постоянно для нее кольца. Словом, нужен он Барбру или нет? Чудные они, эти бабы! Можно подумать, что ее где-то дожидается готовенький муж со скотиной и полным обзаведеньем! С досады на бабьи глупости и капризы Аксель иной раз мог и кулаком по столу стукнуть.

Странное дело, Барбру, похоже, только и думала, что о городской жизни да о Бергене. Ладно. Но зачем же, скажите на милость, было ей приезжать сюда, на север? Телеграмма от отца сама по себе ни за что не сдвинула бы ее с места, наверняка у нее была какая-то другая причина. А теперь вот ходит недовольная с утра до вечера, год за годом. И все ей не так, и котлы-то деревянные, а не жестяные или медные, и горшки-то вместо кастрюль, и вечная дойка вместо прогулок на молочную ферму, и мужичьи сапоги, и серое мыло, и мешок с сеном в изголовье, и ни духового оркестра, ни людей. Разве это жизнь...

После той крупной стычки они ссорились часто, очень часто.

— Долго молчали, да звонко заговорили! — кричала Барбру. — Забыл уже, как обошелся с моим отцом!

Аксель спросил:

— А что я такое сделал?

— Сам знаешь, — отвечала она. — Впрочем, тебе все равно не быть зрителем.

— Да ну?

— Не поверю, пока не увижу.

— По-твоему, у меня на это ума не хватит?

— Ума-то, может, и хватит, но ведь ты ни читать, ни писать не умеешь, да и газеты в руки никогда не возьмешь.

— Я умею читать и писать для своих надобностей, — сказал он, — а ты просто халда!

— Вот тебе для начала! — крикнула она и швырнула на стол серебряное кольцо.

— Так-так, а другое? — спросил он, выждав с минуту.

— Ну что ж, если ты решил отобрать у меня свои кольца, можешь получить, — сказала она и стала стаскивать с пальца золотое кольцо.

— Не желаю с тобой разговаривать, злюка ты этакая! — заявил он и ушел.

Разумеется, немного времени спустя она опять надела оба кольца.

Дошло до того, что ее уже не утихомиривали даже его подозрения относительно смерти ребенка. Наоборот, она выказывала все больше презрения и высокомерия. Она не то чтобы прямо сознавалась, а говорила:

— Ну и что? Если б я даже и задушила его? Ты живешь здесь, в глуши, и знать не знаешь, что творится в других местах.

Однажды, когда они опять обсуждали этот вопрос, она, видно, решила заставить его перестать относиться к этому чересчур серьезно, что до нее, так она придает детоубийству не больше значения, чем оно того заслуживает. Она знала в Бергене двух девушек, которые убили своих детей; одна угодила на несколько месяцев в тюрьму, потому что по глупости не убила ребенка, а оставила на улице, где он и замерз, другую же оправдали.

— Да, закон теперь вовсе не так бесчеловечно строг, как раньше, — сказала Барбру. — Вдобавок это и не всегда выплывает наружу. Одна девушка, она служила в бергенской гостинице, убила двоих детей, она была из Христиании, ходила в шляпке, да еще с перьями. За послед-

него ребенка ее посадили на три месяца, а про первого так ничего и не открылось,— рассказывала Барбру.

Аксель слушал и все больше и больше боялся ее. Он пытался понять, хоть немножко разобраться в этой тьме, но, в сущности, она была права: он принимает все чересчур серьезно. Не заслуживает она серьезной мысли с эдакой своей житейской испорченностью. Ведь детоубийство для нее не было ни заранее обдуманном деянием, ни чем-то из ряда вон выходящим, то было всего лишь проявление моральной нечистоплотности и распущенности, да и чего иного можно ожидать от прислуги? Это и подтвердилось в последующие дни: ни минуты раздумий, ровная и естественная, как прежде, она, как и прежде, погрязла в пустопорожной болтовне: прислуга она и есть прислуга.

— Надо бы мне съездить полечить зубы,— сказала она как-то.— И мне непременно нужно купить сак,— сказала она.

Сак, короткое пальто чуть пониже талии, был в моде несколько лет назад; Барбру желала иметь сак.

Если уж она принимала все с таким хладнокровием, что другого оставалось Акселю, как тоже не успокоиться? Впрочем, бывало, он переставал подозревать ее, да и сама она никогда ни в чем не сознавалась, напротив, каждый раз отрицала всякую вину, без гнева, без упрямства, но с дьявольским самообладанием— так прислуга, разбив на глазах у всех тарелку, напрочь отрицает это. Прошла неделя-другая, и Аксель все-таки не выдержал. Однажды он внезапно остановился посреди комнаты, и его точно осенило: Господи Боже, да ведь все видели ее положение, видели, что она беременна, вот-вот родит, а теперь она опять похудела— и где же ребенок? А если его станут искать? Когда-нибудь спросят же объяснение! Ведь если ничего худого не было, куда как правильнее было бы похоронить ребенка на кладбище. И не лежал бы он в кустах, не лежал бы в Лунном...

— Нет. Тогда бы я уж точно попала в переплет,— сказала Барбру.— Ребенка бы отрыли, а мне бы учинили допрос. Ни к чему мне все это.

— Только бы потом не вышло хуже,— сказал он.

Барбру благодушно спросила:

— И чего тебе неймется? Пусть себе лежит в кустах!— Улыбнулась и прибавила:— Уж не боишься ли ты, что он придет за тобой? Лучше помалкивай обо всем этом.

— Ну что ты!

— Не утопила же я ребенка? Да он сам захлебнулся в воде, когда я упала. Просто удивительно, чего только ты не выдумаешь! И не узнается это никогда,— сказала она.

— Насчет Ингер из Селланро, говорят, узналось же,— возразил Аксель.

Барбру подумала.

— Мне все равно!— сказала она.— Закон нынче изменился, если бы ты читал газеты, то сам бы увидел. Вон сколько женщин родят детей и избавляются от них, и ничего-то им за это не бывает.

Барбру без обиняков объясняет ему все, обнаруживая при этом большую широту взглядов, недаром она побывала в свете, много видала и слыхала, многому научилась, она знает куда как больше, чем он. У нее было три главных аргумента, которые она постоянно приводила. Во-первых, она этого не делала. Во-вторых, если бы и сделала, все не так страшно. А в-третьих, ничего никогда не узнается.

— Сдается мне, все всегда узнается,— возразил он.

— Хм... нет, вовсе не все!— отвечала она. И для того ли, чтоб ошеломить его, или подбодрить, или же просто из тщеславия и хвастовства,— бросила в него словно разорвавшейся бомбой:— Да я сама сделала кое-что, и никогда про это не узналось.

— Ты?— недоверчиво протянул он.— Что же ты сделала?

— Что сделала? Убила!

Скорее всего, она не рассчитывала зайти так далеко, но теперь ничего не оставалось, как идти дальше, ведь он сидел, вытаращив на нее глаза. На этот раз это была даже не огромная, непобедимая наглость, то было просто бахвальство, бравада, ей нужно было поразить его, оставить слово за собой.

— Не веришь?— воскликнула она.— А помнишь детский трупик, который нашли в заливе? Это я его туда бросила!

— Что?— проговорил он.

— Да. Ничего-то ты не помнишь. Мы еще читали про это в газете.

Помолчав, он вскричал:

— Ты просто сумасшедшая!

Но его растерянность, должно быть, только раззадорила ее, придала какую-то странную силу, позволившую ей пуститься в описание подробностей:

— Я положила его в сундучок — он был мертвый, я убила его сразу, как только он родился. И когда мы выехали в залив, я его и выбросила.

Он сидел мрачный и безмолвный, а она продолжала: это было давно, несколько лет назад, когда она приехала в Лунное. Так что видишь, не все узнается, далеко не все. Как он думает: что было бы, если б узнавалось все, что делают люди? А что творят замужние женщины в городах? Они убивают своих детей еще до того, как те родятся, на то есть специальные доктора. Городские не хотят иметь больше одного, в крайности двоих детей, и тогда доктор просто чуточку открывает им матку. Что-что, а тут уж Аксель может ей поверить, там это не бог весть какая штука.

Аксель спросил:

— Так, значит, и этого, последнего ребенка ты тоже прикончила?

— Нет! — ответила она с величайшим равнодушием. — Да и зачем бы мне это, — сказала она. Но еще раз повторила, что, случись такое, ничего бы страшного не произошло; казалось, мысленно она привыкла к этому вопросу, потому и стала так равнодушна. В первый раз ей, может, и было жутковато и страшно убивать ребенка — а во второй? Она рассматривала самое деяние с какой-то исторической точки зрения: это произошло и это происходит.

Аксель вышел из избы с тяжелой головой. Мысли его были заняты не столько тем, что Барбру убила своего первого ребенка — это его не касалось. И что она вообще имела того ребенка, тоже не его дело, невинность — не про нее сказано, да она никогда и не притворялась, наоборот, не скрывала своей осведомленности и даже научила его некоторым нечистым забавам. Ладно. Но последнего ребенка он отнюдь не желал терять, маленький мальчик, беленькое тельце, завернутое в тряпку. Если она виновата в смерти этого ребенка, значит, она причинила зло ему, Акселю, разорвала связь, имевшую для него большую цену, притом такую, какую ему уже никогда не создать. Но, может, он обвиняет ее понапрасну, может, она и впрямь упала в ручей и не успела подняться. Но ведь узел-то был при ней, и оторванный кусок рубашки, который она взяла с собой...

Но часы шли, наступил полдень, потом вечер. Аксель улегся в постель, долго лежал без сна, глядя в темноту, наконец заснул и проспал до утра. А там настал новый день, а после него пошли другие.

Барбру была все такая же. Она знала многое о том, что делается на свете, и равнодушно относилась к мелочам, внушавшим деревенским ощущение опасности и страха. С одной стороны, это утешало,—она была проворна за обоих, беспечна за обоих. Да и не было в ней вовсе ничего опасного. Барбру—чудовище? Ничуть не бывало. Красивая девушка, голубоглазая, чуточку курноса, золотые руки! Ей скучно тут, ей ужас как надоели и хутор, и деревянные кадушки, которые сколько ни мой, не отмоешь, надоел, может быть, и сам Аксель, и проклятое затворническое житье, но она не убивала ни одно живое существо и по ночам не стояла над Акселем с занесенным ножом.

Только один раз заговорили они снова о детском трупики в лесу. Аксель опять сказал, что лучше было бы захоронить его на кладбище и засыпать землей, но Барбру, как и прежде, твердила свое: она поступила куда как разумнее. А потом добавила кое-что, из чего он понял, что и она не переставала думать об этом со всей изворотливостью, на какую была способна, напрягая, сидя за вязанием, свой крошечный, жалкий первобытный умишко:

— А если и узнается, я поговорю с ленсманом, я у него служила, госпожа Хейердал мне поможет. Не у всех есть такая заручка, а их и то оправдывают. Да и отец в ладу со всеми властями, и с приставом, и с остальными.

Аксель только головой покачал.

— Не веришь?

— Что, по-твоему, может сделать твой отец?

— Не твоего ума дело!—сердито крикнула она.— Думаешь, погубил его, раз отнял дом и кусок хлеба!

Наверняка она догадывалась, что репутация отца несколько пошатнулась за последнее время и что это может повредить ей самой. Что мог ответить на это Аксель? Молчать. Он был человек миролюбивый и работающий.

III

К началу зимы Аксель Стрём опять остался в Лунном один, Барбру уехала. Да, все было кончено.

Она сказала, что едет в город ненадолго, ведь это не Берген, но и здесь она сидеть не намерена, теряя зубы один за другим, пока они не вывалятся все до единого.

— Сколько же это будет стоить?—спросил Аксель.

— Почему я знаю! — ответила она. — Во всяком случае, тебе это ничего не будет стоить, деньги я сама заработаю.

Она объяснила, почему всего лучше предпринять эту поездку именно теперь: сейчас доятся только две коровы, к весне понесут две другие, да и все козы будут с козлятами, потом начнутся полевые работы, с весны по июнь дел будет по горло.

— Поступай как хочешь, — сказал Аксель.

Ему это ничего не будет стоить, ровным счетом ничего. Но ей все-таки нужно немного денег, самые пустяки — на дорогу и на зубного врача, да еще на сак и разные мелочи, но, если он против, она обойдется и без них.

— Ты и так уже забрала много денег, — сказал он.

— Ну и что, — ответила она. — Они все разошлись.

— Разве ты ничего не скопила?

— Скопила? Можешь поискать в моем сундучке. Я ничего не скопила и в Бергене, а там мне платили гораздо больше.

— У меня нет для тебя денег, — сказал он.

Он не очень-то верил, что она вернется из этой поездки, к тому же она так долго мучила его своими бесконечными капризами, что в конце концов он стал к ней охладевать. На этот раз приличной суммы ей выманить не удалось, но он посмотрел сквозь пальцы на то, что она забрала с собой огромное количество провизии, и отвез ее вместе с ее сундуком к пароходу.

Вот и наступила развязка.

Оно бы ничего — остаться одному на хуторе, он к этому привык, но очень уж связывала скотина, и когда ему приходилось отлучаться из дому, она оставалась без ухода. Торговец посоветовал ему нанять на зиму Олину, она когда-то несколько лет прожила в Селланро, правда, она уже старая, но по-прежнему все такая же бодрая и работающая. Аксель послал за Олиной, но она не пришла и никакой весточки не прислала.

А пока Аксель заготавливает дрова, обмолачивает свой небольшой урожай ячменя и ходит за скотиной. Кругом одиноко и тихо. Изредка мимо проезжал по пути в село или из села Сиверт из Селланро. Туда он возил дрова, кожи или молочные продукты, оттуда же возвращался почти всегда порожняком, хуторянам из Селланро не было нужды навещать в лавку.

Изредка мимо Лунного проходил Бреде Ольсен, в последнее время чаще прежнего, — что это так зачистил?

Видать, старался показать свою незаменимость на телеграфной линии и таким образом сохранить место за собою. Со времени отъезда Барбру он ни разу не зашел к Акселью, а проходил мимо, и эта его заносчивость не очень-то была уместна, ведь он все еще жил в Брейдаблике, все еще не выселился оттуда. Однажды, когда он намеревался как всегда пройти мимо, даже не поздоровавшись, Аксель остановил его и спросил, когда он собирается съехать с хутора.

— Ты как расстался с Барбру? — спросил вместо ответа Бреде. И пошло, слово за слово: — Ты отправил ее без гроша в кармане, она едва-едва добралась до Бергена.

— Выходит, она в Бергене?

— Да, пишет, что наконец-то попала туда, но не тебя ей благодарить за это.

— Вот возьму и сейчас же выселю тебя из Брейдаблика, — сказал Аксель.

— Сделай одолжение! — насмешливо ответил Бреде. — После Нового года мы и сами выселимся, — сказал он и пошел своей дорогой.

Значит, Барбру уехала в Берген, значит, так оно и вышло, как Аксель думал. Он не горевал. Горевать? Чего ради? Ведьма она и есть ведьма, и все же он еще не терял надежды, что она вернется. Черт его поймет! Должно быть, он очень уж привязался к этой женщине, к бездушной хищнице. Но ведь были же у них и хорошие минуты, незабываемые минуты, и только для того, чтобы она не сбежала в Берген, он и поспешил на деньги при прощанье. А она, выходит, все равно удрала. Правда, вон висят кое-какие ее платяшки, да на полке лежит завернутая в бумагу соломенная шляпка с птичьим перышком, но она за ними не вернется. Может, он и горевал немножко. Слово в насмешку, к нему по-прежнему приходила ее газета, и, наверное, будет приходиться до Нового года.

Но как бы то ни было, Акселью хватает, о чем другом думать, — надо быть мужчиной.

К весне он собирался сделать пристройку к северной стене новой избы: за зиму надо наготовить бревен и напилить досок. У Акселя не было строевого леса, но в разных местах участка росли поодиночке толстые сосны, и он решил срубить те, что стояли ближе к дороге в Селланро, чтоб сократить провоз до лесопилки.

Однажды утром он особенно сытно накормил скотину, чтоб она выстояла до вечера, запер за собой двери и ушел в лес; кроме топора и котомки с едой, он взял

лопату, чтоб отгрести снег. Погода мягкая, вчера была сильная вьюга, но сегодня тихо. Он идет вдоль телеграфной линии, пока не доходит до места, стаскивает куртку и принимается рубить. Срубив дерево, очищает его от сучьев, превращает в бревно, а верхушку и ветки складывает в кучу.

Мимо него в гору поднимается Бреде Ольсен, значит, на линии после вчерашней бури не все в порядке. А может, Бреде пошел и без всякого дела. Больно усерден стал к службе, ха-ха, вот до чего исправился! Мужчины не сказали друг другу ни слова и не поздоровались.

Аксель замечает, что погода меняется, ветер крепчает, но продолжает работать. Время давно уже за полдень, а он еще не ел. Он срубает большую сосну, падая, она задевает его и придавливает к земле. Как это произошло? Не иначе, беда подкарауливала его. Стоит сосна и качается на корню, человек хочет повалить ее в одну сторону, а ветер — в другую, и человек оказывается слабее. Оно бы, может, и обошлось, да земля под снегом неровная, Аксель оступился, шагнул вбок, угодил ногой в расщелину и застрял в ней, придавленный сошной.

И-да! Оно бы и сейчас еще обошлось, но упал он на редкость неудачно — руки-ноги, правда, вроде целы, а вот выбраться из-под огромной тяжести никак не удавалось. Через некоторое время он с трудом высвободил одну руку, на другой он лежит, до топора не дотянуться. Он оглядывается по сторонам и обдумывает положение, как, должно быть, и всякое другое животное, попавшее в капкан, оглядывается по сторонам, пытается выбраться из-под дерева. «Наверно, немного погода Бреде пройдет обратно», — думает он, делая передышку.

Поначалу он относится к своему приключению довольно легко и только досадует, что оно ему помешало в работе, за свое здоровье, а тем более за жизнь он ничуть не опасается. Правда, он чувствует, что рука, на которой он лежит, затекла, а застрявшая в расщелине нога стынет и тоже немеет, но это не страшно. Бреде, наверное, скоро придет.

А Бреде нет как нет.

Буря все крепчает, снег сыпет Акселю прямо в лицо. «Смотри-ка, по-настоящему пошло!» — думает он все еще беспечно и будто сам себе подмигивает сквозь пургу: вот, мол, теперь надо смотреть в оба, теперь-то только все и начинается! Немного погода он издает крик. В бурю

слышно недалеко, но крик несется по линии, к Бреде. Аксель лежит и предается бесполезным думам: если б дотянуться до топора, он бы, пожалуй, и высвободился! Хотя бы выпростать руку, она лежит на чем-то остром, на камне, и камень тихонько и вежливо въедается в плоть. Хоть бы убрался этот чертов камень, но никто еще не слышал, чтоб от камня можно было дожидаться любезности.

Время идет, снежная метель разыгралась вовсю, Аксель совсем заносит, он совершенно беспомощен, снег невинно и бездумно ложится на его лицо, сначала тает, потом лицо стынет, и снег таять перестает. Вот теперь-то только все и начинается!

Он дважды громко кричит и прислушивается.

Вот замело и топор, ему видно только часть топорща. Неподалеку висит на дереве его сумка с едой, если б ее достать, он бы съел кусочек, этаким изрядный ломтище! И уж коли он так смел в своих требованиях, то хорошо бы заодно раздобыть и куртку, становится холодно. Он опять громко кричит.

А вон и Бреде. Остановился, смотрит на кричащего человека, стоит какую-то секунду, шаря глазами, словно выискивая, что там происходит.

— Подойди, дай мне топор! — жалобно кричит Аксель.

Бреде отводит глаза, он уже понял, что произошло, но смотрит куда-то вверх, на телеграфный провод, похоже, собирается засвистеть. Спятил он, что ли!

— Подойди, дай мне топор! — повторяет Аксель громче. — Меня деревом придавило!

Бреде исправился и стал очень усерден к службе, он смотрит только на провода и вот-вот начнет свистеть. И обратите внимание, свистеть он будет, пожалуй, весело и мстительно.

— Ты что, хочешь моей смерти, даже топора не подашь?! — кричит Аксель.

Похоже, Бреде обязательно понадобилось спуститься по линии немножко дальше, осмотреть провода и там. Он исчезает в метели.

Н-да. Но уж теперь-то Акселю надо во что бы то ни стало высвободиться и дотянуться до топора! Он напрягает живот и грудь, чтоб приподнять придавившее его огромной тяжестью дерево, толкает его, но добывается только, что его еще больше засыпает снегом. После нескольких тщетных попыток он затихает.

Начинает смеркаться. Бреде ушел, но далеко ли? Не очень далеко. Аксель опять кричит, выкрикивает одним духом:

— Что ж, ты так и оставишь меня валяться тут, убийца? Неужто тебе не дороги твоя душа и вечное блаженство? Ты ведь знаешь, что получишь корову, если поможешь мне, но ты пес, Бреде, ты хочешь погубить меня. Но уж я донесу на тебя, и это так же истинно, как я сейчас лежу здесь, помяни мое слово! Неужто не подойдешь и не дашь мне топор?

Тишина. Аксель опять начинает барахтаться под деревом, ему удастся чуть-чуть приподнять его животом, но снег засыпает его еще больше. Он сдается и вздыхает, он устал и ему хочется спать. А в землянке у него мычит скотина, она с утра не поена и не кормлена, Барбру ее уже не кормит, Барбру удрала, удрала, прихватив оба кольца. Смеркается, ну да, наступает вечер и ночь, но это еще куда бы ни шло, только вот холодно, борода обмерзла, глаза, должно быть, тоже смерзаются, хорошо бы достать куртку с дерева, и—возможно ли!—нога у него совсем занемела до бедра?

— Все в руце Божьей!—говорит он, и кажется, будто он и впрямь может говорить по-божественному, когда захочет. Темнеет, ну что ж, умереть можно и без зажженной лампы! Он стал кротким и добрым, и ради пущего смирения ласково и глупо улыбается непогоде, это Божий снег, невинный снег! Он даже готов не доносить на Бреде.

Он затихает, сонливость все более и более овладевает им, он точно парализован всепрощением, перед его глазами так много белизны, леса и равнины, большие крылья, белые пелены, белые паруса, белое, белое—что это такое? Чепуха, он отлично знает, что это снег, а он лежит на земле, похоронен под деревом, и нет в этом никакого колдовства.

И он опять кричит наудачу, он вопит; глубоко под снегом лежит его сильная, волосатая грудь и из нее несется такой вопль, что его, должно быть, слышно даже в землянке у скотины, он вопит снова и снова.

— Ну не свинья ли ты или зверь,—кричит он Бреде,—ты подумал о том, что делаешь, ты ведь бросил меня на погибель. Неужто ты не можешь подать мне топор, я спрашиваю, тварь ты подлая или человек? Ну да скатертью дорога, если ты и вправду задумал уйти от меня.

Должно быть, он заснул, он совсем окоченел и жизнь едва теплится в нем, но глаза открыты, скованы льдом, но открыты, он не может моргнуть; выходит, он спал с открытыми глазами? Бог весть, может, он и подремал-то всего минуту, а может, и час, но перед ним стоит Олина. Он слышит, как она спрашивает:

— Иисусе Христе, жив ты или нет?— И опять спрашивает, зачем он тут лежит, с ума сошел он, что ли. Во всяком случае, Олина стоит над ним.

В Олине есть что-то от ищейки, от шакала, она выныривает там, где случается беда, нюх у нее очень острый. Да и как бы выкарабкалась Олина в жизни, не шныряй она повсюду и не обладай острым нюхом? Она, стало быть, прознала, что Аксель посылал за ней, перебралась в свои семьдесят лет через перевал и пошла к нему. Переждала в тепле в Селланро вчерашнюю бурю, сегодня пришла в Лунное, никого не застала, накормила скотину, постояла на крыльце, послушала, вечером подоила коров, опять послушала — что-то не так.

Но вот Олина слышит крики и кивает головой: Аксель это или духи преисподней? В обоих случаях стоит при такой тревоге поразнюхать, поискать вечной мудрости Всемогущего в лесу. «А мне он ничего не сделает, потому как я не властна развязать ремень на его обуви».

И вот она стоит над Акселем.

Топор? Олина роется в снегу и не находит топора. Она хочет обойтись без топора и пытается приподнять дерево, но сил у нее как у малого ребенка, ей удастся пошевелить только верхние сучья. Она снова принимается искать топор, темно, но она роет снег руками и ногами; Аксель не может показать, он может только сказать, где топор лежал раньше, но там его теперь нет.

— Жаль, что так далеко до Селланро!— говорит Аксель.

Олина начинает искать топор по собственному разумению, Аксель кричит ей, что нет, там его не может быть.

— Ладно, ладно,— ворчит Олина,— я хочу только посмотреть! А это что?— говорит она.

— Неужто нашла?— спрашивает Аксель.

— Да, с помощью Всемогущего!— высокопарно отвечает Олина.

Но Аксель настроен не особенно возвышенно, он допускает, что, может быть, не совсем ясно соображает, он почти что умер. Да и на что Акселю топор? Он не может шевельнуться, Олине пришлось рубить дерево самой. Да,

Олина за свою жизнь много поработала топором, не одну вязанку дров нарубила.

Идти Аксель не может, одна нога до бедра совсем онемела, спина промерзла, от сильного колотья он громко вскрикивает, он чувствует себя полуживым, какая-то часть его осталась под деревом.

— Что-то уж очень чудно,— говорит он,— ничего не понимаю!

Олина понимает и объясняет ему все удивительными словами, ну да, она ведь спасла человека от смерти и знает об этом: Всемогуший пожелал воспользоваться ею как смиренным орудием, не пожелал посылать небесное воинство. Неужто Аксель не видит Его мудрого перста и решения? А если б Он захотел послать червя, пресмыкающегося в земле, то мог послать и его.

— Да, это-то я знаю,— говорит Аксель,— но уж больно чудно я себя чувствую!

Чудно? Надо подождать немножко, подвигаться, согнуться и выпрямиться вот так, помаленьку, руки и ноги у него онемели и затекли, пусть он наденет куртку и согреется. Но никогда она не забудет ангела Господня, который вызвал ее давеча на крыльцо, тут-то она и услышала крики из лесу. Точно как в райские времена, когда ангелы трубили в трубы на Иерихонских стенах.

Чудеса да и только. Но под эти речи Аксель приходит в себя, расправляет члены и учится ходить.

Полегоньку они подвигаются к дому, Олина выступает в роли спасительницы и поддерживает Акселя. Дело идет на лад. Пройдя немного, они встречают Бреде.

— Что это?— говорит Бреде.— Ты захворал? Не помочь ли тебе?

Аксель враждебно молчит. Он обещал Господу не мстить Бреде и не доносить на него, но на том и остановился. И чего это Бреде вздумал вернуться? Видел, как Олина пришла в Лунное, и понял, что она услышит крики о помощи?

— Никак это ты, Олина!— словоохотливо начинает Бреде.— Где ты его нашла? Под деревом? Чего только с нами не случается!— восклицает он.— А я ходил осматривать телеграф, вдруг слышу— крики. Уж кто не станет мешкать, так это Бреде, где нужна помощь, я тут как тут. Оказывается, это ты, Аксель! Тебя что, деревом придавило?

— Ты все и видел, и слышал, когда шел вниз,— отвечает Аксель,— но прошел мимо.

— Господи, помилуй меня, грешную! — восклицает Олина, ужасаясь такой черствости.

Бреде оправдывается:

— Я тебя видел? Видеть-то видел. Но ты бы мог позвать меня, отчего ты не позвал? Я отлично тебя видел, но думал, ты прилег отдохнуть.

— Молчи уж! — обрывает Аксель. — Ты хотел, чтоб я там и остался!

Тем временем Олина смекает, что Бреде не должен вмешиваться, это умалит ее собственную необходимость и сделает ее спасительную роль не такой уж безусловной, она не дает Бреде помочь, не дает ему даже понести сумку с провизией или топор. О, в эту минуту Олина всецело на стороне Акселя; а когда впоследствии она придет к Бреде, то, сидя за чашкой кофе, будет полностью на его стороне.

— Дай же мне понести хоть топор и лопату, — настаивает Бреде.

— Нет, — отвечает Олина за Акселя, — он и сам донесет.

Бреде продолжает:

— Мог бы и позвать меня, не такие уж мы враги, чтоб не сказать мне ни слова. Ты звал? Ну? Надо было кричать погромче, не мешало бы сообразить, что на дворе метель. А кроме того, мог бы поманить меня рукой.

— Нечем мне было тебя манить, — отвечал Аксель, — ты видел, что я лежал, точно припечатанный замком.

— Нет, не видел. Экую чепуху ты городишь! Ладно, давай мне твою поклажу, слышишь!

Олина говорит:

— Оставь Акселя в покое. Ему нехорошо.

Но тут, должно быть, заработали мозги и у Акселя. Он ведь много слышал про старуху Олину и соображает, что в будущем она обойдется очень дорого и замучает его, если утвердится в мысли, что одна спасла ему жизнь; и Аксель решает поделить триумф. Бреде получает котомку и инструмент, Аксель даже уверяет их, что от этого ему сразу полегчало, ему уже лучше. Но Олина не желает с этим мириться, она тянет котомку на себя и заявляет, что все, что нужно, понесет она, а не кто другой. Хитроумное простодушие вступает в бой, Аксель на минуту остается без опоры, и тогда Бреде выпускает котомку и подхватывает Акселя, хотя тот уже стоит на ногах более твердо.

Дальше они идут так: Бреде поддерживает ослабевшего Акселя, а Олина тащит поклажу. Она тащит и та-

щит, но полна злобы и мечет искры: на ее долю досталась самая жалкая и самая тяжелая часть спасения. За каким чертом принесло сюда Бреде!

— Послушай-ка, Бреде,—говорит она,— что это толкуют, будто у тебя отобрали и продали хутор?

— Надумала выпытать?— дерзко отвечает Бреде.

— Выпытать? Я и не знала, что ты порешил держать это в тайне?

— Вот жалость, что ты сама не пришла и не поторговала хутор, Олина.

— Я? Смеешься над нищей!

— Как, разве ты не разбогатела? Говорят, будто тебе достался в наследство сундучок дяди Сиверта, хе-хе-хе.

Напоминание о едва не привалившем наследстве отнюдь не способствовало умиротворению Олины.

— Да, старик Сиверт от всей души хотел меня облагодетельствовать, ничего не могу сказать. Но не успел он умереть, как его живенько освободили от всех земных благ. Сам знаешь, Бреде, каково это, когда тебя обчистили и ты зависишь от чужой милости; но старик Сиверт сидит себе и пирует в райских хоромах, а мы с тобой, Бреде, ходим по земле на своих двоих.

— Да ну тебя,—бросает Бреде и обращается к Акселью:— Я рад, что вовремя подоспел и могу помочь тебе дойти до дому. Я не слишком быстро иду?

— Нет.

Спорить с Олиной, препираться с Олиной? Ну нет! Она никогда не сдавалась, и еще никому не удалось сравниться с нею в искусстве смешать небо и землю в единый комок доброжелательства и злости, пустозвонства и яда. Что она слышит: оказывается, это Бреде помогает Акселью дойти до дома!

— Что это я хотела сказать...—начинает она.— Ага, вспомнила! Про тех важных господ, что приезжали на медни в Селланро,—ты показал им свои мешки с камнями?

— Если хочешь, Аксель, я возьму тебя на спину и понесу,—предлагает Бреде.

— Нет,—отвечает Аксель.— Спасибо тебе!

Они все идут и идут, до дома уже недалеко, и Олина понимает, что если хочет чего-нибудь добиться, то надо действовать.

— Лучше бы ты спас Акселя от смерти,—говорит она.— И неужто, Бреде, ты видел, что он помирает, слышал его предсмертные крики и прошел мимо?

— Попридержи-ка язык, Олина! — отвечает Бреде.

Для нее бы и самой было лучше помолчать, она бредет, спотыкаясь в снегу, согнувшись под тяжестью ноши, она задыхается, но вовсе не желает молчать. Повидимому, она приберегла на конец лакомый кусочек, опасную тему, неужто рискнет?

— А Барбру-то, — говорит она, — сбежала, что ли?

— Да, — беспечно отвечает Бреде. — Потому-то ты и получила на зиму работу.

Тут Олина снова воспряла духом, она намекнула, как она всем нужна, как на селе она у всех прямо нарасхват, да она хоть сейчас может пойти сразу в два места, да хоть бы и в три! Ее даже к священнику приглашали. И тут же ненавязчиво сообщила кое-что еще, о чем не мешало послушать и Акселю, — чего только ей не предлагали за зиму: и новые башмаки, и барашка впридачу по окончании срока. Но она знала, что здесь, в Лунном, ее ждет необыкновенно хороший человек, который щедро вознаградит ее, и потому предпочла прийти сюда. И пусть Бреде не беспокоится, вплоть до нынешнего дня ее небесный отец не переставал раскрывать перед нею одну дверь за другой и приглашал ее войти. И похоже, у Господа был свой особый замысел, когда Он посылал ее в Лунное, ведь нынче вечером она спасла человеку жизнь.

Но Акселя вдруг охватывает страшная слабость, ноги совсем перестают его слушаться. Странное дело, только что он шел все бодрее и бодрее, по мере того как тепло и жизнь возвращались в его члены, а теперь, не поддержи его Бреде, он бы на ногах не удержался! Началось это как будто с той минуты, как Олина заговорила о своем жалованье, а когда она повторила, что спасла ему жизнь, стало совсем худо. Неужто он вздумал еще раз умалить ее торжество? Бог знает, но в голове у него, должно быть, совсем прояснилось. До жилья уже было рукой подать, когда он вдруг остановился и сказал:

— Нет, видно, не дойти мне до дому!

Бреде, ни слова не говоря, взваливает его на спину. Так они и идут, Олина полна желчи, Аксель бессильно висит на спине Бреде.

— Но как же так! — спрашивает Олина. — Разве Барбру не ждала ребенка?

— Ребенка? — стонет Бреде под тяжестью своей ноши.

В высшей степени странная процессия, но Аксель ничуть не против, что его доносят до самого дома и усаживают на крыльце.

Бреде с трудом переводит дыхание.

— Так разве не было у нее ребенка? — спрашивает Олина.

Аксель поспешно перебивает, обратившись к Бреде:

— Не знаю, как бы я добрался нынче живым до дому, если б не ты! — Но он и Олину не забывает: — Спасибо тебе, Олина, ты первая нашла меня! Спасибо вам обоим!

Это было в тот вечер, когда Аксель спасся от смерти...

А в последующие дни Олина только и говорила что о великом событии, Акселю стоило больших трудов остановить ее. Олина показывает место в горнице, где она стояла, когда ангел Господень вызвал ее на крыльцо, чтоб она услышала крик о помощи. У Акселя уже другие мысли в голове, ему надо быть мужчиной. Он возобновляет работу в лесу, а закончив с рубкой, принимается возить бревна на лесопилку в Селланро.

Обычная в зимнюю пору работа: в гору едешь — везешь бревна, под гору — нарезанные доски. Надо, однако, торопиться, чтоб кончить к Новому году, когда наступят большие морозы и скуют лесопилку льдом. Дело подвигается, все идет хорошо: когда Сиверту Селланро случается порожняком возвращаться из села, он тоже захватывает бревно-другое, помогая соседу. Тогда они с удовольствием подолгу беседуют.

— Что слыхать в селе? — спрашивает Аксель.

— Да так, пустяки, — отвечает Сиверт. — В наши края приезжает новый поселенец.

Новый поселенец — это уж вовсе не пустяк, просто такая у Сиверта манера выражаться. Новые поселенцы появляются в здешней глуши далеко не каждый год; ниже Брейдаблика теперь уже пять хуторов, а выше в горы заселение идет медленнее, хотя чем дальше к югу, тем земля все более плодородная, а болот все меньше. Выше всех хуторяң забрался Исаак, основав Селланро; он оказался всех смелее и умнее. За ним появился Аксель Стрём, а теперь, стало быть, объявился еще один новый покупатель. Этот новый отхватил большой кусок пригодного к обработке болота и часть леса пониже Лунного — отхватить было от чего.

— Что за человек, не слыхал? — спрашивает Аксель.

— Нет, — отвечает Сиверт. — Он привез с собой готовые постройки, соберет и поставит их в одну минуту.

— Так. Значит, богатый?

— Должно быть. Приехал с семьей, жена и трое ребятишек. И лошади, и скотина.

— Ну, стало быть, богатый,—говорит Аксель.— А больше ничего не слышал?

— Нет. Ему тридцать три года.

— Как его зовут?

— Говорят, Арон. А место, где поселился, он назвал Великое.

— Так, Великое. Да ведь кусочек и впрямь не маленький.

— Он родом с побережья. Говорят, рыболовством занимался.

— Еще неизвестно, годится ли он в землепашцы,—говорит Аксель.— Ты на этот счет ничего не слышал?

— Нет. По купчей он заплатил чистоганом. Больше я ничего не слышал. Говорят, он здорово нажился на рыбе. А теперь поселится здесь и откроет торговлю.

— Так он откроет торговлю?

— Говорят.

— Вот оно что — откроет торговлю!

Это была очень важная новость, и оба соседа обсуждали ее на все лады всю дорогу, оставшуюся до Селланро — целую милю. Новость и впрямь большая, пожалуй, самая большая во всей истории здешних мест, так что поговорить было о чем. С кем станет торговать новосел? С восемью хуторами на казенной земле? Или он ждет покупателей и из села? Во всяком случае, торговое заведение, конечно же, приобретет вес, может быть, это ускорит заселение, участки, глядишь, поднимутся в цене, почем знать.

Они обсуждали новость и так и этак, без устали! Интересы и цели этих двух людей были столь же важны, как интересы и цели других людей; земля — это их мир, труд, времена года и сбор урожая — события и приключения, которыми полна их жизнь. И мало ли в такой жизни волнений? О, еще сколько! Сколько раз приходилось им спать вполглаза, сколько раз приходилось забывать за работой о еде. Они с завидным терпением справлялись с невзгодами, здоровья им было не занимать, им под силу пролежать семь часов под огромным деревом — и ничего, руки и ноги целы. Мир без широкого простора, без будущего? Так! Зато какой мир будущего открывал перед ними этот хутор Великий с торговой лавкой посреди глухомани!

Народ обсуждал это событие до самого Рождества...

Аксель получил письмо, большое письмо со львом

на конверте, от казны: ему предлагалось забрать у Бредде Ольсена телеграфные провода и телеграф, материалы и инструменты и с Нового года взять на себя надзор за линией.

IV

По болотам тянется целый обоз, это везут бревна новоселу, подвода за подводой, много дней. Бревна сваливают на месте, которое будет называться Великое; со временем оно, пожалуй, таким и станет: четверо рабочих уже сейчас трудятся в горах, выбирая камни на ограду и на два погребца.

А подводы все едут и едут. Каждое бревно пригнано заранее, весной их останется только собрать, все рассчитано до мелочей, бревна помечены номерами, не забыта ни одна дверь, ни одно окно, ни одно цветное стеклышко для веранды. А однажды привезли огромный воз кольев. Это еще что за невидаль? Один из новоселов, что живет ниже Брейдаблика, знает, он родом с юга и видал там такое.

— Это садовый штакетник,— говорит он.

Стало быть, новосел хочет развести сад, большой сад.

Хороший знак, никогда тут не бывало такой езды по болотам, и многие, у кого были лошади, зашибли на возке порядочные деньги. Обсуждали и другое, появились виды на заработки и в будущем, торговец ведь будет получать товары, и местные и из-за границы, ему придется возить их с моря на многих подводах.

Похоже было, что все здесь ставится на широкую ногу. Приехал молодой франтоватый десятник или помощник хозяина, распорядившийся возкой, ему все казалось, что не хватит лошадей, хотя возить оставалось совсем не так уж и много.

— Да ведь бревен-то осталось и не много,— сказали ему.

— А товары-то! — отвечал он.

Сиверт из Селланро ехал домой, по обыкновению порожняком, и десятник крикнул ему:

— Ты едешь порожняком? Почему ж ты не взял кладу до Великого?

— Я бы взял, да не знал,— отвечал Сиверт.

— Он из Селланро, у них две лошади! — сказал кто-то.

— У вас две лошади? — спросил помощник. — Давай обеих сюда, заработаешь денег!

— Оно бы неплохо,— ответил Сиверт,— да как раз сейчас нам недосуг.

— Недосуг заработать деньги! — воскликнул помощник.

Да, в Селланро не всегда могли свободно располагать временем, дел в усадьбе было хоть отбавляй. Теперь они впервые даже наняли работников, двух каменщиков-шведов, которые заготавливали камень для постройки скотного двора.

Этот скотный двор долгие годы был мечтой Исаака, землянка стала совсем плоха и тесна для скотины, надо строить каменный скотный двор с двойными стенами и хорошим подпольем для навоза. Но на очереди стояло так много дел, одно тащило за собой другое, стройке не предвиделось конца. У Исаака была лесопилка, и мельница, и летний хлев, а кузница разве не нужна? Хоть совсем маленькая, на случай, на самый крайний случай: покривится лемех или потребуется перековать пару подков — до села-то далеко. Стало быть, уж это ему завести необходимо.— горн и маленькую кузницу. В общем, в Селланро стояло уже очень много больших и маленьких строений.

Хозяйство растет и растет, никак не обойтись без работницы, и Йенсина живет у них теперь и лето и зиму. Ее папаша, кузнец, время от времени спрашивает, скоро ли она вернется, но не слишком настаивает, он покладист и уступчив, и, должно быть, не без задней мысли. Селланро расположено высоко в горах, надо всеми хуторами, и все растет, и строений прибавляется, и возделанной земли, а людей сколько было, столько и осталось. Лопари уже давно не ходят мимо и не располагаются похозяйски на усадьбе. Лопари заглядывают нечасто, они предпочитают сделать большой крюк и обойти усадьбу стороной, и уж в избу никогда не заходят, а останавливаются снаружи, если вообще останавливаются. Лопари бродят по задворкам, впотьмах, дайте им свет и воздух, и они зачахнут, как черви и нечисть. Изредка с выгона в Селланро, где-нибудь на далекой опушке, пропадет теленок или барашек, ничего не поделаешь. Уж как-нибудь Селланро переживет потерю. Если б Сиверт и умел стрелять, так у него нет ружья, да он и не умеет стрелять, он совсем не вояка. Он весельчак и большой шутник.

— Ведь лопари-то не иначе как заповедные! — говорит он.

Селланро и впрямь может пережить пропажу мелкого скота, потому что хозяйство это большое и крепкое, но

и тут не обходится без забот и огорчений, вовсе нет! Ингер не весь год одинаково довольна собой и жизнью; когда-то давным-давно она совершила большое путешествие и, должно быть, подхватила что-то вроде злой тоски. Временами тоска проходит, но потом опять возвращается. Ингер проворна и деловита, как в лучшую свою пору, она красивая и здоровая жена для своего мужа, для этого мельничного жернова; но разве у нее не осталось воспоминаний о Тронхейме? Разве она никогда не мечтает? Еще бы, особенно зимою. Иногда ее охватывает какое-то дьявольское веселье, но ведь в одиночку не потанцуешь и бала не устроишь. Мрачные мысли и молитвенник? Да-да, еще бы! Но Богу известно, что в жизни есть и что-то другое, не менее приятное и прекрасное. Она научилась быть неприхотливой, шведы-каменщики, как-никак, чужие люди, их голоса звучат на усадьбе странно и незнакомо, но люди они пожилые и тихие, они не играют, а работают. Но все-таки это лучше, чем ничего, они вносят оживление, один чудесно поет. Ингер иногда выходит и слушает, как он поет, сидя на камне. Его зовут Яльмар.

Но и помимо этого не все хорошо и благополучно в Селланро. Вот, например, новая незадача с Элесеусом. От него пришло письмо, что место его у инженера упразднено, но ему обещано другое, надо только подождать. Потом пришло еще одно письмо: в ожидании солидного места в конторе ему не на что жить, а когда ему послали бумажку в сто крон, он написал, что этого только-только хватило на то, чтоб расплатиться с мелкими долгами.

— Так-так,— сказал Исаак.— Но нынче у нас работают каменщики и много расходов, спроси-ка Элесеуса, не лучше ли ему приехать домой и помочь нам!

Ингер написала, но Элесеус возвращаться домой не пожелал, нет, он не захотел опять понапрасну проделывать это долгое путешествие, он предпочитал голодать.

Но, должно быть, вакантного солидного места не было во всем городе, а может, и сам Элесеус был не мастер добиваться своего. Бог знает, может, он и вообще-то был не ахти какой работник. Усидчив и искусен в писанье, это да, а как насчет ума и сметки? А если этого нет, что же с ним будет?

Когда он вернулся из дома с двумястами крон, город встретил его старыми счетами, а расплатившись, должен же он был купить тросточку вместо палки от зонтика.

Пришлось купить и разные другие вещи: меховую шапку на зиму, какие были у всех его товарищей, пару коньков, чтоб кататься на городском катке, серебряную зубочистку, чтобы ковырять в зубах и изящно держать ее в руке, беседа за стаканчиком. Пока он был при деньгах, он не скупился на угощения: на пирушке по случаю его возвращения, при самой строгой бережливости, пришлось-таки раскупорить полдюжины пива.

— Никак ты дал барышне двадцать эре? — спрашивали его. — Мы даем десять.

— Чего уж тут мелочиться! — отвечал Элесеус.

Он был не мелочен, ему не подобало быть мелочным, он сын богатых землевладельцев, его отец, маркграф, владеет необозримыми пространствами строевого леса, у него четыре лошади, тридцать коров и три сенокосилки. Элесеус не был лгуном, не он распространил выдумку про поместье Селланро, а окружной инженер в свое время наплел об этом в городе. Но Элесеус нисколько не был против, чтоб этой сказке верили. Раз уж он сам ничего из себя не представлял, то лучше быть сыном богатых родителей, это открывало ему кредит, и он как-то выпутывался из затруднительных обстоятельств. Но вечно так не могло продолжаться, пришлось в конце концов за все платить, и тут он завяз окончательно. Тогда один из товарищей определил его на службу к своему отцу, в деревенскую мелочную лавку, — все лучше, чем ничего. Такому взрослому молодому человеку, конечно, не пристало идти на жалованье младшего приказчика в мелочную лавку, тогда как ему куда больше подходит пост ленсмана, но это давало кусок хлеба и до поры до времени было не так уж и плохо. Элесеус и здесь проявил расторопность и добродушие, хозяева и покупатели его любили, и потому он написал домой, что решил перейти к занятию торговлей.

Вот эта-то новость и стала источником огромного разочарования для его матери. Если Элесеус стоит за прилавком в мелочной лавке, значит, он ни на волос не выше приказчика из их села; раньше он стоял несравненно выше: никто, кроме него, не уехал из села в город и не служил конторщиком. Неужто он потерял из виду свои высокие цели? Ингер была неглупа, она знала, какое большое расстояние пролегло между заурядностью и незаурядностью, только, пожалуй, не всегда умела точно его определить. Исаак был наивнее и проще, в мыслях своих он все меньше и меньше принимал Элесеуса в рас-

чет, старший сын выходил за пределы его планов, Селланро все реже представляло перед его мысленным взором разделенным между сыновьями, когда самого его уже не станет.

В середине весны приехал инженер с рабочими из Швеции — они будут прокладывать дороги, строить бараки, ровнять участок, взрывать горы, налаживать связь с поставщиками провизии, возчиками, прибрежными землевладельцами и прочая, и прочая,— но зачем все это? Разве мы живем не в глуши, где все мертво? А затем, что решено приступить к пробным разведкам на медной скале.

Значит, дело все-таки вышло, Гейслер не просто так болтал.

На сей раз появились не прежние важные господа, что приезжали тогда с Гейслером, нет, ни губернатора, ни фабриканта с ними не было, приехали только пожилой горный инженер да пожилой специалист по горному делу. Они купили у Исаака все доски, какие он согласился им уступить, купили провизии и хорошо заплатили, поговорили немного и расхвалили Селланро.

— Канатная дорога!— сказали они.— Подвесная дорога от вершины скалы к морю!

— Через эти болота?— спросил Исаак, соображавший туговато.

Тут они невольно рассмеялись.

— Нет, на той стороне,— сказали они,— не с этой стороны, отсюда ведь до моря несколько миль, нет, с той стороны горного участка и прямо к морю, там крутой уклон, и совсем недалеко. Мы будем спускать руду по воздуху в железных бадьях, увидишь, как это замечательно; но для начала мы свезем руду вниз; проложим дорогу и свезем на лошадях — на пятидесяти подводах, тоже неплохо. Нас ведь будет не столько, сколько ты сейчас видишь, мы что? Ничего! С той стороны идет много людей, целый транспорт рабочих, готовые бараки и провиант, материалы, всяческие инструменты и машины,— сказали они,— мы встретимся на вершине горы. Увидишь, как мы тут размахнемся, на миллионы, а руда пойдет в Южную Америку.

— А губернатор в этом разве не участвует?— спросил Исаак.

— Какой губернатор? Ах, тот! Нет, он все продал.

— А фабрикант?

— Тоже продал. Так ты их помнишь? Нет, они оба все продали. И те, что купили у них, тоже все продали.

Теперь медной горой владеет большая компания, богачи каких мало.

— А где сейчас Гейслер? — спросил Исаак.

— Гейслер? Не знаю такого.

— Ленсман Гейслер, который тогда продал вам гору?

— А-а, этот! Так его зовут Гейслер? Бог его знает, где он! Ты и его тоже помнишь?

И вот все лето вместе с большой партией рабочих они вели работы на горе, устраивая взрыв за взрывом; округа очень оживилась. Ингер вела большую торговлю молоком и молочными продуктами, и было весело и приятно торговать, суетиться и видеть много народу; Исаак по-прежнему вышагивал своей тяжелой поступью и обрабатывал землю, ему ничто не могло помешать; двое каменщиков строили с Сивертом скотный двор. Он выходил очень большой, но подвигался медленно, троих на такую работу было слишком мало, вдобавок Сиверт часто отрывался помогать отцу на земле. Тут как нельзя более кстати были сенокосилка и трое проворных женщин на покосном лугу.

Все шло хорошо, глухой край ожил, зацвел деньгами.

А как же торговое местечко Великое, разве там не пошли крупные дела? Этот Арон, похоже, большой пройдоха, проведал о предстоящих работах на руднике и мигом открыл свою мелочную лавочку, он торговал, торговал, как одержимый, ну прямо как само правительство, прямо как король. Первым делом он продавал всякого рода хозяйственные предметы и рабочее платье; но рудокопы, когда при деньгах, не очень-то считают гроши и покупают не только самое необходимое, а все подряд. А уж субботними вечерами лавочка в Великом кишела народом, и Арон знай себе загребал деньги; за прилавком ему помогали помощник и жена, да и сам он отпускал товары, только успевал, и лавочка не пустела до поздней ночи. Те сельчане, у кого были лошади, оказались правы, подвоз товаров в Великое был огромный, во многих местах дорогу пришлось перемостить и привести в надлежащий вид — где уж до нее той первой узенькой тропе через безлюдье, что проложил когда-то Исаак. Со своей торговлей и дорогой Арон стал поистине благодетелем здешних мест. Фамилия его, между прочим, вовсе не Арон, это только его имя, фамилия же у него Аронсен, так называл себя он сам и так звала его жена; все семейство очень важничало и держало двух работниц и конюха.

Земля в Великом оставалась пока нетронутой, пахать да сеять было недосуг, кому охота копать в болоте! Но Аронсен развел сад с красной смородиной, с астрами, с рябиной и разными другими деревьями, красивый сад, окруженный штакетником. Посреди сада шла широкая дорожка, по которой Аронсен разгуливал воскресными днями, покуривая длинную трубку; в глубине сада виднелась веранда с красными, желтыми и синими стеклами. Усадьба Великое. Трое хорошеньких ребятишек бегали по саду: девочку предполагалось воспитать настоящей купеческой дочкой, мальчики пойдут по торговой части, да, этих детей ждало большое будущее!

Если бы Аронсен не заботился о будущем, он бы сюда не переехал. Продолжал бы рыбачить и, может быть, удачно, и порядочно зарабатывал бы, но это не сравнить с торговлей, совсем не такое это благородное занятие, она не дает уважения, перед ним не снимают шапок. До сих пор Аронсен плавал на веслах, в будущем он хотел плавать под парусами. У него были в ходу словечки «полный порядок». У его детей, говорил он, будет совсем «полный порядок», подразумевая, что хочет обеспечить им жизнь, свободную от тяжелого труда.

И все складывалось куда как хорошо, люди кланялись ему, его жене, даже детям. А разве это мало, что люди кланяются детям? Спустились как-то с горы рудокопы, ребятишек им давно не приходилось видеть, а тут им во дворе встретились дети Аронсена; рудокопы ласково заговорили с ними, словно трех пуделей увидели. Они хотели было дать детям денег, но, узнав, что это дети самого торговца, поиграли им вместо этого на губной гармонике. Приходил Густав, молодой повеса в шляпе набекрень и с веселыми словами на устах, и подолгу потешал их. Дети каждый раз узнавали его и выбегали к нему навстречу, в этот раз он посадил всех троих себе на спину и стал плясать с ними. «Хо-хо!» — кричал Густав и плясал. Потом достал губную гармонику и играл танцы и песенки, обе работницы вышли из дома, смотрели на Густава и со слезами на глазах слушали его игру. А повеса Густав отлично знал, что делал!

Немного погодя он зашел в лавочку и стал швырять деньгами: накупил полный мешок всякой всячины, так что, уходя домой в горы, потащил целую мелочную лавку; в Селланро он раскрыл мешок и всем показал его содержимое. Чего только там не было: и почтовая бумага с цветочками, и новая трубка-носогрейка, и новая

рубашка, и шарф с бахромой, и леденцы, которые он тут же роздал женщинам, и блестящие вещицы, и часовая цепочка с компасом, и перочинный ножик; да пропасть всего, даже ракеты—он купил их на воскресенье, чтоб повеселить себя и других. Ингер угостила его молоком, он шутил с Леопольдиной и подбрасывал высоко к потолку маленькую Ребекку.

— Ну, скоро вы закончите скотный двор?—спросил он своих земляков-каменщиков, по-приятельски болтая с ними.

— Народу маловато,—отвечали каменщики.

— Так возьмите меня,—пошутил Густав.

— Вот бы хорошо-то,—сказала Ингер, ведь двор должен быть готов к осени, когда скотину загоняют на зиму.

А потом Густав пустил одну ракету, а после второй решил поджечь и все остальные шесть, женщины и дети глядели на колдовство и на колдуна, затаив дыханье. Ингер никогда раньше не видала ракет, но почему-то эти сумасшедшие вспышки напомнили ей о далеком большом мире. Что значит нынче швейная машинка! Когда же Густав заиграл напоследок на губной гармонике, ей показалось, она с радостью пошла бы за ним от одного только сильного смятения...

Разработка рудника идет своим чередом, руду свозят на лошадях к морю, один пароход загрузился и ушел в Южную Америку, на его место пришел другой. Оживленное движение. Все в округе, кто мог ходить, перебивали в горах и полюбовались чудесами, побывал и Бреде Ольсен со своими образцами, но их у него не взяли, потому что специалист по горному делу незадолго перед тем вернулся в Швецию. По воскресеньям из села устраивалось целое паломничество, даже Аксель Стрём, которому недосуг было глазеть по сторонам, и тот направлял свой путь мимо рудника в те несколько раз, что ходил осматривать телеграфную линию. Скоро в округе не останется таких, кто не повидал бы всех этих чудес! Тут уж и Ингер Селланро надевает нарядное платье и золотое кольцо и тоже отправляется на гору.

Чего ей там нужно?

Да ничего, ей даже не любопытно взглянуть, как вскрывают гору, она просто хочет показаться сама. Увидев, как другие женщины ходят на гору, она почувствовала, что и ей хочется туда сходить. У нее некрасивый рубец на верхней губе и взрослые дети, но ей тоже хочется

туда сходить. Ее огорчает, что другие женщины моложе ее, но она попробует потягаться с ними, она еще не начала полнеть, она высокая, стройная и с себя пригожая, словом, хоть куда. Разумеется, она не бела и не румяна лицом, золотистая свежесть ее кожи давно поблекла, но пусть-ка посмотрят, придется им кивнуть ей и сказать: «Она все еще хороша!»

Встречают ее с величайшим радушием, рабочие выпили у Ингер не одну кринку молока и хорошо знают ее, они показывают ей рудник, бараки, конюшни, кухню, погреб, кладовую, те, что посмелее, подходят и легонько берут ее за руку, а Ингер — ничего, ей только приятно. Поднимаясь или спускаясь по каменным ступенькам, она высоко поднимает юбку, показывая ноги, но вид у нее при этом такой, будто она ровным счетом ничего не сделала. «Она еще хороша!» — верно, думают рабочие.

Женщина в годах, она тем не менее положительно трогательна: видно было, что взгляд каждого из этих разгоряченных мужчин был для нее неожиданностью, она была за него благодарна и отвечала таким же взглядом. Да, ей льстило быть в центре внимания, она такая же женщина, как все другие. Она добродетельна за неимением соблазнов.

Женщина в годах.

Пришел Густав. Он оставил двух сельских девиц на товарища только для того, чтоб прийти. Густав отлично знал, что делал, он горячо и нежно пожал руку Ингер и поблагодарил за прошлый раз, но не навязывался.

— Что ж ты не придешь пособить нам достроить скотный двор, Густав? — говорит Ингер и краснеет, как пион.

Густав отвечает, что скоро обязательно придет. Услышав такое, его товарищи говорят, что скоро, наверное, придут все вместе.

— Как, разве вы не останетесь здесь на зиму? — спрашивает Ингер.

Рабочие сдержанно отвечают, что нет, на это не похоже. Густав смелее, он объясняет, что, пожалуй, в ближайшее время они выцарапают отсюда всю медь, какая есть.

— Да что ты? — восклицает Ингер.

— Да нет, — заверяют другие рабочие. — Густав напрасно это.

Но Густав полагает, что не напрасно, а, смеясь, прибавляет и еще кое-что; что же до Ингер, то он явно старается отвоевать ее для себя одного, хоть

и не навязывается. Другой парень заиграл на гармонии, но это было совсем не то что губная гармоника, когда на ней играл Густав; третий парень, не менее шустрый, попытался привлечь ее внимание, пропев наизусть песню под гармонь, но и это тоже вышло не ахти как хорошо, хотя голос у него был красивый и громкий. А минутку спустя Густав уж надевал на свой мизинец золотое кольцо Ингер. Как же это вышло, если он совсем не навязывался? Да очень даже навязывался, только делал это исподтишка, как и она сама, они не говорили об этом, она притворялась, будто ничего не замечает, когда он пожимал ей руку. Немного позже, сидя в бараке, где ее угощали кофе, она услышала снаружи шум и брань и поняла, что это, так сказать, в ее честь. Это польстило ей, старой тетере, она сидела, жадно вслушиваясь в сладостный шум.

Как же она в этот вечер вернулась с горы домой? О, великолепно, такую же добродетельной, как и ушла, не больше и не меньше. Ее провожали много мужчин, они не хотели отставать, пока с ней был Густав, они не сдавались, не желали сдаться. Ингер даже и в Тронхейме не бывало так весело.

— Ты ничего не потеряла, Ингер? — спросили они напоследок.

— Потеряла? Нет.

— А золотое колечко? — сказали они.

Тут уж Густаву ничего не оставалось, как отдать его, против него была целая армия.

— Вот хорошо, что ты нашел его! — сказала Ингер и поспешила проститься с провожатыми.

Она подходит к Селланро и видит много крыш, там, внизу, ее дом. Она снова чувствует себя хорошей женой и хозяйкой, какою и была всегда, и направляется взглянуть на скотину в летнем загоне, по пути туда она проходит мимо хорошо знакомого ей места: здесь когда-то схоронили маленького ребеночка, она плотно умяла землю руками и поставила маленький крестик. Давно это было. А вот подоили ли девочки коров и коз и успели ли прибраться?..

Работа на руднике идет своим чередом, но поговаривают, будто в горе не оказалось того, чего ожидали. Специалист по горному делу, уезжавший домой, приехал опять и привез с собой еще одного специалиста, они бурят, взрывают, основательно все обследуют. В чем, собственно, дело? Медь хороша, но ее мало, она не идет

в глубину, толщина жилы увеличивается чем дальше к югу, жила становится мощной и великолепной как раз там, где проходит граница участка, а дальше уже идет казенная земля. Первые покупатели не придали особого значения своей сделке, то был семейный совет, несколько родственников, купивших землю с целью спекуляции, они не обеспечили за собой всей горы, всей мили, которая шла до ближайшей долины, нет, они купили у Исаака Селланро и Гейслера маленький кусочек и перепродали его.

Что же теперь делать? Начальники, мастера и специалисты по горному делу отлично во всем разобрались, надо немедленно вступать в переговоры с казной. И вот они посылают домой, в Швецию, нарочного с письмами и картами, а сами едут на север, к ленсману, чтоб заключить контракт на покупку всей горы к югу от озера. Но тут начинаются затруднения: в дело вмешивается закон, они иностранцы, впрямую купить гору они не могут. Они знали об этом сами и приняли меры. Но южная часть горы уже продана, чего они не знали.

— Продана? — говорят господа.

— Давным-давно, много лет назад.

— Кто же ее купил?

— Гейслер.

— Какой такой Гейслер? Ах, тот!

— Купчая утверждена, — говорит ленсман. — Это была голая скала, она досталась ему почти даром.

— Черт возьми, что же это за Гейслер, о котором мы то и дело слышим? Где он?

— Бог знает, где он!

Господам приходится посылать в Швецию другого нарочного. Надо же выяснить, кто такой этот Гейслер. А пока всем рабочим тут делать нечего.

И вот теперь Густав пришел в Селланро, таща на спине все свое земное достояние. «Вот я и пришел!» — сказал он. Да, Густав расстался с компанией, то есть в последнее воскресенье он несколько неосторожно выразился насчет медной горы, слова его тут же передали мастеру и инженеру, и Густав получил расчет. Счастливого оставаться, да ему, пожалуй, как раз этого и хотелось; теперь его приход в Селланро ни в ком не возбудит подозрений. Он тотчас же получил работу на постройке скотного двора.

Они выводят кладку, и когда немного погодя с горы приходит еще один человек, его тоже определяют на

стройку, образуется две смены, и работа подвигается быстро. К осени скотный двор непременно будет готов.

А с горы один за другим приходят все новые и новые рабочие, им отказывают, и они отправляются на родину, в Швецию; разведочные работы приостановлены. Словно горестный вздох вылетел из груди села: по глупости люди не поняли, что пробная разведка — это всего лишь разведка, которую делают на пробу, так оно и оказалось. Уныние и дурные предчувствия охватили жителей села, деньги стали появляться реже, заработки уменьшились, в лавке в Великом наступило затишье. Что же это такое? Ведь все шло так хорошо, Аронсен уже завел флашток и флаг, купил на зиму полость из шкуры белого медведя для санок, вся семья его разодета в пух и прах. Это все, конечно, мелочи, но случались и крупные события: двое новоселов купили участки высоко в горах, между Лунным и Селланро, и вот это было совсем не безразлично для маленького уединенного мирка. Оба новосела построили землянки, расчистили землю, осушили болото, они были работающие люди и за короткое время достигли многого. Все лето они покупали съестные припасы в Великом, но в последний раз, что они пришли туда, в лавке почти нечего было взять. Товары — к чему Аронсену товары, когда работа на руднике остановилась? Товаров у него теперь почти не было, были только деньги. Из всех жителей округа больше всех досадовал, пожалуй, Аронсен, его расчеты совершенно не оправдались. Когда кто-то предложил ему заняться обработкой земли и жить хозяйством, Аронсен ответил:

— Копаться в земле? Не за тем мы сюда приехали!

В конце концов Аронсен не выдержал и отправился на рудник посмотреть, что там делается. День был воскресный. Дойдя до Селланро, он решил позвать с собой Исаака — Исаак, который еще ни разу не побывал на горе с тех пор, как началась ее разработка, ответил, что ему и здесь, на склоне горы, неплохо. Пришлось вмешаться Ингер.

— Неужто ты не можешь пойти с Аронсеном, если он тебя просит! — сказала она.

Ингер ничего не имела против того, чтоб Исаак ушел, — было воскресенье, ей хотелось избавиться от него на часик-другой. Исаак пошел.

На горе им довелось увидеть много чудного, Исаак никак не мог разобраться в этом городе из барачков, тачек, повозок и зияющих ям. Водил их по горе сам

инженер. Должно быть, у славного инженера-горняка на душе было нелегко, но он всячески старался рассеять тягостное настроение, охватившее хуторян и жителей села; и вот представился хороший случай: к ним пожаловали сам маркграф из Селланро и торговец из Великого.

Он называл им породы камней: серный колчедан, медный колчедан, содержит медь, железо и серу. Да, они до тонкости знают, что таит гора, в ней есть даже немного золота и серебра. Нельзя ведь заниматься горным делом, не зная, с чем работаешь!

— А правда, что теперь все остановится? — спросил Аронсен.

— Остановится? — изумленно повторил инженер. — Южная Америка нас за это не поблагодарит. Разведочные работы на время приостановятся, это верно, но вы ведь сами видите, что уже сделано, позже построят подвесную дорогу и начнут разрабатывать гору с южной стороны. — И спросил, не знает ли Исаак, куда подевался этот Гейслер.

— Нет.

— Ну ничего, отыщется. Тогда уж работа пойдет всерьез. Вот ведь чего выдумали — остановится!

Исаак очень удивился и разволновался при виде небольшой машинки с ножным приводом, он сразу смекнул, что это такое, — оказалось, маленькая кузница, которую можно возить на тележке и ставить где угодно.

— Что стоит такая машина? — спрашивает Исаак.

Эта? Походный горн? Недорого. У них их несколько штук, впрочем, есть и совсем другие машины и совсем другое оборудование, на берегу, там стоят огромные машины. Исаак и сам понимает, что такие глубокие долины и пропасти в горе ногтями не сделаешь, ха-ха-ха!

Они продолжают обход и осмотр, дорогой инженер рассказывает, что на днях собирается в Швецию.

— Но вы ведь вернетесь? — спрашивает Аронсен.

Разумеется. Инженер не знает за собой ничего такого, за что правительство или полиция могли бы задержать его на родине.

Исаак устроил так, чтобы еще раз пройти мимо маленькой кузницы.

— А сколько же может стоять такой горн? — спрашивает он.

Сколько он стоит? Этого инженер, правду сказать, не помнил. Наверное, порядочно, но в бюджете большого рудника это ровно ничего не составляет. Ах, инженер,

широкая натура,—наверно, в эту минуту на душе у него было совсем невесело, но он изо всех сил соблюдал видимость и был важен и щедр до конца. Исааку нужен походный горн? Да пусть берет вот этот! Компания богата, она дарит ему походный горн!

Час спустя Аронсен и Исаак идут домой. Аронсен несколько успокоился, у него появилась маленькая надежда; Исаак спускается с горы, таща на спине драгоценный походный горн. Старой барже не в новинку таскать тяжести! Инженер вызвался прислать драгоценный груз в Селланро завтра с кем-нибудь из рабочих, но Исаак вежливо поблагодарил: дескать, не стоит беспокоиться. Вот ведь удивятся его домашние, когда он заявится с целой кузницей на спине.

А удивляться-то пришлось не кому-нибудь, а самому Исааку.

Когда он подошел к дому, во двор как раз въезжала лошадь, запряженная в весьма странную телегу. Возница был человек из села, а рядом с ним шел господин, на которого Исаак уставился с изумлением: это был Гейслер.

V

У Исаака было много оснований подивиться и кой-чему другому, но он был не мастак думать о многих вещах зараз.

— Где Ингер?—спросил он только, проходя мимо кухни. Он подумал, что Гейслера надо хорошенько попотчевать.

Ингер? Она ушла по ягоды, аккуратно как Исаак отправился на гору, ушла вместе с Густавом, со шведом. Пожилая женщина, а надо же, совсем одурела, влюбилась как девчонка, время шло к осени и зиме, а она снова почувствовала в себе жар, снова зацвела. «Пойдем, покажи мне, где у вас тут морошка»,—сказал ей Густав. Кто уж тут устоит! Она побежала в клеть, несколько минут помедлила в набожном раздумье, но он ведь дождался ее под окном; мир дышал ей в затылок, и кончилось тем, что она пригладила волосы, внимательно посмотрелась в зеркало и вышла. Ну да разве не все поступили бы на ее месте так же? Женщины не отличают одного мужчину от другого, во всяком случае, не всегда, не часто.

Они бродят по ягодику и рвут морошку на болоте, перебираются с кочки на кочку, она высоко поднимает

юбку, показывая свои упругие ноги. Кругом тихо, птенцы у куропатки уже выросли, и она больше не клохчет, попадаются мягкие прогалинки с кустиками по краю болота. Часу не прошло, а они уж садятся отдохнуть.

— Так вот ты какой! — говорит Ингер.

О, она так и млеет от него, улыбается блаженно, потому что совсем влюблена. О Господи, как сладко и как больно быть влюбленной, и сладко и больно! Обычай и приличия требуют защищаться? Да, но только для того, чтобы сдать. Ингер так влюблена, смертельно и бесповоротно, она готова для него на все и полна к нему нежности и ласки.

Женщина в годах.

— Когда скотный двор отстроят, ты уедешь, — говорит она потом.

Нет, он не уедет. Ну конечно, когда-нибудь придется уехать, но не раньше чем недели через две.

— Не пора нам домой? — спрашивает она.

— Нет.

Они собирают ягоды, немного погодя опять попадается мягкая прогалинка, и Ингер говорит:

— Ты с ума сошел, Густав!

Часы бегут, батюшки, да никак они заснули в кустах! Неужто заснули? Вот чудеса-то, заснули посреди безлюдья, в раю. Ингер садится, прислушивается и говорит:

— Как будто кто-то едет по дороге?

Солнце клонится к закату, вересковые холмы слегка потемнели от тени, когда они поворачивают домой. По пути попадается много укромных местечек, Густав видит их, Ингер тоже, но ей все время чудится, что впереди них кто-то едет. Вот и извольте-ка всю дорогу домой защищаться от такого сумасшедшего! Ингер слаба, она только улыбается и говорит:

— Нет, я такого, как ты, в жизни не видала!

Домой она приходит одна. И как хорошо, что пришла она именно сейчас, замечательно хорошо, приди она минутой позже, было бы скверно. Исаак только-только вошел во двор с своей кузницей и с Аронсоном, а перед домом стоят лошадь и телега.

— Здравствуйте! — говорит Гейслер и здоровается с Ингер.

Все стоят и смотрят друг на друга. Чего уж лучше...

Опять пожаловал Гейслер. Он не был здесь несколько лет, но вот явился снова, постаревший и поседевший, но, как всегда, бодрый и подвижный, и нынче нарядный,

в белой жилетке и при цепочке. Сам черт не поймет этого человека!

Может, проведал, что на медной горе что-то происходит, и решил выяснить, в чем дело? Так или иначе, он здесь. Вид у него в высшей степени оживленный, он осматривается кругом, тихонько вертя головой и водя глазами, видит большие перемены: маркграф расширил свои владения. Гейслер удовлетворенно кивает.

— Что это ты тащишь? — спрашивает он Исаака. — Ведь это лошади впору! — говорит он.

— Кузнечный горн, — объясняет Исаак. — Он мне еще не раз сослужит службу на хуторе, — говорит он, наконец называя Селланро хутором.

— Где ты его достал?

— На горе, инженер взял да и подарил мне.

— Разве там есть инженер? — спрашивает Гейслер, будто не знал.

А неужто Гейслер спасует перед каким-то инженером на горе!

— Я слыхал, у тебя есть сенокосилка, так вот, я привез тебе механические грабли, — говорит он, показывая на телегу.

На телеге стоит машина, красная с синим, — огромный гребень, сенные грабли на конном ходу. Ее сняли с телеги, осмотрели, Исаак впрягся в нее и попробовал на ходу. Да так и застыл с открытым ртом. И что ж тут удивительного — вон сколько чудес набралось в Селланро!

Заговорили о медной горе, о руднике.

— Они спрашивали про вас, — сказал Исаак.

— Кто спрашивал?

— Инженер и остальные господа. Дескать, им непременно нужно вас разыскать.

Исаак зашел, пожалуй, чересчур далеко, Гейслеру это, видать, не понравилось, он вскинул голову и сказал:

— Если им что-нибудь от меня нужно, я здесь!

На следующий день курьеры вернулись из Швеции, и с ними вернулись некоторые из владельцев рудника, они ехали верхом, важные и толстые господа, судя по виду страсть какие богатые. В Селланро они не задержались, спросили про дорогу, не слезая с лошади, и поехали дальше в горы. Гейслера они как будто и не заметили, хотя он стоял довольно близко. Курьеры с вьючными лошадьми отдохнули с часок, потолковали с каменщиками у скотного двора, узнали, что старый господин в белом жилете и с золотой цепочкой — Гейслер, и тоже

отправились дальше. Но в тот же вечер один из курьеров вернулся с устным приглашением Гейслеру пожаловать к господам на гору.

— Если им что-нибудь от меня нужно, я здесь! — велел ответить Гейслер.

Должно быть, он вошел в большую силу, должно быть, думал, что владеет всем миром, раз его не удовлетворило устное приглашение? Но как же так случилось, что он попал в Селланро как раз тогда, когда был нужен? Значит, умел быть всеведущим и много чего знал. А господам на скале, после того, как они получили ответ Гейслера, пришлось самим пожаловать в Селланро. Их сопровождали инженер и два горных специалиста.

Да, стало быть, много было крючков и обходов, прежде чем свидание состоялось. Ничего хорошего это не предвещало, нет, Гейслер ужас как разважничался.

На этот раз господа были очень вежливы, извинились, что присылали за ним вчера, но уж очень они устали с дороги. Гейслер тоже был вежлив и ответил, что он тоже устал с дороги, иначе непременно бы пришел. Ну а теперь к делу. Не продаст ли он скалу на южной стороне озера?

— Вы покупатели? — спросил Гейслер. — Или я говорю с посредниками?

Это было чистое ехидство со стороны Гейслера, он ведь наверняка понимал, что важные и толстые господа не посредники. Пошли дальше.

— Какая ваша цена? — спросили они.

— Ах да, цена! — Гейслер задумался. — Пару миллионов, — ответил он.

— Вот как, — сказали господа и улыбнулись.

Гейслер не улыбался.

Инженер и горняки рассказали, что бегло исследовали гору, заложили несколько буровых скважин, взорвали в нескольких местах породу, и вот данные: месторождение вулканического происхождения, неровного залегания, согласно предварительным расчетам, мощность его всего выше на участке, которым владеют компания и Гейслер, а дальше постепенно уменьшается. На всем протяжении последней полумили годной к разработке руды не попадается.

Гейслер слушал их с величайшим равнодушием. Он достал из кармана какие-то документы и внимательно изучал их, но это были не карты, и одному Богу известно, касались ли они вовсе медной горы.

— Вы недостаточно глубоко бурили! — сказал он, словно вычитал это из своих бумаг.

— Это верно, — тотчас же согласились господа, а инженер спросил:

— Откуда вам это известно, Гейслер? Ведь вы-то совсем не бурили?

Гейслер улыбнулся, словно пробурил земной шар на двести метров в глубину, а потом взял да и засыпал скважину.

Они пробыли в Селланро до полудня, обговаривая дело и так и этак, и уже начали посматривать на часы. Гейслер дал себя уговорить и снизил цену до четверти миллиона, но ни на грош больше. Должно быть, они всерьез обидели его, они исходили из того, что ему бы только продать скалу, он вынужден ее продать, но это было совсем не так, разве они не видят, что вот он перед ними — почти такой же важный и богатый, как они!

— Пятнадцать — двадцать тысяч тоже хорошие деньги, — сказали господа.

Гейслер не отрицал этого — особенно когда они нужны, — но двести пятьдесят тысяч больше.

Тут один из господ заметил, не иначе как для того, чтоб немножко вернуть Гейслера на землю:

— Между прочим, мы привезли вам поклон от родных госпожи Гейслер из Швеции.

— Благодарствуйте! — ответил Гейслер.

— Кстати, — сказал другой господин, видя, что ничто не помогает, — ведь это же не золото, это колчедан. Четверть миллиона!

Гейслер кивнул:

— Верно, колчедан.

Тут уж все господа разом потеряли терпение, пять крышек часов разом раскрылись и снова захлопнулись, и теперь уж некогда было шутить, настало время обедать. Господа не пожелали обедать в Селланро, а отправились обратно на рудник, кушать свой собственный обед.

Тем и закончилось свидание.

Гейслер остался один.

Интересно, о чем это он раздумался? Может, вовсе ни о чем, может, ему все это было неинтересно и он ни о чем не думал? Ничего подобного, думал, но при этом не проявлял ни малейшего беспокойства. После обеда он сказал Исааку:

— Я собираюсь сходить на мою гору и хотел бы взять с собой Сиверта, как в прошлый раз.

— Хорошо, — тотчас же ответил Исаак.

— Нет. У него другие дела.

— Он немедля пойдет с вами! — сказал Исаак и позвал Сиверта.

Гейслер поднял руку и коротко сказал:

— Не надо.

Он расхаживал по двору, несколько раз подходил к каменщикам и заводил с ними оживленный разговор. Как ему удавалось так собой владеть, ведь только что его занимало такое важное дело! Может быть, жизнь Гейслера долгие годы была столь шаткой и ненадежной, что для него уже никакой риск не был страшен, он не боялся никаких ударов судьбы.

Все было делом случая. Продав маленький рудный участок родственникам жены, он сейчас же купил всю прилегающую к нему гору. Зачем он это сделал? Чтобы посердить владельцев земельных участков, сделавшись их ближайшим соседом? Поначалу он, вероятно, хотел обеспечить за собой маленькую полоску земли на южной стороне озера, где, скорее всего, расположился бы рудничный поселок, в случае если бы началась разработка руды; хозяином же горы он стал потому, что она почти ничего не стоила, и потому, что ему не хотелось затевать сложную процедуру по размежеванию, которая наверняка затянулась бы на долгие месяцы. Он сделался горным королем из безразличия, маленький участок под бараки и машины превратился в огромную империю, протянувшуюся до самого моря.

В Швеции его первый маленький рудный участок то и дело переходил из рук в руки, и Гейслер был хорошо осведомлен о его судьбе. Разумеется, первые его владельцы совершили глупую покупку, чудовищно глупую, семейный совет, ничего не понимая в горном деле, не обеспечил за собой достаточно большого участка, им хотелось только откупиться от некоего Гейслера и избавиться от его близости. Да и новые владельцы показали себя не меньшими забавниками, люди богатые и солидные, почему бы им не позволить себе за пирушкой шутку и не купить участок развлечения ради, Господь их знает! Когда же произвели разведочные работы и дело оказалось серьезным, перед ними вдруг встала стена: Гейслер.

«Сущие дети!» — должно быть, размышлял Гейслер, он здорово расхрабрился и ходил, задрвав нос. Правда, господа старались охладить его, они полагали, что перед

ними нищий, и намекнули о каких-то пятнадцати — двадцати тысячах, — ну как есть дети, они еще не знают Гейслера. А он вот каков!

В тот день господа больше не приезжали, верно, сочли за благо не проявлять слишком большой горячности. Они приехали на следующее утро в сопровождении вьючных лошадей, господа направлялись в обратный путь. Но тут оказалось, что Гейслер ушел.

— Гейслер ушел?

Сидя на лошадях, трудно было что-либо решить, пришлось слезть и подождать. Куда же ушел Гейслер? Никто не знал, он ведь ходил повсюду, весьма заинтересовавшись хозяйством в Селланро, в последний раз его видели у лесопилки. За ним послали нарочных, но Гейслер, должно быть, ушел далеко, потому что сколько его ни звали, так ни разу и не откликнулся. Господа нетерпеливо смотрели на часы и поначалу очень сердились.

— Не сидеть же нам здесь дураками и ждать! — говорили они. — Если Гейслер решил продавать гору, так должен быть на месте!

Но мало-помалу их досада улеглась, они даже стали находить во всем этом что-то забавное — вот ведь незадача, того и гляди заночуем где-нибудь на скалах!

— Великолепно! — восклицали они. — Когда-нибудь наши семьи отыщут тут наши кости!

В конце концов Гейслер явился. Он ходил прогуляться, сейчас возвращается прямо с летнего загона.

— Похоже, и летний загон для тебя уже маловат, — обратился он к Исааку. — Сколько у тебя там всего скотины? — продолжал он, в то время как господа стояли с часами в руках! Гейслер был заметно красен лицом, словно выпил спиртного.

— Ух, ну и разогрелся же я от ходьбы! — заявил он.

— Мы ожидали застать вас дома, — сказал один из господ.

— Вы же меня не предупредили, — ответил Гейслер, — иначе я был бы на месте.

Ну, а как же сделка? Согласен ли Гейслер принять сегодня разумное предложение? Не каждый ведь день предлагают ему пятнадцать или двадцать тысяч крон, а?

Этот новый намек сильно задел Гейслера. Ну что за манеры! Но господа, верно, не говорили бы так, если б не были сердиты, а Гейслер не побледнел бы лицом, если б не успел побывать в одном пустынном местечке, где

лицо его сильно покраснело. Теперь же он побледнел и холодно ответил:

— Я не хочу называть цену, возможно, подходящую для господ, но я знаю цену, какую хочу получить сам. Я не желаю больше слушать детскую болтовню! Моя цена та же, что и вчера.

— Четверть миллиона крон?

— Да.

Господа сели на коней.

— Вот что я вам скажу, Гейслер,— начал один из них.— Мы прибавим до двадцати пяти тысяч.

— Вы продолжаете шутить,— ответил Гейслер.— Зато я намерен предложить вам нечто вполне серьезное: хотите продать ваш маленький рудник?

— Да,— несколько растерянно отвечали господа,— отчего ж, надо подумать.

— Тогда я покупаю его,— сказал Гейслер.

Вот так Гейслер! Двор был полон народу, и все слышали, что он сказал, все жители Селланро, и каменщики, и господа, и нарочные, он, скорее всего, и гроша не мог выложить на такую покупку, а впрочем, Бог знает, вероятно, и мог, черт его поймет. Во всяком случае, он совсем сбил с толку господ несколькими своими словами. Что это — ловушка? Или он этим хитроумным маневром рассчитывал подчеркнуть то важное значение, которое отводил своей горе?

Господа задумались, господа начали тихонько переговариваться между собой, снова спешили. Но тут в дело вмешался горный инженер; видно, такой поворот событий ему не очень понравился и, похоже, он обладал какими-то правами, а то и властью. Двор был полон народу, все внимательно слушали.

— Мы не продаем! — сказал он.

— Не продаем? — спросили господа.

— Нет.

Они еще немного пошептались, потом сели на коней, собираясь ехать.

— Двадцать пять тысяч! — крикнул один из господ.

Гейслер не ответил, повернулся и снова пошел к каменщикам.

Тем и окончилось последнее свидание.

Казалось, Гейслер остался совершенно равнодушным к последствиям, он расхаживал по двору взад-вперед, вступал в беседу то с одним, то с другим, с интересом наблюдал, как каменщики водружают над скотным

двором толстые стропила. Им хотелось кончить строительство на этой же неделе, крыша будет временная, потом сверху надо всем двором построят новое кормохранилище.

Исаак отпустил Сиверта с работы, разрешив ему побездельничать; это он сделал для того, чтобы Гейслер мог в любую минуту, когда захочет, отправиться с Сивертом в горы. Напрасная забота, Гейслер или отказался от этой затеи, или вовсе забыл о ней. Взяв у Ингер кое-что перекусить, он зашагал вниз по склону и отсутствовал до вечера.

Он заглянул на два новых хутора, пониже Селланро, потолковал с их хозяевами, потом дошел до Лунного и пожелал узнать, что сделал за эти годы Аксель Стрём. Дело у Акселя подвигалось не очень быстро, но землю он обработал хорошо. Гейслер заинтересовался и этим хутором и сказал Акселью:

— Есть у тебя лошадь?

— Да.

— У меня на юге стоят косилка и борона, совсем новенькие, я пришлю тебе.

— Что?— спросил Аксель и, не понимая такого великодушия, принялся прикидывать в уме размер платы.

— Я подарю тебе эти орудия,— сказал Гейслер.

— Да разве такое возможно?

— Но зато ты поможешь двум своим ближайшим соседям поднять новину.

— Это уж само собой,— заявил Аксель, все еще не понимая толком Гейслера.— Так у вас на юге есть поместье и машины?

Гейслер ответил:

— У меня там много всяких дел.

Ну, ничего такого у Гейслера, пожалуй, не было, но он часто делал вид, будто так оно и есть. А косилку и борону он мог и просто купить в каком-нибудь городе и отослать на север.

Он разговорился с Акселем Стрёмом, расспрашивал о других здешних хуторянах, о торговой усадьбе Великое, о брате Акселя, молодожене, который недавно переехал в Брейдаблик и начал прокапывать болота и отводить из них воду. Аксель жаловался, что никак не найдет работницу, живет у него одна старуха, по имени Олина, да проку от нее мало, но приходится радоваться, что есть хоть она. Одно время летом Акселью приходилось работать день и ночь. Можно бы выписать работницу с его родины, из Хельгеланна, но тогда придется оплатить ей

дорогу, помимо жалованья. Куда ни посмотри — все расходы. Потом Аксель рассказал, что он взял место смотрителя на телеграфной линии, но немножко об этом жалеет.

— Такие дела подходят для людей вроде Бреде, — сказал Гейслер.

— Вот уж правда так правда! — согласился Аксель. — Да ведь все из-за денег.

— Сколько у тебя коров?

— Четыре. И бык. А то уж больно далеко водить коров к быку в Селланро.

Но было на душе у Акселя одно дело поважнее всех других, и ему не терпелось поговорить о нем с Гейслером: против Барбру возбудили следствие. Конечно же, все открылось: Барбру была беременна, а уехала как ни в чем не бывало и без ребенка, как же это так вышло? Услышав, о чем речь, Гейслер коротко сказал:

— Пойдем!

Он увел Акселя подальше от дома, при этом держался куда как важно, совсем как начальство. Они сели на опушке, и Гейслер сказал:

— Ну, выкладывай!

Конечно же, все открылось, как могло быть иначе! Людей вокруг уже было много, не то что прежде, да, кроме того, у них на хуторе часто бывала Олина. При чем здесь Олина? Она-то? Да еще ко всему Бреде Ольсен с ней поссорился. Теперь Олину уж никак не обойти, она поселилась прямехонько на месте происшествия и мало-помалу все выведала у самого Акселя, она и жила-то ради темных дел, ими и кормилась, как же тут не повторить, что у нее на диво верный нюх. По правде, Олина уже слишком старая и слабая, чтоб смотреть в Лунном за домом и скотиной, ей бы отказаться от места, да разве она пойдет на это? Разве она оставит дом, где такая огромная нераскрытая загадка? Она управилась с зимними работами, кое-как скоротала лето, силы у нее таяли, но она держалась надеждой разоблачить одну из дочерей Бреде. Не успел весной сойти снег, как Олина принялась шнырять повсюду, нашла маленький зеленый холмик у ручья и сразу увидела, что холмик обложен аккуратно срезанным дерном; ей даже посчастливилось однажды застать там Акселя, когда он утапывал и заравнивал маленькую могилку. Стало быть, Акселю тоже обо всем известно. Олина кивнула седой головой — теперь, значит, ее черед!

Не сказать чтоб ей у Акселя было плохо жить, но он был изрядно скуповат, считал головки сыра и помнил наперечет каждый моток шерсти: руки у Олины были связаны. А взять его спасение в прошлом году, разве Аксель показал себя настоящим хозяином и отблагодарил ее как следует? Наоборот, он только и делал, что все время упорно старался умалить ее торжество. Ну да, говорил он, если б не Олина, ему пришлось бы всю ночь пролежать в лесу на морозе; но Бреде тоже оказал ему большую помощь, он притащил его домой! Вот и вся благодарность. Не иначе как Всевышний разгневался на людей! Ведь что стоило Акселю взять в хлеву корову, подвести ее к Олине и сказать: «Вот тебе корова, Олина!» Так нет же!

А теперь вот еще неизвестно, не обойдется ли ему это подороже коровы!

Все лето Олина подкарауливала всех, кто шел мимо хутора, шушукалась с ними, многозначительно кивала головой и поверяла свои тайны. «Только никому ни слова!» — говорила она. Несколько раз наведывалась Олина и в село. И вот по всей округе пошли слухи, они ползли, как туман, ложились на лица, набивались в уши, даже у детей, которые ходили в школу в Брейдаблике, и у тех завелись свои тайны. В конце концов волей-неволей зашевелился и ленсман, составил рапорт и получил приказ. И однажды он явился в Лунное с понятым и протоколом, учинил допрос, записал что надо и уехал. А через три недели приехал снова, продолжил допрос и записал больше прежнего и на сей раз раскопал маленький зеленый холмик у ручья и извлек оттуда детский трупик; Олина оказалась ему незаменимой помощницей, взамен ему пришлось ответить на ее многочисленные вопросы, и вот тут-то, между прочим, он заметил, что, возможно, встанет вопрос об аресте Акселя. Олина всплеснула руками, ужасаясь гнусностям, в какие угодила, и посетовала, что она здесь, а не далеко, очень далеко отсюда. «Ну, а Барбру?» — зашептала она. «Девушка Барбру, — сказал ленсман, — арестована в Бергене; правосудие пойдет своим чередом», — прибавил он. Потом забрал мертвое детское тельце и уехал...

Немудрено поэтому, что Аксель Стрём был в большом волнении. Он все рассказал ленсману, он и не думал запирается: чему он причастен, так это самому ребенку, да еще тому, что собственноручно выкопал для него могилку. И теперь он спрашивал совета у Гейслера, как

ему вести себя дальше. Неужто его повезут в город на более строгий допрос и пытки?

Гейслер держался уже не таким молодцом, как раньше, длинный рассказ утомил его, силы совсем оставили его, кто знает, отчего, может, утренний подъем уже весь выдохся. Он посмотрел на часы, поднялся с земли и сказал:

— Это надо основательно обмозговать, я подумаю. И до своего отъезда дам тебе ответ.

С этими словами Гейслер ушел.

Вернувшись вечером в Селланро, он легко поужинал и лег спать. Проспал до полудня, спал долго, отдыхал; должно быть, утомился от встречи со шведами, владельцами копей. Только через два дня он собрался в путь. Он опять был важен и величав, щедро расплатился и дал маленькой Ребекке новенькую крону.

Перед Исааком он произнес целую речь:

— Ничего не значит, что сделка не состоялась, всему свое время; а пока я приостанавливаю работы на горе. Эти люди — сущие дети — вздумали меня учить! Ты слышал, как они мне предлагали двадцать пять тысяч?

— Да, — ответил Исаак.

— Так вот, — продолжал Гейслер и мотнул головой, словно отменяя все обидные предложения и пылинки, — здешней округе не повредит, если я приостановлю работы, наоборот, люди научатся ценить свою землю. Но в селе это почувствуют. Ведь за лето туда притекло порядочно денег, все понакупили нарядных платьев и всяких разностей — теперь этому конец. Н-да, а если бы в селе отнесли ко мне по-хорошему, все могло бы быть иначе. Теперь сила-то у меня!

Однако, когда он уходил, по его виду никто бы не сказал, что у него сила: в руке он нес маленький узелок с провизией, да и жилетка на нем была далеко не белоснежной чистоты. Может, заботливая жена собирала его в эту поездку на остатки от тех сорока тысяч, которые когда-то получила. Бог знает, не так ли оно и было на самом деле. И вот теперь он вернется домой ни с чем!

На обратном пути он не забыл зайти к Акселью Стрёму и дать ему ответ.

— Я все обдумал, — сказал он, — следствие уже ведется, и, стало быть, сейчас ты ничего сделать не можешь. Тебя вызовут на допрос, и тебе придется дать показания...

Пустые общие фразы, Гейслер, наверное, и думать не думал об этом деле. Аксель на все уныло отвечает «да».

Под конец в Гейслере опять проснулся важный барин, он нахмурил брови и сказал раздумчиво:

— Вот разве что мне удастся в это время быть в городе и лично явиться в суд?

— Ах, если б так-то! — воскликнул Аксель.

Гейслер сразу же решил:

— Посмотрю, может, и успею, у меня ведь столько дел на юге. Но я постараюсь выбрать время. А пока до свидания. Я пришлю тебе косилку и борону!

Гейслер ушел.

Не последнее ли это его посещение здешних мест?

VI

Последние рабочие спускаются с горы, работы приостановлены. Гора вновь стоит мертвая.

Закончено строительство скотного двора в Селланро. На зиму его покрыли временной дерновой крышей, большое строение разделено на отдельные светлые комнаты, посредине огромная гостиная, на обоих концах по большому кабинету — словно для людей. Когда-то Исаак жил здесь в дерновой землянке вместе с козами; теперь в Селланро не осталось ни одной дерновой землянки.

Внутри обустривают стойла, хлева и закуты. Для скорости к этой работе привлекают каменщиков, Густав же говорит, что не умеет столярничать, и потому собирается уезжать. Густав отлично работал за каменщика и ворушал бревна, что твой медведь, по вечерам он веселил и забавлял всех, играл на губной гармонике, а кроме того, помогал женщинам носить тяжелые ведра с реки и на реку; но теперь он собрался ехать. Нет, столярная работа не по нем, говорит он. Похоже, он во что бы то ни стало хочет уехать.

— Остался бы до завтра, — просит Ингер.

Нет, работы для него здесь больше нету, а вдобавок до самых гор у него будут попутчики, последние рудокопы.

— Кто-то теперь поможет мне носить ведра? — говорит Ингер с печальной улыбкой.

На это у бойкого Густава сейчас же готов ответ: Яльмар. Яльмар — младший из двух каменщиков, но ни один из них не такой молодой, как Густав, и ни один не похож на него.

— Фи, Яльмар! — презрительно отзывается Ингер. Но вдруг спохватывается и, желая подзадорить Густава,

говорит: — Что ж, Яльмар не так плох. И как славно поет за работой.

— Ретивый мужик! — заявляет Густав, не поддаваясь на ее уловки.

— Неужто не можешь остаться до утра?

Нет. Попутчики уйдут тогда без него.

Да, должно быть, Густаву все это уже здорово прискучило. Что и говорить. Чудесно было выхватить ее из-под носа у всех своих товарищей и побаловаться с ней неделю-другую, что он прожил здесь; но теперь ему пора уходить, его ждут другие работы, а то и невеста на родине, у него новые виды на будущее. Не торчать же ему здесь ради Ингер. Неужто ей самой невдомек, какие у него веские причины к разрыву, но она так осмелела, стала такая беззастенчивая, что ей все нипочем. Любовь их длилась не так уж и долго, нет, но опять же, все то время, что шла каменная кладка.

Ингер и впрямь печальна, она сбилась с пути истинного, но при этом так искренна, что не может не горевать. Ей плохо, она влюблена без притворства и без жеманства. И не стыдится этого; сильная по натуре женщина, она, как и все женщины, полна слабостей, она повинуется окружающей ее природе, она охвачена осенним пламенем любви. Она собирает Густаву провизию на дорогу, а грудь ее ходуном ходит от волнения. Она не задумывается о том, имеет ли на это право и не опасно ли это, она бездумно отдается своим чувствам, она стала жадной на удовольствия, на наслаждения. И если Исаак вздумает снова поднять ее к потолку и швырнуть на пол — ну что ж, она и не станет защищаться.

Она выходит с узелком и отдает его Густаву.

У лестницы стоит загодя поставленная ею лоханка, не снесет ли ее Густав напоследок вместе с нею на реку. Может, она хочет сказать ему что-то, сунуть что-нибудь в руку, золотое кольцо, — Бог знает, она сейчас на все способна. Но когда-нибудь надо же положить этому конец. Густав благодарит ее за узелок, прощается и уходит. Уходит.

А она остается.

— Яльмар! — зовет она громко, ах, излишне громко. Словно радуется назло всему — или мечется в отчаянии.

Густав уходит...

Осенью по всей округе аж до самого села идут обычные работы, копают картошку, свозят на тока ячмень, выпускают на поля крупный скот. Восемь новых хуторов, и всюду спешка, в торговом же местечке Великом нет ни

скота, ни зеленых полей, там есть только сад; торговли, впрочем, теперь тоже нет, нет и спешки.

В Селланро в этот год посадили новый корнеплод, который называется турнепс, он стоит огромный и зеленый на полосе и колышет листьями на ветру, но от него невозможно отогнать коров, они крушат загородки и с ревом несутся на поле с турнепсом. Леопольдине и маленькой Ребекке поручено стеречь турнепсовое поле, Ребекка расхаживает с огромной хворостиной, старательно отгоняя коров. Отец работает неподалеку, изредка подходит к ней, шупает ей руки и ноги и спрашивает, не озябла ли она. Леопольдина, уже взрослая, тоже ходит за пастуха, а заодно вяжет чулки и варежки на зиму. Она родилась в Тронхейме и приехала в Селланро пяти лет, воспоминания о большом городе, где живет много-много людей, и о долгом путешествии на пароходе отходят все дальше и дальше, она дитя полей и не знает иного мира, кроме усадьбы и села, где несколько раз бывала в церкви и в прошлом году конфирмовалась...

Время от времени возникают кой-какие случайные дела, к примеру, дорога, идущая вниз, в нескольких местах стала почти непроезжей. Однажды, пока земля еще не промерзла, Исаак с Сивертом отправляются чинить дорогу. Там два болотца, их надо осушить.

Аксель Стрём обещал принять участие в этой работе, он ведь тоже обзавелся лошастью и пользуется дорогой; но Акселью почему-то понадобилось непременно поехать в город — неизвестно зачем, он только сказал, по очень важному делу. Впрочем, он прислал вместо себя своего брата из Брейдаблика. Зовут его Фредрик.

Фредрик — молодой веселый мальчик, умеет пошутить и за словом в карман не лезет; он недавно женился. Они с Сивертом похожи друг на друга. Утром, по дороге сюда, Фредрик зашел в Великое к своему ближайшему соседу Аронсену и сейчас еще полон тем, что ему сказал торговец. Началось с того, что Фредрик спросил у него пачку табаку.

— Я подарю тебе пачку табаку, как только он у меня будет, — сказал Аронсен.

— Да разве у вас нет табаку?

— Нет, и не будет, некому его покупать. Сколько, по-твоему, я заработаю на одной пачке табаку?

Аронсен пребывал в скверном настроении, он считал, что шведская компания прямо-таки его обманула: он поселился в деревне, чтоб торговать, а они взяли и прекратили все работы.

Фредрик потешается над Аронсеном и отзывается о нем не очень-то лестно.

— Да ведь он к своей земле и не притронулся,— говорит он,— у него нет даже корма для скотины, он его покупает! Он и у меня хотел купить сена, но только нет, я продажного сена не держу. «Как, разве тебе не нужны деньги!»— сказал Аронсен. Он думает, что деньги— это все, выложил на прилавок бумажку в сто крон и говорит: «Деньги!»— «Да, деньги— штука хорошая!»— говорю я. «Полный порядок!»— говорит он. Аккурат словно бы немножко помешался, а жена его и по будням ходит при часах— Бог ее знает, о каких таких часах ей непременно надо помнить.

Сиверт спрашивает:

— А не упоминал Аронсен об одном человеке по имени Гейслер?

— Как же. «Это тот, что не захотел продать свою гору»,— сказал он. Аронсен страсть как на него злится: ленсман, которого выгнали, дескать, у него за душой наверняка нет и пяти крон, его, мол, надо пристрелить! «А вы подождите немножко,— говорю я,— может, он потом продаст свою гору».— «Нет,— говорит Аронсен,— даже и не думай. Я-то ведь купец и понимаю, что, когда одна сторона запрашивает двести пятьдесят тысяч, а другая дает двадцать пять, так тут разница слишком велика, и никакой сделки выйти не может. Ну да скатертью дорожка!»— говорит Аронсен.— Я и сам был бы счастлив, если б ноги моей никогда не бывало в этой проклятой дыре!»— «Но вы ведь не собираетесь продавать усадьбу?»— спрашиваю я. «Собираюсь,— ответил он,— как раз и собираюсь. Уж это мне болото— дыра, пустыня! Я не выручаю за день и одной кроны»,— сказал он.

Они смеялись над Аронсеном, не чувствуя к нему ни капли жалости.

— Да, вот так и говорил. Он уже отпустил работника. Ничего не скажешь, чудной он какой-то, странный, этот Аронсен! Отпускает работника, который заготовил бы ему дров на зиму и свез бы сено на своей лошади, но оставляет помощника. Он и правда не выручает сейчас в день и одной кроны, потому что у него нет товаров в лавке, но тогда на что ему помощник? Разве что для гордыни и важности: вот, мол, у меня за конторкой стоит помощник и пишет в больших книгах. Ха-ха-ха, нет, он просто-напросто малость помешался, этот Аронсен!

Трое мужчин работают до обеда, закусывают из своих котомок и некоторое время беседуют. У них есть о чем поговорить, полевые и хуторские горести и радости, это не мелочи, они обсуждают их здраво, они спокойны, нервы их не издерганы, и они не делают того, что не следует. Приближается осень, леса умолкают, вон стоят горы, вон стоит солнце, вечером выйдет луна и зажгутся звезды, все прочно и твердо, полно ласки, как нежное объятие. У них есть время отдохнуть на вереске, подложив под голову руку вместо подушки.

Фредрик рассказывает про Брейдаблик, про то, что еще не так много успел сделать.

— Ну как же,— говорит Исаак,— ты уже много наработал, я видел, когда проходил мимо.

Эта похвала, сказанная старейшим в округе, самим великаном Исааком, радует Фредрика, и он почтительно спрашивает:

— Правда? Потом пойдет еще быстрее. В этом году уж больно много было помех; пришлось проконопатить избу, она протекала и совсем разваливалась, пришлось сломать и поставить заново сеновал, да и хлев был совсем маленький, а у меня ведь корова и телка— у Бреде-то вовсе не было скотины,— горделиво говорит Фредрик.

— Нравится тебе здесь?— спрашивает Исаак.

— Да, нравится, и жене тоже нравится, почему же не нравится? Место у нас открытое, все видно далеко вверх и вниз по дороге. Рощица за постройками очень красивая, березы и вербы, когда будет время, посажу еще деревья по другую сторону двора. Просто удивительно, до чего быстро просохло болото с весны, как я прокопал его. Интересно, что-то на нем нынче вырастет! Как же не нравится? Раз у нас с женой есть и дом, и свой угол, и земля?

— Так вас только двое и будет?— лукаво спрашивает Сиверт.

— Ну, знаешь, может случиться, что будет и больше,— весело отвечает Фредрик.— А раз уж мы заговорили о том, хорошо ли нам здесь живется, так я скажу, что никогда жена моя не толстела так, как нынче.

Они работают до вечера; изредка распрямляют спины и переговариваются.

— Что ж, ты так и не достал табаку?— спрашивает Сиверт.

— Нет, да мне все равно,— отвечает Фредрик.— Я ведь не курю.

— Не куришь?

— Нет. Мне просто хотелось зайти к Аронсену и послушать, что он расскажет.

Оба проказника весело смеются.

На обратном пути домой отец и сын по обыкновению молчаливы, но Исаак, видать, надумал что-то, он говорит:

— Послушай, Сиверт.

— Что?—отзывается Сиверт.

— Да нет, ничего.

Они идут дальше, потом отец начинает снова:

— Как же Аронсен может торговать, когда у него нет товаров?

— Все так,—отвечает Сиверт.—Но и людей-то здесь не так много, чтоб для них держать товары.

— Думаешь? Н-да, пожалуй что твоя правда!

Сиверта немного удивляют эти слова. Отец продолжает:

— Здесь сейчас всего восемь хуторов, но ведь со временем может стать и гораздо больше. Впрочем, нет, не знаю.

Сиверт дивится еще больше: о чем это отец? Ни о чем? Отец с сыном опять долго идет молчком и почти доходят до дому.

— Гм. Как думаешь, сколько Аронсен запросит за свой участок?—спрашивает старик.

— Вот оно что!—отвечает Сиверт.—Купить хочешь?—спрашивает он шутки ради. И вдруг его осеняет, он понимает, куда клонит отец: старик думает об Элесеусе. Должно быть, он никогда и не забывал о нем, а думал так же неотступно, как и мать, только на свой лад, мысли его были ближе к земле, ближе к Селланро.

— Цена, небось, сходная,—говорит Сиверт.

Из этих слов Сиверта отец заключает, что его поняли, и, словно испугавшись своей чрезмерной откровенности, тотчас же переводит разговор на другое и говорит о том, как хорошо, что они отремонтировали дорогу и развязались с ней.

Несколько дней после этого Сиверт с матерью то и дело подсаживались друг к дружке, совещались, шушукались и даже написали письмо, а в субботу Сиверту вдруг вздумалось пойти в село.

— Зачем это тебе опять понадобилось в село, только трепать подметки?—с досадой спросил отец, и по его

неестественно сердитому лицу было ясно: он отлично понял, что Сиверт собрался на почту.

— В церковь хочу пойти,— ответил Сиверт.

Лучше причины было не сыскать, и отец сказал:

— Да уж за чем ни на есть!

Но если Сиверт собрался в церковь, так пусть запряжет лошадь и возьмет с собой маленькую Ребекку. Почему не доставить маленькой Ребекке такое удовольствие первый раз в жизни; она ведь такая умница, все лето помогала отгонять коров от турнепса, и вообще, для всех на хуторе она что солнышко в небе. Запрягли телегу, Ребекке дали в провожатые Йенсину, чему Сиверт не противился.

Пока их нет, на хутор неожиданно является помощник из Великого. Что случилось? Да ничего, просто пришел пешком некий помощник, некий Андресен, по поручению хозяина он направляется в горы... Только и всего. Событие это не вызывает среди обитателей Селланро никакой особой суматохи, не то что прежде, когда гость на хуторе был редкостью и приводил Ингер в большее или меньшее волнение. Нет, Ингер опять ушла в себя и притихла.

Ну что за чудо этот молитвенник, как есть путеводная звезда, рука, обвивающая шею! Когда Ингер в разладе с самой собой заблудилась в ягоднике, на путь к дому вывело ее воспоминание о горенке и молитвеннике; теперь она снова сосредоточенна и богобоязненна. Она вспоминает давние годы: бывало, уколется иголкой палец за шитьем и скажет: «Черт!»— научилась от своих товарищей за большим портняжным столом. А теперь уколется до крови и молча высасывает кровь. Через какую же борьбу с самой собой надо пройти, чтобы этак перемениться? А Ингер пошла еще дальше. Когда каменный скотный двор был готов и все рабочие ушли, а хутор опустел и затих, Ингер очень мучилась, много плакала и страдала. Она никого не винила в своем отчаянии, кроме себя самой, и была полна смирения. Поговорить бы с Исааком и облегчить душу! Но в Селланро такого не водилось, чтобы кто-нибудь говорил о своих чувствах и в чем-либо каялся. И потому она только ласково звала мужа обедать и ужинать, а если он, случалось, работал неподалеку от дома, шла к нему, а не кричала с порога, по вечерам же осматривала его платье и прикрепляла пуговицы. Но Ингер на этом не остановилась. Однажды ночью она приподнялась на локте и сказала мужу:

- Послушай, Исаак!
- Чего тебе?— спросил Исаак.
- Ты не спишь?
- Ну?

— Нет, ничего,— говорит Ингер.— А только я была не такая, как надо.

— Чего?— недоуменно спрашивает Исаак и тоже приподнимается на локте.

Они лежат и разговаривают. Она все-таки редкостная женщина, и на сердце у нее тяжело.

— Я была для тебя не такою, как надо,— говорит она.— И оттого мне так тяжело!

Эти простые слова умиляют его, умиляют мельничный жернов: ему хочется утешить Ингер, он не понимает, в чем, собственно, дело, понимает только, что другой такой, как она, нет.

— Вот уж о чем не стоит плакать,— говорит Исаак,— никто не бывает таким, как надо.

— Ах! Нет, нет,— с благодарностью отвечает она.

У Исаака такие здравые понятия о вещах, он как никто другой умеет выпрямить то, что покосилось. Кто из нас таков, каким бы должен быть? Исаак прав; даже он, бог своего собственного сердца, который ведь все-таки бог, пускается порой на приключения, и тогда видно, какой он дикий: нынче зароется в грудь роз и смотрит на них, как кот на сметану, а завтра занозит ногу шипом и вытаскивает его с гримасой отчаяния. Умирает он от этого? Вовсе нет, каким был, таким и остается. Еще бы не хватало, чтоб он умер!

Оправилась от своих переживаний и Ингер, она пережила свое горе, но осталась верна благочестивым размышлениям и находит в них надежное утешение. Ингер неизменно прилежна, терпелива и добра, она ставит Исаака выше других мужчин и смотрит на мир его глазами. С виду он, конечно, не красавец и певец из него никакой, но он еще хоть куда, ого-го! Спросите-ка ее! И опять вышло, что набожность и нетребовательность — большое благо.

И вот явился этот коротышка-помощник из Великого, этот Андресен; явился он в Селланро в воскресенье, и Ингер не взволновалась, совсем напротив, даже не удосужилась подать ему сама кринку молока, а так как работницы не было дома, послала вместо себя Леопольдину. И Леопольдина отлично справилась с поручением, и сказала: «Пожалуйста», и вся вспыхнула, хотя

одета была по-воскресному, и не от чего было ей стесняться.

— Спасибо, напрасно ты беспокоилась! — сказал Андресен и спросил: — Отец твой дома?

— Должно, вышел куда-нибудь.

Андресен выпил молоко, утер носовым платком рот и посмотрел на часы.

— Далеко отсюда до рудника? — спросил он.

— Нет. Час ходьбы, а то и меньше.

— Я иду туда по поручению Аронсена, я его помощник.

— Ну?

— Разве ты меня не знаешь? Я помощник у Аронсена. Ты же приходила к нам за покупками?

— Да.

— Я тебя хорошо помню, — сказал Андресен, — ты два раза приходила за покупками.

— Не ожидала я, что вы меня запомните, — ответила Леопольдина, но тут силы ей изменили, и она ухватилась за стул.

Андресену силы не изменили, он расхрабрился и сказал:

— Как же мне тебя не запомнить! — И прибавил: — А ты не можешь пойти со мной на гору?

Перед глазами у Леопольдины замелькали какие-то удивительные красные круги, пол поплыл из-под ног, а голос помощника Андресена донесся откуда-то совсем издалека:

— Тебе некогда?

— Да, — ответила Леопольдина.

Бог знает как она добралась до кухни. Мать взглянула на нее и спросила:

— Что с тобой?

— Ничего.

Ничего — ну конечно! Просто и для Леопольдины настал черед волноваться, начинать свой бег по кругу. Она весьма для этого годилась, вытянулась, похорошела, только что конфирмовалась, жертва хоть куда. В юной груди ее трепыхается птичка, длинные руки, как и у матери, полны нежности, женственности. А разве она не умеет танцевать? Еще как! Удивительно, где только они научились, но и Сиверт, и Леопольдина умели танцевать — и местный деревенский танец, который они отплясывают с разными коленцами, и шотландку, и мазурку, и рейнлендер, и вальс. А наряжаться, влюбляться и грезить

наяву—разве Леопольдина всего этого не умела? Точь-в-точь как другие! В церкви мать дала ей надеть свое золотое кольцо, какой же тут грех, только красиво, к тому же на следующий день, когда ей предстояло причащаться, кольца ей уже не дали и она простояла без кольца до окончания всей церемонии. Отчего же ей и не надеть в церковь золотое кольцо, она ведь дочь богатого человека, самого маркиграфа.

На обратном пути с горы помощник Андресен застал Исаака дома, и его пригласили зайти. Угостили обедом и кофе. Все домашние были в горнице и приняли участие в беседе. Помощник объяснил, что Аронсен послал его поглядеть, как обстоят дела на руднике, не видать ли признаков, что скоро опять начнется работа. Бог вещь, может, помощник и наврал, что его послали, он мог и сам по себе затеять эту прогулку, во всяком случае отсутствовал он так недолго, что нипочем за это время не мог добраться до рудника.

— Снаружи-то не очень разглядишь, собирается компания дальше работать или нет,— сказал Исаак.

— Верно,— согласился помощник, но Аронсен все же послал его, да и в четыре глаза разглядишь все-таки больше, чем в два.

Тут Ингер не удержалась и спрашивает:

— Правду ли говорят, будто Аронсен собирается продавать усадьбу?

Помощник отвечает:

— Поговаривают. Такой человек, как он, может делать, что захочет, у него на все хватит средств.

— У него так много денег?

— Ясное дело,— отвечает помощник и кивает головой,— уж не без того.

Не в силах смолчать, Ингер спрашивает:

— Сколько же он хочет за свой участок?

Тут вмешивается Исаак, любопытство разбирает и его, может, еще больше, чем Ингер, но мысль о покупке Великого никак не должна исходить от него, он отмахивается от нее и говорит:

— И чего ты пристала, Ингер?

— Да так просто,— отвечает она.

Оба смотрят на помощника Андресена и ждут. Наконец тот отвечает.

Он отвечает очень сдержанно, что цены не знает, знает только со слов Аронсена, во сколько ему обошлось Великое.

— Во сколько же? — спрашивает Ингер, снова не в силах удержать язык за зубами.

— В тысячу шестьсот крон, — отвечает помощник.

— Неужто! — Ингер мгновенно всплескивает руками, вот уж в чем женщины не знают никакого толку, так это в ценах на земельные участки. Но, впрочем, тысяча шестьсот крон — сумма и сама по себе для деревни не маленькая, и Ингер боится одного: как бы она не отпугнула Исаака. Но Исаак аккурат что скала.

— Постройки-то там большие! — только и говорит он.

— Да, — соглашается помощник Андресен, — много разных служб!

Перед самым уходом помощника Леопольдина потихоньку выскользнула за дверь. Как замечательно, должно быть, подать ему руку, хотя это и представляется почти невозможным. Но она выискала себе хорошее местечко: стоит в каменном скотном дворе и выглядывает из окошка. На шее у нее голубая шелковая ленточка, раньше ее не было, когда она только успела ее надеть! Вот он идет — чуток низковат ростом, кругленький, крепкие ноги, белокурая борода, лет на восемь — десять старше ее. Как будто бы ничего!..

А в ночь на понедельник возвращаются из села Сиверт с Ребеккой и Йенсиной. Все сошло хорошо, Ребекка последние несколько часов спала, и так, сонную, ее вытаскивают из телеги и вносят в дом. Сиверт узнал много новостей, но когда мать спрашивает:

— Что-нибудь слышал нового? — он отвечает:

— Да ничего особенного. Аксель завел косилку и борону.

— Правда? — с интересом спрашивает отец. — Ты видел?

— Сам видел. Стоят на пристани.

— Ага, так вот зачем он ездил в город! — говорит отец.

У Сиверта полным-полно еще более любопытных новостей, но он не произносит больше ни слова.

Пусть отец думает, что дело, за которым Акселю Стрёму понадобилось съездить в город, — покупка косилки и бороны; пусть и мать тоже так думает. Да только никто из них так не думал, они уже довольно наслушались, что поездка эта связана была с недавним детоубийством, раскрытом в их местах.

— Ну ладно, ступай ложись! — говорит наконец Исаак.

Сиверт уходит и ложится, его так и распирает от новостей. Аксея вызвали на допрос по важному делу, с ним поехал и ленсман. Дело было настолько важное, что даже жена ленсмана, у которой опять родился ребенок, оставила ребенка и тоже отправилась в город вместе с ними. Она объяснила, что хочет сказать словечко прижизненным.

По селу во множестве ходили всякие сплетни и слухи, и от Сиверта не укрылось, что вспомнили тут и про другое, старое детоубийство. При его приближении разговоры возле церкви смолкли, и будь он не тем, кем был, люди, возможно, отвернулись бы от него. Хорошо быть Сивертом: во-первых, сын богатого человека, владельца большой усадьбы, к тому же и сам по себе толковый парень, работяга, его ставили в пример и уважали. Он всегда пользовался общей любовью. Только бы Йенсина не наслушалась лишнего до их отъезда домой! У Сиверта был свой резон для беспокойства, ведь и деревенские люди тоже могут краснеть и бледнеть. Он видел, как Йенсина вышла из церкви с маленькой Ребеккой, она тоже его заметила, но молча прошла мимо. Он подождал немножко, потом подъехал к дому кузнеца, чтоб забрать Йенсину и сестренку.

Все сидят за обедом, весь дом обедает. Сиверта тоже приглашают к столу, но он уже закусил, спасибо! Они ведь знали, что он придет, могли б немножко и подождать; у них, в Селланро, подождали бы, здесь — нет!

— Конечно, у нас не такая еда, к какой ты привык дома,— говорит кузнечиха.

— Что нового узнал в церкви?— спрашивает кузнец, хотя тоже был там.

Когда Йенсина с Ребеккой уселись в телегу, кузнечиха говорит дочери:

— Ну что ж, Йенсина, пора тебе поскорее возвращаться домой!

Это можно понять надвое, подумал Сиверт, потому и не вмешался. Но выразишь она немножко пояснее — и он бы уж обязательно ответил! Он хмурит брови и ждет — но нет, больше она ничего не говорит.

Они едут домой, разговаривает одна маленькая Ребекка, она полна впечатлений от виденного в церкви: священник в ризе с серебряными крестами, паникадило, орган. Много спустя Йенсина говорит:

— Какой стыд, с Барбру-то!

— На что это твоя мать намекала, когда сказала, что тебе надо поскорее возвращаться домой?— спрашивает Сиверт.

— На что намекала?

— Ты хочешь от нас уехать?

— Когда-нибудь придется же вернуться домой.

— Тпр-ру!— Сиверт останавливает лошадь.— Хочешь, я поверну и отвезу тебя сейчас же?

Йенсина смотрит на него, он бледен как мертвец.

— Нет,— отвечает она и начинает плакать.

Ребекка с удивлением посматривает то на одного, то на другую. О, маленькая Ребекка оказалась как нельзя более кстати в этой поездке, она взяла сторону Йенсины, погладила ее и заставила улыбнуться. А когда пригрозила брату, что спрыгнет с телеги и принесет для него хорошую розгу, невольно улыбнулся и Сиверт.

— А теперь я спрошу: на что намекал ты?— сказала Йенсина.

Сиверт, не раздумывая, ответил:

— Я хотел сказать, что, если ты хочешь от нас уехать, мы попробуем обойтись и без тебя.

Позже Йенсина говорит:

— Да, конечно, Леопольдина уже подросла и вполне может исполнять мою работу.

Обратный путь домой вышел очень печальный.

VII

В гору поднимается человек. Ветрено, льет дождь, началась осенняя распутица, но человек не обращает на это никакого внимания, он весел с виду, и на душе у него весело—это Аксель Стрём, он возвращается с допроса, его оправдали. И он рад: во-первых, на пристани стоят его новенькие косилка и борона, а во-вторых, его оправдали. Он не принимал участия в убийстве ребенка. Вот как бывает на свете!

Но что ему пришлось пережить! Когда он стоял перед судом и давал показания, ему, неутомимому труженику, эта работа показалась самой тяжкой в его жизни. Ему не было никакого расчета усугублять вину Барбру, поэтому он всячески старался не сказать лишнего, рассказал даже не все, что знал, каждое слово пришлось из него вытягивать, и большей частью он отвечал только «да» и «нет». Ну не довольно ли уже? Надо ли раздувать дело? Много

раз казалось, что оно принимает совсем серьезный оборот, высокое начальство в черных-пречерных сюртуках смотрело так грозно, им ничего не стоило немногими словами повернуть все на плохое и, пожалуй, добиться его осуждения. Но они оказались добрыми людьми, не захотели его погибели. Да кроме того, в спасение Барбру включились могущественные силы, а это должно было пойти на пользу и ему.

Господи помилуй, что же его ожидало?

Ведь сама Барбру навряд ли станет говорить во вред своему бывшему хозяину и возлюбленному — он сидел, мысленно возвращаясь и к этой ужасной истории, и к другой, что была раньше, — не так уж Барбру глупа. Нет, Барбру оказалась достаточно умна, она расхвалила Акселя, сказала, что он решительно ничего не знал о родах, до того как все кончилось. Он немножко чудной, и они между собой не ладили, но он человек смиренный и, вообще, замечательно хороший человек. А что он выкопал новую могилку и переложил в нее тельце, так случилось это уже много спустя, и сделал он это оттого, что ему показалось, будто прежняя могилка сыровата, хотя она и была сухая, а только Аксель такой уж чудной.

Так что же могло грозить Акселю, раз Барбру принимала всю вину на себя? За Барбру же вступили в бой могучие силы. Вступила в бой госпожа ленсманша Хейердал.

Не щадя себя, она обошла и высших и низших, потребовала, чтоб ее допросили в качестве свидетельницы, и произнесла на суде целую речь. Когда настала ее очередь, она предстала перед судом с видом важной дамы; она поставила вопрос о детоубийстве во всем его объеме и прочитала суду целую лекцию; похоже было, будто она предварительно добилась разрешения на это. Можно было иметь о ленсманше какое угодно мнение, но что-то, а говорить она умела, и в политике и в общественных вопросах разбиралась очень хорошо. Просто удивительно, откуда у нее брались слова. Временами председателю явно хотелось вернуть ее к существу дела, но, должно быть, у него не хватало духу ей помешать, и он так и не прервал ее. А в заключение она даже внесла два весьма практических совета и сделала суду предложение, возбудившее всеобщий интерес.

Все произошло — не входя в юридические тонкости — следующим образом.

— Мы, женщины,— сказала ленсманша,— несчастная и угнетенная половина человечества. Законы создают мужчины, мы же, женщины, не имеем в этой области никакого влияния. Но разве мужчина способен понять, что значит для женщины родить дитя? Довелось ли ему испытать страх, довелось ли пережить ужасные муки и страдания, исторгать крики боли?

В данном случае ребенка родила служанка, наемная работница. Она не замужем, следовательно, вынашивая ребенка, она должна все время это скрывать. Почему она должна это скрывать? Ради общества. Общество презирает незамужнюю женщину, ожидающую ребенка. Оно не только не охраняет ее, но преследует ее презрением и позором. Разве это не ужасно? Ведь это должно бы возмутить всякого человека с сердцем! Девушке не только предстоит родить на свет ребенка, что и само-то по себе, казалось бы, довольно тяжело, с ней к тому же обращаются как с преступницей. Я готова сказать, что девушке, сидящей на скамье подсудимых, выпала редкая удача: ее ребенок по несчастной случайности появился на свет в ручье и захлебнулся. Это счастье и для нее самой, и для ребенка. Пока общество остается таким, каково оно есть сейчас, незамужнюю мать следует освободить от наказания даже за убийство своего ребенка.

С того места, где сидит председатель суда, слышится слабое ворчанье.

— Или, по крайней мере, назначать лишь самое незначительное наказание,— продолжала ленсманша.— Разумеется, мы все согласны с тем, что жизнь детей надлежит охранять,— говорила она,— но неужели абсолютно ни один из гуманных законов не распространяется на несчастную мать?— вопрошала она.— Попробуйте представить себе, что она пережила за время беременности, какие муки вытерпела, скрывая свое состояние и не зная, что ей делать с собой и будущим ребенком. Ни один мужчина не в состоянии представить себе этого. Так или иначе, ребенка она убивает из добрых побуждений. Мать не настолько жестока к себе и к своему дорогому малютке, чтоб оставить ему жизнь, ей слишком тяжело нести свой позор, под его бременем в ней созревает план убить дитя. И вот она родит его тайком и в течение двадцати четырех часов находится в таком расстройстве чувств, что во время совершения самого убийства полностью невменяема. Она, если можно так выразиться, почти не совершила его, до того было велико охватившее ее без-

умие. У нее еще болит после родов каждая косточка, каждый суставчик, а ей предстоит убить ребенка и поскорее спрятать труп — подумайте только, какого напряжения воли требует все это! Конечно же, мы все хотим, чтоб дети оставались жить, и можем только сожалеть, что некоторых из них лишают жизни. Но это вина самого общества, тупого, жестокого, погрязшего в сплетнях, объятаго жаждой преследования, злобного общества, в любую минуту готового всеми средствами задушить незамужнюю мать!

Но даже и при таком обращении со стороны общества злополучные матери поднимаются и возвращаются к жизни. Нередко именно после такого социального проступка в этих девушках начинают развиваться лучшие и благороднейшие качества их души. Присяжные могут поинтересоваться у заведующих приютами, принимающих таких матерей и детей, правда ли это. Опыт показывает, что именно те девушки, которые... которых общество вынудило убить свое дитя, становятся образцовыми нянями. Обстоятельство, думается нам, дающее пищу для размышлений.

Теперь о другой стороне дела: почему оставляют на свободе мужчину? Мать, совершившую детоубийство, бросают в тюрьму, подвергая мучениям, но отца ребенка, истинного соблазнителя, не трогают. Однако, будучи виновником зачатия ребенка, он несет и известную долю участия в его убийстве, и даже наибольшую долю: не будь его — не случилось бы и несчастья. Так почему же он остается на свободе? Да потому, что законы создаются мужчинами. Вот вам и ответ. Остается лишь молить небо о защите от этих мужских законов! И так будет всегда, до тех пор пока мы, женщины, не получим права голоса на выборах и в стортинге.

Но когда, — продолжала ленсманша, — такая жестокая судьба уготована виновной — или более виновной — незамужней матери, совершившей детоубийство, то что сказать о невинной, только подозреваемой в убийстве и его не совершавшей? Какую компенсацию предлагает общество этой жертве? Никакой! Я удостоверяю, что знаю сидящую здесь подсудимую с детства, она служила у меня, отец ее состоит приставом у моего мужа. Мы, женщины, позволяем себе думать и чувствовать, идя наперекор обвинениям и преследованиям мужчин, мы позволяем себе иметь собственное мнение. Сидящая здесь девушка арестована и лишена свободы по подозрению в том, что,

во-первых, родила ребенка тайком и, во-вторых, убила своего ребенка. Она — и в этом я не сомневаюсь — не совершала ни того, ни другого; присяжные сами придут к этому ясному, как день, заключению. Соккрытие родов? Но она рождает ребенка среди бела дня. Правда, она одна, но кому же быть при ней? Она живет в глуши, единственный человек в доме, кроме нее самой, — мужчина, неужели же ей призывать его в такой момент? Нас, женщин, такая мысль возмущает, от такой мысли мы стыдливо опускаем глаза. Она убила свое дитя? Она родила его в ручье, она лежит в ледяной воде и рождает. Каким образом она попала в ручей? Она служанка, следовательно, рабыня, каждый день у нее куча дел, ей нужно пойти в лес за можжевельником для мытья деревянной посуды; переходя через ручей, она оступается и падает в воду. Она лежит, не в силах подняться, ребенок рождается и захлебывается в воде.

Ленсманша останавливается. По лицам присяжных и слушателей она видит, что говорила очень хорошо, в зале царит полная тишина, никто не шелохнется, только Барбру от волнения изредка утирает глаза. Ленсманша заканчивает следующими словами:

— У нас, женщин, есть сердце. Я бросила своих детишек на чужих людей, чтоб приехать сюда и дать показания в пользу сидящей здесь несчастной девушки. Законы, принятые мужчинами, не могут запретить женщинам думать: я считаю, эта девушка уже достаточно наказана за то, что не сделала ничего дурного. Оправдайте же ее, и я возьму ее к себе. Она будет самой лучшей няней из всех, какие у меня были.

Ленсманша умолкает.

— Но ведь, по словам свидетельницы, такие замечательные няни выходят именно из детоубийц? — замечает председатель.

Впрочем, председатель вовсе не принял речь ленсманши Хейердал в штыки, нет-нет, он тоже чрезвычайно гуманен, по-пастырски сострадателен. Когда затем прокурор стал задавать ленсманше вопросы, председатель большей частью сидел молча, делая какие-то пометки в бумагах.

Судебное разбирательство проходило утром, свидетелей было мало, а самое дело, по сути, сложностью не отличалось. Аксель Стрём уж было стал надеяться на благоприятный исход, как вдруг ленсманша и прокурор словно объединились, чтобы доставить ему неприятности

за то, что он похоронил ребенка, а не заявил о его смерти. Его стали допрашивать со всей возможной строгостью, и, может быть, ему не так-то легко было бы доказать свою невиновность по этому пункту, если б он вдруг не заметил в конце залы Гейслера. Совершенно верно: там сидел Гейслер. Это дало Акселю некоторую опору, он сразу почувствовал себя не одиноким перед лицом начальства, задумавшего его погубить. Гейслер кивнул ему.

Да, Гейслер приехал в город. Приехал не затем, чтобы выступить в качестве свидетеля, но на суде присутствовал. Несколько дней, предшествующие разбирательству, он употребил на ознакомление с делом и на запись того, что ему запомнилось из рассказа самого Акселя в Лунном. Бóльшая часть документов, на взгляд Гейслера, никуда не годились, этот ленсман Хейердал, человек весьма ограниченный, в протоколе допроса постарался изобразить Акселя соумышленником детоубийства. Дурак, идиот, он не имел никакого понятия о жизни в деревне, не понимал, что именно ребенок, как никто другой, мог привязать к хутору Акселя столь необходимую ему помощницу!

Гейслер переговорил с прокурором, и у него сложилось впечатление, что в этом не было особой нужды: он хотел помочь Акселю вернуться обратно на хутор, к земле, но Аксель в помощи вовсе не нуждался. Потому что для самой Барбру обстоятельства складывались наилучшим образом, а с ее оправданием отпадает и вопрос о соучастии Акселя. Все зависело от показаний свидетелей.

Допросили немногих свидетелей—Олину в суд не вызывали, вызвали только ленсмана, эксперта, двух-трех девушек из села; после допроса наступил обеденный перерыв, и Гейслер опять отправился к прокурору. Тот по-прежнему был уверен в благоприятном для девицы Барбру решении. Показания ленсманши Хейердал оказались чрезвычайно вескими. Теперь все зависело от присяжных.

— Вы так заинтересованы в этой девушке?—спросил прокурор.

— Отчасти,—ответил Гейслер.—Скорее, в мужчине.

— Она тоже у вас служила?

— Нет, он у меня не служил.

— Мужчина не служил. А девушка? Сочувствие суда на ее стороне.

— И она у меня не служила.

— Мужчина вызывает гораздо больше подозрений,— сказал прокурор.— Идет совершенно один к ручью и хоронит детский трупик в лесу. Весьма подозрительно.

— Наверное, он просто хотел его похоронить,— сказал Гейслер,— ведь сначала этого не сделали.

— Но она женщина, она не обладает мужской силой, чтобы выкопать могилу. Да и в том состоянии, в каком она находилась, на большее она не была способна. А в общем и целом,— сказал прокурор,— мы дожили наконец до того, что верх взяли более гуманные воззрения на эти дела о детоубийстве. На месте присяжных я бы не решился вынести этой девушке обвинительный приговор, и после всего, что выяснилось на суде, я не стану требовать ее осуждения.

— Рад слышать это! — сказал Гейслер и поклонился.

Прокурор продолжал:

— Как человек и частное лицо, я пойду еще дальше: я не буду выносить обвинительный приговор ни одной незамужней матери, лишившей жизни своего ребенка.

— Интересно,— сказал Гейслер,— сколь единодушны господин прокурор и дама, дававшая сегодня свидетельские показания.

— Что ж! Впрочем, она очень хорошо выступила. А и в самом деле, к чему все эти приговоры? Незамужние матери уже заранее вынесли такие неслыханные муки и низведены на такую низкую ступень человеческого существования жестокостью и грубостью общества, что это само по себе уже достаточное наказание.

Гейслер поднялся и сказал:

— А как же дети?

— Да,— ответил прокурор,— что касается детей, то все это очень прискорбно. Но, в конечном счете, это Божье благословенье и для детей. В особенности для таких незаконнорожденных детей — какая им уготована судьба? Что из них выходит?

То ли Гейслеру захотелось подразнить кругленького человечка, то ли вздумалось разыграть из себя мистика и философа, но он сказал:

— Эразм был незаконнорожденный.

— Эразм?

— Эразм Роттердамский.

— Неужели?

— Леонардо был незаконнорожденный.

— Леонардо да Винчи? Вот как! Да, разумеется, бывают исключения, иначе не было бы и правил. Но в общем и целом...

— Мы оберегаем птиц и зверей,—сказал Гейслер,—и как-то странновато не оберегать младенцев.

В знак окончания беседы прокурор медленно, с достоинством потянулся за какой-то из лежавших на столе бумаг.

— Да,—рассеянно проговорил он,—да, да, конечно.

Гейслер поблагодарил его за необычайно поучительную беседу, которой удостоился, и вышел.

Он снова сел в зале суда, чтобы своевременно быть на месте. Наверное, ему льстило сознание своей силы: ведь он знал о разрезанной на полосы рубашке, которую взяли для... для того, чтоб увязать в нее ветки, о детском трупике, выловленном однажды из залива, он мог бы здорово озадачить суд, одно его слово сейчас стоило тысячи мечей. Но Гейслер, видимо, не собирался без особой необходимости произносить это слово. Все ведь складывалось отлично, даже общественный обвинитель стоял на стороне обвиняемой.

Зал наполнился публикой, суд занял свои места.

Началась интересная для маленького городка комедия: грозная торжественность прокурора, взволнованное красноречие защитника. Присяжные сидели и внимали тому, что им надлежит думать о девице Барбру и о смерти ее ребенка.

Да и то сказать: разобраться во всем этом было совсем не просто. Прокурор был красивый мужчина и, несомненно, добрый человек, но, должно быть, его перед самым заседанием что-то рассердило, или он вспомнил, что призван защищать определенную позицию норвежского правосудия. Господь его знает! Непонятно, но он уже не проявлял прежней снисходительности. Он порицал содеянное злодеяние, если оно было совершено,—разумеется, сказал он, это была бы мрачная страница, если б можно было с уверенностью сказать, что она действительно столь мрачна, как позволяют думать и полагать свидетельские показания. Все должны решить присяжные. Он хочет обратить их внимание на три пункта: пункт первый—налицо ли факт сокрытия рождения ребенка и ясен ли этот вопрос для судей. Он сделал на этот счет несколько замечаний от себя. Пункт второй—тряпка, половина разорванной рубашки: для чего обвиняемая взяла ее с собой? В ожидании, что она ей понадобится?

Он подробно развил эту мысль. Пункт третий — поспешные и подозрительные похороны, без уведомления пастора и ленсмана о факте смерти. Здесь главным действующим лицом становится мужчина, и присяжным чрезвычайно важно составить себе об этом верное суждение. Ведь ясно же, что если мужчина был сообщником и потому совершил погребение по собственному почину, то его работница совершила, несомненно, преступление, коего он сделался сообщником.

— Гм! — пронеслось по залу.

Аксель Стрём опять сообразил, что он в опасности, поднял голову и не встретил ни одного взгляда, все следили глазами за оратором. Но в дальнем конце зала сидел Гейслер, вид у него был чрезвычайно важный, словно он вот-вот лопнет от гордости, нижняя губа выпячена, голова запрокинута к потолку. Это неслыханное равнодушие к громам правосудия и это «гм!», брошенное к потолку, подбодрили Акселя, и он опять почувствовал, что не остался один на один со всем светом.

И вот дело пошло на поправку: прокурор, видимо, решил, что, пожалуй, довольно, — он так щедро посеял семена недоверия и злобы против Акселя, что пора остановиться. Каким-то образом он и вовсе пересмотрел свою позицию, не потребовав даже осуждения. Под конец своей речи он напрямик заявил, что на основании имеющихся улик он не решается настаивать на обвинительном приговоре.

«Да ведь это отлично! — должно быть, подумал Аксель. — Скоро, значит, конец!»

Тут слово взял защитник, молодой человек, учившийся на юриста и получивший защиту в этом замечательном деле. Ну и речь же он закатил! Кто другой сумел бы так блестяще защитить невинность, как он! В сущности, ленсманша Хейердал опередила его и утром утащила несколько его аргументов, он был крайне недоволен тем, что она уже воспользовалась возможностью обратиться к обществу — у него и у самого было так много что сказать этому обществу! Он сердился на председателя, что тот не прервал ее, ведь она явно нарушила судебную процедуру. Что же осталось для него?

Он начал с первых шагов на жизненном пути девицы Барбру Бредесен.

— Она родом из бедной семьи, впрочем, дочь работающих и почтенных родителей; вынужденная уже в ранней юности пойти в услужение, она поступила сперва в семью

ленсмана. Мы слышали сегодня отзыв о ней ее хозяйки, госпожи Хейердал, более прекрасного отзыва трудно себе представить. Барбру переехала в Берген.— Защитник подробно остановился на глубоко прочувствованной рекомендации двух конторщиков из Бергена, у которых она служила, пользуясь их полным доверием.— Затем Барбру снова вернулась домой, чтобы вести хозяйство у холостого мужчины на отдаленном хуторе. Здесь-то и начались ее несчастья.

Она забеременела от этого холостого мужчины. Почтенный прокурор намекнул—впрочем, наиразумнейшим и осторожнейшим образом—на сокрытие родов. Но разве Барбру скрывала свое состояние, разве она отрицала его? Две свидетельницы, девушки из ее родного села, показали, что сразу поняли, что она беременна, но, когда они спросили об этом Барбру, она вовсе этого не отрицала, а просто пропустила их вопрос мимо ушей. Так обычно и поступают в такой ситуации молодые девушки—пропускают мимо ушей. Больше Барбру никто ни о чем не спрашивал. Пошла ли она к своей хозяйке и призналась ли ей? У нее не было хозяйки. Она сама была себе хозяйкой. У нее был хозяин, но молодая девушка ни за что не пойдет с такой тайной к мужчине, она несет свой крест в одиночку, она не поет, она не шепчет, она молчит. Она ни от кого не прячется, не ищет уединения.

Рождается ребенок; это доношенный, нормально сложенный мальчик, он жил и дышал после рождения, но погиб. Присяжным известны обстоятельства этих родов: они произошли в воде, мать упала в ручей и рожала в воде,—она не в состоянии спасти ребенка, она лежит, и сама лишь много спустя смогла выбраться на берег. И ведь никаких признаков насилия на теле ребенка не обнаружено, никаких следов, никто не хотел его смерти, он просто захлебнулся в воде. Невозможно найти более естественного объяснения.

Почтенный прокурор намекнул на тряпку, считая то обстоятельство, что она взяла с собой кусок оторванной рубашки, весьма темным. Но нет ничего яснее этой неясности: она взяла с собой тряпку, чтобы увязать в нее можжевельник. Она могла бы взять—ну, скажем, наволочку, но взяла тряпку. Что-то же ей нужно было взять, не нести же ей можжевельник просто в руках. Нет, в этом отношении присяжные могут быть совершенно спокойны!

Но вот другое обстоятельство уже не представляется столь ясным: имела ли обвиняемая ту поддержку и заботу, каких требовало тогда ее состояние? Проявлял ли хозяин по отношению к ней заботливость? Хорошо, если так! На допросе девушка отзывалась о своем хозяине с благодарностью, это говорит о ее доброте и благородстве. Сам мужчина, Аксель Стрём, в своих показаниях тоже не бросил в нее камня, не утяжелил бремени обвиняемой и не порочил ее — и поступил безусловно правильно, чтобы не сказать умно: ведь спасти его может только она. Взвалить на нее вину значило бы, в случае ее осуждения, самому разделить с ней кару.

Невозможно погрузиться в материалы настоящего дела, не испытав при этом живейшего сострадания к этой молодой девушке, такой покинутой и заброшенной. И все же она нуждается не в милосердии, а лишь в справедливости и понимании. Она и ее хозяин некоторым образом помолвлены, но несходство характеров и глубокая разница интересов не позволяют им вступить в брак. С этим мужчиной эта девушка не может связать своего будущего. Сколь ни прискорбно, но нам снова придется вернуться к тому факту, что она взяла с собой тряпку: если говорить все до конца, то ведь девушка взяла не одну из своих рубашек, а рубашку хозяина. Мы уже задавали себе вопрос: кто предоставил в ее распоряжение эту рубашку? И здесь, думается нам, весьма вероятно возможность, что в игре замешан мужчина.

— Гм! — раздалось в конце зала, и прозвучало так громко и твердо, что оратор умолк, и все стали искать глазами виновника заминки. Председатель метнул в ту сторону строгий взгляд.

— Но, — продолжал защитник, оправившись, — и в этом пункте мы можем быть спокойны, благодаря самой подсудимой. Хотя, казалось бы, в ее интересах разделить вину, она этого не сделала. Она самым решительным образом отрицала, что Аксель Стрём знал о том, что, отправляясь к ручью — я хочу сказать, в лес, за можжевельником, — она взяла вместо своей его рубашку. У нас нет ни малейших оснований сомневаться в показаниях обвиняемой, до сих пор они успешно выдерживали проверку, то же самое и в данном случае: если бы она взяла рубашку из рук мужчины, это бы предполагало и совершение детоубийства, обвиняемая же не хочет, чтобы ее правдивость способствовала обвинению этого человека за несодетянное преступление. В общем, она вела

себя на допросе чистосердечно и откровенно и не пожелала бросить тень на кого-либо другого. Эта ее черта — благородство — проявляется во всем: так, она самым тщательным образом, с большим старанием запеленала маленький детский трупик. В таком виде его и нашел в могиле ленсман.

Председатель — порядка ради — обращает внимание на то, что ленсман нашел могилу номер два, а ведь там похоронил ребенка Аксель.

— Да, это верно, и я очень благодарен господину председателю! — говорит защитник со всей подобающей юристу почтительностью. — Да, так оно и было. Но ведь Аксель сам заявил, что он всего лишь и сделал, что перенес тельце в новую могилу и там закопал его. Не подлежит также сомнению, что женщина умеет спеленать ребенка лучше, нежели мужчина, а кто спеленает его лучше всех? Конечно же мать, своими нежными материнскими руками!

Председатель кивает головой.

— Дальше. Разве не могла эта девушка — если бы она была другого склада — разве не могла она похоронить ребенка голеньким? Я готов даже допустить, что она могла бы бросить его в мусорный ящик. Могла бы оставить его лежать на земле под деревом и он бы замерз — конечно, в том случае, если б он уже не был мертв. Она могла, улучив минуту, сунуть его в горящую печь и сжечь. Могла отнести в Селланро и бросить в речку. Ничего такого эта мать не сделала, она запеленала мертвого ребеночка и похоронила его. И если, когда его нашли, он был аккуратно запеленат, значит, его запеленала женщина, а не мужчина.

А теперь, — продолжал защитник, — присяжным предстоит решить, что же осталось от вины девицы Барбру. По совести, совсем немного, по моему глубокому убеждению как защитника, не осталось ничего. Правда, присяжные вправе судить ее за то, что она не заявила о случае смерти. Но ведь ребенок уже умер, произошло это в глуши, за много миль от пастора и ленсмана, и пусть он спит вечным сном в уютной могилке в лесу. Если преступлением является тот факт, что его похоронили там, то обвиняемая разделяет это преступление с отцом ребенка; но уж это преступление можно простить. Мы все более и более отходим от мысли карать людей за совершенные ими преступления, мы исправляем преступников. Это в прежние времена полагалось наказывать за все что

угодно, тогда надо всем царила мстительная заповедь Ветхого Завета: око за око, зуб за зуб! Но нет, дух современного законодательства уже не таков. Современное правосудие гуманно, оно в той или иной мере старается принять во внимание склад характера, присущий упомянутому лицу.

Не судите же строго эту девушку! — продолжал защитник. — Наша задача не в том, чтобы заполучить лишнего преступника, а в том, чтобы вернуть обществу доброго и полезного его члена.

Защитник указал, что на новом месте обвиняемая будет находиться под самым тщательным присмотром: супруга ленсмана Хейердала, много лет зная девицу Барбру и обладая богатым материнским опытом, широко раскрыла перед нею двери своего дома; и теперь присяжные должны взять на себя полную ответственность и либо осудить, либо оправдать ее. В заключение защитник выразил благодарность господину прокурору за то, что он не настаивал на обвинительном приговоре, проявив тем глубокое и гуманное понимание сути дела.

Защитник сел.

Остальная часть процедуры заняла совсем немного времени; судебное наставление председателя присяжным было повторением уже сказанного, рассматриваемого с двух точек зрения: краткое изложение содержания пьесы, сухое, скучное и весьма достойное. Прошло оно очень гладко, ведь и прокурор и защитник оба в своих речах вмешивались в сферу деятельности председателя, облегчив тем самым ему задачу.

Зажгли свет, две лампы вспыхнули под потолком скупым светом, при котором председатель, казалось, с трудом разбирает свои заметки. Он очень строго выразил свое неудовольствие тем, что о смерти ребенка не было сообщено властям; но, заметил он, в данных обстоятельствах это следовало бы поставить в вину скорее отцу, чем матери, — она была чересчур слаба. Таким образом, присяжным предстоит решить, имело ли место сокрытие родов и детоубийство. Он вновь рассказал им суть дела с самого начала. Затем последовали обычные в таких случаях разъяснения по поводу осознания возложенной на них ответственности, чем присяжные и без того были сыты по горло, и, наконец, небезызвестное уточнение, что в случае расхождения во мнениях решение принимается в пользу обвиняемого.

Теперь все было ясно.

Присяжные удалились из зала заседаний в соседнюю комнату. Совещаться. Им предстояло совещаться, сверяясь с вопросами, которые один из них захватил с собой. После пятиминутного отсутствия они вернулись, дав отрицательный ответ на все вопросы.

Нет, девица Барбру не убивала свое дитя.

Затем председатель обратился к присутствующим еще с несколькими словами и объявил, что девица Барбру свободна.

Публика покинула зал. Комедия окончилась...

Кто-то трогает Акселя Стрёма за руку, это Гейслер.

Он говорит:

— Ну, вот ты и развязался с этим делом!

— Да,— проговорил Аксель.

— Только напрасно оторвали тебя от работы.

— Да,— снова ответил Аксель. Но он уже немного оправился и прибавил: — Мне радоваться надо, могли бы впутать в неприятности.

— Этого еще не хватало!— сказал Гейслер, напирая на каждое слово.

Отсюда Аксель заключил, что Гейслер принимал какое-то участие в деле, что не обошлось без его вмешательства. Бог знает, может, Гейслер и направлял все разбирательство и добился того результата, какого хотел. Кто его поймет.

Но как бы то ни было, Аксель сознавал, что весь день Гейслер был на его стороне.

— Спасибо вам, уж такое большое спасибо!— сказал он, протягивая руку.

— За что?— спросил Гейслер.

— Как же... как же — за все!

Гейслер оборвал его:

— Я ничего не сделал. Даже и не старался, не стоило того.

Но Гейслер, пожалуй, все же был не против этой благодарности, он словно дожидался ее и наконец получил.

— Мне сейчас недосуг говорить с тобой,— сказал он.— Ты едешь домой завтра? Вот и хорошо. Ну, будь здоров!— Гейслер направился вниз по улице...

На пароходе по дороге домой Аксель повстречался с ленсманом и его женой, с Барбру и двумя девушками-свидетельницами.

— Ну,— сказала ленсманша,— ты рад исходу суда?

Аксель ответил, что да, как же не радоваться, уж теперь-то, наверное, конец.

Ленсман тоже вступил в разговор:

— Это второе детоубийство в моем округе, в первом была замешана Ингер из Селланро, теперь вот я развязался со вторым. По мне, так в подобных случаях не годится проявлять мягкость, правосудие должно осуществляться в полной мере!

Но ленсманша, должно быть, понимала, что Аксель не испытывает к ней особой благодарности за ее вчерашние показания, и потому решила смягчить их.

— Ты, надеюсь, понял, почему я выступила против тебя?

— Да. Как же,— ответил Аксель.

— Надеюсь, что так. Ты ведь не думаешь, что я хотела тебе навредить? Я всегда считала тебя превосходным человеком, я только это и хочу тебе сказать.

— Да что вы,— только и промолвил Аксель, одновременно взволнованный и обрадованный.

— Да-да,— продолжала ленсманша.— Но я была вынуждена переложить на тебя малую толику вины Барбру, потому что иначе ее осудили бы, а вместе с ней и тебя. Я действовала из самых лучших побуждений.

— Да-да, спасибо вам!

— Именно я, а не кто-то другой, пошла в городе к Ироду и Пилату хлопотать за вас. И ты ведь сам слышал, что всем нам, кто произносил речи, пришлось переложить часть вины на тебя, чтоб добиться оправдания вас обоих.

— Да,— кивнул Аксель.

— Ты же ни одной минуты не думал, что я настроена против тебя, не правда ли? Против тебя, которого я считаю таким превосходным человеком!

Услышать такое после стольких унижений! Аксель так растрогался, что ему захотелось подарить ленсманше что-нибудь, все равно что, лишь бы выразить ей свою благодарность — пожалуй, он отвезет ей убоины осенью. У него ведь есть молодой бычок.

Ленсманша Хейердал сдержала слово: взяла Барбру к себе. Она и на пароходе проявляла заботу о ней, не давала ей зябнуть и голодать, но и не позволяла любезничать с бергенским штурманом. Когда это случилось в первый раз, ленсманша ничего не сказала, только отозвала Барбру. Но смотрите-ка, Барбру опять любезнича-

ет со штурманом и, склонив головку набочок и улыбаясь, болтает с ним на бергенском наречии. Тогда ленсманша подозвала ее и сказала:

— Мне кажется, тебе не следует сейчас разводить тары-бары с мужчинами, Барбру. Вспомни, что ты только что пережила и от чего спаслась.

— Я только услышала, что он из Бергена, оттого с ним и заговорила,— ответила Барбру.

Аксель с ней не сказал ни слова. Он заметил, что она похудела и побледнела и зубы у нее стали хорошие. Ни одного его кольца у нее не было...

И вот Аксель идет домой. Ветрено и льет дождь, но на душе у него радостно и весело, он видел на пристани косилку и борону. Вот так Гейслер! И ведь ни слова не сказал в городе о своем большом подарке. Что за чудной барин.

VIII

Акселю не пришлось долго отдыхать дома: с осенними бурями пришли новые заботы и неприятности, которые он сам и навязал себе: телеграф на его стенке известил, что на линии неполадки.

А все потому, что пожадничал на деньги, принимая эту должность. С самого начала все пошло наперекоски, Бреде Ольсен прямо пригрозил ему: когда Аксель пришел к нему за телеграфным имуществом и аппаратом, Бреде сказал:

— Не очень-то ты помнишь, что я спас тебе жизнь зимой.

— Мне спасла жизнь Олина,— отвечал Аксель.

— Разве не я тащил тебя домой на своей несчастной спине? А ты и отплатил мне: купил в летнюю пору мой хутор и выкинул меня на улицу, на зиму глядя!— Бреде был оскорблен до глубины души.— Что ж, сделай одолжение, забирай и телеграф и весь этот хлам. Я переезжаю с семьей в село, примусь там за одно дело, что за дело— тебе и не снилось, а только будет у меня своя гостиница и такое заведение, куда люди смогут придти пить кофе. Думаешь, не справимся? Жена моя будет продавать всякие угощения, а я стану разъезжать по всяким делам и заработаю гораздо больше тебя. Но только вот что я тебе скажу, Аксель: я могу наделать тебе много каверз, я ведь до тонкости знаю телеграф, могу

повалить столбы, порвать провода. Вот тебе и придется отрываться в рабочую пору. Только это я и хотел тебе сказать, а уж ты постарайся запомнить...

И вот вместо того, чтобы привезти с пристани машины — яркие и цветистые, как с картинки, он мог бы привезти их сегодня, полюбоваться на них, поучиться, как с ними обращаться, — теперь придется их там оставить. Обидно откладывать то, что необходимо сделать, и бегать по телеграфной линии. Но деньги есть деньги.

На вершине горы он встречает Аронсена. Торговец Аронсен стоит, точно призрак, пристально вглядываясь куда-то вдаль, в снежную мглу. Что ему здесь надо? Должно быть, никак не успокоится, тянет его на гору, хочется самому осмотреть рудник. Да, торговец Аронсен полон тревоги за себя и за судьбу своей семьи. Перед его глазами картина полного разорения и опустошения на покинутой людьми горе: повсюду валяются и ржавеют машины, материалы, повозки — все под открытым небом, все без призора. Кое-где на стенах барачков прибиты написанные от руки плакаты, запрещающие уносить или портить принадлежащие обществу инструменты, повозки и строения.

Аксель останавливается поболтать с помешанным лавочником и спрашивает:

— Уж не на охоту ли собрались?

— Да-да, мне непременно надо добратся до него! — отвечает Аронсен.

— До кого?

— До кого? До того, кто разоряет и меня и всех остальных в округе. Кто не захотел продать свою гору, по чьей вине прекратились работы, кто лишил людей денег и не дает им заниматься торговлей.

— Вы говорите про Гейслера?

— Именно про него. Его следовало бы расстрелять!

Аксель улыбается и говорит:

— Гейслер был на днях в городе, можно было с ним встретиться. Да только, по моему слабому разумению, не стоит вам связываться с этим человеком.

— Почему это? — резко спрашивает Аронсен.

— Боюсь, он для вас чересчур крепкий орешек.

Они заспорили, Аронсен все больше и больше горячился. Под конец Аксель спросил шутки ради:

— Вы ведь не собираетесь бросить нас насовсем, вы не собираетесь уехать от нас?

— Уж не воображаешь ли ты, что я стану гнить в ваших болотах, когда я не могу заработать даже на табак для трубки?—сердито вскричал Аронсен.—Най-дешь мне покупателя—непременно продам усадьбу!

— Покупателя?—спросил Аксель.—У вас такая хорошая земля, занялись бы ею как следует, на участке, вроде вашего, смело можно прокормиться.

— Не желаю я в ней копаться, слышишь!—опять закричал Аронсен прямо в снежную мглу.—Я могу подыскать занятие и получше!

Аксель заметил, что может найти ему покупателя, но Аронсен только язвительно рассмеялся:

— Здесь, в округе, нет ни одного человека, которому под силу купить мой участок.

— А вот и есть. Могут найтись и другие.

— Да тут живет одна дрянь да голытьба,—со злостью продолжал Аронсен.

— Уж какие есть. А только Исаак из Селланро может в любой день купить ваш участок,—обиженно сказал Аксель.

— Не думаю,—сказал Аронсен.

— Мне все равно, что вы думаете,—отвечал Аксель и повернулся уходить.

Аронсен крикнул ему вслед:

— погоди! По-твоему, Исаак мог бы избавить меня от Великого, так, что ли?

— Да,—отвечал Аксель,—ему нипочем купить пять таких Великих, если дело касается денег!

Идя на рудник, Аронсен обошел Селланро стороной, ему не хотелось, чтоб его видели; на обратном пути он заглянул на усадьбу и имел беседу с Исааком.

— Нет,—сказал Исаак и только покачал головой,—я об этом не думал и думать не собираюсь.

Но когда к Рождеству приехал домой Элесеус, несговорчивости у Исаака поубавилось. Правда, по нему, так ничего не было глупее, как покупать Великое, во всяком случае, все эти выдумки исходят не от него; но если Элесеусу кажется, что лавка—дело стоящее и для него подходящее,—надо об этом подумать.

Сам Элесеус был в нерешительности, середка на половинку—не совсем против, но и не безразличен. Если он обоснуется здесь, дома, то ему, считай, конец: деревня не город. Осенью, когда в городе шла перепись приезжих из деревни, он всячески избегал показываться на улице, не желая встречаться с земляками—они принадлежали

к другому миру. Так неужели же теперь ему самому суждено вернуться в этот мир?

Мать настаивала на покупке, Сиверт тоже, они уговаривали Элесеуса, и однажды все втроем поехали в Великое посмотреть «поместье».

Но когда Аронсен оказался перед перспективой лишиться участка, его словно подменили: ему нет никакой надобности продавать усадьбу! Даже если он уедет, все тут останется как было, на участке все в полном порядке, это замечательный участок, продать его он всегда успеет.

— Вы и не сможете дать за него столько, сколько я хочу,— сказал Аронсен.

Они обошли комнаты, побывали на скотном дворе, на складе, осмотрели жалкие остатки товаров: несколько губных гармоник, часовые цепочки, коробочки с розовой бумагой, висячие лампы со стеклянными подвесками — сплошь вещи среди хуторян неходкие. Да еще немножко бумазеи и несколько ящиков гвоздей.

Элесеус важничал, расхаживая с видом знатока.

— Таких товаров мне не нужно,— сказал он.

— Их можно не брать,— ответил Аронсен.

— А за участок, как он есть, со всеми товарами, скотиной и всем прочим, я могу предложить вам полторы тысячи крон,— сказал Элесеус. Ему было все равно, что ни сказать, предложение он сделал из чистого озорства, лишь бы показать себя.

Поехали домой. Сделка не состоялась, Элесеус обидел Аронсена, прямо-таки оскорбил его.

— И слушать тебя не желаю!— крикнул Аронсен, переходя на «ты». — Этаким городской щелкопер, вздумал учить торговца Аронсена, какие должны быть товары!

— Насколько мне известно, я не пил с вами на «ты»,— проговорил Элесеус, не менее оскорбленный. Еще немного, и они станут врагами не на живот, а на смерть.

Но почему Аронсен с первой же минуты их приезда повел себя так несговорчиво и наотрез отказался продать усадьбу? На то были свои причины, у Аронсена снова пробудились некоторые надежды.

В селе прошла сходка, на которой обсуждалось положение, создавшееся вследствие отказа Гейслера продать свою гору. Пострадали от этого не только ближайšie хутора, весь округ замер на грани краха. Почему людям не жить так же хорошо или так же плохо, как они жили

до того, как начались разведочные работы на медной горе? Нет, и все! А они уже успели привыкнуть к манной каше и белому хлебу, к ткани фабричной выделки, к высоким заработкам, к расточительности, они привыкли к большим деньгам, привыкли чувствовать себя людьми. А теперь денег снова нет, они уплыли, словно косяк сельдей в море, Господи помилуй, опять нужда, что же нам делать?

Ни у кого не было сомнений, что все дело в том, что бывший ленсман Гейслер решил отомстить селу за то, что оно помогло амтману сместить его. Ни у кого не было сомнений и в том, что село явно недооценило этого человека. Он не исчез. Самым простым путем, всего-навсего бесстыдным требованием четверти миллиона за какую-то гору, он приостановил процветание села. Разве это не говорит о его силе? Спросите Акселя Стрёма из Лунного, он недавно повстречался с Гейслером, он порасскажет. У Барбру, дочери Бреде, был суд в городе, и она вернулась домой оправданная, а ведь Гейслер просидел в суде все то время, что шло разбирательство. Те же, кто решил, что Гейслер покатился под гору не хуже иного нищего, пусть сходят на пристань и посмотрят дорогие машины, которые он прислал Акселю в подарок.

Итак, этот человек держит в своих руках судьбу всего округа, и с этим приходится считаться. За сколько же, в крайности, продаст Гейслер свою гору? Это надо выяснить. Шведы предлагали ему двадцать пять тысяч, Гейслер отказался. Ну а если село, если община доложит остальное, чтобы сделка все-таки состоялась? Если сумма окажется не слишком несообразная, дело того стоит. Торговец с берега и торговец Аронсен из Великого тайно согласились сделать дополнительные взносы: лишний расход, который они понесут теперь, со временем окупится.

Кончилось тем, что выбрали двух уполномоченных и отправили их на переговоры с Гейслером. И теперь с нетерпением ждали их возвращения.

Вот потому-то у Аронсена и появились некоторые надежды, и он посчитал, что может проявить упрямство, разговаривая с покупателями на Великое. Но упрямитесь ему пришлось недолго.

Через неделю уполномоченные вернулись, привезя с собой решительный отказ. С самого начала была допущена ошибка: одним из уполномоченных назначили не

кого-нибудь, а Бреде Ольсена, по той простой причине, что у него было много свободного времени. Уполномоченные разыскали Гейслера, но он только покачал головой, усмехнулся и сказал: «Возвращайтесь-ка домой». Правда, обратную дорогу он им оплатил.

Стало быть, округу ничего не остается как погибать!

Побесновавшись некоторое время и придя в полную растерянность, Аронсен в один прекрасный день отправился в Селланро и заключил сделку. Вот что сделал Аронсен. Элесеус поставил на своем, участок с постройками, скотом и товарами достался ему за тысячу пятьсот крон. Правда, при передаче оказалось, что жена Аронсена припрятала большую часть ситцев, но на такие пустяки такие люди, как Элесеус, не обращают внимания. «Не будем мелочными», — сказал он.

В целом же, Элесеус был далеко не в восторге: отныне судьба его была окончательно решена, так он и погибнет в этой глуши! Ничего не остается как отказаться от блестящих планов: конторщиком он уже не был, ленсманом не будет, даже городским жителем и тем ему не бывать. Перед отцом и домашними он гордился, что сторговал Великое аккуратно за ту цену, какую назначил, пусть видят, как хорошо он во всем разбирается! Правда, этот маленький триумф недорого стоил. Вдобавок ему льстило, что он мог взять на службу помощника Андресена, составлявшего в некотором роде придачу к лавке, — до открытия новой торговли Аронсен не нуждался в своем помощнике. Элесеус же очень утешился, когда Андресен пришел к нему с просьбой не увольнять его: впервые он почувствовал себя начальником и хозяином.

— Можешь оставаться! — сказал он. — Мне нужен здесь помощник на то время, когда я буду уезжать по делам и налаживать связи в Тронхейме и Бергене.

Андресен сразу же показал себя неплохим помощником — он работал не покладая рук и приглядывал за всем, пока хозяин Элесеус находился в отлучке. Только в самом начале своей жизни в здешних краях помощник Андресен разыгрывал из себя важную персону, да и то по вине своего хозяина, Аронсена. Теперь все переменялось. По весне, когда болота оттаяли немножко, в Великое приехал Сиверт из Селланро и стал копать на земле у брата канавы, тогда и помощник Андресен вышел копать канавы. Чего ради, непонятно, это вовсе не входило в его обязанности — просто такой уж он был человек!

Земля оттаяла еще совсем немного, прокопать ее как следует было невозможно, но как-никак, а половину работы они сделали, а это уж не так мало. Затея эта шла от старика Исаака — осушить болота в Великом и заняться там земледелием; мелочная же торговля пусть будет побочным делом: не ехать же людям в село, если понадобится катушка ниток.

И вот Сиверт и Андресен копают бок о бок, временами останавливаясь передохнуть и весело разговаривая. Андресен каким-то образом раздобыл золотой в двадцать крон, и Сиверту очень хочется завладеть этой блестящей монеткой, но Андресену жалко с ней расстаться, он держит ее в сундуке завернутой в папиросную бумагу. Сиверт предлагает побороться на монету — кто одолеет противника, тому она и достанется, но Андресен боится идти на риск; тогда Сиверт говорит, что даст в обмен на монету двадцать крон бумажками и один вскопает все болото, но тут уж помощник Андресен обиделся и сказал:

— Ага, чтобы ты потом рассказывал у себя дома, что я не умею работать на болоте!

В конце концов сошлись на двадцати пяти кронах бумажками, и Сиверт на ночь глядя побежал домой в Селланро и выпросил у отца деньги.

Причуды юности, прекрасная пора юности! Ночь без сна, миля туда да миля обратно, весь день снова за работой — пустыки для сильного молодого человека, и вот она, чудесная золотая монета! Андресен вздумал было посмеяться над Сивертом по случаю этой странной сделки, но против этого у Сиверта было хорошее средство, ему стоило только сказать словечко о Леопольдине:

— Да, кстати, Леопольдина просила тебе кланяться! — и Андресен мигом смолк и покраснел.

Веселые были деньки для обоих, они работали на болоте и время от времени в шутку пререкались, снова принимались за работу и опять препирались. Изредка им на помощь выходил Элесеус, но он очень скоро уставал, он не отличался ни сильным телом, ни сильным духом, однако человек был милейший.

— Вон идет Олина, — говорит шутник Сиверт, — поди продай ей еще полфунта кофе!

И Элесеус охотно повиновался. Шел в лавку и отпускал Олине какую-нибудь мелочь. Так он на время избавлялся от работы на болоте.

А бедняжка Олина теперь совсем редко приходила за кофе. Разве что иной раз раздобудет деньжонок у Акселя или выручит маленько за головку козьего сыра. Про Олину уже нельзя было сказать, что она совсем не меняется, служба в Лунном оказалась чересчур тяжела для старухи и подточила ее силы. Но при этом она ни за что не хотела признавать своей старости и немощности, она бы изрядно взъерепенилась, если бы ей отказали от места. Она была вынослива и крепка, исправно делала свою работу и находила время зайти к соседям, чтоб отвести душу за беседой, которой ей не хватало дома. Аксель-то был не говорун.

Она осталась недовольна процессом, разочарована решением суда. Оправдание по всей линии! Олина никак не могла взять в толк, как это Барбру вышла сухой из воды, тогда как Ингер из Селланро засадили на восемь лет, и совсем не по-христиански злилась, что ближнему ее сделали добро. «Но Всемогущий еще не сказал своего слова!» — хитро подмигивала Олина, словно провидя возможный небесный приговор в будущем. Разумеется, удержать про себя свое недовольство процессом было выше ее сил, а уж когда она ссорилась из-за чего-нибудь со своим хозяином, то непременно принималась за свое, изощряясь в язвительности:

— Что и говорить, мне, конечно, неизвестно, как смотрит теперь закон на содомские грехи, но я-то живу в согласии со словом Божиим, такая уж я глупая!

До чего ж надоела Акселю его экономка и как он желал избавиться от нее! А тут опять наступила весна, и все работы приходится делать одному; потом подойдет сенокос, и он окажется все равно что без рук. Вот каковы были виды. Невестка его в Брейдаблике написала своим в Хельгеланн, чтоб ему прислали хорошую работницу, но до сих пор так никого и не нашли. Вдобавок еще и дорогу оплачивать придется.

Да, очень нехорошо и подло поступила Барбру, что убила ребенка и сама сбежала! Две зимы и одно лето ему поневоле пришлось обходиться с Олиной; похоже, так оно будет и впредь. А Барбру хоть бы что, дрянь этакая! Однажды зимой ему случилось поговорить с ней в селе — хоть бы слезинка выкатилась у нее из глаз и замерзла на щеке.

— Куда ты девала кольца, которые я тебе подарил? — спросил он.

— Кольца? — проговорила она.

— Ну да, кольца.

— У меня их нет.

— Значит, у тебя их больше нет?

— Ведь между нами все кончилось,— сказала она,— выходит, мне уже нельзя их больше носить. Так никогда не делается, чтоб носить кольца, когда все кончено.

— Мне желательно знать, куда ты их девала.

— Ты хочешь взять их обратно?— спросила она.— Мне бы не хотелось выставять тебя таким скарредом.

Подумав немножко, Аксель сказал:

— Я бы заплатил тебе за них. Ты отдала бы их не задаром!

Так нет же, Барбру сбыла куда-то кольца, лишив его возможности задешево заполучить обратно золотое кольцо и серебряное.

Впрочем, Барбру была весьма приятна и вовсе не выказала грубости, вовсе нет! На ней был длинный передник с бретелями и складочками, а у ворота белая обшивочка, очень красивая. Поговаривали, что она завела себе дружка в селе, но, может, это просто болтали, ленсманша держала ее в строгости, даже на Святках танцевать не пустила.

Да, ленсманша и в самом деле строго следила за Барбру: когда Аксель разговаривал на дороге со своей бывшей работницей о кольцах, барыня вдруг выросла между ними и сказала:

— Ведь я, кажется, послала тебя в лавку, Барбру?

Барбру ушла. Барыня обратилась к Акселю:

— Нет ли у тебя продажной убоины?

Аксель только хмыкнул и поклонился.

А ведь не далее как нынче осенью ленсманша всю расхваливала его, какой он-де замечательный парень, самый замечательный из всех парней, за это следует платить. Аксель знал, как народ в старину расплачивался с господами, с властями, оттого у него тогда же мелькнула мысль об убоине, о молодом бычке, которым он мог бы пожертвовать. Но дни шли, миновала осень, уходил месяц за месяцем, а бычок так и стоял в хлеву. Ну что случится плохого, если бычок и впредь останется при нем, во всяком случае, отдав его, он станет на одного бычка беднее, а бычок вон какой уже вымахал.

— Гм. Здравствуйте! Нету,— сказал Аксель и помотал головой в знак того, что убоины у него нет.

Но барыня словно читала его потаенные мысли.

— А я слыхала, будто у тебя есть бычок,— сказала она.

— Есть-то есть,— отвечал Аксель.

— Он тебе нужен?

— Да, нужен.

— Так,— сказала ленсманша,— а барана нет?

— Нет, сейчас нету. У меня ведь в аккурат столько скотины, сколько я могу прокормить.

— Да, да, ну что ж, нет так нет.— Барыня кивнула головой и пошла.

Аксель поехал домой, но разговор этот не выходил у него из головы и он с испугом думал, не наделал ли глупостей. Ленсманша в свое время оказалась важной свидетельницей, она показывала и за него и против него, но свидетельница она была важная. Ему изрядно досталось, но, во всяком случае, он выкарабкался из тяжелого и неприятного дела, в котором был замешан детский трупик, похороненный в его лесу. Пожалуй, лучше все-таки пожертвовать одного барана.

Удивительно, что эта мысль имела отдаленную связь с Барбру: когда он придет к ее хозяйке с бараном, Барбру поневоле проникнется к нему некоторым уважением.

А дни все шли, и ничего дурного оттого, что они шли, не случилось. Поехав снова в село, Аксель не взял с собой барана, однако в последнюю минуту прихватил ягненка. Впрочем, ягненок был крупный, не какой-нибудь заморыш, и, придя с ним к ленсманше, Аксель сказал:

— У баранов очень уж жесткое мясо, а мне хотелось подарить вам что получше!

Но ленсманша и слышать не хотела ни о каких подарках.

— Говори, почем хочешь за фунт?— сказала она.

Гордая барыня, нет, спасибо, не в ее привычках принимать подарки от простонародья! Кончилось тем, что Аксель выручил за ягненка хорошие деньги.

Барбру он не видал. Ленсманша, должно быть, заметила, как он подходил, и отослала ее. Что ж, скатертью дорожка, Барбру на целых полтора года оставила его без работницы!

IX

Весной произошло событие, весьма неожиданное и важное: Гейслер продал гору, на медном руднике собирались возобновить работы. Неужто невероятное

все-таки произошло? О, Гейслер был непредсказуемый господин, в его власти было продавать или не продавать, трясти головой отрицательно и кивать утвердительно. В его власти было заставить целое село вновь заулыбаться.

Значит, в нем заговорила-таки совесть, он не захотел дольше наказывать свой бывший округ, наслав на него домодельную кашу и безденежье? Или он получил все же свои четверть миллиона? А может быть и так, что Гейслер сам испытал нужду в деньгах и вынужден был спустить гору за что дадут? Двадцать пять или пятьдесят тысяч тоже ведь деньги. А впрочем, ходили слухи, что продажу совершил от имени отца его старший сын.

Но как бы там ни было, разработка возобновилась, приехал тот же инженер с рабочими, пошла та же работа. Та же, да не та, и велась она совсем по-другому, чем прежде, как-то задом наперед.

Казалось, все так просто: приехали шведы с рабочими, привезли с собой динамит и деньги, в чем же дело? Даже Аронсен вернулся, торговец Аронсен, пожелавший во что бы то ни стало выкупить Великое.

— Нет,— сказал Элесеус,— я не продаю.

— Продадите, за хорошую-то цену.

— Нет.

Нет, Элесеус ни за что не хотел продавать Великое. Объяснялось это тем, что положение торговца в деревне уже не представлялось ему таким жалким, как прежде, у него была красивая веранда с цветными стеклами, был помощник, который все за него делал, а сам он мог путешествовать. Да еще в первом классе, с благородными господами! Хорошо бы когда-нибудь прокатиться аж в Америку, он частенько об этом подумывал. Даже деловые поездки в южные города для установления связей и те каждый раз давали ему столько впечатлений, что он долго жил ими. Не то чтобы он очень форсил и разъезжал на собственном пароходе или закатывал оргии. Он—и оргии! В сущности, он был какой-то странный, совсем перестал интересоваться девушками, он бросил их, утратил к ним интерес. Но при этом он был сын маркграфа, он ездил в первом классе и закупал много товаров. Из поездок своих он каждый раз возвращался все наряднее и важнее, в последний раз приехал в галошах.

— Зачем это ты носишь две пары обуви?— спрашивали его.

— Да потому, что у меня очень зябнут ноги,— отвечал Элесеус.

И все жалели его, потому что у него зябнут ноги.

Счастливые дни, барская жизнь и полное безделье! Нет, он не хочет продавать Великое. Неужто ему снова возвращаться в маленький городишко и снова стоять в мужичьей лавчонке и не иметь под своим началом помощника! К тому же он намеревался развить в Великом бурную деятельность. Вернулись шведы, опять потекут денюжки, болван он будет, если продаст усадьбу. Аронсен каждый раз уходил, получив отказ, все более и более ужасаясь тому, что наделал, так глупо бросив эти места.

Но Аронсену было в самую пору умерить свои муки, а Элесеусу точно так же было в самую пору умерить свои большие надежды; самое же главное, не следовало хуторянам и сельчанам так уж уповать на будущее и ходить, блаженно улыбаясь и довольно потирая руки, словно ангелы в раю, да, хуторянам и сельчанам совсем не следовало бы так поступать, ибо охватившее их разочарование оказалось громадным. Кто бы мог поверить: работы в руднике-то начались, верно, но начались-то они на противоположном конце горы, в двух милях отсюда, на южном конце Гейслеровой горы, в другой, чужой волости и совсем от них в стороне. Оттуда работа будет постепенно продвигаться к северу, к первой медной горе, к Исааковой, чтобы стать благословением для хуторов и села. В лучшем случае, на это потребуется много лет, потребуются десятилетия.

Весть эта грянула, как страшнейший взрыв динамита, всех затуманила и оглушила. Жители села погрузились в глубокую скорбь. Одни обвиняли Гейслера, мол, этот чертов Гейслер опять сыграл с ними шутку, другие приплелись на сход и снова послали депутацию из доверенных лиц, на этот раз к рудничной компании, к инженеру. Все это ни к чему не привело, инженер объяснил, что разработку горы надо начинать с южной стороны, потому что там рядом море, не надо строить подвесной дороги, не надо почти никаких перевозок. Нет, работы начнутся на южной стороне. Это вопрос решенный.

Тогда Аронсен вмиг переехал на место новых работ, поближе к новым золотым россыпям. Он даже пожелал взять с собой помощника Андресена.

— Чего тебе торчать в этой дыре?— сказал он.— Со мной тебе будет лучше!

Однако помощник Андресен наотрез отказался покинуть Великое; непостижимо, но его словно что-то привлекало к здешним местам, видимо, ему здесь нравилось, он будто прирос к этой земле. Должно быть, это Андресен так переменялся, потому что места остались такие, как и были. Люди и условия их жизни были аккурат такие же, как прежде: да, горные работы отошли от этих краев, но ни один из хуторян не потерял из-за этого головы, у них была их земля, были урожаи, был скот. Денег, правда, водилось немного, но все необходимое для жизни имелось, решительно все. Даже Элесеус не пришел в отчаяние от того, что денежный поток промчался мимо, хуже всего было, что в первом пылу он накопил много неходких товаров, но они могут и полежать, они только украшают лавку.

Поселянин не потерял головы. Он не считал, что местный воздух ему вреден, публики для демонстрации его новых нарядов у него было предостаточно, о брильянтах он не тосковал, вино знал по браку в Кане Галилейской. Поселянин не горевал об удовольствиях, которых не имел: искусство, газеты, роскошь, политика стоят ровно столько, сколько люди готовы за них платить, не больше того; плоды же земные, напротив, достаются по бог весть какой цене, они всему начало, единственный источник. Жизнь поселянина пуста и печальна? О, ничуть не бывало! У него свои высшие силы, свои мечты, своя любовь, свои разнообразные предрассудки. Однажды вечером Сиверт идет берегом реки и вдруг останавливается: на воде покачиваются две дикие утки, самец и самка. Они увидели его, увидели человека и испугались, одна говорит что-то, отрывистый звук, мелодия в три тона, вторая отвечает ей в лад. В ту же секунду птицы снимаются с места, чиркают, словно два маленьких колесика, по воде и снова садятся на воду, на расстоянии брошенного камня. Одна опять что-то говорит, а другая отвечает, это та же фраза, что и в первый раз, но в ней столько блаженства: она звучит двумя октавами выше! Сиверт стоит и смотрит на птиц, смотрит мимо них, куда-то далеко, в грезу. Какой-то покой снизошел на него, какая-то нежность, в нем проснулось смутное и легкое воспоминание о чем-то необычном и чудесном, пережитом когда-то раньше, но изгладившемся из памяти. Он идет домой притихший, никому ничего не рассказывает, не болтает попусту; то, что ему довелось услышать, совсем не походило на земные слова. Вот вам и Сиверт из Селланро,

молодой и самый обыкновенный: выйдя однажды вечером из дома, он и пережил такое.

Это было не единственное его приключение, случались и другие. Среди них — и отъезд Йенсины из Селланро, внесший сумятицу в душевную жизнь Сиверта.

Да, вышло так, что она уехала, сама захотела уехать. О, Йенсина вовсе не была первой и самой лучшей, этого никто бы не сказал! Однажды Сиверт предложил отвезти ее домой, в тот раз она, к сожалению, расплакалась, а потом раскаялась в своих слезах и в доказательство, что раскаялась, отказалась от места. Ну что ж, все понятно.

А Ингер из Селланро отъезд Йенсины пришелся как нельзя более по душе, она все чаще и чаще бывала недовольна своей работницей. Странное дело, вроде бы Ингер было не в чем ее упрекнуть, но смотрела она на девушку с явной неприязнью, с трудом вынося ее присутствие в усадьбе. Наверное, это связано было с душевным состоянием Ингер: всю зиму она прожила в мрачности и благочестии, и это не прошло для нее бесследно.

— Хочешь уехать? Ну что ж,— сказала Ингер.

Вот уж поистине счастье, исполнение ночных молитв. Их и так две взрослые женщины на усадьбе, к чему еще эта пышущая свежестью девица на выданье? Ингер с неприязнью отмечала в Йенсине эту зрелую готовность к браку и, должно быть, думала: «Точь-в-точь такая была когда-то и я!»

Ее набожность не убывала. Неиспорченная от природы, она отведала в жизни сладкого, полакомилась, но она вовсе не стремилась к тому же на старости лет, и речи быть не может. Ингер с ужасом отгоняла саму мысль об этом. Прекратились работы на руднике, уехали рабочие — о Господи, да чего ж еще желать! Добродетель можно не только вынести, она необходима, необходимое благо, милость.

А мир совсем свихнулся. Посмотреть хотя бы на Леопольдину, на маленькую Леопольдину, — зернышко, ребенок, а и она до краев полна здоровья и греха; обними ее кто за талию, и она готова пасть, фу! На лице у нее появились прыщички, верный признак буйства в крови, о, мать отлично помнила, что именно с этого начинается буйство в крови. Мать не осуждала дочь за эти прыщички, но ей не терпелось с ними покончить, Леопольдине надо немедленно избавиться от этих прыщичков. И чего ради

этот помощник Андресен таскается по воскресеньям в Селланро и болтает с Исааком о сельском хозяйстве? Неужто оба они воображают, что малютка Леопольдина ничего не понимает? И в старину, лет тридцать — сорок тому назад, молодежь была необузданна, но теперь она стала еще хуже.

— Ну, уж как будет, так и будет,— сказал Исаак, когда они заговорили об этом.— Но вот весна на дворе, а Йенсина уехала, кого же нам взять на летние работы?

— Мы с Леопольдиной сами станем работать,— сказала Ингер.— Да я готова работать день и ночь! — проговорила она взволнованно и со слезами в голосе.

Исаак не понял причины этой бурной вспышки, но у него были свои собственные планы, и, взяв кирку и лом, он пошел на опушку леса и занялся обработкой камня. Он и впрямь не мог взять в толк, как так получилось, что работница Йенсина уехала, хорошая была девушка. Его пониманию вообще доступны были только самые простые и явные представления — работа, предписанные законом или природой поступки. Большой, с мощным мускулистым торсом, он менее всего походил на эфирное существо, и ел он как положено мужику, что шло ему тоже на благо, и потому он очень редко выходил из равновесия.

Так вот, стало быть, этот камень. Камней-то вокруг было много и самых разных, но для начала он выбрал этот. Исаак предвидит день, когда ему придется построить здесь маленькую избушку, уголок для себя и Ингер, он решил расчистить место, пока Сиверт в Великом, не то придется давать сыну объяснения, а этого он хочет избежать. Конечно, придет время, и Сиверту понадобятся все строения на усадьбе, значит, родителям нужно приготовить для себя избу. Собственно говоря, стройка в Селланро никогда и не прекращалась, большой сеновал над каменным скотным двором до сих пор еще не поставлен. Но бревна и доски для него готовы.

Стало быть, этот камень. Он не особенно выступал над землей, но от ударов не подавался, значит, наверняка здоровенный. Исаак окопал его кругом и попробовал приподнять ломом — камень не шелохнулся. Он покопал еще немного и снова попробовал приподнять — нет. Делать нечего, Исааку пришлось сбегать домой за лопатой, чтоб откинуть землю. Он снова окопал, снова попробовал — нет. «Вот так дядя!» — терпеливо подумал Исаак

про камень. Он уже копал довольно долго, а камень только все глубже и глубже уходил в землю, никак за него не ухватишься. Досадно, если придется взрывать его. Удары по буру услышат из дому, сразу все сбегутся. Он продолжал копать. Сходил за вагой и опять попробовал—нет! Опять покопал. Исаак начал немножко сердиться на камень, сдвинув брови, он глядел на него так, словно пришел сюда понаблюдать за здешними камнями и как раз этот камень оказался особенно противным. Он ругал его, камень такой круглый и дурацкий, никак за него не ухватишься, Исааку почти казалось, что он над ним издевается. Взорвать? Еще чего, тратить на него порох! Так неужто отказаться, признаться в своем страхе перед тем, что камень одолеет его?

Он все копал и копал. Устал ужасно, это да, но куда девался страх? Он подsunул под камень конец ваги и попробовал—камень не шелохнулся. Технически все было проделано безупречно, а толку никакого. Что же это такое, разве Исаак не ломал раньше камней? Может, стареет? Чудно, хе-хе. Смешно. Правда, он недавно заметил у себя признаки, говорящие об ослаблении силы, то есть вовсе он их не заметил, даже внимания не обратил, просто ему это померещилось. И он снова принимается за камень с твердым намерением сдвинуть его с места.

Да, это вам не пустяк: Исаак ложится всем телом на вагу и давит на нее изо всех сил. Он лежит на ваге и давит, и давит, словно великан, богатырь, и кажется, будто туловище его вытягивается до самых колен. Во всем этом есть какая-то пышность, фантастичность.

Но камень не шелохнулся.

Делать нечего, придется копать дальше. Взорвать камень? Молчок! Нет, придется копать дальше. Он вошел в азарт, он во что бы то ни стало вытащит камень! Нельзя сказать, что в этом упрямстве сказывалась какая-то испорченность Исаака,—нет, то была затаенная любовь землепашца, любовь, напроць лишенная нежности. Со стороны поглядеть, глупее не придумаешь: сначала, прежде чем навалиться на камень, Исаак, казалось, припадал к нему—то с одного боку, то с другого, потом окапывал его вокруг, ощупывал и счищал землю голыми руками, вот что он делал. Но ни в одном из этих его действий не было ласки. Он разгорячился, но разгорячился от упрямства.

Что, если опять попробовать вагу? Он подсунул ее под камень в наиболее подходящем, на его взгляд, месте—нет. Что же это за упрямый и настойчивый камень! Но ему показалось, будто камень чуть-чуть дрогнул, Исаак снова налегает на вагу, у него появляется надежда. Землепашец чутьем угадывает, что камень уже утратил свою непобедимость. И тут вага вдруг соскальзывает с камня, опрокинув Исаака на землю.

— Черт!—воскликает он. Шапка у него съехала на бок и едва держится на голове, вид у него эдакого испанского разбойника. Он сплевывает.

Показывается Ингер.

— Иди же поешь, Исаак!—говорит она мягко и ласково.

— Сейчас,—отвечает он, ему не хочется, чтоб она подходила ближе, не хочется разговаривать.

Ох уж эта Ингер, ничего-то она не поняла, она подошла.

— Что это ты опять задумал?—спрашивает она, желая привести его в хорошее расположение духа напоминанием о том, что он чуть не каждый день придумывает какую-нибудь новую грандиозную затею.

Но Исаак мрачен, ужасно мрачен.

— Да ничего я не задумал,—отвечает он.

А Ингер, ну до чего же глупая, уф, продолжает к нему приставать, и не думая уходить.

— Раз уж ты увидала,—говорит Исаак,—так я хочу вытащить этот камень!

— Да ты что!

— Ага.

— А я не могу тебе помочь?—спрашивает она.

Исаак качает головой. Но Ингер явно сделала удачный ход, предложив Исааку свою помощь, теперь ему уже не спровадить ее.

— Пожалуй, погоди немножко!—сказал он и побежал домой за кувалдой и обжимкой.

Если он отколет от камня кусок, камень будет уже не такой гладкий, и у ваги станет больше упора. Ингер держит обжимку, а Исаак что есть силы колотит по камню кувалдой. Удар, снова удар. Ага, вот и отлетел осколок.

— Спасибо за помощь,—говорит Исаак.—И не приставай пока ко мне с едой, я хочу сначала вытащить этот камень.

Но Ингер не уходит. А в глубине души Исааку приятно, что она стоит и смотрит, как он работает, ему еще смолоду это было приятно. И глядите-ка, у ваги теперь нужный упор, он налегает на нее, и — камень шевелится!

— Шевелится! — говорит Ингер.

— А ты не врешь? — спрашивает Исаак.

— Ну вот, вру! Шевелится!

Наконец-то! Он все-таки сдвинул камень с места, черт бы его побрал, они были заодно, он и камень. Исаак наваливается на вагу и пыхтит, и камень шевелится, но и только. Так продолжается несколько минут, да все без толку. Исаак вдруг понимает, что дело не только в его весе, просто у него уже нет былой силы, вот в чем суть, тело его утеряло прежнюю гибкость и упругость. Физическая сила? Чего уж проще — навалиться и сломать крепкую, прочную вагу. Он стал слабее, вот и весь сказ. От этой мысли терпеливый человек преисполняется горечью: хоть бы Ингер не стояла тут и не смотрела на него!

Он вдруг бросает вагу и хватается за кувалду. На него напал гнев, он готов прибегнуть к грубому насилию. Шапка у него по-прежнему набекрень, вид разбойничий, он большими шагами грозно обходит камень, словно решив показать себя ему в настоящем свете, вот возьмет и превратит этот камень в щебенку. А почему бы и нет? Расколотить ненавистный ему камень — простая формальность. А если камень окажет сопротивление, если не даст себя расколотить? Тогда мы еще посмотрим, кто из нас двоих уцелеет!

Но вот Ингер, понимая, что творится на душе у мужа, чуть-чуть боязливо спрашивает:

— А если мы оба наляжем на жердину? — Под жердиной она подразумевает вагу.

— Нет! — яростно кричит Исаак. Но после минутного раздумья говорит: — Впрочем... раз уж ты все равно здесь... но я не понимаю, почему ты не идешь домой. Давай попробуем!

И вот они выворачивают камень на ребро. Наконец-то!

— Уф-ф! — говорит Исаак.

И тут их глазам открывается нечто неожиданное: нижняя часть камня — широченная, аккуратнo срезанная, ровная, гладкая, как пол, плоскость. Значит, это лишь половина камня, вторая половина где-нибудь поблизости-

сти. Исаак отлично знает, что две половинки одного и того же камня могут залегать в разных пластах — видимо, за долгие-долгие годы мерзлота отделила их друг от друга; но находка удивляет его и радует, этот великолепный камень — отличный поделочный материал для дверной приступки. Крупная сумма денег и та не преисполнила бы сердце хуторянина большей радостью.

— Приступка хоть куда! — гордо говорит он.

Ингер наивно восклицает:

— Не понимаю, откуда ты это прознал!

— Гм! — отвечает Исаак. — А ты думала, я стал бы зазря копать землю?

Они вместе идут домой; Исаак наслаждается незаслуженным восхищением — оно не менее приятно, чем заслуженное. Он рассказывает, как все это время искал подходящую дверную приступку и вот наконец нашел. Теперь его работа на пустоши не будет вызывать никаких подозрений, под предлогом поисков другой половины приступки он может копать, сколько его душе угодно. А вернется Сиверт, так поможет ему.

Но если дело обстоит так, что он уже не может в одиночку корчевать из земли камень, значит, многое изменилось, это неладно, надо поторопиться с расчисткой пустоши. Его нагнала старость, глядишь, скоро и в богадельню пора. Торжество, которое он испытал, найдя дверную приступку, с течением дней растаяло, оно было ненастоящее и непрочное. Исаак стал горбиться при ходьбе.

Разве не было в его жизни времени, когда он весь настораживался, стоило кому-нибудь завести речь о камнях и о пахоте? И было это совсем не так давно, всего несколько лет назад. И плохо пришлось бы тогда тому, кто косо поглядит на осушенное болото. Теперь он стал принимать подобные вещи много спокойнее, о-ох, Господи! Прежнего ничего не осталось, весь здешний край переменялся; этой широкой телеграфной просеки через лес не было, горы у моря еще не были покалечены вдоль и поперек взрывами. А люди? Разве говорили они «Мир вам!», когда приходили, или «Оставайтесь с миром!», когда уходили? Они просто кивали головой, а бывало и вовсе не кивали.

Но ведь прежде не было и никакого Селланро, была просто дерновая землянка. А что теперь? И никакого маркграфа прежде не было.

Так-то оно так, но кто он такой, этот маркграф, теперь? Просто унылый и слабый человек. Какой прок поглощать еду и иметь здоровые кишки, если от этого не прибывает сил? Теперь силы у Сиверта, и слава Богу, что у Сиверта они есть; но Господи, если бы они были и у Исаака. Что же хорошего в том, что его шестеренки начали замедлять ход? Он работал как настоящий мужчина, спина его выдерживала тяжести в пору вьючной скотине, взамен он проявит выносливость, дав ей отдохнуть на табуретке.

Исаак недоволен, Исаак удручен.

Вот лежит на пригорке и преет старая зюйдвестка. Сюда, на опушку, ее занесло, наверно, сильным порывом ветра, а может, ребятишки бросили, когда были маленькие. Она лежит здесь год за годом и все больше и больше преет, а была когда-то отличная новая зюйдвестка, вся желтая. Исаак хорошо помнит, как он пришел в ней от торговца, и Ингер сказала, что зюйдвестка очень красивая. Года через два он зашел на селе к маляру и попросил его хорошенько вычернить зюйдвестку, а козырек выкрасить зеленым. Когда он вернулся домой, Ингер сказала, что зюйдвестка стала еще красивее. Ингер всегда все нравилось, да, хорошее было время, он колол дрова, а Ингер смотрела—то была его лучшая пора. А когда наступали март и апрель, они с Ингер сходили с ума друг по другу, аккуратно как птицы и звери в лесу, а потом наступал май и он принимался сеять хлеб и сажать картошку и трудился круглые сутки. Тогда были работа и сон, любовь и мечты, он походил на своего первого быка, а бык тот был ну просто чудо природы—большой да гладкий, и выступал, словно король. Но в нынешние годы такого мая больше не случалось. Нету его.

Несколько дней Исаак ходил сам не свой. То были мрачные дни. Он не чувствовал в себе ни сил, ни охоты приняться за новый сеновал, пусть уж об этом позаботится Сиверт; если что и нужно построить, так это избушку на старость. Он не мог долго скрывать от Сиверта, что расчищает на опушке место для стройки, и однажды так прямо и сказал:

— Там есть хороший камень, на случай, если нам когда-нибудь придется что-то строить. И еще один такой же хороший.

Сиверт даже бровью не повел, но ответил:

— Отличные камни для фундамента!

— Послушай,—говорит отец,—мы столько времени потратили в поисках второй приступки, а ведь здесь вышел бы отличный двор. Только вот не знаю...

— Что ж, место для двора неплохое,—отвечает Сиверт и обводит глазами пустошь.

— В самом деле? Можно бы поставить маленькую избушку, на случай, если кто в гости приедет.

— Да-да.

— С горницей и клетью, как по-твоему? Помнишь, к нам приезжали шведские господа, а остановиться им у нас и негде было. А как ты считаешь, не надо ли тут и кухню пристроить, на случай, если они захотят что-то приготовить?

— Да как же без кухни-то? Еще на смех нас поднимут,—сказал Сиверт.

— Ты так думаешь?

Отец замолчал. А Сиверт, удивительный парень, этот Сиверт, как он хорошо понимает, что за изба требуется для шведских господ, и никогда ведь даже ничего не спросит, только вдруг возьмет да и скажет:

— На твоём месте я бы сделал маленький чуланчик у северной стены, ведь, глядишь, им понадобится просушить мокрую одежду.

Отец сейчас же подхватывает:

— Это ты дело говоришь!

Они молча углубляются в работу. Немного погодя отец спрашивает:

— Элесеус еще не вернулся?

Сиверт отвечает уклончиво:

— Наверно, скоро приедет.

Чистая беда с Элесеусом, самое милое для него дело уехать подальше от дома, попутешествовать. Неужто нельзя выписать товары, вместо того, чтоб самому ездить за ними? Правда, так они обходятся ему гораздо дешевле, но зато во сколько обходятся самые разъезды? Чудно как-то он рассуждает. И на что ему столько ситцев да бумазеи, и разных шелковых ленточек на крестильные чепчики, и черных и белых соломенных шляп, и длинных чубуков для трубок? Никто из хуторян таких вещей не покупал, а покупатели из села приходили в Великое только тогда, когда у них не было денег. Элесеус по своей части толковый парень, посмотреть только, как он пишет на бумаге или записывает мелом какие-то свои подсчеты! «Нам бы твою голову!»—говорили ему люди. Это-то все верно, но он тратит слишком много денег. Ведь

покупатели из села никогда не платят своих долгов, а даже такая гольтьба, как Бреде Ольсен, приходит зимой в Великое и берет в кредит и бумазею, и кофе, и патоку, и керосин.

Исаак напередавал уже так много денег Элесеусу на его торговлю и разъезды, что от богатства, полученного за медную гору, немного осталось. Ну а дальше что?

— Как, по-твоему, идут дела у Элесеуса? — спрашивает вдруг Исаак.

— Дела-то? — переспрашивает Сиверт, чтоб выгадать время.

— Не похоже, чтоб хорошо.

— Он надеется, что еще пойдут.

— Вот как? Ты говорил с ним об этом?

— Нет. Андресен сказывал.

Отец обдумывает ответ и качает головой.

— Нет, не пойдут! — говорит он. — А жалко Элесеуса!

Отец все мрачнеет и мрачнеет, а он и прежде-то был не очень веселый.

Тогда Сиверт делится с ним новостью:

— А у нас тут прибавилось народу.

— Как так?

— Еще двое новоселов. Купили участок напротив нас.

Исаак так и застывает с ломом в руках, это большая новость, хорошая новость, одна из самых лучших.

— Стало быть, нас теперь будет десятеро, — говорит он.

Исаак спрашивает подробнее, где именно купили новоселы землю, вся география местности у него в голове, он кивает:

— Да, это они правильно сделали, там много лесу на дрова, да и строевые сосны попадаются. Участок смотрит на юго-восток.

Стало быть, новоселов ничто не отпугивает, народу все прибавляется. Работы на руднике прекратились, но это только на пользу земледелию, неправда, что земля умирает, наоборот, она только-только начинает жить, вот и еще появились двое новых поселенцев — четыре лишних руки, поля, луга, дома. Ах, как хороши зеленые полянки в глубине леса, избушка, колодец, дети, скотина! Где раньше на болотах торчал один крестовник, колышатся колосья, кивают на межах голубенькие колокольчики, солнце пылает золотом на лютиках у домов. И ходят там люди, разговаривают меж

собой, размышляют и составляют одно целое с небом и землей.

А вот стоит человек, который первым пришел в это безлюдье. Он пришел однажды, увязая по колена в болотах и путаясь в вереске, отыскал поросший лесом склон горы и поселился на нем. За ним пришли другие, протоптали тропинку на пустынной земле, потом пришли еще другие, тропинка превратилась в дорогу, теперь по ней ездят на телегах. Исаак должен быть доволен, душа его должна трепетать от гордости: он основатель этого поселения, он — маркграф.

— Да, да, хватит нам все время возиться с этим двором, надо и о сарае для фуража подумать,—говорит он.

Должно быть, пришел в радостное расположение духа, почувствовал вкус к жизни.

Х

В гору поднимается женщина. Льет ровный летний дождь, она промокла, но не обращает на это внимания, ей есть о чем подумать, она взволнована — это не кто иная, как Барбру. Барбру, дочка Бреде. Конечно, она взволнована: она не знает, чем закончится ее затея, ведь она ушла от ленсмана и бросила село. Вот как обстоит дело.

Она обходит стороной все здешние хутора, потому что не хочет никому попадаться на глаза; ведь всякий поймет, куда она направляется,—на спине у нее узел с одеждой. Ну да, она направляется в Лунное, где хочет опять поселиться.

Она прослужила у ленсмана десять месяцев, срок немалый, если перевести его на дни и ночи, а в пересчете на постоянное принуждение и скуку — это целая вечность. Вначале все шло отлично, госпожа Хейердал была очень заботлива, подарила несколько передников и придела ее, приятно было ходить за покупками в лавочку в таких красивых платьях. Ведь Барбру сызмальства жила в этом селе, знала всех и каждого с той поры, как играла на улице, ходила в школу, целовалась с мальчиками и играла в камешки и раковины. Месяца два-три все шло хорошо. Но тут госпожа Хейердал стала проявлять к ней еще большую заботливость, а с приходом рождественских праздников стала просто-напросто строгой. К чему

это могло привести, как не к порче добрых отношений! Барбру и вовсе не выдержала бы такой жизни, не оставаясь в ее полном распоряжении несколько ночных часов: с двух до шести утра она была до известной степени в безопасности, и в эти часы она позволила себе немало краденых удовольствий. Но что же это была за кухарка, которая не выдала ее? Да самая обыкновенная девушка на свете: кухарка сама уходила из дому без спросу. Они соблюдали неукоснительную очередность.

Прошло немало времени, прежде чем все это открылось. Барбру была вовсе не так легкомысленна, чтобы каждый мог прочесть об этом у нее на лбу, да и в безнравственности ее никто бы не заподозрил. Безнравственность? Она давала отпор при каждом случае. Когда на Святках парни приглашали ее на танцы, она отвечала «нет» — один раз, два раза, но на третий говорила: «Попробую прийти от двух до шести!» Ну что ж, это ответ всякой порядочной женщины, которая не выставляет себя хуже, чем она есть, но и не кичится своей дерзостью. Она была служанка, служила в людях всю жизнь и не знала иных развлечений, кроме как пококетничать. Ничего больше она и не желала. Ленсманша приходила к ней, читала нотации и давала книжки — вот дурища! Это Барбру-то, которая жила в Бергене, читала газеты и ходила в театр! Это вам не какая-нибудь неотесанная деревенщина.

Но, должно быть, у ленсманши зародились подозрения. Однажды в три часа утра она подходит к двери комнаты, где спят девушки, и зовет:

— Барбру!

— Да? — отвечает кухарка.

— А разве Барбру нет? Отопри!

Кухарка отпирает дверь и дает заранее обговоренное объяснение: мол, Барбру неожиданно пришлось побежать домой.

— Домой, неожиданно? Да ведь три часа ночи, — говорит барыня, до бесконечности развивая эту мысль.

Наутро последовал долгий допрос, призвали Бреде.

— Была у вас Барбру нынче ночью в три часа? — спросила его барыня.

Бреде не подготовлен, но отвечает:

— Да. В три часа? Была нынешней ночью. А засиделись мы так долго потому, что надо было кое о чем потолковать.

Ленсманша торжественно возвещает:

— Больше Барбру не будет выходить по ночам из дому!

— Конечно, конечно,— отвечает Бреде.

— Пока она служит у меня— этого не будет!

— Ясно. Ты слышишь, Барбру, я ведь предупреждал тебя!— восклицает отец.

— Можешь сходить к своим родителям иногда по утрам!— решает барыня.

Но бдительная ленсманша, видать, не вполне освободилась от своих подозрений; выждав неделю, она снова в четыре часа утра отправилась на разведку.

— Барбру!— позвала она.

Но на этот раз нет кухарки, а Барбру дома, стало быть, их комната— воплощение самой невинности. Барыне пришлось наспех что-нибудь придумать:

— Ты внесла вечером белье в дом?

— Да.

— Вот и хорошо, а то поднимается сильный ветер. Покойной ночи!

Впрочем, это занятие оказалось для ленсманши утомительным и хлопотным: спрашивать ленсмана, чтоб он будил ее по ночам, а потом плестись через весь дом к комнате девушек и подслушивать, там ли они. Пусть делают что хотят, она не будет больше следить за ними.

И если бы счастье не изменило Барбру, она бы, пожалуй, выдержала такую жизнь у своей хозяйки до конца года. Но несколько дней тому назад между ними случился полный разлад.

Произошло это ранним утром на кухне. Сначала Барбру слегка повздорила с кухаркой, впрочем, не так уж и слегка, а как следует; они кричали все громче и громче, совсем позабыв, что в кухню может зайти барыня. Кухарка вела себя подлее подлого, удрав нынешней ночью не в очередь, потому что было воскресенье. И что бы, вы думали, она привела в свое оправданье? Что ей необходимо было проститься с любимой сестрой, уезжавшей в Америку? Ничего подобного, кухарка вовсе и не собиралась оправдываться, а только сказала, что хорошо повеселилась в эту ночь.

— Нет у тебя за душой ни совести, ни чести, тварь ты этакая!— сказала Барбру.

А в дверях барыня стоит.

Должно быть, идя к ним, она имела в виду спросить объяснение этому крику, но, ответив на приветствие девушек, она вдруг как-то странно устала на Барбру, на

ее грудь, наклонилась и стала смотреть еще пристальнее. В кухне повисла гнетущая тишина. И вдруг барыня вскрикивает и кидается к двери.

«Господи, что такое?»—думает Барбру и смотрит себе на грудь. Ох, Господи, вошь! Барбру невольно улыбается и, так как она не привыкла теряться в чрезвычайных обстоятельствах, невозмутимо стряхивает с себя вошь.

— На пол?—кричит барыня.— Ты с ума сошла! Подними эту пакость!

Барбру принимается за поиски и опять действует очень ловко: делает вид, будто нашла вошь, и широким жестом бросает ее на плиту.

— Откуда она у тебя?—негодует барыня.

— Откуда она у меня?—переспрашивает Барбру.

— Да, я желаю знать, где ты была, где ее подцепила? Отвечай!

И тут Барбру допустила постыдную ошибку. Ей бы ответить: «В лавке!» И на этом все бы и кончилось. А она возьми да и скажи, что не знает, откуда у нее вошь, намекнув при этом, не от кухарки ли.

Кухарка так и подскочила:

— От меня? Ты и сама мастерица притаскивать вшей!

— Да ведь нынче-то ночью ты уходила из дому!

Опять ошибка, вот уж этого ей никак не следовало упоминать. Кухарке не было больше смысла молчать, тут все и выплыло на Божий свет о злополучных ночных странствиях Барбру. Ленсманша пришла в страшнейшее волнение, до кухарки ей дела нет, но Барбру, к которой она так хорошо относилась! И может быть, все бы еще обошлось, если б Барбру поникла головой, как тростинка, пала бы наземь и поклялась какими-нибудь удивительно твердыми клятвами, что впредь этого не будет. Так нет же. В конце концов, барыне пришлось напомнить своей горничной обо всем, что она для нее сделала, и тут Барбру принялась отвечать и возражать, вот до чего оказалась глупа. А может, и очень умна, если хотела довести дело до точки и выбраться отсюда? Барыня сказала:

— Я вырвала тебя из львиных когтей.

— Что до этого,—ответила Барбру,—то мне и без вас было бы не хуже.

— Вот твоя благодарность!—воскликнула барыня.

— Долго молчали, да звонко заговорили,—сказала Барбру.—Если б меня и осудили, то все равно не

больше как на несколько месяцев, тем бы все и кончилось!

На какую-то долю секунды барыня онемела от изумления, некоторое время она стоит в оцепенении, беззвучно открывая рот и снова его закрывая. Первое слово, какое ей удастся произнести,— расчет!

Барбру только и ответила:

— Как вам будет угодно!

Следующие за этим дни Барбру прожила дома у родителей. Но там ей нельзя было оставаться. Мать, правда, торговала теперь кофе, и к ней приходило много народу, но Барбру на это не прожить, а может, у нее были и другие веские причины занять более прочное положение. И вот сегодня она вскинула на спину узел с одеждой и отправилась в путь. Теперь все зависит от того, примет ли ее Аксель Стрём! Но она устроила так, что в прошлое воскресенье их огласили в церкви.

Льет дождь, грязь непролазная, но Барбру идет. Вечереет, но так как до дня святого Олафа далеко, еще светло. Бедняжка Барбру, она совсем не жалеет себя, она идет, чтобы выполнить свою задачу, ей надо дойти и снова начать борьбу. Собственно, она никогда себя не жалела, никогда не ленилась, оттого она и красива и тонка станом. Барбру все схватывает на лету и часто пользуется этим на свою погибель, но чего же иного ожидать? Она привыкла бросаться из крайности в крайность, но сумела сохранить много хороших качеств, смерть ребенка для нее ничто, но живого ребенка она охотно угостит конфеткой. Вдобавок у нее замечательный музыкальный слух, она трогательно и верно тренькает на гитаре и поет хрипловатым голосом, ее очень приятно и чуть-чуть грустно слушать. Жалеть себя? О, она жалела себя так мало, что давно уже выплеснула всю себя за борт, не заметив при этом никакой потери. Изредка она плачет, и сердце у нее разрывается при мысли о том или ином эпизоде ее жизни; но так оно и полагается, это от песен, которые она поет, от поэзии и милого ее друга, она обманывала этим и себя и многих других. Будь у нее сегодня с собой гитара, она нынче же вечером поиграла бы Акселю.

Она подгоняет так, чтоб прийти попозже, и когда входит во двор, в Лунном все тихо. Ага, Аксель уже выкосил все вокруг дома и убрал часть сена! Она сообщает, что Олина, по старости лет, спит, наверное, в горнице, а Аксель — на сеновале, где когда-то спала она

сама. Она тихонько, словно вор, подходит к знакомой двери, потом тихонько окликает:

— Аксель!

— Что там?— сразу отвечает Аксель.

— Ничего, это только я,— говорит Барбру и поднимается наверх.— Небось, непустишь меня ночью?— говорит она.

Аксель смотрит на нее, медленно соображая, что к чему, сидит в одном белье и смотрит на нее.

— А, так это ты,— говорит он наконец.— Куда это ты собралась?

— Перво-наперво я пришла узнать, нужна ли тебе помощница на лето,— отвечает она.

Аксель думает с минуту, потом спрашивает:

— А ты разве ушла оттуда, где жила?

— Да, я рассчиталась у ленсмана.

— Работница мне, пожалуй, нужна,— говорит Аксель.— Но как это понимать: ты разве надумала вернуться?

— Да ты не беспокойся,— отвечает Барбру.— Я завтра же пойду дальше, в Селланро и за перевал, у меня там есть место.

— Тебя там наняли?

— Да.

— Работница мне, пожалуй, нужна,— повторяет Аксель.

Она промокла насквозь, но в узле у нее белье и платье, и она хочет переодеться.

— Ты не обращай на меня внимания,— говорит Аксель, слегка отодвигаясь к двери.

Барбру принимается стаскивать с себя мокрое платье; разговаривая, Аксель то и дело поворачивает к ней голову.

— Ну а теперь выйди на минутку!— говорит Барбру.

— На двор?— спрашивает он.

Погода и правда не такая, чтоб выходить на двор. Он встает и смотрит, как она все больше и больше обнажается, прямо глаз не оторвать; да и Барбру-то по рассеянности не додумалась сразу надевать сухую одежду, снимая мокрую, не додумалась, и все тут. Рубашка у нее совсем тоненькая и прилипла к телу, вот она расстегнула ее на одном плече и сразу отворачивается, вот ведь какая ловкая. Он теряет дар речи и молча смотрит, как она всего одним или двумя движениями спускает с себя ру-

башку. «Надо же, как здорово»,— думает он. А она стоит себе, как ни в чем не бывало.

Немного погодя они лежат и разговаривают. Да, ему нужна работница, это верно.

— Я слыхала,— говорит Барбру.

Он начал косовицу, ведь запастись сена надо на целый год, а он один, Барбру может понять, как ему трудно.

Да, Барбру все понимает.

С другой стороны, ведь Барбру сама удрала в тот раз и оставила его без работницы, этого он ей не забыл, да еще прихватила с собой кольца. И в довершение всех издевательств ему продолжала приходиться ее бергенская газета, от которой он никак не мог отделаться; пришлось потом заплатить за целый год.

— Бессовестная газетенка!— сказала Барбру, во всем соглашаясь с ним.

Но ввиду такой невиданной ее уступчивости Аксель не может вести себя как изверг; он признает, что у Барбру были основания сердиться на него за то, что он отнял у ее отца место на телеграфе.

— Впрочем, отец твой может опять забрать телеграф,— говорит он,— я за ним не гонюсь, пустая трата времени.

— Верно,— соглашается Барбру.

Аксель думает с минуту, потом спрашивает напрямик:

— Ну так как, ты останешься только на лето?

— Нет,— отвечает Барбру,— будет, как ты захочешь.

— Ты это всерьез?

— Да. Как ты хочешь, так хочу и я. Ты больше во мне не сомневайся.

— Ну?

— Да, да. И я сказала, чтоб нас огласили.

Вот оно что. Совсем неплохо. Аксель долго лежит, размышляя. Если на сей раз это всерьез, а не опять какой-нибудь подлый обман, он обзаведется работницей и будет обеспечен помощью на вечные времена.

— Я попросил прислать мне женщину с моей родины,— говорит он,— и она написала, что согласна выйти за меня. Да только придется оплатить ей проезд из Америки.

Барбру спрашивает:

— Как, разве она в Америке?

— Да. Уехала в прошлом году, но ей там не нравится.

— Нет, и не думай о ней! — заявляет Барбру. — Что же тогда будет со мной? — забеспокоившись, спрашивает она.

— Оттого-то я и не порешил с ней окончательно.

Должно быть, не желая отстать, Барбру тоже признается, что могла выйти замуж за одного молодого человека в Бергене, он служил возчиком в большой пивной, так что пользовался большим уважением.

— Он и по сию пору вздыхает обо мне, — всхлипывая, говорит Барбру. — Но понимаешь, Аксель, когда между двумя людьми было столько, сколько между мною и тобой, мне такого человека не забыть. А ты, пожалуйста, можешь забыть меня, как только пожелаешь!

— Кто, я? — отвечает Аксель. — Нет, из-за этого тебе нечего плакать, потому что я никогда не забывал тебя.

— Да?

Это признание благотворно действует на Барбру, и она говорит:

— Раз так, зачем тебе выписывать ее из Америки, если можно обойтись без этого!

Она отговаривает его от этой затеи, слишком это дорого, да и незачем. Барбру, по-видимому, вбила себе в голову, что сама составит его счастье.

За ночь они договорились. Они ведь были не чужие друг другу и очень часто обсуждали все это и прежде. Без венчания не обойтись, надо устроить его до дня святого Олафа и до сенокоса, им нечего скрывать — теперь уже Барбру торопила венчание еще усерднее Акселя. Акселя не оскорбляла настойчивость Барбру, не возбуждавшая в нем никаких подозрений, наоборот, ее поспешность льстила ему и подогревала его. Ну да, он был весь от земли, твердый как камень, не очень разборчивый и уж совсем не щепетильный, ему приходилось мириться и с тем, и с другим, и с третьим, он хорошо соображал свою выгоду. К тому же Барбру показалась ему такой свежей и красивой, чуть ли даже не красивее и милее прежнего. Она была словно яблоко, и он запустил в него зубы. Да и в церкви их уже огласили.

Мертвого ребенка и судебный процесс они оба обошли молчанием.

Зато они поговорили об Олине: как им от нее избавиться?

— Нужно ее выпроводить! — сказала Барбру. — Нам ее благодарить не за что. От нее только одни сплетни и злость.

Но выпроводить Олину оказалось не так-то просто.

В первое же утро, увидев Барбру, старуха Олина, должно быть, почувала свою участь. Она сразу обозлилась, но затаила злость и, лишь кивнув, придвинула Барбру стул. Все то время, что Барбру не было, жизнь в Лунном шла своим чередом, Аксель таскал воду и дрова, делал за Олину всю самую тяжелую работу, а Олина справлялась со всем остальным. С течением времени она решила про себя, что останется на хуторе до конца своих дней, но вот появилась Барбру и разом разрушила ее планы.

— Будь в доме хоть одно кофейное зернышко, я бы сварила тебе кофе,—говорит она Барбру.— Ты идешь куда-нибудь дальше?

— Нет,—отвечает Барбру.

— Вон что, так ты не за перевал?

— Нет.

— Ну да, это меня, конечно, не касается,—говорит Олина.— Опять, значит, в село?

— Нет, и не в село. Я останусь здесь, как раньше.

— Вон что. Будешь тут жить?

— Да, наверно.

Олина молчит с минуту, мозги в ее старой голове работают вовсю; о-о, она тонкий политик.

— Да,—говорит она,— в таком случае, я, значит, освобожусь. Вот радость-то!

— Ну,—шутливо говорит Барбру,— разве Аксель так плохо к тебе относился?

— Плохо? Он-то? Не смейся над несчастной старухой, которая только и ждет отпущения грехов! Аксель был мне все равно что отец родной и посланец Божий во всякий день и час, иного я не могу сказать. Но ведь у меня здесь нет родных, живу одинокая и покинутая на чужой стороне, а все мои близкие за перевалом...

Но Олина осталась. Они не могли расстаться с ней, пока не повенчаются, и Олина хорошо на этом сыграла, заставила себя упрашивать, но под конец согласилась задержаться: дескать, ладно, она окажет им эту услугу, присмотрит за скотиной и за домом, пока они будут венчаться. Венчание заняло два дня. Но когда новобрачные вернулись домой, Олина все-таки не ушла. Она тянула время, то была нездорова, то дождь собирался. Она всячески подлизывалась к Барбру: теперь все стало по-другому в Лунном, другая еда, а уж про кофе нечего

и говорить! Да, Олина не пренебрегала никакими средствами, она советовалась с Барбру о вещах, которые сама знала лучше ее:

— Как думаешь, подоить мне коров, раз уж они стоят в хлеву, или сначала приняться за Борделину?

— Делай как хочешь.

— Да разве я о том говорю! — восклицает Олина. — Ты побывала в свете, пожила среди богатых и знатных людей и всему научилась. Не то что мы, бедные!

Да, Олина не пренебрегала никакими средствами, круглые сутки ведя свою линию. Подолгу сидела она с Барбру, рассказывая, как была дружна с ее отцом, с Бреде Ольсеном. О, не один приятный часок провели они вместе, он такой почтенный и обходительный человек, этот Бреде, никогда не услышишь от него плохого слова!

Но долго продолжаться так не могло; ни Аксель, ни Барбру не желали больше держать Олину, и Барбру мало-помалу прибрала к рукам все ее обязанности. Олина не жаловалась, но провожала свою хозяйку недобрыми взглядами и постепенно изменила тон.

— Да, теперь-то вы страх какие важные! — говорила она. — Аксель в прошлом году осенью ездил в город, ты с ним там случаем не встречалась? Нет, ты ведь была в Бергене. А ездил он по какому-то делу и купил косилку и борону. Что теперь против вас хозяева Селланро? И равнять нельзя!

Она изощрялась в мелких уколах, но и это не помогало; хозяева перестали ее бояться, и однажды Аксель прямо заявил, что ей пора уходить.

— Уходить? — переспросила Олина. — Как это? Ползком, что ли?

Нет, она отказалась уйти под тем предлогом, что нездорова и не в состоянии шевельнуть ногами. И ведь как нехорошо вышло: когда у нее отобрали работу и лишили всякой деятельности, она сразу сникла и впрямь захворала. Но и после этого она протаскалась на ногах еще с неделю. Аксель смотрел на нее с бешенством, а Олина держалась уже на одной злости, но под конец не выдержала и совсем слегла.

И вот она лежит и вовсе не ждет отпущения, наоборот, часами твердит, что поправится. Она потребовала доктора — роскошь, доселе в их глуши неведанную.

— Доктора?—спросил Аксель.— Совсем из ума выжила?

— Почему это?—кратко спросила Олина, притворяясь, будто ничего не понимает.

Она была так кротка и умильна, так счастлива тем, что никому не в тягость, она может заплатить доктору сама.

— Правда?—спросил Аксель.

— А почему и нет?—сказала Олина.— Не лежать же мне здесь и помирать, как беспризорной скотине.

Тут вмешалась Барбру и осторожно спросила:

— Чего тебе не хватает? Разве я не приношу тебе еду? А кофе я тебе не даю для твоей же пользы.

— Это ты, Барбру?—говорит Олина и переводит на нее глаза; она совсем плоха, заведенные к потолку глаза придают ей жуткий вид.— Оно, может, и так, как ты говоришь, Барбру, может, мне и впрямь станет хуже от капельки кофе, от чайной ложечки кофе.

— Будь ты на моем месте, ты бы думала сейчас кое о чем другом, а не о кофе,—сказала Барбру.

— А я что говорю,—ответила Олина.— Ты не из тех, что желают смерти человеку, ты за то, чтоб он поправился и жил дольше. Что это, я вот лежу и смотрю, никак ты в тягостях, Барбру?

— Я?—кричит Барбру и яростно прибавляет:— Так бы и выбросила тебя в навоз за твой язык!

Больная молчит с добрую минуту, но губы ее дрожат, будто она силится улыбнуться и не может.

— Нынче ночью я слышала чей-то крик,—говорит она.

— Она бредит!—шепчет Аксель.

— Нет, я не брежу. Кто-то словно позвал меня. Из лесу или от ручья. Удивительно, аккуратно будто кричал маленький ребеночек. Что, Барбру ушла?

— Да,—говорит Аксель,—ей надоело слушать чушь, которую ты несешь.

— Все это не чушь, и я не брежу, как вы думаете,—говорит Олина.— Нет, Всемогущий не допустит, чтоб я предстала перед Престолом и Агнцем со всем тем, что знаю про Лунное. Я еще поправлюсь, но только позови ко мне доктора, Аксель, тогда дело пойдет скорее. Какую из коров-то ты мне подарить?

— Какую еще корову?

— Корову, которую ты мне обещал. Не Борделину ли?

— Ну уж ты городишь сама не знаешь что,— говорит Аксель.

— Ты ведь обещал мне корову, когда я спасла тебе жизнь, помнишь?

— Нет, не помню.

Тогда Олина поднимает голову и смотрит на него. Она совсем седая и лысая, голова торчит на длинной птичьей шее, она страшна, как сказочное чудовище; Аксель вздрагивает и нащупывает за спиной дверную ручку.

— Ага,— говорит Олина,— так вот ты какой! Значит, пока что мы об этом говорить больше не станем. Проживу и без коровы и не заикнусь об ней. Но хорошо, что ты показал себя аккурат таким, каков ты есть, Аксель, вперед я буду знать, что ты за птица!

А ночью Олина умерла, в какой-то ночной час, во всяком случае, когда утром они вошли к ней, она уже похолодела.

Старуха Олина — родилась и умерла...

Что Аксель, что Барбру, оба они были рады похоронить ее навеки, теперь некого было остерегаться, они повеселели. Барбру опять жалуется на зубную боль, в остальном все идет как надо. Но этот вечный шерстяной платок у рта, который ей приходится отнимать всякий раз, когда она хочет сказать слово,— немалое мученье, и Аксель никак не возьмет в толк, как это могут у человека так долго болеть зубы. Правда, он замечает, что она жует всегда очень осторожно, но ведь у нее все зубы целы.

— Ты же вроде вставила себе новые зубы? — спрашивает он.

— Да.

— Что же, и они тоже болят?

— Ну сколько можно глупости болтать! — сердито отвечает Барбру, хотя он полон миролюбия. И в раздражении своем она дает более толковый ответ: — Мог бы и сам понять, что со мной такое.

Что же с ней такое? Аксель смотрит чуть внимательнее, и ему начинает казаться, что у нее вырос живот.

— Да ведь не в тягостях же ты? — спрашивает он.

— Будто сам не знаешь, — отвечает она.

Он смотрит на нее, уставившись бессмысленным взглядом. В медлительности своей он сидит довольно долго и считает: неделя, две недели, третья неделя.

— Разве я знаю?— говорит он.

Их спор приводит Барбру в страшное раздражение, и она начинает громко и обиженно плакать.

— Лучше закопай и меня в землю, тогда ты от меня избавишься!— говорит она.

Вот ведь удивительно, какую только причину не найдут женщины, чтобы поплакать!

У Акселя нет никакого желания закапывать ее в землю, он великий умелец по части своей выгоды, ему вовсе нет нужды в траурном венке.

— Выходит, ты не сможешь летом работать?— спрашивает он.

— Я не смогу работать?— с ужасом восклицает она.

О Господи, и какую только причину не найдут женщины, чтобы улыбнуться! Когда Барбру увидела, как воспринял новость Аксель, ее обуяло какое-то истерическое счастье, и она воскликнула:

— Я буду работать за двоих! Вот увидишь, Аксель, я буду делать все, что ты велишь, и даже гораздо больше. Я в лепешку расшибусь, лишь бы ты был доволен!

Опять полились слезы, пошли улыбки и нежности. Здесь, в глуши, их было только двое, некого бояться, настежь открытые двери, летнее тепло, жужжанье мух. Она была так покорна и преданна, на все смотрела его глазами.

После заката солнца он запрягает косилку, хочет скосить маленькую луговинку на завтра. Барбру поспешно выходит следом, будто за делом, и говорит:

— Послушай, Аксель, как это ты надумал выписывать кого-то из Америки? Ведь она приедет не раньше зимы, а на что она тебе тогда?

Вот что надумала Барбру и прибежала сказать ему, словно в том была нужда.

Но нужды никакой не было, Аксель с первой же минуты понял, что если возьмет Барбру, то выгадает вместо летней работницы годовую. Этому человеку не ведомы колебания, и в облаках он не парит. Теперь, когда он залучил в дом надежную работницу, можно покуда и телеграф за собой оставить. Это даст в год большие деньги и будет очень кстати, пока он не может особо много чего продавать со своего участка. Все складывается как нельзя лучше, он человек, трезво смо-

трящий на жизнь. И от Бреды, который сделался его тестем, ему теперь нечего опасаться притязаний на телеграфную линию.

Счастье начинает улыбаться Акселю.

XI

А время идет, миновала зима, опять приходит весна.

Разумеется, однажды Исааку понадобилось съездить в село. Домашние спросили, зачем ему туда.

— Да сам не знаю, так просто,— ответил он.

Но хорошенько вымыл телегу, приладил сиденье и уехал. И, разумеется, захватил с собой в Великое разной провизии для Элесеуса. Ведь ни разу никто не уезжал из Селланро, не взяв чего-нибудь для Элесеуса.

Уж если когда Исаак выезжал куда-нибудь, это было событие вовсе не заурядное, он делал это очень редко, обыкновенно посылал вместо себя Сиверта. Хозяева двух ближних хуторов стоят в дверях землянки и при виде его говорят друг другу:

— А вон и сам Исаак, куда это он нынче отправился?

Когда он проезжает мимо Лунного, у окна стоит Барбру с ребенком на руках, смотрит на него и думает: «А вон и сам Исаак!»

Он подъезжает к Великому и останавливается.

— Тпру! Элесеус дома?

Выходит Элесеус. Да, он дома, не уехал пока, но собирается в весеннюю поездку по южным городам.

— Вот, тут мать что-то тебе прислала,— говорит отец,— не знаю что, но, верно, пустяки.

Элесеус вынимает горшки, благодарит и спрашивает:

— А письмеца или чего-нибудь такого нет?

— Как же!— отвечает отец и начинает шарить по карманам.— Должно быть, от маленькой Ребекки.

Элесеус берет письмо, его-то он и ждал, он чувствует, что оно большое и толстое, и говорит отцу:

— Жаль, ты приехал так рано, лучше бы денька через два. Но, может, подождешь немножко, тогда свезешь мой чемодан.

Исаак слезает с телеги и привязывает лошадь. Он осматривает участок. Коротышка Андресен неплохой землепашец, правда, Сиверт приезжал из Селланро с лошадью ему на подмогу, но он и сам осушил порядочный участок болота и нанял человека обложить канавки кам-

нями. Нынче в Великом не придется покупать корма для скотины, а на будущий год Элесеус сможет, пожалуй, держать и лошадь. Тут уж надо благодарить Андресена за его интерес к сельскому хозяйству.

Спустя какое-то время Элесеус кричит ему, что уже уложил чемодан. Сам он тоже стоит на крыльце готовый к отъезду, на нем красивый синий костюм, белый воротничок, на ногах галоши, в руках тросточка. Правда, он приедет в село за два дня до отхода парохода, но это не беда, можно и подождать, ему все равно, где быть.

И вот отец с сыном едут дальше. Помощник Андресен стоит в дверях лавки и кричит:

— Счастливого пути!

Отец беспокоится о сыне и предлагает ему одному занять сиденье, но Элесеус наотрез отказывается и усаживается сбоку. Когда они проезжают мимо Брейдаблика, Элесеус вдруг вспоминает, что позабыл одну вещь.

— Тпру! Что такое? — спрашивает отец.

О, зонт, Элесеус позабыл дождевой зонт; не пускаясь в объяснения, он говорит только:

— Ну, делать нечего. Поезжай!

— Не повернуть ли?

— Нет, нет, поезжай дальше!

И все же чертовски досадно, что он стал так забывчив! А все из-за спешки, оттого, что отец ходил по участку и ждал его. Теперь Элесеусу придется покупать второй зонт, чтоб ходить с ним в Тронхейме, когда туда приедет. Что из того, что у него будет два зонта, какая разница. Но при этом он так рассердился на самого себя, что соскакивает на землю и идет пешком за телегой.

Так им и не удастся поговорить как следует, потому что отцу приходится каждый раз оборачиваться и обращаться к сыну через плечо. Он спрашивает:

— Ты надолго уезжаешь?

Элесеус отвечает:

— Недели на три, самое большее на месяц.

Отец удивляется, как это люди не плутают в больших городах и не попадают невесть куда. Но Элесеус отвечает, что если говорить о нем, то он привык к городам и ни разу там не плутал, с ним этого никогда не случилось.

Отцу совестно сидеть одному, он говорит:

— Ну ладно, теперь правь ты, мне надоело!

Но Элесеус ни за что не хочет сгонять отца с сиденья, лучше он сядет с ним рядом. Но сначала они закусывают из большой отцовской котомки. Потом едут дальше.

Они подъезжают к двум нижним хуторам—сразу видно, что они уже недалеко от села: в обеих усадьбах на маленьких оконцах, выходящих на дорогу, белые занавески, а на коньках сеновала укреплены шесты для флага в честь Семнадцатого мая.

— А вон и сам Исаак!—говорят хуторяне, завидя проезжающих.

Наконец Элесеусу удается хоть немного отмахнуться от мыслей о собственной персоне и собственных делах, и он спрашивает:

— Ты за чем едешь сегодня?

— Гм!—отвечает отец.—Особенно ни за чем!—Но Элесеус ведь уезжает, стало быть, не беда, если он и узнает.—Да вот, еду за Йенсиной, кузнецовой дочкой,—признается отец.

— Чего тебе было ехать самому, разве не мог Сиверт съездить?—спрашивает Элесеус.

Вот тебе и раз, выходит, Элесеус ничего не понимает; неужто он думает, что Сиверт поехал бы к кузнецу за Йенсиной, после того как она так заважничала, что уехала из Селланро?

В прошлом году с сенокосом у них вышло неважно. Правда, Ингер здорово работала, как и обещала. Леопольдина тоже трудилась не покладая рук, к тому же у них были и конные грабли. Но сено—частью тяжелая тимофеевка, а луг для покоса широченный. В Селланро теперь большое хозяйство, у женщин много всякой другой работы, помимо уборки сена: обиходить скотину, вовремя приготовить еду, сварить сыр, сбить масло, постирать, испечь хлебы; мать с дочерью выбиваются из сил. Исаак не хотел пережить второе такое лето, он твердо решил, что Йенсина должна вернуться, если она свободна. Теперь Ингер тоже ничего не имела против, она опять образумилась и отвечала:

— По мне, делай как хочешь!

Ингер стала нынче куда как рассудительнее, великое дело вернуть себе разум, после того как его потеряешь. Ингер уже не нужно гасить сердечный жар, не нужно держать в узде свое тайное буйство, зима остудила ее, жар остался для домашнего пользования, она чуть-чуть пополнила, стала красивая, статная. Удивительная она

женщина: не увядала, не отмирала по частям; может, оттого, что так поздно начала цвести. Бог знает отчего так бывает, ничто не происходит по одной-единственной причине, на все имеется целый ряд причин. Разве не расточала похвалы Ингер жене кузнеца? За что осуждала ее жена кузнеца? Из-за своего изуродованного лица она упустила свою весну, потом ее посадили в искусственную клетку и на шесть лет оторвали от лета; но жизнь все еще оставалась в ней, и осень ее поэтому волей-неволей дала такие буйные побеги. Ингер была лучше всяких кузнечих, чуть побитая жизнью, чуть исковерканная, но хорошая от природы, добродетельная от природы...

Отец с сыном едут дальше, подъезжают к гостинице Бреде Ольсена и ставят лошадь под навес. Вечереет. Они входят в дом.

Бреде Ольсену удалось снять этот дом, тогда еще нежилой, принадлежавший торговцу, сейчас в нем устроены две комнаты и две каморки; дом неплохой и стоит на хорошем месте, заведение охотно посещают любители кофе и жители соседних сел и деревень, приезжающие к пароходу.

Кажется, на этот раз Бреде повезло, он попал на свое настоящее место, и этим обязан своей жене. Действительно, мысль о кофейне и гостинице пришла жене Бреде, когда она продавала кофе на аукционе в Брейдаблике, очень уж это было весело — торговать, чувствуя между пальцами скиллинги, наличные деньги. С тех пор, как они обосновались здесь, дела идут отлично, жена Бреде продает теперь кофе всерьез и дает приют многим, у кого нет крыши над головой. Проезжие ее благословляют. Конечно, ей помогает дочь, Катрина, она уже взрослая девушка и отлично прислуживает; но, конечно, Катрине недолго осталось жить в родительском доме и прислуживать гостям. Но пока что оборот очень приличный, а это самое главное. Начало было хорошее и было бы еще лучше, если б их не подвел торговец, не привезя крендельки и печенье к кофе; тогда, в праздник Семнадцатого мая, все сидели и тщетно требовали хлеба и печенья к кофе! Это научило торговца заранее запастись печеньем к сельским торжествам.

Семья Бреде и сам он кое-как кормятся своим предприятием. Частенько обед их состоит из кофе с черствым хлебом и печеньем, но это все-таки поддерживает жизнь, да и дети мало-помалу приобретают

благородный, можно даже сказать, очень благородный вид. «Не у всех есть хлеб к кофе!» — говорят сельчане. Семья Бреде, по-видимому, живет хорошо, они даже держат собаку, которая трется промеж гостей, ластится, кормится лакомыми кусками из их рук и жиреет. Такая жирная собака — лучшая реклама кухни и стола в гостинице!

Сам Бреде Ольсен играет в своем доме роль хозяина, попутно успев упрочить и свое общественное положение. Он снова состоит приставом и постоянным спутником ленсмана и одно время исполнял свои обязанности весьма исправно; но в последнюю осень дочь его Барбру не поладила с ленсманшей из-за суцней безделицы, попросту сказать, из-за вши, и с того времени Бреде стали недолюбливать в доме ленсмана. Но Бреде от этого не очень внакладе, есть в селе другие господа, которые теперь обращаются к нему всякий раз для того, чтоб позлить ленсманшу; вот почему он теперь в большом фаворе у доктора, а пасторша, «так у той и свиней-то столько нет, сколько раз она посылала за Бреде, чтоб заколоть их», — это его собственные слова.

Но, что и говорить, семье Бреде частенько приходится туговато, не все они такие жирные, как их собака. Ну да, слава Богу, у Бреде характер легкий. «Дети ведь вырастают!» — говорит он, хотя постоянно на свет Божий появляются все новые малютки. Те, что выросли и уехали, заботятся о себе сами и изредка посылают кое-что домой: Барбру живет замужем в Лунном, а Хельге служит в сельдяной артели; когда могут, они уделяют родителям немножко провизии или денег. Даже Катрина, та, что прислуживает постояльцам дома, умудрилась однажды зимой, когда им пришлось очень уж туго, сунуть отцу в руку пять крон. «Вот так девчонка!» — сказал Бреде, не поинтересовавшись, откуда у нее бумажка и за что она ее получила. Так тому и следует быть, дети должны любить родителей и помогать им!

Единственно, кем Бреде недоволен, так это сыном Хельге. Частенько, стоя в мелочной лавке в окружении слушателей, Бреде развивает свои взгляды на обязанности детей перед родителями.

— Взять для примера сына моего Хельге: если он курит табак или выпьет когда рюмочку, я против этого ничего не скажу, все мы были молоды. Но разве это порядок, что он шлет нам письмо за письмом с одними поклонами? Разве это порядок, что он заставляет плакать

свою мать? Это безобразие. В старину все было по-другому: не успев вырасти, дети сейчас же поступали на службу и начинали помаленьку помогать родителям. Так и должно быть! Разве не отец и мать носили их под сердцем, а потом трудились до кровавого пота, чтоб прокормить их, пока они вырастут? А они это забывают!

И однажды Хельге словно услышал отцовы речи, потому что от него вдруг пришло письмо с бумажкой, целых пятьдесят крон. Тут уж семья Бреде закутила всюю — накупили и мяса, и рыбы для варева, и лампу с подвесками для парадной комнаты в гостинице.

День прошел, чего же больше? Живет себе семья Бреде, живет, перебиваясь с хлеба на квас, но без больших трудов. Чего же еще желать!..

— Вот так гости! — говорит Бреде, провожая Исаака и Элесеуса в комнату с висячей лампой. — Что я вижу! Ты, надеюсь, не уезжаешь, Исаак?

— Нет, я к кузнецу, по делу.

— Выходит, это Элесеус опять собрался на юг, по городам?

Элесеус привык к гостиницам, он располагается в номере как дома, вешает пальто и палку на стену и заказывает кофе; еда у отца с собой в котомке. Катрина приносит кофе.

— Нет-нет, не надо платить! — говорит Бреде. — Я так часто бывал у вас в Селланро, и вы меня угощали, а у Элесеуса я и посейчас записан в книгах. Не бери ни эре, Катрина.

Но Элесеус платит, вынимает кошелек и платит, а потом дает Катрине еще двадцать эре. Не безделица!

Исаак уходит к кузнецу, а Элесеус остается.

Он произносит несколько слов, обращаясь к Катрине, но только самых необходимых, не больше, предпочитая разговаривать с ее отцом. Да, Элесеус не гоняется за девицами, видать, когда-то его что-то оттолкнуло от них, и с тех пор он напрочь утратил к ним интерес. Может, в нем никогда и не было заложено любовного влечения, о котором стоило бы говорить, раз он живет вот так зазря. Редкий экземпляр в деревне, господин с тонкими писарскими руками и женской страстью к франтовству, зонтикам, тросточкам и галошам. Испортили, что ли, подменили этого непонятого холостяка? И усы-то у него не желают расти как следует. Но может ведь быть и так,

что поначалу он и был правильно устроен для продолжения рода, а потом попал в искусственную обстановку и превратился в урод? Или же он с таким усердием занимался в конторе, а потом в мелочной лавке, что вся его непосредственность исчезла? Может, и так. Во всяком случае, так он и живет, слабый, беззаботный, добродушный и бесстрастный, и уходит все дальше и дальше по своему ложному пути. Ему бы позавидовать любому в деревне, но он даже на это не способен.

Катрина привыкла шутить с гостями, и она поддразнивает Элесеуса — наверно, он опять едет на юг к своей душеньке.

— У меня другое на уме, — отвечает Элесеус, — я еду по делам, устанавливать связи.

— Не приставай с глупостями к приличным гостям, Катрина! — осаживает ее отец.

Бреде Ольсен на удивление вежлив и почтителен с Элесеусом. Да ему и приходится быть таким, с его стороны это очень умно, за ним долг в лавку Элесеуса, он стоит сейчас перед своим кредитором. А Элесеус? Ему нравится эта вежливость, и он милостиво отвечает на нее. «Ваше благородие!» — дурачась, обращается он в шутку к Бреду. И рассказывает ему, что снова позабыл дома свой зонт.

— Мы как раз проезжали мимо Брейдаблика, тут я и вспомнил про зонт.

Бреде спрашивает:

— Ведь вы, наверно, зайдете к нашему торговцу вечером на стаканчик пунша?

Элесеус отвечает:

— Зашел бы, будь я один. Но со мной отец.

Бреде настроен на любезный манер и продолжает разговор:

— Послезавтра сюда приезжает один человек, который возвращается в Америку.

— Он приезжал домой на побывку?

— Да. Он из верхнего села. Уже много лет как он уехал, и вот теперь прожил зиму дома. Его чемодан привез сюда возчик, вот это чемодан так чемодан!

— Я сам частенько подумываю об Америке, — признается Элесеус.

— Вы? — восклицает Бреду. — Да вам-то туда зачем?

— Я, может, и не остался бы там на вечные времена, сам не знаю. Но я уже много путешествовал, хотелось бы побывать и там.

— Разве что так. Они зарабатывают там пропасть денег, в этой Америке. Вот взять хоть этого парня, с которым я разговаривал: всю эту зиму он устраивал у себя в селе пир за пиром, а ко мне пришел и говорит: «Поддай полный кофейник кофе и все, говорит, печенье, какое у тебя есть». Хотите посмотреть его чемодан?

Они выходят в коридор и осматривают чемодан. Чудо, а не чемодан, весь сверкает от металла и блях, с тремя пряжками, не считая замка.

— Замок-то с секретом, отмычкой не открыть!— говорит Бреде, словно уже пробовал.

Они вернулись в комнату, но Элесеус вдруг как-то притих. Этот американец из верхнего села, который путешествует по свету как самый важный чиновник, поверг его в ничтожество; ясно было, что Бреде увлечен этим субъектом. Элесеус спросил еще кофе и попытался тоже разыграть из себя богача, потребовав к кофе печенья, он даже покормил печеньем собаку, но по-прежнему чувствовал себя жалким и ничтожным. Что такое его чемодан по сравнению с только что увиденным чудом! Вон он стоит: черная клеенка, потертые углы, обыкновенный ручной саквояж,— ей-ей, он купит себе великолепный чемодан, как только приедет на юг, вот посмотрите!

— Не утруждайте себя кормлением собаки,— сказал Бреде.

И Элесеус снова почувствовал себя человеком и напустил на себя важность.

— Колоссально! До чего же жирна эта собака,— сказал он.

Мысли мешались у него в голове, он резко оборвал разговор и вышел, решив пойти в сарай к лошади. Здесь он вскрыл конверт, лежавший у него в кармане. Он сунул его туда, не посмотрев, сколько в нем денег; он уже не раз получал такие письма из дома и каждый раз находил в них несколько кредиток, помощь на поездку. Что-то в нем теперь? Большой лист серой бумаги, разрисованный маленькой Ребеккой для братца Элесеуса, записочка от матери. А еще что? Ничего? Ничего. Никаких денег.

Мать писала, что не решилась больше просить денег у отца, ведь от капитала, который они получили за медную гору, уже почти ничего не осталось, все ушло на покупку Великого, на товары и на его поездки. Пусть уж

он на этот раз выкручивается сам, потому что те деньги, какие еще есть, должны пойти другим детям, а то они останутся совсем безо всего. Счастливого пути и с любовью низкий поклон.

Никаких денег.

Своих денег для поездки на юг Элесеусу не хватит, он подчистую выскреб кассу в лавке и собрал не очень много. Ах, как же он сглупил, послав недавно в Берген своему поставщику письмо с деньгами в уплату по нескольким счетам. Вполне можно было и подождать. Разумеется, он поступил очень легкомысленно, пустившись в дорогу, не распечатав предварительно письма; мог бы избавить себя от поездки в село с этим своим злосчастным чемоданом. А теперь вот извольте радоваться...

Отец возвращается от кузнеца, удачно покончив дело: завтра утром он поедет домой вместе с Йенсиной. Йенсина не стала упрямиться, не заставила себя упрашивать, она сразу поняла, что им в Селланро нужна на лето работница, и тотчас согласилась поехать. Повела себя куда как правильно.

Пока отец рассказывает, Элесеус сидит и думает о своем. Потом показывает отцу чемодан американца и говорит:

— Как бы я хотел быть там, откуда приехал этот чемодан!

Отец отвечает:

— Да, оно бы неплохо!..

Наутро отец собирается в обратный путь, запрягает лошадь и едет к кузнецу за Йенсиной и ее сундучком. Элесеус стоит и смотрит им вслед; когда они скрываются в лесу, он расплачивается в гостинице и дает Катрине на чай.

— Пусть чемодан постоит у вас до моего возвращения,— говорит он ей и уходит.

Элесеус — куда же он идет? У него есть только одно место, куда он может пойти,— он поворачивает назад, ему ничего не остается, как опять постучаться домой. Он шагает прежней дорогой, стараясь держаться на таком расстоянии позади отца и Йенсины, чтобы они его не увидали. Он идет все дальше и дальше. В душе он завидует теперь каждому хуторянину.

Жаль Элесеуса, он совсем сбился с толку!

Разве у него нет торговли в Великом? Да ведь не с чего разыгрывать барина-то. Слишком уж часто предпринимает он приятные поездки для установления связей, они

стоят слишком дорого, он не привык ездить задешево. «Не будем мелочными»,—говорит Элесеус и дает двадцать эре, когда вполне можно было бы обойтись и десятью. Торговле не под силу прокормить этого расточительного человека, ему необходима помощь из дому. Участок в Великом дает картофель, ячмень и сено для домашнего обихода, но остальные припасы идут из Селланро. Все ли это? Сиверт возит товары Элесеусу бесплатно с пристани. Все ли это? Матери приходится раздобывать ему денег у отца на разъезды. Но уж теперь-то все?

Самое худшее впереди.

Элесеус ведет торговлю как безумец. Ему так льстит, что к нему в Великое идут за покупками из села, что он с готовностью отпускает товары в кредит; когда об этом узнали в округе, народ повалил валом, и все желают брать в кредит, в лавке творится черт знает что; Элесеус такой добрый, знай себе отпускает товары, полки пустеют, снова наполняются. Все это стоит денег. Кто же платит? Отец.

Поначалу самой верной его союзницей была мать: Элесеус в семье светлая голова, ему надо открыть дорогу в жизнь; вспомни, как дешево он купил Великое и как он точка в точку угадал, сколько за него дать! Когда отец убеждал ее, что это не торговля, а сущая ерунда, мать неизменно отвечала: «Много ты понимаешь!» Она даже осуждала Исаака за такие грубые выражения, неужто добрый Исаак так неуважительно относится к Элесеусу?

Ну да, мать ведь и сама попутешествовала, повидала свет, она понимает, что, по сути, Элесеус зазря пропадает в деревне, он привык к другим условиям жизни, привык к общению с равными себе по развитию, которого ему так здесь не хватает. Он слишком много тратит средств на ничтожных людей, но делает это не по испорченности и не из желания разорить родителей, а исключительно по благородству и доброте характера, ему хочется помочь людям, стоящим ниже его. Господи, да ведь во всей округе только он один пользуется белыми носовыми платками, которые постоянно приходится стирать. Если люди доверчиво обращаются к нему за кредитом, а он возьми да и ответь «нет», да ведь это наверняка истолкуют превратно: вот, мол, совсем он не такой уж и добрый, каким его все считают. Кроме того, как местный горожанин

и гений, он не может не выполнять свои особые обязательства.

Все это мать принимала во внимание.

Но отец, ничего по этой части не понимающий, раскрыл ей однажды глаза: «Посмотри, вот что осталось от денег, какие мы получили за медную гору!» — «Как, — сказала она, — а где остальные?» — «Ушли на Элесеуса». Она всплеснула руками и воскликнула: «Пора ему взяться за ум!»

Бедный Элесеус, он так изболтался, так запутался. Лучше бы ему было остаться деревенским жителем, теперь вот он умеет писать буквы, но лишен стержня, лишен глубины. Он вовсе не злодей и не исчадие ада, он ни в кого не влюблен и не честолюбив, он почти ничто, если и чудовище, то весьма некрупное.

На этом молодом человеке словно лежит печать несчастья и обреченности, его словно поразила порча. Уж лучше бы добрый окружной инженер не обратил на него внимания в детстве и не забрал с собой в город, чтоб сделать из него человека; должно быть, у мальчика подрезали корни, и он зачах. Все, что он затевает, сказывается потом каким-то изъясном, какой-то чернотой на светлом дне...

Он все идет и идет. Двое седоков проезжают мимо Великого, Элесеус сворачивает в сторону и тоже обходит Великое; что ему делать дома, в своей лавке? Ночью телега подъезжает к Селланро. Следом за нею подходит и Элесеус. Он видит, как во двор выходит Сиверт, с удивлением уставившись на Йенсину; они здороваются за руку и оба улыбаются, потом Сиверт берет лошадь и уводит ее в конюшню.

Только теперь отваживается Элесеус подойти ближе; только теперь отваживается подойти ближе гордость семьи. Он не идет, он крадется, он застаёт Сиверта в конюшне.

— Это я, — говорит он.

— И ты здесь! — Сиверт снова удивляется.

Между братьями начинается тихий разговор: не упрощит ли Сиверт мать дать ему сколько-нибудь денег на дорогу, пусть выручит его. Так больше не может продолжаться, Элесеус устал, он давно уже об этом подумывал, это должно произойти нынешней ночью, большое путешествие, Америка, сегодня же в ночь.

— Америка? — громко произносит Сиверт.

— Тише! Я давно об этом подумывал, и вот теперь ты

должен уговорить мать. Так больше не может продолжаться, я давно об этом думал.

— Но в Америку — как же так? — говорит Сиверт. — Нет, не надо этого делать!

— Надо. Непременно. Я сейчас же уйду и успею на почтовый пароход.

— Тебе, верно, охота поесть?

— Я не голоден.

— А поспать?!

— Нет.

Сиверт любит брата и отговаривает его, но Элесеус стоит на своем, первый раз в жизни он стоит на своем. Сиверт совсем сбит с толку, сначала он разволновался при виде Йенсины, а теперь вот Элесеус решил покинуть родину, все равно что отправиться на тот свет.

— А как же Великое? — спрашивает Сиверт.

— Достанется Андресену, — отвечает Элесеус.

— Как же оно может достаться Андресену?

— Разве он не женится на Леопольдине?

— Не знаю. Может, и женится.

Они разговаривают шепотом. Сиверт предлагает позвать отца, чтоб Элесеус сам поговорил с ним, но... нет, нет! — шепчет Элесеус, ни за что, у него никогда не хватит храбрости встретиться лицом к лицу с подобными опасностями, ему всегда был нужен посредник.

Сиверт говорит:

— А мать, ты ведь знаешь, какая она. Не оберешься потом слез и причитаний. Ей ни за что не надо знать об этом.

— Да, — соглашается Элесеус, — ей не надо знать.

Сиверт уходит, его нет целую вечность, наконец он возвращается с деньгами, с целой кучей денег.

— Вот, больше у него нет. Как думаешь, довольно? Сосчитай, он не считал.

— А что отец сказал?

— Да ничего особенного. Подожди минутку, я оденусь и провожу тебя.

— Не надо, ложись спать.

— Может, ты боишься остаться один в темной конюшне? — спрашивает Сиверт, делая слабую попытку приободриться.

Он уходит на минуту и возвращается уже одетый, на плече у него отцовская котомка с припасами. На выходе из конюшни их встречает отец.

— Я слышал, ты собираешься уехать в далекие края?—говорит он.

— Да,—отвечает Элесеус,—но я вернусь.

— Ну-ну, что же это я тебя задерживаю,—бормочет старик и круто поворачивается.—Счастливого пути!—дрожащим голосом говорит он и поспешно уходит.

Братья спускаются вниз по дороге, пройдя немного, садятся и закусьвают, и оказывается, что Элесеус очень голоден, он никак не может наесться. Стоит чудесная весенняя ночь, повсюду на холмах токуют тетерева, от этого родного звука на минуту у изгнанника сжимает сердце.

— Какая славная погода,—говорит он.—А теперь иди домой, Сиверт!

— Ага,—говорит Сиверт и идет дальше.

Они минуют Великое, минуют Брейдаблик, и все время то тут, то там на холмах токуют тетерева, это не духовая музыка, какая играет в городах, нет, но это голоса, благовест—настала весна. Вдруг с вершины дерева слышится щебетанье первой пташки, оно будит другую, со всех сторон несутся вопросы и ответы, это больше чем песня, это песнь, восхваляющая жизнь. Должно быть, изгнанника охватывает чувство тоски по родине, чувство безнадежности, он едет в Америку, никто не готов для такого путешествия больше, чем он.

— Ну а теперь, Сиверт, тебе пора возвращаться!—говорит он.

— Ладно, ладно,—отвечает брат,—раз тебе так хочется.

Они садятся на опушке, впереди виднеется село, торговая площадь, пристань, гостиница Бреде; несколько человек копошатся возле парохода, готовясь к отплытию.

— Однако мне, пожалуй, уже некогда сидеть,—говорит Элесеус, вставая.

— Жалко, что ты так далеко уезжаешь,—говорит Сиверт.

Элесеус отвечает:

— Да ведь я вернусь. И тогда у меня будет для разговоров не какой-то клеенчатый чемодан!

Прощаясь, Сиверт сует брату в руку какую-то завернутую в бумагу вещичку.

— Что это?—спрашивает Элесеус.

Сиверт отвечает:

— Пиши чаще! — и уходит.

Элесеус разворачивает бумажку и смотрит: это золотая монета, те самые двадцать крон золотом!

— Нет, не надо, зачем! — кричит он.

Сиверт не останавливается.

Пройдя немного, он сворачивает в лес и опять садится на опушке. Внизу, у парохода, становится все оживленнее, он видит, как по трапу поднимаются люди, вот на борт парохода входит его брат, и пароход отчаливает. Элесеус уезжает в Америку.

Он так никогда и не вернулся.

ХП

К Селланро приближается удивительная процессия, пожалуй, немножко смешная, но не только смешная: три человека с огромными ношами, с мешками, свисающими у них вдоль груди и спины. Они идут гуськом, шутливо перекликаясь друг с другом, но нести им их тяжело. Первым в процессии идет коротышка Андресен, да, впрочем, и вся процессия-то — его задумка: он снарядил в эту экспедицию самого себя, Сиверта из Селланро и еще третьего, Фредрика Стрёма из Брейдаблика. Чертовски забавный парень этот помощник Андресен, одно плечо у него перегнулось чуть не до земли, а куртка сползла едва не до поясницы, но он упорно идет вперед, неся свою тяжелую ношу.

Он так и не купил Великое и торговое дело после отъезда Элесеуса, на это у него нет средств; но у него есть средство получше: выждать время, и, глядишь, все это достанется ему задаром. Андресен далеко не дурак, пока что он арендует участок и понемножку приторговывает.

Недавно он провел ревизию товарной наличности и обнаружил в лавке Элесеуса большое количество неходовых товаров, вроде зубных щеток, вышитых дорожек для стола, даже птичек на стальной проволоке, которые пищат, если их подавить в надлежащем месте.

Со всеми этими товарами он и отправился в путь, надумав продать их рудокопам за горой. Еще со времен Аронсена он знает по опыту, что, когда рудокопы при деньгах, они покупают все что ни попадя. Сейчас его сердит только то, что пришлось оставить дома шесть

деревянных лошадок-качалок, купленных Элесеусом в последнюю его поездку в Берген.

Караван входит во двор Селланро, и они сбрасывают тюки на землю. Отдыхают недолго; напившись молока и для потехи предложив свои товары обитателям хутора, они вскидывают груз на спины и идут дальше. Затеяли-то они этот поход не одной только потехи ради. Они идут, пошатываясь, через лес в южном направлении.

Идут до полудня, останавливаются перекусить и снова идут до вечера. Потом разводят костер, ужинают и ложатся передохнуть часок-другой. Сиверт спит, сидя на камне, который он называет мягким креслом. Сиверт в таких делах знает толк. Ведь солнце за день так накалило камень, что сидеть и спать на нем одно удовольствие, товарищи его не столь опытны да и советов не слушаются, они укладываются на вереск и просыпаются в ознобе и с насморком. Встав, они завтракают и идут дальше.

Идут, все время прислушиваясь, в ожидании взрывов; они рассчитывают к середине дня набрести на людей и шахты, работы, верно, уже отошли далеко от моря в сторону Селланро. Но взрывов не слышно. Они идут до полудня, не встретив ни одного человека, но время от времени наталкиваются на большие ямы, которые выкопали люди, проводя разведочные работы. Что все это значит? Должно быть, руды на той стороне горы так богаты, что они разрабатывают полновесную, без всяких примесей медь и почти не двигаются вверх от моря.

После полудня им встречается несколько рудников, но людей не видать; они идут до вечера, и вот уже внизу их глазам открывается море, они бредут мимо пустынных, покинутых людьми рудников и не слышат ни единого взрыва. Все это просто поразительно, но им надо развести костер, поужинать и лечь соснуть — еще одна ночь под открытым небом. Они совещаются: уж не закончились ли тут работы? Не повернуть ли им назад со своими тюками?

— И речи быть не может! — говорит помощник Анд-ресен.

Утром к месту их ночлега подходит человек, бледный и изнуренный, он хмурит брови и смотрит на них, пронизывая взглядом.

— Это ты, Андресен? — говорит человек.

Это Аронсен, торговец Аронсен. Он не прочь выпить с ними горячего кофе и закусить и присаживается к костру.

— Я увидел дым и решил поглядеть, в чем дело,— объясняет он.— Я подумал: вот видишь, они взялись за ум и возобновили работу. А оказывается, это всего лишь вы! Куда вы собрались?

— Сюда.

— А что несете?

— Товары.

— Товары?!— кричит Аронсен.— Вы пришли сюда продавать товары? Кому? Здесь никого нет. Все уехали в субботу.

— Кто уехал?

— Все. Здесь никого нет. А если б и были, так у меня довольно товаров. У меня полная лавка. Можете купить товары, если хотите.

Ах ты, Господи, опять торговцу Аронсену не повезло: работа на руднике прекратилась.

Он немножко повеселел, выпив вторую кружку кофе, и они приступили к нему с расспросами.

Аронсен уныло мотает головой.

— Этому нету слов, это просто непонятно!— говорит он. Все шло хорошо, он продавал свои товары и копил деньги, поселки вокруг благоденствовали, все привыкли к манной каше, к новым школам, лампам с подвесками и к городской обуви. И вдруг господа решают, что больше работать не стоит, и все прекращают. Не стоит? Ведь до сих пор стоило? Разве медная лазурь не выходит на белый свет при каждом взрыве? Это просто чистое жульничество.— Они не думают о том, что ставят такого человека, как я, в затруднительные обстоятельства. Но, должно быть, так и есть, как они говорят: всему виной опять этот Гейслер. Не успел он приехать, как работы прекратились, точно он пронюхал об этом.

— Разве Гейслер здесь?

— Еще бы не здесь! Его следовало бы пристрелить. Он приехал однажды с почтовым пароходом и сразу к инженеру: «Ну, как дела?»— «На мой взгляд, хорошо»,— ответил инженер. А Гейслер стоит и опять спрашивает: «Так вы говорите— хорошо?»— «Да. Насколько мне известно»,— ответил инженер. Но не было печали: когда распечатали почту, в ней оказались письмо и телеграмма инженеру, мол, овчинка выделки не стоит, извольте прекратить работу!

Участники процессии переглядываются, но их предводитель, коротышка Андресен, видимо, не потерял мужества.

— Поворачивайте-ка лучше домой! — советует Аронсен.

— И не подумаем, — отвечает Андресен, укладывая в тюк кофейник.

Аронсен смотрит поочередно на всех троих.

— Да вы с ума сошли! — говорит он.

Но помощник Андресен не очень обращает внимание на своего бывшего патрона, он теперь сам себе патрон, это он снарядил экспедицию в дальние края, повернуть обратно здесь, на вершине горы, значило бы потерять весь свой авторитет.

— Да куда же вы пойдете? — раздраженно спрашивает Аронсен.

— Не знаю, — отвечает Андресен. Но у него есть план, не иначе как в голове у него туземцы, к которым они пришли втроем, с большим запасом стеклянных бус и колец. — Ну, пойдёмте, — говорит он, обращаясь к товарищам.

Собственно говоря, выйдя нынче утром из дома, Аронсен намеревался пройти подальше, может, ему хотелось посмотреть, все ли рудники опустели, правда ли, что ушли все до единого человека; но эти разносчики своим упрямым желанием непременно идти дальше расстроили все его планы: он во что бы то ни стало должен отговорить их продолжать путь. Вне себя от злости, Аронсен забегает вперед, поворачивается к ним лицом и кричит, вопит во всю мочь, защищая неприкосновенность своей территории. Так они доходят до барачного поселка.

Вокруг пусто и уныло. Основные инструменты и машины внесены в помещения, но бревна, доски, сломанные повозки, ящики и бочки валяются повсюду без призора; кое-где на стенах домов прибиты плакаты, воспрещающие вход.

— Видите! — кричит Аронсен. — Ни души! Куда вы идёте? — И грозит каравану великими бедами и ленсманом; сам он пойдет за ними по пятам и проверит, не торгуют ли они запрещенными товарами. — А за это тюрьма и каторга, уж будьте покойны.

Вдруг кто-то окликает Сиверта. Поселок не вовсе покинут, не совсем мертв; у одного из домов стоит человек и машет им рукой. Сиверт шагает к нему со своей ношей и сразу узнает его: это Гейслер.

— Вот так встреча!—говорит Гейслер. Лицо у него красное, цветущее, но глаза, должно быть, болят от весеннего света, он в темном пенсне. Речь у него такая же живая, как прежде.—Чудесная встреча!—говорит он.—Она избавляет меня от путешествия в Селланро, у меня так много хлопот. Сколько у вас там теперь хуторов?

— Десять.

— Десять хуторов? Вот это я одобряю, я доволен! Нам бы иметь в стране тридцать две тысячи таких молодых, как твой отец!—говорю я и опять одобряю, я это высчитал.

— Ты идешь, Сиверт?—кричат ему.

— Нет!—коротко бросает Гейслер.

— Я догоню,—кричит Сиверт и сбрасывает на землю тюки.

Оба садятся и беседуют; на Гейслера снизошел дух, он смолкает лишь на то время, пока Сиверт дает краткий ответ, потом опять говорит без удержу:

— Редкостный случай, никогда его не забуду! Вся эта моя поездка была замечательно удачна, а тут еще тебя встретил, и мне не надо делать крюк, чтоб попасть в Селланро! У вас все благополучно дома?

— Да, спасибо.

— Построили новый сеновал над скотным двором?

— Да.

— А я так занят, скоро у меня дел будет выше головы. Видишь, где мы сейчас сидим, Сиверт? На развалинах поселка. Люди построили его аккуратно на свою беду. В сущности, во всем виноват я, то есть я был одним из посредников в маленькой игре судьбы. Началось с того, что твой отец нашел несколько камешков на скале и дал их тебе поиграть, когда ты был маленьким. С этого все и началось. Я хорошо знал, что эти камешки имеют только ту цену, какую люди захотят заплатить за них, ну что ж, я назначил цену и купил их. Камни стали переходить из рук в руки, производя свое разрушительное действие. Время шло. Несколько дней тому назад я снова приехал сюда, и знаешь, зачем? Хочу купить эти камни обратно!

Гейслер умолкает и смотрит на Сиверта. Он замечает тюки и вдруг спрашивает:

— Что это ты тащишь?

— Товары,—отвечает Сиверт,—мы идем с ними в село.

Ответ, видимо, не интересует Гейслера, а может, он и не слышал его; он продолжает:

— Стало быть, хочу купить обратно камни. Последний раз я велел моему сыну продать их, он молодой человек твоих лет, и это все, что о нем можно сказать. В семье нашей он — молния, я — туман. Я из тех, кто знает, что надо делать, но ничего не делает. А он — молния; сейчас он работает на промышленном предприятии. Так вот, в последний раз он продал эти камешки вместо меня. Я из себя кое-что представляю, про него этого не скажешь, он — всего лишь молния, пряткий, современный юнец. Но молния сама по себе бесплодна. Взять вас, обитателей Селланро; вы каждый день видите перед собой синеющие на горизонте цепи гор, они не выдуманы, это древние горы, они — из далекого прошлого, но для вас они — близкие друзья. Вы живете вместе с землей и небом, вы одно целое с ними, одно целое с этой ширью и незыблемостью бытия. Вам не нужен меч в руках, вы идете по жизни с пустыми руками и непокрытой головой, окруженные великой любовью. Смотри, вот она — природа, она принадлежит тебе и твоим близким! Человек и природа не палят друг в друга из пушек, они воздают друг другу должное, не соперничают, не состязаются ни в чем, они следуют друг за другом. И посреди всего этого — вы, обитатели Селланро. Горы, лес, болота, луга, небо и звезды — и все это не в малости и отмеренности, все это в беспредельности. Послушай меня, Сиверт: будь доволен! У вас есть все, чем жить, все, ради чего стоит жить, все, во что верить; вы рождаетесь и производите себе подобных, вы необходимы на земле. Вы поддерживаете жизнь. Из поколения в поколение вы возделываете землю, а когда умираете, ваше место заступают другие. Вот это-то и есть то самое, что называется вечной жизнью. Что вам дано взамен? Жизнь по справедливости и возможностям, жизнь в доверчивом и правильном ко всему отношении. Никто не дергает вас и не управляет вами, у вас есть покой и авторитет. Вы окружены великой любовью. Вот что дано вам взамен. Вы лежите у женской груди, играете теплой материнской рукой и сосете молоко. Я думаю о твоём отце, он один из тех тридцати двух тысяч. Что представляют из себя многие другие? Я — хоть что-то представляю, я — туман, я здесь и там, я парю в небе, иногда я — дождь, пролившийся на пересохшую почву. А другие? Мой сын — молния, которая — ничто, он — бесплодное сверканье, он может лишь дей-

ствовать. Мой сын — порождение нашего века, он искренне верит в то, чему научил его нынешний век, в то, чему научили его еврей и янки; меня все это не трогает. Во мне нет ничего загадочного, только в своей семье я — туман. Я сижу в кругу семьи, и меня все это не трогает. Дело в том, что я лишен таланта жить покойно и беззаботно. Будь у меня этот талант, я и сам мог бы быть молнией. Теперь я — туман.

Вдруг Гейслер словно опять приходит в себя и спрашивает:

— Так вы поставили сенной сарай над скотным двором?

— Да. А еще отец построил новую избу.

— Новую избу?

— Он говорит, на случай, если кто приедет, на случай, говорит, если приедет Гейслер.

Гейслер обдумывает его слова и решает:

— В таком случае я непременно приду. Да, приду, так и скажи отцу. Но у меня очень много дел. Я приехал сюда и сказал инженеру: «Передайте от меня господам в Швеции, что я — их покупатель!» Посмотрим, что из этого выйдет. Мне-то ведь все равно, я не тороплюсь. Но поглядел бы ты на инженера: он работал не покладая рук, он занимался людьми, лошадьми, деньгами, машинами, разорением, он был убежден, что делает настоящее дело. Ему казалось, чем больше камней он превратит в деньги, тем лучше; он был уверен, что достоин за это всяческой похвалы, что он добывает деньги для села, деньги для страны; гибель подступает к нему все ближе и ближе, а он не понимает положения; он не понимает, что стране нужны не деньги, у страны денег более чем достаточно; чего ей не хватает, так это таких людей, как твой отец. Подумать только — превратить средство в цель и гордиться этим! Они больны и безумны, они не работают, они не знают плуга, они знают только игральные кости. Разве они не достойны похвалы, разве они не изводят себя своим безумием? Посмотри на них, ведь они ставят на карту все, что имеют! Их ошибка только в том, что игра это вовсе не задор, это даже не мужество, это — ужас. Знаешь, что такое игра? Это страх и холодный от пота лоб, вот что такое игра. Их ошибка в том, что они не хотят идти в ногу с жизнью, они хотят обогнать ее, они несутся, они вламываются в жизнь. Но тут начинают подавать голос их бока — остановитесь, больно, ищите лекарство, остановитесь! А жизнь продолжает давить на

них, вежливо, но решительно. И тут начинаются жалобы на жизнь, возникает ожесточение против жизни! Каждому свое—у одних, пожалуй, и есть причины жаловаться, у других их нет, но никому не дано ожесточаться против жизни. Нельзя быть суровым, справедливым и жестоким к жизни, надо проявлять к ней милосердие, надо брать ее под свою защиту: надо помнить, с какими игроками приходится возиться жизни!

Гейслер смолкает на минуту и уходит в себя, потом говорит:

— Ну, да ладно, будь что будет!—Он, видимо, устал и начинает зевать.—Ты идешь вниз?—спрашивает он.

— Да.

— Что ж, торопиться некуда. За тобой еще прогулка по горам, помнишь, Сиверт? Я-то все помню. Я помню себя полторагодовалым мальчонкой: я стою и качаюсь на помосте у сенного сарая в усадьбе Гармо в Ломе и чувствую какой-то запах. Я еще и сейчас чувствую этот запах. Ну, да ладно, будь что будет; мы могли бы пройти с тобой прямо сейчас по горам, не тащи ты этих тюков. Что у тебя в тюках?

— Товары. Андресен хотел их продать.

— Я тоже из тех, кто знает, что надо делать, но ничего не делает,—говорит Гейслер.—Это надо понимать дословно. Я—туман. Вот на днях я, наверно, откуплю эту гору, очень может быть; но и в этом случае я не стану смотреть в небо и кричать: «Подвесная дорога! Южная Америка!» Это для игроков. Здешний народ думает, что я не иначе как сам дьявол, раз знал, что разработки потерпят крах. Но тут нет ничего загадочного, все очень просто: новые залежи меди в Монтане. Янки игроки похитрее нас, они забивают нас конкуренцией в Южной Америке; наша руда слишком бедна. Мой сын—молния, он получил сообщение, вот я и приплыл сюда. Все очень просто. Я всего на несколько часов опередил шведских господ, и весь секрет.—Гейслер опять зевает, встает и говорит:—Если тебе надо вниз—пойдем!

Они спускаются вниз, Гейслер плетется сзади, он совсем раскис. Караван расположился у пристани, весельчак Фредрик Стрём поддразнивает Аронсена:

— У нас табак вышел, у вас есть табак?

— Вот я дам тебе табаку!—отвечает Аронсен.

Фредрик смеется и утешает его:

— Да вы не огорчайтесь, не принимайте этого так близко к сердцу, Аронсен! Мы только продадим у вас на глазах свои товары, а потом уйдем домой!

— Пойди лучше вымой морду!— злобно кричит Аронсен.

— Ха-ха-ха, чего это вы прыгаете, как попрыгунчик! Вам надо быть красивым, как на картинке!

Гейслер устал, он ужасно устал, даже темное пенсне не помогает, глаза его слипаются от яркого весеннего света.

— Прощай, Сиверт!— внезапно говорит он.— Нет, мне все-таки не удастся в этот раз побывать в Селланро, скажи отцу; у меня столько хлопот. Но я приеду попозже!

Аронсен плюет ему вслед и повторяет:

— Пристрелить бы его!..

В три дня караван распродает свои тюки, и по хорошей цене. Дело оказалось блестящим. У сельчан еще оставалось много денег после разразившегося краха, и они всячески старались поскорее спустить их; даже птички на проволоке и те им понадобились, их поставили на комод в горнице; раскупили они и красивые ножи для разрезания календарей. Аронсен неистовствует:

— Как будто у меня в лавке нет точно таких же красивых вещей!

Торговец Аронсен переживает страшные муки, ему бы хорошенько последить за этими мешочниками, но они возьми да и разделись— они пошли в село поодиночке, а он разрывается на части, бегая сразу за всеми тремя. Пришлось сначала бросить Фредрика Стрёма, самого злого на язык, потом Сиверта, который вообще никогда ему не отвечал ни слова, а только и делал, что продавал; Аронсен решил сопровождать своего бывшего помощника и бороться против него в домах сельчан. Но помощник Андресен отлично знал своего бывшего хозяина и его неосведомленность по части торговли и запрещенных товаров.

— Выходит, английские катушечные нитки не запрещены?— спросил Аронсен, притворяясь сведущим торговцем.

— Как же,— ответил Андресен.— Но я и не принес сюда катушек, я их и у себя могу продать. Посмотрите сами, у меня нет ни одной катушки.

— Ладно уж. Но ты видишь, я знаю, что запрещено, а что нет, не тебе меня учить!

Аронсена хватило всего на один день, после чего, бросив и Андресена, он ушел домой. Больше следить за ними было некому.

С того дня дела пошли лучше некуда. Женщины в ту пору носили накладные косы, и помощник Андресен оказался великим мастером продавать накладные косы, ему ничего не стоило всучить белокурую косу черно-волосой девушке; одно только было жалко, что нет у него кос еще посветлее, седых, потому что те ценились всего дороже. Каждый вечер приятели сходились на условленном месте, делились новостями и пополняли, занимая друг у друга, запасы товаров; потом Андресен усаживался с напильником и счищал с охотничьего рога германскую фабричную марку или соскабливал клеймо «Фабер» с пеналов. Андресен был мастер на все руки.

Зато Сиверт оказался явно не на высоте. Не то чтобы он ленился или плохо сбывал товары, нет, он продавал их больше всех, но денег выручал куда как меньше.

— Ты мало разговариваешь,— сказал Андресен.

Нет, Сиверт не болтал как за язык повешенный; как всякий хуторянин, он был скуп на слова. Да и о чем было говорить? К тому же Сиверту хотелось отделаться к празднику и поскорее попасть домой, где его уже ждали полевые работы.

— Это Йенсина его зовет!— говорит Фредрик Стрём.

Самого Фредрика, впрочем, тоже ждут весенние работы, и ему тоже некогда терять время, но в последний день он все-таки не удержался и отправился доругиваться к Аронсену!

— Хочу продать ему пустые мешки,— сказал он.

Андресен с Сивертом отправились следом, терпеливо поджидая Фредрика у лавки Аронсена. До них доносятся отборнейшая ругань, потом смех Фредрика; вдруг дверь распахивается, и Аронсен принимается выпроваживать гостя. Но Фредрик не торопится уходить, нет, он продолжает что-то говорить; они слышат, как он напоследок пытается всучить Аронсену деревянных лошадок.

Потом караван—три парня, полных молодых сил и здоровья,—отправляется домой. Они идут, распевая во весь голос, спят несколько часов и снова отправляются в путь. Когда в понедельник они подходят к Селланро, Исаак как раз начинает сеять. Погода для сева самая подходящая: влажный воздух, изредка прогля-

дывает солнце, через все небо перекинулась огромная радуга.

Караван расходится. Прощай, прощай...

Исаак идет по полю и сеет, как есть мельничный жернов, чурбан чурбаном. На нем домотканое платье из шерсти, настриженной с его собственных овец, сапоги — из кож его собственных телят и коров. Он идет по полю, благочестиво обнажив голову, и сеет, макушка у него лысая, но вся остальная часть головы буйно заросла волосами, густая борода обрамляет лицо. Это Исаак, маркграф.

Он редко знает точные числа, зачем они ему! У него нет бумаги, чтоб что-то записывать: кресты на календаре указывают дату отела каждой из коров. Но осенью он знает день святого Олафа — к этому сроку надо свезти в сарай все сено; весной он знает день Благовещенья, к которому должны быть доделаны все ворота и ограды, знает, что через три недели после Благовещенья медведь выходит из берлоги — к этому сроку все семена должны быть в земле. Он знает все, что ему нужно.

Душой и телом он — деревенский житель, землепашец, не ждущий чьих-то милостей. Выходец из прошлого, провозвестник будущего, один из первых на земле хлебопашцев; от роду ему девятьсот лет, и все же он сын своего века.

Да, у него ничего не осталось от денег, которые он получил за медную гору, их сдуло порывом ветра! Да и у кого они остались после того, как с горы ушли люди? На пустоши же выросло десять хуторов, и она ждет появления сотен других.

Может, здесь, на пустоши, ничего не растет? Да здесь растет все — люди, животные, плоды. Исаак сеет. Вечернее солнце озаряет семена, широкой дугой сыплются они из его руки и золотым дождем падают на землю. Следом идет Сиверт, он заборонит их, прикатает катком, снова заборонит. Лес и скалы стоят и смотрят на них, во всем — величие и мощь, все взаимосвязано и соразмерно.

Клинг-клинг! — звенят колокольчики высоко на откосе, вот они все ближе и ближе: скотина торопится добраться до вечера домой. Пятнадцать коров и сорок пять голов мелкого скота — всего шестьдесят голов. Вон к летнему загону направились женщины с подойниками, которые они несут на коромысле через плечо, — Леопольдина,

Йенсина и маленькая Ребекка. Все трое босиком. Маркграфини нет с ними. Ингер осталась дома, готовит обед. Она расхаживает по дому, высокая и статная, весталка, поддерживающая огонь в кухонной плите. Ну что ж, Ингер поплавала по бурному морю, побывала в городе, теперь она опять дома; мир велик, он кишит мириадами песчинок, Ингер — одна из них. Что она среди людей? Песчинка.

Наступает вечер.

Женщины
у Колодца

РОМАН

Перевод

С. Белокриницкой и
О. Рождественского

KONERNE VED VANDPOSTEN

1920



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Жители больших городов не в состоянии верно оценить мерки и пропорции маленьких городков. Они думают, что могут явиться туда, встать на центральной площади и оглядеться с улыбкой превосходства, они считают, что вправе посмеяться над этими домами и мостовыми,— вот как они чаще всего считают. Но ведь старые люди в маленьком городке помнят времена, когда дома были еще ниже, а мостовые еще хуже. У них на глазах городок заметно вырос. Во всяком случае К. А. Юнсен, Юнсен-С-Пристани, отгрохал себе огромный особняк, настоящий патрицианский дом, внизу у него веранда, а наверху—балкон, и резной карниз идет вокруг всей крыши. Появилось и множество других дорогих построек—школа, пакгауз на пароходной пристани, дома различных коммерсантов, таможня, сберегательный банк,—над всем этим уже не посмеешься. У городка появилось даже что-то вроде пригорода, с полсотни семей живут на зеленых пригорках за верфью, хорошенькие домики выкрашены—по вкусу владельца—в желтый, красный или белый цвет и в свое время обошлись владельцам в кругленькую сумму, отложенную по скиллингу. И, кстати говоря, большие города тоже знают свои периоды расцвета и упадка, примеров тому предостаточно, а вот видел ли кто когда-нибудь, чтобы Юнсен-С-Пристани оказался на мели и не нашел бы выхода из положения?

Стало быть, и в маленьком городке есть свои большие люди, свои почтенные семьи с отлично воспитанными детьми, свои традиции и авторитеты. И эти почтенные граждане всегда в центре внимания; городок очень интересуется своими большими людьми, славные

обыватели видят в них мерило собственных судеб, они живут под сенью власти и, подчиняясь ей, благоденствуют, они считают, что так и должно быть. Добрые люди помнят тот день, когда Юнсен-С-Пристани стал консулом, тогда каждого, кто заходил в его мелочную лавку, угощали спиртным и печевом, и некоторые — стыда у них нет! — заходили по второму разу и им снова подносили чарочку.

В то самое утро Йорген-Рыбак, в точности как сейчас, сидел в лодке и ловил рыбу к праздничному столу. То был день ликования и торжества, новоиспеченный консул был еще так молод, что раскрывал объятия всему миру, и кроме того, он был по натуре обычный, простой человек, такой, как все, и любил вино, женщин и песни, вот он и устроил большой праздник, созвал на него весь город. И праздник прошел великолепно. Добрые люди помнят, что так было написано в газете. Женщины у колодца, то бишь у водоразборной колонки, до сих пор обсуждают этот праздник. Им случается даже повздорить из-за той или иной подробности; Лидия, например, говорит: «Мне ли не знать, я тогда помогала на кухне», а ее товарка стоит на своем: «Пойди и спроси у самого Юнсена». — «По мне так нечего и спрашивать, — отвечает третья женщина, — у меня та газета по сей день хранится».

Но теперь прошло уже шесть, если не восемь лет с того великого дня.

Не хуже, чем женщины у колодца, помнит великий день кузнец Карлсен. Он весьма уважаемый человек, к тому же еще и вдовец со взрослыми детьми — стало быть, не какой-нибудь молодой вертопрах, и, один в своей кузне, он благодарил Господа за этот праздничный день так же, как и за всякий другой, отпущенный ему. Таков уж он есть, набожный человек. При всяком большом и радостном событии в жизни города не преминет сказать себе, что, дескать, теперь ему и другим в самый раз возблагодарить Господа. Не то чтобы он слишком уж об этом распространяется, да люди и не стали бы особенно прислушиваться к нему, однако они его уважают, сами-то они остаются косными и неблагодарными, как и прежде, но кузнец Карлсен, во всяком случае, — примечательная личность в городке.

Есть там много и других любопытных фигур и персонажей: Олаус-С-Луговины, Йорген-Рыбак, Маттис-Столяр, доктор, почтмейстер — всех не перечислишь. Одних жизнь перемальвует быстрее, других — медленнее, а не-

которые совсем не меняются, выдерживают все, нет предела их терпению. Почтмейстер тоже в своем роде набожный — под стать кузнецу Карлсену; а вообще-то люди в городке привержены мирскому и внешнему. Можно подумать, что в здешней общине нет пастора, правда, он крестит, конфирмуется, венчает и отпевает, но больше он ни для чего не нужен, и его никогда не упоминают в разговорах.

О маленький муравейник! Каждый занят собой, заботится о себе, порой дороги скрещиваются, и люди отпихивают друг друга, бывает, шагают друг по другу. Да, случается, что иного выхода нет, как шагать друг по другу...

Сейчас Йорген-Рыбак, в точности как шесть или восемь лет тому назад, сидит в лодке и ловит рыбу к праздничному столу. Хотя уже наступило воскресенье, он все еще сидит, он хочет привезти большой улов. У другого берега залива море начинает волноваться, задувает утренний бриз, лодку Йоргена сносит, приходится постоянно делать усилия, чтобы держаться на уровне ориентиров на берегу. Нет, так дело не пойдет — Йорген сдаётся и гребет домой. Он рыбачил с двух часов ночи.

Город еще спит. Йорген нанизывает рыбу на бечевку и идет с ней по улицам. Он тяжело топают в своих высоких сапогах, коренастый, в исландском свитере и зюйдвестке; но вообще-то ростом он не вышел, тщедушен, и к тому же коротконог. Однако Йорген упорен и неутомим, ни хворь его не берет, ни хандра, простуду он лечит тем, что не обращает на нее внимания.

Он подходит к большому особняку К. А. Юнсена, вешает связку рыбы на ручку кухонной двери и топают домой.

Все в порядке, из трубы на крыше его дома поднимается дым, значит, Лидия уже встала; она наблюдала за его лодкой в окно и поспела к его приходу поставить кофе. Лидия — это его жена, у нее темные кудрявые волосы, она вспыльчива и сварлива, но зато отличная хозяйка, в руках у нее все так и горит.

Йорген топают в дом.

— Тише,— шипит Лидия и с преувеличенным испугом смотрит на детей, мальчика и двух девочек, которые завозились во сне.

Йорген стягивает сапоги и исландский свитер, пьет кофе, ест и идет в каморку спать.

— Не скрипи дверью,— свистящим шепотом напоминает Лидия.

Но теперь, конечно, старшая из малышей просыпается и садится в постели. Вечно одна и та же история! От этого просыпается вторая малышка, которая лежит рядом. Мать приходит в ярость, она распахивает дверь в каморку и кричит вслед мужу:

— Ну вот, ты перебудил их всех, на мою голову!

И кричит так долго, что будит и мальчика.

Лидия вспыльчива, но и отходчива тоже; и вот уже дети болтают между собой о пустяках, а она берется за уборку в горнице и мурлыкает себе под нос песенку. Потом с чрезвычайной осторожностью открывает дверь в каморку и спрашивает:

— Ты еще не заснул? Я только хотела спросить, ты отнес рыбу? Не слыхал, что там у них будет за компания?

— Нет, там все еще спали.

— Ну ладно, молчи и спи,— говорит Лидия и снова закрывает дверь. И затевает шумную свару с детьми, добиваясь, чтобы они вели себя тихо.

И снова прибирает в комнате и мурлыкает себе под нос, а мысли ее заняты предстоящим празднеством. В былые годы Юнсены умели-таки принять гостей, готовиться к празднествам начинали загодя, за несколько дней, и нанимали людей в помощь постоянной прислуге. Присылали и за Лидией; но сейчас за ней до сих пор не прислали, наверно, гостей будет не так много. Возможно, это всего лишь хозяйский сын, Шелдруп Юнсен, собирает у себя такую же, как он, молодежь.

Ближе к полудню выясняется, что сегодня уходит в плаванье пароход К. А. Юнсена. Лидия больше не раздумывает, по такому поводу они устроят сногшибательный праздник, пригласят капитана и почтенных людей города, но, стало быть, на кухне обойдутся без нее. Ну что ж, нет так нет. Она придела своих детей, чисто умыла их, начистила их обувь жиром и сажей, приготовила и для себя подобающий наряд.

После полудня народ валом повалил на причал. Весна уже полностью вступила в свои права, так что люди одеты легко и во все светлое, толпа радуется глаз. Погрузка закончилась, и «Фиа» готова к отплытию.

Судно не новое, оно построено еще в те времена, когда вполне приличный грузовой пароход стоил всего несколько сотен тысяч, не больше, Юнсен-С-Пристани купил его в Гётеборге, заново отделал и назвал «Фиа» в честь своей маленькой дочурки. Прорва денег ушла небось на покупку судна и на его отделку, после которой

оно стало как новенькое. Говорили, что за одно переименование пришлось заплатить очень дорого. Но что такое «дорого» для Юнсена-С-Пристани! И вот «Фиа» стоит у причала — единственный пароход в городе, его достопримечательность, диво дивное.

Разумеется, малютка Фиа сама находится на борту в этот час, когда ее собственный пароход готовится отчалить, она в каюте с родителями и капитаном. И, разумеется, ее брат, юный Шелдруп, тоже прибыл на борт. Он уже большой, почти взрослый, в светлом костюме, пиджак с черным бархатным воротником, по моде того времени. Шикарный молодой человек, просто великолепный, сын и наследник дома Юнсенов, кареглазый, как отец, с пушком на щеках. Перед ним снимают шляпы, и он отвечает на приветствия, так что, можно сказать, весь путь до каюты проделал с непокрытой головой.

Пароход лежит под парами, из трубы валит дым. На палубе уже не суетятся, штурман и команда стоят у поручней, поплеывая в море и перекидываясь словцом-другим со знакомыми на берегу. Молодой парень Оливер Андерсен знает, где ему следует находиться, и стоит на самом носу, он уже много лет плавает матросом на парусной шхуне, обычный голубоглазый парнишка из простого народа, но притом силач и сорвиголова, безотцовщина. Он невысокого роста, но крепко и ладно сложен, прежде в нем находили сходство с портретами Наполеона, но теперь он отпустил бороду и стал ни на кого не похож. Как раз в этом году у него нашлась возможность перекрыть крышу родного домишка красной черепицей и расширить его пристройкой. Не иначе как Оливер стал подумывать о будущем.

— Ладно,— говорит он своей матери-вдове, которая стоит на набережной, спрятав руки под шалью,— ладно, я напишу, когда придем в Средиземное море.

Шикарно сказано, достойно зрелого мужа. И в сущности эти слова обращены не только к матери, но и ко многим другим здесь, на причале,— к девушкам, к Петре, которую Оливер покидает. Вот она стоит, его нареченная, они уже обменялись кольцами и всякое такое.

— И не забывай поливать огород,— продолжает он.

Но это, конечно, шутка, ведь всем известно, что у Оливера нет никакого огорода, разве что немного моркови и репы, которые его мать сажает под стеной дома. Вдова устало улыбнулась, она знает своего сына,

он не дурак пошутить. Дурак, он? Она может сказать о сыне только самое лучшее, у него хорошие задатки, и он умеет их проявить.

На нос энергично взлетает второй штурман, верно, и его провожает девушка на причале.

— Сверни в бухту этот трос,— преувеличенно властно говорит он.

Оливер выполняет приказ. Вообще-то ему надо бы сойти на берег, хоть на минутку, на полминутки, чтобы преподнести своей девушке кулек с изюмом, который лежит у него в кармане. Ему непременно надо сойти на берег. Но на худой конец он постарается, хотя бы находясь здесь, привлечь к себе внимание.

— Карлсен! — кричит он и подзывает к себе кузнеца Карлсена.— Хорошо, что я вас увидел. Я вам задолжал за скобы к водосточным трубам.

Карлсен, сконфуженный обращенными на него взглядами, отвечает:

— Пустяки, не беспокойся, отдашь, когда вернешься.

Но Оливер уже вынул кошелек и протягивает деньги через поручни.

— Все точно? — спрашивает он.

Оливер упирается и гордится своей платежеспособностью, выказанной на глазах у всех. Кто стоит поблизости и засвидетельствовали его поступок? Петра и многие другие. И Лидия с детьми тоже здесь и все примечает, уж у нее-то глаз острый; муж ее, Йорген-Рыбак, тоже стоит поодаль, но по мере того как почтенные господа приближаются к месту, где он находится, он понемногу отступает в дальний конец причала и отыскивает себе более безопасный уголок.

Вот они, важные птицы,— судовладельцы, доктор с супругой, наиболее уважаемые коммерсанты, разгоряченные обедом у консула, с цветком в петлице и цилиндром на голове. Вот адвокат Фредриксен; время пока еще не пришло, но уж он найдет случай сказать небольшую торжественную речь. Он привык произносить речи, именно он организует в городе всяческие собрания и выступает на них.

Из каюты выходят хозяева — сам К. А. Юнсен, господин с живыми карими глазами и брюшком богача, и фру Юнсен, ведущая за руку маленькую Фию. Когда они сходят на берег, все расступаются, даже дети. Владелец парохода имеет право свободно шагать по собственному причалу, это только справедливо.

Капитан быстро поднимается на мостик и дает звонок в машинное отделение. Отчаливаем! Тросы убираются на борт. Капитан приподнимает фуражку, его семья и друзья машут с набережной в ответ, судно вибрирует и начинает медленно отходить от причала. В последний момент Оливер бросает на берег свой кулек с изюмом и успевает заметить, что упал он примерно там, где нужно.

Теперь пришло время: адвокат Фредриксен выступает вперед, высоко поднимает цилиндр и призывает счастье и удачу сопутствовать кораблю, судовладельцу и команде. «Ура!» — раздается на набережной.

Так «Фиа» отплыла в Средиземное море.

Кулек с изюмом действительно упал примерно там, где нужно, но принес он лишь досаду и конфуз: стоило ему приземлиться, как он лопнул и изюм рассыпался по дощатому причалу. Возникло всеобщее замешательство, раздосадованная Петра улыбалась, чуть не плача, мать Оливера принялась собирать изюм в свою шаль, при этом рьяно отгоняя ребятишек и увещевая их не топтать дары Господни. Важные персоны, в том числе высокочтимое семейство Юнсен, прошли мимо маленького поля брани, юный Шелдруп Юнсен отделился от остальных, улыбнулся и вполголоса сказал Петре: «Подними свои изюминки». Петра покраснела до ушей, нагнула голову и, казалось, готова была сквозь землю провалиться...

Женщины у колодца долго вспоминали этот день. Они могут расходиться в мнениях насчет той или иной мелочи, но уж во всяком случае точно, что на фру Юнсен был изысканный туалет из черного шелка, а на плечах — накидка с шелковой бахромой. А шляпа была, какие тогда носили, с широкими тонкими полями, колыхавшимися вверх-вниз в такт шагам, и с одним-единственным большим пером.

Того же, что было дальше, напротив, никто не запомнил, ведь теперь вступили в свои права будни. Осенью Оливер вернулся домой, один, без «Фии». Дело в том, что с ним произошел несчастный случай, он чуть не погиб и остался на всю жизнь калекой. Тут уж никуда не денешься. Когда матрос падает со снастей и ломает себе ребро, это еще можно пережить, но и такое событие не так легко изглаживается из памяти. А на Оливера свалилась бочка с ворванью, сломала ему тазовую кость и бедро, он стал калекой, вот что он пережил. Его положили в больницу в маленьком

итальянском приморском городке, и, видно, там его неправильно лечили. Ногу пришлось отнять. Только через семь месяцев вернулся он домой.

Петра, его нареченная, держалась молодцом и не сломилась под этим ужасным испытанием. Она бесконечно заурядна, в точности такая, как все другие девушки, но есть у Петры и хорошие качества, их у нее не отнимешь.

Маттис, тот самый, что прошел учение у столяра и теперь работает у него подручным, Маттис— тот, с длинным носом, так вот, он пошел к Петре и сказал:

— Вот уж несчастье так несчастье.

— Ты о чем?—спросила она.

— Что Оливер в таком виде домой вернулся. А ты разве не знаешь?

Петра, преданная невеста, отвечала с досадой:

— Еще бы мне не знать, коли он все это время слал мне письма.

— Здорово его попортило,—сказал Маттис.

— Да уж,—сказала Петра.

— Выходит, теперь он и себя-то прокормить не может, а семью и подавно, и что теперь будет?

Петра отрезала:

— Это не твоя печаль!

Она не выставляет напоказ свое горе, вроде бы не жалеет себя, а возможно, не очень жалеет и своего жениха.

— С приездом!—сказала она ему.

Оливер молчал, а мать его ответила:

— Да-а, видишь, каков он явился.

— Я смотрю, ты приобрел себе деревянную ногу,—сказала Петра.

Оливер ответил, глядя в сторону:

— Само собой.

Мать добавила:

— И костыль.

— Это только для начала, пока я еще не окреп.

— Болит?—спросила Петра, имея в виду ногу.

— Ни капельки.

— Ну так ты еще легко отделался.—Петра собралась уходить и добавила:— Я буду к тебе забегать.

И он не успел вручить два подарка, которые ей привез: белую статуэтку ангела и поднос, выложенный деревом разных пород. Почему она была с ним так суха, немногословна? Она ведь знала, что, возвращаясь из дальних

краев, он всегда привозит ей что-нибудь, не забыл он ее и на этот раз. Деревянная нога, само собой, произвела на нее неблагоприятное впечатление, другого и ожидать было нельзя, но говорить так сухо, так холодно... Да разве может Петра быть холодной? Нет уж, ни в каком разе. Как говорит Маттис—заладил в последнее время, твердит всякому, кому не надоест его слушать: Петру-то эту мне и даром не надо. Если девка пыхтит и ноздри у нее трепыхаются—спасибочки, мне такая не нужна!

Оливеру необходимо было приискать себе какое-нибудь занятие. За то время, что в доме была еда и он плотно завтракал, обедал и ужинал, Оливер окреп, в плечи и руки вернулась былая сила, вернулось отменное здоровье. Но вот его матросское жалованье, как ни старалась мать растянуть его, подошло к концу, муки и полноценной мясной пищи стало заметно недоставать. Возможно, Оливер был еще достаточно молод, чтобы научиться какому-нибудь ремеслу, он мог стать часовщиком или портным или поступить в учительскую семинарию и потом преподавать в школе. Но разве такая женская работа—для его рук? И на что будет жить мать в годы его учения? Кроме того, стихией его было море, одно лишь море, и ничто иное.

Он был молод и еще не привык к внезапно наступившей беспомощности, чаще всего он просто сидел на месте, а если ему нужно было передвигаться по комнате, он, опираясь на руки, перебрасывался со стула на стул. Он старался выработать себе новую жизненную позицию—странное занятие для прирожденного матроса, иногда ход его мыслей прерывался от удивления. Он—и вдруг немощный, он—калека! Для начала Оливер решил завести лодку и помаленьку рыбачить, только для себя с матерью. Да, он претерпел досадный урон, в теле у него абсолютный и несомненный изъян, но после того как он отбросил от себя гангренозную ногу и преодолел все последствия, у него все-таки осталось не так уж мало—сила в чистом виде, сила нетто.

Рыбная ловля началась без блеска, ударил мороз, и залив сковало льдом до самого моря, даже почтовый пароход не мог держать свой фарватер чистым, а должен был каждый раз пробивать себе дорогу. Оливер мог бы по примеру других рыбаков продолбить лунку во льду и ловить через нее, стоя на ногах, как бы с суши,—так ловил Йорген и даже старый Мартин-С-Горной-Пустоши.

Но у Оливера не было навыка, впрочем, он и не хотел доходить до такой крайности. У людей не должно создаваться впечатление, что он рыбачит по необходимости, пусть думают, что он делает это в охотку, чтобы время скоротать.

Наступили суровые дни, воистину неуютным выдалось Рождество. Но на Новый год погода переменилась, на море разразился шторм, и лед в заливе взломало. Оливер каждый день выезжал на рыбалку, пропадал в море все дольше и дольше, иногда до самого вечера, и возвращался домой с уловом. Но он рыбачил вовсе не из нужды, ничего подобного.

Мать однажды равнодушно уронила:

— Знаешь, у Юнсен-С-Пристани меня спрашивали, не можешь ли ты продавать им немного рыбы.

— Я? — сказал Оливер. — Вот как, они, стало быть, спрашивали. Но я не ловлю рыбу на продажу.

— Так я и думала, — подтвердила мать. Она прекратила разговор на эту тему, решительно и бесповоротно, предоставив вроде бы этому чванливому Юнсену-С-Пристани самому ловить для себя рыбу. Но под конец сказала: — Они обещали хорошо заплатить.

Молчание. Оливер размышлял.

— Пусть Юнсен сначала заплатит мне за мою ногу, — сказал он.

Все это время они почти не виделись с Петрой, она забегала пару раз, получила свои подарки, болтала о пустяках и убегала. Она по-прежнему носила кольцо и как будто не собиралась порывать с Оливером, нет, ни о чем таком она не говорила; но в глубине души он отмечал тревожные признаки. Да и то сказать, много ли в нем теперь было проку, — половина человека, урод, ни гроша за душой, даже одежда начала снашиваться. Каким же беспечным был он в свои матросские времена, как, впрочем, и все другие — не слишком-то много откладывал на черный день. Единственное, что он сделал для будущего и чем до своего падения очень гордился, теперь уже, возможно, и ни к чему — пристройка к дому, две новых комнаты — большая и маленькая — по ту сторону прихожей. Одному Богу известно, понадобится ли ему еще вся эта роскошь.

Зима тянулась бесконечно, от нее мутился разум и охватывало уныние.

Однажды в воскресенье к концу дня явилась Петра и была приветливее, чем обычно.

— Я увидела, что твоя мать пошла в город,— сказала она Оливеру,— и решила забежать к тебе.

Оливер заподозрил неладное, очень уж необычно вела себя его нареченная, она нежно произнесла «Бедный мой Оливер» и сказала, что Господь покарал их обоих.

— Что верно, то верно,— согласился Оливер.

— Видно, такая наша судьба,— прошептала она и вздохнула.

— Как прикажешь это понимать?— спросил он.

— А сам ты как все это понимаешь?— ответила она вопросом на вопрос.

И он тут же сдался, частично из прежней гордыни, частично потому, что признал ее правоту. Нельзя долее закрывать глаза на истинное положение вещей.

Они обговорили это, и она выразалась с исключительной деликатностью, но смысл был ясен.

— Я этого и ожидал,— проговорил он, глядя в пол.

Петра собралась уходить, но, казалось, самое трудное у нее еще впереди, она уже дошла до двери, но потом вернулась к нему, и потрепала его по обеим щекам, и приподняла его голову за подбородок.

— А теперь не противься тому, что мы оба решили, не говори «нет». Я уже обо всем подумала. Мало того, что тебе надо себя прокормить, у тебя еще есть мать. Не так-то это легко для тебя.

Он взглянул на нее, не понимая: они ведь уже все обсудили, пора бы оставить его в покое...

— Знаю без тебя,— сказал он.

— И работать как следует не можешь, и вообще...

— Знаю, говорят тебе!— раздраженно перебил он.

— Пожалуйста, не сердись, Оливер,— продолжала заискивать она. Но увидев, что он и дальше намерен огрызаться, она тоже нахмурила брови и вдруг взяла быка за рога:— Говори, что хочешь, а дела у тебя как сажа бела, но будем надеяться, со временем все наладится. Так что вот, кладу его сюда, ты можешь обратить его в деньги, говори, что хочешь, а я его кладу вот сюда, на стол. Оно полновесное и дорогое, наверняка покупатели найдутся.

— Что это у тебя? А, кольцо. Хорошо, положи на стол,— сказал он и кивнул.

Петра могла бы обойтись без уверток. Оливер, похоже, в эту минуту был не прочь заполучить кольцо обратно, какая-никакая, а ценность. Когда Петра ушла, он

нацепил кольцо себе на кончик мизинца, потом надел поглубже.

И тут он расчувствовался. Продать кольцо, обратить его в деньги? Никогда. Скорее он бросит его в море. Он сохранит кольцо на память, на всю оставшуюся жизнь, и по воскресеньям будет доставать его и любоваться. Впрочем, долго ли ему еще осталось жить...

II

Оливер теперь уже не выезжал рыбачить ежедневно. Нет, он пропускал денек-другой. Должно быть, разрыв с Петрой в какой-то мере подорвал его энергию, он все откладывал, никак не мог выбраться. Мать, бывало, спрашивает:

— Ну как, поедешь сегодня? Похоже, ты не собираешься?

А Оливер отвечает:

— Что, у тебя кончилась рыба?

— Рыба-то есть, не в том дело,—говорит мать и умолкает.

Вообще-то ей ведь нужна была еще и мука, да и кое-что другое: мыло, кофе, керосин для лампы, дрова, сливочное масло, спички, патока — словом, вещи жизненно необходимые...

Маттис, подручный столяра, строил себе дом, работа шла полным ходом, видно, Маттис думал о будущем. Оливер как-то приковылял к нему и заговорил с ним, посверкивая золотым кольцом на мизинце. Делить им было нечего.

Оливер сказал:

— В новой пристройке у меня две двери, я заказывал их у твоего хозяина.

— Помню,—сказал Маттис,—это было прошлой зимой.

— Можешь купить у меня эти двери и навесить у себя в доме.

— Ты хочешь их продать?

— Да. Они мне теперь ни к чему. Мои планы изменились.

— Мне ли не помнить эти двери, я сам их делал,—сказал Маттис.— Так твои планы, стало быть, изменились? Ты не собираешься жениться?

— Пока не собираюсь.

— Сколько ты хочешь за двери?

Они быстро сошлись в цене: двери побывали в употреблении и не были покрашены, но Оливер купил к ним замки и петли, они учли все это, и Маттис уплатил.

Но теперь Оливеру нечего было больше продавать, не мог же он продать лестницу. Какое-то время они с матерью жили безбедно на деньги, вырученные за двери, но вот в воздухе запахло весной, Оливер был молод, а платье его совсем износилось, он бы лучше сумел утвердиться в жизни в новом костюме, и поскольку он, к сожалению, теперь уже навсегда стал сухопутной крысой, ему бы хотелось обзавестись соломенной шляпой. Мать все с большей тревогой смотрела в будущее и намекнула, что они могли бы пустить жильцов в пристройку, если...

Что ж, Оливер не против.

Да, но там теперь нет дверей.

На мгновение призадумавшись, Оливер беспечно ответил:

— Дверей? Ну так я закажу парочку дверей.

Мать покачала головой:

— Но там и печки тоже нет.

— Печки? А на что им печка летом?— спросил он.

— Но ведь им нужно стирать, им нужна кухонная плита,— ответила она.

Не иначе как Оливера ушибло в голову, он стал плохо соображать.

Он снова потащился к Маттису и долго говорил с ним, и под конец сказал:

— Ты вот строишь дом, и красишь его, и вставляешь двери и окна, похоже, ты надумал жениться?

— Не знаю, что мне ответить на это,— сказал Маттис.— Но, по правде говоря, иногда эта мысль приходит мне на ум.

— Я так и понял,— кивнул Оливер и стал наблюдать, как работает столяр. Им по-прежнему нечего было делить. Оливер продолжал:— И кто она ни есть, или будет, она будет за тобой как за каменной стеной. Да, кстати: ты уже купил обручальное кольцо?

— Обручальное кольцо? Нет.

— Ну так вот. Если надумаешь, у меня есть кольцо на продажу.

— Дай посмотреть,— сказал Маттис.— Но на нем ведь, наверно, твое имя?

— Да, но его можно стереть.

Маттис поглядел на кольцо, взвесил его в руке, назвал свою цену. Кончилось тем, что он его купил.

— Только бы оно подошло,— сказал он.

Оливер многозначительно ответил:

— На этот счет беспокоиться нечего. Насколько я понимаю.

Маттис вдруг пристально поглядел на него и спросил:

— Ну и что ты скажешь?

— Что я скажу?— ответил Оливер.— Теперь это меня не касается. Найдется и для меня что-нибудь, я ведь еще не умер.

— Нет, бьюсь об заклад, что нет,— поддержал его Маттис.

— Что ты имеешь в виду?— спросил Оливер, польщенный.— Что для меня ничего не найдется?

— Ты все шутишь, Оливер. Для тебя найдется не меньше, чем для меня.

У Маттиса явно гора с плеч свалилась. Они льстили друг другу без зазрения совести, но каждый был начеку.

— Как получилось, что ты покалечился?— спросил Маттис.— Ты упал со снастей?

— Я?— оскорбился Оливер.— Такой бывалый моряк, как я, не свалится со снастей.

— А я думал, ты упал.

— Нет, всему виной волна.

— Держу пари, что это была здоровенная волна, раз уж ей удалось так расправиться с тобой.

— Да, похоже было, что это сам Господь Бог обрушился на нас,— похвастался Оливер.— Волна сорвала палубный груз, и бочку с ворванью запулила прямо ко мне в объятя, то есть сначала-то волна подбросила ее в воздух, и бочка обрушилась на меня сверху, точно пушечное ядро.

— Подумать только, подняла в воздух!

— И тут я услышал, что ребята закричали от ужаса.

— А сам ты не закричал?

— Зачем бы я стал кричать? Что в этом проку?

Маттис, улыбаясь, покачал головой и сказал:

— Такой уж ты есть.

Да, у Маттиса явно гора свалилась с плеч, с Оливером было приятно иметь дело. Мог ли кто быть покладистее его? Потерял четверть своего тела, все потерял, но остался Наполеоном! Посадить бы его в экипаж и завернуть в кожаную полость, никто бы не сказал, что с ним что-то неладно...

Оливер с матерью опять какое-то время жили безбедно, он ведь еще немножко и рыбачил, рыбы хватало им самим и кошке; на деньги, вырученные от кольца, они покупали муку и керосин для лампы. Но теперь Оливеру уже нечего было больше продавать, не мог же он продать трубу с крыши.

И, разумеется, пришло время, когда мать снова одолели мрачные мысли. Она стала намекать, что, мол, надо что-то предпринимать, потом осмелилась выказать некоторое недовольство. Как известно, когда кормушка пуста, лошади грызутся.

— Ты мог бы плести сети, разве ты не можешь плести сети?—спросила она.

Но Оливер ничего не мог, не умел, в свое время не захотел научиться, вместо того, чтобы учиться, нанялся на корабль.

— У меня есть из чего сделать мутовку,—сказала мать.—Был бы ты рукастым парнем, сделал бы мне мутовку.

Оливер не мог не воспринять это как неуместную шутку и нытье и отвечал:

— Ты еще заставь меня вязать рукавицы!

Он размышлял, взвешивал «за» и «против», что-то и вправду надо было предпринимать. Но дальше размышлений дело не шло.

Из дома не выжмешь больше того, что уже выжато, он давным-давно заложен адвокату Фредриксену. Правда, под заклад новой пристройки Оливер денег не занимал, сразу же после возвращения он обратился к Фредриксену за таким займом, но получил отказ. Ах, пристройка? Ее сооружение Фредриксен считал всего лишь основательным ремонтом дома. «А новая черепичная крыша?»—спросил Оливер. «Ремонт!»—заявил Фредриксен. Когда же Оливер намекнул, что может в другом месте занять деньги под залог пристройки, адвокат угрозил, что взыщет с него долг и тогда дом немедленно пойдет с молотка. Они еще немного поговорили на эту тему, и адвокат спросил удивленно: «Тебе действительно так туго приходится?»—«Кому, мне?»—возмущился Оливер, в нем разыгралась его гордыня. Ах, стало быть, нет, адвокат так и думал. И поскольку он лишь теперь, с появлением пристройки и черепичной крыши, перестал опасаться за свои деньги, он просит Оливера подписать обязательство, где говорится, что все новое в доме входит в залог,—ведь Оливер не откажется, как порядочный

человек? Оливер, тогда еще едва сошедший на берег, не отвыкший от расточительных моряцких замашек, к тому же добродушный по натуре, подписал. Они с адвокатом расстались вполне дружелюбно.

Вот так все произошло в то время.

Оливер часто сожалел о своем глупом поступке, но сделанного не воротишь. Или все же можно переиграть? Но как? Допустим, он на свой страх и риск продаст дом, выплатит долг адвокату Фредриксену, и они будут в расчете? Хватит ли вырученных денег? Единственное, что Оливер знал наверняка,— сам он при этом останется без крова.

Оливер прикидывает так и этак. Ему иногда приходит в голову стать поборником веры Христовой, тогда, возможно, ему дадут инвалидную коляску и он будет разъезжать в ней по приходам.

Мать иногда рассказывает Оливеру городские новости, она слышит больше, чем он, бывает, то на улице, то у колодца поймает словцо,— сплетни, происшествия, ложь и правду, все это она припрятывает и несет домой. Что-то так и оставалось лежать у нее в голове мертвым грузом, но случалось, что узанные пустяки могли пригодиться. Например, когда она рассказала Оливеру, что один знакомый парень — Адольф, сын кузнеца Карлсена, нанялся матросом на корабль, скоро уедет.

— На какой корабль он нанялся?

— На парусник Хейберга. Говорят, он собирается заказать себе сундучок.

Помолчав, Оливер кивает головой и говорит:

— Он может купить сундучок у меня.

— Теперь еще и сундучок продашь,— вздыхает мать.

— А на что он мне? Я свое отплавал, теперь сундук только место занимает. Нет уж, ты лучше предложи Адольфу купить этот сундучок, глаза б мои на него не глядели.

При этом он не сомневался, что Адольф наверняка возьмет сундучок, ведь сундучок-то попутешествовал-таки по свету и привык к морю — матросский сундучок, бывший в употреблении и, стало быть, доказавший, что он приносит удачу. Каждый раз, собираясь в очередной рейс, Оливер чувствовал, как он соскучился по своему сундучку. Сундук этот был, конечно, неодоушевленным предметом, но тем не менее верным спутником и слугой, более того, любимым другом. Однако теперь пришла пора расстаться, счастливого ему плаванья! Во время

последнего путешествия—из Италии домой—Оливер намучился с этим сундуком, он ведь стал калекой и нести сундук было ему не с руки, и на железной дороге сундук превышал дозволенный вес, так что Оливеру пришлось доплачивать. Словно сундук стал его нахлебником и объедал его, этакое чудовище—так пусть убирается прочь, скатертью дорога.

И все же когда мать пришла с Адольфом, Оливер немного расчувствовался. Вот стоит перед ним его матросский сундучок, конечно, неказистый и тяжелый, но зато какой удобный! Он выдержал немало пинков и ударов, покрывавшая его зеленая краска испещрена шрамами, и не мудрено, ведь на его крышке крошили табак, и все же это всем сундукам сундук!

— Вот он весь перед тобой, какой есть,—сказал Оливер Адольфу.—Ему всегда было плевать на важных господ, капитанов, маклеров и консулов, он стоял там, где стоял, и не сдвигался с места, разве что подчиняясь грубой силе.

Адольф купил сундучок, а потом сидел и слушал, как Оливер учит его уму-разуму. Отставному матросу было что порассказать о той жизни, которая ожидала парня. Да уж, образ жизни здоровый и свободный, но далеко не во всех отношениях похвальный. Безбожие и испорченность и рискованные приключения во время стоянок в заморских городах и весях. Ему-то самому грех жаловаться, ему удавалось в любую минуту подцепить в чужом городе красивую милашку, похвастался Оливер, но не всегда все обходилось без борьбы и драки. Впрочем, тут уж дело только за тем, чтобы обхватить противника одной рукой за голову, другой—за задницу и вышвырнуть его в окно прямо через стекло: раз-два-три—и в сточную канаву! Да, не всегда он, Оливер, только просиживал стул и был калекой.

Оливер пустился философствовать, его матросская «травля» была пустой и заурядной, не лучше и не хуже, чем у других матросов: правда и бравада, хвастовство, ханжество и вранье. Он распространялся о соблазнах, вставлял в свою речь английские слова, предостерегал против пьянства.

— Ты видишь, Адольф, каким я вернулся домой. До сих пор поверить не могу. Но, думаешь, это произошло из-за попойки или дурной жизни? Нет, я был тогда трезв, как ты сейчас. Клянусь Богом, это случилось в открытом море, и без всякой моей вины. И потому

никогда не предавайся зеленому змию, как это в обычае у многих, и пусть Господь делает с тобой что хочет, тут уж ты ничего изменить не в силах. А если люди увидят, что ты при деньгах и вынимаешь из кармана английские фунты, они будут охотиться на тебя, как чайки на плотву, так что, прежде чем отправиться в плаванье, тебе следует пришить к безрукавке внутренний карман.

— А у тебя разве был внутренний карман? — перебивает мать.

— А как же! — Оливер расстегивается, и оказывается, что внутреннего кармана под безрукавкой у него нет. — Значит, он у меня на выходном костюме, на том, в котором я обычно ходил на берег, — говорит он.

— На каком таком выходном костюме? — спрашивает мать.

Оливер делает вид, что не слышит, и продолжает:

— Короче говоря, Адольфу следует идти путем праведных, а не путем неправедных. Да, Адольф, попомни мои слова и, когда у тебя ночная вахта и ты стоишь на руле, обращай мыслью к Господу. И еще научись говорить по-английски, чтобы суметь объясниться, куда бы ты ни попал, во всех концах света. Тебя поймут и в баре, куда ты зайдешь выпить кружку пива, и в церкви, и в консульстве. А теперь бери мой сундучок и неси его по жизни честным путем, к иному он не привык.

— Что это за выходной костюм, о котором ты говорил? — снова спрашивает мать. — Разве у тебя есть другой костюм, кроме того, что на тебе?

— А то нет! — отвечает Оливер. — Он придет из Италии. Что за ерунду ты городишь!

Но мать в присутствии постороннего осмелела, она презрительно фыркнула, хоть и потихоньку. Ведь кормушка была теперь совсем пуста...

Оливеру нечего больше продавать, матросский сундучок был его последним достоянием, и мечта о новом костюме и соломенной шляпе развеялась как дым. Но день проходил за днем, и вот однажды Оливер немного воспрял и прозрачно намекнул о своем намерении сбыть с рук лодку.

— Ты с ума сошел! — закричала мать.

Оливер смирился и пошел на попятный: нет, такую лодку не продашь, за нее гроша ломаного не дадут, старое корыто, не будь она просмолена, давно бы развалилась, он и сам в свое время купил ее за гроши.

— Я сама буду рыбачить,— пригрозила мать.— Ты-то ведь, похоже, бросил это дело.

А Оливер, выказывая полное безразличие и пренебрежение к словам матери, взял свой костыль и заковылял прочь из дому.

Прекрасная погода! Он втянул носом воздух и почувал запах моря. Шумная стая голубей опустилась на улицу, ребятишки играли в прыгалки. Давно ли он и сам играл в прыгалки...

Оливер стал одну за другой обходить лавки. «Смотрите, кто пришел!»— говорили повсюду и старались помочь калеке, приносили что-нибудь, на что он мог бы сесть. Раз за разом он должен был рассказывать, как оно получилось, что его покалечило, он поднаторел в этом и преподносил свою историю все более красочно, интересные добавления касались прежде всего того периода, когда он лежал в больнице, ведь тут никто из товарищей по команде «Фии», вернувшись домой, не мог его опровергнуть. Одна из сестер в больнице была не прочь выйти за него замуж...

— Ну и женился бы.

— Не мог же я принять католичество!

Но потом интерес к нему ослабел, Оливер потерял прелесть новизны, теперь уже ему приходилось самому искать себе ящик, чтобы присесть, или же стоять, облокотившись о прилавок. И никто больше не расспрашивал его о больничной сестре.

Прошло время, и визиты в мелочные лавки отпали сами собой, Оливер понемногу опять начал рыбачить. Юнсен-С-Пристани самолично просил, чтобы Оливер продавал ему ту часть улова, которая оставалась от собственных нужд. Оливер для виду согласился, не хотел отказать напрямик. Уж Юнсен-то С-Пристани знает, что делает, ведь это на его судне покалечился матрос, и вот он дает ему заработать на рыбной ловле. Нет уж, спасибо, Оливер съест свою рыбу сам!

В заливе он встретился с Йоргеном-Рыбаком, они подгребли друг к другу и побеседовали. О чем они могли беседовать? Разумеется, о погоде, о рыбной ловле и о доходах. У Йоргена только и было на уме, что работа.

— Ты рыбачишь здесь, в заливе,— говорит Оливер.— Будь у меня твоя хорошая лодка, я бы ловил дальше, в открытом море. Сколько ты зарабатываешь за день?

— По-разному. День на день не приходится, бывает — много, бывает — всего ничего.

— Ну, вот что я тебе скажу, Йорген, не дело это для тебя — рыбачить в заливе, в точности как мы, кто ловит для собственного удовольствия. Обо мне вообще говорить нечего, раз уж я инвалид и никуда не гожусь. Но ты, если б выезжал в открытое море, мог бы поймать палтуса и крупную рыбу.

— Да, — соглашается Йорген, — я бы мог поймать кита.

Оба посмеялись, Оливер, конечно, шутит и болтает просто так, предлагая Йоргену выходить в открытое море. Лодка Йоргена для этого не годится, нет у него и подходящих рыболовецких снастей, к тому же в море нельзя выходить в одиночку.

— А если мы с тобой в складчину купим морскую лодку? — продолжает шутить Оливер.

Йорген, как и все, терпелив с калекой и обсуждает с ним разные возможности: морская лодка, да, конечно, большая рыболовецкая снасть, глубоководные переметы, они могут завоевать весь рыбный рынок сбыта. Все идеи исходят от Оливера, по-видимому, они только что пришли ему в голову, цена им грош, и, поскольку он побывал за границей и чего только там не навидался и не наслушался, он очень скоро сам это понимает.

— Вот я все болтаю, — говорит он, — а кончится, наверно, тем, что я попробую устроиться на какой-нибудь маяк.

— Да, — соглашается Йорген, — это было бы не самое худшее.

— Не знаю. Надо же что-то делать инвалиду.

— Будешь смотреть за фонарем, вести журнал, указывать путь морякам темными ночами. Хорошо бы только кто-нибудь замолвил за тебя словечко.

— Замолвить за меня словечко наверняка не откажется Юнсен-С-Пристани. Поплывем, что ли, домой?

— Нет, мне надо еще посидеть, я подрядился сегодня наловить рыбы для писаря, а у меня всего несколько рыбешек.

— Сколько писарь платит тебе за дневной улов?

Йорген называет среднюю цену.

Оливер покачал головой, услышав столь мизерную цифру, отгреб и тоже принялся снова ловить. Посидев еще полчаса, он удовольствовался тем, что уже поймал, и отправился домой.

Он греб мощными рывками. Возможно, он хотел показать себя и удивить Йоргена-Рыбака своей силой,

и этого он достиг. Оливер в сущности был точно создан, или точно специально пересоздан для рыбацкой жизни, с веслами в руках он, как тяжелый маятник, качался взад-вперед, из конечностей он сохранил те, которые нужны были именно для этого. Возможно, к этой-то истине он и пришел несколько дней спустя, во всяком случае, он стал усерден, выходил в море с утра и рыбачил весь день напролет, он заплывал все дальше и дальше и находил новые отмели, где стояли рыбные косяки, он привозил домой по две-три связки рыбы и большую часть улова продавал. Деньги он копил.

— Ты гребешь, как пароход,— говаривал Йорген-Рыбак. И то же самое говорил Мартин-С-Горной-Пустоши, самый старый рыбак в городе.

— Вам так кажется? Ну что ж. Все дело в том, что я поплавал-таки по морям и кой-чего повидал.

Йорген отвечал на это обычным своим присловьем: дескать, много поучительного скрыто в природе.

— Хорошо, что я умею управляться с веслами,— сказал Оливер.— Я как раз задумал вскорости предпринять дальнюю поездку.

Оливер не сказал, куда он собирается, потому что цель поездки была не вполне законная: он хотел поискать птичьи яйца на островах. Может, заодно и припасет немного плавнику для хозяйственных нужд. Это была двойная спекуляция. Законный промысел — сбор плавника — должен был прикрыть запрещенный сбор яиц.

III

Ну а Йорген-Рыбак не был создан для спекуляций, он просто ловил рыбу и привык мало зарабатывать и по одежке протягивать ножки. У него был собственный дом и еще кое-что в придачу, трое удачных и сытых детей, Йоргену жилось хорошо во всех отношениях.

Лидия, напротив, была резкая и вспыльчивая, но в руках у нее все так и горело, у нее был острый глаз и острый язык, ее можно было сравнить с опасной бритвой и с теркой, или даже с пилой, рубанком и скребком, все это так, но для мужа и детей она была просто клад. Люди украдкой подсмеивались над ней, очень уж она была тщеславная, строила из себя благородную, дело доходило до смешного, она воображала, что и дети у нее лучше, чем у других, да и сама она не чета другим женщинам. Эту

заразу она подхватила еще во времена своей молодости, когда была служанкой в самых лучших домах, сначала у торговца Хейберга, потом несколько лет у Юнсена-С-Пристани, так не значит ли это, что и сама она выше других? К тому же и сам К. А. Юнсен заглядывался на нее в молодые годы! Она никогда об этом не забывала. Он ничего у нее не добился, но это уж не от него зависело.

Потом она познакомилась с Йоргеном и водила его за нос четыре года, но после все же вышла за него замуж. Нельзя сказать, чтобы у него была интересная внешность, но при всей заурядности лицо его с мелкими чертами было добродушным и открытым, а темные шелковистые усы и борода придавали ему все же нечто своеобразное. Одна беда — очень уж у него была тяжелая походка, танцор из него был никакой, когда он шел куда-нибудь, об этом знал весь город, и от того, что он все время сиднем сидел в лодке, легче на ногу он не становился. Но Йорген был надежным и верным мужем, Лидия ни разу не пожалела, что вышла за него.

Йорген работающий, дело доходит до того, что он впадает в уныние, когда погода не позволяет ему рыбачить. Весну и начало лета он терпеть не может, эти многочисленные и бесконечные праздничные дни, Пасха и Троица, воистину для него испытание. Ему легче было бы снести вынужденное безделье, если бы его рыба плохо раскупалась, но как ни мал городок, рыбы всегда не хватает, и цена на нее год от году растет. Пусть Оливер фыркает сколько хочет, издеваясь над скудостью заработка, а все же этот мелкий рыбный промысел — хороший кусок хлеба, да еще и с маслом. И кроме того, Йорген вычитал в газете, что рыбная ловля — такое же благословенное занятие, как земледелие: что это сбор урожая на ниве Господней. И он тоже, выходит, служит земле.

Но сейчас он не может ловить рыбу из-за непогоды. Наконец-то миновали большие праздники, и Вознесение, и Семнадцатое мая, и День покаяния и молитвы, но Господь послал бурю на море, Господу угодно, чтобы на три недели прервался сбор морского урожая, неизвестно, какой у него при этом замысел. Йорген бродит по городу, ведя за ручку своего маленького сына, бывает, под дождем они промокают до нитки, они поднимаются на самые высокие места, и смотрят на море, и считают проходящие рейсовые пароходы, снова спускаются и идут присмотреть за своей лодкой, надежно ли она привязана,

не надо ли вычерпать из нее воду. Йорген впадает в ужасное уныние от этого безделья.

Он встретил Оливера. Обоим нечего делать, и они могут посидеть в укрытии и поболтать. Оливер не впал в уныние, физически он чувствует себя хорошо, непогода оправдывает его праздность, рабочее рвение оставило его. Не иначе как само Провидение вмешалось: только было он решил заработать денег на новый костюм, да к тому же и почувствовал настоящий вкус к работе, как наступила эта самая долгая непогода, и его благие намерения снова рассеялись как дым. Его огорчает только, что не удалось совершить задуманную дальнюю поездку, приходится день за днем сидеть дома и пререкаться с матерью.

Оливер заделался настоящим философом. Он молод и порой испытывает потребность настойчиво и с силой заявить о себе и своем существовании. Сам, дескать, посуди, разве все в жизни устроено так замечательно и красиво, как нас учит Писание? Вот, к примеру, Олаус-С-Луговины, однажды на строительстве дороги буровой заряд разорвался прямо у него перед носом, и от этого у него лицо на всю жизнь осталось в синих пятнах. Через год, когда он устроился работать на верфь, ему машиной оторвало руку. Что же ему остается, как не пить горькую и драться с женой.

— Кого ни возьми, Йорген, несчастный случай может в любую минуту порушить к чертям и нас самих и всю нашу жизнь, будь мы хоть сто раз Божьи создания.

— Да уж,—говорит Йорген.

— Вот то-то же! Будь ты добрейшая душа, оттого, что тебе запулили пушечным ядром пониже живота, лучше ты не станешь. О нет, далеко нет! Или ты думаешь, что станешь лучше?

— Но, может быть, Господь испытывает нас?—говорит Йорген кротко.

— Ну и дурак же ты! Испытывает? Посмотрю я, как ты будешь утешаться этой байкой, когда такое несчастье случится с тобой самим.— Оливер внезапно побледнел от возбуждения, но, увидев, что Йорген вроде бы собрался уходить, спохватился, полез в карман и вытащил носогрейку.— Хочешь трубку? Я принес ее тебе.

— Разве ты бросил курить?

— Давным-давно. Еще когда в больнице лежал. Эту трубку я купил за границей. Так что если она сгодится тебе...

— Нет. Убери.

Они пошли домой.

— Зря ты корчишь из себя святошу и строишь постную мину, Йорген. Право слово, зря,— сказал Оливер со вновь вспыхнувшей горячностью.— Что бы ты ни говорил, я все равно знаю: у меня свои тяготы, у тебя свои. Взять хоть бы то, что ты не можешь выйти ловить рыбу в открытое море: ведь это же не потому, что ты такой уж сытый и богатый и иметь чуточку побольше было бы тебе во вред? Я тебе точно говорю, Господь отмеряет скупю, он только что не обкрадывает тебя.

Йорген хмурит брови и открывает рот, словно собираясь ответить, в это мгновение он и сам выглядит человеком вспльщивым и горячим. Но этими приготовлениями все и окончилось, он не вымолвил ни слова.

Оливер утихомирился и снова сменил тон:

— Но то, что все в его руках, это правда, я сам убедился. И если мы пытаемся следовать его заповедям, тут уж у нас просто другого выхода нет. Возьми все же трубку.

Йоргена передернуло, и он ответил:

— Ты не должен ее отдавать.— Но, увидев мольбу на лице калеки, он смягчился и добавил: — Зачем же я буду брать такую дорогую трубку?

— Возьми!— заявил Оливер.— Я дарю ее тебе, я так и собирался отдать ее тебе. У тебя будет не один случай отплатить мне за это какой-нибудь услугой, и я не сомневаюсь, что ты это сделаешь.

И верно, хозяйство Оливера в последнее время нередко нуждалось в помощи услужливых соседей. Сам Оливер за нею не обращался, но его мать частенько заходила к ним по вечерам, когда лавки были уже закрыты, и одалживала «до завтра» то чашку кофейных зерен, то глубокую тарелку ржаной муки. Чего только не приходилось старой брать в долг, однажды вечером она даже одолжила у Мартина-Рыбака небольшую треску.

С сыном у нее шли постоянные пререкания.

— Но куда же, в самом деле, подевалась вся выручка за рыбу, которую ты продавал до того, как испортилась погода?

— Вечно ты суешь нос не в свое дело,— отвечал он.

Но мать была упряма, она не унималась, пока не допекла его, и однажды он пришел и выложил деньги на бочку; единственное, на что удалось ему урвать какие-то гроши, был голубой галстук. Впрочем, и все-то деньги

были небольшие, с трудом скопленные, отложенные по скиллингу с каждой рыбешки; однако большие или малые, но это были деньги на костюм и соломенную шляпу, которых теперь ему не видать как своих ушей. Разумеется, Оливер не пожертвовал бы этими деньгами, если бы сам Господь Бог не встал на его пути со своей непогодой и не положил предел его благим намерениям, ну так пропади все пропадом! С гордым видом Оливер сказал матери:

— Теперь, надеюсь, ты оставишь меня в покое на некоторое время.

На мать сумма не произвела впечатления: как, и это все?

— Да, конечно, я-то оставлю тебя в покое,— сказала она.— Но если я расплачусь с кредиторами, сам знаешь, этих денег хватит ненадолго.

Тогда наконец он высказал мысль, которая давно зрела у него в голове:

— За себя-то я не боюсь, не думай. Если ты себя прокормишь, уж я-то себя тоже прокормлю.

— Это как же понимать?— спросила она.

— Как? А так, что я инвалид и неработоспособен. У тебя что, глаз нет?

— Ты хочешь, чтобы я пошла в кассу для бедных?— рассердилась она.

— Я не говорю, чтобы ты прямо сейчас туда побежала. Но вообще-то ты могла бы получать небольшое пособие из кассы.

— Вот, значит, как,— ответила она и поджала губы.

— Ну а что в этом такого? Раз уж я инвалид.

— Инвалид?!— закричала она в ярости.— Нет, вот что я тебе скажу: ты просто не хочешь работать, не хочешь исполнять Божью заповедь. Почему ты и не подумал порыбачить вчера, когда море успокоилось? Сегодня-то опять буря.

— Вчера тоже море было не слишком спокойное.

— Вот как. Ну а почему же тогда Йорген ловил рыбу?

— А он ловил? Что ж, Йорген мог улучшить минуту, у него ведь новая добрая лодка,— вздохнул Оливер.

Молчание. Но теперь мать была в ярости и не скрывала этого.

— Ты продаешь двери собственного дома,— сказала она.— Спасибо хоть стены не продаешь. Хотелось бы мне лежать в могиле.

— А мне тем более.

— Тебе! — презрительно фыркнула мать. — Нет уж, ты предпочтешь лежать в своей постели. И провалиться мне на этом месте, начни я получать пособие из кассы, мне придется содержать и тебя.

Оливер расхохотался, так смешны ему показались материны речи.

— Нет уж, помолчи, сделай милость. Ха-ха-ха, нет уж, ради Бога, остальное договаривай сама с собой.

Скоро в доме снова не было ни рыбы к картошке, ни дров для печки. Порой выдавался денек, когда буря унималась, но Оливер упускал его, а на следующий день непогода разыгрывалась пуще прежнего. Какой во всем этом был смысл? Небо было безжалостно, никогда еще такой гром не грохотал над городом.

Оливер то передвигался по горнице, перебрасываясь со стула на стул, то часами лежал и дремал, а то засыпал за столом, уткнувшись лицом в руки. Иногда замахивался на кошку своей деревянной ногой. Однажды он взобрался на крышу. Ведь Оливер был старый матрос, его манила высота, он повозился с громоотводом, поправил несколько черепиц и опять спустился на землю.

Он жил теперь в жестокой нужде, не ел с утра до вечера. Однажды мать ушла утром и не появлялась целый день; когда она не вернулась и на следующий, Оливер пошел к соседу — мастеру на все руки — и сказал:

— Сделай божескую милость, зайди ко мне и взгляни на мой громоотвод, боюсь, что я его повредил, когда поправлял черепицы.

— Но ведь это не к спеху? — спросил умелец.

— Будь так добр и пойди со мной сию же минуту, — ответил Оливер. — Сейчас все время грозы, и я боюсь молнии.

Умелец пошел с ним — как и все другие, он не мог отказать калеке.

Умелец полез на крышу, Оливер остался стоять внизу. Умелец крикнул ему сверху:

— Случись несчастье, сам был бы виноват!

— То есть как?

— Господи, да провод-то оборван! Доходит только до крыши и ведет молнию прямо к твоей кухонной плите.

— Я вот думаю, — сказал Оливер, — как удачно сложилось, что матери все это время в доме не было, она уехала погостить. Случись несчастье, так со мною одним.

Умелец заменил проводку, и когда он управился, Оливер спросил, сколько он должен ему за работу.

— Нисколько.

— Нет, я хочу тебе заплатить.

— Ладно, дело терпит. Будет у тебя лишняя треска, так дашь мне.

— Ты получишь целую связку,— сказал Оливер.

Оливер говорил громко и внушительно, пусть слышат его те, кто проходит мимо, пусть слышит Петра, если она как раз проходит мимо. Пусть слышит и то, что он предложил плату, и то, что он собирается заплатить щедро. А Петра и вправду проходила мимо, наверно, она шла к Маттису в его новый дом, в свой собственный будущий дом. А Оливер стоял на улице. Была бы у него хоть соломенная шляпа, чтобы снять ее в знак приветствия! Но не было у него ничего...

Мать все не возвращалась, и неизвестно было, куда она подалась, может, и в самом деле в кассу для бедных. Оливер возобновил свои странствия по мелочным лавкам, теперь, после перерыва, его снова усаживали на ящик и порой угощали моряцким сухарем. Сами понимаете, он грыз этот жесткий как камень сухарь просто для забавы, шутки ради, что, верно, никого не удивляло: старому матросу по-прежнему по вкусу моряцкий рацион, а зубы у него были отличные.

Обойдя все близлежащие лавчонки, он расширил круг своих посещений, он поднялся на горную пустошь, и Мартин-Рыбак угостил его чашкой кофе с хлебом. Они поговорили о погоде, и Оливер рассказал женщинам, жившим в доме, про больницу и про медицинскую сестру. Дурак он был, что не женился на ней, сказал он. Да только человеку хочется жить и умереть в той вере, какой его научили с детства. И кроме того, тогда у него была девушка здесь, дома, и он верил ей.

— С Петрой у тебя все кончено?— спросили женщины.

— Не поминайте ее имени,— ответил он.

Дальше он заковылял к новостройке, где шли отделочные работы, и присел и там тоже завел беседу: дескать, строительство, ясное дело, штука дорогая. Самая коробка еще куда ни шло, но за окна и двери заламывают такие цены, что аж дух захватывает. Если им нужны двери, он может предложить им парочку высшего качества.

С горной пустоши Оливер направился к Маттису. Столяр, как обычно, был занят работой, но отложил рубанок и расчистил место, где калека мог бы присесть.

Они поговорили про непогоду, которая так давно свирепствует на суше и на море и не дает бедному человеку заработать себе на хлеб. Но в этой беде все были равны, вот и Йорген-Рыбак, и Мартин-С-Горной-Пустоши тоже не могут выйти на рыбную ловлю.

— Останься у меня моя трубка, я бы подарил ее тебе,— сказал Оливер.

— Нет, что ты, как можно.

— Очень даже можно. Но я уже отдал ее Йоргену.

— Вот как, ты отдал ее Йоргену?

— Новехонькая трубка. Я купил ее за границей, уж не помню, где именно. Вот что я хотел тебя спросить: когда ты собираешься жениться?

— Да знаешь ли,— ответил Маттис вроде бы немножко застенявшись,— теперь уже совсем скоро.

— Вот как,— сказал Оливер и на этом успокоился.

О да, Оливер бывал временами покладистым и невероятно разумным, он умел смиряться с неизбежным. Столяр жалел его, ведь Оливер был Наполеоном, а теперь вот сидит, уставя глаза в пол, и, видно, ему несладко, глаза почти скрылись под веками. Но вдруг рябь пробежала по спокойной глади, Оливер не поднял глаз, но протянул указующий костыль и произнес:

— Эти двери я хочу получить обратно.

Маттис разинул рот от изумления, потом спросил:

— Что?

— Эти двери я хочу получить обратно.

— Двери? Вот как.

Оливер медленно поднял глаза и сказал:

— Отдай мне их.

Они буравили друг друга глазами.

— Я выберу время и сделаю тебе парочку дверей,— сказал Маттис.

— Нет,— возразил Оливер,— или эти самые двери, или никаких.

Что это, угроза? Оливер поднялся и стоял, гордо выпрямившись, костыль ведь служил ему всего лишь тросточкой, вид у него был высокомерный. Сами понимаете, такое могло внести сумятицу в представления столяра о калек; Маттис, казалось, просто не понимал, что происходит, его большой нос стал как будто еще длиннее. Он явно чувствовал себя неуверенно.

— Я отдам тебе двери,— сказал он.

— Ты оказываешь мне божескую милость,— сказал Оливер.

Он предоставил Маттису теряться в догадках и пошел домой.

И снова он сидел за столом, дремал или спал, иногда давал пинка кошке и наблюдал за безлюдной улицей. Дни тянулись бесконечно. Двери только что вернулись к нему и стояли в коридоре, они не были еще навешены, но стояли наготове. Маттис самолично принес их сюда на голове, сначала одну, потом другую. Столяр был подчеркнута немногословен, да и ничего удивительного. Оливер сказал:

— Ну и силища у тебя, Маттис!

Немного спустя в дом вернулась мать. Войдя, не поздоровалась, не протянула руки, впрочем, и неприязни не выказала.

— Ты получил обратно двери? — спросила она и отметила, что теперь в доме стало поуютнее.

— Где ты была? — спросил сын.

— Да так, побродила немножко.

— Вот видишь, — сказал Оливер, — даже если тебя нету, я все равно забочусь о доме. Вот раздобыл двери.

— Делай что хочешь, отдавай двери, забирай двери, мне все равно, — сказала мать и поджала губы.

— Выходит, тебе наплевать, что происходит у нас в доме! Тогда пусть сам черт достает тебе двери.

Оливер встал, взял костыль и заковылял прочь из дому. Повод рассердиться пришелся ему кстати. Он направился к горной пустоши, опять к новостройке. Пока его не было, мать устроила себе пир, оказалось, что под шалью она прятала разную снедь: вафли, кровяные клецки, копченую селедку, яйца, мясо и хлеб. Поев, она снова как следует упаковала все это и положила под матрац в ногах кровати.

Вернулся Оливер с каким-то человеком. Этот человек положил себе на голову и унес одну из дверей. Мать и сын не обменялись ни словом. Мужчина вернулся за другой дверью, унес и ее, путь его лежал к новостройке. Теперь Оливер решил, что, пожалуй, зашел слишком далеко, и, желая умиротворить мать, сказал:

— Когда сам покупаешь дверь, она стоит бешеные деньги, а когда ее же продаешь, на выручку даже не пообедаешь как следует.

— Уж не продал ли ты часом снова эти двери?

— А на что они мне?! — воскликнул Оливер. — И если на то пошло, ты тоже на них плевать хотела.

— Боже милосердный, и кого же это я родила на свет?— взорвалась она.

Оливер сначала было хотел тоже вскипеть и свалить всю вину на нее, он с излишней поспешностью сновал по комнате, стуча деревянной ногой. Однако решил быть умнее ее, поскольку он и вправду был умнее, и уступить.

— Вот что я выручил за эти двери,— сказал он и положил деньги на стол.— Забирай все.

Похоже, и на этот раз сумма не произвела на мать большого впечатления, она покосилась на деньги и слегка тряхнула головой.

Оливер спросил с досадой:

— Может быть, ты думаешь, что остальное я пропил? Я оставил немножко себе на дальнюю поездку.

— Что еще за дальняя поездка?

— Для дальней поездки мне нужно будет купить себе еды на дорогу.

— Погода как раз подходящая для дальней поездки,— сказала мать ехидно.

— Море успокаивается, ветер переменился. А вообще-то,— сказал он, по-прежнему уступая, потому что он умнее,— вообще-то не хочу я с тобой препираться.

— Вот как,— обиженно ответила мать.

— Да, не хочу. Потому что для тебя, что бы я ни сделал, все не слава богу.

Оливер готов был голову дать на отсечение, что в этом деле с дверьми именно он-то и остался внакладе.

IV

И вот наконец выдался погожий денек, за ним еще один, не иначе как ведро наконец установилось. Оливер пошел к Йоргену-Рыбаку и сказал:

— Теперь уж будь так добр, давай поменяемся лодками на завтра.

— А зачем?

— Завтра я собираюсь уплыть далеко, а моя лодка ненадежна. Как я погляжу, ты куришь эту самую трубку. Ну и какова она?

— Хороша, ничего не скажешь.

— Кури на здоровье, ведь она твоя.

Лидия хотела угостить его кофе, но у него теперь у самого завелись деньжата, он мог себе позволить отказать:

— Я выпил кофе дома как раз перед уходом. Так как же, Йорген, окажешь ты мне эту услугу?

У Йоргена не было выбора, он ответил:

— Да уж придется оказать. Но ты будь поосторожнее с лодкой.

И вот Оливер отправился в свою дальнюю поездку.

То, что после этого произошло, старые люди помнят по сей день, событие было нешуточное; нет, Оливер не утонул и не покалечился второй раз, наоборот, он вернулся, ведя на буксире корабль, потерпевший крушение, и потребовал причитающуюся за это награду. Заслуга принадлежала не ему одному: когда он нашел этот корабль, дрейфующий в открытом море за островами, словно вымерший, без команды, ему пришлось грести до ближайшего берега за подмогой; но Оливер первым обнаружил его и кроме того как опытный моряк руководил спасательными работами. По его указаниям откачали помпами воду, убрали рваные паруса и закрепили болтающиеся тросы, потом большая лодка взяла корабль на буксир, своих помощников Оливер посадил на весла, а сам сел на руль. Теперь никто бы не разглядел, что он калека.

Если бы еще Оливер мог доставить на сушу груз кофе! Но такое счастье ему не выпало, потерпевший корабль был гружен кирпичом, гружен, если можно так выразиться, балластом из камня, корабль был датский, видно, и шел-то в ближайший торговый город с этим строительным материалом, но недавний ужасающий шторм отнес его в открытое море. Старая посуда не представляла особой ценности, но все же это был корабль, находка и дар Божий, пусть разбитый, без шлюпок, без оснастки, вонючее корыто, но целый корабль, а не один остов. Очевидно, судно провело в море все время долгой бури, похоже, команда оставила его из-за голода, на борту почти не нашлось съестного.

Зрелище было редкостное, и люди не сводили любопытных глаз с блестящей как зеркало глади залива. Что это? Своего рода процессия: буксир, ведущий корабль, к корме которого привязана лодка. Мало-помалу чуть ли не весь город собрался на причале, пришел Йорген и узнал свою лодку, корабль был незнакомый, а на носу буксира стоял Оливер.

Да, Оливер, массивный и непреклонный, стоял на носу буксира и хоть и не перегибал палку, не употреблял особо крепких выражений, но все же время от времени отдавал

команды двум рыбакам, которых взял себе в помощь для спасения судна. Потом он крикнул собравшимся на берегу, чтобы кто-нибудь позвал консула. Йорген кротко прокричал ему свой вопрос: что, дескать, это за корабль, но ответа не получил, Оливеру было не до него. Олаус-С-Луговины, который как всегда шатался без дела по причалу и как всегда был невоздержан на язык, громко сказал:

— Он украл шхуну.

Оливер не на шутку рассердился, увидев, что по его зову пришел не сам консул, а, напротив того, всего лишь его сын, юный Шелдруп.

— Где твой отец? — спросил он.

— Отец-то? А что это за корабль?

— Сходи за отцом. Уж будь уверен, ему придется составить протокол и опечатать все на борту.

— Что это за корабль, я спрашиваю?

Оливер крикнул каким-то мальчишкам на причале, чтоб сходили за консулом, и только после этого повернулся к юному Шелдрупу и объяснил:

— Насколько я могу судить по разным признакам, это судно датское и иностранное.

Явился консул, К. А. Юнсен собственной персоной, толпа расступилась перед ним. Он шел несколько нерешительно, ведь он был не из тех, за кем может посылать первый встречный, но голова у него работала отлично и он скоро понял все, для этого ему понадобилось задать всего два-три вопроса.

— Я привел редкого гостя, — объявил Оливер.

Консул скользнул беглым взглядом своих карих глаз по судну, и оно не произвело на него впечатления, это был всего лишь парусник, не чета его собственной «Фии». Консул велел юному Шелдрупу принести письменные принадлежности, а потом поднялся на борт, записал показания и составил протокол.

Процедура заняла целый час, но народ ждал. Полгорода собралось на причале. Пришла Петра, пришел и адвокат Фредриксен. Он спросил:

— Кто же герой, кто привел в гавань потерпевший крушение корабль?

Юный Шелдруп позволил себе пошутить:

— Это Оливер, а что, вы собираетесь произнести речь?

Юный Шелдруп пошутил также и с Петрой, парень был из молодых да ранний.

— На мой взгляд, это настоящий моряцкий подвиг,— сказал Фредриксен.

Ну да, моряцкий подвиг, об Оливере написали в газете, и разговоров тоже было предостаточно. Сам Оливер не устраивал спектакль вокруг этого происшествия, конечно, ему приходилось объяснять сухопутным крысам разные детали, но он не важничал, не подражал городским шишкам, выставляя себя тем самым на посмешище. Разумеется, Оливер был чрезвычайно доволен выполненной им настоящей мужской работой, он сразу же пошел и сторговал себе новый костюм, он его заслужил; шелк и бархат были не для него, но уж за синий матросский костюм никто не мог его осудить. «Вы спрашиваете, как все это было?—говорил он сухопутным крысам.— Да вот в точности как если бы ты шел по бульвару и нашел золотое кольцо и поднял его». И тогда все смеялись, находя, что Оливер большой шутник: не так-то легко совершить моряцкий подвиг. Оливер был точно король, который снизошел к своему народу и был доступным и приветливым, о нет, он не смотрел с пренебрежением на тех, кто сидел себе дома, в то время как он спасал потерпевший крушение корабль.

Но уже через несколько дней ему пришлось приложить побольше усилий, чтобы поддержать угасающий интерес; к примеру, Йоргену-Рыбаку он сказал:

— Ты ведь знаешь, я поехал за плавником. А потом словно кто-то мне подсказал: гребь дальше, еще дальше. Не иначе как это было наитие свыше.

В ответ Йорген задумчиво кивнул: да, много чего скрыто в природе.

— Не буду преувеличивать: мне и в голову не приходило, что там, в море, я найду корабль. Просто когда я сидел и греб, что-то подсказывало мне: дальше, дальше в море! И еще вот какое дело: я, как ты знаешь, весь мир изездил, в море с четырнадцати лет. Я видел обратную сторону Земли, так что я, можно сказать, вроде уже и не здешний. Но теперь, видит Бог, я буду жить и умру в этом маленьком городке, тут уж никуда не денешься!

Сразу бросалось в глаза, как смягчился нрав Оливера. Случайная удача с потерпевшим крушение кораблем изменила его взгляд на жизнь, куда девалась его горечь, он стал кроток, терпелив. Не то чтобы он взял себя в руки и стал усерден и трудолюбив, нет, он валандался без дела в своем новом костюме, и брючина полоскалась вокруг

деревянной ноги, словно бы пустая, но он больше не проклинал свою беду. «По мне, так можешь покупать что хочешь»,— говорил он матери и был покладист донельзя. Однажды он повстречал старуху со скатертью, которая должна была разыгрываться в благотворительной лотерее. «Дай-ка посмотреть, очень красивая скатерть»,— сказал Оливер и вложил свою долю в дело милосердия, купив лотерейный билет. Не иначе как своего рода благодать снизошла на него.

Так продолжалось примерно с неделю, но не дольше. Консул Юнсен-С-Пристани дал Оливеру задаток в счет награды за спасение судна, но продать безо всяких судно и груз и выплатить всю сумму консул был не вправе. Уж не предполагал ли Оливер, что он сможет без конца получать деньги в виде задатка? Во всяком случае, он ожидал, что его звездный час продлится дольше, ему было так хорошо, то было благословенное время, Оливер каждый день с важным видом всходил на потерпевший крушение корабль и откачивал воду, он чуть ли не чувствовал себя его владельцем.

Но потом объявился экипаж корабля. Объявился он далеко на юге и теперь прибыл сюда, на север, шкипер и трое матросов, истинные владельцы парусника. Нет, о том, чтобы признать судно непригодным, не могло быть и речи, они тут же принялись его чинить. И раз уж они добрались аж до самой Норвегии, они не захотели везти свой кирпич обратно, продали его консулу, а парусник в обратный рейс загрузили досками. Потом рассчитались за все вместе взятое и отплыли.

Золотые деньки миновали, Оливер снова оказался на мели. Как же, в сущности, оно получилось? Конечно, награда за спасение судна никуда не делась, но Оливеру пришлось разделить ее с двумя другими, с теми самыми двумя рыбаками, так что на каждого пришлось не так уж много. «Но ведь должна же моя доля быть хотя бы больше, чем у других?»— спросил Оливер. Ну да, его доля и была больше, кроме того ему отдельно заплатили за то, что он откачивал воду. Но все это вместе как раз и равнялось задатку, и вот так-то оно и получилось.

Маленькая удача на время сделала Оливера счастливым, но теперь все миновало. С ним обошлись несправедливо. Что думает по этому поводу Йорген и что думает Мартин-С-Горной-Пустоши? Оливер решил вернуть к Маттису, чтобы узнать его мнение.

Маттис сегодня был странный, прямо загадка какая-то. Он не ответил на приветствие Оливера, не позаботился, чтобы калеке было на что сесть. Похоже было, что он сердится, да уж, если человек скрежетает зубами и переступает с ноги на ногу, трудно не понять, в каком он расположении духа.

Оливер был переполнен своим: как же его одурачили, в какую историю он влип!

— Взять хотя бы то, что ведь это я нашел парусник и привел его в гавань, и что же я за это получил! Не надо было мне брать от них ни скиллинга, и, как Бог свят, я еще швырну им эти деньги обратно!

— Прекрати свою дурацкую болтовню! — заорал вдруг столяр.

Оливер уставился на него: Маттис работал как одержимый, и руки у него дрожали от возбуждения. Нализался он, что ли? Коли он ищет ссоры — пожалуйста, за этим дело не станет. Оливер расправил свои могучие плечи.

— Отдай мне мои двери, — сказал Маттис.

— Вот как, — ответил Оливер. — Что ты сказал, я не понял? Двери?

— Отдай! — прошипел столяр. — Я заплатил тебе за них, они мои. Ты что, не разумеешь, о чем я говорю? Двери!

Оливер было потерял дар речи от такой несуразицы, но потом все же возразил вполне мирно:

— Ты же подарил мне двери. И правильно сделал, у нас ведь с тобой так много общего.

Маттис отшвырнул инструмент и выпрямился.

— Много общего? Я не хочу иметь с тобой ничего общего, ни даже самой крошечки. Ни даже той крошечки, что умещается под кончиком ногтя. Какой мне от этого прок? Нет, правду я когда-то говорил: если женщина из тех, у кого ноздри трепыхаются, то спасибочки, мне такой даром не надо. Ну а раз так, то нечего больше тебе сюда таскаться, а двери мои отдай!

Ну слышали ли вы подобную несуразицу! Оливер-то пришел тихо-мирно, искал сочувствия, а вместо этого получил от ворот поворот. Не иначе как тут замешана Петра, подумал Оливер. Он сказал:

— Если тебе пришлось претерпеть какую-то неподобающую и бессовестную проделку от женщины, то это случилось уже после того, как у нас с ней все счета были покончены. Я тут ни при чем.

Столяр снова принялся за дело, презрительно вскинул голову и чертыхнулся.

— Бери ее себе,—сказал он.—Это твоя работа,—добавил он, помолчав.

Оливер не понял ни слова, но поскольку его, можно сказать, выставили из мастерской, то он поднялся и, стуча костылем, заковылял к двери.

— Это просто неслыханно,—сказал столяр и зло рассмеялся.—Да за кого вы меня принимаете?

— О чем ты говоришь?—спросил Оливер.

— Да уж, это вы хитро придумали, вы вместе,—гнул свое столяр, в его смехе было все больше горечи.—Но Маттиса не проведешь! Уж это точно! Маттис вам показал большую фигу.

Оливер, держась за дверную ручку, немного подождал, не добавит ли столяр еще чего-нибудь; к своему удивлению, он увидел, что Маттис заплакал, сотрясаясь всем телом. Открывая дверь, Оливер услышал изменившийся до неузнаваемости голос столяра:

— Теперь бери ее себе! А я приду и заберу двери!

За все это долгое время Оливер привык, что калеку шадят, а здесь с ним обращались так, как будто и нет у него деревянной ноги. Поведение столяра оскорбило Оливера, и ему потребовалась вся его выдержка, но все же он презрительно фыркнул и сказал:

— Где на меня сядешь, там и слезешь. Подумаешь, напугал!

Столяр взял себя в руки, он сорвал с гвоздя свою куртку и сказал:

— Я прямо сейчас пойду с тобой и заберу двери.

Видя, что дело приняло столь серьезный оборот, Оливер снова присмирел, широко распахнул дверь и сделал быстрый шаг за порог.

— У меня их уже нету, дверей,—признался он.—Я продал их на Горную пустошь.

За спиной у него наступила тишина, столяр, видать, не находил слов. Ладно, пусть стоит, пусть торчит у себя в дверном проеме, лишившись дара речи!

Но Оливер не чувствовал себя в безопасности, он долго шатался по улицам, прежде чем решился вернуться домой, столяру ведь могло прийти в голову все равно явиться к нему, подумать только, так вести себя по отношению к калекке!

На улице ему встретила Петра, она взглянула на него и кивнула. Ну конечно, это, стало быть, связано

с Петрой, в чем бы там ни было дело, видать, она не захотела пойти за столяра, не захотела пойти за носатого Маттиса. А он-то разнюнился при всем честном народе вместо того, чтобы быть мужчиной! Оливеру пришло на ум, что самому ему надо, в самом деле, взять себя в руки и снова предпринять дальнюю поездку, в прошлый-то раз она была прервана таким удивительным образом. Но Йорген опять скорчит недовольную мину, когда Оливер попросит на денек его лодку... Странно все же ведут себя иногда люди. Ох как хочется Оливеру поехать в дальнюю поездку за цепь островов! Теперь-то, конечно, птичьих яиц он не найдет, сезон кончился, но плавнику наберет. Да и вообще мало ли что может с ним произойти. А вдруг удача только и ждет, чтобы он явился?

К концу дня Оливер снова увидел Петру на улице, и она опять кивнула. Просто удивительно, в последующие дни он все чаще и чаще сталкивался с нею, а ведь до того она не попадалась ему на глаза неделями и месяцами. Причем сам он ничего не делал для того, чтобы встретиться с Петрой, это была чистая случайность. Теперь он в большей степени, чем прежде, ощущал себя мужчиной: он спас потерпевший крушение корабль, и о нем написали в газете, он ходил в новом костюме и, здороваясь, приподнимал желтую соломенную шляпу; но он никоим образом не искал встреч с девушками, не стремился покрасоваться перед ними. Напротив, его мысли занимала лишь дальняя поездка в море.

Мало-помалу у него снова начались нелады с матерью, однажды дошло дело и до крупной ссоры, и мать спросила:

— Может, ты опять хочешь, чтобы я пошла в кассу для бедных?

— А на какие средства мне тебя содержать?! — заорал он в ответ.

— Был бы жив твой отец и слышал бы тебя, — сказала она и готова была заплакать.

— Вон как, отца вспомнила.

— Еще бы! Он был не из тех, кто пролеживает постель и бьет баклуши. Он трудился с утра до ночи, а в свободное время с ним было легко иметь дело и приятно поговорить.

Оливер презрительно фыркнул про себя. Это с отцом-то было легко и приятно? Так ей кажется теперь. Обычная история: стоит человеку умереть, обратиться с их глаз, как

женщины корчат плаксивую гримасу, ах, мол, какое сокровище мы потеряли. Оливер помнил, как, когда он был маленький, у отца с матерью дело частенько доходило до драки, и сражения бывали нешуточные, право слово.

— Вот ты ходишь и посвистываешь,— сказала мать,— и носишь пастушью шляпу набекрень, и ни о чем не беспокоишься. А я хочу знать, что, по-твоему, будет дальше.

— За себя самого я не боюсь,— ответил он.— Ни капельки. Теперь я снова собираюсь в морское путешествие. Впрочем, я подумываю о том, чтобы занять должность при каком-нибудь маяке.

На этот раз у него почти не нашлось припасов в дорожку, но Йорген свою лодку дал, и, взяв рыболовные снасти и кастрюлю, Оливер отправился в море. Он надеялся, что будет кормиться рыбой, которую поймает. Те три дня, что он отсутствовал, матери тоже не было дома, она отправилась неведомо куда, во всяком случае, когда Оливер вернулся, дом был пуст.

На этот раз поездка была не особенно удачной, похоже, Оливер даже не наловил рыбы себе на прокорм. Он сразу же поставил на плиту кастрюлю с картошкой.

Однако же он съездил не зря, он привез с собой добрый груз плавника, и кроме того горсть гагачьего пуха, надежно упрятанного под мышкой, не говоря уже о том, что он сполна насладился праздными и беззаботными днями и ночами в море. Поев картошки, Оливер был вполне доволен; он вернулся к лодке и сбыл большую часть плавника тем, кто не мелочился и не хотел торговаться с калекой. Так у него снова завелись скиллинги в кармане.

День проходил за днем.

Однажды вечером явилась Петра. Сначала ему показалось, что он обознался, на ней было новое серое пальто, да к тому же Петра и не могла прийти к нему, к своему бывшему жениху, которого она бросила.

— Вот это гостья так гостья!— сказал Оливер, чуть смутившись.

— Я просто решила заглянуть на минутку. Где твоя мать?

— Спроси что-нибудь полегче.

— Вон как. А кто же тебе стряпает?

— А кто мне может стряпать,— ответил он уклончиво. Твое-то какое дело, возможно, подумал он. Ну да, она сидит перед ним в красивом пальто, но он не виляет

хвостом перед ней.— Что там у тебя произошло с Маттисом? — нанес он ответный удар.

— С Маттисом? С чего ты взял?

— Он плакал по тебе,— сказал Оливер и презрительно расхохотался.

— Плакал? Ты шутишь. Никто по мне не плачет.

Он таки загнал ее в угол, и еще как, это было видно по ее лицу, и Оливер рассмеялся еще громче, отвечая ударом на удар, который нанесла ему Петра своим новым пальто.

— Ну почему ты такой,— сказала она, вставая.

— Ты права, меня это не касается,— сказал он, пусть знает, как далеки от него теперь она сама и ее дела.

— Я читала про тебя в газете,— сделала она новую попытку.

Петра, видно, ожидала благодарности за то, что она читала про него в газете, но нет, этим и не пахло. Что случилось с Оливером? Он на себя не похож, его будто подменили, совсем другой человек. Петра не знала, как к нему подступить, пробовала то так, то этак, в конце концов попросила дать ей на время ту газету. Она хочет ее перечитать.

Оказалось, что Оливер носит ту газету при себе, он вынул ее из кармана, аккуратно завернутую в бумагу, и сказал:

— Можешь взять с собой, но обязательно верни.

Через пару дней Петра снова вечером явилась к Оливеру, а было воскресенье, так что одета она была еще наряднее. Возможно, он ждал ее, он сделал кое-какие нехитрые приготовления: сначала протер пол и смел мусор с железного листа перед плитой, потом вынес невымытые чашки и лохань с помоями в пристройку. Оливеру помог также случай: он в самом деле недавно нашел в кармане своей старой безрукавки несколько мелких итальянских монет и теперь выставил блестящие монетки напоказ, разложив на столе. Потом уселся у стола и вроде бы задремал. Когда пришла Петра, он равнодушно потянулся и зевнул.

— Я пришла вернуть газету,— сказала она.

Она знала статью про Оливера наизусть и пересказала ее, дескать, вот послушай, что говорится в газете, такая прекрасная статья, с ее помощью он может смело отправляться в большой мир.

— На большой мир я уже досыта насмотрелся,— сказал он, но настроение у него поднялось.

— Да уж, что правда, то правда. Кто вымыл тебе пол?

Пусть не сует свой нос куда не просят! Она что, пришла сюда унижать его? Он ответил настороженно:

— Девушки.

— Что еще за девушки?

— А кто конкретно тебя интересует?— ответил он ударом на удар.

— Я могла бы помыть тебе пол,— сказала Петра. Она, кстати, не выглядела веселой и полной сил, скорее казалась не совсем здоровой, да, Бог свидетель, вид у нее был не блестящий.— Если бы ты захотел, я сварила бы тебе кофе,— предложила она смиренно.— Я на всякий случай захватила с собой кофе.

Это отнюдь не вызвало у него неудовольствия, но тем не менее...

— Нет, не стоит беспокоиться,— ответил он.

— Боже милостивый, да неужто я не могу сделать такую малость,— сказала она и тут же принялась варить кофе.

Он заметил, что она опиралась на стул, а раза два отвернулась и сплюнула.

— Почему ты в пальто, может, разденешься?— спросил он.

— Мне не жарко, пальто у меня тонкое, весеннее. Какие красивые монетки лежат у тебя на столе, что это за деньги?

— Я привез их из-за границы.

— И всюду-то ты побывал!— сказала она.

— А точнее— из Италии. Такая у них там монета, называется сольдо. Хочешь подарю?

— Нет, они тебе самому нужны.

Он собрал монетки и опустил ей в карман пальто.

Потом они поговорили об его матери, она-де наверняка скоро вернется, о последнем путешествии Оливера за цепочку островов, мол, рискованно уходить так далеко в море на обычной весельной лодчонке.

Он принес из пристройки чашки, и она вымыла их, она налила ему кофе, сама, по ее словам, только что попила, и ей пока не хочется. Она села на стул, на лице у нее выступили капельки пота.

Оливер, напротив, почувствовал себя теперь хорошо и уютно, он даже стал поддразнивать Петру столяром, совершенно беззлобно, он ничего не имел ни против него, ни против нее.

— Так что же все-таки произошло у тебя с Маттисом?

— Что за чепуху ты несешь! У меня? С Маттисом?

— Разве ты не собираешься за него замуж?

За Маттиса! Петра всплеснула руками. Она отрекалась от Маттиса, утверждала, что не знает с ним, мало того, насмеялась над его длинным носом.

— Ну ты меня и удивила!—сказал Оливер, и ему вовсе не было неприятно слышать ее заверения.— А я-то понял так, будто ты за него выходишь.

Петра опустила глаза в подол пальто и тихо проговорила:

— На свете есть только один мужчина, за которого я бы пошла.

Оливер впал в задумчивость и вдруг спросил:

— Ты все еще в услужении у Юнсенов? Что собой представляет этот Шелдруп?

— Шелдруп? Что он собой представляет?

— Я спрашиваю просто так. Когда я привел потерпевший крушение корабль и потребовал, чтобы составили протокол, он вел себя точно малый ребенок.

— Вон как.— Петра подлила ему кофе и снова села. Потом проговорила:— Послушай, Оливер, а как ты смотришь на то, чтобы...

— Чтобы что?

Молчание.

— Сама не знаю,—сказала она, и покачала головой, и какое-то время сидела, перебирая в пальцах итальянские монетки.— Но ты не думаешь, что между нами все может быть как прежде?

Вопрос не произвел особого впечатления на Оливера, возможно, он его ожидал, у него были свои соображения.

— Почему вдруг тебе пришло это на ум?

— Я думала об этом все время.

— Я теперь никому не нужен.

— Не говори так. Ты можешь получить какую-нибудь работу у консула.

— У консула!—презрительно фыркнул Оливер.— Что нет, то нет, но я подумывал о том, чтобы устроиться смотрителем на маяк.

— Тоже неплохо. Уж что-нибудь да найдется.

Молчание.

— Об этом и думать нечего,—сказал он.— Муж—инвалид, и в доме шаром покати. Я мог бы достать пару дверей для пристройки, но и тут оплошал.

Она услышала по его голосу, что это все же не исключено, и не стала торопить события, лишь слегка намекнула, что у нее самой дома есть парочка дверей. И она показала ему, что до сих пор носит его кольцо: дескать, видишь, все в точности как прежде. Когда она заговорила о кольце, нельзя было не заметить, что Оливер вылупил на нее глаза и даже слегка разинул рот, пожалуй, он еще и немного смутился; если он и мог сейчас что-то сказать, так разве лишь дерзость:

— Ха-ха, но ведь на нем теперь небось другое имя?

— Нет, мне его соскребли. Хочешь посмотреть?

Петра во многих отношениях была просто черт в юбке, уж такая проворная и смекалистая! Но тут она, пожалуй,хватила через край.

— Разве ты не вернешь ему кольцо?

— Кольцо? Еще чего!

Оливер разразился громким деланным смехом, чтобы помочь и ей, и себе сохранить лицо.

— Вернуть кольцо?— сказала Петра.— Да ты только попробуй, какое оно тяжелое. Ведь правда, это чистое золото?

Оливер оскорбился:

— Что ты мелешь?! Ты думаешь, я купил тебе за границей кольцо из желтой меди? Оно из настоящего червонного золота.

— Я так и знала. Никогда я не сниму его с руки.

Но так легко дело тоже не могло сладиться. Пусть Петра не воображает, что стоило ей только захотеть— и она снова стала его невестой, разве не надо им подумать, да ведь он сам первый порвал с Петрой, к тому же будет только справедливо сыграть шутку с человеком, который позволил себе плохо обращаться с калеккой. Но как бы там ни было, многое следует взвесить.

— Что же это я сижу!— всполошилась Петра и побежала опять за кофейником.— Не заметила, что у тебя чашка пустая.

И Оливер предоставил ей наполнить свою чашку, кофе был хороший, крепкий; да и вообще Петра принесла с собой благословенный уют, наливая, она опиралась о его плечо.

— Там, где я взяла этот кофе, осталось еще много,— сказала она и присела к нему на колени.— Ты еще можешь выдержать мою тяжесть?

— Еще как могу,— сказал он, как и подобает настоящему мужчине.— Что я мог раньше, то могу и сейчас.

— Ну вот видишь! Значит, у нас все будет хорошо.— Она прильнула к нему, прижалась своим пальто и всем телом, и поцеловала его, и напористо заыла: — Ну скажи, Оливер, ты женишься на мне?

Ну что ж, теперь все было ясно, но даже и так, если взвесить все «за» и «против», то, пожалуй, не такая уж это была зряшная затея. Ведь видно же, как она этого хочет, как сильно она этого хочет!

— Гм-м,— начал он.— Вот сижу я и думаю про это, и мне сдается,— тут он замолчал и какое-то мгновение держал паузу в мертвой тишине,— мне сдается, что дело, пожалуй, может сладиться.

— Да,— выдохнула она.

— Раз уж ты так хочешь.

— Да,— выдохнула она.

V

И вновь один день сменяется другим, хуже, чем прежде, отнюдь не стало, наоборот, стало лучше; когда Петра переехала к Оливеру, она кое-что принесла с собой в дом, а Оливер рыбачил с бóльшим усердием, чем раньше. Приключения по-прежнему манили его, в погожие дни он уплывал на своей собственной утлой лодчонке далеко в море и пропадал там целые сутки. В этом отношении он был чудаковат.

О нет, хуже отнюдь не стало, и когда нужда не держала за горло, Оливер был доволен. Как, например, сейчас, когда мать вернулась из своей экскурсии, она явилась тоже не с пустыми руками, а с мешком за спиной, где была всякая снедь и одежда. Еще совсем недавно такой мешок стал бы предметом доброй ссоры, теперь же их было в доме трое, они поделили все по справедливости, хотя бы от стыда, если уж не по какой другой причине. Оливер в роли жениха был безупречен.

Однажды пришла старая женщина, Оливер узнал ее и был готов снова купить лотерейный билет, но оказалось, что все как раз наоборот, он выиграл, женщина принесла ему скатерть.

— Гляди-ка,— сказал Оливер с улыбкой,— Господь не забыл меня.

У них теперь была скатерть, а Петра и вправду раздобыла двери для новой горницы и каморки, в доме был какой-никакой уют. В прежние годы Оливер,

возвращаясь из плаванья, дарил любимой девушке разные подарки, эти безделушки теперь благополучно перекочевали сюда вместе с ней, и вот они все выстроились у нее на комод, начиная от фаянсовой собаки и зеркала и кончая белым ангелом и подносом, инкрустированным разными породами дерева.

После венчания Оливер дал себе несколько дней отдыха и благоденствовал, доедая остатки праздничного угощения, а потом мать опять взялась за старое и напомнила ему, что, мол, хватит отлынивать, пора ловить рыбу. Ну что ж, он так и сделал. Он сказал, что вообще-то и сам собирался идти в море, он знает, в чем состоит его долг. Воистину, жизнь была не так плоха, как о ней говорят, Оливеру не на что было жаловаться, он был женатый человек и всякое такое, все в его жизни было решено, никакой тебе зыбкости, никаких сомнений. Хорошо, что когда-то он не пустил жильцов в пристройку, теперь она понадобилась ему самому.

Вот только Маттис однажды появился перед домом и прислал к Оливеру мальчика передать, что, дескать, надо бы им потолковать. Но Оливер считал, что между ним и этим человеком все сказано, говорить решительно не о чем.

— Чего он от меня хочет? Скажи ему, пусть больше никогда сюда не приходит.

Из дома было видно, как столяр с важным видом прохаживался перед окном, можно было подумать, что ему не впервой выступать против Наполеона.

— С такого ненормального станется наброситься с кулаками на калеку,— сказал наконец Оливер.— Пусть говорят с ним те, кто с ним не поладил,— добавил он, ни к кому не обращаясь.

Тогда Петра пригладила волосы, приняла вид неотразимой красавицы и вышла на улицу.

Оставшимся в доме было видно, как столяр вздрогнул. Куда девалась вся его мужественная повадка! Двое на улице спрашивали и отвечали, никак не могли прийти к согласию; если они говорят про двери, то пожалуйста, но скорее они наоборот говорят про кольцо. Оливер прячется в комнате, и только нос высунул, наблюдает за этой сценой. Столяр входит в раж, он набирается храбрости и смотрит Петре прямо в глаза, он начинает расхаживать вокруг нее, продолжая говорить, он описывает полный круг. А Петра — хотя на лице у нее некстати высыпали прыщи и выглядит она не лучшим образом, все же она

успокаивает возмущенного столяра тихими грустными речами. Ну вот, она даже улыбается, мило и завлекательно. В конце концов Маттис угрюмо опускает взгляд. Уставился в землю, не поднимает глаз и тогда, когда берет протянутую Петрой руку, какое-то время держит ее в своей; потом он уходит. Маттис, стало быть, уходит. Оливер сидит у себя в горнице и чуть ли не жалеет его.

А больше никаких огорчений за последнее время не было.

Ой ли?

Ну да, время шло и приносило с собой всякое, осенью непогода мешала выходить в море, Петра сидела дома с ребенком, с мальчиком, который у нее родился, старая мать сложила с себя всякую заботу о семье, больше она не отправлялась в путешествие, чтобы вернуться домой с мешком.

Несмотря на все это, Оливер не терпел нужды, он и его кот были довольны жизнью. Ох уж этот старый кот, ни на что он больше не был годен, только и умел, что полеживать себе в горнице и есть рыбу. От рыбы у него так раздуло живот, что женщин в конце концов взяло сомнение, а точно ли он кот, а не кошка. И в точности так же сам Оливер посиживал, уютно устроившись, в горнице, качал ребенка и наблюдал за тем, что происходит на улице. Руки у него стали меньше и белее, да и лицом он сделался благообразен. Он досадовал, что не имеет возможности купить себе на зиму меховую шапку: не может же он зимой выходить в море в соломенной шляпе.

— Ты что, не можешь завести себе зюйдвестку? — спросила мать.

— Сама заводи себе зюйдвестку, — огрызнулся он. — А я заведу себе шапку из выдры. — Он был тщеславен.

Голубой галстук, в свое время великолепный, теперь, увы, потерял первоначальный цвет, но, пожалуй, дело было поправимо: галстук можно перекрасить, или Петра может его перелицевать. Оказалось, однако, что изнанка также поблекла. Тогда Оливер сказал с кислой миной:

— Сдается мне, ты как-то упомянула, что я мог бы получить заработок у Юнсена-С-Пристани, ну так что, это точно?

Бедная Петра подтвердила: да, она поговорит с консулом.

— Почему ты всегда называешь его консулом? — спросил Оливер раздраженно.

— Так мы его называли, когда я служила у них в доме.

— Но ведь теперь у нас консулов как собак нерезанных, — сказал Оливер, — и Хейберг консул, и Бакалейщик-Ольсен тоже консул. Нет, право слово, это ты зря.

Он верно подметил, консулов стало много, а уж о всяких там вице-консулах и консульских агентах и говорить не приходится, много стало тех, кто дрались за жирный кусок, приморский городок так и кишел ими. Не всегда дело обходилось без борьбы и зависти, втайне строились козни, один коммерсант старался не допустить, чтобы другой процветал за его спиной. Юнсен-С-Пристани дожил до того, что многие стали ему ровней, а уж что пришлось пережить фру Юнсен, это одному Богу известно.

Должно быть, Петра пришла к К. А. Юнсену в особенно недобрый час, у него не оказалось работы для ее мужа. А может быть, ей больше повезло бы, будь она прежним лакомым кусочком? Бедняжка Петра, лицо у нее было землистое и осунувшееся, и консул без обиняков сказал ей, дескать, нет, в самом деле, Петра, ты уж меня извини. Дескать, пусть попытает счастья у кого-нибудь из этих новоиспеченных консулов, чем бишь они там все торгуют. Разве не может ее муж стоять за прилавком и взвешивать крупу у Ольсена? Но, само собой, она поступила правильно, что начала с него, К. А. Юнсена, со временем он постарается куда-нибудь пристроить Оливера, но сейчас — нет. Не вешай нос, Петра, не тебе одной трудно приходится, времена нынче тяжелые, от парохода «Фиа» прибыль тоже все еще невелика. А почему Оливер не рыбачит?

Консул смотрел на Петру добрыми карими глазами, и отказал он не без сочувствия, но тем не менее она ушла ни с чем.

Ну и что теперь? А что же еще, кроме рыбной ловли. Оливер снова взял себя в руки и стал промышлять, как настоящий мужчина, каждый день, с раннего утра до позднего вечера. Он им всем докажет! И никогда он не предлагал свою рыбу Юнсену-С-Пристани, наоборот, демонстративно проходил мимо его особняка. Позднее, когда Оливер стал ловить больше рыбы, чем был в силах унести, он приспособил несколько пустых ящиков и устроил на причале нечто вроде рыбного базарчика, такого

тут сроду не видывали. А сам стоял за прилавком, как зажиточный крестьянин на рынке. Несколько дней горожане не желали тащиться за рыбой так далеко, но поскольку рыба всегда была нужна, пришлось им смириться да еще и благодарить. Глаза у Оливера стали теперь тусклые, он начал понемногу заплывать жиром и выглядел вроде бы и глуповатым, но не всегда, о нет, если речь шла о какой-нибудь уловке, какой-нибудь хитрости, ума у него хватало. Вот так он и стоял теперь за своим прилавком, он не расхваливал и не предлагал товар, никогда не сбавлял цену и продавал рыбу неслыханно дорого. Хотите — берите, а нет — так нет. Оливер знал, что всегда может продать рыбу на рейсовые пароходы; знал он, впрочем, и то, что порядочные люди не станут мелочиться, рассчитываясь с калеккой.

Всю эту осень Оливер с домочадцами жили лучше чем когда-либо, и женщины высоко ценили своего кормильца, ему доставался лучший кусок, кормильцу — патока к вечерней каше, кормильцу — вафли к воскресному завтраку. И это было только справедливо. Он сумел преодолеть пренебрежение общества, он заплатил какую-то часть старых долгов в лавки и изыскал средства на то, чтобы покрасить две двери в пристройке, он вырос в глазах собратьев-рыбаков, Йоргена и Мартина. Они все эти годы безропотно таскались по городу, разнося рыбу заказчикам, а Оливер научил их преспокойно стоять за своим прилавком на причале, так же как он, да еще продавать рыбу дороже. Они благодарили его за выдумку. «Все дело в том, что я таки изрядно пошатался по белу свету», — отвечал Оливер.

Взросшее уважение со стороны близких и дальних в свою очередь влияло на него благотворно. Возвращаясь домой после дневных трудов, он еще на улице, проходя мимо окна, слышал, как в доме поднималась суматоха, и Петра говорила малышу: «Папа идет». Можно только диву даваться, до чего согревали душу Оливера эти хитро придуманные слова, и он даже утверждал, что младенец в люльке понимает их. Впрочем, возможно, младенец и вправду их понимал: слова эти повторялись ежедневно в определенное время, и за ними всегда следовал скрип двери, холодное дуновение воздуха, и лицо мужчины, склонившегося над люлькой. Через несколько месяцев, когда мальчонка стал постарше и сидел и играл один, не было уже никаких сомнений в том, что он вполне осмысленно воспринимает все происходящее вокруг; вы только

посмотрите на этого вундеркинда, на этого проказника: стоит матери расстегнуть пуговицы, обнажая грудь, как он начинает причмокивать, а когда она говорит: «Папа идет», его карие глазенки устремляются на дверь.

Ох и носился же Оливер с малышом! Когда ребенок тянулся, просясь к папе на руки, калека был просто вне себя от восторга. Эта кроха — видали вы что-нибудь подобное?! — это ничто, этот негодник, хе-хе, замечательный парень, убей меня Бог! А когда младенец начинал плакать, не желая отпустить папу из дома, тут уж дело было плохо, папа не мог этого вынести, он сам готов был заплакать и потому кричал на Петру: «Дай ему грудь, я кому сказал!» После чего Оливер, подпрыгивая на своей деревянной ноге, поспешно выходил из дома.

Нередко он препирался с женой и матерью о том, что понимает и чего не понимает малыш, с пеной у рта доказывал, как умен ребенок, занимался с ним, показывая картинки и буквы, давал ему поиграть всем, что было в доме. Оба они были малыми детьми, глупыми и милыми. «Да ты совсем рехнулся, — кричали жена и мать, — зачем ты дал ребенку кофейник?» — «Надо же ему по чему-то колотить», — отвечал Оливер. Он давал мальчику поиграть безделушками с комода, а когда ребенок швырнул на пол зеркало, Оливер взял вину на себя и сказал, что это он его нечаянно уронил.

Благословенные деньки! А Петра снова похорошела, и ей хотелось хоть ненадолго выйти развлечься по воскресеньям. Пожалуйста, иди, Оливер ничего не имеет против, пусть и бабушка уходит, он просто не понимает, зачем здоровым и не стесненным в движениях людям сидеть в четырех стенах. Сам он оставался дома и, пока ребенок спал, тоже дремал у стола. Видел ли он сны? Проплывали ли воспоминания о прежних днях через его осовевший мозг? У Оливера были все основания поразмыслить о своей ужасной судьбе, но, возможно, от нее-то он уже и отупел.

Потом, как стемнеет, домой возвращается Петра, и давно пора, младенец уже визжит как поросенок. Вот ведь какая незадача: Оливер учил его читать, но посреди занятий малыш вдруг заорал благим матом, и отец стал с силой качать его, люлька так и ходила вверх-вниз, прямо дух захватывало, а папа любовно уговаривал сына: ну ладно, ладно, все образуется, не падай духом, ты научишься, не будь я Оливер Андерсен. Но младенец-то

кричал, потому что был голоден, а не по какой другой причине.

И хорошо бы хоть сейчас Петра выказала смирение и раскаяние в том, что так пренебрегла своим долгом, но этого нет и в помине. Видно, для нее был слишком резок переход от полноты жизни за стенами дома к обычным будням с плачущим ребенком. Такая молодая, и уже повязана по рукам и ногам! «Да замолчи ты, здесь я, здесь»,— сказала она младенцу. Но она и тут не спешила, сначала сняла выходной наряд, смотрясь при этом в зеркало, в общем, вела себя отвратительно, и Оливеру нужно было адское терпение, чтобы не врезать ей костылем.

Понаблюдав за ней какое-то время, он в ярости орет:

— Почему, чертова кукла, ты не берешь ребенка?

— Вот, беру.

— Да, после того как он накричался до посинения.

— Пусть покричит. От этого не умирают.

Ну конечно же, Оливеру следовало бы пустить в ход костыль. От этого не умирают? Упрямая ослица! Может, и не умирают, но голодного ребенка надо кормить. Теперь она сама видит: стоило дать ребенку то, что ему причитается, и он сразу замолчал.

— Возьмись же за ум,— сказал Оливер тоном вершителя справедливости.

Но Петра только презрительно вскинула голову. Петра взроптала? Что это с ней? Разве она не понимает своего положения? Она уже не девушка, напротив, замужняя женщина, ее жизнь кончена, пора оставить всякие надежды. Бедняжка Петра, попав в переплет, она не могла взять свою настоящую цену, и какой же крест ей пришлось на себя взвалить! Она не в силах его нести, не может нести его как подобает, ведь другие женщины тоже не несут такого креста, черта с два они несут крест. У консула ее ценили, ей дважды повышали жалованье, а Шелдруп был в нее влюблен и, наверно, влюблен до сих пор. А теперь она сидит в этой яме!

— Иногда ты точно совсем забываешь о ребенке,— продолжал Оливер тоном судьи.

— Я не забываю о нем ни днем, ни ночью. Может, мне его тащить с собой на спине, когда я выхожу развлечься?

Петра насмешливо фыркнула. Оливер приглядывался к ней все внимательнее, и теперь, когда она обдала его своим дыханием, он понял наконец, в чем дело: она не

просто гуляла, она заходила куда-то, где ей поднесли стаканчик. Нет, это просто неслыханно, вот, значит, откуда вся ее смелость и красноречие.

— Где ты была?— спросил он.

— Да нигде особенно.

— Во всяком случае ты была в таком месте, где тебе дали выпить.

— Ты заметил? Правильно, я была у консула. У них были гости, и я немного помогла прислуге. Это хозяйка меня угостила вином.

Петра вообще-то непьющая, и ее объяснение вполне удовлетворительно, если только она говорит правду. Но говорит ли она правду? Петра не чуралась лжи во спасение, обмана, совсем наоборот, и, не будучи слишком изобретательной, восполняла это женской привлекательностью и бесстыдством, что обеспечивало ей успех. Верит Оливер, что она была у консула, или нет, какая, в сущности, разница? Смотрите, вот она сидит и кормит ребенка грудью, глуповатая, но зато красивая и молодая, пусть даже вздорная, пусть легкомысленная, ну и что с того? Да, она, конечно, не идеал, самая обыкновенная серая баба, может, даже и потаскуха, ловко заматающая следы, но у нее есть свои хорошие стороны, такие, например, как жаркая плоть и удивительная женственность. Она пришла домой, и теперь-то она здесь, в доме, она принадлежит Оливеру, она кормилица, она истекает молоком, он видит ее соски.

Но она выпила, и возможно на голодный желудок, так что хмель после одной рюмки ударил ей в голову и она осмелела. Повела себя непристойно, ей стало на все наплевать. Вы только послушайте, как она бранит ребенка, бранит маленького Франка, будто не знает, что для Оливера это нож острый. Между ними начинается перепалка. Петра не лезет за словом в карман, ее не стесняет даже то, что бабка в это время пришла домой и слышит их спор. «Это еще что такое?» — подумала бабка. На сей раз они, кажется, ругаются всерьез. Она слышит, как молодая женщина бросила мужу:

— Уж ты-то помолчал бы, тебе похвалиться нечем.

— Что-что?

— А то самое. Постыдился бы.

— Уж какой есть такой есть, весь на виду. Все мое при мне.

— Хорошо бы хоть так, да ведь нет этого.

Бабка ничего не понимает, но тем не менее удивляется, почему ее сын в ответ не разбушевался, не сделал чего-нибудь ужасного. Продолжает сидеть как сидел. Петра сказала какую-то странную вещь, интересно, на что она намекает? А Оливер промолчал.

— Что тут у вас стряслось? — спрашивает бабка.

Никто ей не ответил.

Оливер задает неожиданный вопрос, и тон его не предвещает добра:

— Почему ты пришла и сказала, что хочешь выйти за меня? Вот чего я не понимаю.

На это Петра отвечает:

— Ты тогда прекрасно все понял.

— Что я понял?

Молчание.

Бабка рассказывает по комнате, она тоже сняла выходное платье, повесила его в шкаф, но при этом с жадностью ловит каждое слово. Что знает Петра о своем муже такого, чего не видно другим? Что за тайный изъян? Может, он сидел в тюрьме, или ему предстоит туда попасть? Теперь бабка припомнила, что Петра уже давно подкалывает мужа, полушутя, но и с презрением, она, бывало, смеется и делает какие-то непристойные намеки: дескать, он и его кот — два сапога пара, оба только и могут, что рыбу жрать.

Теперь в комнате тихо. Ребенок спит, и взрослые тоже утомонились.

— Ну расскажите, что слышно в городе? — спрашивает Оливер.

Поскольку Петра молчит, отвечает мать.

— Я-то ничего особенного не слышала. Вот только про новую среднюю школу, будто бы ее собираются у нас построить.

— Вон оно как, здесь будет средняя школа?

— Так говорят. И для нее собираются построить огромный каменный дом.

Но ведь Оливер-то хотел втянуть в разговор не мать, а жену, и теперь он обращается к ней с прямым вопросом:

— А кто был у них в гостях?

— У кого?

Вот как, она забыла. Значит, это, скорее всего, выдумки. Ничего, завтра он выяснит.

— А, у консула? Все наши важные господа.

— С женами?

— Нет. Или да, с женами, не знаю.

— Значит, ты им не прислуживала?

— И что ты все выпрашиваешь? — смеется она. — Может, ты мне не веришь? — Но, похоже, она говорит немножко неуверенно, а смех у нее деланный. Оба они, стремясь сохранить равновесие, балансируют на лезвии ножа. И вдруг она переходит в наступление, она гладит его по голове и шутит: — Надо было тебе жениться на той медсестре в Италии. Уж она бы сделала из тебя мужчину.

И Оливер отвечает то ли в шутку, то ли всерьез: он, дескать, и вправду жалеет, что не женился на той медсестре.

VI

Зима проходила, день за днем.

Но, само собой, Оливера хватило ненадолго, его усердие в работе было показным, вскоре ему надоело возиться с рыбой. Он подавал дело так, что виной всему ребенок.

Мало-помалу у него вошло в обычай, вернувшись домой с рыбного базара, демонстративно осматривать ребенка, он прислушивался, словно желая удостовериться, что младенец еще дышит. И задавал оскорбительные вопросы: «Тебя, небось, не покормили, Франк, верно, запомнили?» Вначале жена и мать смеялись, сочтя это шуткой, но Оливер серьезно объявил, что он и вправду опасается. Потом он откровенно стал использовать ребенка как предлог, когда ему не хотелось ехать рыбачить, дескать, очень уж душераздирающе кричит ребенок, когда отец делает попытку уйти.

Свое место на причале он уступил Йоргену-Рыбаку, вернее, он сам предложил его Йоргену:

— Это лучшее место, и пусть оно достанется тебе. Ты же знаешь, мы с тобой друзья, Йорген!

А разве сам Оливер больше не собирается рыбачить?

На продажу — нет, теперь он будет ловить рыбу только для себя. Во всяком случае, зимой Йорген может торговать здесь, к весне, возможно, место понадобится самому Оливеру. И чтобы Йоргену было понятнее, Оливер объяснил: просто нет мочи уходить от маленького Франка, что ни делай, но ребенок хочет постоянно быть только с отцом. Кто мог ждать такого от мальчика, пусть Йорген объяснит, если сумеет, почему ребенок

отдает предпочтение папе перед мамой и всеми остальными.

Наверно, это заложено в ребенке от природы?

Аккурат это самое Оливер и сам думал: отец, собственно, и есть родитель ребенка, и тот крепко-накрепко связан с ним; мать же всего лишь земля, куда было брошено семя. Ведь правда же, это совершенно ясно? Как то, что трава растет, и шхуна плывет по воде, и звезды зажигаются на небе, все это понятно. Но есть еще и другая вещь, и уж ее-то не объяснит никто на свете, а именно, что вот Франк — совсем маленький ребенок, вот такусенький, — а разум у него такой же, как у взрослого человека.

Пустая болтовня, типичные философствования матроса в кубрике. Все равно что женская беседа за вязаньем. Йоргену, в отличие от Оливера не любившему разглагольствовать, пришлось прибегнуть к своему обычному объяснению: дескать, в природе есть много такого, что скрыто от наших глаз.

Город относился ко всему этому по-другому, город, как и следовало ожидать, считал, что такого лентяя, как Оливер, следует посадить на хлеб и на воду. Да где это видано, сидеть дома и не работать из-за того, что малый ребенок не хочет тебя отпускать?

Но в природе есть много такого, что скрыто от наших глаз, и в том числе в природе Оливера. На этот раз, стало быть, он подвел под спад своего трудолюбия вот такое своеобычное основание. Разумеется, он лентяй, но, возможно, для лени у него были свои причины.

Однажды утром Оливер обратил внимание на то, что, когда Петра варила кофе, лоб у нее покрылся испариной.

— Ты нездорова? — спрашивает он.

— Да, — отвечает она.

Ну ладно, Бог с ней, Оливер съедает свой завтрак, выходит ловить рыбу и возвращается во второй половине дня. Петра ведет себя странно, Оливер наблюдает, как она осторожно жует, словно у нее болят зубы, от кофе она отказывается наотрез, сплевывает в укромных уголках.

— Ну как ты себя чувствуешь? — спрашивает он.

— Плохо, я же тебе сказала, — раздраженно отвечает она.

И тогда он на особый манер, подчеркнуто, смотрит на нее, оглядывает ее с головы до ног, отнюдь не

исподтишка, наоборот, прямо и открыто, он хочет, чтобы она это заметила. После этого он опускает глаза долу и вздыхает.

Петра не слепая, она замечает его маневр.

— Хочешь еще кофе?— спрашивает она и наливает ему кофе.

Оливер не отвечает, он прикидывается погруженным в свои мысли, ничего не видит, ничего не слышит. Возможно, его вздох вызвал у Петры сострадание. Во всяком случае, она притихла и хлопчет по хозяйству в горнице.

— Да пей же кофе, пока не остыл,— говорит она.

Оливер возвращается к действительности, возвращается издалека, из страны, где растут апельсины, или, может быть, из подземного царства. Он встает. Теперь могла бы разыгаться торжественная и суровая сцена, но так сложилось, что все испортила пустячная случайность.

— Ну что ж, Франк, я пойду,— обращается Оливер к спящему ребенку. До сих пор все шло хорошо. Но теперь Оливер начинает шарить у себя за поясом, проводит рукой по бедрам, но ничего не находит.— А вечером я опять приду к тебе, Франк,— говорит он.

Оливер роется на полке, открывает ящик комода, но не находит того, что ищет. А потом наконец обнаруживает это в люльке— широкий нож в чехле: этим огромным ножом, этим мечом он разделывает рыбу на причале. Вчера вечером он дал нож ребенку поиграть и забыл об этом. Тут уж ничего не поделаешь: Петра сперва всплеснула руками, потом расхохоталась. Вздох пропал даром, Оливер потерпел полное поражение и поплелся на работу, как побитая собака.

Но из-за чего устроил он весь этот спектакль? Не на пустом ли месте? Что удивительного, если замужняя женщина чувствует недомогание и ее мутит от кофе? Но Господь не вразумил Оливера, ему казалось, что он не может через это переступить, жизнь стала для него тягостна и безысходна. У него опустились руки. Не то чтобы с этого дня он ставил свое безделье кому-то в вину или жаловался посторонним, нет, этого он не делал, он использовал как предлог ребенка. Но причина лениться у него была.

Так прошла зима.

И так прошла не одна зима— в праздности и домашних сваргах, в скудости, в старом тряпье, во мраке.

По весне Оливеру обычно удавалось встряхнуться, он всецело отдавался рыбной ловле и выезжал в море до самой осени, так что семья снова жила получше. Оливер расплачивался с лавочниками за маргарин и муку, которые за зиму были взяты в долг, вот и получалось, что они сводили концы с концами. В общем, как-то перебивались. Уважение, которое Оливер когда-то заработал, было утрачено, его уделом стало пренебрежение и презрение окружающих, что он, возможно, и заслужил, это одному Богу известно.

Когда у Франка появился маленький братишка, кареглазый бельчонок, что лежал теперь в люльке, отец принял это как должное, не пришел в отчаяние, он хорошо обращался с обоими, но Франк, первенец, был и остался папиным любимцем, а вторым, Абелем, Оливер не занимался. Даже мать предпочитала Франка, возможно, потому, что он был опрятнее одет: по мере того, как Франк вырастал из своих одежек, брату доставались обноски, Абель из года в год бегал в драных штанишках. Не то чтобы это уязвляло его самолюбие, напротив, он то и дело находил что-нибудь в карманах доставшихся ему обносков, то перочинный ножик, то свистульку, то огрызок карандаша, пуговицы, рыболовные крючки, гвозди, и эти вещи он тут же обменивал на другие, которые затем осмотрительно сбывал с рук. Это был один из способов Абеля приобретать земные блага. У него, впрочем, были и другие способы, он постоянно водил компанию с сыном Йоргена-Рыбака, с Эдевартом, который был постарше и мог его многому научить, эта парочка добывала себе скиллинги, выполняя разные поручения, оказывая услуги, а то и за счет какой-нибудь удачной «находки». Однажды они правда нашли кофе на складе у Бакалейщика-Ольсена, так сложилось, что они просто не могли его не найти. Кофе стоял прямо на полу, его, наверно, кто-то здесь забыл, целый мешок, только что початый, мальчишки решили, что стоять он должен недешево. В сущности, карманы тут не годились, но, с другой стороны, никогда еще их карманы не использовались с таким толком. На обратном пути Эдеварт засомневался, стоит ли ему идти домой с его долей товара, но уж Абель со своей прямиком направился в родную горницу. Мать взяла кофе, она также пообещала дать сыну денег за него, но, впрочем, запретила ему впредь находить кофе. Когда на следующий день Абель снова явился на склад, захватив подходящую тару, он услышал от приятеля ужасную

историю: как оказалось, Эдеварта сначала заставили прокрасться на склад и высыпать кофе обратно, а когда он вернулся, его выпороли. Эдеварт теперь задавался вопросом, а нужны ли ему такие родители.

Этот кофе, который мог бы стать постоянным источником благоденствия, принес неприятности также и Абелью. Мать не сдержала обещания, ничего ему не дала. Он подъезжал к ней и так, и этак, но все без толку. Тогда он пошел к Оливеру, пошел к папе и заплакал.

— Уж коли пообещала, надо выполнять,—сказал Оливер тоном вершителя справедливости.

— Вот как,—возразила Петра,—значит, я должна платить ему за краденый кофе? Чему ты его учишь!

Но папе польстило, что сын обратился к нему, и поскольку в это время рыба ловилась хорошо, он дал Абелью новенькую крону.

— Я не позволю, чтобы с тобой обходились несправедливо,—объявил он во всеулышание.

И вследствие его щедрости Абель смог на следующий день приобрести себе подержанную леску. Он купил ее у Олауса-С-Луговины, того самого Олауса, у которого перед носом разорвался буровой заряд, и лицо у него с того дня стало в синих пятнах и страсть какое некрасивое. А потом ему еще и оторвало руку. Олаус пил горькую и продавал что ни попадя, и вот теперь продал Абелью рыболовную снасть.

— А деньги у тебя есть?—спросил Олаус.

— Да,—ответил Абель,—крона.

— Одна корона? Да я эту леску и за пять не отдам.

Оба смотрели на леску, Олаус курил и сплевывал.

— А она не гнилая?—спросил Абель и пощупал леску.

— Гнилая? Леска новехонькая. Ты можешь на ней повеситься. Но все равно, за одну крону не пойдет.

— У меня больше нет.

— Ну так и ступай себе. Какого черта ты тут стоишь и отвечаешь с одной кроной!

Абель пошел прочь.

Олаус окликнул его:

— Эй, ты, как там тебя, у тебя больше нет денег?

— Нет.

— Ну так давай, забирай. Но цена ей пять крон.

Теперь Абель был на коне. Потому что в сущности двух приятелей, Абелью и Эдеварта, больше всего манила именно рыбная ловля. Оба они уже выезжали ловить

рыбу с отцом Эдеварта, они знали мелководья, где хорошо ловилась рыба, но у них не было снастей, отцы не доверяли им свои лески, не решались отпустить детей в море одних. Но теперь они были на коне и в тот же вечер отправились в море на Оливеровой лодке.

Ух, как они волновались! Пригнувшись, осторожно, как воры, они скользили вдоль берега, торопясь обогнуть мыс и скрыться из виду; они были еще маленькие, от горшка два вершка, не на что смотреть, но они испытывали подъем и строили планы. Неизвестно, сколько они поймают в первый раз, но весь улов пойдет на удочку для Эдеварта, так что в следующий раз у каждого будет своя. Они привыкли управляться с лодкой, мальчишки научились грести, и юлить веслом, и выравнивать лодку немногим позже, чем научились ходить, можно было не беспокоиться за бельчонка с Эдевартом. Что касается Абеля, для него сегодня все складывалось особенно удачно, он стал счастливым обладателем высоких сапог; он очень гордился ими, хотя первоначально они принадлежали еще отцу, а потом их здорово износил Франк.

Потом они стали ловить рыбу.

Вернее, потом Абель опустил леску целиком в воду, а после этого вытащил ее на шесть футов; Эдеварт сидел на веслах, удерживая лодку на одном месте. Они знали все, эти ребята, они были заправскими рыбаками. Абель то и дело погружал свой «лот» в воду целиком и вытаскивал его на шесть футов, это нужно было для того, чтобы все время держаться на нужной глубине. И вот в очередной раз он опустил «лот», а когда хотел вытащить, «лот» не пошел. «Лот» не пошел! Что теперь — гребь на север, гребь назад! Попробуй грести на восток, на запад! Леска застряла на дне.

— На-ка держи весла, давай я,—говорит Эдеварт, ведь он старше.

Абель гребет то туда, то сюда, наконец леска ослабла.

— Ну, все-таки я ее одолел!—говорит Эдеварт.

Он выбирает леску, но она пуста, она оборвана посередине, грузило и крючок остались на дне морском.

Абель с Эдевартом смотрят друг на друга: в голове не укладывается, что леска оборвалась.

— Черт!—выругался Эдеварт, он ведь старше.

Сам Абель не выругался, но Эдеварт выразил и его чувства тоже. Винить друг друга им было не за что, это

Олаус-С-Луговины продал им гнилую леску! Им ничего не оставалось, как грести домой.

— Он отдаст тебе твою корону,— утешает друга Эдеварт.

— Не отдаст,— шепчет Абель удрученно.

— Не отдаст? Я пойду с тобой!

— Да, пожалуйста!

О, Абель полагается на своего верного товарища, своего испытанного друга, он воспрянул духом. Эдеварт сидит перед ним, сурово сжав губы, и кивает, подтверждая свое намерение пойти с ним и все уладить. Завтра они с утра будут поджидать Олауса на причале, он ведь вечно там ошивается.

Но увы, Олаус отказался дать обратный ход сделке, дескать, проваливайте отсюда, щенки паршивые. Абель заплакал, но это не помогло. «Нечего было опускать леску на дно,— сказал Олаус,— надо было ловить ею рыбу. Чтоб духу вашего здесь не было, кому говорят!»

Но маленький Эдеварт — старший и к тому же здорово поднаторел в разных злых проделках. Приятели держат совет и сходятся на том, чтобы изловчиться и сунуть порошу Олаусу в трубку, еще раз устроить взрыв у него под носом. Ох уж эти городские ребятишки, от горшка два вершка, а хитрые и злющие, как черти! Стало быть, Эдеварт купил пачку табаку, а он и сам уже курил, так что остаток не пропадет. Доброй пригоршней пороха паренек разжился у рабочих на дорожном строительстве. Теперь он был во всеоружии, приятели уселись на причале и стали терпеливо ждать.

Пачка табака была красивая, в серебряной бумаге и великолепной упаковке, кстати, безумно дорогая, и очень соблазнительная, распечатанная, подходи и закуривай. Порох лежал снизу.

Вот подходит Олаус.

— Это что у тебя такое за дрянь? — спрашивает он.

— Ты про что, про мой табак?

— Так это табак? Дай-ка мне набить трубочку.

— Нет, я боюсь, ты заберешь у меня всю пачку,— отвечает Эдеварт и вроде бы намеревается пуститься наутек.

— А зачем таким щенкам табак?

— Да ты и не можешь набить трубку, у тебя же только одна рука.

Олаус понимает, что лучше получить хоть что-то, чем ничего, и говорит:

— На, держи, набей сам. Что за глупые шутки!

Пока Эдеварт погружает головку трубки в табак и зачерпывает доверху, Олаус продолжает болтать:

— Зачем щенкам табак? И где ты его взял?

— Купил.

— Видать, ты его украл. Эх, не я твой отец! Смотри набей как следует, не жадничай.

Эдеварт возвращает трубку, пусть Олаус зажигает сам.

Теперь мальчики отходят на десять шагов и смотрят на лошадь, привязанную к столбу. В этой животине есть нечто примечательное, она выглядит именно так, как должна выглядеть лошадь, гнедая, и вообще в ней нет ничего такого, что можно было бы подвергнуть критике, но мальчишки задают вопросы и отвечают на них и высказываются по поводу этой лошади. Вдруг послышался легкий взрыв, из Олауса-С-Луговины забило пламя, и мальчики увидели, как он высоко подпрыгнул. После этого, похоже, они заторопились, у них возникла безотлагательная необходимость поглазеть на какую-то другую диковину на другом конце города. Но за своей спиной они еще долго слышат яростные выкрики, вроде: «Держи, держи их» и «Ну, погодите у меня». Абель, на свою беду, был в высоких сапогах, и поначалу его чуть не поймали.

Это была не последняя их проказа, и рыбалка тоже не последняя, прошло совсем немного времени, и у них появились добротные лески, а лодкой они стали пользоваться с полного ведома Оливера. Самым лучшим днем для рыбалки было воскресенье; между двумя приятелями не было религиозных разногласий, оба они готовы рыбачить по праздничным дням, когда лодка свободна с утра до вечера. И каждый возвращался с небольшим уловом, тут осечки не бывало. Сбыть рыбу не представляло труда, уж что нет, то нет, у доктора охотно платили запрошенную цену, да еще немного накидывали за то, что докторской чете было отдано предпочтение перед Юнсенами-С-Пристани, которых в этом доме бесспорно недолюбливали. Иногда мальчишки получали также по большому бутерброду, и после восьмичасового поста это было лучшее, что можно им предложить; бывало, что на кухне у доктора их спрашивали, а разрешают ли им ловить рыбу по воскресеньям, когда все добрые люди в церкви, но мальчишки, по-видимому, были еще не в курсе жизни церковной общины в городе.

Сколько радостей, какая полнота жизни! В чем только не пробовали себя эти сорвиголовы, эти отчаянные парни! Круглые сутки, во сне и наяву они были переполнены впечатлениями. Были ли присущи Абелю некая мечтательность и известное достоинство? Нет, ничего похожего. Бельчонок, маленький и быстрый как молния, сорванец, он минуты не мог посидеть спокойно. Его видели одновременно в верхней части города, у церкви, и внизу, у моря, он никогда не ходил шагом, если была хоть малейшая возможность бежать бегом, вечно он торопился, его высокие сапоги грохотали по улицам. Такой уж он уродился. Эдеварт тоже малый не промах, но он был старше, на нем лежала ответственность, кроме того дома его всегда кормили досыта, так что он был поплотнее телом. Сытость, впрочем, не мешала ему, он мог быть на редкость проворен, если, к примеру, аптекарь выскакивал в сад и вопрошал: «Что, черт побери, ты делаешь на моей яблоне?» Когда Эдеварт пошел в школу, он немного похудел, но не настолько, чтобы это имело значение; пожалуй, от Эдевартовых занятий больше похудел Абель, который чувствовал себя теперь одиноким и от этого совсем отоцал. По старой привычке он продолжал околачиваться в доме у Йоргена-Рыбака, там несколько лет назад появилась третья дочка, с которой он иногда играл; но эта маленькая девочка не могла заменить Эдеварта, друга-мужчину, никак уж нет. Звали ее Лидия, так же как и мать, стало быть, Лидия-Маленькая, для девчонки она была довольно занятная, и вообще с ней можно иметь дело, если б только не ее неприятное обыкновение ударяться в слезы без всякой причины.

Да, Абель стал одинок, братец Франк тоже пошел в школу, и кроме того Франк, всегда слишком ученый для Абеля, смотрел на него свысока, и у братьев было мало общего. У них совсем не совпадали взгляды на жизнь, для одного главным была рыбная ловля, а для другого книги да газеты да всякие господские штучки. Франк пошел в школу раньше своих лет и был первым учеником. Он станет телеграфистом или банковским служащим! Мать лелеяла честолюбивую мечту, что когда-нибудь он поступит в среднюю школу вместе с господскими детьми и превзойдет все науки, какие только есть. Честолюбие никому не заказано; так почему же не иметь его и Лидии, Йоргеновой благоверной? О да, оно у нее было и, что хуже всего, доходило до глупости, и весь город подсмеивался над ней: надо же, записала своих

девчонок в танцкласс. Уж это, само собой, выходило далеко за рамки ее сословия.

Это привело также к тому, что Хенриксен-С-Верфи, семья таможенника и фру Юнсен-С-Пристани сочли себя вынужденными забрать своих детей из танцкласса — нет, не из-за детей рыбака, упаси Бог, просто выяснилось, что Фиа Юнсен, например, страдает анемией, она очень вытянулась и такая стала худенькая, бедняжка, прямо жалко смотреть. В дело вмешалась политика. Заезжая учительница танцев в отчаянии ломала руки и размышляла, слишком многое было поставлено на карту; наконец она нашла выход: ведь группа полностью укомплектована, — и как она прежде не разобралась в этом! — но она наберет еще одну, наплыв желающих оказался сверх всякого ожидания очень велик, возможно, ей даже придется набрать две дополнительные группы. Ну и разве не устроилось все наилучшим образом?

И теперь танцы в городе обрели небывалый размах, женщины не смеялись больше над Лидией, а вместо этого приводили своих детей. Если дети Лидии учатся танцевать, почему бы не учиться детям бондаря или парикмахера Холте? Никогда еще учительница танцев так звонко не хлопала в ладоши, она стала жизнерадостной, полностью овладев танцевальной политикой. В танцкласс записали и Эдеварта, записали и Франка, потому что Оливер, его отец, в то время регулярно выезжал рыбачить и был при деньгах. А как же, сказал Оливер, ты будешь учиться всему, чему только можно научиться, Франк! Но Эдеварт побывал на уроке один-единственный раз, после чего пришел к Абелю и попросил заменить его в танцклассе. И Абель с удовольствием взялся оказать приятелю такую услугу, но поскольку он явился в танцкласс в рванье и к тому же неумытый, ему дали от ворот поворот. Так получилось, что оба друга оказались свободны.

VII

В городе стоял грохот от музыки и топота ног. Быть может, наступили времена большого процветания и вдоль берега шли кошельковые неводы, полные сельди? Или англичанам для ведения очередной войны не хватало леса и тоннажа? Ни то, ни другое. За пределами города царило полное спокойствие.

Все дело было только лишь в заезжей учительнице танцев, которой удалось растлить все городское общество. Истинно верующие встретили ее в штыки и продолжали клеймить на своих собраниях в молитвенном зале, но было уже поздно, болезнь распространилась слишком широко. Она проявилась не только в стремлении родителей учить танцам своих чад, зараза грозила перекинуться и на самих родителей. Это была невиданная эпидемия! Сначала она охватила по большей части мелких служащих, но мало-помалу зараза проникла в высшие слои общества, в столовой у Бакалейщика-Ольсена и у Хенриксена-С-Верфи танцевали вальс, самые почтенные граждане ходили по улицам, мурлыкая себе под нос.

Поблизости от танцевального зала всегда толпились люди, они слушали музыку, непристойно покачивая бедрами в такт и мысленно находясь внутри; Карлсен-Полицейский бездействовал, никого не забирал. Петру обнаружили однажды на верхней ступеньке лестницы, ведущей в танцевальный зал, она сидела там, печальная и бесстыдная, и мечтала под звуки скрипки и топот, доносившиеся изнутри. Но что проку Петре в мечтах, она замужем, и жизнь ее кончена, теперь ко всему прочему она опять огрузла, похоже, даже на ногах стоять не может, все норовит присесть. А ведь ей долгие годы удавалось не растолстеть, она была как девчонка и так хорошо сложена, ну что ж, значит, и это в прошлом, еще одна утрата! Ей бы дома сидеть и скрываться от глаз людских, но вот ведь как получилось, ее нашли здесь, на лестнице, и нашел не кто иной как Шелдруп Юнсен.

— Это ты тут сидишь, Петра? — спрашивает он и выказывает участие.

— Да, — отвечает она. — Уходи, Шелдруп!

Но Шелдруп лишь выказывает еще больше участия, и тут Петра встает и отвешивает ему хорошую оплеуху, хоть это и сам Шелдруп Юнсен. Да, она сделала это! И оказывается, что кто-то у подножия лестницы услышал звук пощечины и поднялся наверх и увидел окончание сцены: как Шелдруп прошмыгнул в зал, а Петра в слезах заковыляла вниз по ступенькам и вышла на улицу.

А виной всему была учительница танцев, что бы ей остановиться в соседнем городке! И смятение умов и душ, внесенное ею, так и не улеглось, наоборот: немало злых, враждебных чувств выплеснулось наружу еще и в последний вечер, когда занятия в танцклассе заверши-

лись балом. Страсти закипели вокруг тюлевых и шелковых платьев, родители отчаянно завидовали друг другу из-за детей.

После праздника доктор с супругой возвращались домой вместе с Юнсенами-С-Пристани. Фиа уже получила свое удовольствие от вечера, ей пора было в постель, дать отдых усталым ногам, теперь настал черед взрослых, они хотели немножко посидеть. Вообще-то к Юнсенам пошла целая компания, в том числе адвокат Фредриксен, к которому фру Юнсен проявляла некоторый интерес, поскольку он оказывал ей внимание. И чету Хенриксенов-С-Верфи тоже пригласили, хоть Юнсены и не считали их людьми своего круга. «Да, да, Хенриксен, берите вашу жену и присоединяйтесь. И вы тоже, почтмейстер!» Но особенно настойчиво, с соблюдением всех церемоний, пригласили докторскую чету, без этого нельзя было обойтись, они были тут самые главные, консул и его супруга хорошо знали это.

О, эта тайная вражда между двумя друзьями, двумя закадычными друзьями! Редко она проявлялась открыто, но она существовала, она тлела подспудно. Компания шла домой к консулу, оживленно беседуя, четверо в один ряд, дамы мели подолами улицу. Иногда все останавливались и тогда полностью перекрывали движение, так что прохожие с трудом исхитрялись проскользнуть. Был прекрасный летний вечер.

— Поздравляю вас, рада за вашу Фию,— сказала докторша. Ей было легко стоять над схваткой и не брать ничью сторону, ведь у нее самой дети не ходили в танцкласс, более того, у них с доктором вообще не было детей.— Фиа была такая хорошенькая сегодня вечером. Но не находите ли вы, фру Юнсен, что миленькое прозрачное платьице больше подошло бы к случаю?

— Она захотела шелковое,— ответила фру Юнсен,— и кроме того, дешевых платьиц и так было предостаточно. Видели вы, как Хейберги раздели свою Алису?

Кто-то сказал:

— Там на одной была толстая цепочка от часов.

— У дочки консула Ольсена.

— Да, бедная девочка, уж эти Ольсены всегда отличатся,— подхватила фру Юнсен снисходительным тоном.

Нет, никак не могла она простить семейству Ольсенов, что и они имели консульский титул и были богаты. Не странно ли? Казалось, ей бы только радоваться, что

в городе становится все больше дам, с которыми она может общаться на равных, но нет, она просто не в силах была это вынести. И откуда эта желтизна, почему у нее такой цвет лица? Желтое-желтое лицо, не иначе как у нее неполадки с желудком.

— Довольно об этом,— сказал адвокат Фредриксен, народный трибун, и заставил всю компанию остановиться. В тишине вечера его голос раздавался очень громко, будто матрос горланил в пивной.— Теперь о другом: ваш пароход, кажется, возвращается домой, не так ли, консул?

И Юнсену-С-Пристанни было приятно ответить:

— Да, «Фиа» возвращается домой. Долгонько она не была на родине.

— Хотелось бы мне иметь деньги, которые она принесла за это время,— высказался Хенриксен-С-Верфи. Как он понимает, сумма кругленькая.

Консул Юнсен внутренне весь расцвел, но сказал так:

— Я отвечаю вам на это, потому что мое молчание могло бы быть неправильно истолковано. На самом деле «Фиа» принесла не так много. Не раз я радовался тому, что у меня достаточно крепкие тылы, чтобы удержать ее на плаву. Но теперь, в этот последний год, она, конечно...

— Ого-го,— закончил за него Хенриксен и тряхнул головой.

— Не сомневаюсь, что дурная слава коммерческой морали незаслуженна,— вдруг произносит доктор.

— Это как понять?

Доктор продолжает, как будто не слышал вопроса:

— Потому что если ею пользуется такой человек как консул Юнсен, значит, она вполне пригодна.

— Коммерческая мораль? Это как понять?

Доктор выдерживает долгую многозначительную паузу, он не хочет, чтобы от его слов просто-напросто отмахнулись с презрительной усмешкой. Не хочет он также вступать в дискуссию с Хенриксеном-С-Верфи, поэтому он высказывается, обращаясь ко всем и ни к кому в частности:

— Злые языки утверждают, что коммерция сродни обману.

— Нет, такого я еще в жизни не...— восклицает Хенриксен изумленно. И он поднимает брови, в точности так, как если бы он был в восторге от услышанного.

Но консул К. А. Юнсен в эту минуту оказался верен себе— может быть, не образец во всех отношениях, но

человек смелой мысли и высокого достоинства. Городские остроловы называли его Первым консулом, в отличие от тех, кто стали консулами позднее и не слишком много значили.

Консул Юнсен ответил:

— Коммерция—это работа, которая стоит заработанных денег.

— Вот и я так полагаю. И потому не правы те, кто называет коммерцию спекуляцией.

— Отчего же, в каком-то смысле можно, пожалуй, назвать ее и так. Все мы спекулируем. Врач, прежде чем стать им, тоже продумывает своего рода спекуляцию: он решает, что именно таким образом будет зарабатывать себе на хлеб насущный, и стремится овладеть профессией. Вы качаете головой?

— И еще как!

— Ха-ха,— рассмеялась докторша.

— Медицина—это наука,— объясняет доктор.— А то, что «Фиа» принесет больше или меньше барыша...

— Продолжайте, что же вы остановились!

— Да, я продолжаю: согласитесь, что коммерческие операции «Фии» как раз и подпадают под общепринятое понимание слова «спекуляция». Хотя я лично с таким пониманием не согласен.

— Ну так, стало быть, все пришли к единому мнению,— попытался примирить спорящих почтмейстер, как всегда добродушный и благожелательный ко всем.

Консул промолчал, но про себя подумал: ты у меня дождешься, получишь сполна за свой пакостный злой язык! Консул потихоньку ускользнул и пошел рядом с фру Хенриксен-С-Верфи, заговорил с ней; она была молодая и красивая женщина, вышедшая из простого народа, также как и ее муж, две ее дочери учились в танцклассе, но ей самой не сравнялось и тридцати. Консул Юнсен выказал себя воистину интересным собеседником и галантным кавалером, порой он даже понижал голос, чтобы не услышали остальные. В семейной жизни— вот ведь какое дело— у консула были далеко не одни только розы, так что сам Бог велел ему воспользоваться случаем. Он естественный человек, пусть он немного поседел, но все еще мужчина в соку! Консула раздражало, что его взрослый сын Шелдруп идет рядом и слушает.

— Ступай вперед и распорядись, чтобы там все приготавливали!— приказал он Шелдрупу.

Фру Хенриксен, со своей стороны, была польщена высокой честью, выпавшей ей на долю, ведь сегодня вечером за ней ухаживал сам Первый консул, а какую красивую жизнь она увидит, когда придет к нему домой,— вот это приключение так приключение, у нее прямо дух захватывало.

— Я прошу вас обещать мне одну вещь,— сказала она.

Седина в бороду, бес в ребро, дамочка была чертовски лакомым кусочком, и консул, охваченный вождедением, ответил:

— Вам я не решаюсь давать какое-либо обещание.

— Но почему?

— Обещать? Вам? Но ведь тогда мне придется сдерживать слово!

Тут дамочка рассмеялась, она не заподозрила дурного, просто подумала, что он душка, мало того, что Первый консул, так к тому же еще и душка. И она набралась храбрости высказать свою просьбу: чтобы консул как-нибудь пришел в гости к ним, к Хенриксенам-С-Верфи, вместе с супругой, хорошо?

— Ну, вы там идете?— крикнула фру Юнсен, обернувшись назад, и остановилась, поджидая.

Никуда не денешься, пришлось им ускорить шаг и присоединиться к остальным. Но консул решил про себя, что он еще поговорит с фру Хенриксен позже, когда ее муж с головой уйдет в приготовление коктейлей. Он, Юнсен, изобразит тогда радушного хозяина и скажет: «Пожалуйста, Хенриксен, чувствуйте себя как дома», а сам побеседует с его женой.

Почтмейстер разглагольствовал о потомках. Он был тощ и жалок на вид и слыл неудачником. Он слыл также человеком религиозным и имел обыкновение произносить с задумчивым выражением лица: «А во что же нам еще верить?» По окончании гимназии он больше всего склонялся к занятиям искусством, мечтал о замках и соборах, хотел стать архитектором, но так и не сумел выбрать себе профессию и в конце концов нашел прибежище в почтовом ведомстве. Теперь он рисовал Божьи храмы и человечесьи жилища в свободное от работы время, именно он создал проект городской средней школы, красивого каменного здания с колоннами, которое открывалось глазу издали, с фьорда; он ничего не взял за работу, зато городские власти наговорили ему много лестных слов. Жена ему как раз досталась удачная, пусть

не красавица, но добрая и превосходная хозяйка дома, жена и мать. Она была старше мужа, но не настолько, чтобы это имело значение. На людях она все больше помалкивала; вот и сейчас она молча шла с другими.

— Потомки,—говорил почтмейстер. Его теория заключалась в том, что не родители, например он сам и остальные присутствующие, как правило, играют главную роль в жизни, эта роль принадлежит детям. На сей счет у него не было сомнений. По его словам, все вертится вокруг потомков.— Вот как сегодня вечером: родители сидели на простых скамьях, подпирая голые стены, а их малые дети дарили им наслаждение и праздник. Матери не нарядились, выглядеть красиво должны были дети. Такими же красивыми выглядели когда-то эти самые матери, когда они были маленькими дочками, подумал я. Было это тридцать лет назад, когда дамы носили юбки необъятной ширины. Господи Боже мой!—подумал я и стал вспоминать то время.

— Элегия!—сказал холостой адвокат Фредриксен.

— Вот именно,—подхватил бездетный доктор. И поскольку это говорил безобидный почтмейстер, который был, в сущности, превосходным человеком, доктор пожелал объясниться более подробно.— Потомки, говорите вы,—продолжал он.— Ну и что дальше? Таков ли наш мир, чтобы в нем стоило плодить потомство? Долго ли мы живем на свете и ради какой цели живем, если не ради нас самих? Давайте наслаждаться жизнью, почтмейстер, смерть преследует нас по пятам, скоро мы превратимся в прах. Мы находимся между двумя жерновами. И при этом одни благодущны и покладисты, не охнут, превращаясь в месиво, другие извиваются, как вы, почтмейстер, сворачивают себе шею, обертываясь назад, боясь за свое лицо,—но ведь в следующую минуту их самих разможат жернова. Очевидно, это странное ощущение, и всем нам предстоит когда-нибудь его испытать; если оно начинается снизу, то, наверно, человеку кажется, что у него мало-помалу куда-то исчезают ноги, потом живот...—Речь доктора имела успех, и он продолжал шутить, он был из тех, кто ради красного словца не пожалеет и отца, и добился-таки, чтобы у слушателей побежали мурашки.— В конце концов остается только маленький кусочек пальца на ноге, возможно, он еще шевельнется разок, не осознавая этого. Все в порядке, все завершено.

Молчание.

— Думая таким образом, можно впасть в полное уныние,— сказал почтмейстер.— Но даже при этих условиях хорошо оставить после себя...

— Потомков! Которых тоже перемелют жернова! А насчет уныния... Не знаю. Лично у меня настроение бодрое, порой я ловлю себя на том, что начесываю волосы себе на залысины, то есть по мере сил восстанавливаю собственные развалины. И при этом насвистываю.

— Да-да,— сдался почтмейстер, видимо, он не мог устоять против такого напора.

Но тут на наживку клюнул консул Юнсен, нет, право слово, он не мог смолчать, слыша эти высокомерные поучения.

— Не будь потомков, человечество бы вымерло.

— Пусть себе. Это меня не волнует.

— Но ведь ваша профессия — спасать людей от смерти, разве не так?

— О, господин консул, господин Первый консул Юнсен, вы требуете логики от людей, находящихся между двумя жерновами? — хихикает доктор, немного смутившись.— А где логика в самой жизни, где логика в миропорядке?

А консул на это:

— Итак, я констатирую, что доктор лично ставит на истребление человечества, хотя его профессия, его жизненное поприще — препятствовать истреблению человечества.

Доктору претит выказывать свое превосходство над полуобразованным выскочкой, но Первый консул так зарвался, стал так высоко задирать нос, что он, доктор, просто не может не ответить ему.

— Эти вещи посложнее коммерции, не так ли? Тут вопрос мировоззрения. Когда врач склоняется над больным, он, пожалуй, в основном делает это из сострадания к несчастному человечеству.

— Ах вот как.

— Вздыхайте сколько хотите. Во всяком случае, он не спекулирует.

Консул небрежно бросает:

— Он зарабатывает свои пять крон. Врач таков же, как мы, грешные, разница лишь в том, что в его спекуляциях счет идет на пять крон, а в моих — на тысячи.

Консул, улыбаясь, оглядывает всех присутствующих, от чего они чувствуют себя еще более униженными.

Доктор вынужден тоже улыбнуться.

— Вот какие страсти разгорелись по вашей вине, почтмейстер,— говорит он.

— По моей вине?

— Из-за вашего потомства.

И почтмейстеру приходится вновь вступить в спор.

— Но, милый доктор, мы же должны иметь потомство. Говорите что хотите про жернова, но они не могут быть целью нашей жизни.

— Цель нашей жизни мы носим в себе. Когда я умру, умрет и все, относящееся ко мне. Вы верите в Бога, почтмейстер?

— Во что же нам еще верить! А вы не верите?

Доктор покачал головой.

— Я его не встречал. Вы полагаете, он здешний?

— Ха-ха,— рассмеялась докторша.

Почтмейстер спросил:

— Что же это за цель, которую человек может носить в самом себе?

— Получить максимум от своего существования. К примеру, максимум удовольствий.

— Убогая цель, недолговечная цель. В этом случае и правда все замыкается на тебе самом. Но можно представить себе цель и более долговечную: наше продолжение в веках через потомство. Seriously, что вы думаете об этом? Я ведь полагаю, что до сих пор вы шутили с нами.

— Вовсе нет.

— Возьмите к примеру меня: я почтмейстер здесь, в городе. Конечно, не место красит человека. Но какая надежда утешит в смертный час того, кто не добился успеха в жизни, если он бездетен? А я и не стремлюсь сам занять более значительное положение, мне это не нужно, наоборот, я рад, что ничего не достиг в жизни, потому что таким образом я не истратил на себя возможности своих детей. Если перед смертью я буду знать, что мои дети превзойдут меня во всех отношениях, я, что вполне естественно, буду от души благодарен Провидению. Какое тягостное впечатление производят на меня сыновья и дочери великих людей, дети прославленных родителей! Видеть их еще более прискорбно, нежели детей, вовсе лишенных родителей. Слава Богу, обо мне можно сказать, что достигни я даже вдвое большего, чем я достиг на самом деле, мои дети все равно превзойдут меня. Именно это будет моей надеждой в смертный час. То есть что сам я возвысился через возвышение моих детей. Что моим детям не досталась судьба сыновей Гёте.

Теория почтмейстера никому не пришлась по вкусу, это была теория в утешение неудачникам, ничего не добившимся в жизни, а для людей, достигших высокого положения, она не годилась.

— Вы славный человек,— дружелюбно сказал доктор.

А консул Юнсен, он ведь чертовски многого добился в жизни, а не только был отцом своих детей, да он мог достичь и большего, он твердо стоял на ногах, и перед ним была прямая дорога, у него были свои планы, он лелеял новые замыслы. Но консул Юнсен хотел тоже выказать дружелюбие к почтмейстеру, он даже постарался не говорить с ним свысока, итак, он кивнул и сказал:

— По моему скромному суждению, в ваших словах есть большой смысл, почтмейстер.

— Тоже мне суждение! — отмахнулся доктор.

Адвокат Фредриксен, которого все это время терзал Хенриксен-С-Верфи, вмешался:

— Ну конечно, суждение. Но мы, холостяки и бездетные, тоже имеем свое суждение.

И тут все, видно, испугались, что сейчас компания распадется и планы на вечер рухнут, никто больше не решался вставить слово. Консул ускорил шаги, отпер дверь и распахнул ее радушным жестом.

— Во всяком случае попробуем прийти к согласию за бокалом вина,— сказал он, улыбаясь.

В то самое мгновение, когда компания ступила в дом, юный Шелдруп вышел на улицу через кухонную дверь. Вряд ли ему были интересны никчемные словопрения вроде того, которое вызвал своими речами почтмейстер. В этом никто не мог бы заподозрить Шелдрупа. В его годы жизнь не кажется загадкой. Летняя ночь принадлежит молодым.

VIII

У старых людей засели в памяти даты давно прошедших событий, у них великолепная способность хранить в голове всевозможные мелочи, как будто те имеют какую-то ценность, как будто они могут когда-нибудь пригодиться. Старики хранят и газетные вырезки.

Однажды с залива доносится незнакомый гудок. Это не почтовый пароход и не маленький грузовой пароходик, который раз в неделю привозит товар в местные

лавки, и потому люди взбираются на крыши, откуда дальше видно. Это «Фиа», говорят они, смотрите, она выбросила флаг.

И они вспоминают, как однажды в воскресенье много лет назад народ валом валил к причалу, они прикидывают в уме, сверяясь с возрастом своих детей, в каком же году это было. Да, тогда народ валом валил к причалу, вспоминают они, и тогда «Фиа» отплывала в Средиземное море. Теперь она возвращается после долгих странствий, на борту чисто убрано и празднично украшено, а в сердцах моряков — законная гордость. В тот-то раз в команду входил и матрос Оливер Андерсен.

Сегодня Оливер ковыляет на своем костыле к причалу, бросается вперед, пробивается в первые ряды; он наивно думает, будто прежние товарищи высматривают его на причале, что именно его они ждут в первую очередь. Нет, они его не ждут, они его забыли. Они видят с палубы калеку и узнают его, но не выказывают никакой радости, ему приходится первому поздороваться и подойти поближе к своим старым друзьям. Вот он, Оливер, перед ними, он немного поседел и волосы у него поредели, хотя он еще совсем молодой парень, но зато он приметно раздобрел, у него висят щеки. Так хорошо ему живется на Божьем свете? Не скрывалось ли счастье под маской его несчастья?

Матросы сверху говорят ему два-три добрых слова, они ведь жалеют калеку, но ребята недолго занимают им, сейчас им не до того, они поглядывают на дорогу, ведущую в город, на которой вот-вот должна появиться их подружка, их мать или жена с детьми, домочадцы, видно, задержались, чтобы второпях чуть-чуть прифрантиться, прежде чем выйти из дому.

Разумеется, Олаус-С-Луговины тоже здесь, с неизменной трубкой во рту, и он такой же как всегда, пьяный и невоздержанный на язык. Если матросы с «Фии» хотели немного покрасоваться перед земляками, похвалиться тем, из каких несказанно далеких краев они вернулись, то Олаус испортил им все удовольствие тем, что не выказал ни удивления, ни интереса.

— Откуда-откуда, говоришь, вы прибыли? — спрашивает он.

— Из страны под названием Китай.

Для Олауса Китай сущий пустяк.

— Вон что, из Китая. Да, мир нынче стал невелик, — говорит он, — вот в старые времена моряки и вправду

могли сказать, что прибыли издалека. На прошлой неделе ходили тут по нашему городу двое бедолаг и клянчили деньги и жратву. Я спросил их, откуда они родом. Из Персии, сказали они. Подумать только, из Персии, про которую мы читали в Библии и про которую никто не знает, где она находится! Не разживусь ли я у тебя табачком для моей трубки?

Ему тут же набивают трубку, он не благодарит, но отдает должное качеству табака:

— Бывает курево и похуже!

Используя свои полторы руки, он перебрасывает сходни на корабль и командует:

— А ну принимайте да крепите как следует!

Такой уж он, Олаус. Его судьба тоже не пощадила — однорукий да еще лицо стало синим на всю жизнь; но уж он-то от этого не сделался смиренным толстяком, черта с два. Он не разжирел и не впал в спячку, как животное, и лицо у него не белое, как у дворянина, нет, он пьян и великолепен. Вы скажете, он расходует свой неприкосновенный запас? А на что же запас, как не на то, чтобы его расходовать?

Оливер всходит на борт парохода. И зря. Никто не бросился ему на шею, матросы лишь пожимают протянутую им руку и говорят самое необходимое. Они заняты собственными заботами. Им ли удивить Оливера тем, что они приплыли аж из самого Китая? Опытный матрос, он и сам там побывал, его ничем не удивишь. Нет, зря он поднялся на борт, оказалось, что он забыл английские слова, которыми пестрит матросский жаргон. Кубрик такой же, как раньше, темный вонючий колодец, хоть его и отдраили, как перед праздником. Оливер подсаживается к знакомому столу и говорит, говорит о своем, ребята вначале слушают его, но все норовят спросить о своих домочадцах на суше или же о почтенных людях города, потом один за другим возвращаются на палубу высматривать родственников.

Оливер говорит:

— Вот, возьми, к примеру, то, что я стал инвалидом.

— Ну да, у тебя ведь, кажется, все твое мужское хозяйство порушилось.

— Ничего оно не порушилось! Я человек женатый да детный. Не может бочка с ворванью порушить мужскую силу.

— Что еще за бочка с ворванью? — спрашивает Каспер.

Оливер опомнился и смутился.

— А разве ты не сверзился вниз со снастей, да так неудачно, что перекладина мачты оказалась у тебя между ног?

— Нет.

Оливер так долго толковал про эту бочку с ворванью, что и сам в нее поверил, но вот, стало быть, оказалось, что никакой бочки с ворванью и не было. Чего он хотел добиться этой ложью, хотел ли он что-то скрыть? Оливер берет себя в руки и продолжает болтать, с капитаном он так и не встретился, а ребята сдержанны; разумеется, из писем, которые они получали от родных, они знали о том, как сложилась дальнейшая жизнь Оливера, он оказался не на высоте, и сплетен о нем и его семье хватало. Даже когда бедняга Оливер предъявил газету с описанием своего моряцкого подвига, это не произвело впечатления. Ведь именно теперь стали подходить родственники.

В глазах у Оливера загорается злобный огонек. Пусть он разжирел и вроде как бы отупел, но порой в нем прорывается какое-то жестокое коварство. Он подходит к Касперу, своему старому другу и сверстнику, и говорит:

— А твоя жена не придет, Каспер?

— Придет, а как же,—говорит Каспер.

— Ну да, ведь она уже вернулась.

— Разве она уезжала? Куда?

— Не знаю. Она отсутствовала год. Говорили, что она за границей.

— Что такое ты рассказываешь?— встревожился Каспер.

— Стоит ли обращать внимание на слова такого бедолаги, как я? Но какая разница тебе и другим, бочка с ворванью меня покалечила или перекладина мачты?

— Да, какая, в сущности, разница,—говорит Каспер.— Что она делала за границей?

— Рассказывали, будто она служила каютной горничной на корабле.

— Быть того не может! Я каждый год получал от нее письма отсюда, из города.

— Ну-ну,—говорит Оливер.

По дороге домой он встречает Касперову благоверную, она принарядилась и с невинным видом идет встречать мужа. Оливер роняет мимоходом, что, дескать, Каспер ждет ее не дождется; но она либо слишком нарядна,

либо слишком невинна, чтобы ответить, и торопится пройти мимо.

Оливер идет к себе домой, к своему домашнему очагу и своим домочадцам. Визит на «Фию» определенно был ошибкой. Ну что ж, ноги его больше там не будет. Ну а что касается Каспера с женой, с этой стороны он опасности не ждет: у него свидетелей целый город. Кроме того, калека защищен своей убогостью, даже если он и стравил между собой супружескую пару.

Он садится к столу и начинает бранить матросов с «Фию», этот сброд, он мог бы справиться с каждым из них одной рукой в те времена, когда еще его сила и здоровье были при нем.

Петра не отвечает, не смотрит в его сторону, ей до смерти надоели его разговоры, да и сам он тоже. Этот пыхтящий ком жира на стуле, на нем костюм, на костюме пуговицы; на верхушке шляпа набекрень. Петра давно все знает вдоль и поперек: и эту торчащую деревянную ногу, перегородившую всю комнату, и это вранье, и это хвастовство, и гелос, с течением времени все больше походивший на женский, и тусклый взгляд водянисто-голубых глаз, и вечно слюнявый рот. Оливер словно бы год от году приходит все в больший упадок, только аппетит его сохраняется в полной силе. А еды хватает не всегда.

Удивительное дело! Жизнь в городе идет по раз заведенному порядку, и тем не менее в ней наблюдается значительный подъем. После того как учительница танцев, сделав свое дело, уехала восвояси, каждую субботу в зале муниципального совета устраиваются танцевальные вечера, люди стали заметно лучше одеваться, и весь их образ жизни поднялся на новый, высший уровень. Но у Оливера с Петрой никакого подъема нет, наоборот, дела идут под гору, они опускаются на самое дно. Этот кретин даже пытался продать заграничные безделушки с комода, белую статуэтку ангела и копилку в виде свиньи. А однажды зимним днем Оливер отправился в город и продал дом, в котором живет. Опрометчивый поступок.

Оливер уже давно порывался продать дом, полагая, что его владелец адвокат Фредриксен будет человеком, не станет придирааться к калеке. Но адвокат Фредриксен, очевидно, считал, что и так уже помог ему, прославив его своей заметкой о моряцком подвиге; кстати, почему бы ему не совершать такие великие деяния почаще? Но про-

дать дом, являющийся собственностью другого человека...

Адвокат просто-напросто подал на Оливера в суд.

Вообще-то он давно бы выставил Оливера с семейством из дома, но город защищал калеку. А теперь Оливер наконец сам поставил себя вне общества, преступив закон.

Оливер, стуча костылем, отправился к адвокату просить прощения. Сделка ведь расторгнута, так что можно считать, что ничего почти и не было. Это не помогло, адвокат решил воспользоваться случаем и выселить из дома жильцов. Пришлось Петре сходить к адвокату и попросить его по-хорошему, да и ей удалось добиться своей цели далеко не с первого разу.

Можно себе представить атмосферу в доме — точно на краю пропасти. Так что вполне простительно, если Петра тайком ушла от своих и уселась блаженно помечтать на лестнице танцевального зала в вечерний час. Оливер, ее муженек, тот вовсе не сгорел со стыда, наоборот, он отстаивал свою правоту и всячески поносил адвоката, этого живодера, который не захотел быть человеком и придрался к калеке. Но все равно, если Оливера и околпачили с деньгами за дом, от этого его нужда не стала больше прежней, у него не было недостатка в способах выйти из положения, когда он сидел и разглагольствовал в кругу семьи. Правда, от мысли устроиться смотрителем маяка он отказался; но что мешает ему завести себе инвалидную коляску и объезжать окрестные приходы? Или отправиться в какой-нибудь большой город и играть на шарманке?

— Ради Бога, — отвечает Петра, — сделай либо то, либо другое.

— Да? А на какие деньги вы с детьми будете жить?

Как это на какие деньги? Ведь он будет зарабатывать достаточно, чтобы посылать пару скиллингов домой? Впрочем, как раз на этот счет у Петры были сомнения. Бабушка тоже сомневалась, более того, она без обиняков говорила, что обжора Оливер наверняка будет проедать весь свой заработок.

И так ничего и не вышло из поездки кормильца на заработки, и семья продолжала прозябать. Но тем не менее они как-то перебивались, они жили, они пережили эти трудные времена.

Почему же, ну почему дела у них идут так плохо? Да, конечно, у кормильца физический недостаток, ну и что

с того? Ганнибал был одноглазым, Александр Македонский — хромым. Оливер, если на то пошло, не вовсе обделен положительными свойствами. Он в сущности человек смиренный, не людоед какой-нибудь с налитыми кровью глазами и устрашающим частоколом зубов, выжидающий, когда дети станут достаточно гладкими и откормленными, чтобы их зарезать, нет, он ласков с детьми. Ну да, он увечный, и пустая брючина, болтающаяся при ходьбе, производит такое грустное впечатление. Но он, к примеру, не горбун, который словно бы несет самого себя на спине. Обделен положительными свойствами, он? Оливер не пьет, никогда за ним такого не водилось, а в последнее время отучился даже от табака, да, в этом смысле он теперь совсем как женщина.

Разумеется, жизнь стала отнюдь не лучше, а только хуже, когда на свет появился третий ребенок, малюсенькая девочка, которая кричала по ночам и будила усталого кормильца. Оливер теперь снова отдавал дань своей тяге к скитаниям, исчезал из дому, выезжал на лодке в море и пропадал двое-трое суток. Одному Богу известно, что он искал и что находил. В особенности после шторма он любил совершать эти вылазки, возможно, он питал детски наивную надежду вновь найти корабль, потерпевший крушение. Впрочем, однажды он нашел небольшой чемодан, плывущий по волнам, в нем было всего лишь немного белья и кое-какая женская одежда, но Оливер принес находку домой и устроил вокруг нее большой шум, и в этот день ему уже и в голову не пришло приложить руки к какой-нибудь работе. В другой раз он нашел канистру из-под керосина, пустую, но заткнутую пробкой; время от времени он возвращался домой с горстью гагачьего пуха, который он натаскал из гнезд, когда искал яйца на птичьих базарах. Он знал, что пух этот стоит дорого, но не решался сбить его с рук в городе, его приходилось прятать.

Оливера раздражало, что Петра не оценила ни одной из его находок, она пренебрегала ими. Бывало, он крадется в дом с причала, стараясь остаться незамеченным, пиджак у него на груди оттопыривается, он вынимает из-за пазухи свою добычу и выкладывает ее на стол, ожидая, что все так и ахнут. Но Петра лишь ворчит: и это заработок за три дня? На что нам гагачий пух? И на что нам пустая канистра из-под керосина?

Оливер падает с небес на землю и отвечает оскорбленно:

— Опять тебе вожжа под хвост попала?

Петра, в ярости:

— Вот как, мне вожжа под хвост попала? Взгляни на малышку в люльке, по-твоему, она лежит на гагачьем пуху?

Оливер бросает взгляд на малышку, лежит-то она на всяком тряпье, но все у нее в порядке, всего хватает, а кричит она только потому, что у нее режутся зубки. Но вдруг Оливер встает и приглядывается повнимательнее, это в первый раз, что он по-настоящему видит малышку.

— Какого черта,— говорит он.— Глаза у нее голубые?

Петра вздрагивает и отвечает:

— Как видишь.

— Откуда бы это?

— Откуда? А мне почему знать? Ну и вопросы ты задаешь!

Оливер все стоит, уставясь на девочку. Видно, у него ум за разум зашел, вот ведь какую глупость сморозил: как будто у голубоглазых отца с матерью ребенок не может быть голубоглазым! Но ведь двое других, оба мальчика, они-то кареглазые? Тут, стало быть, что-то новенькое. Все эти годы у Оливера были свои соображения, хоть он и похоронил их в тупом безразличии, а теперь он столкнулся с загадкой. Где была Петра? Дома. Дома она была. Женщина, которая дает пощечины самому Шелдрупу Юнсону, не станет шляться где ни попадя.

Значит, она не шлялась, где ни попадя, но тогда?..

Безмерная и безумная ревность охватывает калеку, впервые испытывает он эту странную жгучую боль, она столь сильна, что лицо его искажается, и это в свою очередь пугает Петру, она прикрывает от него ребенка. Оливер ковыляет к окну, выглядывает на улицу. Если считать, что карие глаза были законными, были, так сказать, семейными глазами, как же можно считать таковыми же голубые? Он в курсе всех сплетен, которые ходят о нем и его семье, люди не настолько деликатны и незлобивы, чтобы не довести до него эти толки, последняя сплетня заключалась в том, что Петра вовсе не всегда давала Шелдрупу пощечины. Ну и что, у Шелдрупа Юнсена глаза карие, а у малышки в люльке голубые.

Червь точит сердце Оливера. До сих пор ему жилось вольготно, но теперь все, в нем навсегда угнездились беспокойство. Беспокойство? Не то слово: это стало

наваждением, это стало мукой. У него вошло в обычай подстергать Петру за углом и, внезапно выскочив, схватить ее за грудки и спросить, куда это она собралась. Днем и ночью он был начеку, не знал ни минуты покоя, волосы у него стали седеть. Единственное место, куда Петра сейчас, как и прежде, могла ходить беспрепятственно, так это к Юнсену-С-Пристани, в дом или в лавку, туда Оливер отпускал ее без возражений. Но он шел следом, чтобы убедиться, что она и вправду идет именно туда.

Безумие Оливера не проходило, ему некогда было выезжать в море, ведь он все подстергал Петру за углом, оставалось кланчить рыбу у других рыбаков, чтобы хоть что-то принести домой. А эта дура Петра не только не умела смягчить его ревность, она, наоборот, растревляла его. Когда прошло некоторое время и она поняла, что муж ее не убьет и не изувечит, она нарочно стала выводить его из себя, доводить до белого каления. Он, видно, думал, что источник голубых глаз — Маттис-Столяр, и просто не находил слов, которые могли бы выразить все его презрение к этому носорогу, этому юбочнику. А Петра защищала Маттиса.

— Ну что, скажешь, и нос у него нормальный?

— Да. Ему идет такой нос.

— Замолчи! Раз уж он столяр, построил бы лучше для своего носа стойло.

Сколь это ни удивительно, похоже, что не у него одного вызывали что-то вроде ревности голубые глаза, но консул Юнсен наверняка просто шутил да прикидывался, что ревнует, говоря с Петрой на эту тему.

— Я слышал, Петра, что у тебя родилась девочка?

— Да.

— На этот раз с небесно-голубыми глазами?

Петра потупила взгляд и молчала.

— Не всем дано иметь небесно-голубые глаза, — изрек этот большой шутник. — Нет, — объявил он вдруг, — у меня нет работы для твоего мужа. Попытай счастья у Бакалейщика-Ольсена.

И снова Петре пришлось не солоно хлебавши возвратиться домой, домой к семье и к нужде, все было ужасно, кто еще был так жестоко испытан судьбой? Порой она плакала и от души жалела себя, но она была слишком молодой и здоровой, чтобы совсем пасть духом, нередко выходила она постоять в дверях и смеялась и болтала с прохожими, стало быть, не так уж ее пришибло.

Весна сменяла зиму, осень — лето, время шло, оба мальчика уже ходили в школу, Франк был способнее, его освободили от платы за обучение и каждый год награждали грамотами, но и бельчонок Абель был не дурак, только ужасный озорник, и интересовали его отнюдь не школьные уроки. И так оно все и шло, помогала привычка, и сам Бог укрепил эту семью упрямой волей выжить. Маленький Абель, например, большую часть еды и одежды промышлял себе в городе сам. Впрочем, иногда эти беличьи хлопоты оборачивались для него стыдом; так, однажды, оказавшись за городом и умирая с голоду, но никак не находя еды, а также фуфайки на бельевой веревке, которую он мог бы получить даром, он просто спросил хозяев одной усадьбы, нельзя ли ему купить у них чашечку кофе. Но у них-то совсем не было стыда, они спросили бельчонка, а разрешают ли ему уже пить кофе. Ха, надо же додуматься — разрешают ли ему! Эту усадьбу он будет обходить за версту, пока не вырастет большой.

Братец Франк не искал приключений, для этого он был слишком умный. Доставалась и ему в городе то какая-нибудь еда, то одежонка, более того, раз в год он получал полный комплект в лавке консула Юнсена и приходил домой одетый с иголки с ног до головы. Такой уж человек был Юнсен-С-Пристани, он великолепно владел искусством жить сам и давать жить другим.

И все шло своим чередом. Бывало, что и бабка снова отправлялась в небольшое путешествие и, возвращаясь, приносила роскошные яства — картошку, мясо, мешок муки, круг сыра. Да уж, бабка вносила в дом достойную лепту; чего она не хотела — так это обратиться в кассу для бедных, став притчей во языцех для других женщин у колодца, а сама по себе она была готова обходить приход за приходом, и снедь, которую она приносила из деревень, была хорошим подспорьем. Случалось, если бы не она, семье пришлось бы положить зубы на полку, но бабка теперь стала усердной добытчицей.

Хуже всего приходилось самому Оливеру. Недуг все не отпускал его. На короткое время Оливер снова увлекся рыбной ловлей, только лишь потому, что у него появилась новая лодка. А дело было так: один раз выехал он в свое морское путешествие и нашел эту лодку, ее носило по волнам, неслыханная удача, наверно, лодка где-то была привязана и оторвалась, возможно, ее принесло издалека, не исключено, что и из-за границы. Конечно,

Оливеру следовало заявить о находке, кто же в этом сомневается; но как бы там ни было, а он, и глазом не моргнув, оставил ее себе. Никто не попрекнул его, калек действительно нужна была эта лодка, в своей собственной утлой скорлупке он рано или поздно пошел бы ко дну. Сначала-то он намеревался продать лодку, деньги были ему важнее, но этого город ему не позволил, это было бы уже слишком: нет, сказали люди, если уж ты ее нашел, то и пользуйся ею сам. И, стало быть, Оливер все свободное время посвящал рыбной ловле и пользовался новой лодкой.

Все свободное время...

Свободен он был не часто, недуг приковывал его к суше, приковывал к дому. Петра-то ведь снова выказывала легкие признаки отвращения к кофе, и теперь Оливер был прямо-таки изнурен своей сторожевой службой. Да и шутка сказать: он месяцами прятался по углам и закоулкам, подстерегал, шпионил и подслушивал. Одежка на нем была худая и в животе пусто, но ревность часами удерживала его на посту, сердце колотилось у самого горла, мучительная ревность пожирала его, брючина на деревянной ноге трепыхалась на ветру, словно флаг, обмотавшийся вокруг флагштока. По существу, свободен он не был никогда, ночью он так же мучился подозрениями, как днем, он работал сверхурочно, работал, как каторжный. Если б еще недуг свалил его с ног или убил, так нет же! Шпионить за бабой! Может, лучше пусть идет на все четыре стороны, и в дом ее не пускать? Ну как бороться с этой наглостью, с нахалкой, которая делает невинные глаза и никогда не устает лгать? Бывало, он ждет Петру с одной стороны, а она приходит совсем с другой, так где же тогда она была? Иногда она возвращалась, напевая, почему бы ей не напевать, ничто ее не угнетало, и о чем же она думала, о чем вспоминала, облизываясь?

— Что ты тут стоишь и подстерегаешь?— говорит она только, вовсе не готовая провалиться сквозь землю.

— Где ты была? Ночь на дворе.

— Я была у консула. Что это у тебя в руке, нож?

— Как видишь.

— Твой разделочный нож. Зачем он тебе сейчас?

— Я потрошил рыбу на причале.

— Неправда. Ты хотел меня напугать.

— Прикуси язык!

— Не старайся, я не из пугливых.

Нет, Петра чувствует себя уверенно, Оливер мерзкий трус, ничтожество, плевала она на него. И потому она просто проходит мимо него и входит в дом, муж плетется за ней. Она ненадолго задерживается в сенях, хочет устыдить его, показав, что именно она, ночная гулена, из них двоих более порядлива и заботлива: ведь это она запирает за ними обоими входную дверь.

— Вот как, хочешь запереть дом,—говорит Оливер.— Бьюсь об заклад, что Абель еще не пришел.

— Ну и пусть ночует на улице!

— Не будет он ночевать на улице!— в ярости кричит Оливер и делает быстрое круговое движение верхней частью своего тучного тела, оттирая жену в сторону.

Она вскипает и говорит:

— Почему бы тебе сразу не убить меня на месте.

И снова вспыхивает добрая ссора, они входят и начинается страшный шум. Бабка лежит в старой половине, где она спит вместе с малышкой и Франком, она приподнимается на локте и слушает, потом укладывается снова, опять то же самое, все это она уже слышала. Ревность ненадолго отпустила Оливера, ему хорошо, он доволен собой: Петра так и отлетела к стене, легкая как перышко, он настоящий мужчина, хо-хо, он расправляет плечи и выпячивает грудь.

Ночная ссора между родителями пошла Абелю на пользу: когда он, стараясь не шуметь, заявляется домой и ложится в постель, никто не говорит ему ни одного худого слова.

IX

Ни с чем не сравнимой мукой было жить в этом дьявольском напряжении. Оливер день за днем прогуливает рыбалку, он бродит по улицам и все никак не находит покоя. А сегодня они завесили окна в его комнате юбками и передниками, и он не может даже заглянуть туда, и потому топчется возле дома и чувствует себя идиотом.

Наконец ему удастся поймать бабку, и она говорит:

— Опять девочка.

Его это совсем не интересуется, знали бы они, насколько ему это безразлично; тем не менее он поддерживает разговор, чтобы узнать что-то еще.

— Вон как, опять девочка. Все ли ручки-ножки у нее на месте, и вообще, все ли в порядке?

— Да, насколько я могла заметить.

— Стало быть, она не одноногая?

— Нет.

— Это хорошо. С деревянной ногой — не жизнь. Что я еще хотел спросить, она уже смотрит? Глазки открыла?

— А что?

— Да нет, просто так. Почему она не кричит? Уж не мертворожденный ли ребенок? Я хочу на нее посмотреть.

— Она спит.

Опять Оливеру приходится ждать, прогулять рыбалку, бродить по улице и ждать. В конце дня ему показывают девочку, она проснулась, и он подносит ее к окну, чтобы рассмотреть цвет глаз. Петра лежит и наблюдает за ним, она чувствует себя спокойно и уверенно, все в порядке: глазки у ребенка карие.

Просто удивительно, насколько этот маловажный факт успокоил измученного отца, он похвалил ребенка и ласково пошутил с Петрой: «Ты умеешь, когда захочешь!» Хотя дело шло к вечеру, он выехал на рыбную ловлю. Все эти месяцы он неистовствовал, осыпая Петру бранью в своем сердце, он подозревал, что она и на этот раз вела себя подло и низко, но теперь мнение его изменилось, не такая уж она плохая, наоборот, она просто чудо, убей меня Бог! И вот увидите, сегодня он таки наловит рыбы, если вообще рыба ловится в море. Снова карие глаза, самые что ни на есть фамильные глаза, природа победила, все пришло в порядок.

Ох уж этот ненормальный, одному Богу известно, каким образом в его голове сходились концы с концами.

Однажды он встречается Шелдрупа Юнсена и говорит ему:

— Вот уж скоро зима, и теперь будь добр подумать обо мне.

— Я должен подумать о тебе? — удивляется Шелдруп.

— Да. О том, что я калека.

— А что я могу тут поделывать?

— И что у меня куча детей.

— Какие глупости говорят иногда люди! — растерявшись, замечает Шелдруп.

Оливер почтительно улыбается и опускает глаза.

— Да-да, может, оно и так, — говорит Оливер. — Но ты будь добр дать мне работу.

— Я? Какую работу?

— На складе.

— Об этом тебе надо поговорить с моим отцом.

Оливер медленно поднимает глаза, вперяет в Шелдрупа решительный взгляд и отвечает:

— Нет, поговори с ним ты.

Что это, угроза? Юный Шелдруп немного отступает, тоже вперяет взгляд в калеку. Но глаза его ничего не выражают. То есть сначала-то в его взгляде вспыхнула ярость, но потом он стал ничего не выражающим. Очевидно, Шелдруп успел немного пораскинуть мозгами, вспомнить свое поведение, вспомнить пощечину и сплетни, не дай Бог все это начнется сначала, и потому он отвечает:

— Я, конечно, могу поговорить с отцом, если ты так хочешь.

— Вот и хорошо.

Через несколько дней он опять встречает Шелдрупа, и тот спрашивает:

— Как ты думаешь, ты можешь взять на себя управление складом?

Взять на себя управление?.. Это, конечно, было чистой воды хвастовство и напыщенность со стороны Шелдрупа, раньше на складе у Юнсенов вообще не было постоянного человека, просто кто-нибудь из приказчиков забегал из лавки и выполнял требуемую работу, так неужели Оливер, работая там полный день, не справится с такими пустяками?

— Отец хочет поговорить с тобой,— добавляет Шелдруп.

Домой Оливер приходит другим человеком, важной шишкой—заведующим складом.

— Ну так как,—спрашивает он Петру,—Юнсен-С-Пристани отказался взять меня на службу?

— Да, отказался. И больше я его просить не буду.

Молчание, и это молчание Оливер умеет сделать значительным, сделать судьбоносным.

— И не надо, я сам с ним кой о чем потолкую,— говорит он наконец и выходит из дома.

Женщины переглядываются. В общем-то, если Оливер и пошел к консулу, это ничего не даст, а возможно, он вовсе и не пошел. Петра презрительно вскидывает голову.

Вернувшись, Оливер довольно долго молчит—пытается и молчит. Женщины не решаются задать ему

вопрос, они лишь чуть приметно улыбаются, и Петра все-таки спрашивает:

— Кажется, кто-то собирался пойти поговорить с консулом?

Наконец-то Оливер нарушает молчание и произносит:

— Сегодня вечером заштопайте мой исландский свитер. Как бы я не замерз на складе.

Петра только что не закричала:

— Так ты будешь работать на складе?!

И даже бабка так и застыла с раскрытым ртом.

Но Оливер — тот смотрит на них с величайшим изумлением, нет, право слово, эти женщины для него просто загадка.

— Разумеется? — отвечает он с вопросительной интонацией.

Они только руками всплеснули.

— Разумеется, я буду работать на складе, — говорит он. — Могу приступить, когда захочу. Я приступлю с завтрашнего дня.

Они долго говорят об этом, обсуждают со всех сторон: да, это перемена в жизни, твердый заработок, удача, это очень много значит для них всех! И вот он сидит, человек, который сумел этого добиться, хозяин в доме, раздувшийся от гордости, фатоватый, в шляпе набекрень, расправив плечи и выпятив грудь. Он снова берет слово:

— Я же сказал, что пойду поговорю с ним.

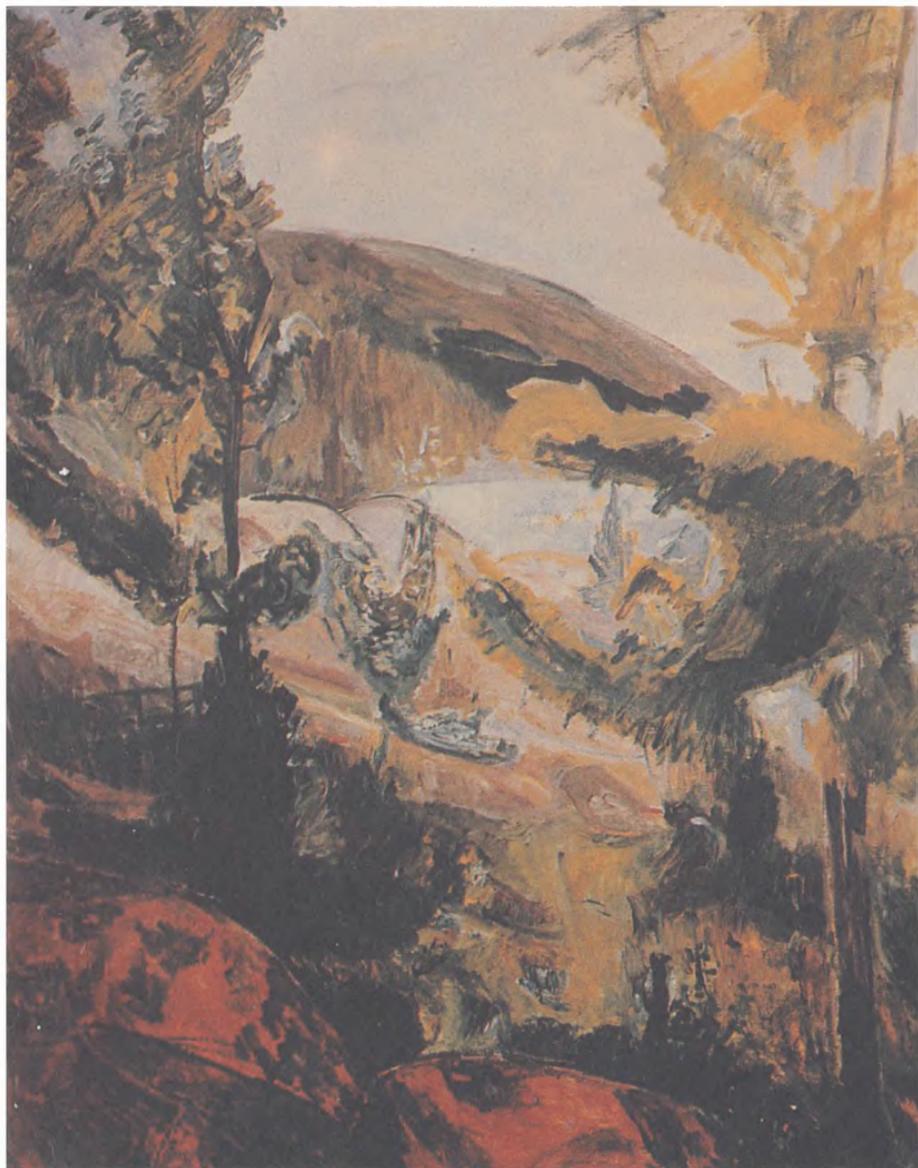
— Да, но я-то просила консула много раз, — возражает Петра.

Оливер отвечает:

— Когда приходит мужчина, это совсем другое дело.

Да, это, конечно, перемена в жизни. Но Оливер, который знает, на какие условия он согласился, думает про себя: конечно, это не даст им сбережений в банке в буквальном смысле и райских кущ в переносном, Юнсен-С-Пристани не слишком-то расщедрился; но, с другой стороны, он Первый консул, для семьи Оливера он стал вроде как спасителем.

Работа на складе была не пыльная, как правило, от Оливера требовалось только ходить туда каждый день и присутствовать на месте. Самые напряженные дни выпадали ему, когда к маленькому причалу пришвартовывался грузовой пароход, который доставлял муку и патоку, кофе, керосин и льняное масло и забирал рыбу и ворвань. Оливеру приходилось принимать товар, размещать его на складе и в погребе, и в таких случаях к вечеру ему



Т. Эриксен. Холмсбю. Пейзаж. 1916 г.



Я. Хейберг. Сад в Келсэй. 1964 г.



Э. Мунк. Умирающие деревья. 1923 г.



Э. Мунк. Осень. 1897—1898 гг.



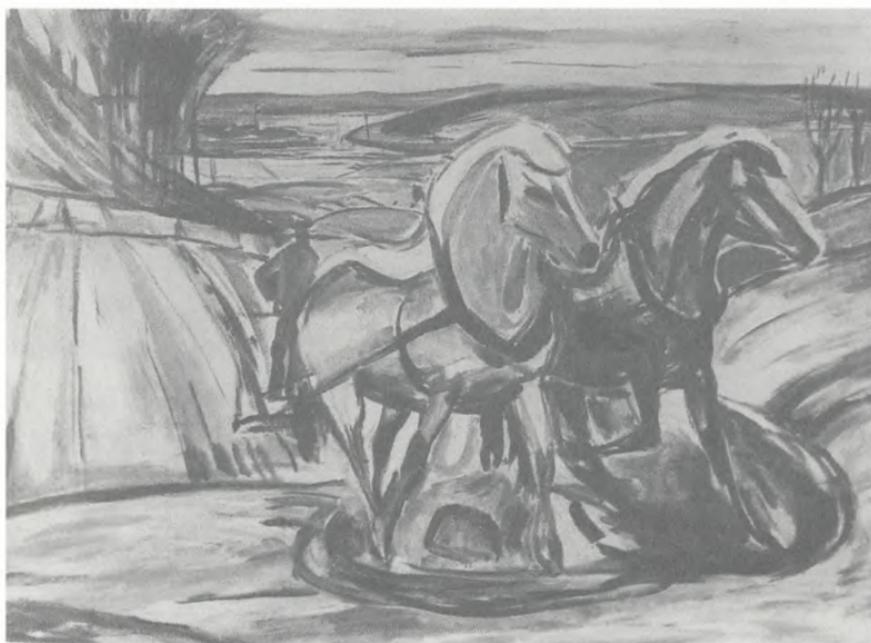
Э. Мунк. Плодородие. 1898 г.



Э. Мунк. Преображение матери. 1898 г.



Э. Мунк. Лошади с плугом. 1912 г.



Э. Мунк. Весенняя пахота. 1916 г.



Э. Мунк. Желтые бревна. 1911—1912 гг.



Э. Мунк. Аллея. 1890 г.



Э. Мунк. Скачущая лошадь. 1910—1912 гг.



Э. Мунк. Солнце. 1912 г.



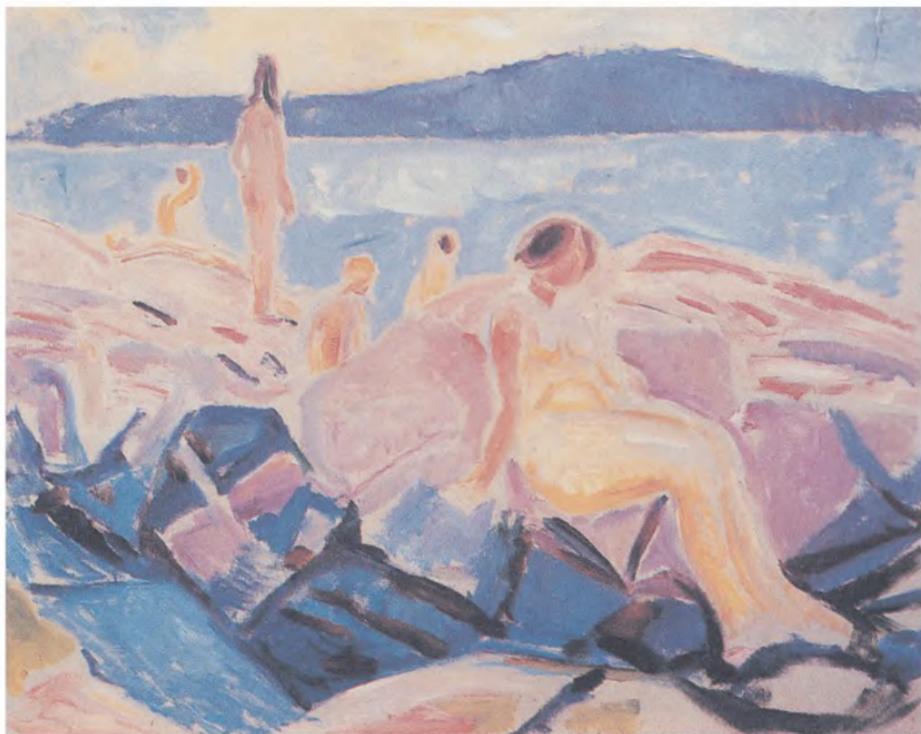
Э. Мунк. Ночное настроение. 1890 г.



Э. Мунк. Красный дом и ели. Ок. 1935 г.



Э. Мунк. У окна. 1882—1883 гг.



Э. Мунк. Разгар лета. 1915 г.



Э. Мунк. Одинокие. 1895 г.



Э. Мунк. Красное и белое. 1894 г.



Э. Мунк. Одинокая.
1891—1892 гг.



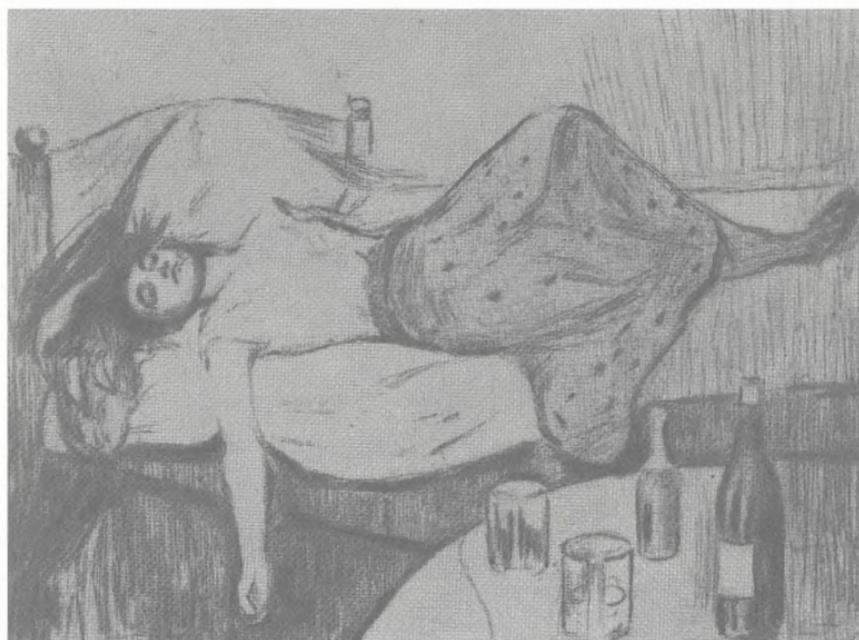
Э. Мунк. Дамы на мосту. 1935 г.



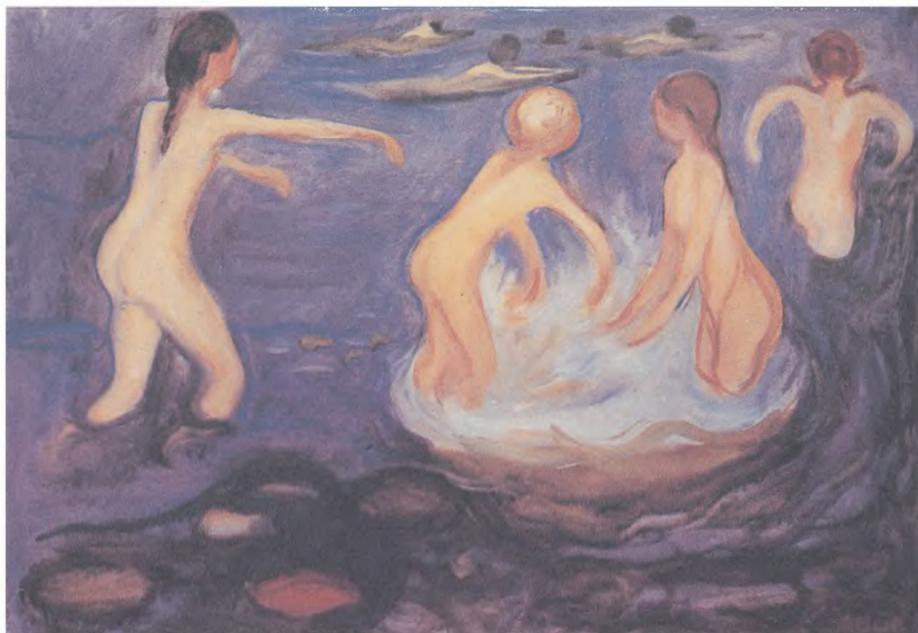
Э. Мунк. Из серии «Любовные мотивы». 1893 г.



Э. Мунк. Женщины. 1893—1894 гг.



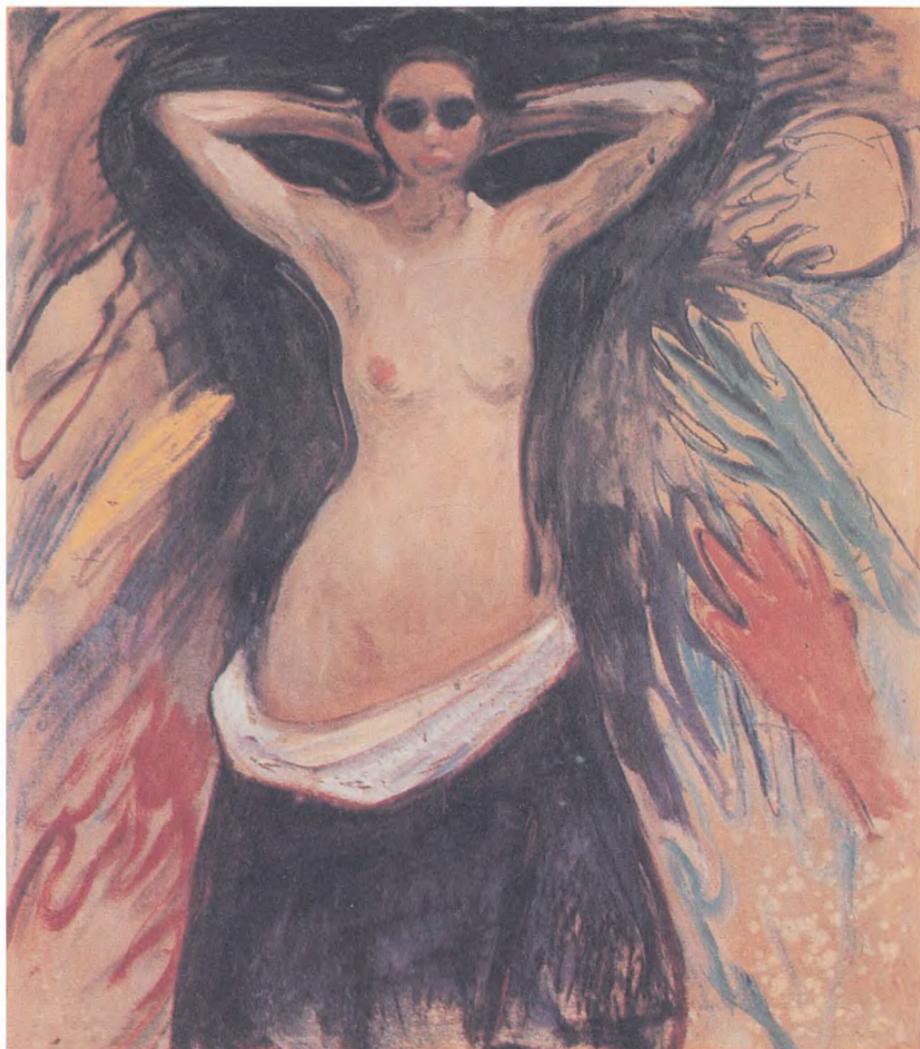
Э. Мунк. На другой день. 1895 г.



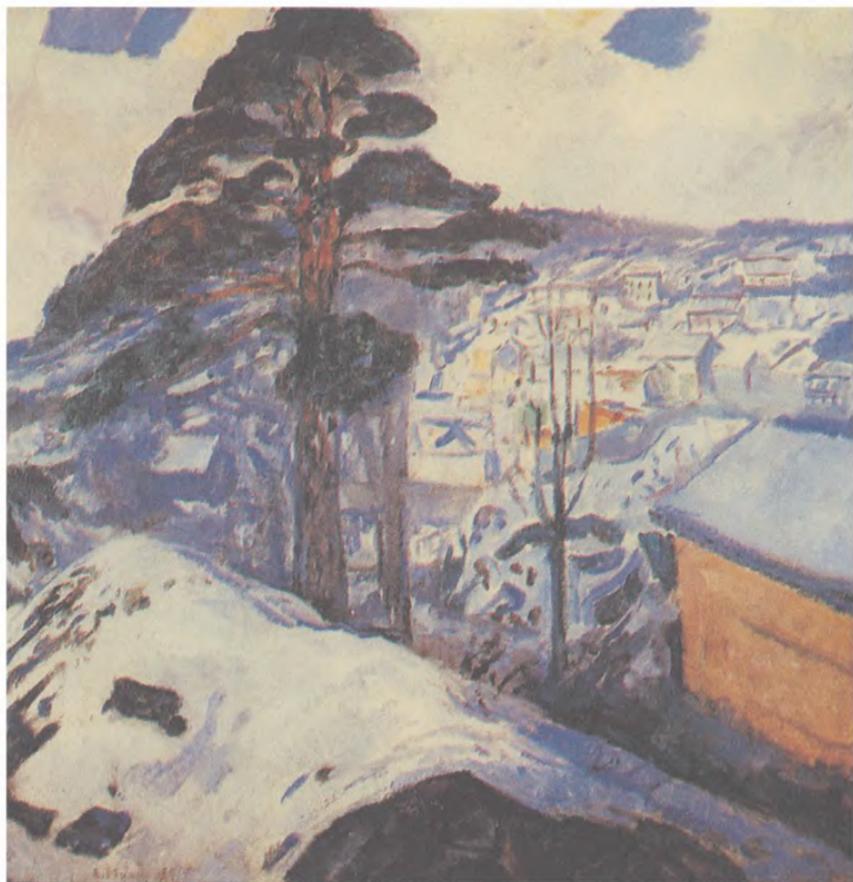
Э. Мунк.купающиеся девушки. 1901—1902 гг.



Э. Мунк. Плачущая девушка. 1894 г.



Э. Мунк. Руки. 1893 г.



Э. Мунк. Зима в Крагерё. 1912 г.

удавалось устать. В остальное же время в его обязанности входило подметать склад и поддерживать в нем порядок. Чтобы открытый мешок кофе не оставался забытым на полу посреди склада и маленькие мальчики не могли залезть и найти это сокровище. Когда приходили покупатели с запиской из лавки, Оливер читал записку и в соответствии с ней отпускал мешок муки, двадцать саженей веревки или рыбы на вес. В обязанности его входило также каждое утро наполнять ящики в лавке колониальными товарами со склада; наконец, он должен был составлять список товаров, запасы которых на складе начинали иссякать, чтобы в конторе могли своевременно сделать заказ на новые.

Если учесть все вместе взятое, должность, которую консул Юнсен учредил специально для Оливера, была не такая уж маленькая, и у людей появилась еще одна причина одобрить образ действий этого почтенного гражданина. Кто спорит, Оливер получил увечье на корабле консула Юнсена, но это не налагало на того никаких обязательств, лишь взывало к его милосердию и великодушию. А этих качеств Первому консулу было не занимать, он был важным лицом и к тому же благодетелем.

Так что же все-таки было не так? А ничего. Случалось, что на складе стоял дурной запах от залежалой рыбы либо испорченной печенки, и в особенности летом на складе воняло неимоверно, ну и что с того? В общем и целом Оливер всегда умел довольствоваться малым, он зарабатывал на маргарин к хлебу, на воскресный отдых, на то, чтобы немножко принарядиться, на изумительно красивый галстук, новые ботинки, которые всегда у него были начищены до блеска, новую шляпу, которую он носил набекрень. Благодеяние консула Юнсена оказало влияние и на окружающих, Оливер замечал по некоторым мелочам, что город больше не пренебрегает им, и адвокат Фредриксен, не желая идти вразрез с общим мнением, оставил его в покое с домом.

Да, это была удача! И отраднее всего был сам факт, что Оливер управлял своим складом, своим маленьким царством, воистину, он был чем-то вроде властелина и почти важным лицом. Это щекотало его самолюбие, ему очень нравилось, когда люди приходили к нему в качестве клиентов и говорили ему «добрый день», прежде чем предъявить записку. Он отвечал «добрый день», такой уж он был человек, что в свою очередь ни к кому

не относился с пренебрежением. Выказанная ему вежливость вознаграждалась, не без того, ведь от него во многих отношениях зависело благо клиентов: он мог недовесить или отпустить с походом, отмерить с лихвой или в обрез.

Йорген-Рыбак пришел с запиской, Каспер, тот самый, что был когда-то матросом на «Фиис», а теперь больше не решался оставить свою благоверную одну, чтобы у нее не возникло искушения вновь совершить заграничное путешествие,— так вот, этот Каспер пришел с запиской; пришел Мартин-С-Горной-Пустоши, Маттис-Столяр и Карлсен-Полицейский, а вслед за ними весь город, и Оливер встречал всех в дверях склада, и ему они излагали, за чем пришли. Ни дать ни взять Иосиф, который стал большим человеком при дворе египетского фараона.

— Да, ты нынче высоко залетел,— говорил Йорген-Рыбак, чуждый всякой зависти.

— Не жалуясь,— отвечал Оливер.— Само Провидение поставило меня на этот пост и не забывает обо мне.

Он теперь уступил Йоргену на вечные времена свое место на том клочке, который он именовал рыбным базаром.

— Бери все, ящики и участок, пользуйся на здоровье! Ты не раз уделял мне рыбу из своего улова, когда я был нездоров и не мог выйти в море,— добавляет он, расчувствовавшись.— Сам-то я и моя семья, слава Богу, обеспечены хлебом насущным, а что еще, к примеру, нужно нам, грешным! И к тому же у нас обоих, Йорген, дети не хулиганы какие-нибудь, а Франк ходит в среднюю школу и становится все учнее, представляешь, стоит ему увидеть что-нибудь написанное по-немецки, он тут же и прочтет это.

Йорген кивает, подтверждая, что его дети тоже говорят про Франка с большим почтением.

— Это просто чудо, про такое только в книжках пишут. Он сможет устроиться куда захочет, хоть в банк, хоть в контору, тут осечки не будет. Если ты меня немножко подождешь, Йорген, мы пойдем домой вместе.

Оливер вынул носовой платок и протер кожаную полоску внутри своей шляпы и стер муку и пыль с лица, щеткой надраил ботинки, почистил костюм, заставляя Йоргена ждать. Он хотел дать понять Йоргену: положение обязывает, он теперь уже не тот, прежний Оливер. Йорген терпеливо ждет. Затем Оливер запирает на ночь

дверь склада, она душераздирающе скрипит в петлях, но для Оливера это сладостный звук, ежевечерняя лебединая песнь. Потом он кладет в карман тяжелый ключ — все, он готов.

Они идут домой, Йорген несет тяжелую канистру с масляной краской и слушает Оливера, который говорит с виду как ровня и вроде бы смиренно, но на самом деле беспрерывно хвастается.

— Ты, значит, решил перекрасить свой дом?

— Да.

— Хорошо тебе, ты можешь сделать это сам. Мне придется нанять маляров, чтобы покрасить дом, у самого нет времени.

— Да, конечно.

— И все же я считаю, что все повернулось для меня благоприятно, я зато в состоянии нанять и маляров, и кто еще мне там понадобится для ремонта. Это, конечно, обойдется дорого, но тут уж ничего не попишешь.

Йоргена явно что-то гнетет, он говорит:

— Надо бы нам постараться, чтобы наши мальчишки побольше сидели дома.

— Мальчишки? А почему?

— Сегодня они опять к вечеру вышли в море. Бывает, я начинаю тревожиться за них.

— За Эдеварта с Абелем? Нет, Йорген, это ты зря,— отвечает Оливер, разыгрывая просвещенного отца, отца без предрассудков.— Наши парни не пропадут.

— Они часто возвращаются очень поздно. Я был бы рад, если бы ты не давал им лодку.

— Оставь мальчиков в покое,— говорит Оливер.— Когда я еще служил матросом и бывал во всех городах мира, я повсюду видел маленьких мальчиков в лодках. Поглядел бы ты на Тихий океан, а они прыгают в него с лодок и плавают как угри.

— Но из-за этого они не учат уроки.

Оба отца основательно обсуждают вопрос, каждый высказывает свое мнение, но ведь у Оливера из них двоих больше жизненного опыта, он объездил весь свет, так что Йорген мог бы к нему и прислушаться. Но Йорген вдруг говорит:

— Да, но я подозреваю, что они воруют рыбу.

— Ну что ж,— говорит Оливер. Потом ему приходит в голову, что воровство непростительно с точки зрения его новой должности, и он вдруг резко останавливается.— Воруют, говоришь? Воруют рыбу?

— Не у меня. Но Мартин-С-Горной-Пустоши жаловался на них.

— Раз так, я поговорю с мальчишками,— заявляет Оливер и кивком подтверждает, что поговорит с ними как следует.

Эти двое, Йорген-Рыбак и Оливер, много раз за все эти долгие годы сходились для беседы, и всегда они расходились по домам без церемоний, даже не прощаясь; но сейчас Оливер спрашивает:

— Не заглянешь ли к нам?

Йорген тугодум и не отличается находчивостью, он не сразу понимает, что имеет в виду сосед.

— Не знаю, может, у Петры найдется кофе с печеньем, мы бы их отведали.

— Благодарствую, но сегодня уже поздно,— отвечает Йорген на это из ряда вон выходящее предложение.

— Ну, как знаешь. Привет супруге!

Йорген сроду не слыхал ничего подобного: привет супруге!

Придя домой, он не мог не поделиться с женой, а Лидия-то на три аршина под землю видит, она тут же поняла в чем дело.

— Рехнулись, вообразили о себе невесть что,— сказала она.— Кофе-то теперь им обходится не слишком дорого, Оливер берет его на складе, но печенье! И знаешь, Петра была у самого директора школы и спрашивала, может ли Франк стать пастором.

Лидию можно понять, Лидия, у которой все так и горит в руках, не свободна от зависти. Ну какие у Петры причины для чванства— вот разве только куча кареглазых детей, ха-ха! Право же, нечего так уж лезть из кожи. Серое пальто, которое она получила до замужества, Петра уже больше не носит, этого никто от нее и не ожидает; но замужней женщине не подобает иметь светлое пальто, и потом еще одно— кирпичного цвета, которое только что презентовала ей фру Юнсен, это неприлично, она выставляет себя на посмешище!

Бедная Петра, весь мир против нее, а она, в сущности, несчастнейшее существо, стреноженное животное, взбесившееся от своих уз. Больше всего бед ей самой и окружающим приносят ее слишком высокие требования, ее вечная неудовлетворенность. Ну вот есть же у нее теперь дом и средства к жизни, муж и дети, разве малого она достигла? Разве стоила большего? Да почему же ей не чувствовать себя счастливой с таким мужем, как Оливер,

который занял высокий пост управляющего складом Юнсена?

Оливер входит в дом и вешает массивный ключ на большой гвоздь, вбитый в оконный косяк. Он сам дал Петре несколько скиллингов, велел купить в кондитерской сладких булочек, теперь они поданы к столу, но их немного, совсем не столько, сколько положено ему, кормильцу, к тому же Петра ведет себя в высшей мере неучтиво, она кладет их прямо на стол. Чтобы поучить ее хорошим манерам, Оливер поднимает свою чашку и перекладывает хлебцы на блюдечко, после чего вперяет взгляд в жену. Но Петра лишь выказывает свою вздорность и говорит: «Я не знала, что ты пришел к нам в гости». Оливер верен себе, он не вступает в пререкания, если этого можно избежать, он дает младшим дочкам каждой по булочке, и ему остается одна. Ну да, он сладкоежка, и в этом тоже у него женский вкус, и он с наслаждением ест, прихлебывая кофе; после этого он набрасывается на ужин, состоящий из ковриги хлеба с маргарином.

— Что это Йорген нес в большой канистре?

— Масляную краску.

— Неужто он собирается красить дом?

— Есть такое намерение.

— Да, хорошо некоторым, они красят свои дома и вообще наводят красоту.

Оливер молчит.

Немного погодя она вновь начинает:

— Маттис-то, видать, в гору пошел, он повесил у себя на стену красный почтовый ящик.

— А ты откуда знаешь? — мгновенно откликается Оливер.

— Откуда? Проходила мимо и видела.

— А чего тебе занесло в ту часть города?

Петра фыркнула:

— Уж не прикажешь ли спрашивать у тебя разрешения, прежде чем высунуть нос из дома?

— Почему ты не вышла за Маттиса? — спрашивает Оливер. — Теперь у тебя был бы красный почтовый ящик.

Петра молчит.

Дело-то, оказывается, обстояло так, что она наступила мужу на любимую мозоль. Да, конечно, Оливер стал теперь добрым и благодарным Провидению, которое вознесло его на такую высоту, он больше не доходит до богохульства, философствуя о своей горькой участи, и считает за стыд и позор, если это делают другие, он

действительно доволен и счастлив. Но Маттис-Столяр для него ложка дегтя в бочке меда, хорошо бы он вовсе исчез с лица земли, к примеру, провалился в преисподнюю, убей меня Бог! Можно только посмеяться над безумием Оливера, он, видите ли, ставит столяра в какую-то связь со своей голубоглазой девочкой, дайте только срок, он еще всем докажет, когда у ребенка вырастет лошадиный нос.

Вообще-то Маттиса-Столяра было не в чем упрекнуть, о нем не шла молва, будто бы он ведет разгульный образ жизни. Этот основательный мужчина, у которого теперь был и свой дом, и своя мастерская, где он работал вместе с подручным и учеником, так и не женился. Он был закоренелый холостяк. Похоже, он сказал самому себе: нет уж, спасибочки, мне уже однажды натянули нос, воп какой он у меня длинный, хватит с меня, решено и подписано! Теперь у него служила в экономках Марен Салт, а ей было за сорок, на нее уже никто не польстит. Так и стоял Маттис год за годом у себя в мастерской, пилил и строгал, уголки рта у него скорбно опустились, и выглядел он все более жалким, прямо юродивый какой-то, но работу свою справлял как следует.

Но как раз то, что Маттис не женился, и делало его подозрительным в глазах Оливера. Что замышляет этот человек, уж не подбирается ли он к Петре? Всякий раз, как в разговоре поминалось имя столяра, на Оливера вновь нападала ревность.

— Можешь ты мне объяснить,—сказал он,—что за особый шик в почтовом ящике на стене?

— Ну как же, это все-таки украшение и как бы радость для глаз. Не на каждом доме он есть.

— Уж я-то поездил по белу свету, так я видал и позолоченные почтовые ящики.

— Позолоченные?

— Сверху донизу. И на них нарисована императорская корона.

Может, оно и так, только Петра сыта по горло байками о том, что видел Оливер в своих странствиях по белу свету.

Х

Хорошо, что Оливер не отобрал у мальчишек лодку. Да и на что это было бы похоже—не давать людям добывать себе пропитание!

Четыре рыбешки, о которых шел тот оскорбительный разговор, они и вправду «нашли» в садке у Мартина-С-Горной-Пустоши, и теперь они сами пришли к Мартину и повинились. Они объяснили, что взяли их взаймы, потому что обещали принести на докторскую кухню дюжину рыбин для жарехи, и как раз четырех им не хватило. И вот, пожалуйста, мы возвращаем четыре рыбины, мы пришли сами, никто нас не посылал, а в следующий раз, наоборот, мы дадим тебе взаймы четыре рыбины, Мартин!

Бедняга Мартин, ему, право слово, было неловко, что он столь безответственно оболгал честных людей, он пробормотал, что дело пока терпит, они могут не спешить возвращать ему долг.

— Нет,—сказали они,—возьми этих рыбешек, и спасибо за помощь.

Но на самом-то деле это Оливер поговорил с мальчишками, как и обещал, а точнее, он дал им новенькую крону за то, чтобы они уладили дело. Ну да, Оливер себе на уме, он был добр к детям, а они платили ему за это любовью, Абель иногда покупал отцу сладости.

Вы спросите, откуда он брал деньги? Ну как же, Абель зарабатывал скиллинг-другой, ведь он рыбачил.

Для этих мальчишек наступил такой период, когда их целиком захватило предпринимательство. Они никогда не обсуждали уроки или учителей, а только состояние своих финансов. Голова постоянно была занята расчетами: кое-что — совсем немного — они могли ссудить товарищу, оказавшемуся на мели, кое-что — тоже немного — иногда проигрывали в пуговицы, но остальное придерживали. У каждого скопилось не так уж мало, у них было и серебро и бумажные деньги, но и расходы у них были нешуточные. Эдварт теперь постоянно покупал себе курительный табак в серебряной бумаге, он утверждал, что без этого его мучит морская болезнь; Абель, к сожалению, до курения еще не дорос, ему деньги были нужны на сладости, на игрушечный пистолет и пистоны, на красный мелок, чтобы писать на стенах. На все это требовалось много денег. Но мальчики были трудолюбивы и усердно ловили рыбу.

Но потом, когда школа всерьез предъявила свои права, их рабочий пыл ослаб, хотя было очень обидно тратить так много времени и сил на учебу. Они отыгрывались, рыская по городу в поисках приключений, и при этом попадали в разные переделки. Особенно нравилось

им обирать фруктовые сады сердитых хозяев. Воровать у добрых хозяев, вроде почтмейстера или Бакалейщика-Ольсена, им было неинтересно, зато аптекаря они облюбовали себе в жертву. В прошлом году он выстрелил в них солью, когда они проникли в его сад, гонясь за мышью, в этом году они мстили ему, безжалостно распугивая кур, срывая флаг с флагштока и опустошая сад.

Во всех этих проделках был еще и третий соучастник, вернее, соучастница, и хотя она была всего лишь девочка — Лидия-Маленькая, от горшка два вершка, — но она была рьяной и способной ученицей, и в особенности изумительна как часовой, подающий сигнал об опасности.

Эдеварт, самый старший, лучше всех умел придумывать, разрабатывать планы, заморыш же Абель был тощ и легок и незаменим, когда требовалось куда-нибудь забраться или пролезть в узкую щель. Трудной задачей было нарвать чудесной иссиня-черной черешни с высокого дерева в саду у аптекаря, подобраться к ягодам можно было только с крыши сарая, и сделать это мог только Абель. Был поздний вечер, но светила луна, каждый находился на своем посту. Лидия рыскает глазами, Эдеварт подpiraет нагромождение пустых ящичков, по которым Абель карабкается наверх. Не так уж скоро ему удастся взять штурмом крутую крышу, но бельчонок продвигается вперед, цепляясь за черепицы ногтями; вот он наконец оседлал конек крыши, но, чтобы дотянуться до черешен, надо продвинуться еще довольно далеко в сторону, — и когда наконец он уже почти преодолел это расстояние, часовой тихо кашлянул. Лидия увидела свет из двери, открывшейся в аптеке. Ну да, Абель слышит сигнал. Но сейчас, когда он уже почти у цели, он решается немного помедлить, и тут часовой кашляет громко — аптекарь стоит уже у самого сарая.

— Ага, попался! — кричит он. — А ну спускайся, чертов пострел! Сейчас ты у меня получишь.

Но получил сам аптекарь.

На него посыпались черепицы, бельчонок прыгнул с крыши с другой стороны, преследуемый каменным оползнем, казалось, сам земной шар катится вслед за ним; ему не удастся прыгнуть на нагроможденные ящички, он падает на острые колья изгороди, которые вонзаются в его тело, наконец соскакивает на улицу, спасенный, но весь в крови. В довершение всего раздается

выстрел, и заряд соли проходит через изгородь и легко проникает сквозь Абелевы ветхие штаны. Но хуже всего — смех аптекаря.

Стоит рассказать и о том, как прошло взыскание ссуд, которые Абель с Эдевартом предоставили своим однокашникам.

Они помогли двум своим товарищам в беде и открыли им умеренный кредит, но время шло, а должники и не думали возвращать ссуду. Им было строго указано, что они должны вернуть деньги в такой-то день и час, в назначенное время собралось много народу, явились и неплательщики, но поскольку оба они были большие воображалы, они только улыбались своим кредиторам, чтобы их подразнить. Но Абель с Эдевартом твердо решили во что бы то ни стало получить обратно свои деньги, если понадобится, то и силой.

Первым взялся за дело Эдеварт.

Он подходит к Рейнерту, а тот был сыном звонаря, ходил в модных брюках-гольф и сейчас стоял, поигрывая отцовской цепочкой от часов, свисающей из жилетного кармана, — так вот, Эдеварт подходит к нему совершенно благопристойно, как ни в чем не бывало, выглядело это так, будто он хочет поздороваться с ним за руку. Но это была дьявольская хитрость: вдруг Эдеварт сжимает руку в кулак и наносит противнику стремительный удар. Публика с напряженным интересом наблюдает за этой сценой, борцы катаются по земле, вновь поднимаются на ноги, топчутся, приплясывая, обходя по кругу всю площадку, искры сыплются у них из глаз. И в один злосчастный миг Рейнерт обнаруживает, что потерял цепочку, все бросаются искать, и Лидия, зоркий часовой, находит ее в гальке. «Дай сюда!» — кричит Рейнерт. Но Лидия сама знает, что нужно делать, она бежит к брату, и Эдеварт кладет цепочку в карман. У публики вырывается дружный вздох. Будь у Рейнерта больше времени, он, может быть, и отвоевал бы свою цепочку, но ему срочно нужно нести ее к меднику, не может же он явиться домой с порванной цепочкой. «Я верну долг, — кричит он Эдеварту, — я только хотел немножко подразнить тебя». Публика шумно приветствует мирное разрешение конфликта.

Теперь на очереди тяжба бельчонка с забавным коренастым пареньком по прозвищу Кнопка. Но поскольку Рейнерт, который был старше и подавал пример, покинул поле брани, некому укрепить дух Кнопки, он чувствует

себя брошенным на произвол судьбы и лепечет: «Я тоже верну».

Вот так и сменяли друг друга то одно, то другое приключение, порой не все в них было однозначно и честно, но все они были поучительны и все в той или иной мере способствовали развитию двух приятелей.

Теперь Абель немного вытянулся и был постоянно голоден как волк, а работать ему не хотелось, он вступал в переходный возраст. Ох как несладко ему приходилось! Израсходовав свою наличность, он уже не мог подкармливаться в кондитерской, и тогда он нанялся к городскому инженеру работать по вечерам рассыльным и колоть дрова. На этой службе он пристрастился тайком кататься по городу, присев сзади на краешек какого-нибудь экипажа, чтобы легче было соскочить, если его заметят. Раньше лошади и экипажи никогда не интересовали его, теперь же он издалека прислушивался к шуму экипажа и в напряжении поджидал его, ведь для того, чтобы прицепиться точно в тот миг, когда следует, требовалось немалое искусство.

У инженера он получал помимо небольшого жалованья еще два-три славных толстых бутерброда каждый вечер, это помогало ему продержаться и возрождало в нем жизненные силы. Всю зиму, месяц за месяцем, он работал у инженера, с Эдевартом он встречался в школе, но их совместные приключения прекратились. Зато у него произошло приключение с Лидией: в двенадцать лет он посватался к ней.

Он ведь и всегда считал Лидию мировой девчонкой и был к ней привязан, а теперь, в последнее время, она к тому же стала страсть какой хорошенькой; сыграло свою роль и то, что сын звонаря Рейнерт тоже ходил кругами около нее и задавался в своих брюках-гольф. Абель решил действовать не откладывая.

Воскресенье, дворик Йоргена-Рыбака, Абель и Лидия беседуют, а вокруг бродят куры. Лидия в красивом желтом платье, ведь воскресенье это праздник, а Абель сегодня одет так же, как вчера и в любой другой день, но его это совершенно не волнует. Она рассуждает о том, что, дескать, она просто не понимает, как Рагна, дочка Бакалейщика-Ольсена, до сих пор играет в куклы.

— Я на свою куклу и не гляжу, разве только она попадется мне на глаза случайно.

Тут-то Абель и решил, что раз уж она стала такой взрослой, значит, пришло время действовать не отклады-

вая, и предложил ей руку и сердце. Хотя он выражался совершенно ясно и сказал все необходимое, Лидия его не поняла и переспросила. Это была самая тягостная минута в его жизни. Но в ответе он не сомневался, она, конечно же, сразу скажет «да», ведь они столько пережили вместе. Однако, выслушав его предложение вторично, она нахмурила брови и отказала. Отказала наотрез.

Он взглянул на нее испытующе: да в здравом ли она уме?

Лидия размышляет, взвешивает все «за» и «против», ей неловко. Они друзья и хорошо знают друг друга, но обручиться — нет. Ну да, конечно, он пока еще холост, так что с этой стороны препятствий нет, но так вот взять и обручиться — нет.

Ох уж эти женщины! Увы, сейчас основой для создания семьи была лишь должность рассыльного у инженера, но он мог продвинуться и выше, отчего бы ему не продвинуться. И, разумеется, ей не следовало пренебрегать тем, что у него и в самом деле честные намерения. А как могут обернуться отношения с Рейнертом, задавкой в брюках-гольф, наоборот, одному Богу известно. Но кто поймет этих женщин!

— Нет,— стало быть, сказала она и покачала головой.

— Ну что ж,— ответил он.

Он стоял сконфуженный и не мог взять себя в руки хотя бы настолько, чтобы уйти, а больше всего ему хотелось сквозь землю провалиться. Что следовало ему сделать? Снять шапку и поклониться — к вашим услугам, фрекен? Но во всяком случае сейчас он должен что-то сказать, какое-то последнее слово, тем более что она ведь не была совсем пропащей.

— Ну что ж, прощай! — сказал Абель.

Он хотел добавить: «Спасибо за все хорошее», но это оказалось уже выше его сил, он почувствовал, что лицо его исказилось, очень уж ему было жаль Лидию, которую ожидало с Рейнертом столько горя и несчастий.

Происшествие это сильно надломило его дух. Теперь уже больше не помогали даже бутерброды у инженера, от Абеля остались кожа да кости, он как бы погрузился в оцепенение, стал безразличен ко всему, все норовил забиться в темный угол и предаться самоедству и унынию. То была самая ужасная зима в его жизни. Учеба — ну да, он занимался, но не больше, чем было уж совершенно необходимо. Рыбалку он забросил начисто.

И некому открыть душу, он один в пустыне! Руины и тоска. А что же Лидия, она не искала встречи? Она так скоро забыла его? Похоже было на то, создавалось даже впечатление, что она его избегает. Что стоило ей подать ему знак, что и она в отчаянии, но нет, она так и не прибежала, не сказала, что раскаивается, не бросилась перед ним на колени.

Он попросил отца, чтобы ему разрешили поскорее подтвердиться и потом поступить в военное училище. Отец серьезно поговорил с ним, он не отмахнулся от желания сына, но сказал, что сейчас еще рановато, совсем чуть-чуть рановато, пусть пройдет еще месячишко-другой, а они пройдут как один день. Абель сам увидит! Весна на носу, на Пасху или на Троицу Абель отправится с отцом в далекое плаванье.

Но Абеля больше не манили далекие плаванья, он предпочитал забиться в угол и лелеять свою тоску. На что ему теперь море, и лодка, и яйца с птичьих базаров, и плавник, и приключения! Он был далек от всего этого, его кораблик попал в глубокий штиль, и паруса его обвисли.

Стиснув зубы, продирался он сквозь эту зиму. Дома он проводил лишь скупно отмеренные ночные часы, днем у него была школа, и от случая к случаю — смертельно скучные домашние задания, по вечерам — служба у инженера. Маленький борец, хорошо, что он был повязан по рукам и ногам! Братец Франк шел своим прямым путем, никуда не сворачивая, — какая огромная разница между братьями! Он по-прежнему был первым учеником и по праву пользовался бесплатным обучением, он был светлая голова, и свет этот видели все и понимали: перед ними явление необыкновенное. Какая огромная разница между братьями, даже не верится, что у них одни и те же родители. Конечно, родители у Франка были те же самые, но казались они посторонними людьми. У себя дома Франк тоже выглядел необыкновенным, такой серьезный, такой привередливый и такой прилежный, по отношению к Абелью он самым несносным образом корчил из себя взрослого; то-то и то-то в твоём возрасте уже следовало бы знать, говорил он ему, бывало, тоном школьного учителя. Он взял моду с ненужной дотошностью внушать Абелью некоторые правила поведения:

— Когда учитель входит в класс, ты должен встать в знак приветствия, а после этого не стой столбом, а садись.

— Обезьяна ты, и больше никто, — отвечал Абель.

Когда Франк кончил неполную среднюю школу, встал вопрос о том, чем ему заниматься. Чем заниматься, ему? Да тем же, чем и раньше, какой тут может быть вопрос! Разве можно погасить этот светильник разума? Те, кто как-то связан с будущим мальчика, постараются этого не допустить. А самому Франку директор школы и доктор порекомендовали на то время, пока решается его судьба, пойти в горы подкрепить свои силы вместе с другими подростками, которые тоже чересчур изнуляли себя занятиями. Перед дорогой Франк взвесил свой мешок со съестными припасами на безмене, что-то вынимал, что-то добавлял, пока мешок не достиг требуемого веса; он также взвесил на руке свои ботинки, они были слишком тяжелы, но тут уж ничего поделывать было нельзя.

Будь Абель более усидчив, он тоже отправился бы в горы, что пошло бы ему на пользу и подкрепило бы его силы. Но Абель был из другого теста, не изнурял себя учебой, к тому же в данное время он был погружен в печаль и апатию.

Однажды Эдеварт сказал ему, что пора бы им снова заняться рыбной ловлей, в их края пришли большие косяки мерлана. Абель был подавлен и безразличен ко всему, приятелю пришлось долго уговаривать его. Но и согласившись, Абель все тянул. Дело в том, что ему по его природе было трудно порывать связи и расставаться с местом, а если он снова начнет рыбачить, ему придется бросить службу у инженера. Платили ему гроши, инженер сам получал нищенское жалованье и с трудом сводил концы с концами, но у него в доме обильно кормили бутербродами и все были добры к бельчонку, так мог ли он вот так просто прийти и распрощаться? Абель знал, как тошно ему при этом будет, и потому со дня на день откладывал.

Наконец Эдеварт разозлился и сказал, что найдет себе другого напарника.

— Ну что ж, — сказал Абель. — Только где ты возьмешь лодку?

И тут Эдеварт снова стал сговорчив, лодка-то была у Абеля, вернее, у Оливера.

И впервые за долгое-долгое время Абель ощутил что-то вроде торжества, он сплюнул по-взрослому и на мгновение перестал чувствовать себя полным ничтожеством. Эдеварт — брат Лидии, поделом ему.

Тем не менее к старому приятелю Абель тоже был привязан, и в конце концов он одумался и взялся за ум и распрощался с инженером. Поначалу все прошло более или менее благополучно, но тут жена инженера взяла ладонь Абеля в свои, совсем как мать родная, и сказала: «Бедный Абель, какая у тебя худая и маленькая рука!» Он вышел на улицу в слезах. Кто-то окликнул его: «Эй, тебе что, задали там порку?» Это был Кнопка.

И вот Абель опять сидит на банке и начинает становиться самим собой. Он ведь превратился было в самую настоящую сухопутную крысу и лошадирика, теперь он взнуздal лодку и правил ею, а когда они вышли чуть подалее в море, он уже лихо балансировал, присев на острый борт. О да, все вернулось, жизнь снова принадлежала двум приятелям, и они зарабатывали свои скиллинги. Торговец Давидсен, с которым они теперь вели дела, был честный и не скупой, он продавал им отличные удочки, а в уплату брал рыбу. Ни один рыбак не был снаряжен лучше их! Прошла неделя, и Абель мог уже спокойно смотреть на экипаж, не испытывая искушения прицепиться к нему.

Но воспоминание о Лидии еще долго мучило его, он давал крюку, чтобы избежать встречи с ней, и никогда не упоминал ее имени. Однако он подстраивал так, чтобы его упоминал Эдеварт, он жаждал хоть имя ее услышать. Абель, к примеру, говорит:

— Кто это там идет, никак Алиса?

— Где?

— Вон там. В желтом платье.

— Нет. Это наша Лидия.

В прежние времена он удостоивался чести подносить ей тяжелые вещи, когда ее посылали в лавку за покупками, а он специально встречал ее, сейчас с этим было покончено, да он и не предлагал больше своих услуг. Бог с ней! И тем более теперь, когда учительница танцев снова приехала в город, Лидия ходила в танцкласс, а Абель не ходил, теперь их пути и вовсе разошлись. Сама судьба разлучила их.

Прошло две недели, и море целиком захватило обоих мальчишек. Мысль Абеля насчет военного училища была не так уж плоха, и они обсуждали ее между собой, но потом они узнали, что там опять будут учителя и уроки. Нет, как только они пройдут конфирмацию, они наймутся на корабль. Это единственное достойное поприще для мужчины.

— Кому мы сегодня продаем рыбу? — спрашивает Эдеварт.

— Сегодня я возьму свой улов домой, — отвечает Абель.

— Не будешь продавать?

— Нет, не буду. Отец просил меня принести рыбу домой, потому что Франк вернулся.

Эдеварт ненадолго задумался, потом сказал:

— Вон что, стало быть, он вернулся. Как думаешь, если Франк станет пастором, сможет он нас проклясть?

— Проклясть? Он?

— Ну да, ведь тогда он научится колдовать.

Франк стал для них фигурой загадочной и немного опасной. Пожалуй, лучше держаться от него подальше.

XI

Что за новую табличку прибавляют над дверьми в контору консула Юнсена? Снова какой-то щит или герб, уж не удостоен ли он, чего доброго, дворянского звания? Нет, он удостоен звания бельгийского консула.

Вообще-то от людей не укрылось, что он о чем-то хлопочет, что-то замышляет, и вот, значит, что это было: он хотел стать вдвое более важным, чем остальные консулы, стать дважды консулом. Ну, разумеется, это очень важно: еще один герб на стене, еще один перстень на руке у фру Юнсена.

Прочитав новую табличку, директор школы смахнул пыль со своего потертого сюртука и вошел в дважды консульство. Он счел, что будет весьма дальновидно выбрать для разговора с консулом именно эту минуту.

Поздравление его было сформулировано изящно и почтительно:

— Итак, господин консул, еще одно правительство избрало вас своим доверенным лицом.

— А, ну да. Впрочем, мне только прибавится работы, да и расходы немалые. Но так получилось, что я не мог отказаться. Кстати, директор, хочу поблагодарить вас за свою маленькую Фию. Я рад, что она кончила школу. Конечно, оценки могли быть получше, но тут уж ничего не поделаешь, да ведь ей и не в учительницы идти.

Они обсуждают это, разумеется, из Фии могла бы получиться хорошая учительница, она могла бы преподавать любой предмет, учить детей, отчего бы и нет.

— Господин консул, я пришел к вам сегодня как к человеку, который во всем и всегда оказывается впереди других. У меня к вам дело.

— Какое же?

— Весьма серьезное. Речь идет об ученике, чье блистательное восхождение к вершинам знаний не должно прерываться и чьи дарования не должны погибнуть. Это Франк, сын Оливера.

— А что там с ним?

— Вы каждый год дарили ему одежду и выказывали большое участие ко всей семье...

— Вовсе нет,— перебивает консул.

Директор школы удивленно смотрит на него.

— Сначала его мать...

— Служила у нас. Ну да, Петра, она была у нас прислугой.

— Да. А потом вы дали заработок его отцу. Поэтому я и сказал, что вы оказали этой семье многочисленные и великие благодеяния. Но теперь в помощи нуждается Франк, нуждается чрезвычайно, и в помощи немедленной, помогите же ему, как помогали раньше, господин консул!

Поначалу консул вовсе не был воодушевлен этим обращением, наоборот, он нахмурил лоб. Он был первым человеком в городе, и достиг уже всего, чего мог, и не стремился стать еще более великим, чем уже стал, а потому он сказал:

— Вот вы перечислили все мои благодеяния, как вы любезно изволили их назвать, и что же, вы считаете это причиной, чтобы и сейчас тоже обратиться именно ко мне?

— Мы хотели, чтобы имя первого человека в городе стояло первым на подписном листе, затем мы обратимся и к другим. Но мы полностью отдаем себе отчет в том, что сейчас мы... да, что сейчас мы злоупотребляем добротой человека, который с трудом говорит «нет» в ответ на просьбу.

— Кем же должен стать мальчик?

— Он может стать кем только пожелает, с его прилежанием и усердием. Но особенно легко даются ему иностранные языки.

Консул размышляет, смотрит прямо перед собой и размышляет и наконец говорит нечто в высшей степени странное:

— Если я опять помогу этой семье, мой поступок может быть неправильно понят.

— Неправильно понят?

— Он может дать повод для кривотолков. Ведь и без того сплетен ходит предостаточно, разве вы их не слышали?

— Каких именно?

Консул спохватывается, вот как, директор школы, оказывается, даже не слышал о некоей пощечине. И потому он говорит:

— Да сплетничают почему зря, ни перед чем не останавливаются. Говорят, что я творю свои маленькие благодеяния из одного лишь тщеславия.

Директор школы впервые слышит это, да нет, он в жизни своей не слыхивал подобной глупости.

— Но такой человек, как вы, господин консул, должен быть выше этого, неизмеримо выше. Все здоровые элементы в городе на вашей стороне.

Они продолжают обсуждать этот вопрос, и консула все еще беспокоят толки, беспокоит народная молва, но в конце концов он сдаётся и говорит:

— Ну что ж, я, пожалуй, сделаю взнос.

Тут уже, кажется, директор школы немного забеспокоился, но выражает он это весьма осторожно:

— Благодарю вас, я знал, что сюда я приду не напрасно. Да, вот повод для сильных мира сего проявить свое величие. Иначе эти необыкновенные способности будут потеряны для духовной жизни нашей страны.

— Вы ведь хотите, чтобы я сделал взнос, не так ли?

— Да, конечно. Именно это. Чтобы вы проявили присущий вам размах, то есть, выражаясь вашими словами, сделали взнос. Речь идет о ежегодном пособии на все время, пока мальчик будет учиться.

Так далеко консул заходить не собирался, он говорит «н-да» и произвольно качает головой.

Тут в дверь глухо стучат рукой в перчатке, и входит фру Юнсен.

— Извини, я на минутку.

Этого еще не хватало, супруга явилась в самый неподходящий для консула момент! И директор школы в простоте душевной тут же посвящает ее в свои далеко идущие планы касательно мальчика Франка.

— Вот как,—говорит фру Юнсен.— Вон оно как,—говорит она.

Но получилось, что именно ее присутствие и помогло планам директора осуществиться. У фру Юнсен сегодня, видно, тоже было приподнятое настроение, ведь она

стала вдвое более важной персоной, чем остальные консульские жены, она смотрит на мужа и говорит:

— Да, я думаю, тут ты должен оказать поддержку.

У консула гора свалилась с плеч, в какую бы сумму это ни вылилось, но во всяком случае они оказывают благодеяние семье Оливера вдвоем с женой.

— Хорошо, когда жена тебя понимает,— говорит он.— Какова же, на твой взгляд, должна быть эта поддержка?

— Фру Юнсен верна себе!— восклицает вдруг директор школы.

Возможно, сегодня фру Юнсен немного не в форме, комплименты ударили ей в голову, у нее словно отшибло разум, она спрашивает:

— Мальчик уже повторил завет крещения?

— Конфирмация предстоит ему в ближайшее время. И хотелось бы, чтобы сразу после этого он поступил в гимназию.

Консул спрашивает:

— Кого еще вы собираетесь привлечь?

— Двух консулов, Ольсена и Хейберга...

— Пожалуй, не стоит,— говорит фру Юнсен.

— Да-да, пожалуй, не стоит. Потом, мы еще думали об адвокате Фредриксене. Ему принадлежит дом, в котором живет Оливер с семьей, его участие могло бы выразиться в дарственной на дом.

Но понимание, выказанное женой, так воодушевило консула, что он пожимает плечами и говорит:

— Ох уж этот адвокатишка! Он все политиканствует, хочет пролезть в стортинг. Пусть этим и занимается, вряд ли он годится на что-либо другое.

Тут директор школы почтительно улыбнулся и согласился с этим мнением. Потом он назвал фамилию Хенриксен, дескать, они еще хотели привлечь Хенриксена.

— Что еще за Хенриксен?— спрашивает фру Юнсен.

— Хенриксен-С-Верфи.

— А, этот.— Фру Юнсен думала, что его фамилия Хендриксен.

— Да, это уже более серьезно,— говорит консул, желая остановить расходившуюся супругу.

Но фру Юнсен сегодня определенно не в форме, она не может выдержать также и того, чтобы ее останавливали, лицо ее делается каменным.

Консул продолжает:

— Вот только неизвестно, есть ли вообще у Хенриксена деньги на благотворительность.

Жена подчеркивает:

— Уж мы-то знать не можем. Мы с ними не общаемся.

Директор школы сидит как на углях, пока ему не удастся все уладить. Все трое сходятся на том, что Хенриксены заурядные люди, может быть, по-своему и хорошие, но немного не того круга, не слишком высокой культуры, а муж любит приложиться к бутылке.

— Однако,— прерывает в конце концов разговор фру Юнсен,— я ведь заглянула к тебе только для того, чтобы взять у тебя банкноту.

Консул подходит к несгораемому шкафу.

— Только одну?— спрашивает он.

— Да. Если она будет достаточно крупная.

После ухода жены консул снова садится и обсуждение продолжается.

— Так, значит, ежегодное пособие. Я, собственно, это и подразумевал под взносом. А говорили вы с доктором?

— Говорил. Он хочет участвовать в меру своих возможностей. Но вряд ли он в состоянии дать много.

— Да уж, какие у него средства! Нет, послушайте, лучше уж я сразу скажу: я беру все расходы на себя. Идите домой и спите спокойно.

— О!

— Да, я так и сделаю,— подтверждает консул, вставая.— Этот взнос, это ежегодное пособие я целиком беру на себя.

Директор школы поднимается и произносит, сраженный наповал:

— Теперь я узнаю вас, господин консул!

И вот мальчик Франк счастливо избежал опасности вновь опуститься до уровня своих родных и близких, опуститься в тот мрак, откуда он вышел. Все устраивается, директор школы торжествует, он останавливает каждого представителя здоровых элементов на улице и сообщает новость, самолично идет к Оливеру домой и объявляет о решении консула. У него счастливый день, он словно бы сам успешно сдал экзамен, как бывало в юности, у него ведь нет других радостей, кроме как творить добро подобным образом и утверждать превосходство учености и книжного знания, которыми он зарабатывает на хлеб насущный и которые страстно любит. У каждого человека должна быть в жизни какая-то страсть, иной

готов пройти огонь и воду ради возможности спрягать глаголы.

Директор встречается с ватагой школьников, возвращающихся из похода в горы, усталых, обгоревших, со стертymi ногами, раздраженных встречами со свирепыми быками и таковыми же крестьянами. Они узнают своего директора еще издали. Здороваются, машут ему. Старшие теперь уже отделались от него, это он был их главным мучителем бóльшую часть их детства, хотя, конечно, мучения были им только во благо, он вооружал их для жизни, вооружал для того, чтобы пахать землю, ловить рыбу, разводить скот, торговать, вооружал для промышленности, искусства, семейной жизни, грез и молитв, но теперь они отделались от него, они кончили школу и будут применять полученное оружие в борьбе. Вот они идут, пока еще добросовестно храня в своих маленьких мозгах площадь Швейцарии и даты Пунических войн, они отправились в свой поход, вооруженные естественнонаучной истиной: рыбы — позвоночные животные. А теперь ковыляют домой, впервые узнав на опыте, что такое вялое кровообращение. Директор школы встречает их, встречает этих детей, для которых, возможно, было бы лучше немножко знать действительную жизнь, сам он — старик с мозгами подростка, он недоедает и совсем обносился, пальто висит на нем, как на вешалке, но все же это он — директор школы, главное лицо в том большом каменном доме.

— Ну как поход?

Так-то и так-то: быки, крестьяне...

— Надо быть выше этого, неизмеримо выше. Хотите услышать радостную новость?

Да, они хотели.

— Франк будет учиться в гимназии.

Дети поумнее делают вид, будто и в самом деле для них это радостная новость, другие равнодушны, а кое-кто и завидует. Вот, например, Рейнерт, в своих брюках-гольф, легко ли ему радоваться, если он и сам знает насчет рыб и кроме того очень способный к языкам. Мальчик Франк собственной персоной выказывает некоторый интерес к новости, его обгоревшее лицо на мгновение темнеет еще больше, но он отнюдь не готов упасть на колени. Да и почему бы, ведь ему не впервой получать дары, все эти годы ему помогали, его тянули вверх, ему никогда не приходилось искать выход из

положения самому, всегда кто-то что-то придумывал и все устраивалось. И теперь он должен испытывать какую-то особенную радость? Он, Франк? Да ведь ему в жизни не случалось радоваться, он не радовался ни одного дня. В школе он всегда был усерден, и ему было приятно, что люди умели оценить его прилежание и честолюбие, только и всего. Нет, ему не присущи необузданные порывы, он никогда не знал взлетов и падений, ничем не рисковал, ничего не преодолевал; вместо того, чтобы выпутываться из трудных положений, он старался в них не попадать. Кто не рискует, тот не выигрывает. Господь снарядил его в жизнь так, чтобы он стал филологом.

Распрощавшись с остальными, он идет домой, на ужин свежая рыба, что ему сейчас очень кстати. Отец уже пришел, Абель в виде исключения тоже здесь, в кругу семьи; старый никчемный кот суетится вокруг стола, возбужденный рыбным духом, выпрашивает подачки и жалобно мяукает.

Похоже было, что в дом вошло чужеродное тело, да таким и был Франк, который сделался теперь еще более необыкновенным. Ему предстоит конфирмация, а потом он уедет. Бабка от этого лишилась дара речи и уже сейчас держит себя с ним как заблудшая овечка из церковной общины с пастором. Возможно, она думает, что это ей зачтется, когда она придет на исповедь.

Оливер сидит за столом с младшей девочкой на руках, а Петра — с той, что постарше, голубоглазой, и все едят. Честно говоря, Оливер немного не в своей тарелке; чтобы разрядить обстановку, слишком, на его взгляд, торжественную, он сюсюкает с малышкой: «Ах ты моя маленькая», говорит он, и «Ах ты папина девочка», она его не подавляет, не возвышается над ним, а просто такая милая и приятная. «А чья ты девочка? Конечно, папина, так я и думал». Иногда он сует кусочек в рот ребенку, но в основном налегает на еду сам. Просто ужас сколько он может съесть, этот Оливер, если Петра сделает ему послабление.

— Вот так, если бы не Абель, не было бы у нас сегодня рыбки,— говорит он.

Как будто это что-то важное, а не совершеннейшие пустяки!

Петра всецело занята чрезвычайным событием в семье и вытягивает из Франка ответы на свои вопросы.

— Гимназия,— говорит Оливер с достоинством, подтверждая свои слова кивком,— да, это правильный путь.

Но, увы, у него не хватает разума, чтобы развить эту тему, и, поев, он снова начинает играть с ребенком, дает малышке вместо куклы белую статуэтку ангела. Не так уж много теперь и осталось безделушек на комодке, слишком часто они служили игрушками для малышей, что же касается карманного зеркальца в латунной оправе, то оно не разбилось, просто Оливер стащил его, чтобы посмотреть в него на складе. Этот изувеченный мужчина так обабился, что полюбил посмотреть в зеркало!

Он ждет, когда станет потише, чтобы сделать важное сообщение. Что же за новость у него в запасе? Что Юнсен-С-Пристани стал двойным консулом? Да, и это тоже, это даже самое главное. Но вдруг он обращается к Петре:

— Говорят, у Юнсенов будет много гостей.

Оливер и раньше иногда, придя домой, передавал жене, что она может понадобится у Юнсенов, то хозяйка на что-то такое намекнула, то Шелдруп обронил словцо, а то работа для нее была и у самого консула. Случалось, что это не соответствовало действительности, оказывалось «недоразумением», а порой и просто выдумкой. Но всякий раз Петра наряжалась и уходила из дому: вреда от этого никому никакого, а она так или иначе будет свободна часок-другой.

— Вот как, стало быть, опять у них гости? — спрашивает она.

— Само собой. Раз уж он стал двойным консулом. Ты об этом скоро услышишь.

— Может, я должна помогать на кухне?

— Ну да. Или прийти вымыть полы в конторе сегодня вечером. Я не разобрал точно.

Петра уходит. Бабка остается с двумя малышами, а все другие тоже расходятся по своим делам. Оливер крадется за женой и ревниво проверяет, действительно ли к консулу она пошла. Ей не привыкать, она знает, что он караулит ее за каждым углом, и во избежание лишних разговоров не сворачивает ни вправо, ни влево.

Абелю тоже не сидится дома. Недавно он нашел великолепное кнутовище, он припрятал его под каменным порошком перед входной дверью и теперь вытаскивает и внимательно изучает плетеное кнутовище, такое гибкое и удобное. Абелю сразу же приходит в голову, на

что оно может сгодиться, и уж во всяком случае будет очень приятно ходить, рассекая им воздух. На конце кнутовища нарядная медная кнопка. Абель знает всех извозчиков в городе и догадывается, кто именно потерял это кнутовище, но состояние его, увы, не таково, чтобы он мог быть честным и вернуть его владельцу. Он идет к Йоргену-Рыбаку.

Ах, почему же он не перестает ходить кругами около этого дома, этого Эдема, откуда его изгнали! Как это ужасно, что Эдеварт живет именно здесь!

Впрочем, Эдеварт, кажется, только что пересек улицу примерно за квартал впереди. Но в эту самую минуту навстречу Абелю попадается инженер, и Абель, разумеется, не может просто пробежать мимо него, чтобы нагнать дружка.

— Здравствуй, Абель,— говорит инженер.— Послушай, я подозреваю, что не кто иной как ты несколько раз оставлял связку рыбы на ручке моей кухонной двери. Я хочу заплатить тебе за рыбу,— говорит он и вынимает кошелек.

— Это... нет...— произносит Абель, запинаясь.

— Что? Жена уверена, что это ты.

— Там и было-то всего несколько рыбешек,— говорит Абель.

Инженер протягивает ему крону, у него у самого в кармане не густо.

— Это было очень мило с твоей стороны,— говорит он.

Они расходятся, Абель продолжает свой путь к дому Йоргена-Рыбака, но от последних слов инженера глаза его увлажнились.

Куры уже сели на насест, на заднем дворе тишина. Но, просунув голову в калитку и увидев Лидию, Абель на всякий случай громко кричит:

— Эдеварт!

Лидия отвечает:

— Ах, как ты напугал меня, каркнул, ну чисто вороненок!

— Я только хотел узнать, Эдеварт дома?

— Заходи! Эдеварт только что ушел. Что это у тебя? Эдеварт заходил домой поесть и снова ушел. Заходи же, кому говорят!

— Сама ты ворона,—неожиданно для самого себя произносит Абель. Нет, он не ослышался, он сказал именно это.

Все это время Лидия стояла на коленях, пристроившись перед стулом, на котором разложены бумага и письменные принадлежности, теперь она встала, она совсем не разозлилась на него и рада была бы взять назад то слово, которое лягнула, не подумавши.

— Не сердись,—говорит она и, похоже, по своему обыкновению готова расплакаться.

Кто бы мог вынести это! Утешать ее Абель стесняется, но собирается с духом и спрашивает:

— Что ты тут писала?

— Письма. Посмотри, какие у меня пальцы!—говорит она, протягивая к нему пальцы, перепачканные чернилами.— Господи, ну и вид у меня!—воскликает она и отряхивает песок с платья.

Теперь между ними все улажено, и Лидия начинает тараторить без умолку.

— Хорошо тебе, что не приходится писать так много писем. А ты вообще-то умеешь писать письма?

— Не знаю...

— Я завела себе столько подруг в танцклассе, и теперь надо им всем писать письма. Что это у тебя, палка?

— Ты что, не видишь? Этим выбивают одежду. Выбивалка, вот что это.

Лидия сгибает выбивалку, пробует размахнуться ею и кивает, подтверждая, что вещь великолепная.

— Можешь взять ее себе.

И она берет.

Они болтают о том о сем, и Лидия играет роль взрослой: мол, целый день она крутится, как белка в колесе, к вечеру устает до изнеможения от всего этого шитья и глажки и всякой работы по дому.

— Знаешь, о чем я думаю?

— Откуда мне знать.

— Ну, неважно. Но скоро меня позовет мама, и если ты хочешь мне что-то сказать, ты уже не успеешь.

От неожиданности Абель совсем растерялся. Что он должен сказать? О чем она?

— Иду!—громко и пронзительно крикнула вдруг Лидия, повернувшись к дому, и скрылась за дверь.

Но Абель не слышал, чтобы ее кто-нибудь звал.

Опять испорченный вечер и одни сплошные неприятности. Через два дня тот самый извозчик напал на след своего роскошного кнутовища, он пришел и забрал его. И теперь жизнь Абеля была загублена окончательно и навсегда.

Идут годы. Юноши и девушки confirмуется, и растут, и становятся долговязыми и взрослыми, просто на удивление взрослыми, поскольку в моду вошли очень высокие каблукы.

Фиа Юнсен уже одного роста с матерью, кареглазая, с матовым цветом лица, красивая девушка; с возрастом веснушки у нее почти исчезли, и длинная коса спускается по спине. Она выросла на глазах у города, добрые люди помнили ее рождение, помнили до мельчайших подробностей, знали они также, как она была одета на конфирмации, женщины у колодца не уставали расписывать всю эту кисею. И согласно приходили к выводу: хорошо быть Фией Юнсен.

Ее брат Шелдруп Юнсен все ездил по заграницам и учился, земляки то и дело теряли его из виду; но Фиа оставалась дома. Она училась танцевать, и играть на пианино, и вытирать пыль, и быть милой и приятной. У нее склонность к рисованию и к живописи, именно она изучает иллюстрированные газеты и журналы, проходящие в дом консула, и ее рукой расписаны декоративные тарелки, до сих пор висящие на стенах в столовой. «Работа моей дочери!» — всегда объявляет консул гостям.

На первых порах ее талант развивался под руководством школьных и городских учителей рисования, потом она стала ездить в большие города и в столицу, и еще много чему научилась, и всякий раз, возвратившись домой, все более снисходительно улыбалась, глядя на декоративные тарелки. Теперь она уже так далеко продвинулась, что пишет с натуры виды из окон и разные уголки сада. Ну ладно, все это хорошо. Но Фиа такая молодая и такая жалостно тоненькая, разумеется, не от недоедания, но потому, что ее физическое развитие страдало от отсутствия работы. А какой работой ей заниматься, ведь она — талант! У родителей хватало средств содержать ее и дома, и вдали от дома, как она сама пожелает, и где бы она ни находилась, она всюду была изысканной и благовоспитанной и никогда не прыгала через две ступеньки, о нет! Но вот и все ее достоинства. Профессия ей не нужна. Талант был излишним. Вся жизнь — не всерьез.

— Ей бы заняться настоящей работой, — говорит доктор.

Он говорит это уже не первый год, а родители сердятся. Работа? Какая работа может быть у их дочери?

— Уж не хотите ли вы, чтобы она пошла в прислуги? — спрашивает консул.

— Для этого она не годится.

— Даже для этого?

— Да. Но вы бы сняли с нее бриллиантовые кольца, и пусть работает в саду.

— У меня есть профессиональный садовник. Да ведь Фиа, бедняжка, трудится не покладая рук, все пишет и пишет свои картины, она хочет побольше успеть, а потом устроить выставку.

— О Боже! — говорит доктор.

Они сидят в кабинете К. А. Юнсена, в дважды консульстве, и поэтому консул лишен возможности просто оборвать разговор и уйти.

— До сих пор моя дочь не слишком докучала вам своим искусством, — говорит он. — Между тем некоторые критики пишут о нем восторженно.

— Это мы слышали. Но на кой черт девочке искусство, если она будет несчастна!

— С возрастом все образуется.

— Ой ли...

Просто удивительно, что консул Юнсен всегда терпел выходки доктора. Что за все эти годы он ни разу не выказал достаточно инициативы и энергии, чтобы указать доктору на дверь. Было ли тут дело в его авторитете как врача? Но ведь консул не больше нуждался в его помощи, чем любой другой. Конечно, престиж доктора в городе был очень высок, это бесспорно; но разве он шел в сравнение с престижем самого консула? Право же, для всех было загадкой, почему доктор осмеливался говорить столь бесцеремонно с могущественным человеком.

И именно сейчас у консула была причина не выказывать особой терпимости к обидам, он был уже сыт ими по горло. Он говорит, по возможности стараясь, чтобы слова его не звучали грубо:

— Мы, родители, надеемся, что Провидение будет более милостиво к Фие, чем вы, доктор. Не хотите ли закурить еще одну сигару перед уходом?

— Да, с удовольствием, когда соберусь уходить. Если бы вы правильно воспитывали Фию, ей бы не понадобилось уповать на милость Провидения. Разве она не выйдет когда-нибудь замуж, а, как насчет этого?

— Вы полагаете, что она окажется неподготовленной к браку?

— Мужу нужна жена, а не художница.

Консул отвечает с улыбкой:

— Ну что я могу вам сказать, разве лишь, что она еще успеет приобрести качества, необходимые в браке. Этот вопрос встанет во всяком случае только через несколько лет. А сейчас она увлечена искусством.

— Я выдвигаю гипотезу,— говорит доктор,— что, не будь у нее средств на эту забаву, ей бы пришлось развить в себе качества, более необходимые женщине. И еще я выдвигаю гипотезу, что эти средства будут у нее не всегда.

Консул снова улыбается:

— Тогда уж придется вам ее содержать.

— Я же сказал: это всего лишь гипотеза.

Его навязчивость была невыносима, и если бы консул знал, почему так навязчив доктор именно сегодня, он бы наверно, несмотря ни на что,— несмотря ни на что!— указал на дверь своему гостю. А причиной было новое бриллиантовое кольцо, которое купили Фие, оно просто-таки покоя не давало докторовой жене. Ну на что оно ребенку, на что оно девочке? Ей бы еще в коротеньком платьице ходить! А где же то, другое бриллиантовое кольцо, жалкое, с крошечным камушком, которое доктор обещал купить жене еще много лет назад? Ах, как все это тяжело и печально! Вечные будни, и никаких радостей, у-у-у!

Но консул ничего не знает о сегодняшней сваре докторской четы, и, должно быть, он все же увидел какой-то резон в речах своего гостя— он призадумался. Он любил дочь, и главное для него было ее благо, пожалуй, он немного слишком баловал ее, содержать ее, когда она жила в разных городах, становилось все дороже, но ведь жить в разных городах было необходимо для ее развития, отец не мог запретить ей это, не мог и допустить, чтобы она чувствовала себя ущемленной среди новых друзей и знакомых, которых она себе завела. Она по доброте душевной начала было покупать картины своих коллег, чтобы им помочь, но тут отцу пришлось возразить: мол, это уж ни в какие ворота не лезет, расходы и так стали непомерно велики, его несгораемый шкаф не бездонен. Ну что ж, Фиа уступила и этот свой недостаток исправила, но втайне сохранила некоторые другие, ну, разумеется, мелкие, все это были пустяки по

сравнению с украшавшими ее достоинствами. С посторонними она держалась аристократично, как истинная взрослая дама, но, пожалуй, немного задирала нос. Она любила дать понять, что происходит из старинной купеческой семьи с давними культурными традициями и миллионным состоянием, что было наполовину прямым обманом, а наполовину самообманом. Опоздав на почтовый пароход, она, например, могла сказать, обращаясь к людям на причале: «Ах, какая жалость, что наш собственный пароход ушел в плаванье». Как будто Юнсены могли себе позволить, чтобы их собственный пароход возил на прогулки фрекен Фию, не говоря уже о том, что это было старое корыто, делавшее всего восемь миль в час и как правило приносившее всего пять процентов прибыли, а порой — и два процента убытка.

И как раз только что оно опять принесло убыток.

Блистательный консул не блистал в роли судовладельца, потому-то он и посылал Шелдрупа за границу профессионально изучить это дело. Оказалось, что управлять регулярными транспортными перевозками торгового парохода — совсем не то, что отправить через Северное море галеас с грузом ворвани, с тем, чтобы обратным рейсом он привез груз угля. Ох, не каждое свое плаванье «Фиа» приносила прибыль, она трюхала по волнам со скоростью восемь миль в час отнюдь не от удачи к удаче. Но дело не только в убытках, «Фиа» и в других отношениях была источником досады. Теперь вот начала роптать команда, матросы недовольны харчами, бегут с парохода, консул не может взять в толк, почему те же самые харчи устраивали их все прошлые годы, а теперь вдруг перестали, и его это сердит.

К тому же он узнал совершенно невероятную новость — что даже лавочник Давидсен стал консулом, правда, не двойным, но все-таки консулом. Однако ведь всему же есть границы! Давидсен переселился сюда из соседнего городка двадцать лет назад, и коренные жители до сих пор считали его чужаком; Давидсен нередко сам стоял за прилавком и отпускал товар; Давидсен продавал удочки и крючки малым детям, а также разного рода канаты и веревки и плотную парусину для кораблей — вот такой у него был нехитрый ассортимент, никаких тебе тканей и текстильных изделий, никакой блестящей галантереи. Приказчики Юнсена-С-Пристани стояли за прилавком в крахмальных воротничках, приказчикам Давидсена приходилось засучивать рукава, и руки у них

были соответствующие — подходящие для работы с тяжелыми тросами. Само по себе все это, может быть, и неплохо, никакой труд не зазорен, но при чем тут консульство, при чем представительство?

Можно ли на этом закончить перечень неприятностей консула? Нет, осталась еще одна: скверная история с Оливером, кладовщиком. В чем же дело? Он обвесил покупателя. В свою пользу? Ничего подобного, в пользу консула. Само по себе это, может быть, и неплохо, верная служба тоже ни для кого не зазорна, но обманывать все же не следует. А было дело так: Маттис-Столяр пришел с запиской за крупчаткой, и когда Оливер взвешивал, он забыл снять свой жирный мизинец со шкалы. Очевидно, вес у этого мизинца был немалый, потому что у Маттиса возникли подозрения, и он пошел к Бакалейщику-Ольсену проверять. В точности как он и думал — недовес!

Вообще-то Маттис сделал большую глупость, выйдя с мешком за пределы торгового заведения, ему надо было стукнуть себя по лбу и сказать, что он забыл кошелек в лавке, сходить и привести кого-нибудь из приказчиков, чтобы тот проверил вес. Но Маттис был глуп и все говорил напрямую и сразу же начал возмущаться и скандалить, а что в этом проку? Вот и сейчас он ходил по всему городу, из лавки в лавку, и просил, чтобы ему взвесили его мешок с мукой, и нигде не забывал объяснить, почему ему это понадобилось. Наконец он вернулся в лавку Юнсена-С-Пристани весь в муке и разъяренный до бешенства. Так совпало, что и Олаус-С-Луговины был в это время в лавке, и Олаус был сегодня в лучшем виде, ох и набрался же он, ох и набрался! Сначала он был вял и как бы отключился, но когда услышал историю, рассказанную столяром, сознание возродилось в нем на новой основе, и он тоже раскричался:

— Что такое?! Обвес?!

— Обвес,— подтверждает столяр.— Это доказано.

Продавец вместе со старшим приказчиком Бернтсеном пытаются утихомирить крикунов.

— Да не галдите вы так, сам консул сидит в конторе.

— Хотелось бы мне, чтобы он вышел сюда,— говорит Маттис.

— Подать сюда консула! — орет Олаус.

— Послушай, Олаус, сейчас тебе набьют трубку, а потом уходи,— говорит старший приказчик.— Маттис, пойдём со мной.

Они поднимаются на чердак, где помещается склад.

Оливер повел себя безукоризненно, он терпелив со взбешенным столяром. Какая причина у них двоих враждовать и обманывать друг друга? Оливер не мог не улыбнуться. Уж не думает ли Маттис, что у Оливера на него зуб, и за что бы это? Оливер снова улыбнулся. Если что не так, то это случилось по недосмотру, могло случиться и с любым другим.

— Я за ним и раньше замечал,— говорит Маттис.

Оливер смотрит на него искоса и отвечает:

— Лучше тебе поосторожнее разевать пасть. Как бы не пришлось привести свидетелей.

Приказчик Бернтсен взвешивает муку, досыпает в мешок недостающее, взвешивает с хорошим походом.

— Вот так ты впредь и будешь отпускать товар Маттису,— говорит он, и таким образом спор улажен.— Некрасиво с твоей стороны, Маттис, бегать по городу с мешком, недоразумение нужно было разрешить на месте.

— Да, но меня зло разобрало, потому что я и раньше за ним замечал.

— Ну что вы его слушаете, Бернтсен,— говорит Оливер и снова требует привести свидетелей.

Но Бернтсен опытный торговец и поступает осмотрительно. Маттис-Столяр неплохой клиент и к тому же хозяин мастерской, где у него работают подручный и ученик. Он домовладелец, пусть дом у него неуютный, не семейный, там живет лишь Марен Салт, но все равно Маттис далеко не первый встречный, к тому же недавно его выбрали в муниципалитет.

— Не горячись, Оливер,— предупреждает Бернтсен.— Насколько я понимаю, виноват ты, и я думаю, что могу сказать тебе от имени консула, чтобы впредь ты был повнимательнее с весами.

Тем и кончилось дело.

Консулу сообщили эту историю, конечно, его лично никто ни в чем не подозревал, но тем не менее он рассердился. Вот как, люди бегают по городу и перевешивают то, что куплено в его торговом доме! В его собственной лавке смеют кричать «Подать сюда консула!». Это было явление того же порядка, что и жалобы матросов «Фии» на скверные харчи. Видно, дух старых времен начисто сметен новыми веяниями. Все различия сглаживаются, границы размываются, все норовят втереться в его окружение, вмешиваются в его дела, какой-

то там провинциальный эскулап позволяет себе, так сказать, резать ему правду-матку в глаза. А чего стоят эти консулы, которые вырастают как грибы на каждой улице!

Таким образом, доктор выбрал далеко не самый удачный момент, чтобы испытывать терпение консула.

В дверь стучат, и, поскольку консул не отвечает, доктор кричит: «Войдите!» Вот до какой наглости он доходит. Еще несколько лет назад консул уж этого бы не стерпел, тогда он не был так беззащитен, а сейчас, похоже, доктор каким-то образом держит его в руках. И чего только бояться консулу? Может быть, доктор, этот ничтожный лекаришка, этот шарлатан, знает о нем что-нибудь? Может быть, у него есть оружие против дважды консула?

Входит аптекарь. Это маленький нервный человечек, бледный, с жидкой бороденкой, он человек состоятельный, женатый, но бездетный и выглядит как холостяк: одежда вся в пятнах и пропахла табаком и лекарствами.

— Добрый день,— говорит он.

— Вы находите?— спрашивает доктор.— По-моему, день сегодня отвратительный.

Аптекарь пожимает руку консулу и благодарит за прошлую встречу. Потом протягивает руку доктору и говорит:

— Разрешите и с вами поздороваться.

— То есть вы не уверены, соглашусь ли я?

Такова его манера шутить, и он не подает руки аптекарю.

— Сигару, аптекарь!— предлагает консул.

И тут же не церемонясь берет со стола какие-то бумаги, просматривает их, складывает стопкой, потом снова разбирает на листы.

— Я вижу, вы заняты,— говорит аптекарь.— Я сейчас пойду.

— Эти консульские обязанности просто не дают мне продохнуть,— говорит консул.

— Похоже, что от них не одно только удовольствие?

— Да, я тут как раз сижу и составляю отчеты для своих правительств, это, право слово, не такая уж простая работа.

Возможно, консул сказал это полушутя, но все же с достаточно важным видом, и нельзя было не понять, что его почетные посты сопряжены с большими тяготами.

— Для ваших правительств?—переспрашивает доктор.— Вот это да, значит, у вас несколько правительств! Лично у меня только одно — норвежское.

Консул счел, что может себе позволить пропустить слова доктора мимо ушей и спрашивает аптекаря, не хочет ли он купить очень хорошего вина, мадеры разлива такого-то года.

— А почему?.. Для аптеки это слишком дорого. Но я возьму пятьдесят бутылок для дома.

«А мне он не предложил! — думает доктор.— Торгаш, еврей проклятый», — произнес он про себя. А вслух спросил:

— Где сейчас Шелдруп?

— В Гавре. А что?

— Когда же он вернется?

— Не знаю. Думаю, он задержится там еще на некоторое время.

— Вот уже девять месяцев, как он не был здесь.

Консул припоминает и говорит:

— Да, именно так.

— Именно так, да, — повторяет доктор. Потом бесцеремонно зевает, встает и стряхивает пепел с сигары на начищенный железный лист перед печкой.

— Пожалуйста, вот пепельница, — говорит консул.

— Ах, простите.— Доктор подходит к окну и смотрит на улицу. Как же велико и прочно его преимущество в силе, если он может повернуться спиной к дважды консулу!

— Господа, могу ли я быть вам чем-нибудь полезен сегодня? — спрашивает консул.

Нет, спасибо, им ничего не нужно, отказывается аптекарь.

— Пойдемте же, доктор! Не будем мешать консулу.

— Я вот стою и смотрю на детей, что там играют, — говорит доктор, не торопясь уходить и даже не оборачиваясь.— Маленькая кареглазая девочка — наверняка одна из дочек Оливера.— Теперь он поворачивается и адресуется непосредственно к аптекарю: — Вам не кажется, что многовато стало кареглазых детей в нашем городе?

Аптекарь уклоняется от ответа:

— Вот как? Не замечал.

— И вчера появился на свет еще один экземпляр.

Аптекарь, по-прежнему уклоняясь от ответа, но нервничая и с явным интересом:

— Новый экземпляр? Ну что тут скажешь!

— Еще один кареглазый у Хенриксена-С-Верфи. Вернее, у фру Хенриксен. Теперь у нее уже двое кареглазых детей.

Аптекарь изо всех сил старается вытянуть из доктора новые сведения.

— Что вы говорите! Помните прутья Иакова? В Библии есть какая-то история про белые и черные прутья, ведь так?

Доктор застегивает пальто и с видом полнейшего безразличия собирается уходить.

— Вы спрашиваете, что тут скажешь? Думаю, лучше всего промолчать. Разумеется, тут нет никакого чуда, и в семье у Оливера, и у Хенриксенов все идет согласно законам природы. Те и другие супруги оба голубоглазые, а кареглазые дети рождаются от кареглазого отца, кто бы он ни был.

— Что вы говорите!

— Говорю что знаю. В обоих случаях речь не идет об атавизме. Я немного изучил этот вопрос, карих глаз в роду ни у кого из их предков не было, по крайней мере в обозримый период.

— Это просто черт знает что, извините за грубое выражение.

Консул иногда бегло улыбается или хмыкает, только в этом и выражается его участие в разговоре, а вообще-то он дожидается, когда гости уйдут.

— Ну ладно, извините, консул! — откланивается наконец доктор. — Кстати, аптекарь, мне очень жаль, что у вас нет еще этой мадеры, а то бы я сейчас зашел к вам и попробовал.

— Я пришлю вино во второй половине дня, — обещает консул.

Уже в дверях доктор заявляет:

— Подумайте о том, что я вам сказал насчет фрекен Фии, консул. Хотелось бы видеть ее сильной и здоровой. У меня особая симпатия к этой прелестной юной даме.

Консул остается один и смотрит на грудку бумаг у себя на столе, он складывает их стопкой и снова разбирает на листы. Зачем приходили к нему доктор и аптекарь? У него возникает подозрение, что их встреча не была случайной. Может быть, они назначили друг другу свидание, чтобы вместе произвести демарш против двойного консула?

Он хмурится все более сурово. Когда аптекарь постучал, доктор поспешил крикнуть ему «войдите», он боялся, как бы его почтенный коллега не ушел. Интрига! Заговор!

Консул внезапно открывает дверь в лавку и говорит Бернтсену, старшему приказчику:

— Выпишите счет доктору, он просил прислать ему счет.

Но и отдав свое распоряжение, консул не может выкинуть эту историю из головы и сосредоточиться на работе, его отвлекают посторонние мысли. Да, он стал теперь не тот, раньше он относился ко всему легко, а теперь то и дело погружается в тягостные раздумья, которые парализуют его деловую энергию. Отчеты подождут, их, кстати, может написать и Бернтсен.

Он подходит к зеркалу, надевает шляпу, придает лицу беззаботное выражение прежних дней и идет на почту отправить те письма, которые уже готовы.

XIII

Да, консул покинул контору в разгар рабочего дня, лишь уступив своей растерянности и подавленности, он хочет где-нибудь укрыться. Письма просто предлог, обычно их отправляет рассыльный из лавки. И когда консул останавливается и будто бы изучает расписание пароходов, висящее на стене почты, это тоже просто предлог, а на самом деле он хочет, чтобы служащие предупредили начальство, что их почтил своим визитом сам консул Юнсен.

Почтмейстер выходит, взгляд у него удивленный и вопросительный, он осведомляется, чем может служить консулу.

Нет, благодарствуйте, ничего не нужно. Впрочем, пожалуй, если у почтмейстера найдется минутка, не посмотрит ли он в своих книгах насчет одного заказного письма, в него был вложен чек, и подтверждение от адресата до сих пор не получено.

Они заходят в служебное помещение и тут же решают этот вопрос, а потом сидят и беседуют. Воздух здесь стылый, отдающий сургучом и штемпельной краской, на стенах висят цветные рисунки, изображающие Божьи храмы и человечьи жилища, отдельно башни, отдельно ворота, фризы, резные украшения, красивые

двери, камин — и все отмечено полетом чистой фантазии. Под окном, выходящим в сад, качаются на ветру пышные грозди сирени.

И вот здесь-то сидит теперь консул на простом деревянном стуле и слушает удивительные речи, совсем не похожие на те разговоры, что день-деньской жужжат вокруг него в обычной жизни. За этим ли он пришел сюда? Вообще-то почтмейстер всегда надоедает людям до смерти, доктор спасается от него бегством. «Господь не дал мне долготерпения, чтобы выслушивать такую незлобивую болтовню», — говорит обычно доктор. Уж если консул Юнсен опустил на этот стул, надо думать, он сильно устал или сильно расстроен.

Ох уж этот краснобай почтмейстер, на редкость доброжелательный человек, но скучный и чересчур просто-сердечный, он и кузнец Карлсен — два сапога пара, с тою лишь разницей, что кузнец молчалив и не мучает других, держит про себя свое идиотское довольство жизнью. Быть довольными жизнью в таком мире, как наш! Оба они недалеко ушли от женщин у колодца, ну да, в точности две женщины у колодца, только что их толки вроде как бы религиозного свойства, а вообще-то ум у них по-бабьи короток. Они выработали себе понимание жизни, которое поддерживает их, почтмейстер даже пришел к этому пониманию философским путем. Иногда реальная жизнь крепко бьет их по голове, но это, казалось, не меняет их умонастроений — ну вот, например, у кузнеца Карлсена вконец испорченные дети, но это не мешает ему твердо держаться своего религиозного миропонимания и благодарить Господа как за дурное, так и за хорошее. Воистину это — фанатическая вера, некогда воодушевлявшая сынов Израилевых! Не исключено, что эти двое и правы, думали окружающие, возможно даже, этих двоих и в самом деле следует считать образцом для подражания, но город-то из-за этого не менялся, он оставался маленьким кишашим муравейником, и самый факт этой неизменности служил доказательством того, что жизнь идет своим чередом наперекор всяким теориям, и, пожалуй, в первую голову наперекор теориям религиозным. Так что у двух праведников на целый город не было никаких перспектив, что проку в том, что они не присоединялись к остальным?

Возможно, сегодня почтмейстер пережил какое-то радостное событие. Это одному Богу известно, но вполне

вероятно; во всяком случае, настроение у него блаженное. Для того, чтобы взбодрить его, немного надо, он всегда довольствуется малым, уже от одного того, что его старший сын недавно сдал экзамен на штурмана и сразу же получил место, отец счастлив как дурачок. Как будто такая уж это замечательная должность — штурман!

— Он у нас такой глубокий, содержательный мальчик,— говорит почтмейстер,— почитали бы вы письма, которые он нам пишет! Впрочем, не знаю, который из наших сыновей более заслуживает похвалы, может быть, и тот, что пошел по земледельческой части. У него остаются деньги от жалованья, так он посылает сестрам на модные туфельки. А какой он сильный! Я уж и не решаюсь здороваться с ним, того гляди руку раздавит, этаким медведь. А видели бы вы, как он развязывает узлы! Ногти у него как кусачки, а если надо, поможет себе и зубами. С такими зубами он мигом все развяжет. А Шелдруп все еще в Гавре?

— Да,— отвечает консул.

— Я так и понял по адресу на письмах, которые послал ему доктор, последнее он отправил вчера.

— Доктор писал ему?

— Да. А Фиа, она так хороша собой, настоящая красавица, и какая учтивая! Однажды моя жена любовалась на нее из окна и позвала меня, чтобы я тоже полюбовался. Простите, вы хотели что-то сказать?

— Нет, это неважно.

— Сегодня рано утром я пошел прогуляться по дороге, ведущей за город, вы ездите по ней на свою виллу, господин консул. Вы знаете сами, часть дороги идет через лес, попадаешь в него внезапно, и словно бы кончилось земное царство, и начался другой мир, дружелюбный и необычный, безмолвный и в то же время исполненный тихих звуков. Ища уединения, я сошел с дороги и двигался вдоль нее лесом, как вдруг увидел поодаль человека. Он меня тоже увидел, так что повернуть назад я уже не мог, а он сидел и играл на губной гармонике. С такими людьми мы редко встречаемся — рабочий, бродяга. Я долго говорил с ним. Он был не слишком развитой, весь его разговор вертелся вокруг еды да денег, но все же этот бедолага сидел в лесу и играл на гармонике. «Зачем ты тут сидишь?» — спросил я. «А что, это запрещено?» — ответил он вопросом на вопрос. «Нет». — «Ну так какое тебе дело?» — «Никакого. Будь добр, поиграй еще». — «А что я за это буду иметь?» — спросил он. «Несколько

скиллингов. Я почтмейстер в этом городе, и через мои руки проходит много денег, но они не мои». — «Наверно, вам случается и вскрыть письмишко с деньгами», — сказал он. «Что ты, как можно? Меня тут же посадили бы в тюрьму». — «Нет, не посадили бы, — возразил он, — потому что все господа заодно. Только нам, бродягам, приходится за все отвечать». Это, разумеется, был вздор, и я объяснил ему: мол, я получаю жалованье, и поскольку я расходую его разумно, мне в сущности хватает на все, что мне нужно. Этого он никак не мог взять в толк, он, по его словам, никогда не получал столько, чтобы ему хватало: заработает на пару башмаков — нет денег на штаны, и наоборот. У крестьян гнешь спину с утра до ночи, сказал он. Когда он приходит и просит поесть, они для начала дают ему работу, причем тяжелую, рубить дрова, например, или самую тяжелую из летних работ. По вечерам они за это расщедрятся на кашу да молоко, и молоко-то снятое, а чтоб хлеб с маслом — так ни-ни, хотя уж сливок у них в достатке, у жуков навозных! Мой бродяга, стало быть, оказался из тех, кто вечно всем недоволен, из лентяев и ворчунов. Если принять, что мы, люди, проходим разные стадии в своем развитии от низшей к высшей, так этот человек еще находится где-то в самом низу, возможно, он уже побывал на земле в неслучайном числе воплощений, но продвинулся вперед ничтожно мало. Таким образом, он всякий раз возвращается во тьму почти не изменившимся, а потом вновь рождается и вынужден опять начинать сначала.

— Вы верите, что дело обстоит именно так? — спрашивает консул, улыбаясь.

— А во что же еще нам верить? Мы не можем предположить, что источник нашего бытия несправедлив, такая гипотеза наталкивается на слишком большие трудности, мы должны исходить из справедливости источника бытия. И мы не можем предположить, чтобы этот справедливый источник от начала времен приговорил моего бродягу к вечному злосчастью. Первоначально мы все равны, шансы у нас у всех одинаковые, только один умеет ими пользоваться, а другой употребляет во зло. Все то, что мы нарабатываем себе на пользу в одном существовании, пригодится нам в следующем, а если мы действуем себе в ущерб, мы опускаемся все ниже. Очевидно, именно поэтому мы не наблюдаем, чтобы человечество менялось в историческом времени, все дело лишь в том, что люди зря растрачивают свои шансы.

— Так вы верите, что мы после смерти еще много раз возвращаемся на землю?

— А во что же еще нам верить? Нам снова и снова дается шанс. У источника достаточно времени, ведь он содержит в себе вечность, и поскольку мы сами — часть этого источника, мы никогда не пройдем. Но важно, чтобы мы не возвращались сюда каждый раз в одном и том же состоянии, в нашей власти улучшить свои условия в следующем существовании.

— Так, чтобы ваш бродяга получил жирное молоко?

Почтмейстер улыбается:

— Такие вещи значимы для него только сейчас, с его нынешней точки зрения. Я же, напротив, имею в виду его склад характера, его душевное расположение. И тут мы подошли к немаловажному факту, а именно: мой бродяга, как я уже говорил, сидел в лесу и играл на губной гармонике. Он, видно, все же наработал себе кое-что в своих прежних воплощениях. Он играл мне песни и танцевальные мелодии, играл великолепно, такого исполнения я никогда не слышал. Но я хочу сказать не об умении, а о самом факте — что он вообще сидел в лесу и играл. А сейчас вы услышите самое интересное: он рассказывал о своего рода золотой арфе, которую видел у одного еврея, у нее были струны разной толщины и из разных металлов: из стали, меди, латуни и серебра, — и к ней были подвешены маленькие шарики, ветер бросал их на струны, извлекая нежные звуки. Так была устроена эта золотая арфа. Удивительно приятно было слышать такие слова от этого бродяги. Нет, он не стоял на месте во всех своих прежних воплощениях, он возделал в своей душе крошечный садик с одним-единственным цветком. Теперь от него самого зависит так вести себя в нынешнем своем воплощении, чтобы в следующем садик стал немного больше.

— Но вся ваша теория начинается с того, что мы признаем существование некоего индивидуального источника, а ведь еще неизвестно, существует ли он.

— А с чего бы вы предложили начать? Разве не существует также и источник всех источников? Но мы вовремя останавливаемся и предполагаем вот этот индивидуальный источник. Без него нам и вовсе невозможно найти объяснение. Да, конечно, нам не по силам воспринять все это, разрешить вопрос, но у нас есть потребность ощущать в основе всего некую власть, некую необходимость, мы не знаем о ней ничего определен-

ного, но она существует в силу нашей тяги к ней, а эта тяга в свою очередь существует как часть источника, к которому мы принадлежим. Мы вооружены ею; не будь она для чего-то нужна, ее бы не было. Вы не считаете, что в этих умозаклчениях есть логика?

— Не знаю, я в этом ничего не смыслю.

— И я не знаю, и никто не знает. Но есть в нас свет, который никогда не гаснет. Иначе была бы полная тьма.

— Что же это за свет?

— Это мысль человеческая. Она заблуждается, она часто бывает бессильна, но мы можем быть уверены, что она существует. Ею мы тоже вооружены, она дана нам божеством.

Молчание. Оба собеседника сидят и размышляют.

Консул спрашивает:

— Божеством — каким? Если бы мысль человеческая чего-то стоила, мы бы, видно, в конце концов сумели обнаружить подлинное божество.

— Оно обнаружено. Мы находим его в нашей тяге к нему.

— Но ведь люди меняют божество, принимают новую веру. Так поступили и греки, и египтяне, и мы, скандинавы. Теперь мы называем именами старых богов наши рыболовецкие шхуны.

— Простите, — говорит почтмейстер, — вы говорите о богах, а я о божестве. Вы говорите о теологии.

Снова молчание.

В сущности, это был скучный разговор, и консулу хотелось уйти, но в данную минуту идти ему было куда, и меньше всего хотелось идти домой. И потом, хотелось понять эту удивительную вещь, прямо-таки чудо: почему почтмейстер каждый день, год за годом, ходит довольный жизнью? Кто еще, кроме него, доволен жизнью? Старые и молодые, ничтожные и великие — все чего-то боятся и за чем-то гонятся, все несут тяжкое бремя, и чуть ли не один этот недоучка, почтмейстер в маленьком городке, составляет исключение. Глупый, слабый человек? Вполне возможно. Но отмахнуться от него, встав на такую точку зрения, никак не удавалось. Взять хоть бы то, что он далеко не всегда бывал покладистым и смиренным, консулу приходилось слышать, как он защищается с большой решительностью. Он хотел, чтобы его оставили в покое, и если ему покоя не давали, он умел его отвоевать. О нет, он не из тех, кого можно топтать ногами. Чем он всем надоедал,

так это своими философскими построениями, он не уставал многословно излагать их, и те люди, которые вообще-то разбирались в таких вещах, тоже совершенно его не понимали.

Ах, лучше бы ему держать язык за зубами! Но нет, он ведь твердо уверен, будто ему и вправду есть что сказать. Однако в городе голос его — глас вопиющего в пустыне. Дома у него стоит вечная тишина, жена вряд ли когда заводит разговор по собственному почину, все больше отвечает на вопросы да хлопочет по хозяйству, а в голове у почтмейстера теснятся как бы сдерживаемые запрудой мечтанья и раздумья, он что-то бормочет, разговаривая с самим собой, но не всегда этим довольствуется, порой какому-нибудь ни в чем не повинному земляку приходится поплатиться и выслушать долгие выкладки на тему, весьма далекую от цен на древесину и фрахт.

Будь консул в своем обычном рабочем настроении, не будь он именно сейчас чем-то встревожен и потому склонен попытаться обрести земной, вот этот, столь чуждый ему, покой, он, конечно, давно ушел бы восвояси. А теперь он продолжает сидеть. Он всячески показывает, что в сущности ему очень некогда, но он будто бы сидит лишь из вежливости, чтоб не обидеть доброго почтмейстера: вот он глядит на часы, открывает внезапно свой портфель и смотрит, не завалилось ли там еще какое-нибудь письмо. Потом бросает как бы вскользь:

— Ох уж эта мысль человеческая, все ищет да ищет, и никак не найдет. Ведь правда, ей нечем особенно похвастаться? А, почтмейстер?

— Человеческая мысль — единственное, в чем мы уверены. Это свет, который горит в нас и погаснет только вместе с нашей земной жизнью. На самом деле для нас очень важно, что у нас есть наша мысль. Велика ли сила воздействия этого света, какую частицу тьмы он в силах разогнать, это уже другой вопрос: ведь если мы вращаемся по бесконечным кругам заблуждений, то, быть может, именно это и есть движение, и есть жизнь; ровный прямой путь вперед был бы слишком легок и парализовал бы жизнь. Если бы это могло нам помочь, мы преклонили бы колена перед человеческой мыслью, перед светом, более того, будь мы богобоязненны, будь мы милосердны к самим себе, мы отдали бы дань благоговения человеческой мысли. Но мы слишком рассудочны, мы не хотим склонять голову. Слишком усердно мы изучаем земную механику. Вы говорите, мы ищем, ищем и не

находим. Позвольте с вами не согласиться. Да, мы не находим, но в том, что мы будто бы ищем, я не могу с вами согласиться. Но зачем, спросите вы, нам искать, раз мы все равно ничего не находим? А я скажу, все равно надо искать, потому что самый поиск есть движение к цели. Но ищем мы мало, ищут лишь немногие, вместо этого мы приобретаем образование, мы упражняем свой рассудок. А это ведь жалкое, бесплодное занятие! Посмотрите на наших разумников, да, они образованны, они знают то, что можно узнать при помощи школярства, уроков, зубрежки.

Консул улыбается:

— Я-то человек совсем не образованный. Вернее, учиться мне приходилось совсем другим вещам, впрочем, даже им я не в полной мере обучен.

— Вот как? Вы скажете, разве мы недостаточно толковые, недостаточно понаторели в земных делах? О да, тут человек преуспел. Именно таких знаний мы добивались во все исторические времена и достигли в них опасно высокого уровня. Но чему мы не научились, так это склонять голову, этой наукой мы пренебрегли. А сейчас мы зашли в тупик, и спасение состоит не в том, чтобы приобрести больше познаний или сноровки, обращенных вовне, а в том, чтобы обратиться внутрь себя, чтобы задуматься.

— Не можем же мы все стать философами?

— Точно так же, как не можем все ограничиваться однобокой механической образованностью. А между тем все добиваются именно этой образованности. Именно она стала высшей целью. В последние столетия ничто не ценится так высоко, как научные знания, высшие классы заразили своим почтением низшие, так что все и каждый жаждут приобщиться к науке. Какое значение мир всегда придавал искусству чтения и письма! Не уметь читать и писать — позор, обладать этим умением — блаженство. Ни один из основателей великих религий не владел этими искусствами, но теперь без них не может обойтись ни стар ни млад. Никто не считает нужным склонить голову и задуматься, путем чтения и письма люди постигают тот круг мыслей, который, как они считают, необходим современному человеку. Читать и писать — более почетно, чем работать руками, говорят высшие классы. А низшие классы слушают и мотают на ус. Мой сын не будет возделывать землю, от плодов которой живет всякая тварь земная, говорят высшие классы, он будет жить за

счет труда других. А низшие классы слышат и мотают на ус. И вот однажды просыпается ропот, ропот толпы, толпа теперь уже сама достаточно овладела искусствами высших классов, она умеет читать и писать, подавайте нам земные блага, они наши, к черту работу над собой ради будущего воплощения, ведь высшие классы тоже не занимаются ею!

— Так вы полагаете, что было бы лучше, если бы читать и писать умели лишь немногие?

— Эта мысль не нова. Но главное — выкорчевать понятие к поверхностным знаниям, добиться того, чтобы все классы общества потеряли веру в механическое образование, вернее, суеверие на его счет. Некоторые утверждают, что ропот толпы прекратится, если повысится уровень образования, и энергично работают ради того, чтобы распространялись все новые знания, чтобы достигалось еще большее совершенство в знаниях. И головы все больше пустеют, тем легче людям держать их высоко, вместо того чтобы склонить под тяжестью раздумий. Нет, не этот путь ведет вперед, даже с точки зрения земного разума он ведет в тупик. Мне приходилось заглядывать в учебники, по которым занимались мои дети, когда были маленькими, — должен признаться, сам я знаю лишь ничтожную часть того, что там написано. Ну что ж, дайте им еще больше знаний, не скупитесь, пусть насытятся знаниями до отвала. Но ропот будет продолжаться, ропот будет нарастать. Плошка жирного молока? Дайте нам еще и еще одну, множество плошек, они наши! Будущая жизнь? Но ведь мы учили, что будущая жизнь это всего лишь мечта, сказки для набожных старух, нас это не касается. Как же мало у них милосердия к самим себе! — говорит почтмейстер, качая головой. — У них есть их маленький садик с цветами, но в следующем своем земном существовании они возродятся, пусть, может быть, и в иных внешних жизненных обстоятельствах, но с не изменившимся душевным расположением.

Тут консул пытается принять еще более скучающий вид, он заходит так далеко, что начинает рассматривать рисунки на стенах, вдруг особенно внимательно приглядывается к одному из них, встает, надевает пенсне и изучает красивые ворота. Ну да, ведь он хочет, чтобы люди уважали и его, консула Юнсена, мнение, не может же он дать так легко обратить себя в новую веру, допускающую множество земных воплощений, хотя вера эта

чертовски заманчива и приятна. Подумать только, он мог бы вернуться на землю и снова править бал, побеждать врагов, нарушающих его покой, устраивать приемы, пускаться в любовные приключения, владеть пароходами, наживать деньги, быть матадором приморского городка, и все это не один раз,— да ему ничего лучшего и не надо! Потом он вспоминает это досадное добавление в теории почтмейстера — что в следующей жизни можно оказаться в совершенно других жизненных обстоятельствах, и снова впадает в растерянность и не знает, на что решиться. А вдруг он возродится в обличье матроса, бродяги; возродится ничтожным, после того как он был столь значителен. Он вновь опускается на стул и спешит принести извинения за свою невнимательность:

— Очень уж хороши эти ворота, прямо-таки райские врата! Так что я хотел сказать: вы говорите, мы не ищем? Но ведь многие считают, что они уже нашли разгадку. Кое-кто предполагает, что после смерти от человека ничего не остается.

Почтмейстер всегда на высоте положения, у него на все готов ответ:

— Кроме его последнего крика, крика ужаса перед тьмой, которая обступает его. Для чего же мы в таком случае приходили на эту землю? Для движения, лишеного цели? Для чего?

Но консул, опасаясь, что сейчас последует длинная лекция еще и об этой теории, которая его тоже не устраивает, торопится перебить его:

— Христиане веруют в вечное блаженство после смерти.

— Ну да,— отвечает почтмейстер.— Вечное блаженство — это, конечно, совсем неплохо придумано, не один смертный утешался этой мечтой по ночам. Но ведь и вечное блаженство не получишь задаром, его надо заслужить, разве не так? Оно все-таки станет уделом лишь немногих, а какой же выход у остальных? Христианство никого не освобождает от работы над собой, наоборот, оно предъявляет жесткие требования; никто не получит вечного блаженства даром, его надо заслужить,— вот что говорит христианство. Таковы нормы его Библии. Евангелие в некотором роде идет еще дальше: нужно верить в кровавую политику умиротворения, провозглашенную первоисточником, верить в нее слепо, верить очертя голову. «Как счастлив я на Рождество, что был Иисус рожден»,— поется в песне. Не каждому дано чувствовать

так же, но каждый может в меру своих сил работать над собой. Никто не скажет, что это непомерное требование.

Теперь консул говорит:

— Я вот сижу и думаю, что, с вашей точки зрения, я, наверно, совершил недоброе дело, когда помог одному мальчику продолжать учебу.

— Это зависит от разных обстоятельств,— отвечает почтмейстер.— Возможно, мальчик в нынешнем своем существовании не имеет данных ни для чего лучшего, он просто не в состоянии шагнуть на более высокую ступень. Это нам неведомо. Но, разумеется, после вашего вмешательства ему не станет легче склонить голову. Вы ведь к этому и не стремились? В ваши намерения как раз и входило выделить этого ребенка из толпы и помочь ему высоко держать голову? Теперь он сидит за партой и внимает преподавателям, пока не получит образование, а тогда он поднимется из-за парты совершенно пустой в этическом отношении, и выйдет в жизнь, и будет учить других такой же пустоте. Скажите, ради Бога, кто может научить нас тому, что здесь действительно важно? Только мы сами. И никто другой. Другие могут научить нас только чисто механическому знанию, имеющему ценность лишь в приобретении сноровки для земных дел. Это можно отчетливо увидеть по толпе: она уже теперь научилась примерно тому же объему механических знаний, которым владел сам высший класс в прежние времена, но ее духовная жизнь стояла на месте. Она ропщет? Да, но это всего лишь выражение алчности каждого отдельного человека, жаждущего земных благ. Ни один человек в толпе ничего не делает для внутреннего блага других, толпа не выработала в себе этического коллективизма. Она прикидывается, будто выступает во имя общественного инстинкта, на самом деле у нее нет даже его. Она ропщет и стремится опрокинуть существующий порядок, и когда дело дойдет до взрыва, даже ее собственные вожди будут не в силах утихомирить ее. Чем хуже, тем лучше!

Консул Юнсен кивает. Теперь он слушает более внимательно, речь идет уже не о всякой чепухе вроде этики и разных высоких материй, последние слова имеют отношение к политике консерваторов, к судьбе крупных предприятий, делам в лавке и на пароходе, этот почтмейстер не так уж глуп. Консул оправдывается:

— Мальчика действительно рекомендовали мне директор школы и еще кое-кто.

— Что ж,— отвечает почтмейстер,— поддерживайте этого мальчика, пусть он обучается в школах все более высокого уровня и достигнет совершенства в навыках, касающихся внешнего. Он вернется сюда и будет радовать своих близких и научит их еще большему духовному оскудению. Но он не умерит их ропот, отнюдь нет, и он еще больше отдалит их от углубления в самих себя. Но, возможно, только на это он и годится, ни на что другое — кто знает? Возможно, в ряду своих прежних земных воплощений он уготовил себе в нынешнем лишь эту, столь низкую ступень. Значит, первоисточник будет ждать, пока в нем и ему подобных не произойдут перемены, а первоисточник терпелив, времени у него достаточно, ему принадлежит вечность.

Стало быть, разговор опять уклонился от темы и консул хочет положить ему конец. Зачем он вообще сюда пришел? Его привело случайное беспокойство, связанное именно с нынешней жизнью, а отнюдь не с будущей. Если бы разговор содержал побольше политики, он бы весьма заинтересовался, ведь он как раз и был одним из столпов общества, который завистникам хотелось опрокинуть, которому подражали выскочки, которому, опять же, ропот матросов с «Фии» причинял досаду и лишние заботы — ну и что же ему делать, какое средство против всего этого применить? Ах, видите ли, работать над собой! Этот почтмейстер — просто бестолочь.

— Да-да,— говорит консул, вставая,— все это так глубоко сокрыто от нас, и нынешняя наша жизнь, и будущая, особенно будущая. Знай мы наверняка что-нибудь о том свете, мы бы, по-видимому, больше старались вести себя соответственно этому знанию уже сейчас.

Почтмейстер с улыбкой отвечает:

— Простительно, если мы даем приют у себя в душе толике земного любопытства. Но силы, управляющие миром, имеют все основания скрывать от нас прежде всего то, что касается нашего прошлого существования. Возможно, оно было столь черным от злодеяний, что воспоминание о нем раздавило бы нас, стерло в прах. Очень даже вероятно. Нам служит стимулом смутная надежда, что мы вели себя не так уж плохо.

— Но если так, была ли необходимость в том, чтобы с самого начала наделять нас такой слабостью?

— Если исходить из того, что жизнь есть движение к определенной цели, то нелогично предполагать, что

мы с самого начала были наделены качествами, исключаящими для нас всякую надежду. Стало быть, мы ими и не наделены. Но тем, что вы называете слабохарактерностью, мы действительно наделены, чтобы, так сказать, начать с малого наш долгий путь. Однако то, что мы настолько же слабохарактерны и сегодня, это уж наша вина: мы пренебрегли своими шансами...

— Те-те-те-те,— перебивает консул.— Я ведь хотел сказать о другом: знай мы, что нас ждет в будущей жизни, это бы побудило нас к исправлению в нынешней.

— Скорее это сделало бы нас еще хуже, хотя, кажется, хуже уже некуда. Вы думаете, человечество стало бы использовать свои резервы добра, не будь оно уверено, что это абсолютно необходимо, и, главное, полагая, что это не к спеху? Скорее человек пустился бы во все тяжкие, исчерпал бы все свои возможности в грехе, и даже залез бы в долги, и отбросил бы сам себя на много существований назад. Еще труднее, чем теперь, было бы ему подняться на более высокую ступень, еще легче опуститься на более низкую. Ведь он знал бы, что в следующем существовании может начать сначала на голой земле. Все потеряно, нет ни сада, ни даже цветка, но движение...

В конце концов консул Юнсен спасается бегством, он спешит обратно в свою контору, а не то почтмейстер совсем бы заговорил его. Почтмейстер с презрением отвергает теологию, но что такое его собственная теория, как не чистейшей воды теология? Консул досадовал, что вообще зашел к нему, он не был Никодимом, который ночью пришел к Учителю, он вышел прогуляться, чтобы немного рассеяться, а вовсе не для того, чтобы обратиться в новую веру. Единственная реальная польза, которую он получил от визита, была информация о том, что доктор писал Шелдрупу в Гавр. О чем бы? Уж верно, сплетни и злопыхательство. Интриги, визит за пять крон к роженице на верфь — чертов доктор!

Консул не забыл отдать распоряжение старшему приказчику Бернтсену, чтобы пятьдесят бутылок мадеры были посланы аптекарю. И внезапным скачком мысль его вернулась к почтмейстеру: одному Богу известно, сколько вздора приходится выслушивать его жене! Может быть, послать и почтмейстеру пятьдесят бутылок мадеры — в подарок? Но, скорее всего, они с тем же посылным вернутся обратно.

Нет сомнения, что вино вернется обратно с тем же посыльным, и консул не может не улыбнуться, подумав об этой непонятной породе людей, которые умеют довольствоваться малым. Работать над собой, а как же это сделать? И видел ли кто хоть когда-нибудь, чтобы Провидение вознаграждало за это? Вот здесь, в городе, есть кузнец Карлсен, Божий человек, он трудится, он немногословен, никому не причиняет вреда, не заговаривает людей до полусмерти, толкуя о множестве земных воплощений, и вот он-то подвергся суровой каре, в семье сплошные огорчения, дети у него вконец испорченные, говорят, один из его сыновей стал бродягой; где же справедливость? У кузнеца Карлсена есть брат, полицейский Карлсен, старый плут, хитрый, как лиса, так у него жена с капиталцем, у нее есть пианино, а сын его служит в министерстве по делам церкви и просвещения, а дочь — в миссии Шройдера, и все это, возможно, именно потому, что он не работал над собой.

Давайте работать не над собой, а на себя!

XIV

Хенриксен-С-Верфи уповал на Бога, надеясь, что и на этот раз его жена оправится, хоть она и была очень плоха. Надежда его оказалась тщетной. За ним пришли перед самым перерывом на обед, он стоял среди своих рабочих и расклепывал заклепку, он не стал продолжать, отбросил молоток и на бегу спросил посланного:

— Ей стало хуже?

— Да, теперь она лежит совсем тихо.

Теперь она лежала совсем тихо. Утром врач ушел, выразив надежду на лучшее, но еще до полудня пришлось послать за священником, и он опоздал.

Вот как порой бывает в жизни.

Теперь надо было позаботиться о похоронах, о поминках, о цветах, о траурной одежде, о том, чтобы приспустить флаг на флагштоке. Помогать пришли и Йоргорова Лидия, и Оливерова Петра, и тем не менее Хенриксену было бы не справиться, если б он не прибежал к крепким напиткам. К тому же он много плакал, и по ночам его охватывало отчаяние. Оно усугублялось мыслью, что жена мучилась без него все эти ужасные часы с утра до полудня, она не послала за ним, хотела оградить его от худшего, она всегда была так добра. Она

прошептала: «Пошлите же за священником». И священник опоздал.

И вот она лежит, сраженная посредине пути, в расцвете здоровья и молодости, ей сравнялось всего тридцать с небольшим. Жаль бедную женщину, и хотя Хенриксен был всего лишь простой человек из народа, выбившийся в люди собственным трудом, все почтенные граждане города пожелали принять участие в похоронной процессии. Да, так они пожелали. Протестовать попыталась лишь супруга консула Юнсена.

— Мы не пошли на празднество у лавочника Давидсена, когда он стал консулом,— сказала она.

— Правильно, но ведь празднество это не похороны,— отвечал Юнсен.

— Эти Хенриксены,— сказала она,— мы ведь с ними не общаемся, почему же мы должны ходить к ним на похороны?

— Чтобы не было кривотолков,— ответил Юнсен.

Фру Юнсен сдалась, но вела себя так, как будто с ее стороны это воистину был подвиг доброты. Бедная фру Юнсен, она вообще старалась двигаться как можно меньше и за последние несколько лет сильно прибавила в весе, нет, она была не создана для физических нагрузок. Консул же, напротив, хорошо сохранился, живот у него держался в допустимых пределах, волосы седели и выпадали медленно, он шел за гробом в цилиндре, выпятив грудь.

Внушительная похоронная процессия до некоторой степени утешила Хенриксена; кланяясь чете Юнсенов, доктору с супругой, да и вообще всем, он расплывался в сияющей улыбке, что, в сущности, было неуместно, а своих девочек он научил в знак признательности делать книксен. Гроб несли рабочие с верфи, но за гробом шел весь город. На каждом доме был приспущен флаг, гудели церковные колокола. Даже Олаус-С-Луговины шел в похоронной процессии, и он охотно объяснял, почему: да, конечно, именно на этой чертовой верфи ему оторвало руку, но фру Хенриксен всегда была хорошим человеком, чертовски хорошим человеком во всех отношениях, да будет ей земля пухом! Не найдется ли у тебя щепотки табаку?

А у колодца стоят, сложив руки под передником, несколько женщин, и смотрят на процессию, и вполголоса обсуждают венки и вообще все торжество. Ба, никак Олаус-С-Луговины, Господи, спаси и помилуй, совсем

стыд потерял! Вообще-то он знает, что делает, нацелился на выпивку и закуску, их его сизый нос за версту чует. И правда, Хенриксен собирается устроить богатые поминки, он не скряга, сегодня он дал своим рабочим выходной, и весь город, все, кто захотят, могут прийти и сесть за длинный стол у него в саду.

Оливер тоже ковыляет вместе со всеми. Он не пьет и не стал бы утруждаться из-за куска пирога, любые лакомства и сладости, какие ему приглянутся, он покупает себе сам. Но Оливер пошел на похороны потому, что на них пошли все почтенные люди города. Все равно сегодня на складе сбыта не будет, всех покупателей как ветром сдуло, Оливер почистил щеткой свой костюм, придиричиво оглядел себя в зеркальце и отправился куда и все.

Похоронная процессия, в которой участвуют четыре консула и целый город,— такое увидишь не каждый день, и даже шведский бриг, который стоит у причала с грузом макарон и вермишели для Бакалейщика-Ольсена, спустил флаг на мачте.

А что им еще оставалось, докеры ушли, разгрузка прекратилась, на причале не было ни души. Кстати, на этом самом паруснике был больной матрос, они уже посылали за доктором, но тот сказал, что не сможет прийти до окончания похорон, зато уж потом не промедлит ни минуты.

И вот теперь доктор с кладбища увидел, что на бриге приспустили флаг; у него мелькнула мысль: возможно, больной матрос умер. После прокола с фру Хенриксен он так напуган, что, как только это хоть в какой-то мере позволяют приличия, он шепотом приносит извинения Хенриксену и покидает похоронную процессию.

Он напрямик, срезая углы, спускается к причалу Бакалейщика-Ольсена и всходит на борт брига. Там все как вымерло, но наконец он находит матроса, лежащего на койке в кубрике, и подступает к нему.

— Я врач,— говорит он.— Дайте я пощупаю ваш пульс.

Швед протягивает руку.

— Покажите язык.

Швед разевает рот.

— Вы принимаете пищу?

Да, он ест.

— Спите?

Да.

Доктор выслушивает его: простукивает грудь, велит матросу повернуться спиной и снова простукивает.

— Вы сильно потеете. Как насчет стула?

Да, тут не все в порядке, доктор правильно угадал, он бегал в галльон целые сутки, но теперь все прошло, теперь стало как будто даже наоборот.

— Этим не следует пренебрегать.

— В каком смысле?

— Вы должны обратить на это внимание. Теперь я выпишу вам рецепт, лекарство пусть вам получают в аптеке.

— Зачем? — изумляется матрос.

— Зачем? — переспрашивает доктор и смотрит на него как баран на новые ворота.

Ох уж этот чертов швед, этот сумасброд и шутник, уж не насмеяется ли он над доктором? Теперь этот матрос в двух словах объясняет, что это не он болен, а один из его товарищей.

Вон оно что! А где же больной?

Дело вот в чем, в сущности и он тоже не болен, он порезался разбитой бутылкой, кровь так и хлестала, но поскольку доктор не смог прийти, они перевязали его сами.

Видно было, что доктор почувствовал себя задетым. Он повышает голос:

— Ну так где же больной, я вас спрашиваю, где матрос, который порезался?

Он отправился к доктору, наверно, сидит в приемной и ждет.

Прежде чем покинуть кубрик, доктор не смог удержаться от втайне мучившего его вопроса:

— Но какого черта вы позволили мне вас осматривать?

Однако и на это у матроса находится вполне правдоподобный ответ: он произносит слово «карантин», он думал, что это всего лишь обычный осмотр, для того чтобы выяснить, все ли здоровы на борту.

Ну что ж, значит, он все-таки не насмешник и обманщик, а порядочный человек. Если бы доктор рассмеялся и сказал пару шутливых слов, его промах был бы тут же забыт; но он сделал худшее из того, что мог, — показал свое раздражение, он брюзжит и злится, и из-за этого происшествие обретает значение. Швед начинает пререкаться, что в общем-то естественно, он еще и смеется

весьма непочтительно, а потом вдруг резко поднимается и садится на койке. Тогда доктор уходит.

И хуже всего, что эта история просочилась в город, а уж в таком маленьком городке история, и сама по себе смешная, не преминула обрасти мелкими злопахательскими добавлениями, так что доктору пришлось несладко. Все, кто имел на него зуб, упивались ею, консул Юнсен, например, посмеялся от души впервые за много дней.

— Такой уж он человек, этот доктор,—говорит консул адвокату Фредриксену.—Он не из тех, кто станет расспрашивать больного о его состоянии, он все видит сам, с первого взгляда! Он глуп. Так вы говорите, он поставил шведу диагноз: родильная горячка?

— Да, вроде бы так было дело.

— Ха-ха, великолепно! Зайдемте ко мне, адвокат, пропустим по рюмочке за удачный исход выборов.

Два господина входят в дом.

Под удачным исходом выборов каждый из них подразумевал свое, но консул Юнсен не был фанатиком, а если честно, то и политиком тоже не был. Он просто был столпом общества. Он — фанатик, он — политик? Да что вы, он еще несколько лет назад мог с легкостью пройти в стортинг, но он отказался, у него не было времени, к тому же он и без того был дважды консулом и большим человеком. Потом ветер переменился, в этом году если б он и захотел, то собрал бы лишь малую толику голосов, такую кипучую деятельность развернул в округе адвокат Фредриксен. И какая разница, кого выберут, для К. А. Юнсена, дважды консула, от этого ничего не изменится. Этот Фредриксен не из людей консула, далеко нет, но пусть его выбирают, пожалуйста, консул не против. И в этом случае не так уж глупо угостить его бокалом вина в домашней обстановке, ведь такому выскочке может взбрести в голову поднять шум вокруг этих дурацких жалоб на борту «Фии». Впрочем, пожалуй, пусть делает что хочет, дважды консул все равно останется тем, кто он есть; но, однако же, почему бы нет — пожалуйста, не жалко, выпейте бокал вина, адвокат. Вы редкий гость в моем доме.

На самом-то деле Фредриксен как раз и не хотел быть в этом доме редким гостем, уж чего-чего, а этого он совсем не хотел. Вот уже два года его волновала юношеская мечта входить в этот дом своим человеком, более того, членом семьи! Эта мысль была глубоко скрыта от

окружающих, и он не намеревался обнародовать ее, пока оставался ничем, оставался всего лишь адвокатом в приморском городке; но выборы — быть может, выборы развяжут ему язык. Все зависит от их исхода.

— Я слышал, фрекен Фиа привезла домой гостей?

— Да, уж так водится, — отвечает консул снисходительно. — Тоже художники, ее коллеги, их двое. Не будь у нас еды в изобилии и такого большого дома, нам бы трудненько пришлось, ха-ха.

— Говорят, они совсем молодые парни, представляют они собой что-нибудь?

— Не знаю. Впрочем, да, конечно, представляют. О них много говорят и пишут. И с их приездом жизнь стала бить ключом.

— Вот как?

— Ну да, они заполонили своим искусством весь дом, один пишет портрет моей жены, другой — мой собственный, мы им позируем, сидим и двинуться не смеем... Но хуже всего, что моя жена позирует при полном параде, а она так этим увлеклась, что сеансы у нее и до и после обеда. Так что она ходит в шелках и с декольте целый день. Никогда не женитесь, адвокат!

— И это говорите вы?

— У вас появятся жена и дети, а с ними масса расходов, ха-ха.

Это было необдуманное высказывание, да и тон не понравился адвокату. Было просто невежливо намекать, будто Фредриксен всю жизнь должен оставаться холостяком — почему, собственно? Ну, а насчет расходов... Адвокат не мог не подумать про себя, что сам консул, например, нисколько не прогадал на своем браке: именно солидное приданое фру Юнсен положило начало его стремительному восхождению. И ради него-то он и женился на Юханне Хольм. Она была отнюдь не красавица и умом не блистала... Нет уж, господин дважды консул, без твоей жены ты бы и по сей день остался мелким лавочником и Юнсеном-С-Пристани, вспомни-ка лучше! Но как раз об этом консулу вспоминать и не хотелось; доктор однажды напомнил ему в своей обычной ехидной манере, с того и началась вражда между двумя господами. Фру Юнсен же, наоборот, никогда об этом не забывала, но не брюзжала и не докучала этим мужу. В молодые годы, когда она разок-другой ловила мужа на неосторожном любовном приключении и хотела с ним развестись, она требовала свое приданое обратно; но

поскольку торговое дело не могло обойтись без ее финансовой поддержки, супругу ее пришлось научиться вести себя поосторожнее, а что еще ему оставалось?

Адвокату ничего не стоило ответить намеком, от которого консул живо бы присмирел, но он не решился, да это и отнюдь не помогло бы ему добиться своей цели. Поэтому он отвечает цитатами:

— Женись, и ты в этом расквасишься! Но женитьба — все равно что смерть: никому ее не миновать.

— И вы туда же, адвокат? Ну что ж, конечно, еще не слишком поздно. Ваше здоровье!

Адвокат выпил и промолчал. Слишком поздно? Во всяком случае он значительно моложе консула, а ведь тот продолжает направо и налево домогаться женщин. Консул, видно, не отдает себе отчета в том, что перед ним сидит возможный депутат стортинга, а не то взял бы тоном ниже.

— Я постараюсь не доводить до того, чтобы стало слишком поздно,— сказал он.— Не следует вести себя несообразно своему возрасту.— Вот консул и получил на орехи!

После чего адвокат ушел. Ну и ладно, проглотим и это, пожалуйста, не жалко. Но такой человек будет депутатом стортинга, членом этого собрания отцов нации? Нет уж, увольте, в таком случае консул лучше останется тем, кто он есть! Он уже вновь обрел жизнерадостность и деловую активность, давно отослал иностранным правительствам отчеты, определил, как будет вести себя с матросами, решил занять жесткую позицию по отношению к доктору, настроил себя так, что страх в нем сменился негодованием, выработал в себе нечто вроде воли к борьбе — вот так, а теперь будь что будет!

Разве этого мало?

И помимо всего прочего он еще как радушнейший хозяин принимал гостей дочери, беседовал с ними и позировал им, снабжая их вином для лесных пикников, кормил сладостями из лавки, был заботлив и подарил каждому по желтому шелковому шейному платку, поскольку они любили предаваться мечтам в саду до позднего вечера.

Консул отлично понимал, что Фиа притащила домой этих гостей единственно для того, чтобы помочь им хоть таким способом, раз уж она не могла впрямую покупать их картины. Ох и недешево же она обходилась отцу! Ему ведь придется приобрести эти портреты, свой и жены,

и он даже не решался спросить о цене, оставалось лишь выложить сумму, которую ему назовут. Мог ли он вести себя иначе?

Впрочем, какая разница, консул не жалел об этих деньгах, наоборот, немного гордился всей ситуацией. Ведь о том, чем занимаются эти молодые люди, узнал весь город, да нет, не только его собственный маленький городок, это стало известно и в столице, в газетах было напечатано, что два молодых художника в настоящее время проживают в доме у консула Юнсена, матадора побережья, где пишут портреты членов семьи.

— Это из-за вас я попал в газеты? — спрашивает он у них с олимпийским юмором. — Я не хочу фигурировать в скандальной хронике, — говорит он. — И, кстати, вы проживаете здесь, в доме, тайно, помните об этом! Если пройдет молва, что вы пишете наши с фру Юнсен портреты, меня обложат еще большим налогом.

Ах, как он умел говорить с молодежью, и снисходительно улыбаться, и выслушивать истории об их проказах. То, что они придумали, было вполне невинно, они, насколько он мог судить, были славные ребята, впрочем, чересчур полагаться на них не следовало, сам черт не разберет эту молодежь, хе-хе. Они ведь выезжали и в загородное поместье, и там тоже вытворяли разные штучки, в том числе однажды ночью перекрасили Вороного в серый цвет. Наутро батрак надолго лишился рассудка — неизвестно, был ли то искренний ужас или умелое притворство, — и пришел в себя лишь тогда, когда ему дали пять крон за то, чтобы он смыл с жеребца акварельную краску.

Ну а Фиа, имела ли она виды на этих молодых людей, была ли, так сказать, влюблена в них? Если и была, то на свой манер, как-то спокойно, можно сказать, опрятно. Она была к ним добра и вела себя как хороший товарищ, но с известной сдержанностью, она не забывала о благовоспитанности. Художники называли ее графиней. Она со своей стороны ничего не имела против такого прозвища, это прозвище было вполне приличным, она даже старалась ему соответствовать; и разве она не заслужила его? Дочь своего отца, почти что дочь всего города — из самой уважаемой его семьи, художница, аристократка с поэтической душой, талантливая — где другим тягаться с ней, если уж на то пошло! Алиса Хейберг — тоже дочь консула, но никаких особых способностей у нее нет, обучена она всего лишь домоводству и выполнению по-

вседневных обязанностей; дочери Бакалейщика-Ольсена, пожалуй, могли бы быть толковыми девушками, если бы их не испортили неумные родители, изо всех сил старавшиеся сделать из них благородных дам. Кто там еще? Две юных дочери Хенриксена-С-Верфи были еще совсем девчонки, не вышли из детского возраста, да впрочем из них все равно никогда не получится ничего путного.

Фиа была графиней, высокой и стройной, с утонченными чувствами, всегда и все делала правильно. В последние два-три года она пристрастилась к широкополым шляпам и чуть более ярким цветам в одежде, но не перебарщивала в этом, соблюдала ту меру, которая ей подобала. Когда она шла по улице, разряженная в свой артистический туалет, нередко случалось, что другой художник, а именно почтмейстер, стоял у своего окна и радовался, на нее глядя.

Нет, консул не думал, что Фиа имеет виды на своих гостей, иначе ему пришлось бы серьезно поговорить с ней. Эти мальчишки не для нее, один был сыном сельского нотариуса и, следовательно, хотя бы из образованной и воспитанной семьи, другой — сын маляра, а бедны были оба одинаково. О нет, консул Юнсен не презирал никаких сословий, все люди поистине для него равны, но в конце концов дочь у него одна, она его любимое дитя, и он хотел наилучшим образом защитить ее от бед и трудностей. Сын коммерсанта, хозяин доброй старой почтенной фирмы подошел бы ему больше. Поэтому консул был скорее даже доволен, когда однажды за обедом молодые художники сообщили, что оба они получили заказы. «И за это мы должны благодарить вас, господин консул», — сказали они.

— Поздравляю! — ответил консул. — Что же вы будете делать?

— Писать портреты консула Ольсена и его супруги.

— Бакалейщика-Ольсена и его женки! — восклицает фру Юнсен. — Нет, это уж слишком!

Тут все сидящие за столом рассмеялись, а консул мягко произнес:

— Дело есть дело, ты должна понять, Юханна!

— А Хейберг и Давидсен тоже заказали портреты? — спрашивает фру Юнсен. — Погодите, еще закажут.

И снова все рассмеялись.

Консул поясняет, обращаясь к двум художникам: здесь, в городе, расплодилось так много консулов, и все

эти новоиспеченные консулы подражают старейшему. Полно, Юханна, к этому надо относиться с юмором! Но, с другой стороны, раздражает, что они в доме пальцем шевельнуть не могут без того, чтобы другие в точности не повторили их движение. Но право же, Юханна, не принимай их всерьез, они не стоят того!

Его супруга вовсе и не принимает их всерьез, ее не так поняли. По ее словам, уж если кто и взирает на других консулов со снисходительной улыбкой, так это она. Ее восклицание выражает лишь радость.

— А что касается Давидсена,—говорит консул,—то он человек совсем другого склада: без претензий, без культуры, но и без глупой фанаберии. Это трудяга, он стоит за прилавком и продает зеленое мыло. Я симпатизирую Давидсену.

Фру Юнсен смеется, но видно, что она решает какую-то сложную задачу.

— Я теряюсь в догадках, что нацепит на себя фру Ольсен, чтобы переплюнуть меня в моем шелковом платье.

Они обсудили костюмы, цвета, перебрали разные варианты—что лучше: одна-единственная золотая цепь или многочисленные драгоценности. Почтенные купцы прежних веков не боялись представлять на портретах в роскошных одеждах, с кружевами, пряжками, цепями, драгоценными камнями; теперь позируют в черном сюртуке, как консул Юнсен, и все равно получается хорошая картина, такой сюртук называют «дипломатом», и картина получается на высшем дипломатическом уровне.

— Да,—говорит консул, поднимая бокал,—а теперь выпьем за то, чтобы при работе над портретами четы Ольсенов вам так же сопутствовала удача, гений и вдохновение, как тогда, когда вы писали мою жену и меня. Мы оба очень довольны и глубоко благодарны.

Они выпили за это. Фиа спрашивает:

— Когда вы начинаете работу у Ольсенов?

Художники ответили: это зависит от нас, хоть сию минуту. И рассказали, что, возможно, будут писать еще и двух дочерей Ольсенов.

— Ну вот вам, они таки решили здорово нас переплюнуть!— снова восклицает фру Юнсен.—И теперь я догадалась, что напялит на себя фру Ольсен: она будет позировать в двух шелковых платьях сразу!

Снова смех, все прямо-таки заходятся смехом. Фру Юнсен острит нечасто, на что, верно, есть свои причины,

и никто не ждет этого от нее. И теперь консул спешит подчеркнуть, мол, его супруга неподражаема, великолепна!

Но похвала всегда ударяет фру Юнсен в голову, ничего не поделаешь, такой уж у нее характер, и она портит все впечатление, осведомляясь, а что будет у фру Ольсен на ногах — уж не две ли пары туфель сразу?

И снова все рассмеялись, но художники взмолились про себя: когда же она наконец уgomонится!

Оказалось, что ходить писать портреты в дом консула Ольсена очень приятно, там живут на широкую ногу, никогда еще двух художников так щедро не угощали вином и пирожными в первой половине дня, и кофе и вафлями с заварным кремом во второй. К тому же «девочки», две юные дочери, такие здоровые и рослые, такие жизнерадостные, настоящие лакомые кусочки. Сын маляра влюбился в обеих сразу, но ничего не добился, пролезть в семью консула Ольсена тоже нелегко; если б это хоть был сын нотариуса! Девушки всем взяли, возможно, они немножко жеманничали и пытались выражаться более благородно, чем привыкли, но они чертовски красивые и молодые, у них ни в чем не ощущается недостатка, скорее можно сказать, что у них всего слишком много: сами слишком рослые да крупные, чересчур густы и длинны пепельные волосы, полноват рот: их недостаток заключался в чрезмерном избытии; и еще походка у них «уточкой», они немного переваливаются с боку на бок.

А все дурное, что художники слышали про фру Ольсен, оказалось просто клеветой, это была любезная дама, до того отзывчивая, что ей ничего не стоило расчувствоваться до слез, воплощенное материнство, с кроткими глазами и склоненной головой. Единственной ее заботой были дочери, как вырастить их изысканными и счастливыми, но именно из-за своей любви к дочерям она предоставляла им вытворять все, что они захотят, и вырастила их никчемными и невежественными, пустыми красивыми куклами. Не похоже было, что это фру Ольсен потребовала, чтобы написали ее портрет, она восставала против этого каждый раз и хотела, чтобы вместо нее написали ее дочерей, обеих на одной картине, парный портрет. И консулу Ольсену всякий раз приходилось уговаривать свою супругу: послушай, Хенриэтта, дай же художникам закончить... Дойдет черед и до парного портрета!

И бедная жертва в угоду мужу позировала в шелковом платье, с перстнями на пальцах, с часами на запястье.

Сам консул Ольсен, толстый провинциальный богач, выскочка, удачливый спекулянт, был более склонен к фанфаронству. Когда он позировал художнику, он то развлекался, распевая эстрадные песенки и корча гримасы, а то вдруг напускал на себя важный вид и надолго умолкал, изъясняясь лишь кивками да покачиванием головы. Так он давал понять, что обдумывает грандиозные торговые предприятия. Тише, говорила его супруга, теперь оставьте папу в покое, девочки. А папа был просто-сердечный и добрый и очень тщеславный человек, ему доставляло удовольствие, что в то время, когда он обдумывал грандиозные торговые предприятия, вокруг воцарялась тишина.

— Вот теперь хорошо,— говорил художник.— Именно то выражение, какое мне нужно, просто великолепно, эти решительно сжатые губы, эта смекалка в глазах. Вот так и сидите,— говорил он, как будто собирался щелкнуть фотоаппаратом.

И консул Ольсен тщеславно принуждал себя разрабатывать грандиозную торговую сделку с зерном из Аргентины, вместо того чтобы раскрыть свой решительно сжатый рот, спеть песенку и скорчить гримасу.

Портрет обещал получиться особенно удачным, и художник— это был сын маляра— просил разрешения послать его на выставку в Христианию. Пожалуйста, ради Бога! Вообще-то консул стеснялся того, чтобы его портрет выставляли, но если художнику это на пользу, то о чем говорить! Он с удовольствием пойдет навстречу молодому человеку, все члены семьи с удовольствием шли ему навстречу, и дочери тоже, но они в него не влюблялись. Похоже, что у его коллеги, сына нотариуса, который писал портрет супруги консула, шансов было побольше, да, так казалось, но и ему в один прекрасный день натянули нос. Девушки эти, видно, все же специфического склада, они были из купеческой семьи и, разумеется, прежде всего жили купеческими интересами, очевидно, потому-то в их разговорах так часто всплывало имя Шелдрупа Юнсена. Странные девушки, стало быть, и, возможно, не слишком умные. Или дело было не в этом? Однажды, когда сын нотариуса уже приступил к их парному портрету, они, чертовы куклы, не явились на сеанс. В свое оправдание они рассказали, что совер-

шенно неожиданно встретили на улице Шелдрупа Юнсена и остановились поболтать с ним, он приехал домой совсем ненадолго.

Нечего сказать, хорошенькое оправдание! Художник воспринял их поступок как предательство и плевков в лицо.

XV

Шелдруп Юнсен и в самом деле неожиданно прибыл домой, чтобы вскорости столь же неожиданно отбыть.

Взяв с собой отцовского старшего приказчика Бернтсена, он отправляется в приемную к доктору, коротко здоровается и задает следующий вопрос:

— Что означают письма, которые вы мне посылали? Я специально приехал домой для того, чтобы это выяснить.

Доктор, застигнутый немного врасплох, со слабой улыбкой:

— Письма? Ах, это...

— Сначала вы написали мне, что еще один кареглазый младенец появился на свет, а через несколько дней — что его мать умерла.

— Именно так.

— Именно так. Я хочу знать, почему вы сочли нужным сообщить мне об этих событиях.

— Не можем ли мы поговорить с глазу на глаз? — смиренно спрашивает доктор.

— Нет, я хочу иметь свидетеля против вас, — отвечает Шелдруп.

— Но то, что я хочу сказать, не предназначено для посторонних ушей.

— Тогда выслушайте то, что предназначено для ваших ушей, — говорит Шелдруп и делает два шага вперед.

Доктор отступает, губы у него дрожат, он говорит:

— Нет, погодите, теперь я понимаю, что ошибся, прошу меня извинить, я судил о вас неправильно, — о вас и о другом человеке, простите! В сущности, я не имел в виду ничего дурного.

— В сущности, мне следовало бы вас как следует отколотить, — говорит Шелдруп, голос у него вибрирует от волнения. — Вы клеветник, вы...

— Погодите, разрешите мне...

— Дрянь, мерзкая баба-сплетница. Именно так. Мне следовало бы набить вам морду.

Доктор немного оправился.

— Погодите, я ведь поставил вопросительный знак, разве вы не помните? В сущности, я хотел вас кое о чем спросить, в чисто научных целях, спросить кое о чем важном для моих научных изысканий. У вас с собой эти письма?

— Будь они у меня с собой, я бы заставил вас разжевать их и проглотить.

— Не надо так, давайте обсудим это, спокойно все обсудим, хорошо? Я прошу у вас прощения, это было в чисто научных целях, я думал, что могу себе позволить задать вам вопрос, мы ведь давно знаем друг друга. Разве вы не помните, что я всего лишь задал вопрос, я ведь поставил вопросительный знак. Дело в том, что это белое пятно в науке...

Шелдруп в ярости, он входит в раж и теряет чувство меры, от этого он проигрывает, начинает размениваться на мелочи.

— Что за вздор вы несете, при чем тут наука! Вдобавок ко всему вы еще и жалкий трус, стараетесь заморочить мне голову, право, так бы и плюнул вам в физиономию.

Доктор теперь уже совсем оправился.

— Ну что вы так злитесь, дело того не стоит, право же, вся история не стоит выеденного яйца. Да это, извините меня, и неумно.

— В каком смысле неумно?

— Будь мы наедине, я бы вам сказал. Неумно в том смысле, что может обернуться большими неприятностями для вас.

— Плевать я хотел на ваши угрозы, понятно?! — кричит Шелдруп.

— Я прошу у вас прощения, — повторяет доктор.

Но этот громкий разговор в обычно столь тихой приемной привлекает внимание в доме, появляется супруга доктора, что вынуждает Шелдрупа молча поклониться и уйти восвояси вместе со своим спутником.

Стоило ехать аж из самого Гавра ради извинения, ради двух-трех пустых слов! Вечером Шелдруп стал подумывать о повторном визите к доктору и поделился этой мыслью с Бернтсеном, но тот дал ему совет вовремя остановиться, доктор получил свое, и с лихвой! О, этот превосходный старший приказчик, правая рука консула Юнсена, он плохого не посоветует, он знает, что делает, и умеет смотреть на вещи с разных сторон; не исключено

также, что там, в приемной, он понимал, на что все время намекает доктор. Впрочем, что там было понимать? Да ровным счетом ничего, все это сплошной вздор; но ради себя самого и ради всей семьи Шелдрупу следовало помалкивать об этом.

— Нет, оставьте его в покое, вы и так нагнали на него страху, с него хватит,— сказал Бернтсен.

Шелдруп уступил. Да, Бернтсен прав. Гнев молодого человека улегся, он решил удовольствоваться извинениями доктора. Да к тому же с пощечинами все было не так просто, он и сам много лет назад получил пощечину, которая не украсила его имя, ту постыдную оплеуху от Петры, нельзя, чтобы его имя вечно связывалось с оплеухами.

Назавтра рано поутру Шелдруп снова взошел на борт парохода, чтобы вернуться в Гавр.

И при этом доктор опять попал в весьма затруднительное положение.

Дело в том, что и он тоже, вместе со многими другими, спозаранку спустился на причал проводить почтовый пароход, накануне ему выпало на долю тяжелое испытание, и он хотел проветриться. Как же, черта с два он проветрился! Могло ли ему прийти в голову, что Шелдруп отправится в обратный путь так скоро—ведь Юнсен наследник обычно гостил дома неделями, когда приезжал на каникулы. Но вот он спускается к причалу, в сопровождении отца, матери и сестры, а также двух приезжих художников. Доктор не знал, поздороваться ли ему. Поздороваться первым? Ну конечно, ведь тут были и дамы. Вообще-то он стоял в сторонке, довольно далеко, но все же поздоровался, а сделав это, отошел еще дальше в сторону.

Но, похоже, гнев снова охватил Шелдрупа, он двинулся вслед за доктором. Очевидно, присутствие доктора на причале он воспринял как враждебный акт, как наглость. И что теперь будет? Шелдруп шел за доктором, словно собирался встать с ним лицом к лицу, хотя сам и не смотрел на него, не достаивал взглядом. Уж не хочет ли он оттеснить доктора на самый край причала, столкнуть в море? Вот между ними осталось всего четыре шага.

И в это мгновение служащий редкостных качеств, старший приказчик Бернтсен вдруг возникает между доктором и Шелдрупом и говорит, обращаясь к последнему:

— Гляньте-ка, вы забыли вот это,—и он легонько тянет Шелдрупа в сторону и подает ему что-то, одному Богу известно, что именно, возможно, какую-нибудь ерунду.

Но с этой минуты Бернтсен развивает кипучую деятельность на причале, мелькает то тут, то там и в то же время всегда оказывается рядом с Шелдрупом.

— Я разыскиваю наш товар,—говорит он,—мы ожидаем партию товара.

Даже когда Шелдруп поднялся по трапу, Бернтсен пошел за ним, чтобы выяснить, нет ли этого товара на пароходе.

Шелдруп стоит у поручней и вполголоса беседует со своим семейством, оставшимся на причале. Все семейство пребывает в величайшем недоумении как по поводу его приезда, так и по поводу отъезда. Отец, впрочем, ни чуточки не пристаивал к нему с расспросами, а на вопросы матери и сестры у Шелдрупа был один ответ: дела! Но все терялись в догадках.

Вдруг Шелдруп обращается к Бернтсену, указывая на доктора, стоящего в сторонке.

— Послушайте, Бернтсен,—говорит он громко и отчетливо,—наверно, зря все-таки я не всыпал как следует тому типу. Как он посмел явиться сюда!

Тишина. Только один голос откликнулся на причале:

— Какого черта... Что он имел в виду?—Это был Олаус-С-Луговины, он почувал, что запахло жареным.

— Когда вернетесь в Гавр, не забудьте прислать нам тканей, как обычно,—отвечает Бернтсен, сохраняя полное самообладание.—Хлопчатобумажных тканей со спокойным рисунком, если можно, полсотни штук.

— Не забуду.

— Нет, прошу вас, запишите все-таки.

Шелдрупу ничего не остается, как вынуть из кармана записную книжку и сделать пометку.

Потом пароход отчаливает, и Бернтсен спрыгивает на причал.

Доктор стоит как громом пораженный, сторбившись, глядя перед собой невидящим взглядом. Но это продолжается всего лишь миг, потом он выпрямляется, выпячивает грудь колесом и идет своей дорогой. Нет, пусть не ждут от него, чтобы он смирился, чтобы спустил молодому торгашу оскорбление, нанесенное при всем честном народе, в общественном месте.

Вообще-то у доктора хватало неприятностей в последнее время, но когда он сейчас уходил с причала, по его виду можно было сказать, что он твердо вознамерился выдержать их с честью. Олаус-С-Луговины посмотрел ему вслед и высказался в том духе, что доктор-де здорово задирает нос.

В это мгновение появились барышни Ольсен, они бежали бегом и были такие красивые, и молодые, и запыхавшиеся.

— Подумать только, мы опоздали,— сказали они.— Было сегодня что-нибудь интересное на почтовом пароходе? Почему вы все здесь, Фиа, почему вы машете вслед пароходу?

На самом-то деле барышни Ольсен это прекрасно знали, они услышали новость рано утром, лежа в постели, и тут же поспешили встать и одеться, но все равно опоздали.

— Шелдруп опять уехал,— отвечает Фиа.

— Подумать только! Что ты говоришь? Так скоро? Да ну?!

Сказать больше они себе не позволили, они удалились вместе с двумя художниками и отправились домой позировать.

Они нагнали доктора, который остановился поговорить с адвокатом Фредриксенем.

— Ну как,— окликнул их доктор,— опоздали на проводы?

Теперь доктор был спасен, опасность ему больше не угрожала, и он вновь обрел свою самоуверенность.

— Проводы? Какие проводы?— спросили барышни Ольсен, не останавливаясь.

Доктор насмешливо поглядел им вслед и снова повернулся к адвокату:

— Нас прервали. Так можете ли вы ответить на мой вопрос?

— Однозначно не могу.

— Вот как?— говорит доктор.— Но ведь это дело общественное.

— Да, но... В то же время это ведь и сугубо частное дело.

Доктор саркастически улыбается:

— Я думал, что вы, как человек, который сведущ в законах и который с помощью Бога и добрых людей вскорости может войти в число законодателей, знаете способ, как пресечь социальное зло.

— Повышение рождаемости в стране вообще-то не считается социальным злом.

— Ну вот, и вы туда же! Уж не запоете ли вы вслед за почтмейстером гимн потомкам?

— Нет, с этой теорией я не желаю иметь ничего общего.

— А я таки считаю это социальным злом. Впрочем, речь идет всего лишь о том, что один определенный человек наводняет город своими кареглазыми незаконными отпрысками.

— Вы это утверждаете?

— И знаю, что так оно и есть.

— Но доказать это будет трудно.

— Достаточно трудно, согласен, в особенности если свидетели умирают. Но тут, пожалуй, может прийти на помощь наука. Компетентная наука — неопровержимый свидетель.

— Это вы тоже беретесь утверждать?

Необдуманное высказывание, никогда не надо дразнить гусей.

Доктор спрашивает с видом крайнего изумления:

— Вы не верите в науку? Ваш уровень столь низок?

Адвокат, народный трибун, думает: он нарочно сказал о моем уровне, провоцирует меня. Единственный выход адвокат видит в том, чтобы в какой-то мере обратить дело в шутку.

— Нет, что вы, вы меня не так поняли. Наука, ну да, конечно! Но послушайте, доктор, ведь кареглазые дети — красивые дети. Если дело обстоит так, как вы говорите, то предполагаемый отец — человек опытный и способный и, следовательно, вполне хорош в роли родоначальника. В наше либеральное время...

— Да вы что, смеетесь надо мной? — спрашивает доктор. — Мое почтение, адвокат!

Нет, он сейчас закричит, он сейчас взорвется! Все и вся против него! Еще и этот адвокатишка, заросший щетиной, небритый, эдакий демократ, и перо в шляпу воткнул, как будто собрался на прогулку в Альпы. Хорош молодчик!

Все эти неприятности в конце концов вывели доктора из себя, ну конечно же, ему следует восстать и проучить их, как следует проучить этот сброд! Разумеется, его положение все еще было достаточно прочным, но в последнее время люди перестали выказывать ему почтительность, да уж, от почтительности не осталось и следа.

Не питай он величайшего презрения к большинству людей, он мог бы иногда обернуться и спросить, какого черта они ухмыляются, когда он проходит мимо.

А тут еще консул Юнсен на прошлой неделе прислал ему длиннющий счет, Юнсен-С-Пристани, торгош-папаша. Ну что ж, он получит свои деньги, и очень скоро, доктор швырнет ему эти жалкие гроши, пожалуйста, пусть подавится, и это будет в ближайшие дни. Ха-ха, доктор не мог не рассмеяться, он пошлет деньги по почте, вот что он сделает, таким образом весь город узнает об этом, вот такую шутку он сыграет над Юнсеном. И с этой минуты он зарекается покупать что-либо в Юнсеновой лавчонке, в этой забегаловке. Ведь там дело доходит до того, что уважаемым гражданам города недовешивают муку!

Вдруг его осеняет: надо потолковать с Маттисом-Столяром, пусть расскажет поподробнее об этой достопримечательной торговой сделке. Он смотрит на часы. Да, у него еще есть время.

Такого высокопоставленного и благородного заказчика Маттис-Столяр никак не ждал у себя в мастерской, и он тотчас же предложил доктору пройти в жилую комнату. Они сели посреди кресел и качалок и этажерок и столов под плюшевыми скатертями. Висячая лампа над столом посреди комнаты спускалась так низко, что чуть не задевала скатерть, на стенах висели фотографии родственников, эмигрировавших из страны, и групповой снимок членов стортинга созыва 1884 года; срезанные ветки с листьями на каминной полке были сухие как бумага. В маленькой, заставленной мебелью комнатухе было тесно и душно, и разговор тоже никак не клеился. Маттис был на себя не похож, казалось, он чем-то расстроен.

Доктор сказал, что ему нужно починить складную ширму.

Столяр сказал, что пришлет за нею ученика.

— Ширму поставили между открытой дверью и открытым окном, и она, конечно, опрокинулась от сквозняка и сломалась.

— Бывает. Ширма, она вещь непрочная.

— Но такого не должно быть, ни в коем случае. Нечего устраивать в доме сквозняк. А все эти глупые служанки. Как обстоит дело у вас, Маттис, возможно, ваша экономка управляется по дому на славу, и все же прислуга есть прислуга.

Маттис вдруг оживился, более того, пришел в возбуждение, он затряс головой, это может означать что угодно, только не согласие.

— Она управлялась по дому на славу,— отвечает Маттис,— но теперь пусть уходит.

— Уходит? А почему?

— Я не хочу об этом говорить. Все они сумасшедшие.

— Как бишь ее зовут?

— Марен Салт. Старуха совсем, лет пятьдесят, а туда же, тоже с ума сходит. Ну что за женщины пошли. Ноздри у них раздуваются, ровно как у жеребят.

— Ну-ну, все образуется,— говорит доктор.

— Образуется? На черта мне это надо,— возражает столяр с горячностью.— Нет, решено и подписано,— добавляет он.

Доктору хотелось уйти. Эти кухонные дразги в доме у ремесленника не интересовали человека с высшим образованием, задевала его и развязность столяра, забывшего, что они все же не ровня. Но ведь он пришел по делу.

— Послушайте, Маттис,— сказал он,— вас, по-моему, как-то обвесили у этого Юнсена-С-Пристани?

— Что-что?

— Я спрашиваю потому, что и с другими тоже может случиться такое в этой лавке.

— Нет,— коротко ответил Маттис и покачал головой.

— То есть как это нет?

— Это было не у консула, а на складе.

— Вы что же, думаете, консул не знал?

— Консул? А откуда ему знать? Он же не сидит на складе.

— Но вам действительно неправильно свесали муку в этой лавке?

— Это все Оливер. Только Оливер, и никто другой. Вы уж меня простите, господин доктор, я не понимаю, зачем вы завели этот разговор.

— Когда вы заберете ширму?— спрашивает доктор, вставая.

— Сейчас. Сию минуту. И к завтрашнему утру клей успеет высохнуть. Буду рад услужить. Сюда, пожалуйста, доктор.

Впустую потраченное время. И вот он уходит, уходит тою же дорогой, какой пришел, городской врач, значительное лицо, уважаемый человек, он уходит разочаро-

ванных, и какова же причина? Пустяк, ничто. Были и у него когда-то юношеские мечты, он надеялся многого в жизни достичь, добраться до самых вершин, кожа у него в те времена была мягкая, кровь ярко-красная, он был влюблен, он умел улыбаться — и куда все девалось? Жизнь, как она есть, накинута на все это и пожрала! Он расходовал себя на мелкие неприятности, на мелочные интересы, и год за годом становился все более морщинистым и злым; всегда только вдвоем с женой за столом, в пустом доме, без семьи, без детей, наедине со своей ученостью и своей незадавшейся жизнью, любопытный, обожающий сплетни, мелочный человек. Были и у него когда-то юношеские мечты, с тех пор много воды утекло, теперь его перья обципаны, все, что ему осталось от прошлого, — жаргон студенческих мебелирашек, с их радикализмом, вольнодумством и грубостью, а от юношеской прелести и искренности даже в заблуждениях не осталось и следа. Он переродился, его нрав коренным образом изменился, ах, как скверно ему пришлось, он превратился в ничто. Ну вот, например, теперь он думает о том, что нужно подкопить денег, чтобы оплатить счет от Юнсена, а потом он завяжет отношения с другим торговцем и начнет брать в кредит у него, возможно, он выберет Давидсена, да, именно Давидсена, ведь тот, как новоиспеченный консул, кровно заинтересован в покупателях из высших слоев общества. Вот такой план, такой замысел, достойный домашней хозяйки, у которой не хватает на расходы!

Он возвращается домой, жена куда-то ушла, в спальне он находит ширму в целости и сохранности. Вот как, значит, она благополучно перенесла падение, чего же он тогда так разорался? И его охватывает такое печальное и горькое разочарование, такой неистовый гнев, что он опрокидывает ширму и начинает топтать ее ногами. Вот теперь пусть ученик столяра приходит! Ну хоть бы что-нибудь в жизни приносило удовлетворение, что-нибудь радовало, так ведь нет же! Через двадцать лет, через десять лет он умрет, и в ту же минуту его позабудут.

Он снова выходит из дома, Бог с ним, с приемом, сегодня большие обойдутся. И разумеется, навстречу ему попадается бедняга почтмейстер, идет, как обычно что-то бормоча себе под нос, доктор с трудом заставляет себя приподнять шляпу и проходит мимо.

И сразу же встречает Хенриксена-С-Верфи — вот как мал и тесен этот городок, вот как мелки люди, им

хватает места идти по улице друг за другом и по спине читать мысли другого. Но как бы там ни было, с Хенриксеном доктору нельзя не поздороваться, вдовец, конечно же, ждет от него этого, и при других обстоятельствах доктор намекнул бы ему на оплату своих услуг, на гонорар. По правде говоря, именно этот гонорар покрыл бы львиную долю счета от Юнсена-С-Пристани. Но теперь фру Хенриксен мертва, больная, которую он лечил, умерла, это была позорная неудача, это был удар.

— Как у вас дела, новорожденный здоров?

— Да, слава Богу, он здоров, замечательный малыш.

Доктор понимает, что Хенриксен в своем горе цепляется за младенца как за соломинку, да, он овдовел, но в утешение жена оставила ему этого замечательного ребенка. Хенриксен не полностью пришиблен, не раздавлен, и у доктора пробуждается надежда все же получить свой гонорар.

— Я пойду с вами и посмотрю ребенка,— говорит он.

Хенриксен, с радостью и благодарностью:

— Прекрасно, пойдёмте, доктор, если вы будете так любезны!

— Да, буду, я урву полчаса от амбулаторного приема и пойду с вами. Кстати, Хенриксен, сами-то вы как себя чувствуете?

— Благодарствуйте, доктор. По-моему, со мной все в порядке.

— Разумеется, так оно и есть. Вы тверды как скала. А ваша супруга ничего не сказала перед смертью? Не было ли чего-нибудь глубоко скрытого, интимного, о чем бы ей захотелось вам поведать? Обычно у умирающих такое желание возникает.

— Нет,— отвечает Хенриксен, качая головой.— Вы имеете в виду, не попросила ли она меня заботиться о детях, заботиться о новорожденном? Нет, этого не было.

— Перед смертью у людей возникает желание попросить прощения за какой-нибудь свой проступок, возможно, они втайне согрешили, сделали неверный шаг или что-нибудь в этом роде. Бывало, что умирающие просили меня передать родным их просьбы.

— Правда? Нет, ничего такого не было. Да к тому же ей не за что было просить у меня прощения, вовсе нет. Я, к сожалению, и не был с ней в час смерти.

— Я слышал, она просила послать за священником? Без тени подозрения Хенриксен отвечает:

— Да, она хотела получить причастие. А мальчик крупный и замечательный, воистину из него может получиться толк, и он уже подросток, хоть и на искусственном вскармливании, крикун и злюка.

— Но у него карие глаза,— говорит доктор.

— Да, вот ведь удивительное дело,— отвечает Хенриксен.— Все эти месяцы, что она его носила, она высказывала желание, чтобы у этого ребенка, как и у предыдущего, были карие глаза. Только бы Господь даровал ему карие глазки, это так красиво, говорила она. И ее желание исполнилось.

— Ну что ж, порадуемся хоть этому,— говорит доктор, криво усмехаясь.

Но Хенриксен понимает его слова буквально.

— Да, не правда ли? Так уж, видно, судьба решила. Бокал вина, доктор? Может быть, виски с содовой?

Они идут в гостиную и усаживаются каждый со своим виски, и Хенриксен сразу же выпивает еще две рюмки подряд. Он говорит о жене, о своем одиночестве, которое просто невыносимо. Днем, на работе, еще куда ни шло, но когда наступает ночь, о, по ночам... Хенриксен чрезвычайно радушен и внимателен к высокочтимому гостю, даже начинает благодарить за помощь — ну да, за всю ту помощь, которую доктор оказал.

— Увы, не в моих силах было помочь более успешно,— отвечает доктор.

— Да, но я могу прямо сказать, что вы сделали все от вас зависящее и вы ведь приходили сюда много раз, и смотрели ее, и выписывали рецепты. Мы сделали все, что могли, у нас есть хоть то утешение, что с нашей стороны ничего не было упущено. Но, видно, уж час ее пробил. Еще рюмочку, доктор!

— Право, не знаю. Ну ладно, только ради вас.

Хенриксен просиял.

— Для меня это честь, воистину честь для моего дома, видела бы это покойница жена! А теперь я хочу, доктор, чтобы вы прислали мне счет, и на солидную сумму. Нет, не спорьте, я этого хочу. Или, если вам так удобнее, назовите мне сумму сейчас, только цифру, и все.

— Можно отложить и до другого раза.

— Все от нас зависящее мы сделали, пусть это служит нам утешением,— бормочет Хенриксен, уйдя в себя.— Да, я действительно хочу... давайте уж лучше я сразу же...

Хенриксен встает и открывает секретер, возвращается с ассигнацией, большой ассигнацией красного цвета, на крупную сумму, и протягивает ее доктору:

— Вот, если вы согласны. Правильно я вам даю, не мало?

Доктор вовсе не корыстолюбив, не жаден, но все, что он зарабатывает, у него уходит, уходит на еду и питье, на «удовольствия» ему даже не хватает, не такой уж он плохой человек, он даже устыдился при виде крупной купюры, это уже не плата, а подарок, он отвечает:

— Слишком много, столько я не возьму, дайте половину.

Хенриксен качает головой, он человек добрый, человек широкой души, он хочет показать себя достойным благодарности доктора:

— Возьмите, это вам от нее и от меня. И не будем больше об этом говорить!

— Я буду приходить в любое время, Хенриксен. Если понадобится малышу. Будь то ночью или днем.

Домой доктор возвращался помолодевшим. Что же, собственно, произошло? Нечто очень важное: до того он был беззащитен, а теперь у него появилось в руках оружие: пожалуйста, господин Юнсен-С-Пристани, вы прислали мне какой-то счет, я-то совсем позабыл об этом пустяке, но теперь вот вам желтая квитанция с почты, я послал вам письмо с денежным вложением.

Да, он был рад, но внутренне не преобразился, его не охватило волнение, благодарность не привела к перевороту в его душе. Жизнь не изменилась, враги остались прежними, просто случай дал ему возможность плоско и тупо восторгествовать над ними, и он не собирается отказываться от нее. Он мог сейчас зайти в Юнсенову лавку и уладить дело с Бернтсеном, но не делает этого, а, напротив, потирает руки, придумывая злоехидное послание, в которое завернет деньги.

И он еще должен отказаться от своего торжества? Как бы не так! Вы только посмотрите, вот еще один кареглазый, город просто кишит ими! Доктор останавливает паренька и спрашивает:

— Кажется, это ты приносишь нам рыбу?

— Да, раньше приносил.

— Что же, теперь ты больше не ловишь?

— Нет, не ловлю.

— А чем ты занимаешься?

— Я... я собираюсь наняться на корабль.

— Но сейчас-то чем ты занимаешься? Ты такой чумазый.

— Сейчас я работаю у кузнеца, но...

— Но тебе не нравится? Ну конечно, лучше наймись на корабль. Дай Бог памяти, как тебя зовут?

— Абель.

— Скажи своему отцу... ну отцу, там, дома у тебя... чтобы пришел как-нибудь ко мне в приемную. Мне нужно с ним потолковать.

XVI

Что ж, чумазым Абель был всю жизнь, но, само собой, от работы у кузнеца он чище не стал.

Вообще-то это была полная нелепость, что именно он стоял в кузне, прочно стоял на якоре на глиняном полу, мехами раздувал огонь и ковал железо, повинаясь команде крошечного пляшущего хозяйского молота. Но что-то же Абелю нужно было делать, он давно уже конфирмовался и был теперь рослым, сильным парнем. А тут однажды кузнец Карлсен зазвал его к себе в кузницу:

— Не будешь ли так добр взять вот этот молот и стукнуть раз-другой?

Абель стукнул, играть своей силой, высекать искры из раскаленного железа оказалось, в сущности, очень приятно. Он ковал до самого обеда, так что кузнец повел его в дом и накормил.

— Эту вот работу мне нужно сделать срочно,— сказал кузнец,— может, и после обеда тоже подсобишь мне?

— Отчего же нет,— сказал Абель.

Вечером кузнец снова накормил его, а когда Абель собрался уходить, дал ему крону.

— Ты поработал на славу,— сказал кузнец.— Может, завтра утром придешь опять?

— Приду,— сказал Абель.

Решил он это на свой страх и риск. Все свои решения он принимал самостоятельно, то ли он унаследовал это свойство от отца, от Оливера, то ли приобрел его благодаря тому, что с малых лет привык сам о себе заботиться.

Он работал у кузнеца неделю.

— Где это ты все время пропадаешь?— спросил Оливер.

— У кузнеца. Он меня кормит и дает крону в день.

— Ах ты, Абель, Абель! — сказал отец, и что-то вроде гордости шевельнулось в душе у калеки. — Ты хочешь навсегда остаться у кузнеца?

— Остаться навсегда? Нет. Только пока у него вся эта срочная работа.

Но неделя проходила за неделей, месяц за месяцем, а у кузнеца хлопот все было выше головы, так много надо было всего отковать, и починить, и побыстрее разделиться то с одним, то с другим, и Абелю приходилось оставаться еще и еще. Не то чтобы он нанялся к кузнецу в ученики и распростился с мыслью о море, но в сущности ему было хорошо и здесь, он зарабатывал себе на сытную еду и на новое платье, а ему было очень нужно и то и другое.

Между кузнецом и его подручным установились приятельские отношения, нередко посреди работы они усаживались и выкуривали трубочку, кузнец при этом ссылаясь на то, что стал уже слаб и не в силах так долго напрягаться. Вообще-то у Абеля сложилось впечатление, что с той работой, которая оставалась у кузнеца теперь, было не так уж к спеху; да, действительно, в кузне время от времени появлялись новые вещи, но их было не так много, чтобы мастер не мог справиться с ними самостоятельно. Как-то вечером Абель спросил, надо ли ему завтра приходиться. Но кузнец и слышать не захотел о том, что Абель не придет, у него, мол, никогда еще не было столь срочной работы, как та, которая предстоит назавтра.

Мастер был вдовцом, дети выросли и жили своими семьями, он приходился братом Карлсену-Полицейскому. Кузнец работал до изнеможения и перебивался со дня на день, да к большему и не стремился, вот так он и вел дело в своей кузне полтора человеческих века. Одна из его дочерей овдовела и жила хозяйкой в отцовском доме. Иногда кузнец рассказывал Абелю какие-нибудь случаи из своей жизни, все это были сущие пустяки, будничные происшествия, но поскольку он никогда не покидал своей кузницы и своего города, каждая мелочь приобретала для него преувеличенное значение. Почему он не расширил свое дело, не нанимал подмастерьев и учеников? Не хотелось ему этого, да и средств не было, дом слишком тесен, слишком тесна и сама кузня. Куча детей, которой он обзавелся, тоже мешала поставить дело с размахом. Ты только представь себе, говорит он, пятеро девочек, одних девчонок пять штук! А сверх того

еще двое мальчиков. К тому же в окрестностях был еще другой кузнец, как раз у дороги к городу, он-то и выполнял все крестьянские заказы, ковал лошадей, занимался плугами и косами. Карлсен был городской кузнец и изготавливал всякие мелочи для домашнего обихода, а иногда — как, например, сейчас, когда ему понадобилась помощь Абеля, — более крупные вещи для кораблей.

— Много ли человеку надо? — говорит Карлсен. — Я всю жизнь как-то пробивался, пробивался вот этим молотом, — добавляет он, улыбаясь. — Большого, чем у меня есть, мне не требуется, и большего я не стою. Дай срок, раньше ли, позже, я помру, в точности так, как помер мой отец, и помрут мои дети. И с собой, будь у меня хоть уйма всякого добра, ничего не возьму, как ни крути. Мой Адольф — моряк, он женился в Англии и пишет, мол, только и зарабатываю, чтоб концы с концами сводить, никак не могу урвать из своих доходов еще и на то, чтоб тебе посылать; я всякий раз отвечаю, что лучше я сам буду ему посылать, коли он нуждается. И вот он все плавает по морям, а раньше ли, позже, дай срок, и он тоже помрет. Да-да, милый мой Абель, эта чаша никого не минует. Видишь, какое дело, Адольф-то, мой младшенький, вот уже восемнадцать лет, как он ушел в море, и с тех пор домой глаз не кажет. Восемнадцать лет — срок немалый, ты тогда еще и на свет не родился, Адольф-то, кстати говоря, купил у твоего отца его матросский сундучок. Вот так, все плавает да плавает, а под конец ляжет в могилу. Просто диву даешься, как вспомнишь того мальчика, что копошился здесь, в кузне, мне-то кажется, это и было только вчера.

Голос кузнеца слегка прерывается, он встает и отходит к врытой в землю скамье и вперяет взгляд в закопченное до непрозрачности оконце.

— Гм-м! — хмыкает он и старается говорить грубовато. — Вот как-нибудь соберусь с силами да и вымою эти окна, — шутит он. — А как по-твоему, Абель? Прошло, почитай, лет сорок, не меньше, с тех пор как сквозь них можно было увидеть дневной свет.

Он, смеясь, возвращается и снова садится.

— Да-да-да, право слово! А старший мой парень бродит по стране и берется за любую работу. Так уж он с самого начала был устроен, что не хотел навечно к одному и тому же прилепляться, всю жизнь одну работу справлять, а нравилось ему с места на место переходить; может, оно и неплохо, и это тоже, не знаю. И он

домой глаз не кажет, уж такой он чудной, вбил себе в голову, мол, только тогда он домой зайвится, когда денег у него будет много, так что он сможет сделать к нашему дому пристройку и помочь нам подняться: не иначе, парня все больше и больше сбивают с толку на чужбине, подняться — уж не воображает ли он, будто мы должны летать, как птицы? Хорошо бы я мог потолковать с ним хоть часок! Но с сестрой своей он, бывает, встречается, с той самой, что у меня живет, они водят дружбу, он играет ей на губной гармонике. Он был дока по части губной гармоники еще сызмальства, а теперь, как говорят, играет еще лучше. В общем-то диву даешься, как посмотришь на нашу семью: вот на днях моя дочка встретила его, он играл на губной гармонике, и, представляешь, он так зарос щетиной, что она чуть было не обозналась, к тому же у него появилось немало седины. Но он опять сказал, мол, не хочу появляться дома, пока не разживусь деньгами, до тех пор ноги моей там не будет. Да, совсем в уме повредился! А ведь он тоже когда-то возился тут, в кузнице, и стучал молотком, и таскал куски железа, и разговаривал сам с собой. Мне кажется, это было совсем недавно, всего несколько лет назад. И, бывало, прямо на улице вынет из кармана губную гармонiku и заиграет. А мамаша его, пока была жива, норовила сунуть ему лишний кусок, уж больно он быстро рос, а когда мы справляли ему какую-нибудь одежонку, он, малец совсем, подходил к нам, протягивал ручонку и благодарил. Вот так-то.

Кузнец вскакивает и начинает суетиться.

— Нет, так не годится; ты что, рехнулся, Абель? Хе-хе, мы же не лодыри какие-нибудь! А ну берись снова за мехи!

Он шутит и прикидывается развеселым мужичком, но на самом деле все совсем наоборот, он усталый, изможденный, заезженный старик, то-то он так и расчувствовался. У него совсем не осталось сил, Абель, хоть он еще подросток, может поднять вдвое большую тяжесть, и ему ничего не стоит проработать день напролет. Что помогало старику, так это навык, опыт, он умел облегчить себе труд; но часто, прежде чем взяться за какой-нибудь тяжелый предмет, он надолго застывал, вперив в него взгляд своих блеклых глаз, словно боялся подступить.

О нет, он вовсе не был веселым мужичком. И дети не доставляли ему особой радости, кого из них ни возьми.

Про одну его дочь в свое время много судачили — это та самая, что была замужем за Каспером, а Касперу из-за ее легкомыслия пришлось оставить моряцкую службу и устроиться на верфь. Теперь и сама она присмирела и толки про нее утихли, но много лет назад, пока муж был в море, она бросила дом и тоже пустилась в плаванье, в отважное плаванье, в счастливое плаванье. Да, она резвилась, как жеребенок! В то время все жалели ее мужа, и, пожалуй, еще сильнее — отца.

И все равно — про кузнеца Карлсена никак не скажешь, что он влачит безрадостное существование, у него есть все, что ему нужно, и даже больше, он доволен своей судьбой. По вечерам он благодарит Господа за прожитый день и выражает удивление, что день прошел так замечательно, что не случилось ничего дурного. Ведь неровен час, могло произойти какое-нибудь несчастье! И сдержанно подшучивает над дочерью:

— Да уж, мы-то, двое мужиков, прямо скажем, уйму работы провернули за день, ну а ты? Похоже, ты палец о палец не ударила. Все стулья целы, стоят как стояли.

Они смеются, и дочь отвечает:

— Так-то оно так, но зато меня угораздило сегодня разбить две тарелки.

— Есть о чем говорить, — отвечает отец, — я бы за это время целую дюжину расколошматил!

Видя, что все в таком хорошем настроении, Абель решается снова спросить, не обойдется ли кузнец завтра без него, а может, ему и вообще больше не нужно приходить? Но тут старый кузнец становится серьезным, он смотрит на паренька, и вид у него такой, будто ничего более ужасного он в жизни не слыхивал: что за срочность такая, почему вдруг Абелью понадобилось уйти в самый разгар работы и куда он собрался завтра?

Выясняется, что Абель хочет пойти наниматься на корабль.

На корабль? Но ведь лето идет к концу, а там, глядишь, и зима на носу. Нет, наниматься надо к весне поближе. Может, все-таки Абель останется еще на месяцко? Как раз сейчас у них уйма крупных заказов, нужно наточить кирки и взрывные буры для городского инженера, починить два дверных замка у консула Хейберга, вставить новую стальную пружину в детскую коляску для Хенриксена-С-Верфи, выточить новую ось для маслобойки в загородном поместье консула Юнсена, наделать скоб и крюков для маляра, который должен красить

церковь. Работы столько, что потребуется не один человек, и надолго.

Абель остался.

Но пусть не думают, он не расстался с мыслью о море, этого от него не дождутся! Его приятель Эдеварт, по последним сведениям, находится сейчас в Южной Америке, он плавает уже два года, а Абель должен торчать на суше, работать в кузне? Нет уж, спасибо! Хотя, что говорить, и в этой работе были свои преимущества, люди уважали его, он ходил весь в саже, так что сразу было видно, чем он занимается, и это внушало известное почтение его сверстникам в городе, тем более когда они видели, как он идет по улицам, неся на плече лязгающие железные прутья, совсем как взрослый. А ребята поменьше с опаской давали ему дорогу, чтобы их случайно не проткнуло железным прутом!

Так что все было совсем даже неплохо. И вдобавок Абель стал есть сытно и регулярно, вовремя ложиться спать, в общем вести здоровый образ жизни. Да и просто находиться в этом доме честного ремесленника было одно удовольствие—все вещи на своих местах, чисто вымытые полы и цветущая фуксия на подоконнике. По воскресеньям кузнец, принарядившись, неторопливо прогуливался по городу и окрестностям. У него не было в обычае ходить в церковь, но человек он был честный и верующий, он мог перечислить тысячу своих грехов, в которых ему следовало покаяться, и тысячу милостей Господних, которым он радовался. Он считал, что одарен Господом не по заслугам.

Однажды в воскресенье Абель встречается с ним на улице, и хозяин говорит:

— Пройдемся немного вместе.— И еще:— Далеко ли ты собрался?

Абель, собственно, никуда не собрался, шел просто так, он был одинок. Лидия переросла его, стала совсем взрослой, ну что ж, прости-прощай, будь счастлива, он и не глядит в ее сторону. Брат ее, Эдеварт, был когда-то Абелью добрым приятелем, но теперь, видно, и он заважничал, иначе черкнул бы хоть раз письмецо, а сейчас он в Южной Америке. Но куда же податься Абелью в воскресенье? Уж во всяком случае только не сидеть дома, коли он разодет во все новое, чисто умыт и купил себе нож в блестящих ножнах; братец Франк обучается во всяких там высших школах и никогда не бывает дома, а отец, Оливер, ушел на лодке в шхеры, как он постоянно делает

по воскресеньям, он продолжает искать приключения. Нет, Абелю в сущности некуда податься. Но он знает одно хорошее местечко на пустыре, где водятся гадюки, и, возможно, направляется туда поохотиться. Вот такой он еще маленький, совсем ребенок.

А может быть, он специально поджидал кузнеца? Не исключено, что он хочет показаться кое-кому в обществе столь уважаемого человека. Не повредит, если она будет сидеть у окна, когда он вместе с мастером пройдет мимо. Хотя пусть поступает как знает... как бишь ее зовут? Лидия, что ли? Но так или иначе, а он проходит мимо ее окна, продемонстрировав, кто он есть — подручный кузнеца, правая рука Карлсена...

После того как они миновали дом Йоргена-Рыбака, кузнец начинает замечать, что все время говорит один, Абель ему не отвечает. И хотя не кузнец бросил украдкой быстрый как молния взгляд на некое окно, не он углядел там нечто весьма интересное и не его сердце пришло от этого в смятение, он все же понял, что слишком стар и не годится в компанию Абелю, он улыбнулся этой мысли и сказал:

— Ну а теперь, Абель, спасибо тебе, что проводил, мне вон в ту сторону.

Абель отправляется охотиться на гадюк. Обычно их особенно много на крутом склоне, усыпанном камнями, они любят лежать там, нежиться на солнце, становясь ленивыми и вялыми, Абель и другие мальчишки все эти годы не раз охотились на них. Эта охота была и рискованной и почетной, в школьные годы благодаря ей можно было даже прославиться.

Еще не дойдя до горного склона, Абель слышит гам и выкрики других мальчишек, которые пришли до него, и решает туда не ходить. Ведь там, конечно, собралась одна мелюзга, восьмилетки, только они ведут себя так по-дурацки. Разумный человек не станет галдеть во время охоты на гадюк, наоборот, он затаит дыхание и будет ступать осторожно, точно по розовым лепесткам.

Куда же теперь? Абель знает местечко по другую сторону от Горной пустоши, там замечательное эхо, и он идет туда немножко покричать. Он все-таки еще совсем ребенок.

Местечко и правда тихое и заброшенное, кругом ни души. Абель кричит, и эхо откликается. Но в сущности его занимают куда более важные вещи, чем эхо, он ложится на вереск и мысленно вновь переживает те мгновения,

когда проходил мимо заветного окна. Ну так чего же, в общем и целом, он достиг благодаря этой затее? Нож в мельхиоровых ножнах висит у него на боку со стороны, обращенной к окну, и ножны здорово блестят, но заметила ли она это? И кроме того, лицо, маячившее за стеклом, возможно, было вовсе не ее, а кого-нибудь из ее сестер. Ничего нельзя знать наверняка.

Абель долго лежит, вновь и вновь переживая происшествие и взвешивая разные возможности, он то холодеет от сладостного потрясения и весь сжимается в восторге, то теряет всякую надежду, и упрямо поднимается, и громко говорит:

— Прости-прощай!

«Прощай...» — передразнивает эхо.

Он кричит:

— Да-да, прости-прощай!

«Прощай...» — отвечает эхо.

Абель начинает кричать отчетливее и громче, произносит каждое слово по слогам и добивается того, что эхо повторяет его возглас целиком. Поначалу это занимает его, но не может же он до бесконечности беседовать с этим горным попугаем, зато теперь он углубляется в размышления о том, что же такое эхо, эта речь без языка, звук без голоса, чревовещание из несуществующего или, быть может, запредельного чрева. Он привык в меру своих слабых сил стараться понять и себя самого и все, что он встречает на своем пути, никто не учил его этому, никто не помогал его развитию, он до всего доходил сам. Воистину немало приятных часов провел он в своем собственном обществе. Прежде с вопросами о вещах, которые поразили его воображение, он обращался к отцу, и не такой человек был Оливер, чтобы уклоняться от обсуждения глубинных вопросов бытия, ведь он повидал-таки свет. Но в последнее время, и в особенности с тех пор, как стало по-настоящему набирать силу его злосчастное влечение к Лидии, Абель предпочитал уединение и сам бился над своими вопросами. Оказал на него влияние и кузнец Карлсен, наивная мудрость и кротость старика были Абелью как маслом по сердцу, а его жизнерадостность ободряла мальчика.

— Бум-м! — кричит Абель, изображая выстрел.

«Бум-м!» — отвечает эхо.

Такой короткий и звучный ответ, словно невидимый взрыв. Это просто удивительно, Абель крепко трудится над задачей, которую сам себе задал, мысль его ходит

по кругу, сам черт всего этого не разберет. Мир полон загадок и чудес, вот Абель предполагал, что, возможно, наткнется на гадюку, и правильно, он, например, слышит эхо. И эта перевернутая логика тоже непостижима и таинственна, он и над ней может размышлять до вечера. Да уж, что-что, а поразмышлять он большой любитель. Это не похоже на удовольствие от еды или азарт, с которым зарабатываешь деньги, это что-то совсем другое, в тысячу раз лучше. Однако, что бы оно ни было, во всяком случае Лидия понятия не имеет, что это такое, сейчас она сидит себе дома и смотрит в окно, но знала бы она, какая она на самом деле дура! Он видит широкие равнины, на которых пасется скот, видит города, леса, море, бесконечности, века...

Что это, он спал?

Он принимает сидячее положение, кричит, зевает, разводит руки, потягивается. И в это самое мгновение что-то вылезает из рукава его куртки, болтается туда-сюда, похожее на темный кусок каната с пастью на конце, длинная тварь, она с быстротой молнии, извиваясь, скрывается в вереске. Ой... но Абель не барышня, которая визжит и подбирает юбки при виде мыши, он вмиг вскакивает и пускается преследовать беглянку, находит, наступает на нее, разбивает ей голову. Дело сделано.

Да, но кто это видел? Лишь небо да земля. Подвиг пропал впустую.

Абель поднимает змею за хвост и несет с собой, он хочет по дороге угостить ею муравьев. Это прямо-таки роскошный экземпляр, спина в полосах и крестах, красавица, при всей своей омерзительности. Абелью никак не попадается муравейник, и он продолжает тащить мертвого гада, людей он тоже не встречает, даже детей.

Это начинает ему надоедать, а до города еще далеко. Вдруг его кольнуло в ладонь, в ту самую правую ладонь, в которой он несет змею, и, посмотрев на руку, он видит, что она распухла и почернела, значит, гадюка все же успела его укусить. И опять же, не подобает ему хныкать и ударяться в слезы, как чувствительной барышне, пусть вокруг ни души и никто его не видит, но Абель ведет себя как пристало железному мужчине, какой он и есть: бросает мертвую змею, находит ранку и начинает высасывать яд. Он умеет, ему уже приходилось делать это раньше; одновременно он снимает подтяжки и накладывает жгут на кисть. Странно, что он не заметил самого

укуса, теперь яд уже далеко проник в его руку и высосать его будет нелегко. Отправляясь дальше, Абель опять забирает мертвую змею с собой.

Ладонь колет непрерывно, так что уж во всяком случае это воскресенье выделяется из привычного однообразия. Время от времени Абель поглядывает на руку — чернота не проходит, — на ранку — укус до смешного незаметный, право, не из-за чего поднимать шум. Но поскольку он идет и идет, а с рукой все так же плохо, Абель в нетерпении осматривает ее еще раз, теперь уже основательно, словно бы желая исследовать, действительно ли там есть ранка и точно ли эта ранка имеет к нему отношение. И убеждается, что да. Всякая ошибка исключена. Теперь Абель выказывает к ранке больше интереса, и ему кажется весьма кстати, что сейчас он видит впереди сидящего человека, Абель идет дальше, на ходу снова пытаясь высосать яд.

Подойдя к тому человеку, Абель закладывает руку со змеей за спину, чтобы не напугать его, оказалось, это сидит кузнец Карлсен. Вот сюда он забрел и одиноко сидит на камне, держа погасшую трубку.

— Опять ты, Абель? — говорит он. — А я сижу здесь просто так, бездельничаю, и смотрю на Божий мир, на все эти горы и долины, и не перестаю удивляться. Видишь ты этого крепыша, этот округлый бугор, хе-хе, он как дюжий мужик подпирает вон те скалы! Ах, как красиво в Божьем мире! Ты домой собрался?

Абель кивает, да, домой. Но вот тут у него гадюка, и она его немного укусила...

Кузнец вскакивает, старенький, огорошенный, он весь дрожит:

— Нет, что ты говоришь... Беда-то какая!

— Да ничего страшного, — заявляет Абель.

Но сочувствие ему как маслом по сердцу, такой он еще маленький, совсем ребенок. Другой человек огорошен тем, что случилось с ним, с Абелем, боится за него, и это так сладостно, так поднимает дух, и Абель смеется, выказывая себя настоящим мужчиной, говорит, мол, ерунда, ничего не случится, но пусть все же мастер будет так добр и перетянет ему руку жгутом как можно туже, немного выше, вот так...

Они идут домой.

— Я в жизнь свою не видел такого крепкого парня, как ты, — говорит кузнец, — и что, тебе не больно?

— Ни капельки, или разве что самую малость.

Абель дает крюку, чтобы разыскать муравейник, забывшийся ему еще со времен его бродяжничества по городу и окрестностям, а кузнец качает головой, но сопровождает его. А после муравейника он сопровождает Абею в город, старый, по правде говоря, немного гордится молодым, он демонстрирует его каждому встречному и излучает священный ужас.

Вот они достигают города, Йорген-Рыбак стоит на пороге своего дома.

— Погляди-ка на этого парня и на его руку,— с жаром говорит кузнец, Абею так и распирает от гордости, от свалившейся на его голову славы, но у этой двери он не останавливается, вот именно у этой двери он задерживаться не хочет, он улыбается и проходит мимо, а кузнец кричит ему вслед, поторапливает его:

— Да, иди, иди! И напрямик к доктору! Сию же минуту!

На самом деле Абель в холодном поту и ему очень плохо, но счастье помогает ему держаться на ногах, обуянный счастьем, он летит, как на крыльях. Ведь мастер сейчас стоит у той двери и рассказывает о нем; ну что ж, кое-кому не вредно узнать, как ведет себя железный мужчина, если его укусила змея.

— Ведь это тебя я просил передать, чтобы твой отец пришел ко мне? — спрашивает доктор. — Почему же он не идет?

— Не знаю.

— Скажи ему, чтобы пришел немедленно. А не то его силком приведут. Скажи ему это! Ну-ка, посмотрим твою руку. Ну и ну, выглядит она просто кошмарно.

Доктор знает свое ремесло, каждое лето ему приходится лечить змеиные укусы, и до сих пор еще не было ни одного смертельного исхода. «Но у вас особенно злокачественный укус», — говорит он всякому пострадавшему, и пациент преисполняется гордостью и рассказывает каждому встречному-поперечному, что вернулся, можно сказать, с того света. Однако сейчас доктор слишком уж настойчиво повторяет, что случай сложный и жизнь больного в опасности.

XVII

Нет, не тот человек Оливер, чтобы бежать к какому-то доктору по первому зову, слишком он для этого важная персона. Его должность управляющего складом ставит

его в один ряд с почтенными людьми, с продавцами в лавке у Юнсена-С-Пристани, даже и с самым старшим приказчиком Бернтсенем. И возможно, Оливер будет еще и поважнее их, он не бегаёт то на чердак, то в погреб по воле покупателей, а постоянно занимает свое место. Очень подходящая работа именно для такого человека, как Оливер.

Он нашел свое место в жизни, ему очень нравится управлять складом, нравится, что каждый, входя, здоровается с ним, а уходя, говорит «до свидания», нравится зарабатывать себе на пропитание и одежду, и при этом иметь не одну свободную минуту на то, чтобы посмотреть в зеркальце и прихорашиваться. А на досуге он может предаваться своим увлечениям, каждое воскресенье он на лодке выезжает в шхеры и там что-то вынюхивает, и мечтает, и вздыхает Бог весть о чем, может быть, о лучшем мире, о небесном Иерусалиме, и из этих путешествий он всегда возвращается с какой-нибудь находкой: плававшим в море бревном или собранными вопреки запрету чайчьиими яйцами; с добычей самой ценной и самой запретной из всех: горстью гагачьего пуха. Его еще ни разу не поймали на этом: кто станет раздевать догола калеку, чтобы найти гагачий пух в мешочке под одеждой? И теперь уже за все эти годы у Оливера скопилось действительно много гагачьего пуха, вопрос в том, как сбыть его с рук. Но даже если Оливеру никогда не удастся обратить гагачий пух в деньги, он все равно будет продолжать собирать его, на этот сорт товара он просто не может смотреть равнодушно, тут же его охватывает непреодолимое желание завладеть им.

Дома тоже дела идут лучше, не иначе как Оливерова женка присмирела с годами, она больше любит сидеть в четырех стенах и пристрастилась к кофе, благо оно достается ее мужу относительно дешево; теперь уже у него реже, чем раньше, появляется нужда красться вслед за ней, пряча в рукаве разделочный нож. Петра по-прежнему бывала иной раз вздорной, да, что было, то было, она по-прежнему раздувала свои подвижные ноздри и словно бы старалась что-то учуять в воздухе, она вечно недовольна, вечно ей всего мало, она была несчастным существом, от рождения ненасытным и жадным, в отличие от Оливера, который довольствовался малым, довольствовался даже и ею, какая она есть. Без сомнения, Петра была по сути своей сатанинское семя. Но коль

скоро она ни с кем не флиртовала — а она ведь никогда ни с кем не флиртовала, она не переступала черту, посторонние могли лишь пялиться на нее, и только один раз она родила голубоглазое дитя... В общем и целом Оливер мог быть доволен, ведь с ним она была каждый день, он грелся возле нее, ел и пил вместе с ней и лежал в ее постели, его касалось ее сонное дыхание. Не так уж мало! И, во всяком случае, как всем известно, она его жена, а не чья-нибудь еще.

Ведь правда же она красива? Ну, разумеется, смотрите, как хорошо она сложена, сколько очарования во всем ее существе, в ней есть что-то от изобильной щедрости самой природы, что-то бьющее через край — а иначе, заметьте, он бы сроду на ней не женился. Но она вовсе не раздаривает себя направо и налево, не замешайся тут Маттис-Столяр, Оливеру вообще было бы не о чем беспокоиться. Раздаривает себя, она? Разве не отвесила Петра оплеуху самому Шелдрупу Юнсену? Такой ли у нее вид, будто она зазывает каждого встречного-поперечного и говорит ему: а теперь иди ко мне и давай на минуточку предадимся буйству, пороку и необузданности? Нет, ничего подобного! Скорее она похожа на алтарный образ, Господи, спаси и помилуй, по воскресеньям она носит на бархотке вокруг шеи золотой крестик, который она себе выменяла. И никому не могла взбрести в голову безумная мысль считать ее дешевым товаром. Ничего подобного.

Петра на свой лад самая подходящая жена для Оливера, много раз он думал, что другую нечего и желать. Голубоглазое дитя?.. Конечно, эта маленькая девочка опрокидывала его расчеты, несколько месяцев в нем тлело подозрение; но такой, каким он стал теперь, мягкотелый и женоподобный, он недолго мог сопротивляться обаянию ребенка, слишком уж часто повседневная жизнь тесно сводила его с малышкой, ведь, когда никого другого не было дома, именно он нянчил ее и укачивал. И, если можно так выразиться, он обманулся в своих подозрениях, он-то ожидал увидеть на крошечном личике лошадиный нос, но девочка подросла и как раз носик у нее был на редкость красивый. Сам черт не разберет, в чем тут дело. В свое время Оливер обсуждал кое с кем этот вопрос: дескать, вот у него вдруг родился голубоглазый ребенок, хотя у остальных глазенки карие, что бы это значило? Ответы он получил уклончивые, а Йорген-Рыбак сказал: мол, удивляться тут нечему, случаются

вещи и почуднее, а вообще-то в природе многое скрыто от наших глаз.

Итак, Оливер, учитывая все обстоятельства, был достаточно счастливым отцом, не многие могли похвастаться более удачными детьми, из таких наверняка выйдет толк, а к тому времени, когда он состарится и работа на складе вымотает из него все силы, дети его вырастут и будут в свою очередь помогать отцу. От Абея, пожалуй, нельзя ожидать многого, но Франк... о, Франк посещает всякие там высшие школы, он стал таким ученым, со временем ему наверняка светит высокий пост. Он уже студент и все учится да учится.

Ну и наконец еще одно: не следовало сбрасывать со счетов, что Юнсен-С-Пристани дважды консул. Оливер видел в этом особую честь для себя. Поговаривали, будто Бакалейщик-Ольсен тоже собирается завести у себя заведующего складом просто для того, чтобы позадаваться, и Мартин-С-Горной-Пустоши, старый рыбак, прикидывал, что это место достанется ему. Пожалуйста, пусть так и случится, Бакалейщик-Ольсен тоже консул и богатый человек, возможно, служить у него и неплохо. Но ведь он не дважды консул? Хе-хе, Мартин-С-Горной-Пустоши, твое положение будет аккурат в половину моего, но что ж, если тебе так хочется...

Так проходят дни и годы, Оливер живет как может и умеет, он сделал все, что было в его силах, и так твердо шагает по своему жизненному пути, как будто он вовсе и не одноногий. Восемнадцать лет он играл роль человека так хорошо, как только мог, не хуже других, даже лучше других.

Однажды субботним вечером он чистит щеткой свое платье и башмаки и собирается идти домой. В последнее время он выказывает необъяснимую осторожность, он зачем-то украдкой выглядывает на улицу и, заметив на подходе доктора, возвращается в помещение и пережидает. Почему он избегает доктора, в то время как все другие почитают за честь, если тот остановит их на улице?

Доктор прогуливается взад-вперед с почтмейстером, хотя обычно он убегает от этого красная, как от огня, теперь же он прогуливается с почтмейстером до лавки Давидсена и обратно, Оливер как бы в осаде. Уж не специально ли доктор поджидает калеку? Поскольку не может собственной персоной посетить его на складе... Оливер слышит обрывки речи почтмейстера и не понима-

ет ни слова; доктор понимает все, но не похоже, чтобы он внимательно слушал, нет, скорее похоже, что он использует почтмейстера как предлог, дающий ему возможность расхаживать здесь и поджидать. Да, не слишком красиво со стороны доктора!

Дело в том, что с Оливером приключилась странная история: доктор дважды передавал ему приглашение прийти, а Оливеру было невдомек, зачем. А может, он как раз догадывался? У Оливера развилось прямо-таки женское любопытство и хитроумие: он спрашивал себя, не связано ли это каким-то образом с консулом Юнсе-ном. Оливер попытался прощупать почву, со всем смире-нием упомянул об этом консулу, дескать, он, Оливер, человек простой и неученый, доктор хочет, чтобы он явился к нему в приемную, пусть консул посоветует, как Оливеру поступить.

Консул, удивленно рассмеявшись, тут же пресекает этот разговор:

— А я тут при чем?—Но вдруг спохватывается и спрашивает:— Он что, просил тебе это передать?

— Два раза.

— Вот как. Что же ему от тебя надо?

— Не знаю.

— Ну и выкинь это из головы.

Оливер послушался и выкинул это из головы. Но сейчас доктор прохаживается за дверьми склада и, похоже, подстерегает Оливера.

Доктора явно не занимает беседа, он лишь изредка вставляет слово, в особенности когда кто-нибудь попадет-ся навстречу, тут доктор разыгрывает спектакль и под-брасывает почтмейстеру интересный вопросик. Если бы Оливер смог понять этот разговор, он, несомненно, из-влек бы из него пользу для себя.

— Так вот, насчет потомства. Вы не ответили на мой вопрос.

— Возможно, я не сумел ясно изложить свою мысль,—говорит почтмейстер.—Ведь правда же когда родители поставят своих детей на ноги, они перестают заботиться о них, теперь уже они заботятся о детях своих детей, то есть о внуках? Я полагаю, что это указывает на изначально заложенное направление в человечестве, на бесконечное продолжение.

— Но с другой стороны: не кажется ли вам немного легкомысленным со стороны того, кто заложил это направ-ление в человечестве, предоставлять детям возможность

рождаться беспрестанно, даже если их ждет самое убогое существование, голод и холод и дурное воспитание, позор и погибель? Если б хоть все они рождались в хороших семьях!

— Не знаю, правомерно ли так ставить вопрос,— отвечает почтмейстер.— Ведь может быть, что человек при рождении получает ту судьбу, которую он заслужил себе в предшествовавших существованиях. Это находит подтверждение: бывают дети, воспитанные в лучших семьях и тем не менее испорченные, другие дети вырастают в самых опустившихся семьях и при этом становятся прекрасными людьми, они воспитывают себя сами. Таких примеров вполне достаточно даже и у нас в городе. Жизнь— это мешанина, это уникальная неразбериха подобных примеров, нашей логики недостаточно для того, чтобы их объяснить.

— Нет, давайте все же применять логику, иначе, извините меня, все превращается в пустую болтовню. Вот вы только что сказали, что в самых лучших семьях могут быть испорченные дети. Верно, могут. Но в то же самое время в прежних существованиях они заслужили свою судьбу. Так заработали ли они, заслужили ли право родиться в хорошей семье?

— Отчего же нет? Ведь нигде не сказано, что хорошая семья и преходящее земное благополучие это и есть самое лучшее, что жизнь без страданий и есть величайшее благо. Ведь, с другой стороны, есть люди, которых страдания прямо-таки поддерживают и питают, которые в страданиях находят свое счастье.

Доктор не смог сдержать стон, тяжело было ходить вот так и оставаться вежливым, выслушивая прямо противоположное тому, что думаешь сам. Он посмотрел на часы, резко повернул в направлении лавки Давидсена, сделал несколько стремительных шагов, но почтмейстер не отставал. Когда они возвратились обратно, они уже сменили тему, почтмейстер держал политическую речь.

— Разумеется, именно трудящееся среднее сословие не дает жизни иссякнуть, я не понимаю, как кто-то может оспаривать эту истину. Среднее сословие, а не толпа, хотя именно она провозглашает: мы, рабочие. О да, толпа обучилась всяким искусствам, она может прочесть свою трескучую газету и обрела тот набор мыслей, какой ей нужен. Мы, рабочие... Имеется ли в виду при этом и крестьянин, и рыбак? Нет, имеется в виду только индуст-

риальный рабочий, и никто другой. Это он ропщет, он так громко кричит. Помните, доктор, вы и я еще застали время, когда у нас здесь не было индустриальных рабочих, но в каждой хижине была своя индустрия. Тогда мы еще не были так безумно заняты и могли отдыхать по воскресеньям, еды было не меньше, горестей и бед не больше, образ жизни был проще, и люди были довольны тем, что имели. Потом стала править бал механика, началось массовое производство, появился индустриальный рабочий — и кому это было на пользу и на радость? Только фабриканту, работодателю, и никому другому. Фабрикант хотел зарабатывать много денег, хотел добиться все больших и больших земных богатств, все большей роскоши для себя и своей семьи, как будто он никогда не умрет...

— Ну, знаете ли, — улыбается доктор, — он еще и давал множеству людей заработок, он давал хлеб голодным, разве не так?

— Хлеб? Нет, всего лишь деньги на хлеб. Он давал им работу на фабрике, но земля нашей родины оставалась невспаханной. Вот что он сделал. Он сманивал молодежь с места, определенного ей природой, и использовал ее силы для своего обогащения. Вот что он делал. Он создал четвертое сословие в мире, где и раньше сословий было больше, чем нужно, создал целый класс индустриальных рабочих, людей, чей труд наименее необходим в жизни. И вот мы видим, в какое искаженное подобие человека превращается такой индустриальный рабочий, после того как обучится искусствам высшего сословия: он бросает лодку, бросает землю, бросает дом, родителей, братьев и сестер, бросает домашнюю скотину, деревья, цветы, море, высокое небо Господне, а взамен получает парк с аттракционами, зал для собраний, кабак, готовый хлеб и цирк. Ради этих благ он выбирает жизнь пролетария. После чего начинает роптать и провозглашает: мы, рабочие.

— Значит, долой всякую индустрию?

— Почему? Разве у нас не было индустрии раньше?

— Но выходит, долой всякое фабричное производство?

— Ну что мне вам на это ответить... Можно представить себе кое-какие немногочисленные исключения.

— И на том спасибо!

— Например, производство оконного стекла.

— Ха-ха-ха.

— В теплых краях и в этом не было бы необходимости, но в нашем климате без оконных стекол не обойтись. Вот что я имел в виду.

— Ах, мой дорогой,—говорит доктор,—вы, право же, не должны извиняться за то, что мы, простые смертные, среди прочего нуждаемся еще и в оконных стеклах.

Почтмейстер бывает порой таким беспомощным, так долго не может найти с ответом, что неоднократно садится в лужу. Вот, например, он к случаю привел речение: «Последние станут первыми». Как раз в это время мимо проходит молодой магистр, помощник нотариуса, и доктор злорадно спрашивает, изображая непонятливость и интерес:

— Но скажите ради Бога, куда же в таком случае денутся первые?

Однако почтмейстер не замечает подвоха и отвечает:

— Первые станут последними.

— Ха-ха-ха,— снова смеется доктор.— Черт знает что,—говорит он.— Скажите мне, почтмейстер, как это вам удастся все время и во всем видеть поводы для радости?

До почтмейстера наконец доходит, что над ним потешаются, и он отвечает:

— Не все время и не во всем.

И надолго умолкает.

— Должно быть, это привычка,—говорит доктор.— Вы просто не можете обходиться без радости. Мы же, простые смертные, люди от мира сего, вынуждены жить без нее. Да, конечно, это привычка.

Почтмейстер все молчит. Чтобы развязать ему язык, доктору приходится снова обратиться к вопросу о потомстве. И тут почтмейстер не позволяет больше топтать себя ногами, он неожиданно переходит в наступление.

— Сдается мне, доктор, давеча вы произнесли слово «любовь»? А что вы под этим понимаете? Вам следовало бы сказать: инстинкт, животная функция. Вам следовало бы сказать: разврат, да и к тому же рассудочный, обставленный всяческими мерами, чтобы по возможности не произвести на свет детей.

— Да что же это, Господи!—вырывается у доктора.

Но потом он вновь обрел свою надменность и не пожелал продолжать дискуссию. Поглядел на свои часы. Почтмейстер внезапно перестал для него существовать, доктор просунул голову в дверь склада и крикнул:

— Оливер, выходи, я хочу с тобой поговорить.

Как же, станет Оливер выходить только потому, что его позвал какой-то доктор! Оливер прятался в своем укрытии, пока доктор не удалился, а тогда он запер склад и ушел.

Но все равно ему не удастся избежать этой встречи, доктор подстерегает его за ближайшим углом, он даже подносит палец к шляпе в знак приветствия и говорит совершенно другим тоном:

— Добрый вечер, Оливер, как хорошо, что я тебя встретил, ты не можешь сейчас ненадолго зайти ко мне в приемную?

Оливер пошел с доктором, то ли из любопытства, то ли потому, что хотел раз и навсегда покончить со всем этим.

— Ты не против, если я посмотрю твое бедро?— спрашивает доктор.

— Что?..

— В чисто научных целях. Ты интересный объект для исследования. Раздевайся.

Оливер в нерешительности.

— Это не займет много времени, мне хватит пяти минут, даже двух. Я хочу посмотреть твое бедро, кстати, оно у тебя никогда не болит?

— Нет.

— Ну а теперь давай я посмотрю.

Нет, Оливер не хочет. Сегодня суббота, уже поздно, он спешит домой.

Да ну что за ерунда, речь идет всего-то о двух минутах.

Оливер не соглашается. Так далеко не простирается его уступчивость. Разумеется, было время, когда доктор пользовался в городе большим уважением, но история с шведским матросом, мягко говоря, это уважение не упрочила, далеко нет. Тем не менее Оливер, очевидно, все же подчинился бы доктору и разделся, но похоже, что он этого боится, что у него есть особая причина уклониться от осмотра. Что это на него вдруг нашло? У него на лице появилось хитрое и злое выражение, он посмотрел на доктора долгим взглядом и сказал:

— Нет, не стану я.

— Ты болван,—говорит доктор.— У тебя, кстати, теперь не растет борода, отчего бы это? Ты разжирел, и лицо у тебя гладкое, бабье.

— Со мной все в порядке,—говорит Оливер.

— Вот это я и хочу проверить. Тебя от этого не убудет, я хочу кое-что выяснить, посмотреть у тебя низ живота, это минутное дело.

— Нет, я не стану.

Доктор не отступает:

— Как получилось, что тебя покалечило?

— Мне села на колени бочка с ворванью.

— Не понимаю.

— Бочка сшибла меня с ног и раздробила кость. Ногу пришлось отнять.

— Дай я посмотрю, как высоко.

Оливер показал рукой.

— Нет, я имею в виду — сними брюки.

— Нет, — отвечает Оливер в третий раз, — не стану я.

Доктор произнес, постаравшись, чтобы его слова звучали веско и значительно:

— Как знаешь. Я ведь только хотел тебе помочь.

Оливер бредет домой, он припозднился, из танцевального зала уже доносится музыка, ведь сегодня субботний вечер. Оливеру приходит на ум, что, пожалуй, он не так хорошо одет, чтобы проходить мимо разряженных парней и девчонок, которые обычно толкуются на улице перед залом, лучше он пойдет в обход. И вдруг — подумать только, что за встреча! — он видит Петру, а с ней стоит и разговаривает не кто иной, как Маттис-Столяр собственной персоной. Разговор у них очень оживленный, столяр, похоже, в растрепанных чувствах, и Оливеру снова словно бы острой иглой пронзило сердце, и он направляется к ним, скрежеща зубами. Но вот Маттис замечает его и скрывается у себя в мастерской. У него хватило ума скрыться вовремя, как раз в этот миг Оливер, скрежеща зубами, оказался рядом. У Петры же хватило ума подождать мужа, если бы ей хоть на мгновение пришло в голову спастись бегством, этот грозный муж, этот разъяренный супруг громовым голосом приказал бы ей вернуться.

Они идут бок о бок, Оливер молчит и скрежещет зубами.

Петра понимает, что надвигается гроза, она берет инициативу в свои руки и произносит, как бы про себя:

— Н-да... Ну и дела.

— Вот и я говорю, — подтверждает Оливер, — ну и дела. — И теперь он, скосив глаза, смотрит на нее.

— То есть у Маттиса. Ты ведь слышал?

Что слышал? Он ничего не слышал, но сейчас его занимают только собственные заботы, и он отвечает:

— Это тебе придется кое-что услышать.

— Не понимаю, из-за чего ты разворчался,— говорит она невинно и беспечно.— Ну так, стало быть, ты ничего не слышал?

Наверно, и вправду случилось что-то необычное, любопытство берет в нем верх над другими чувствами, укол в сердце уже не ощущается так болезненно. Оливер спрашивает:

— Чем это ты собираешься заморочить мне голову?

Сейчас преимущество на стороне Петры, она набивает себе цену, притворяется обиженной и говорит:

— Я не собираюсь морочить тебе голову. Я лучше помолчу.

Оливеру приходится полностью сменить тактику, он начинает кланяться, а Петра уступает далеко не сразу. Но слишком уж интересна новость, слишком уж хочется сообщить ее первой, и в конце концов Петра не выдерживает.

— Это касается Марен,— говорит она.

— Ну так что с ней?

— Марен Салт.

— Ну да, так в чем же дело?

— Она лежит в постели. Она родила ребенка.

Оливер не знает толком, как ему следует принять эту новость, ясно ему одно: опять ему не удастся как следует разобраться со своей благоверной. Он говорит все еще несколько раздраженно:

— Так вот о чем ты с ним так долго болтала.

— Долго? Он только что вышел и сказал мне. У него совсем голова кругом.

— И поделом ему.

— Уж не думаешь ли ты, что ребенок от Маттиса?

— А что ты об этом знаешь?

Оливер и Петра стали препираться по этому поводу, между ними снова пробежала черная кошка. Если ребенок не от Маттиса, Оливер и подавно не знает, как ему отнестись ко всей этой истории. Но главное, что сейчас субботний вечер, и поздний, Оливер сильно проголодался, и ему совсем не до того, только бы добраться до дому. Когда наконец-то его накормили, и весьма обильно, жизнь предстала совсем в другом свете, все просветлело, Оливер стал смеяться и выспрашивать у Петры

всякие подробности насчет Маттиса, что, мол, он говорит, как он все это принял.

Петра рассказывает. Она довольна, что гроза прошла стороной, она тоже развеселилась и — за этим дело не стало — передразнивает Маттиса и насмехается над ним. Маттис, рассказывает она, все время требовал, чтобы Марен убралась из его дома до того, как начнутся роды, но Марен все тянула и успокаивала его, что до родов еще далеко, и в конце концов он ей поверил. И вдруг этой ночью он слышит детский крик в доме, Маттис вскакивает с постели и бежит к акушерке и бежит к доктору. Доктор засомневался: «Марен Салт, да ведь ей лет сорок или пятьдесят? Разве такое бывает?» А Маттис ответил ему: «Что же, вы думаете, это я родил ребенка?» — «А ты уверен, что ребенок существует?» — спрашивает доктор. «Во всяком случае он кричит и он лежит у меня в доме. Пойдемте, сами увидите».

Петра смеется, и Оливер с бабкой смеются, даже две маленькие девочки понимают, как смешон Маттис-Столяр, и не могут не прыснуть.

— Видели бы вы Маттиса, — говорит Петра. — Ему не стоялось на месте, он так и сучил ногами и шмыгал носом, он все ругал себя, что в свое время не выставил старуху за дверь. «Все говорят, мол, ей пятый десяток, — разорялся он, — но на самом деле ей за шестьдесят, да ведь это противно человеческому естеству! Ноздри у ней трепыхаются, ну точно заячьи уши, а ведь в такие годы впору о душе подумать, могила-то, она под горой».

А Петра возьми да и скажи ему для подначки: «Я думаю, тебе лучше всего жениться на ней, Маттис». А он как завопит: «Жениться?! Мне? Чего ради я должен на ней жениться? Черта с два! А уж если придет день, когда я вступлю в брак, то, тебе ли не знать, я уж во всяком случае не возьму за себя потаскуху с пригульным ребенком. Да ни в жисть!»

Весь дом смеется.

Однако, словно бы желая хоть немного восстановить степенность и достоинство, Оливер берет себя в руки и говорит:

— Ну ладно, все равно это не повод, чтобы стоять и болтать посреди улицы с посторонним мужчиной.

Петра теперь чувствует себя в безопасности.

— Нет, я, конечно, могла зайти к нему, но мне не захотелось, — отвечает она.

— Попробовала бы только!

— А почему бы нет? Он такой чудак, такой наивный, другого такого чудака в мире не сыщешь. Даю голову на отсечение, будь у Маттиса жена, она могла бы раз за разом беременеть на стороне. А он бы так ни о чем и не догадался.

— Тебе бы это кстати пришлось... дети, а ну, марш в постель!— кричит Оливер вдруг на девчонок и выпроваживает их. Даже бабка уходит из комнаты.— Да, тебе бы это кстати пришлось.

— Мне?— удивляется Петра.— А при чем тут я?

— Ты ведь считаешь, я держу тебя на чересчур коротком поводке, не даю как следует развернуться.

— Я?— смеясь, спрашивает Петра.— Хе-хе-хе,— смеется она.— Где уж мне, мой-то благоверный меня в строгости держит. Его не проведешь, и думать нечего.

Оливер смотрит на нее подозрительно, уж не потешается ли она над ним, он напускает на себя свирепый вид.

И тут Петра пытается обвести его вокруг пальца.

— Но, между прочим,— говорит она вкрадчиво,— между прочим, был бы ты человеком, Оливер, так почаще разрешал бы мне сходить проветриться. Ей-богу, Оливер. Ведь ты же знаешь, я ничего дурного не делаю, просто хожу гуляю, смотрю по сторонам, заглядываю в окошки.

— Это не подобает замужней женщине, да еще из уважаемой в городе семьи,— отвечает Оливер.— Куда ты так рвешься, уж не в танцевальный ли зал? С тебя станется...

— Ну а если и в танцевальный зал? Что дурного, если я загляну туда на минуточку?

— Не забудь прихватить с собой наших девчонок,— издевается Оливер.— Но куда я зовусь Оливер Андерсен и куда я занимаю свою нынешнюю должность, этому не бывать. Вот тебе весь мой сказ.

— Нет так нет,— вздыхает Петра и отступает.— Ты в доме хозяйин, и коли ты говоришь «нет», значит, нет.

— Да, я категорически запрещаю,— изрекает Оливер, напыжившись.

— Но, может быть, ты согласишься мне забежать к Марен Салт?

Оливер вскипает:

— Когда же ты наконец поймешь, что тебе не подобает посещать таких людей, слышишь, и что тебе не

подобает заходить в этот дом. Об этом и речи не может быть. Коли твой муж управляющий складом, то и ты не можешь ходить куда тебе вздумается, а должна держаться сообразно своему положению. Мне не нравится, что ты знаешься с ними, и заруби себе на носу, что я этого не потерплю.

— Нет так нет,— вздыхает Петра: пусть за ним останется последнее слово.

Но в глубине души Оливер польщен, что жена обратилась к нему за разрешением, да, вот такое у него было чувство. Ведь иные жены откалывают Бог знает какие номера не спросясь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

I

События следовали одно за другим. Как-то раз супруга консула Юнсена с дочерью прогуливались по улице. Обе выглядели чрезвычайно довольными собой и окружающими; внезапно на перекрестке они заметили сына нотариуса — того самого художника, который рисовал портрет супруги консула. Под руку с ним шла одна из дочерей консула Ольсена. Тучная фру Юнсен едва не села на месте от неожиданности. Фиа же небрежно заметила:

— Ах да, я слышала, они помолвлены.

Что и говорить — настоящий удар для фру Юнсен! Добро бы хоть это был второй художник — сын маляра. Хотя, впрочем, безразлично — все равно ни одному из них Фии не видать. Но вот так преспокойно прогуливаться под самым носом у Фии! А что же она сама? Делает вид, будто ничего не случилось, и просто так говорит: «Ах да, я слышала, они помолвлены». Да что же Фиа за человек после этого? Неужели же она и вправду такая холодная? Теперь еще не хватает только, чтобы заявился этот, второй, сын маляра, и попросил руки Фии; ну уж тогда, будьте уверены, фру Юнсен сумеет указать ему на дверь.

Подумать только, в каком мире мы живем!

Консул Юнсен, напротив, принял это известие не так уж близко к сердцу; оно, казалось, вовсе его не взволновало, и реагировал он примерно так же, как фрекен Фиа:

— А-а, так они, значит, помолвлены? Ну что ж, ладно, а теперь — не мешай мне. — И с этими словами он вновь уткнулся в газету.

— Нет, подумать только, ведь мы делали для этих мальчишек все, что в наших силах! — не могла успокоиться супруга.

— Да-да, разумеется, только не мешай.

Консулу хватало своих забот. Ставший депутатом стортинга адвокат Фредриксен сделал запрос в парламенте относительно того, что предполагается предпринять в связи с участвовавшими жалобами матросов различных норвежских судов. Впрямую о пароходе «Фиа» он конечно же не говорил, однако не преминул заметить, что и в его родном городе ходят слухи о растущем недовольстве экипажей кораблей судовладельцами. Подобное положение требует немедленного расследования.

Для консула Юнсена это было как удар грома среди ясного неба. Этот жалкий крючоктвор, небритый выскочка, пивший его вино и пользовавшийся его гостеприимством! И вот чем он отплатил за все! Будучи большим человеком, да еще вдобавок консулом двух держав — и терпеть от такого!

Знай консул Юнсен о тех событиях, которые этому предшествовали, он, быть может, и не был бы столь удивлен. А ведь этим мерзким поступком депутата стортинга он был полностью обязан собственной дочери. Да-да, именно фрекен Фиа — изящная, утонченная, невинная фрекен Фиа — была причиной запроса в стортинге. А вышло все следующим образом. Адвокат Фредриксен не только получил от нее отказ на свое предложение руки и сердца, но она, по сути дела, вдобавок еще и оскорбила его. О, конечно же, у нее и в мыслях не было ничего подобного, однако, к несчастью, все вышло именно так. И уж будьте уверены, господину Фредриксену это вовсе не пришлось по душе.

То, что она сразу же отказала ему, слегка обескуражило его. Ведь Фредриксен наконец-то добился избрания в стортинг, то есть уже не был простым адвокатом, как раньше, однако это, казалось, не произвело на нее никакого впечатления — она даже не попросила времени на раздумье. «Нет», — твердо сказала она и с улыбкой покачала головой.

Он принял этот ответ с подобающим достоинством и спросил:

— Но вы по крайней мере оставляете мне надежду, фрекен Фиа?

Она просит ее извинить, однако — нет!

Он снова выслушал ее с достоинством, как истинный джентльмен, и лишь поинтересовался:

— Так вы, стало быть, не свободны, фрекен Фиа?

Нет, она свободна.

— Вот как? — обиженно хмыкнул он.

Он был окончательно сбит с толку, абсолютно не мог понять эту девицу, которая, казалось, только и делала, что вредила себе самой. Он насупился.

А тут еще и сама эта графиня нашла отнюдь не лучший выход из создавшейся ситуации: она продолжала беседу и при этом наговорила оскорбительных глупостей. Желая, видимо, смягчить суровый отказ, она не нашла ничего лучшего, как заявить, что происходит из семьи, принадлежащей к высшему свету, и не представляет себе, как могла бы покинуть привычную ей среду.

Но ведь и будущая их семья могла бы считаться вполне приличной. Ну, это вовсе не одно и то же. Она очень привязана к дому, с его атмосферой образованности, изысканности, со всеми этими иллюстрированными журналами, с духом уважения к старинной культуре...

На этот раз, когда адвокат поднял на нее свой взгляд, в нем не было и следа прежней вежливой сдержанности. Он громко рассмеялся. Однако она, казалось, нисколько не смутилась. Вновь посерьезнев, адвокат сказал:

— Но, дорогая моя фрекен Фиа, не находите ли вы, что все, только что перечисленное вами, вполне может окружать вас и впредь?

— Где же? — спросила она.

Ах так — ну, с него, пожалуй, довольно. Окончательно обиженный, он поспешил откланяться.

С тех пор его редко видели на улицах, он ни с кем не разговаривал, стал замкнутым, большей частью сидел дома, о чем-то напряженно размышляя. Кто знает, о чем? Быть может, о богатом приданом, которое упустил? Что ж, вполне возможно.

Да и в стортинге в первые недели он вел себя весьма сдержанно — исправно голосовал и делал все вроде бы правильно, однако — молча. Вплоть до тех пор, пока не встал вопрос о положении матросов. Тут печать молчания, сковывающая его уста, была сломана, и скрываемый

им до поры до времени душевный пламень вырвался наружу.

О, говорил он прекрасно; весь парламент, вся страна, весь народ были тронуты его речью, его сочувствие угнетенным матросам было так велико, он показал себя истинным гуманистом. В этом вопросе, как ему видится, существует две стороны, да-да, именно так. И не мешало бы нашим любезным судовладельцам, людям образованным и обладающим, якобы, культурой, бросить иногда свой взгляд и на положение противоположной стороны. Корабли то и дело пускаются в рискованные рейсы, за которые их хозяева гребут деньги лопатой, в то время как несчастные матросы вынуждены влачить все то же жалкое существование, как и в старые времена, когда люди довольствовались гораздо меньшим, чем теперь. Может, работа их так безопасна, может, они играючи справляются с ней? Членам правительства стоит подняться на любой наш торговый корабль, вернувшийся из плавания, и посмотреть, как плачевно выглядит его команда: те, кто еще могут двигаться, ковыляют на одной ноге или с рукой на перевязи. Служба на корабле калечит их. И в таком виде они возвращаются домой к своим родным и близким; оратор видел достаточно примеров тому в своем родном городе. Однако, когда заходит речь об улучшении жалких условий труда этих несчастных, мы всегда натываемся на сопротивление со стороны сильных мира сего. Где же тут гуманистический подход, где, наконец, законность и соблюдение прав? Если правительство не может само внести изменения в ужасные условия жизни этих несчастных, то стортинг, если уж на то пошло, заставит его сделать это.

Один из представителей правой оппозиции — этакая тень прошлого — выступил, конечно же, против его речи. Он решительно протестовал против преувеличений: действительно, время от времени и у матросов случаются увечья, однако практически не существует на свете полностью безопасных профессий, связанных с физическим трудом; он сам в юности был матросом, как и все парни его городка, однако никаких мрачных воспоминаний ни о питании, ни об условиях матросской жизни у него нет и в помине.

Стариковская болтовня, старая песня. Адвокат Фредриксен и слушать его не стал. Не особо прислушивался он и к тому, что говорил выступавший следующим министром, член Государственного совета. Да и сам министр,

похоже, толком не знал, о чем говорил,— витал в облаках, лил воду и закончил тем, что пообещал обратить на данный вопрос самое пристальное внимание.

— Это уже кое-что! — воскликнул господин Фредриксен вместо того, чтобы поблагодарить министра за конструктивный подход к проблеме, и сел, всем своим холодным видом давая понять, что вовсе не удовлетворен.

В газетном отчете то, что последовало вслед за этим, выглядело следующим образом:

«Президент стортинга бросил взгляд на часы, ошибочно полагая, вероятно, что на этом вопрос можно считать закрытым. Однако тут поднялся представитель Телемарка, известный спорщик, и протестовал против такого быстрого завершения дискуссии, заявив, что намерен взять слово. «Что ж, тогда не стоит и надеяться на быстрое окончание!» — с улыбкой заметил представитель правой оппозиции.

Так все и вышло. Но победа, как известно, всегда остается за большинством. Да и как жителю горной долины было не поддержать адвоката с побережья — свежего в парламенте человека, занявшего к тому же такую правильную позицию в вопросе об эксплуатируемых матросах!

Ко второй половине дня выяснилось, что адвокат Фредриксен одержал убедительную победу — была создана даже комиссия по расследованию под его руководством. Таким образом, начало его деятельности было многообещающим, избиратели вправе гордиться им...»

Консул Юнсен дочитал газету, отшвырнул ее в сторону, но потом снова взял в руки. Давно он не бывал так взволнован; наконец со словами: «На, прочти эти сплетни!» — он протянул ее Бернтсену. Он весь кипел от возмущения. До сих пор консул был полновластным хозяином в своем городе, щедрой рукой раздавал направо и налево, брал к себе на службу разных убогих, платил за обучение их детей в высших школах, осыпал всех милостями, творил добро — и что же получил теперь в награду? Сплошные нападки! Эх, будь дома Шелдруп, он бы смог достойно ответить на них; сам К. А. Юнсен слишком устал для того, чтобы изо дня в день все снова и снова вести эту борьбу. Нет, ему это уже не под силу.

Что же ему сейчас делать, куда пойти? Опять к почтмейстеру? Чтобы тот снова замучил его своей религиозной болтовней? Нет, уж лучше погулять в саду, отклю-

читься на часок от всяких дел, а затем снова со свежими силами засесть за работу! Что ж, это прекрасная мысль — верное средство в подобных ситуациях; возможно, ее внушило само небо.

В саду консул действительно немного пришел в себя; там он нашел свою дочь, которая спокойно сидела и рисовала сирень. Они немного побеседовали, приятно было, что по крайней мере у нее все складывается так хорошо, так размеренно; ее удовлетворенность жизнью действовала на него умиротворяюще.

— Ты трудишься, Фиа?

— Да. Это для благотворительной выставки. Как тебе кажется, папа, хорошо получается?

— Да-да, конечно.

— Мне тоже нравится. Кроме того, я же еще только начала.

О, фрекен Фиа — удивительное существо; ее сдержанность можно было назвать поистине величественной; впрочем, пусть и остается такой, раз считает это правильным. Наиболее счастливые мгновения испытывала она, сидя в Национальной галерее и копируя полотна великих мастеров, добиваясь возможно большего сходства. А если бы кому-то еще ее картины понравились настолько, что он черкнул бы о них пару слов в газету, то это было бы вообще пределом ее мечтаний. Доброй по натуре, ей, казалось, абсолютно незнакома какого-либо рода ожесточенность; она была сама благожелательность и никогда не испытывала при этом мук тщеславия.

Да, изумительное существо; конечно же, у нее были свои недостатки, однако и они удивительным образом шли ей на пользу. Приходилось ли ей когда-либо сожалеть о чем-то? Не похоже. Она всегда выглядела довольной, никогда не поступала необдуманно, ни на что не злилась, не знала, что такое скука. Да и чего еще ей было желать? Она рисовала, путешествовала — вот, пожалуй, и все; в больших городах у нее было много хороших друзей, она много повидала и сохранила обо всем самые приятные впечатления. Некоторые находили ее слишком уж образованной и потому неестественной, жеманной. Но если бы они спросили ее: «Неужели же ты так и родилась с этим своим чувством меры, дитя? Неужели, графиня, ты не знаешь, что есть на свете и вполне допустимые вольности? Например, ты ведь тоже можешь влюбиться, девушка!», она бы, по-видимому, весьма удивилась: «Вы так полагаете?»

Да, чего еще ей было желать? Не лучше ли было как-то по-другому использовать годы, затраченные на овладение мастерством художника? К чему? Эти годы были дороги ей, в этом она видела свое призвание, свою высокую миссию; воспоминания о них она хранила, как хранят фамильное серебро. Она трудилась, многое у нее не получалось, она снова и снова работала; со стороны, быть может, это и выглядело упрямством, но у нее никогда и в мыслях не было остановиться, отступить, распрощаться со своей *idée fixe* — ведь это было ее заветной целью. Нет, ни сожалений, ни скуки она никогда не испытывала.

И греясь в исходящих от нее лучах спокойствия и благополучия, старый отец смотрел на нее и думал: «Бог ведает, быть может, Фиа действительно умнее нас всех? Ведь к ней судьба так благосклонна, в то время как мы, остальные, вечно мечемся, суетимся, за что-то боремся...»

— В стортинге выступают против судовладельцев,— сказал он.— Говорят, что мы мучаем голодом и калечим наших матросов.

— Вот как?— Она восприняла это известие довольно спокойно, лишь отложила в сторону кисть и задумалась.

— Ну, разумеется, чего еще остается ждать от людей некомпетентных.

— Это тебе чем-то грозит?

— Не то чтобы грозит. Просто весьма неприятно — ведь я уже стар, работать как раньше не могу, а Шелдруп далеко. Слава Богу, Фиа, у меня есть ты!— со вздохом закончил он.

— Если бы я могла чем-то тебе помочь... Но, папа, ведь они же не выступали конкретно против тебя?

— Имени они не называли. Однако наш представитель в стортинге прозрачно намекнул на меня.

— Кто?

— Да этот Фредриксен, адвокат.

— Вот как?— Она снова задумалась.

— Даже не знаю, за что он так ополчился против меня.

— Ему просто не хватает культуры,— мягко сказала она.

По лицу его пробежала тень — такой ответ, видимо, был ему не по вкусу, чем-то разочаровал. Он не согласился:

— Культуры, говоришь? Не знаю я, насколько он культурен. Да это сейчас вовсе и не в духе времени. Все мы в этом смысле одинаковы.

Она промолчала. Однако по выражению ее лица было понятно, что отец не убедил ее.

— Мне кажется, это лучшая из твоих картин,— наконец сказал он.— Итак, ты, стало быть, считаешь, что все это оттого, что не хватает культуры? Ну что ж, может, ты и права. Между прочим, тебе ведь, по-моему, тоже не нравится этот адвокат?

— Мне?

— Да-да, я знаю, знаю. Конечно, он человек способный и со временем может многого добиться. Однако, поскольку ни тебе, ни твоей матери, ни мне он не нравится, я не вижу причины, по которой он мог бы впредь бывать у нас. Я так решил. Больше мы не будем его приглашать; поговори об этом с матерью — мне кажется, одно время она неплохо к нему относилась.

Вот он и высказал все, что хотел. Теперь можно было бы и уйти.

— Да, а это правда, что тот художник — как бишь его — помолвлен? И с какой же, со старшей или с младшей дочерью? Ты не слышала, Фиа?

Она улыбнулась:

— Как же, как же, я первой об этом узнала. Между нами, папа, я ведь была их посредником.

— Вот как? Ты, Фиа? Посредником?!

По крайней мере, она сама так считает.

Так он и не получил совета, как ему быть с адвокатом. Однако, возвращаясь в контору, он чувствовал себя так, будто только что заключил выгодную — тысяч на десять — сделку. Потирая от удовольствия руки, он готов был сейчас же наброситься на работу. Разумеется, отчасти этот прилив энергии был наигранным. Он здоровался со встречными, вежливо раскланивался с дамами. Что ж, все было в порядке: ему отвечали, как подобает отвечать важной персоне, — они еще не читали о том, что произошло в стортинге. И все же кое-что изменилось. Он постарел. Дамы, встречаясь с ним взглядом, теперь уже не опускали глаз, — молодым больше нравится смотреть на тех, чьи волосы еще не тронуты сединой. Да, теперь в этом смысле он уже мало на что мог претендовать — его время прошло. Ну и что ж с того? Пусть воспринимают его таким, каков он есть.

Войдя в кабинет, он взглянул на часы и опустился в кресло. Со стороны похоже было, что он вот-вот скажет что-то, типа: «Здорово освежают подобные передышки». Однако в действительности это было не совсем так, оживление длилось недолго — из головы никак не шел этот проклятый запрос адвоката Фредриксена. Не хватает культуры? Вероятно, Фиа права. Кроме того, как все же умно с ее стороны, что в этой любовной истории она участвовала лишь как посредник. Ей-богу, чертовски умно! Ему даже нравилось, что дочь до сих пор избегает всех этих дел с парнями. Ведь сам он прекрасно знал, что это за неуправляемая стихия — любовь. Еще успеется.

Искалеченные матросы? О которых необходимо заботиться, обнимать, кормить из соски! Эх, будь Шелдруп дома! Но нет, он слишком современный молодой человек, привык думать только о себе; вот и теперь он толкует о том, чтобы еще год пробыть в Новом Орлеане.

А в конторе полно неделанной работы, стол завален письмами, телеграммами, коноссаменами; Бернтсен иногда заходит, роется в куче, обрабатывает тот или иной документ... Консул постарел? Разумеется, он устал, выдохся — чему тут удивляться? Однако — неужели все-таки так уж постарел? Даже если и так, все равно он остается самим собой. Когда волосы поредели, он просто стал фотографироваться в цилиндре.

Он поднимается и зовет к себе из лавки Бернтсена.

— Что это за юноша в фуражке стоит там, на улице?

— Франк, — отвечает Бернтсен.

— Франк?

— Тот парень, в судьбе которого вы, господин консул, принимаете такое участие. Сын Оливера.

— А-а, так это он.

— Он пришел за новым платьем — мы раз в год бесплатно одеваем его.

— Вот как? Послушай, Бернтсен, не мог бы ты немного помочь мне, а то эта куча скоро станет выше меня. У тебя ведь это неплохо получается.

Бернтсен обещает ближе к вечеру попытаться выкроить время.

— Благодарю. Прежде всего переведи сумму страховки за «Фию», все в таком беспорядке, обо всем мне приходится помнить. Да, кстати, ты читал сегодня газету? Что нам делать с этим адвокатом?

— А нам надо что-то делать?

— Не знаю. Вероятно, ты прав: ничего не стоит делать. Однако, видимо, будет создана комиссия; они будут задавать разные вопросы?

— Что ж, мы им ответим.

— Да, верно, мы ответим им по каждому пункту. Могу я попросить тебя, Бернтсен, взять это на себя — ну, с этими ответами на вопросы комиссии.

— Разумеется.

Дело, таким образом, передано в надежные руки, и консул вздыхает с облегчением — неприятная ноша перестала давить на плечи. Он так обрадовался, что вновь почувствовал себя хозяином положения. Ему хочется сделать что-то, чтобы лишний раз самому в этом убедиться.

— Да, что касается этого студента, Бернтсен, пришли его ко мне на минуту, — говорит он.

Франк вошел и предстал пред ясные очи великого человека.

— Мне нравится, что вы бываете дома не так часто, — сказал консул, обращаясь к нему. — На мой взгляд, это означает, что вы увлечены своими занятиями, не так ли? Вас теперь прямо не узнать, мне даже пришлось спросить Бернтсена, кто это. Вы так выросли за эти годы. Нравится вам быть студентом?

— Да, благодарю вас.

— Рад слышать. Каждый должен добросовестно заниматься своим делом: вы — своим, я — своим. Так что же я хотел сказать? Ах да, — консул вдруг посерьезнел, — надеюсь, молодой человек, вы будете избегать всякого рода невоздержанности? Легкомыслия, к примеру? — продолжал консул. О-о, этот консул Юнсен, да он бы и из камня, вероятно, сумел выжать улыбку. — Ну, разумеется, вы будете вести себя как умный юноша и минуете все соблазны. Я, по крайней мере, жду этого от вас. — Консул, по-видимому, решил использовать эту возможность, чтобы лишний раз показать свои высокоморальные качества. — Существуют развлечения двух видов — благопристойные и пустые, — пустился он в рассуждения. — В последнее время я пришел к мысли, что развлекаться дома, в кругу семьи — самое верное дело. Мой опыт доказывает, что при желании вполне можно ограничиться только этим, избегая всего остального.

Ох уж этот консул Юнсен! Теперь, когда годы охладили его и различного рода желания мало-помалу перестали его тревожить, консул никогда не упускал случая обратить внимание собеседника на то, как ему удалось их

«преодолеть». Что поделаться, он и в этом был истинным купцом.

Однако и считать консула Юнсена лишь ловким хитрецом было бы неверно — нет, сердце у него было доброе, в какой-то момент он даже колебался, не предложить ли студенту стул, однако отказался от этой мысли и сделал то, что, на его взгляд, было лучше: подошел к сейфу и вернулся с купюрой — большой красной купюрой, — которую и протянул молодому человеку со словами:

— Вот, пожалуйста, возьмите, это вам на карманные расходы.

Франк изогнулся в низком поклоне, которому в свое время научился у учительницы танцев.

— Не стоит об этом особо распространяться, — сказал консул. — Как говорится, правая рука не ведает, что творит левая, не так ли?

— Да-да.

— Ох, люди! Так или иначе, но все мы полны благих намерений. Вы ведь хотите стать священником?

— Нет, не знаю...

— Не знаете?

— Мне лучше даются языки.

— Языки?

— Филология.

— Ах так? Считаете, что это лучше? Ну что ж.

По-видимому, консулу это пришлось не совсем по вкусу. С одной стороны, он, казалось, был раздосадован, что теперь ему уже не удастся поговорить на темы морали, а с другой, он, вероятно, сомневался, что в будущем лингвист сможет быть полезен ему так же, как священник.

Давая юноше понять, что аудиенция окончена, он сказал:

— Да-да, что ж, ну, однако меня ждет работа! — Но тут же благожелательно добавил: — Подумайте, не стоит ли вам все-таки попытаться стать священником. Ни вам, ни вашему отцу я никогда не желал ничего дурного — да и никому вообще я ничего дурного не сделал. Хотя, конечно, решать вам самому, я могу только посоветовать. Всего хорошего, молодой человек.

II

Молодой человек снова спустился в лавку и продолжил прерванное занятие — попытался подобрать себе подходящий костюм в отделе готового платья. Худой,

узкоплечий, он без особого труда нашел вполне приличный пиджак, однако, какие бы брюки он ни примерял, все они были ему коротки. Наконец он нашел один подходящий костюм — фракную пару, — однако Бернтсен счел, что это слишком дорого.

Любезный господин Бернтсен вовсе не был таким простаком, каким казался, быть может, на первый взгляд. Всегда мягкий, предупредительный, он в то же время в душе был вовсе не ягненок. Его бережливость и постоянная забота о пользе дела иногда была в тягость даже его хозяевам, сама фру Юнсен, если ей нужно было взять что-нибудь в лавке, предпочитала обращаться не к нему, а к какому-либо из продавцов. Вид платьев и нарядов, когда рядом находился Бернтсен, не доставлял ей никакого удовольствия. Однако надо отдать ему должное, приказчик он был превосходный.

— Мне думается, ты еще слишком молод, чтобы ходить во фраке, — сказал он Франку. — Вот через пару лет — еще куда ни шло.

Франк возразил, что, хотя Рейнерт и моложе, он уже носит фрак.

Однако все было бесполезно. В чем ходит Рейнерт, сын звонаря, — другим не указ. Было время, он, мальчишка, щеголял в брюках-гольф.

— Да и кроме того, — вдруг мягко, как бы между прочим, заметил Бернтсен, — Рейнерт может себе это позволить — за него платит отец.

Юный Франк с детства привык к разного рода отказам, высказывались ли они прямо или же подразумевались. Оскорблять они его не оскорбляли — он знал свое место и не желал слишком многого; сталкиваясь с отказом, он сразу же отступал. Ведь что-то же в конце концов ему все-таки доставалось. Так и теперь — поблагодарив, он взял тот костюм, на который ему указали. В конце концов, что значила для него одежда? Голова его была занята другими, гораздо более высокими мыслями.

Рейнерт уже поджидал его у дверей лавки; двое молодых людей обычно гуляли по городу вдвоем; не так уж они близко дружили — просто оба были коллегами, студентами. Нет, уж кем-кем, а лучшими друзьями их не назовешь. Оба прилежные, способные к языкам, однако Франка тем не менее считали более одаренным. Смириться с этим Рейнерт никак не мог; мысль эта была для него невыносима, и по мере сил он пытался отомстить,

чем мог. В одном отношении он все же превосходил Франка, хотя и был младше на год,— в умении обращаться с девушками, да и вообще с дамами. Могли ли тут устоять девчонки Хенриксена-С-Верфи, да и сама Лидия-младшая? В его пользу говорило и то, что одевался он всегда со вкусом—крахмальное белье, туфли с узкими носами,—кроме того, был в меру дерзок, стеснительностью и скромностью не отличался, поэтому и отказа не встречал практически никогда. Так что когда навстречу им попала Алиса Хейберг, он и не подумал сворачивать в переулок, наоборот, остановился и запросто приветствовал ее.

Когда же очередь дошла до Франка, барышня едва удостоила его взглядом. Отвернувшись, он посмотрел на башенные часы; его действительно интересовало, сколько сейчас времени, а кроме того, он не хотел сыграть на руку Рейнерту, который тотчас же вынул бы из кармана часы с новеньким блестящим медальоном, в котором хранился женский локон; все дамы, конечно же, тут же начинали жеманиться, требуя от него показать локон. С новым костюмом под мышкой и солидной банкнотой в кармане Франк почувствовал, что его понесло; расхрабрившись, он спросил:

— Как вы поживаете?

— Спасибо, хорошо!—ответила она, обращаясь к Рейнерту. Алиса Хейберг была ничуть не меньшей кокеткой, чем остальные девушки.

Франк пошел на хитрость:

— Я сейчас, только занесу домой этот сверток и тут же вернусь.

Тем самым он предупреждал ответный ход Рейнерта, который не преминул бы сказать: «Ты уже домой? Ведь вроде не так еще поздно, дай-ка взгляну!» Однако Рейнерт был не из тех, кто так легко сдается, нет, уж в чем, в чем, а в этом, впрочем, как и в вежливости, его не заподозришь.

— Даю тебе полчаса,—важно сказал он, доставая часы.

Ну, разумеется, Франк вернется через полчаса, непременно вернется.

Где он чувствовал себя по-настоящему уверенно, так это дома. Здесь он был хозяином, все ходили перед ним как по струнке.

— Дай-ка мне взглянуть на новый костюм,—сказала мать,—надень его!

Когда Франк рассказал, что его позвали к консулу, мать и бабка сперва онемели от неожиданности, а немного опомнившись, забросали его вопросами: «Ах, Господи, к самому консулу?! И что же он хотел?» Франк держался с деланным безразличием: когда хотел — пропускал вопрос мимо ушей; что ж, иногда молчание — лучший ответ. Они были весьма огорчены, услышав, что он не собирается быть священником; особенно огорчалась бабка, она никак не могла взять в толк, почему он, такой умный, этого не хочет. Франк едва заметно улыбнулся — слабой, немного печальной улыбкой. Младшие сестренки ощупывали сукно нового костюма и дружно восхищались красивыми пуговицами. Из нагрудного кармашка пиджака торчал красный шелковый лоскуток, пришитый намертво, он должен был, по-видимому, изображать носовой платочек. Брюки, как он и ожидал, оказались коротки; мать взялась их удлинить и тут же принялась за дело — ведь Франку еще надо было сходить нанести визит директору школы. Одна бабка сидела молча; погруженная в свои мысли, она время от времени с недовольным видом качала головой.

— Да-да, теперь они будут об этом судачить,— пробормотала она наконец.

— О чем?

— Что ты не будешь священником! — Она наверняка имела в виду женщин у колодца.

Франк промолчал; в данном случае это был лучший ответ.

— Оставь его в покое, Франк еще подумает,— сказала Петра; она не теряла надежды.

Но нет, всякие уговоры теперь бесполезны. Франк сделал твердый выбор, решение было неизменно, принято раз и навсегда, недаром он дни и ночи думал, прежде чем прийти к нему. Нет, говорить тут не о чем, он осознал свое призвание.

Он отправился к директору школы. Несмотря ни на что, брюки все же были ему коротки, пиджак также был непригнан и болтался на плечах, не поддаваясь никаким законам, как неправильные глаголы в грамматике. Юноша старался держаться как можно более прямо; приятная наружность и, что самое главное, форменная студенческая фуражка указывали на его принадлежность к определенной касте — людей ученых. С тех пор как Франк последний раз был дома, дорога к школе изменилась, он даже слегка заблудился. Внезапно он очутился перед

каким-то незнакомым домом. Скорее, сам себе, чем обращаясь к женщине, стоящей на крыльце, он сказал:

— Я что-то задумался, и вот...

— А куда тебе надо? — спросила женщина.

— К школе, — односложно ответил он и круто повернул за угол.

— Тогда тебе надо подняться вверх по этой улице, — крикнула она вдогонку.

Хорошо еще, что она его не узнала. Или все же узнала?

В любом случае, это еще не дает ей право «тыкать» и фамильярничать, указывая ему дорогу, хотя он вовсе ее об этом и не просил.

Директор только что окончил прием экзаменов; он сидел в домашних туфлях и халате и отдыхал, решая мудреную синтаксическую задачу. Ничто в мире так не успокаивает, не вносит умиротворения в душу, как ясный, чистый, лишенный каких-то внешних раздражающих факторов синтаксис чужого языка!

— Войдите! А, это ты, Франк? Отлично. Взгляни-ка, тебе это знакомо, дружище? Только что сумел решить. Здорово! Мне бы ее найти перед экзаменом, а то все старье да старье. Весь год мне пришлось с дочкой заниматься французским, и вот теперь к экзамену надо было снова все вспоминать. Ведь в нашем деле так: стоит хоть чуть-чуть выйти из ритма, и сразу же все забываешь. Господи, как же хорошо вновь погрузиться во все это, правда? Преклонить колена в прохладном храме и утолить жажду из неиссякаемого источника премудрости!

Директор школы сильно постарел за эти годы — стал седым ребенком с поблескивающими за стеклами очков умными глазками. Он имел все основания быть довольным Франком: слышал о нем только хорошие отзывы, желал ему успехов в дальнейшем и связывал с ним самые смелые свои надежды. О, с его старанием и прилежанием, ему уготовано блестящее будущее, нет ничего невозможного в том, что когда-нибудь, со временем, он может даже стать директором той самой школы, которую окончил...

Старый филолог был существом смирным, сломленным жизнью; собственный жизненный опыт научил его не стремиться ко многому, никто лучше его не понимал той скромной роли, которая отведена в обществе его любимой науке — филологии. Он никогда не говорил о вели-

чайших ученых-лингвистах, не читал их работ, даже едва ли вообще знал их имена — да и к чему были ему все эти гении?! Научные открытия не привлекали его, его дело учить — учить детей. Учить — и жить этим, вкладывать в детей знания — и проверять их на экзамене. Директор школы честно исполнял свой долг. Печальное, унылое существование в скудости и бездуховности. В будущем грозящее полной деградацией, физическим переутомлением и, быть может, слепотой. Как назвать это — блаженным помешательством, предназначением судьбы, божественным сумасбродством? Но нет, слишком уж это было глупо, причем глупо чисто по-человечески.

Беседуя с Франком, директор между прочим упомянул о новых учениках — буквально одном-двух, — подающих большие надежды и обладающих прекрасными, великолепными способностями, требующими дальнейшего развития; Франк уже добился столь многого, что внимание директора теперь могло быть всецело обращено на новых выдающихся воспитанников. До свидания, Франк, дружище, да хранит тебя Бог!

Франк отправился домой довольный, в приподнятом настроении. Ему не пришлось давать объяснений относительно того, кем он собирается стать; старый словесник считал это делом решенным — филологом, кем же еще. По существу, ведь так и должно было быть: именно этому он и учился, ради этого трудился в поте лица, это и было его целью. Итак, распрощавшись с директором школы, директором этого большого и столь знакомого ему каменного здания, Франк пошел домой.

Вечером со склада и из кузницы возвращались отец и Абель; Франка их приход несколько не потревожил — как и прежде, он сидел в своей старой комнате, как птица в гнезде. Само собой разумелось, что и во время каникул он будет продолжать свои занятия — читать, учить, зубрить, погружаться с головой в свою языковую стихию, — да так оно на самом деле и было. Так уж получалось, что, когда его звали к столу, занятия как раз бывали в самом разгаре, и потому печать учености и причастности к неземной премудрости на его челе становилась еще заметнее. Ох уж эти трапезы всей семьей, сколько на них уходит драгоценного времени!

Иногда он мог, например, прийти домой с найденной на улице консервной банкой и спросить: «Знаете, что здесь написано?» Разумеется, никто не знал. Но тут

вдруг мать вспоминала, что видела такие этикетки, когда служила в доме консула Юнсена, и предполагала: «Может быть, это лосось?» — «Да, но банка не английская, — не сдавался Франк; мать едва не посрамила его ученость своим чисто житейским опытом. — Здесь написано: «Alaska Salmon»¹. Однако тут уж вмешивался отец: «Аляска — это такая страна. Что я, Аляски не знаю, что ли?»

И тонко задуманный триумф с консервной банкой не состоялся.

Иногда к нему обращались за разъяснениями по поводу других непонятных надписей. Раз мать принесла катушку ниток — на-ка, взгляни. «Brook Brothers, 50 yards»². И снова отец не пощадил его, вмешался и, сияя, громогласно выдал перевод. Франк презрительно скривился: «Матросский английский!» Да, что и говорить, досадно, что папаша Оливер все еще помнит английский; в очередной раз он сорвал великий момент познания истины, разгадав надпись на жениной подушечке для иглолок: «Silver Eye. Cast Steel»³. Франку только и оставалось, что заметить: «Это должно быть написано с маленькой буквы». Отец, разумеется, его не понял и насупился: «Почему же это обязательно с маленькой?» Франк нашел единственно правильный ответ — молча, но весьма выразительно посмотрел на него. И тут вдруг к нему пришла наконец заслуженная победа. Мать достала давно уже купленную в лавке коробку с надписью: «Toilet Soap. Superior»⁴. Оливер сразу же умолк: ни одного знакомого ему слова здесь не было. Франк мог торжествовать.

Во время всей этой сцены Абель сидел молча, ничего не понимая в происходящем. Какая все же разница была между братьями! В какой-то момент в груди ученого брата шевельнулось даже что-то похожее на сострадание к Абелю; слишком уж мало времени прошло с приезда Франка, чтобы он снова мог почувствовать былое презрение к брату.

— Нет-нет, Абель, — воскликнул он, — ничего такого сверхъестественного тут нет; если б ты учился, то наверняка сейчас знал бы уже не меньше меня!

¹ «Лосось с Аляски» (англ.).

² «Братья Брук, 50 ярдов» (англ.).

³ «Серебряный глаз. Качественная сталь» (англ.).

⁴ «Туалетное мыло. Высшего качества» (англ.).

Абель только слабо улыбнулся в ответ и покачал головой.

Много раз случалось семье пользоваться знаниями старшего сына. Ученость прочно укоренилась в доме Оливера. Однако, как ни странно, никто из соседей никогда не обращался к нему с просьбой разъяснить непонятные иностранные слова, напечатанные в газете или же где-нибудь на пачке чая. Тупые, ленивые люди, которым нет дела до образованности и знаний. Да, нечего сказать, хорошенькое окружение для Франка!

Однажды, придя домой, Оливер сказал:

— Слушай-ка, Франк,— а-а, ты ешь,— ну что ж, когда управишься, я хочу тебя кое о чем спросить!

За столом сразу же воцарилось напряженное молчание, один Франк был спокоен— он не сомневался, что сумеет ответить, что бы ни спросил у него отец.

Наконец Оливер выложил на стол какой-то предмет. Старый греховодник, да это же игральные карты! Он попросил Франка перевести, что написано на футляре. Подумать только, колода карт! Женщины заворчали было, но Оливер живо оборвал их:

— Заткнитесь! Все, что вы можете сказать, я слышал уже сотни раз. Да я бы и сам к ним никогда не притронулся и тем более не потащил бы в дом, если бы не Олаус-С-Луговины. Это он меня попросил.

Франка же, напротив, это вовсе не смутило, он, казалось, был даже доволен. В последнее время ему не часто приходилось демонстрировать свои знания, и теперь он был вовсе не прочь вновь воспользоваться ими.

— «Whist á 52 Blatt, Verzierte Asse»¹. А ну-ка, Абель, братишка, а ты как думаешь, что это значит?— благодушно спросил он.

Абель лишь молча улыбнулся и махнул рукой. Пришлось-таки снова Франку самому браться за дело.

— По существу, здесь написано на трех языках,— начал он и без запинки перевел и объяснил все до последней буквы. Невероятно! Но тут Абель, который тем временем сидел и перебирал карты, показал всем, что тузы были самые что ни на есть обычные. Как же так? Франк сразу же умолк; по-видимому, желание говорить на эту тему у него уже пропало.

¹ «Карты для виста, 52 листа, тузы с украшениями» (искаж. англ., фр., нем.).

— Однако за правильность перевода я ручаюсь,— раздраженно заметил он.

Оливер, хранивший до тех пор молчание, неожиданно воскликнул:

— Черт подери, ну и дела!

Все даже вздрогнули и оглянулись на него. Он и сам почувствовал, что переборщил, тем более что такая сомнительная похвала, по-видимому, не пришлась по душе и самому Франку. Но Оливер, вероятно помня, как неприятно удивлял сына своим знанием английского, теперь твердо решил польстить ему, показав, что он с ним заодно.

— Ну и голова у моего сына!— в притворном восхищении вскричал он.

Что это, Петра, кажется, ревнует? С презрительной гримасой она мотнула головой и посмотрела мужу прямо в глаза:

— У твоего сына?

Удар попал в цель: глаза у Оливера потухли, углы губ опустились, его толстые пальцы бессильно замерли на столе.

— Он ведь не только твой, он и мой сын,— поняв, что не стоит перегибать палку, быстро прибавила Петра.

Оливер с трудом приходил в себя:

— А разве кто спорит? Ну конечно, он такой же мой сын, как и твой!

Наконец он полностью оправился и решил, что делать разницу между детьми несправедливо:

— Что ж, я свое дело сделал— ребята у нас славные, образование и воспитание я им, как-никак, сумел дать. А что еще человеку нужно?

На следующий день, вечером, Оливер внес ясность и в недоразумение с тузами: этот мошенник Олаус-С-Луговины шутки ради вложил в футляр другую колоду, думая тем самым поиздеваться над Франком. Но Франк—молодец, не сплеховал! Да и ты, Абель, оказался абсолютно прав—тузы действительно несколько не отличаются от обычных, уж мне вы можете поверить. Я же говорил, что они у меня, хвала Господу, образованные.

Но это, казалось, ничуть не обрадовало Франка. Все эти домашние лекции не приносили ему никакого удовольствия. Да и что это за аудитория? Мать, отец, брат и сестры, бабка... Как-то, перебирая учебники, он вынул один—математику, причем высшую математику, как он

сказал, и начал читать им вслух из геометрии и алгебры. Он читал о правилах производной, об интегралах, об окружности, кривизна которой в определенной точке равна кривизне дуги и называется кривизной дуги окружности в данной точке, а ее радиус — радиусом кривизны...

Оливер упавшим голосом сказал:

— И это что же, каждый из вас обязан все это знать? Вас всему этому учат?

— Разумеется, мы должны знать все.

В этот раз его прямо-таки прорвало, он говорил без умолку, как сумасшедший, который не обращает никакого внимания на то, понимают ли его окружающие. С него было вполне довольно того, что сам он себя понимал. Казалось, этому не будет конца! Неожиданно он спросил Абелья:

— В этом городишке, наверное, не найдется ни одной иностранной газеты?

— Не знаю,— смутился Абель,— по-моему, инженер выписывает.

— Иностранные? На иностранных языках?

— Откуда мне знать? А норвежские тебе не подойдут?

— Норвежские! — презрительно фыркнул Франк.

В этом маленьком приморском городке все жители были сами по себе — каждый сам по себе! Однако юный Франк все же оказался самым одиноким среди всех его обитателей. Целые дни он проводил в одиночестве, общаясь лишь с собой; что-то сам себя спрашивал, отвечал, кивал, соглашаясь, или же отрицательно качал головой, а то и просто молчал, размышляя. Частенько, сидя в своей комнате, бабка слышала тяжелый вздох, доносившийся из его каморки; так вздыхает, наверное, одинокий утес на ветру или же узник, томящийся в своей темнице.

Абель, святая простота, как-то раз заглянул к нему. Взяв со стола какую-то книгу, он спросил:

— Это что?

— Латынь, ты не поймешь.

— Так по-латински и написано?

Франк промолчал.

— Поедешь с нами кататься на лодке в воскресенье? — неожиданно спросил Абель.

Франк неопределенно пожал плечами:

— А кто там будет?

— Наша компания.

— Девчонки Хенриксена-С-Верфи?

— Нет, почему именно они? Они еще мелюзга. Будет Лидия, например...

— Ах, Лидия-младшая! — фыркнул Франк.

Да уж, святая простота этот Абель. Книг не читает, да и вообще, что с него взять? — ведь он всего-навсего обычный кузнец. «Лидия-младшая»! Он что, думал этим его соблазнить? Франк и раньше-то не особенно любил прогулки, а теперь и подавно; он уже привык к одиночеству. Даже с Рейнертом он больше не встречался, оба студента гуляли каждый сам по себе. Душка-Рейнерт в своем фраке с медальоном и взрослыми манерами держал себя на улице как настоящий король. Однажды он даже решился поздороваться с Фией Юнсен и отвесил ей комплимент по поводу ее шляпки. Но это было слишком — фрекен Фиа молча прошла мимо, не удостоив его взглядом. Рейнерт оглянулся и, заметив наблюдавшего издали за этой сценой Франка, громко рассмеялся и сказал, явно стремясь затеять скандал с гордычкой:

— Франк, ты только посмотри на нее! — Однако Франк тут же поспешил ретироваться.

Нет уж, спасибо, у него было чем заняться, кроме как таскаться по улицам с Рейнертом, подкарауливать девушек и дам, завязывать с ними беседы и ухлестывать за ними. Все это пустая трата времени. Вместо этого он иногда заглядывал на верфь к Хенриксену, который относился к нему с уважением как к образованному молодому человеку, и время от времени гулял со старшей из дочерей Хенриксена, Констанс, рассказывая ей разные истории о большом мире, который, естественно, был ей гораздо более интересен, чем тот крошечный, ограниченный мирок, в котором она жила. Разумеется, она еще была слишком юной, почти подросток, однако тем не менее весьма смышленной и, кроме того, слушала его чуть ли не с благоговением. Да, это были довольно приятные прогулки. С самим Хенриксеном Франк неизменно бывал подчеркнуто учтив: вечно говорил «простите» и «извините», во время разговора вынимал изо рта сигарету, держа кофейную чашку, культурно отгибал мизинец. С его стороны здесь и речи не было о каком-то мало-мальски серьезном увлечении — нет, просто эти визиты приятно волновали его сердце и были признаком хорошего тона. Невоздержанность же Рейнерта приводила к тому, что его сердечные переживания были на виду у всего города, — казалось, еще чуть-чуть, и этот легко-

мысленный влюбленный повеса, насвистывая и напевая, пустится в пляс прямо на улице. Франк же неизменно сторонился всякого рода влюбленностей.

В воскресенье Абель зашел домой за сестрами и вновь спросил Франка, не поедет ли тот с ними кататься.

— Нет,— коротко ответил тот.

— Мы решили взять с собой провизию, причалить где-нибудь к берегу, перекусить и потанцевать. Кнопка обещал взять с собой гармошку.

— Нет.

Однако, глядя им вслед, Франк почувствовал, как в душе его неясно шевельнулось какое-то теплое, светлое чувство, будто молодая жизнь, кипящая вокруг него, бросила ему в сердце свой отблеск. Бедняга, обманутый при рождении. Запястья его покрывала мелкая сеть тоненьких синих жилок, в груди была пустота, за восемнадцать прожитых им лет каким-то таинственным образом его молодой ум превратился в холодный разум старика.

Бабке же, напротив, его отказ ехать на прогулку пришелся как нельзя более по душе — ведь это было совсем в духе человека, собирающегося стать священником! Ей было строго-настрого запрещено беспокоить студента, но тут она не выдержала и, боязливо приоткрыв дверь, предложила ему чашку кофе.

Это было кстати.

— Правильно поступил, что остался дома,— похвалила она.

— Да что мне там с ними? — отозвался он.

Он и мысли не допускал, что сделал ошибку, оставшись. Ведь он действовал разумно, а значит, правильно. Но при этом он забыл поговорку, что непогрешим лишь тот, кто ничего не делает.

Франк снова уткнулся в книги. И по-прежнему отказывался выходить к столу. Ходившие звать его, как и раньше, возвращались в столовую с известием, что он не голоден.

III

Может, со стороны Абеля и было ошибкой устраивать эту прогулку: Лидия не поехала, и день оказался потерянным. Они высадились на лесистом острове, танцевали, скакали, орали и бесились там до вечера. Он

с грехом пополам дождался отплытия домой, и когда они наконец причалили к пристани, тут же бросился к Лидии за разъяснениями. Однако дома он ее не застал — было воскресенье, а по этим дням Лидия вечером ходила играть на пианино к Карлсену-Полицейскому.

Что ж, ладно.

На следующий вечер он снова зашел к ней и опять не застал; сестры ее сидели дома, а она гуляла.

Ей наверняка передали, что он ее искал, однако вместо того чтобы сидеть и дожидаться его, она пошла гулять, — ясно, она его избегает. Хотя, может, ей просто захотелось пройтись. Что ж, тогда уж завтра он ее обязательно застанет.

Нет, снова ее не было.

Абель был окончательно раздавлен. Что касается других — что ж, пусть себе живут, однако для него самого мир утратил всякий интерес; жизнь он считал занятием свинским и никчемным. Сегодня он видел Лидию с парой других девушек в компании Рейнерта, — Рейнерта! — этого паршивого сына звонаря, который вечно таскается за девчонками, — да, вот с кем Абель ее видел. Что ж, отлично! Этого самого Рейнерта давно уже пора проучить, да и Лидии тоже не мешает кое-что объяснить. Вот он, Абель, этим и займется, объяснит ей, если она сама не понимает. Однако силой тут ничего не сделаешь, нужны терпение и умный подход. Попробуем действовать ее же оружием. Он больше не подойдет к ее дому, будет обходить его стороной, и, быть может, однажды, когда он встретит ее на улице... Но не видя ее несколько дней, он вдруг почувствовал, как какая-то неведомая сила властно влечет его к знакомому двору.

За эти пару дней он несколько раз вспыхивал и снова потухал, как костер; подходя к дому, он был разъярен до предела, однако, когда увидел девушку, только и смог сказать:

— Ну, что, налюбезничалась наконец? Когда мы поженемся, ты у меня по-другому заплывешь! Почему ты не поехала с нами в воскресенье?

Лидия, казалось, ждала этой встречи и сумела настроиться соответствующим образом. Улыбнувшись и весьма приветливо кивнув ему, она сказала:

— Ах, Абель, это ты?

Это его сразу обезоружило. Он намеревался покончить с ней одним ударом, но стоило ей заговорить — и он мигом стал похож на побитую собаку: стоял пе-

ред ней и лишь тарашил глаза, не в силах сказать ни слова.

Лидии пришлось самой вернуть его на землю:

— В воскресенье я не поехала потому, что мне надо было играть на пианино. Не могла же я одновременно быть и там и здесь.

— Да-да, конечно,—поспешно согласился он, хотя и прекрасно знал, что она играла не весь день, а только вечером. Да она и сестрам его твердо обещала, что поедет, и вот обманула. Черт ее знает...

Она сидела на шатком крыльчке, перешивала что-то или ушивала какое-то платье; уж что-что, а шить она умела! Дальше все происходило так, как бывало уже десятки раз: ей показалось, что он все же чем-то недоволен, а она вовсе не намерена была терпеть это. Да и с какой стати, спрашивается? Этот кузнец-подмастерье и его сестры, наверно, думают, что они ей ровня? Что ж, они здорово ошибаются, и она постарается дать им это понять.

— Мне приходится учиться немного побольше, чем тебе,—сказала она.—Или, может, ты думаешь, что играть на пианино — это так просто?

Нет, он так не думал.

— Даже читать ноты, и то это так сложно. А тут еще все эти упражнения...

— А зачем тебе все это?

Ну и глуп же он все-таки, как это — зачем? Затем, что все приличные люди этому учатся. Она уже научилась танцевать, теперь ей надо научиться играть на пианино, вышивать, вязать крючком оборки для своих ночных рубашек — да мало ли еще премудростей необходимо освоить?! Ведь даже прикрываться от солнца зонтиком — и то это такая наука, в которой необходимо долгое время упражняться, прежде чем выйдет что-нибудь путное. Да и сестры не отставали от нее — тоже всему этому учились; дорожа своей репутацией, они безвылазно сидели дома и ждали, когда появится суженый — какой-нибудь штурман или, на худой конец, приказчик. В высшем обществе все поступают именно так.

Хоть слова Абеля не так уж и обидели ее, все же Лидия сурово посмотрела на юношу.

Абель стоял не шелохнувшись.

Она на мгновение отложила в сторону наперсток, он покрутил его в руках и сказал, стремясь сменить тему:

— Слушай, а из чего он? Тут такие красивые прожилки.

— Наперсток? Из слоновой кости.

Он не слишком-то хорошо разобрался в слоновой кости; правда, слышал, что храм Соломона был построен из этого драгоценного материала, но чтобы из него делали еще и наперстки?.. От досады он покраснел, оставил в покое ценную безделушку и пощупал голубое платье, лежащее у нее на коленях:

— А это, в таком случае, наверное, парча?

Уловив в его голосе насмешку, она тут же вспыхнула:

— Да что ты в этом понимаешь?

На какое-то время оба умолкли.

— Может, подвинешься? — наконец решился нарушить паузу он.

— Подвинуться? Ты хочешь присесть? Что ж, пожалуйста!

Она поднялась, освобождая ступеньки, и притворилась, будто собирается уйти.

— Нет-нет, что ты, я вовсе не это имел в виду, — запротестовал он. — Если здесь нет места для обоих, я постою! — Пока она не возражала, он поспешно продолжал: — Я в общем что хотел сказать: все эти твои занятия на пианино — чушь собачья. Зачем это тебе будет нужно, когда мы поженимся?

В тот момент, когда он произносил эти слова, она как раз снова опускалась на ступеньку; они как будто громом ее поразили, понадобилось немало времени, прежде чем наконец она смогла выдать из себя:

— Как — поженимся?! Мы с тобой?!

Абель поднял на нее тяжелый взгляд и принялся рассматривать, словно видел первый раз в жизни. Он, казалось, так и не понял, что она — довольно-таки просто и естественно, — по существу, берет его за шиворот и выпроваживает.

— За тебя я не выйду никогда, — сказала Лидия.

Абель наконец понял, что она отказывает ему, однако тем не менее продолжал стоять все в той же позе, уставившись на нее и время от времени удивленно моргая. Хорошенькое дельце, так она, стало быть, не хочет за него?! Что ж, в добрый час, пусть делает, как знает. В конце концов он разозлился.

Лидия подняла на него глаза и с улыбкой кивнула:

— Да-да, ты не ослышался. — Однако, чувствуя, что не стоит слишком уж перегибать палку, она слегка смяг-

чилась:— Если хочешь, можешь мне помочь, поддержи вот так,— и она показала, как именно он должен загнуть материю, чтобы получилась красивая складка.

Он не двинулся с места.

— Ты что, оглох?— возмутилась она и ткнула его иголкой в ногу.

От неожиданности и боли он подскочил на месте и ойкнул. Черт побери! Он был взбешен. Молча, если не считать произвольно вырвавшегося у него возгласа, стоял он на месте, побледнев от ярости и кусая губы. Ну, сейчас он ей все скажет! Лидия рассмеялась; его это только подхлестнуло. Да что же это с ним, в самом-то деле? Он, которого не пугали ни укус гадюки, ни вечные синяки и царапины в кузнице,— и вдруг вскинулся от какого-то там булавочного укола? Однако факт остается фактом— даже вскрикнул! До нее наконец дошло, что ситуацию необходимо исправить.

— Знаешь, а этот Рейнерт— такой кривляка,— заметила как бы вскользь она.

Эти ее слова напомнили Абелью, зачем он, собственно говоря, пришел сюда. Он ведь должен спасти ее, спасти Лидию-младшую.

— Ага,— отозвался он угрюмо.

— Хвастун.

— Угу. А ты что, только сейчас это узнала?

— Однако парень он видный. И волосы у него вьются.

— А, так он тебе все же нравится?

— Мне? Просто мама говорит, он такой обходительный молодой человек, да и образованный к тому же...

— Ха-ха-ха,— расхохотался Абель,— глупости все это. «Образованный»! Да если хочешь знать, я умею в сотни раз больше, чем он. Да! Конечно, я не прочел столько книг, сколько он, но об остальном знаю в сотни раз больше.

— Вот именно что об остальном!— фыркнула она.

— Да-да, в сотни раз, запомни это! Да и кроме того, вот увидишь, священником он нипочем не станет. Они ведь с Франком заодно, а тот не собирается быть священником. Тоже мне, какой-то там сынок звонаря. Уж коли на то пошло, то ты, видно, совсем дура, если тебе по вкусу те, кто только и знают, что корчить из себя невесть что.

— Мне?! Да мне на него наплевать!

Это, разумеется, меняло дело. Абель почувствовал такое облегчение, что готов был расцеловать ее, да-да,

поцеловать прямо в губы. Однако трудно это — вот так ни с того ни с сего вдруг взять да поцеловать девушку; тут требуется опыт, да и кроме того уверенность, что воспринято это будет благосклонно. Итак, он не рискнул. Вместо этого, вероятно желая продемонстрировать свою могучую силу, он играючи выдернул здоровенный точильный камень из стоящего у стены точила и одним махом положил его ей на колени.

Да уж, много на свете дураков, но таких дурней — еще поискать! Она, Лидия-младшая, вскрикнула, да что там вскрикнула — взревела! Лицо так исказилось от ярости, что ее стало прямо-таки не узнать. Ему ничего не оставалось, как снять с ее колен камень и вставить его обратно в точило.

— Ах ты, свинья такая, — прошипела она, задыхаясь от злобы. — Да как ты смеешь!..

— Хм, — смущенно хмыкнул он, явно не ожидая такой мгновенной реакции. — Подумаешь! Что тут такого-то?.. — Просто удивительно, как же иногда мало нужно, чтобы довести Лидию до белого каления. Нет уж, сам он, слава Богу, не такой. Наверное, это у нее от матери.

— Посмотри, что ты сделал с шитьем! — продолжала злиться она. — Надо же, только что выстиранное платье...

— Давай отнесу его к колодцу и сполосну, — предложил он.

— Идиот!

Он принялся ее успокаивать, сперва весьма туманно намекнув на свои чувства к ней, потом, решившись, впрямую заявил, что любит ее и собирается жениться на ней, что бы она по этому поводу ни думала, что он готов ради нее обегать все городские колодцы, лишь бы только она простила его дурацкую выходку с точилом...

Наконец она встала, слегка потрясла шитьем, отряхнулась сама, вновь уселась на жалобно скрипнувшее крыльцо и лишь тогда посмотрела на него.

— Честное слово, я не хотел ничего такого, — продолжал оправдываться Абель. — Я больше не буду...

— Ладно, хватит, — буркнула она, все еще не в силах остыть. Горящие яростью глаза ее, казалось, прожигают Абеля насквозь.

— Слушай, а где сейчас твой братец Эдеварт? — спросил он.

— Заткнись!

— Когда он вернется, ты, случайно, не знаешь?

— Я же сказала — заткни пасть!

— Ладно, — кивнул он, — как хочешь. — Он умолк и задумался.

Однако долго так не могло продолжаться. Некоторое время спустя она снова поднялась и стала отряхиваться, как будто на подоле еще оставался песок. Тем не менее она уже вполне взяла себя в руки и даже слегка улыбалась.

Не такими уж они были старыми, чтобы долго таить обиду друг на друга. Будь ему сейчас девятнадцать, ей было бы около семнадцати. Но на самом-то деле ему только что исполнилось шестнадцать, а она и по-прежнему была совсем девчонкой. Так что какой уж тут возраст.

— Ну и что ты хотел этим сказать, псих несчастный? — улыбаясь спросила она.

— Что хотел? Сам не знаю.

— Слушай, а почему бы тебе не присесть? — сказала она, усаживаясь сама.

Он промолчал и остался стоять, облокотившись на перила. Однако, когда она снова протянула ему краешек складки, он послушно взял его и держал, пока она намечтывала шов. Внезапно, указывая на его руку, держащую край платья, она сказала:

— Какие у тебя красивые волосы на руках.

— Красивые? Да, ничего.

Волосатые руки! Да, действительно, в этом пекле, в этой адской жаре, исходящей из горна, волосы росли быстрее, а кожа вся прокоптилась; он гордился этим: ни у кого из его сверстников не было такой копченой шкуры и буйной растительности; в этом они от него явно отставали, он обогнал их всех. А какая силища таилась в этих заросших волосами руках!

— Я подумываю о том, чтобы пойти к Карлсену в помощники, — сказал он. — Ты как считаешь, стоит?

— Не знаю. А это надолго?

— Да нет, не особо. Карлсен говорит, что потом я смог бы купить кузницу по дешевке. Он обещал помочь.

— Кузницу? А зачем она тебе? Ах, ну да, ты же там работаешь. А ты что, окончательно решил стать кузнецом?

— По крайней мере, не буду как все остальные. Да и работа эта не хуже всякой другой, если не лучше.

— Но ты ведь будешь всегда такой черный, — сказала Лидия.

— А к тому времени, как мы поженимся...

На этот раз лицо ее не приняло как прежде каменного выражения, тем не менее она решительно прервала его:

— Из этого ничего не выйдет!

— ...я уже смогу скопить на дом,— невозмутимо закончил он.

— Никогда!

— Но почему?— Он явно не мог ее понять.

— Я не люблю тебя,— сказала она.

Глядя на ее быстро снующие руки, он задумался, потом поднял голову и посмотрел ей прямо в глаза.

— Ну ничего, это дело поправимое,— сказал он таким тоном, будто это был уже вопрос решенный.

Однако Лидия-младшая в очередной раз показала себя достойной дочерью своей мамыши. Нет, подобный номер с ней не пройдет!

— Отпусти!—скомандовала она и дернула к себе шитье.

Но конечно же вырвать его из таких цепких пальцев было делом не простым.

— Ты что, не слышал? Отпусти!

— Ну ладно, как хочешь.

Он выпустил материю— снова они поссорились.

— Как тебе только не стыдно!—сердито выговаривала ему Лидия.

Абель попытался рассуждать по-взрослому:

— Конечно, я еще не совсем взрослый, если ты это имеешь в виду. Честно говоря, мне и двадцати еще не исполнилось.

— Господи, да что ты врешь!—вскричала она.— Ты же еще совсем мальчишка—только в прошлом—хотя нет, в позапрошлом—году конфирмовался. Что, ты думаешь, я не знаю, когда ты родился?

Абель рассмеялся:

— Ну, тут уж тыхватила. Да когда я родился, тебя, Лидия, еще и не планировали. А другим ты не верь—я-то точно знаю, что мне около двадцати.

— А-а, что с тобой говорить,—нетерпеливо отмахнулась от него Лидия.—А я буду конфирмоваться осенью.

— Это хорошо.

— Что—хорошо, в каком это смысле?

Молчание. Он хотел было сказать, что хорошо бы это было уже позади—тогда она наконец тоже станет сво-

бодной и самостоятельной, как и он, однако не решился — ни к чему было снова ее раздражать.

— Ну, вот я и закончила, — сказала она, складывая шитье и поднимаясь.

— Что ж, тогда до свидания, — погрустнел он, однако тут же набрался смелости и попросил вынести ему напиток.

— Если только в доме есть вода, — ответила она, нерешительно оглянувшись и вдруг, расхрабрившись, неожиданно предложила: — А почему бы тебе не зайти и не выпить самому?

Абель запротестовал:

— Да ладно уж, чего там, я и дома могу попить. Не все ли равно, в конце концов?

— Нет, не все равно! — горячо воскликнула Лидия. — Подожди, я сейчас принесу. — И она так проворно кинулась в дом, будто он и впрямь был ее единственным избранником.

Когда он напился, они еще немного поговорили, и, перед тем как расстаться, ему все же удается обнять и несколько раз поцеловать ее. Да, что и говорить, руки у подручного кузнеца сильные — сильные и весьма опасные.

Идя домой, он в упоении размахивает ими — полный властный хозяин жизни, счастливый избранник любимой девушки, будущий владелец кузницы. Сомнений нет — все в конце концов наладится! Больше всего сейчас ему хотелось уединиться, избежать чужого общества, однако оказалось, что дома гости — Марен Салт.

Вся семья, за исключением старшего сына-студента, собралась в комнате, и хотя сидели они не так давно, но сказано было уже немало. Марен Салт была в городе по делам и решила заглянуть проведать старых знакомых. Во время оживленного разговора гостя прихлебывает кофе, закусывая его свежей сдобой; сам хозяин дома, Оливер, вставляет в беседу время от времени свое веское слово.

— Как же тебе удалось выбраться? — спрашивает Петра. — Твой малыш что, уснул?

— Не знаю. С ним остался Маттис.

— Маттис?

— Когда с ребенком остается Маттис, я за него могу не волноваться.

— Но ведь не хочешь же ты сказать, что Маттис теперь всегда присматривает за твоим сыном?

— Вот именно. А что ж тут странного?— удивляется в свою очередь Марен Салт.— Ведь мне-то по вечерам приходится ходить за покупками, а он, Маттис, сидит дома. Вот он и присматривает за ребенком. А как же иначе?

Здесь вмешивается Оливер; с важным видом он говорит:

— Я так понимаю, Марен, что придет тот день, когда Маттис возьмет тебя в жены.

По всей видимости, Марен Салт ничего не имела против этого, однако тут уже Петра почувствовала себя задетой.

— Вот уж не думаю,— говорит она.— Хотя, впрочем, мне-то какое дело?

— Да он еще и не на такие глупости способен,— продолжает настаивать Оливер, решив, видимо, прочно принять сторону Марен Салт.— Зато когда парень подрастет, он возьмет его в ученики— будет хоть кому мастерскую оставить.

— Ах, вот если бы ребенок был законный, тогда конечно,— возражает Марен.— А так, боюсь, дело затянется.

— Мне давно следовало бы зайти посмотреть на него,— говорит Петра.— Он у тебя, наверное, здоровенным малым растет?

— Да уж, не жалуюсь. Доктор говорит, что видна порода.

Петра настораживается:

— Что, так прямо и сказал?

— Ну да, весьма любезно с его стороны, верно?

Наступила пауза. Петра задумалась.

— Да нет,— говорит она наконец,— это не просто любезность, он на что-то намекал. О моих он также говорил, что видна порода. Не понимаю, что он имел в виду?

Оливер снова вмешивается:

— Насколько я понимаю, это значит, что ребенок большой, здоровый и сильный. Господи, да взять хотя бы наших— все как на подбор!

— А какого цвета у него глаза?— спрашивает Петра.

— Карие.

И снова на лице Петры появляется какое-то странное выражение. Можно подумать, она ревнует. Не сумев справиться с собой, она только что не вскрикнула:

— А ну-ка отвечай, с кем ты нагуляла эти карие глазки?

— Ха, так я тебе и сказала! — кокетливо усмехается Марен Салт.

— Я и без тебя знаю! — с горечью в голосе замечает Петра. — Он и здесь успел!

Марен недоуменно смотрит на нее:

— Что ты болтаешь? О ком ты?

— Да так, ни о ком.

— Вот и не болтай чепухи, — говорит Марен, — ты не можешь знать, кто это! — И с чрезвычайно лукавым и таинственным видом она умолкает. Черт бы побрал эту бабу, кто же все-таки мог быть отцом? Вид у нее сейчас такой, будто она сидит и привередливо взвешивает различные варианты.

— Там кофе еще остался? — спрашивает Оливер, кивая на кофейник. — Налей-ка Марен еще.

Таким образом, четвертая чашка последовала за тремя предыдущими, и пока Марен управлялась с ней, вновь было сказано немало. К тому же выяснилось, что и у самой Марен Салт глаза карие. Что же тут странного, если и у ребенка они такие же? Казалось бы, к Петре вновь должно вернуться хорошее настроение, ан нет, уж коли ей что запало в голову, то это надолго.

— И все же это мог быть только он! — не унимается она. — Ловкач, нечего сказать, на этот раз, чтобы все было шито-крыто, он выбрал себе кареглазую.

— Да что за чушь ты несешь, Петра, не могу понять?! Вот уж правда, прости Господи, чушь! — с дружелюбной улыбкой парирует Марен.

Однако Петра уже закусил удила и, отбросив всякие приличия, продолжает наскоки на гостью:

— Ты что, Марен, думаешь, он стал бы с тобой путаться, если бы не карие глаза? Ведь ты и сама прекрасно знаешь, что уже не девочка.

Тут Оливер почувствовал, что ему снова необходимо вмешаться. Это выразилось в том, что он взял шляпу и, ковыляя, вышел из дома. Абель последовал за ним. В комнате осталось пятеро женщин, считая девочек и старуху. Петра в своих нападках на гостью разошлась во всю; если бы Марен Салт вовремя не взяла себя в руки, она, наверное, швырнула бы об пол свою чашку. Однако она все же сумела овладеть собой, хотя и уязвлена последним замечанием хозяйки в самое сердце. В ответ она говорит:

— Да, конечно, я уже не девочка. Но и ты сама, Петра, запомни, уже не годовалая телка! И если уж на то

пошло, то от того, о ком ты говоришь, ты тоже поимела немало.

Петра наконец опомнилась и увидела, что дочери внимательно прислушиваются к их разговору. Пытаясь замять опасную тему, она рассмеялась и сказала:

— Поимела? Да ты что? Уж можешь мне поверить, ни от кого, кроме мужа, я никогда никаких денег не брала! Да и за что бы их мне стали давать? Нет уж, слава Богу, нам хватает того, что зарабатывает Оливер!

Тем самым неприятный разговор был переведен в другое русло, попытка одной навести мосты была оценена другой, и ссорящиеся женщины, пускай немного поздно, однако решили наконец заключить мир. Снова темой разговора стал город и сплетни о его обитателях; кофейные чашки наполнились в пятый раз; кумушки придвинулись поближе к столу, когда одна из них говорила, все остальные жадно вглядывались в ее лицо, стараясь не упустить ни слова, ни жеста. Вчера вечером у Каспера, того, что работает на верфи, снова был скандал в доме — жену бил. Марен собственными ушами слышала.

Петра возмутилась:

— За что он ее?

— У нее, похоже, были шашни с каким-то другим рабочим с верфи.

— Попробовал бы он на меня поднять руку! — с угрозой проговорила Петра.

— Ну уж тут она сама виновата! — включилась в разговор бабка. Старуха уже настолько дряхлая, что мысли молодых ей непонятны. — Помните, что она выделявала в тот год, когда муж ее был в плавании? Уехала на чужой шхуне за границу и довольно долго была там в прислугах.

Марен Салт заметила:

— Удивительно еще, что она не привезла оттуда с собой ребенка.

— А может, она его там оставила, откуда тебе знать?

— Нет, тогда бы у нее и после этого были дети.

— Видно, она вообще не может иметь детей, — сказала Петра, — вот и крутит хвостом, как хочет.

Бабка погрузилась в воспоминания о давно минувшем событии — путешествии молодой матросской жены за границу; в свое время об этом много говорили. Подумать только, ведь из такой хорошей, почтенной семьи, и отца ее, кузнеца Карлсена, все в городе уважают. И вот на тебе!

— Да, всякое бывает,— вздохнула Марен Салт. Она знала и другие городские новости: младшая дочь Бакалейщика-Ольсена собирается справлять свадьбу в Христиании в середине этого месяца.

— Почему же в Христиании?

Так написано в газете; Марен сама слышала, как об этом читали вслух в лавке Давидсена.

— И кто же жених?

— Пишут, что художник.

Девчонки были осведомлены лучше.

— Тот самый художник, что рисовал портреты Юнсена-С-Пристани и Бакалейщика-Ольсена,— затараторили они хором; да уж, в чем, в чем, а в таких делах мелюзга разбирается.

— Судя по тому, что говорит Давидсен, он из образованных.

— Удивительно, как тихо они все обстряпали, никто об этом ничего не слышал.

На что Марен Салт тут же не преминула заметить:

— Говорят, что невесте пришлось поспешить со свадьбой.

— Ах, так вот в чем дело!— Все в комнате понимающе переглянулись и на миг умолкли, размышляя над этой новостью.

— Да, люди женятся, потом скандалят, и конца этому не видно,— наконец нарушила молчание Петра и тут же снова направила разговор в опасное русло:— Так что тебе, Марен, считай, повезло — уж кому-кому, а тебе это точно не грозит!

— Ну, ее время еще не прошло,— подала голос старуха.

— Петра на этот счет иного мнения,— опять поджала губы Марен.

Но Петра не сдается:

— Я этого не говорила, но если уж на то пошло — что ж, верно. Между прочим, а сколько тебе в самом деле лет?

— Так много, что я уже успела забыть,— отвечает Марен, вставая из-за стола.— Ох, да я весь вечер тут у вас просидела! Ну что ж, всего вам доброго, спасибо за угощение! Ты, Петра, тоже обязательно заглядывай ко мне как-нибудь.

Нет, девочкой Марен Салт, разумеется, уже не назвать, но тот, кто видел, как она идет домой из магазина, неся тяжелые свертки так, будто они ничего не

веса, да к тому же еще и танцующей походкой, никогда не посмел бы назвать ее старухой. Привлекательной ее тоже никто не считал—даже карие глаза и те были какими-то тусклыми, в них никогда не появлялось ничего похожего на блеск,—однако уже одно то, что она в таком возрасте родила ребенка, говорило само за себя. Так что какой бы она ни была, оставим Марен Салт в покое. Да и чем, к примеру, лучше нее дочери Йоргена-Рыбака и Лидии—эти девчонки, вечно сидящие дома и корчащиеся из себя благородных особ? Или хотя бы взять ту же самую Фию Юнсен, которая с наслаждением малюет свою сирень, не обращая при этом никакого внимания, кто перед ней в данный момент стоит—мужчина или дорожный указатель. Ну чем она лучше?

— Я задержалась, извини,—кратко говорит Марен Салт, входя в дом.

Маттис не ответил—нечего воображать, будто ему есть до нее какое-то дело. Кроме того, как раз сейчас он пел ребенку колыбельную, и она вошла прямо посреди куплета.

Может, попытаться расшевелить его городскими слухами, подумала Марен, рассказать о Каспере с женой, о свадьбе в Христиании? Но нет, Маттис был не из тех, кто любит слушать сплетни.

— Он что, проснулся?

Маттис, допев куплет, ответил:

— Пока нет. Но если ты не прекратишь трещать, сейчас проснется.

— Ничего, все равно мне пора уже его кормить,—говорит она.

Удивительная картина: Маттис-Столяр распевает песни над колыбелью младенца.

Сперва он, правда, упирался изо всех сил. Но для начала он все же стерпел жуткую гримасу судьбы и не выгнал из дома Марен Салт сразу, когда она еще лежала, не оправившись от родов, хотя один только Господь знает, чего это ему стоило! Черт подери, и это в его-то доме! Ну да ладно, рассуждал он, ведь это ненадолго, всего каких-нибудь два-три дня, а там—ну-ка, живо выметайся на улицу, да не забудь прихватить свое отродье! Но вот назначенный им самим срок истек, день шел за днем, казалось бы, давно уже пора взять поганую метлу и выгнать ее на улицу. Однако куда же она пойдет? И что будет с ее младенцем? Такой крепкий, здоровый карапуз, да и хорошенький, даром что орун...

Да уж, Маттис-Столяр был человек уступчивый: когда-то он простил приятелю, обманом выманившему у него две новые двери для комнаты, потом простил невесте, надувшей его с обручальным кольцом, подаренным им ей. Вот такие-то дела. Поворчит, поупирается, а потом все равно уступит. Что поделаешь, такой человек.

В скором времени Марен Салт была уже на ногах и продолжала заниматься своими привычными обязанностями. Ребенок ей почти не мешал: еду ему готовить не надо было, он только сосал грудь и спал. Лежал он в комнате Марен, на ее кровати, так что и места особо не занимал. Маттис же все время отсрочивал решительный момент. Однако решено, через полгода, когда на дворе будет стоять лето и отпадет опасность того, что мать с младенцем замерзнут, пусть убираются из его дома на все четыре стороны! Ну, или, в крайнем случае, через пару лет, когда мальчишка научится ходить.

Хотя он и поклялся, что никогда и не взглянет на ребенка, сдержать это обещание было практически невозможно. Младенец не желал приспособливаться к отлучкам матери, и когда Марен Салт выходила куда-нибудь, например, к колодцу, он, нисколько не смущаясь, орал, призывая к себе оставшегося дома столяра. Некоторое время Маттиса это просто тихо бесило, он скрипел зубами от злости, но к ребенку не подходил. Однако и он ведь не каменный. А кроме того, он заметил, что, когда он начинает что-то говорить, младенец умолкает и таращит на него глазенки. И вот он все говорил и говорил с ним, а кончилось дело тем, что даже стал петь ему песенки. Парень еще шире стал раскрывать глазки и даже, казалось, узнавать его. Маттис же начал понемногу брать его на руки...

Какой же он забавный, этот малыш, а легкий-то какой—ну, прямо гном, да и только! Да прекрати же ты орать наконец, ведь, небось, в мастерской слышно! Ну, что кричишь? Э-э, брат, да ты замерз и есть, наверное, хочешь. Ну, я ей выдам, пусть только вернется! Тоже мне—мать! Да я нисколько не удивлюсь, если однажды ночью она просто-напросто придавит тебя в этой узкой кровати. А ну-ка, давай полезай-ка сюда, в одеяло. Сейчас возьмем тебя на ручки. Ну вот, сразу теплее стало, а? Нет, клянусь Господом, я с ней поговорю!

— Да он у тебя весь окоченел!—крикнул он Марен Салт, как только она переступила порог.

— Окоченел? Как так?

— Не знаю—как, да и знать не хочу. Это не мое дело. Скажи лучше, почему он голодный?

— Он не голодный.

— Что ж он, по-твоему, просто так орет? Да уж, нечего сказать, мать называется!

Марен поняла, что лучше будет, если она уступит.

— Ладно, сейчас дам ему грудь,— сказала она.

— И смотри, корми получше!— ворчливо напутствовал ее столяр.— Он еще никогда не плакал так, как сегодня.

С этими словами Маттис направился в мастерскую, где подмастерье и ученик, наверное, уже заждались. Да, он разозлился, но вместе с тем ощущал и какую-то странную неловкость. В дверях он обернулся и сурово сказал Марен:

— Ты что, может, думаешь, я каждый раз буду к нему бегать? Да пусть он хоть надорвется, мне-то что? Но мне надоело терпеть детские крики в мастерской. В конце концов, я в своем доме. Да. И не желаю, чтобы он орал здесь, как резаный!

Когда Маттис пришел в мастерскую, подручный и ученик уже собирались домой. С ними он наконец смог отвести душу—высказать все, что думает о Марен и ее ребенке.

— О-хо-хо, и за что мне такая напасть? Ну да ладно, теперь уж недолго ждать осталось. Да будь моя воля, ноги бы их в доме больше не было. Жаль, сейчас нельзя—еще, пожалуй, посадят, если их теперь же выгнать. Да, верно, могут посадить. Ты как думаешь, могут?— спросил он подручного.

Тот точно не знал, но считал, что всякое может быть.

— Вот и я говорю, могут посадить. Да, пожалуй, еще надолго—на несколько лет. Так что лучше уж не рисковать.

На следующий день у него появилась новая работа— он начал делать маленькую детскую кроватку. Как он говорил, ее заказала одна семья из соседнего городка; размеры они ему сообщили, так что тут все было в порядке—заказ был что надо. Да и кроватка получалась на славу—со всякими там решеточками и даже резной спинкой. Перед отправкой те люди просили покрасить ее в белый цвет. Но, черт возьми, хоть все и спорилось, он все же злился: нет-нет, а ловил себя на том, что за работой начинает мурлыкать ту самую песенку, колы-

бельную, которую пел тогда мальчишке. Никак она у него из головы не идет. Нет, это уже ни на что не похоже — да и смешно же, в конце концов. Подумать только, здоровенный мужик, да еще с таким носом, стоит у верстака и поет детскую песенку! Он недоверчиво покосился на подручного — не смеется ли потихоньку над ним.

Так что в тот день, когда он послал ученика с кроватью к маляру, он вздохнул с облегчением. Кончено!

А еще больше обрадовался он, когда кровать, гладкая, белоснежная, вернулась к нему от маляра и ее можно было хоть сейчас упаковывать и отправлять по назначению. Но тут произошло неожиданное: Маттис получил письмо, что заказчики отказываются от кровати; они уже купили другую, готовую. Да, вот так новость! Однако Маттис воспринял ее на удивление спокойно. Он лишь сказал:

— Да-а, теперь уж ничего не попишешь. Чуяло мое сердце, не хотел я браться за эту кровать. Что ж, видно, прав я был, когда говорил, что с некоторых пор все пошло наперекосяк. Нет, никогда больше не возьмусь за заказы из другого города!

Короче говоря, погорел он с этой кроватью.

Что ж, раз так, то пусть хотя бы этот парнишка, сынок Марен Салт, попользуется пока ею — неделю там, или чуть больше, в общем, до тех пор, пока не найдется покупатель. Ведь не сломает же он ее, в самом-то деле!

IV

Конечно, лучше, когда свадьбу празднуют в доме невесты, да и принято так, но консул Ольсен настоял, чтобы торжество происходило в столице, в большом отеле, в зале с пальмами. Бог знает что только не придет человеку в голову. Он даже всерьез подумывал о свадьбе за границей — где-нибудь в Аргентине или в Австралии. Да, что и говорить, человек с размахом! Но в конце концов он решил остановиться на этом зале — что ж, крупный отель — тоже хорошо, да и зал ничего, красивый, под стать случаю; стоит только звякнуть в колокольчик, как сразу же кто-нибудь из пяти официантов тут как тут. И шикарно, и в то же время практично — хоть супруге консула не ломать голову с угощением.

Итак, художник, сын нотариуса, женился на своей модели. Правда, в родном городе невесты люди удивлялись,

что все делается так неожиданно, в такой спешке; обсуждали эту тему и у колодца, и приговор был однозначен — странно все это. Однако, как бы там ни было, одно было ясно — юная дама покидает родной купеческий дом, а заодно и мечты о Шелдрупе Юнсене; ну так что ж, не он, так другой.

Адвоката Фредриксена, который как член стортинга и председатель парламентской комиссии находился в это время в столице, разумеется, тоже пригласили. Обойти его было никак нельзя. Свадьба без такой важной, можно сказать, официальной персоны — все равно что норвежский герб без льва.

— А-а, добро пожаловать! — просиял Бакалейщик-Ольсен и усадил высокого гостя на почетное место.

Вот тут-то, на свадьбе, адвокат Фредриксен, воспользовавшись случаем, и попытался заложить основу и своего будущего семейного очага — предварительно договориться обо всем с другой, старшей дочерью Бакалейщика-Ольсена. Однако пока что они должны держать это в тайне, нужно немного подождать. Бог знает чего именно им было ждать, но, как сказал адвокат, этого требовали его дальнейшие планы. Ведь не собирается же он вечно оставаться всего только каким-то жалким депутатом стортинга, но — ш-ш — пока что не будем об этом. В любом случае скрепить нашу предварительную договоренность определенными обязательствами в отношении друг друга вовсе не помешает.

Таким образом, и вторая дочь Бакалейщика-Ольсена готовилась навсегда покинуть родной дом и отказаться от мысли выйти замуж за какого-нибудь красавчика коммерсанта. Что и говорить, трудно было представить себе двух столь непохожих внешне людей, как дочь консула и адвокат. Она — высокая, статная, кровь с молоком; голову украшает огромная копна пепельных волос, черты лица крупные, рот большой, чувственный. Он — уже пожилой, отнюдь не богатырского телосложения, мягко говоря, не красавец, профиль, разумеется, отнюдь не греческий, волосы уже редкие, кожа на шее висит складками, однако, при всем этом, мужчина обходительный и приятный. Да нет, что уж там, в действительности, адвокат — это еще не самый худший вариант.

Некоторое время спустя он снова вернулся в город. Как и следовало ожидать, он возглавил комиссию по расследованию бедственного положения матросов и теперь мог по праву ходить с гордо поднятой головой. Да, вот это карьера! Нападать напрямую он, похоже, ни на

кого не собирался, однако голос его в обществе заметно окреп, стал, что называется, подобен раскатам грома. Тут, видимо, сыграли роль репетиции в стортинге, и в частности — знаменитое выступление с запросом.

По вечерам он выходил на воздух и не спеша прогуливался по улицам, и каждый раз находил кто-нибудь, кто пытался заговорить с вернувшейся домой важной персоной. То это был доктор, который злорадствовал по поводу запроса, направленного против дважды консула, то служащий таможни, за которым в городе укрепилась репутация левого, то молодой помощник нотариуса, стремящийся стать адвокатом, да и мало ли еще кто. Депутат стортинга обычно не отказывал в беседе никому — бросал мимоходом пару ничего не значащих слов. По той или иной причине, меньше всего он любил встречаться с доктором; тот, напротив, завидя адвоката издали, сразу же шел ему навстречу и завязывал бесконечную беседу, избежать которой было практически невозможно. Другие, перекинувшись парой слов со знаменитостью, вежливо откланивались, доктор же оставался верен себе — отделаться от него было не так-то просто.

Да, уж кто-кто, а доктор, казалось, ни капли не изменился. Он по-прежнему навещал больных и выписывал им по-латыни рецепты, твердо веря в собственную ученость и науку, позволяющую ему зарабатывать свой кусок хлеба. Забот у него было — хоть отбавляй. Редко когда выпадал какой-нибудь счастливый случай, как, например, в тот раз, когда Хенриксен-С-Верфи подарил ему после смерти жены крупную купюру; а так, по большей части, жизнь его протекала безрадостно. Разругавшись в свое время с Юнсеном, он перестал ходить к нему в лавку и решил отныне пользоваться услугами другого торговца, к примеру, Давидсена, однако и тот оказался не лучше Юнсена — тоже повадился присылать счета. Давидсен хоть и носил титул консула, был человеком небогатым, так что ему приходилось экономить на всем — даже на мелочах. Презренные торгаши! Так и получилось, что доктор не стал постоянным клиентом ни одного из них.

Да, что и говорить, жизнь у него была — не позавидуешь. Однако его, казалось, это не слишком печалило. В самом деле, ведь не виноват же он, что никак не может сломать свою натуру, приспособиться, устроиться, что в этой жизни он — сбившийся с дороги, заплутавший

путник; однако никто не смеет называть его брюзгой, нытиком или же напыщенным шутом. Всему виной тут люди, этот жалкий городишко, да еще, быть может, отчасти, ошибка Провидения. Да-да, разумеется, именно так оно и есть! А сам он—что ж, он таков, каким и должен быть.

Так что чего уж тут себя казнить?

Доктор не любил особо рисковать, играть с опасностью, однако споров и скандалов не избегал, напротив, он охотно пускал в ход свой колючий, язвительный язык, в особенности когда видел, что это ему ничем не грозит. Назойливый, как слепень, и опасный, как оса. Да, уж что-то, а это он умел! Репутация человека, с которым не всякий решится связываться, вполне его устраивала; самая маленькая победа, пусть временная, пусть минутная, заставляла его трепетать от счастья. Нет, по натуре своей он вовсе не был таким уж злобным или склочным, напротив, однако годы усердного корпения над книгами и почерпнутая из них схоластическая премудрость порядком испортили его характер, сделали его таким, каков он есть. Из этой своей неуживчивости он не пытался извлечь для себя лично никакой выгоды, да и склочником он стал будучи уже вполне зрелым, потрепанным судьбой человеком; неуживчивость постепенно превратилась в вечное брюзгливое недовольство, ожесточение, злобность, мелочную мстительность, пристрастие к сплетням. Если кто-то умирал, языкастый доктор не упускал случая как бы вскользь заметить: «Ну вот, и еще одна пара башмаков освободилась!» И не было для него большей радости, если при этом кто-нибудь из слушателей менялся в лице.

Как же тут пройти мимо знаменитого депутата стортинга? И доктор повел на него атаки со всех сторон. Так, к примеру, он довольно неодобрительно отозвался о том, что, став депутатом стортинга, адвокат Фредриксен начал щеголять в сапогах с высокими каблуками, хотя раньше, надевая их, жаловался на боль. Новый фрак—это еще куда ни шло, но подобные сапоги, для таких ног как у него...

Адвокат отвечал, что, собственно, ноги его как-то никогда не беспокоили.

— Это все оттого, что вы не знаете анатомию.

— Что мне надо из анатомии, то я знаю.

— Ну да, разумеется, стоит только человеку попасть в стортинг, как он сразу же заявляет, что знает вполне достаточно и больше ни в чем не нуждается!

— Нет, конечно же, по возвращении в свой избирательный округ мне необходимо бежать к местному врачу в надежде пополнить свои знания.

— Ха, «пополнить»! Да некоторым не вредно было бы начать с азов, старина!

Адвокат вовсе не был настроен препираться, но, с другой стороны, не мог же он так просто утереться и стерпеть оскорбление, доставив тем самым удовольствие этому беспардонному нахалу. Он бросил на доктора злобный взгляд, однако продолжал по-прежнему идти рядом; ему в голову вдруг пришла мысль, что не пристало ему ругаться с такой мелкой сошкой, как какой-то там докторишка.

— А-а, вот и парикмахер Холте. Добрый вечер, Холте! — сказал он, останавливаясь, в надежде на то, что доктор пойдет своей дорогой. Но тот вслед за ним также остановился. — Скажите, Холте, в какое время у вас бывает поменьше народу? Мне не мешает зайти к вам подстричься.

— И охота вам таскаться в парикмахерскую и ждать там в очереди, — язвительно заметил доктор. — Почему бы вам не пригласить его к себе на дом?

— Мы, демократы, не так воспитаны, — отвечал адвокат.

— Не так воспитаны? Ах да, Господи, ну конечно!

Навстречу им попался Маттис-Столяр; адвокат и с ним поздоровался, перекинулся парой слов и продолжал свой путь.

— Бедняга Маттис, — заметил доктор, — вот и у него в доме появился кареглазый ублюдок. Да, не очень-то он был рад этому! — Но тут, видимо, мысли доктора внезапно приняли другой оборот, и он сказал: — А что касается вашего запроса в правительство, это было просто замечательно. Так ему и надо, этой свинье!

— Да что вы, — скромно потупился адвокат, — по сравнению с тем, что я там делаю, этот запрос — сущие пустяки.

— А что же еще такое вы там сделали, позвольте узнать? — снова попытался уязвить его доктор.

— Так, пустяки, — миролюбиво ответил адвокат, не поддаваясь на провокацию; идти на конфликт ему явно не хотелось.

Вдоволь натешившись и заставив знаменитость побавить свой пыл, доктор решил продемонстрировать, наконец, и благожелательность:

— Разумеется, вы там у себя в стортинге делаете много такого, о чем мы, непосвященные, и понятия не имеем; взять, например, хотя бы работу в комитетах, не говоря уже о вашей деятельности в комиссиях. Нет, правда, это здорово, что вы взялись перетряхнуть все отношения между матросами и судовладельцами; только вы уж не отступайтесь, идите до конца, выясните, каким образом эти хозяйчики богатеют! Глупые, необразованные люди, которым самое место за стойкой стоять! А туда же — курят дорогие сигары с золотыми ободками, пьют старинную мадеру из лучших погребов, нацепляют на жен и дочерей бриллиантовые кольца — от всего этого просто тошнит! Ого, черт возьми, да это, никак, почтмейстер? В таком случае, прошу меня извинить, я лучше пойду. А то он, пожалуй, снова начнет проповедовать свою любимую теорию о множестве существований человека. Ну скажите, разве может быть что-нибудь хуже такого недоумка? А как вам нравятся его рассуждения о том, что его предназначение в жизни — творить добро? Ха-ха! «Потомство» — высокопарно заявляет он и хвастается собственными детьми. Нет, правда, типичный идиот. Так что, надеюсь, вы меня извините, если я испарюсь. Что я, враг сам себе, чтобы его выслушивать? А-а, почтмейстер, добрый вечер! Все Бога ищите? А мы только что о вас говорили.

— Весьма признателен вам, любезные господа, за все хорошее, что было сказано о моей скромной персоне.

— А если мы говорили плохое?

— Не могу поверить. От вас, по крайней мере, я ничего такого не ожидаю.

— Вот как? Но ведь каждый, в том числе и я, считает непогрешимым лишь себя самого.

— Потому-то я и считаю, что дурного обо мне вы не можете сказать! — отвечал почтмейстер.

Несколько мгновений доктор обдумывал этот ответ, потом сказал:

— Ах, так вы считаете, что, хорошо отзываясь о вас, я тем самым доказываю собственную правоту?

— Вот именно. Причем не только обо мне, но и о всех людях вообще. Господин адвокат, рад снова приветствовать вас дома!

Доктор уже готов был попрощаться, однако что-то в мягкой отповеди почтмейстера заставило его задержаться и снова обнажить свое жало:

— Почтмейстер! Вы не созданы для того, чтобы жить в этом мире. Вы верите в добро и говорите: «А во что же еще прикажете верить?» А наша жизнь, напротив, прежде всего требует жесткой логики и чувства реальности, а не каких-то там сантиментов.

В спорах, подобных этому, почтмейстер всегда имел то неизменное преимущество, что предмет их был ему давно известен и его долгие размышления на этот счет давно уже успели выкристаллизоваться во вполне определенную точку зрения. Это придавало ему уверенности, он был готов к защите своих убеждений, время от времени был даже способен дать серьезный отпор. Ведь, кроме всего прочего, почтмейстер вовсе не был таким уж безобидным ягненком, подчас он мог довольно больно уку-ситься, скромно потупившись и при этом слегка улыбаясь. В долгие рассуждения он, тем не менее, не пускался, ограничиваясь лишь несколькими на первый взгляд вежливыми, но на самом деле не лишенными ядовитой ирони-ии словами.

— Я не знаю, чего требует наша жизнь,— сказал он.— Кроме того, важно вовсе не то, чего она сама требует, а то, что в действительности ей необходимо. Логика — вещь сама по себе довольно хрупкая, так что одной ее в мире не достаточно, нужно еще что-то. Что именно — не знаю. Однако одной логикой не обойтись.

— Почему же? А в науке?

— Вы так считаете?

— Разумеется! Науке чужды метафизика и разные предрассудки — вот ее логика.

Почтмейстер покачал головой:

— Ваша наука прыгает с копьём в руках вокруг метафизики, раз за разом бьет, колет ее и никак не может поразить. Да и может ли она причинить метафизике какой-либо вред? Нет. Поскольку эта фундаментальная жизненная сила вечна и неистребима. Все равно что пытаться поразить копьём море.

— Вы учились когда-нибудь в высшей народной школе? — неожиданно спросил доктор.

— Нет. Я — в отличие от вас — никогда не учился ни в какой «высшей» школе.

Этой колкости доктор уже стерпеть не мог; тон его стал грубым:

— А как раз не помешало бы. Тогда бы, глядишь, вы и не засели почтмейстером в этом великолепном городишке.

— Для вас, вероятно, он недостаточно велик?

— А для вас?

— Я всем доволен. Есть люди, которые, чего бы они ни достигли, никак не могут остановиться в своем стремлении к чему-то большему. В этом их главное заблуждение.

— Да, но поскольку мы говорим о науке...

Почтмейстер перебил его:

— Прошу покорно меня извинить, однако я, в отличие от вас, не причисляю себя к ученым, а потому не могу рассуждать с вами на научные темы.

— Вот в этом-то и кроется ваша основная ошибка,— не унимался доктор.— Научная истина бывает двух видов: само собой разумеющееся или же логически очевидное, а зачастую и то и другое вместе взятое. Чего нельзя сказать о метафизике.

— Но, господин доктор, я ведь вовсе не пытался вас убедить в том, что метафизика — наука, нет, она, скорее, вещь полностью противоположная.

— В таком случае, господин почтмейстер, она не что иное, как самая обыкновенная чепуха! Если не наука, тогда что же? Моисей и пророки — мир с ними со всеми?!

— Метафизика начинается там, где кончается наука. В этом ее суть.

— Наука нигде не кончается. Иногда, правда, она двигается на ощупь, не сразу всего достигает, но она всегда стремится вперед, все дальше и дальше вперед.

— Да, разумеется,— отвечал почтмейстер,— вы правы. Просто я неточно выразился. Я тоже хотел сказать, что метафизика начинается там, куда еще не дошла наука. В тех немногих, малюсеньких, мельчайших точках и областях, куда еще не проникло острие науки. Они очень тонки, эти области, не толще волоса. Что ж, можно сказать и так.

— Ах вот как, шутить изволите? Х-ха, ну да, вы же ведь и целую систему разных существований выдумали, чтобы попроще было объяснять тайну бытия. Она-то и освещает ваш путь.

— А что вы думаете?! — не смутился почтмейстер.— Иногда свет этот бывает неярким — не больше звездочек в ночи. Не фонарь, не солнце, не ясный дневной свет — а именно звездочки. А ведь это разные вещи.

— Но не лучше ли, в таком случае, пользоваться ярким светочем знаний там, куда наука уже дошла?

— Так я и делаю. Но там, куда он не может дойти, я обхожусь без него. И вновь наука остается где-то далеко — точнее, на волос — позади и безуспешно пытается понять, куда же я иду.

— Ну нет уж, извините, науке есть чем заниматься и без того, чтобы следить за вами! А вот в том, что она за вами не следует, заключается ее истинная мудрость — она желает иметь под ногами твердую почву.

— Почву, которая меняется с каждым последующим поколением.

— Так рассуждают лишь дураки или те, кто в этом ничего не смыслит. Возьмем, к примеру, математику. По-вашему, выходит, она тоже меняет свои основные постулаты?

— Не в качестве ответа, а, скорее, в качестве шутки: математике с самого начала приходится что-то «предполагать». Именно в свете моих звезд находит она ту переменную X , на которую в дальнейшем и опирается. Что ж, честь и хвала этому X , если взамен не находится ничего лучшего.

— То есть, короче говоря, математика никуда не годится?

— Вы так считаете? Нет, что вы, для тех, кого привлекает чистая и ясная работа ума, размышления ради самого процесса размышлений, математика дает многое. Математика стоит особняком и являет собой, несомненно, нечто самоценное. Но к нашей духовной жизни она не имеет никакого отношения.

Доктор воздел обе руки, как будто собираясь зажать ими уши, — произвольное движение, вызванное у него ощущением собственной беспомощности. И зачем он только ввязался в эту бесполезную, скучную перепалку, которая способна лишь утомить, полностью вымотать все силы! Уши он себе не заткнул, однако создалось такое впечатление, что вместо этого он сейчас с дикими воплями начнет прыгать и приплясывать на месте; в конце концов он все же проявил твердость и взял себя в руки, причем настолько, что даже ухитрился вежливо приподнять шляпу и довольно спокойным тоном сказать:

— Ну что ж, спасибо, с меня, пожалуй, довольно! А теперь мне нужно в сопровождении своей несчастной науки проследовать к больному. — И с этими словами он перешел на другую сторону улицы и скрылся в переулке.

Почтмейстер тоже собирался было откланяться, однако адвокат удержал его. Вместе они миновали лавку К. А. Юнсена и его консульскую контору,— адвокату нужен был кто-то, с кем бы он мог беседовать, проходя мимо этих окон. О, он прекрасно знал, что делает, выбирая для своей прогулки этот путь, он собирался также пройти и еще дальше — прямо мимо дома дважды консула к холмам, полюбоваться пейзажем. На то у него были свои причины.

Возвысив голос, как тогда, когда зачитывал в стортинге свой запрос, он сказал:

— Все, что вы говорили, почтмейстер, абсолютно верно, в данном вопросе все мои симпатии на вашей стороне. Однако все эти метафизика и духовность... Не кажется ли вам, что они могут сделать нас неспособными выжить в этом мире, затормозят нашу естественную жажду активной деятельности?

— Боже упаси, чтобы это выглядело как поучение, однако, раз уж вы спрашиваете, то давайте остановимся на этом немного поподробнее. Мы где-то в чем-то отступаем от нормы, чтобы потом незаконно присвоить себе различные выгоды, смиряем гордыню, чтобы впоследствии получить возможность беззастенчиво эксплуатировать ближнего. Как по-вашему, это скверно?

— Разумеется.

— Мы безжалостно оттираем соперника, чтобы преуспеть самому, и это называется конкуренция или что-то в этом роде. А что, если попытаться хоть немного поработать не на себя, а над собой?

— Но ведь именно эта работа над собой затрудняет нашу активную деятельность. Так мы никогда не преуспеем в окружающем нас мире.

— В мире — нет, зато мы возвысимся в жизни. Подумайте, что, если представить себе на минуту нашу жизнь не как какую-то жалкую сотню лет, прожитую единым махом! Мы приходим в мир на короткий миг, смотрим на него, удивляемся и уходим снова. И тем не менее, господин адвокат, если мы не стремимся поставить себя над другими, мы тем самым возвышаем себя.

— Мы оперируем различными понятиями и по-разному смотрим на вещи. Взять, к примеру, деятельность Наполеона. Он хотел выдвинуться в этом мире и возвысился, поставив себя над другими.

— Однако ни мир, ни себя самого он этим не осчастливил.

— Тут уж виновата судьба. Будь то он или кто-то другой — все мы в ее власти.

— Верно, мы любим сваливать все на судьбу и получаем тем самым превосходную возможность оправдать собственное поведение.

Да, почтмейстер разошелся вовсю, он даже, видимо, уже не замечал, что допускает бестактность, переходит на личности... Нет, этого адвокат не намерен терпеть, не для того он брал его с собой.

— Я хочу выйти за город полюбоваться пейзажем, — сухо сказал он. — Вы ведь, кажется, не собирались со мной так далеко?

— Нет-нет, — смешался почтмейстер и поспешно ретировался.

Адвокат Фредриксен облегченно вздохнул — все складывалось так, как он и рассчитывал; он взглянул на часы. Самое главное сейчас, что ему удалось отделаться от доктора; он знал о его натянутых отношениях с консулом Юнсеном и не хотел, чтобы их видели вместе. Все эти глупости о духовности, метафизике — чушь собачья! И что же, это должно мешать нашей жизни, из-за этого мы не должны стремиться выдвинуться? Вовсе он не собирался никого разорять, но и сам прозябать тоже не намерен. Вполне естественная, здоровая жажда деятельности. Перегибать палку, подступаться с ножом к горлу? Да ничего подобного! Старший приказчик консула Юнсена, Бернтсен, ждет сейчас, вероятно, домашнего обыска и допроса, однако он ошибается — ничего этого не будет, его хозяин-судовладелец может спать спокойно.

Нечего и думать, что теперь он будет в большей мере, чем раньше, стремиться причинить консулу Юнсену какие-либо неприятности. Нет, коготки-то у адвоката, разумеется, есть, однако пускать их в ход он вовсе не намерен; и если у него, как председателя парламентской комиссии, были на то свои гуманные соображения, то у адвоката Фредриксена, как частного лица, причины эти были чисто интимного свойства.

Он миновал дом дважды консула, большой дом с резным карнизом, балконом и верандой, с просторным садом, заросшим сиренью и жасмином; все здесь было так, как и положено в таком доме, — атмосфера богатства и культуры, фонтаны, бетонированные клумбы, красивые бабочки, флагшток на лужайке. Он вышел за черту города и пошагал по направлению к холмам — так и есть, Фиа, фрекен Фиа, утомившись за день от

трудов праведных, решила освежиться, совершив свою обычную вечернюю прогулку. Он не забыл ее и все еще не оставил своих намерений; да и смотрел он на нее как и прежде—как бедняк смотрит на миллион. Теперь, наверно, его виды на нее можно было считать более обоснованными: быть может, наконец-то теперь дама перестанет противиться собственному счастью и будет более расчетливой. Неужели же и сейчас ни она, ни ее семья не прониклись должным уважением к его стремительной карьере в стортинге?

Тут она заметила, что он идет следом за ней, и прибавила шагу.

Нет, видно, она по-прежнему оставалась все такой же нерасчетливой. Хотя, впрочем, у нее, вероятно, не было ни случая, ни причин учиться этому. Бог ее знает, что за человек.

Она пошла еще быстрее, однако он все же догнал ее—в этот розовый вечер во что бы то ни стало он должен добиться от нее решительного объяснения. Как же она торопится, как пытается ускользнуть! Она стремительно неслась вперед, туда, где мерцал изумительной красоты закат. Но и адвокат Фредриксен был не из тех, кто так просто сдается.

Наконец он, порядком запыхавшись, нагнал ее и поздоровался.

— Вы совсем загнали меня, фрекен Фиа,—шутливо сказал он.

Она была все такая же бледная и изящная, казалось, сама природа наградила ее всеми мыслимыми совершенствами. Как всегда нарядно одетая, изысканно-холодная, по-прежнему все та же графиня.

— Мне очень жаль,—сказала она.—Я не видела вас—задумалась. Я часто прихожу сюда, чтобы побыть одной.

— Разве можно гулять одной?—спросил он.—И о чем же вы здесь думаете?

— Обо всем этом!—отвечала она, широко разведя руками, как будто стараясь обнять ими весь этот мир, небо, море, воздух.—Как же здесь хорошо!—Она не могла понять, как этот человек—это животное—может стоять здесь, в таком месте, и не преисполниться блаженного чувства восхищения природой. Подумать только, ведь находятся же такие!

— Я только что вернулся из стортинга,—сказал он,—и хотел засвидетельствовать вам свое почтение.

— Весьма любезно с вашей стороны.

— Вы ведь, по-моему, тоже какое-то время здесь отсутствовали?

— Да, сейчас я вернулась, но скоро уезжаю опять. На этот раз — в Париж, — ответила она.

«Черт возьми!» — подумал он, чувствуя, что их снова, как и прежде, разделяет непреодолимая пропасть. Вслух же он сказал:

— Ну, разумеется, Нотр-Дам, Эйфелева башня, Ротшильд — во всем этом чувствуется истинное величие. Куда уж тут нам, простым адвокатам, хоть и депутатам стортинга. Хотя хочу вам заметить, фрекен Фиа, что и мы тоже можем кое-чего добиться в жизни.

Нет, определенно, умение вести светскую беседу было не самой сильной его стороной.

— Я имею в виду, что, поднимаясь ступенька за ступенькой, мы постепенно достигаем все более и более значительных постов. Ведь мы живем в демократическом обществе, где высокое положение не заказано никому.

В ответ — молчание. Не похоже было, чтобы любезную даму особо интересовали его шансы в будущем.

Тогда адвокат Фредриксен решил объяснить с ней напрямик. Он дал ей понять, что именно она для него значит — а для него она значит все, — и сказал, что если бы она могла подарить ему надежду, хотя бы чуть больше надежды, чем в прошлый раз...

— Нет, — прервала его дама.

Не ослышался ли он, не передумает ли она?

— Нет, — решительно повторила она и покачала головой. — О-о, вы лучше взгляните на этот закат. Какие краски! Как прекрасен мир, как красив он отсюда!

Однако он все еще не сдавался:

— Да, вид, разумеется, прекрасный, ну а как же все-таки с видами?

Она, очевидно не понимая, бросила на него удивленный взгляд.

— С моими видами на будущее?

Все это ей уже порядком надоело, она почувствовала, что начинает сердиться. Он что, не может поговорить о чем-нибудь другом? А она еще толковала с ним о красках! Неужели же в этом человеке нет и капли поэзии, культуры?

— Нет уж, извините, о вашем будущем я рекомендую поговорить с кем-нибудь другим, — сказала она.

Все это обрушилось на Оливера, безвинного Оливера, который никогда и не думал вставать на пути адвоката Фредриксена. Однако случилось так, что именно ему пришлось за все расплачиваться.

Он как раз ковылял со склада домой; адвокат догнал его и без лишних слов приступил к делу:

— А, Оливер! Я слышал, теперь у тебя есть постоянное место? Что ж, коли так, пришло время уплатить мне по закладной за дом.

Ничего не поделаешь, адвокат возвращался с прогулки, где он как раз проиграл одно дело— вот он и решил отыгаться на другом. Быть может, у него были причины сомневаться в нерушимости обещания, данного ему дочерью консула Ольсена? Или же появились какие-то сомнения в отношении приданого? Как бы там ни было, но настроен он был решительно, говорил коротко и ясно, как человек, пытающийся спасти хотя бы то немногое, что еще можно; в словах его не было ни тени каких-либо сомнений или неуверенности.

Как же он может расплатиться сейчас за дом, возразил Оливер, если его жалованья на складе едва хватает, чтобы сводить концы с концами?

— А мне какое дело?— настаивал адвокат.— Продай дом и отдай мне долг.

Куда ж тогда денется Оливер со всей своей семьей?

— Ну вот, опять!— взорвался адвокат.— Ты что, воображаешь, может быть, что я всю жизнь обязан кормить тебя? Сам подумай, ведь цена дома падает с каждым годом, он ветшает, гниет, ты же даже никак не удосужишься его покрасить.

— Как раз этим летом я и собирался...

— Ну уж нет, хватит. Где моя контора, ты знаешь,— так что дорогу найдете, ты или твоя жена...— И с этими словами адвокат ушел.

Ну конечно же, Оливер решил послать жену: однажды она уже улаживала это дело, следовательно, опыт у нее имеется. Кроме того, как раз теперь Петра выглядела особенно привлекательно, да и настроение у нее было отличное. К тому же совсем недавно он подарил ей красивое белье, так что сама она чувствовала себя уверенно, во всеоружии. Да и что тут предосудительного? Нет, конечно, пойдет она, причем прямо сегодня, сейчас же.

Оливер, правда, попытался возразить, что контора сейчас, вероятно, уже закрыта.

— Ну так что ж, пойду прямо домой,— отвечала Петра.

Оливеру не оставалось ничего другого, как только втайне удивляться этому ее порыву; он примирительно сказал:

— И не забудь напомнить ему, что никто не позволит обижать несчастного калеку!

Когда Петра ушла, Оливер выгрузил из карманов свежие булочки и сладости, которые принес себе и девочкам. Разницы между ними он уже не делал, делил все поровну, а иногда даже выходило, что голубоглазая — Синеглазка, как называли ее в семье,— получала немного больше сестры — ведь из двоих она была самой милой и послушной. Да уж, нечего сказать, хорошо, что с ней все так кончилось. Отец долго подозрительно вглядывался в голубоглазое личико, ожидая, когда же проявится лошадиный нос. Однако, к счастью, все обошлось. На радостях он стал уделять ей ничуть не меньше внимания, чем той, другой, с «семейными» карими глазами. Однажды он, правда, все же сильно поколотил Синеглазку — когда она бултыхнулась в воду с его собственного причала и чуть не утонула. Спеша на помощь, он, казалось, не ковылял, а прямо-таки летел, и костыль ему понадобился только тогда, когда он извлекал ее со дна. Когда девочка наконец открыла глаза, радость его сменилась мгновенной яростью. Он взревел, сжал кулак и несколько раз крепко ткнул им прямо в мокрую мордашку. Ни до, ни после этого случая он никогда не поднимал руку ни на кого из детей. Подзатыльники — это дело мамыши. Да, что-то, а ладить с малышами Оливер умел, и они в ответ платили ему искренней любовью.

И как же уютно им было втроем вот так сидеть и уписывать лакомства! Они чувствовали себя настоящими разбойниками, делящими добычу. Время от времени то один, то другой с притворным ужасом восклицали: «Тише, мать идет!» или «Спасайтесь! Бабушка!». Немного сладостей они отложили и спрятали — это братьям, студенту и кузнецу. Ну кто еще кроме их папы мог бы устроить такой пир?! Потом все сидели и слушали рассказы отца о его путешествиях в далеких морях; да уж, он вдоволь поколесил по свету, насмотрелся всего: видел людей, глотающих горящую паклю, собак, запряженных в молочные фургоны... «Вот это

да!» — слышались восхищенные возгласы. Ха, это еще что! Да если хотите знать, он повидал ничуть не меньше Авраама, Исаака и Иакова вместе взятых: и обезьян, и павлинов, и верблюдов, и дикарей с кольцами в носу, видел смерчи, огнедышащие горы, один раз даже пиратский корабль, трехмачтовый клиппер — на первой и третьей мачте паруса были подняты, — а однажды среди бела дня прямо на его глазах в кафе убили человека. «О Боже! — девочки даже вздрогнули от страха. — А на тебя самого никогда не нападали дурные люди?» — «Попробовали бы только», — сурово отвечал он. К несчастью, жестокая судьба безжалостно обошлась с ним — теперь он всего лишь немощный инвалид. Девочки хором жалели его. Так они и сидели — ни дать ни взять три кумушки.

Вдруг им показалось, что кто-то идет; Оливер поспешил убрать все со стола, в самый последний момент он схватил две недоеденные булочки, сунул их себе за щеки и так и застыл с набитым ртом и раздувшимися щеками. О, как комичны были его серьезное, напряженное лицо и набитый булочками рот! Однако все обошлось: тревога была ложной, никто не пришел, заговорщики были спасены. Девочек охватило безудержное веселье; они задавали отцу разные вопросы, щекотали и тормошили его, пытались заставить раскрыть рот, нажимали ему на щеки и хохотали, хохотали до икоты. Чтобы спастись от них и спокойно прожевать, Оливеру даже пришлось влезть ногами на стул. Ну сущие дети все трое.

Через некоторое время в комнату вошел Франк; после целого дня непрерывных занятий студент выглядел таким усталым и измотанным, как после хорошей попойки. Ужин и предложенную ему булочку он съел в полном молчании; память его, казалось, все еще продолжала по инерции свою работу, от которой ее только что отвлекли. Во всей его тощей фигуре, в бессильно упавших руках, торчащих из рукавов только что выданного в лавке нового костюма, было что-то жалкое и трогательное. Способный, талантливый? Да, но все же какой еще незрелый.

Оливер решил поговорить с ним по-отечески:

— Ты уж слишком усердствуешь в этих своих занятиях, Франк. Так недолго и надорваться. Уж если на то пошло, то ведь ты и так, насколько я понимаю, самый ученый человек в городе.

Франк по-прежнему молчал.

— Расскажи нам немного, о чем ты сегодня читал, чем занимался.

— Да вам все равно этого не понять.— Тем не менее он все же начал рассказывать, упрощая все до предела, чтобы они могли составить себе хоть какое-то представление о вербальных формах, о суффиксах, о диссимиляционных исключениях, как можно доходчивее он объяснил им, что такое род, падеж. Это были какие-то дикие речи, все, что распирало его бедную голову, выходило теперь через уста, облачившись в звук; все ученые фантазии, которыми он был обязан своим беспрестанным изнурительным занятиям и которые неотвязно преследовали его и ночью, и днем, зазвучали теперь как какая-то никому не понятная птичья трель. Он же сам говорил об этом с бережной любовью, как о величайшей драгоценности; когда девочки, повторяя за ним незнакомые слова, делали ошибку, он терпеливо поправлял их. Хрупкий и нескладный, сейчас он как будто вырос и увеличился в размерах; с уверенностью и задором первого ученика излагал он им свои завиральные теории. Никаких сомнений, никаких колебаний; он прекрасно сознает бремя, которое взвалил на себя, и это заставляет его уверенно стремиться только вперед; не может быть и речи, чтобы позволить себе роскошь расходовать свои силы и время на пустяки, всю жизнь свою он посвятил исключительно языкознанию, и он ни о чем не жалеет. Вот он идет по этой целине, по этой пустоши; быть может, все это глупо, бесцельно, ведь он не стремится к чему-то определенному, нет, он просто идет и идет — чтобы быть еще одним из тех, кто прокладывает путь в дикой пустыне. Это — дело его жизни, работа на все времена.

Он утомил уже своих слушателей, отец откровенно зевнул, хотя и не решился последовать примеру дочерей, которые встали и вышли из-за стола. При виде этого Франк умолк; он чувствовал себя задетым. Горько усмехнувшись, он покачал головой:

— Да, нечего сказать! А я-то сижу тут и пытаюсь их чему-то научить!

Девочки поспешили снова на свои места; отец попытался было за них вступиться:

— Они же все равно не могут понять — все это так глубокомысленно. Но так или иначе, готов поклясться, все это — самое удивительное из того, что мы когда-либо слышали. А уж я-то на своем веку много чего слышал, даже как негры разговаривают.

Однако — поздно, Франк был обижен, оскорблен в лучших чувствах. И почему, спрашивается, он должен все это терпеть? Нет, он уйдет сейчас же, немедленно!

— Ты куда, пройтись? — спросил отец.

— Да.

— А, ну-ну, давай. Что ж, спасибо тебе за рассказ. Ведь это ж надо, немецкие слова имеют род! Вот уж никогда бы не подумал — ведь немцев-то я слышал сотни раз. Но раз ты говоришь...

— У тебя у галстука что-то не так, — стремясь заглядеть свою вину, сказала Синеглазка.

Франк, тонкий лингвистический слух которого резали даже малейшие неточности, тут же ее поправил, указал, где ошибка, раскритиковал ее и принялся было подводить под это выражение правило, однако потом махнул рукой. Какой смысл тратить на них силы, если они с детства не учат родной язык как следует? В результате, он вышел, так и не поправив галстук.

И опять они остались втроем. Но и у них настроение было испорчено, шутки прекратились. Кареглазая сказала, что обижена на Франка. Отец стал его защищать.

— Да, но если он не хочет быть пастором, — настаивала она, — тогда зачем ему все это?

— Ладно, помолчи, болтаешь сама не знаешь что! Вон директор школы — он тоже не пастор, а какой образованный.

Вскоре домой вернулся Абель; он уже поужинал у кузнеца, так что теперь довольствовался всего лишь двумя конфетками. Чудак этот Абель; съев угощение, он достал из кармана какой-то сверток. Оказалось, он тоже принес домой разные лакомства. Что ж, Абель каждый день ел до отвала у кузнеца, а здесь, дома, с едой трудно: сестры, да, по правде сказать, и отец, не каждый день ложатся спать сытыми. Распаковав сверток и вынув из него два маленьких кулечка, Абель притворился сердитым и закричал, чтобы сладости никто не смел трогать — он купил их себе, так что и думать забудьте о них, он хочет полакомиться ими в постели. После чего сестры и отец тут же набросились на них и принялись уписывать за обе щеки.

— Ах вы, грабители! — загремел Абель.

— А больше у тебя ничего нет? — невинно спросила кареглазая.

— Сейчас я тебе покажу — больше! — продолжал играть свою роль брат.

— Ха-ха-ха!

Внезапно отец забеспокоился:

— А Франку?

Абель молча вынул из кармана две венские булочки, припрятанные им для брата, и показал ему.

Так они пировали и веселились. Мать с бабкой были не в счет: они и так пьют больше всех кофе, да и едой себя не обделяют, уж будьте уверены. Это он, Оливер, ввел в моду тайные кутежи; поначалу, когда дети были маленькие, все сводилось к тому, чтобы малышам доставались лучшие куски, потом он начал скрывать это от матери и жены; не рискуя баловать дочек открыто, он начал прятать лакомые кусочки, подкарауливал девочек в темном коридоре и украдкой пихал лакомство прямо им в рот, чтобы сразу можно было проглотить. Как же они были благодарны, как помнили каждую такую встречу украдкой, каждый из этих крохотных кусков! «Помнишь?» — «А ты-то, ты, помнишь?» — перебивали они в упоении друг друга. Нет, никого нет в мире лучше папы.

Они пировали.

— Да-да,— задумчиво сказал отец, поглядывая на Абеля,— когда-то, когда я был еще здоровый и сильный, и у меня были такие же ладони и запястья.

— Ну-ка, Абель, дай-ка взглянуть,— пискнула кареглазая и больно дернула за густые волосы, покрывающие мощную руку юноши. От неожиданной боли он даже вскрикнул и в шутку захныкал:

— Ну, папа, ну скажи ей!

Медленно тянется вечер, жизнь семьи идет своим чередом. За окном чужой непонятный мир. Кроме таких вечеров им больше ничего не надо. Да и чего ж им еще желать? После венских булочек щечки у Синеглазки покраснелись. Отец в окружении детей. С виду он просто толстый добряк; если ничего о нем не знаешь, то на первый взгляд он действительно кажется наивным толстяком. А какие у него детки! Что и говорить, сообразительные девчушки, весьма смышленные, нет, правда, чертовски толковые, головки у них здорово работают, у хитрюшек этаких. Да и с сыновьями все в порядке: Франк уже человек ученый, Абель почти совсем взрослый мужчина. Что ж может быть лучше? А если к тому же на столе сладости — так это и подавно райская жизнь!

Абель прошел в старую часть дома в комнату бабки, ночевал он там. Кроватью ему служила широкая

скамейка. Ну и ладно, все равно за день намаешься так, что спишь как убитый. Да, ему уже пора — утром рано вставать, чтобы поспеть в кузницу.

Некоторое время спустя девочки тоже утомонились, потом вернулся Франк и сразу же пошел к себе; Оливер остался за столом в одиночестве. Что-то Петры долго нет, интересно, что это она задерживается? Он зевнул, вынул из кармана зеркальце и посмотрелся в него. Когда Петра вернется, надо поинтересоваться, где это она шаталась — ведь уже столько времени прошло. Только бы не забыть.

Но когда Петра наконец пришла, она принесла с собой важную новость и, решительно пресекая возможные упреки, прямо с порога выпалила:

— Прибыл иностранный пароход.

Оливер — бывший матрос — тут же оживился:

— Где он?

— Подходит к пристани.

Забыв все, что хотел ей сказать, Оливер вскочил и заковылял к двери — надо посмотреть. Отсутствовал он довольно долго; вернувшись, сияя, явно гордый случаем продемонстрировать свою осведомленность, он торжественно объявил:

— Судя по флагу, это англичанин!

— Англичанин! — ахнула Петра.

— Люки у него как у зерновоза, так что, похоже, они пришли к Бакалейщику-Ольсену.

Стремясь польстить ему, с преувеличенным интересом она воскликнула:

— К Бакалейщику-Ольсену? Да как же ты узнал?

Он пренебрежительно хмыкнул:

— Что ж я, по-твоему, зря по свету поездил?

Пользуясь минутой, она, как бы невзначай, встала:

— Я немного задержалась у адвоката, но ведь мне же нужно было его уломать, верно?

— Угу. — Оливер рассеянно кивнул. — Ну, и что же он говорит?

— Да все ворчит.

— Вот кровопийца. Эх, будь я здоров! Так на чем все же вы с ним сошлись?

— Он вроде начал понемногу поддаваться — согласился подумать. Но одним разом тут, видно, не обойтись, — сказала Петра.

— Как это?

— Мне надо будет еще зайти к нему на будущей неделе,— небрежно бросила она.

Что ж, хоть какая-то отсрочка. Оливер заметил:

— Думаю, ты справишься. Найдешь, что сказать этой скотине.

И он снова вышел из дома. Сейчас все его мысли были заняты англичанином, сердце старого моряка стремилось туда, к пристани, где стояло судно; он хотел взглянуть на него вблизи, вдохнуть его запах, запах моря и дальних стран, услышать английскую речь, увидеть голых по пояс кочегаров, капитана на высоком, прямо под облака, командном мостике. Однако на набережной уже было полно любопытных, среди них он увидел Йоргена-Рыбака и конечно же Олауса-С-Луговины с неизменной трубкой в зубах.

— Хорошо, что пришел,— сказал Олаус.— По крайней мере, теперь будет кому перевести им, что мне нужен табак, а то я кричу, кричу, а они совершенно не понимают.

Оливер не имел ничего против того, чтобы его считали знатоком английского; как только на берег были спущены сходни, он сразу же вскарабкался на корабль. Но что поделаешь, старина Олаус конечно же снова был в своем репертуаре. Взглянув на отсыпанный ему матросом табак, он только криво ухмыльнулся, дескать, тоже мне, отсыпал, да тут и на одну набивку-то не хватит, а уж табак-то — тьфу! — плевым, видали мы и лучше. Эй, может, все же у кого-нибудь есть настоящий крепкий табачок? А где, кстати, ваш капитан?

Матрос, казалось, понял норвежские слова, а может, и так все прочел по недовольному лицу Олауса; он молча убрал свою пачку табака и отошел в сторону.

Оливер посмотрел ему вслед; в голове мелькнуло неясное воспоминание. Видел ли он где-то раньше этого иностранного моряка, или же тот просто напоминает ему кого-то? Может, он сталкивался с ним на улице в одном из портовых городов, где бывал, или же встречал его в конторе по найму матросов? Но где это было? Мир велик, а Оливер побывал чуть ли не во всех его уголках.

На своем почти забытом ломаном английском он заговорил с другим матросом и расспросил его, откуда идет корабль, к кому в городе прибыл; его интересовало все — ведь это напоминало ему о его прежней матросской жизни. Он выяснил грузоподъемность судна, численность

экипажа, возраст капитана, сколько времени они шли сюда с Балтики. А в ответ поведал, что сам он — старый моряк, начал плавать совсем еще салагой, а когда уже стал опытным матросом, с ним приключилось несчастье — на него упала бочка с ворванью, и он на всю жизнь остался калекой. Спустя какое-то время после этого, однажды, это было несколько лет назад, он спас потерпевшее крушение большое судно — практически в одиночку привел его к берегу, не так уж плохо для калеки, верно? О нем еще тогда в газетах написали. А теперь вот уже много лет он заведует складом у консула Юнсена, вон там, видишь? Он женат, и у них с женой четверо детей, один парень студент.

Олаусу-С-Луговины в конце концов надоело слушать эту их болтовню на непонятном языке, и он сошел обратно на берег. Англичанин был терпелив, между прочим, он оказался штурманом, вторым штурманом; он не важничал, не задира л нос, наоборот, казался своим парнем и даже проявил кое-какой интерес к забавному маленькому городку, в котором им предстояло разгрузаться. Оливер остался о нем самого высокого мнения.

Итак, когда он сошел на берег, его прямо-таки распирало от полученных сведений; собрав вокруг себя знакомых, он принялся им их пересказывать. Йорген-Рыбак был хорошим слушателем, уже пожилой, медлительный, он неподвижно стоял на месте и слушал, редко когда вставлял словечко, смотрел рассказчику прямо в рот, совсем, казалось, не помышляя никуда уходить, — да и куда ему было спешить? Во всей фигуре старого рыбака чувствовалась какая-то изможденность и покорность судьбе; за те полсотни лет, что он прожил с женой, она смогла-таки сломать его. Хорошо хоть пугливым не стал — но нет, для этого он был слишком уж солидным. Даже и теперь у жены его в руках все горело — она оставалась лучшей прачкой в городе, однако, как и раньше, характер у нее был отнюдь не сахар — с годами она становилась все более сварливой. Чего ей не удалось за это время, так это раскочегорить собственного мужа, он оставался все таким же медлительным, наивным, лишь стал еще чуточку более забитым. Бог его знает, почему, быть может, слишком уж много дочерей сидело у него по лавкам. А сын Эдеварт был в плавании.

Хотя прибывшее судно было самым обыкновенным зерновозом, Оливер расхваливал его на все лады, как если бы оно было его собственным: он исходил корабль

вдоль и поперек, заглянул во все уголки, капитанский салон весь обшит красным деревом, везде всякие украшения, позолота...

— Да ты ведь в салоне и не был,— прервал его хвастливые излияния Олаус.

— То есть как это так — не был?

— А вот так! Что ж ты думаешь, мы дураки тут, что ли? Ведь капитан-то на берегу,— запальчиво крикнул Олаус.

Оливеру пришлось сдаться:

— Но я проходил мимо него и все видел в иллюминатор, вот так-то. Да и вообще — заткнись, ты мне надоел.— С этими словами он повернулся к другим слушателям и продолжал:— Капитан, должно быть, человек богатый.

— Он что же, сам тебе это сказал? — не унимался Олаус.

Тут Оливер вспомнил, что он как-никак заведующий складом, и умолк — не пристало ему вступать в перепалку с человеком, чье положение было настолько ниже его собственного. Ну и что же такого, что он калека? Гордость-то у него в конце концов пока еще имеется.

Однако и у Олауса тоже была своя гордость. Он твердо стоял на своем, да и разве кто хоть раз видел, чтобы он отступил? Поэтому, когда Оливер с остальными покинули набережную, он не тронулся с места, причем только лишь для того, чтобы показать, что с ним этот номер не пройдет, уж он-то не пойдет ни у кого на поводу. Глупый, упрямый осел, вообще-то не вредный, однако жуткий ругатель. Отчаянный пьяница, он в то же время умел держаться с достоинством и ни у кого никогда ничего не клячил, если не считать табака. Вежливость не входила в число его достоинств — даже с самыми уважаемыми людьми в городе он не здоровался. Вот чего ему было не занимать, так это здоровья; с равным успехом он мог ночевать как под крышей, так и на улице.

Не шкипер, не доктор, не консул, не простой городской обыватель — он был настоящим портовым грузчиком, насквозь пропахшим запахом своей знаменитой трубки. Но в этой старой развалине сохранился какой-то стержень; этот-то стержень и делал его настоящим мужчиной.

У него тоже хватало причин винить судьбу, ведь и он был калекой: после происшедшего с ним несчастного

случая лицо его было изуродовано, вдобавок он потерял кисть руки. Однако, слава Богу, вторая-то рука была на месте, так что слез он не лил — вот еще, не хватало ему только нюни распускать, нет, все свои горести и печали он сносил не жалуясь и, попросту говоря, топил их в вине. Кроме всего прочего, он был большой оригинал: украсть что-то ему никогда и в голову не приходило — ему смело можно было поручать охрану товаров на пристани, однако при этом за свою работу он заламывал непомерно высокую плату, и уж коли представлялась такая возможность, то драл со своего нанимателя три шкуры. В то же время наглость его была, если можно так выразиться, вполне честной; он ее и не думал скрывать, никогда не действовал втихую, не прятался за других, выставляя себя таким, каким и был на самом деле — грубым, невозмутимым, в меру безответственным. В общем, это был обычный человек, в характере которого дурные качества прекрасно уживались с хорошими. Что?! Болтают, будто он ездил в соседний городишко с единственной целью подраться? Ну, разумеется, все верно, время от времени Олаус специально предпринимал эти маленькие турне, чтобы хорошенько заложить за воротник и как следует встряхнуться. Искалеченная рука его не слишком обременяла. Правда, держать он ею ничего не мог, однако таскать и поднимать тяжести можно было и с ней. Все же, по сравнению с безруким, быть одноруким — большое счастье. Да-да, именно счастье. Если есть одна рука — это еще не горе, считал Олаус. На Оливера, неуклюже ковыляющего по набережной, он уж во всяком случае имел все основания смотреть свысока — ведь у него-то ноги нет, вот уж действительно бедняга.

Оба калеки испытывали друг к другу неприязнь, но, как правило, выходило, что Олаус одерживал верх во всех стычках. Эти мелкие его успехи стали предметом постоянной тайной зависти Оливера, которая выражалась в нарочитой жалости к своему собрату по несчастью, — действительно, жаль его, ведь случившаяся беда превратила его в пьяницу и буяна; говорят даже, что он жену свою бьет.

— Да не бью я ее, — кричал Олаус, — это и было-то только раз, тогда, когда она начала путаться с другим. Ты бы лучше за своей женой присматривал.

В таких случаях жалость Оливера, казалось, прямо-таки перехлестывает через край; он замечал:

— А лицо-то тебе как изуродовало, бедняга! Хотя, конечно, по сравнению с рукой лицо не в счет. Жалко мне тебя все же, ведь ты же совсем беспомощный — даже нитку в иголку вдеть не можешь.

Да, действительно, вдеть нитку в иголку Олаус не мог. И в отличие от безбородого и как-то по-бабьи миловидного лица Оливера, его лицо, заросшее черной бородой, было жестким, костлявым и все в пятнах от взорвавшегося тогда пороха. Однако если его никто и никогда не решился бы назвать привлекательным, то похожая на детскую попку круглая и гладкая физиономия Оливера, с обвислыми толстыми щеками и влажным слюнявым ртом, была просто-напросто отталкивающей. При всем этом поистине лисья хитрость и природная сообразительность давали Оливеру решающее преимущество над заклятым соперником. Вот и сейчас, ковыляя в сгущающихся сумерках к дому, он внезапно набрел на прекрасную мысль: да ведь ему представляется великолепный случай сбыть гагачий пух — самая удобная возможность продать его на сторону, вывезти из города, да и вообще из страны!

Пух хранился у Оливера на чердаке — настоящий мертвый капитал; если его сбыть, то и для него самого, и для всей семьи выйдет только польза. Ведь, в противном случае, если его, не дай Бог, найдут, позора не оберешься. Хотя, конечно, как посмотреть, ведь он собирал этот пух в расщелинах прибрежных утесов по клочку чуть ли не полвека. Интересно, у кого даже из самых уважаемых людей города за это время грехов не накопилось? Да и потом, что сделано — то сделано: было воровство так было, и то, что теперь Оливер продаст пух, вместо того чтобы сгноить, вины не прибавит. Ведь, глядишь, и правда чего доброго испортится еще на чердаке!

Другие... А что — другие? Да они ничуть не лучше его, просто или у них на это энергии не хватает, или же не очень нужно. Желание-то есть, есть, да они прямо-таки сгорают от него. Ан нет, не решаются! И все потому, что, видите ли, честные они, порядочные... А сами потом локти себе кусают, что рискнуть побоялись. Вот так-то. А ему, Оливеру, что прикажете делать? Калека, да еще к тому же и семья большая. Он, пожалуй, тоже был бы честным и порядочным, будь у него такая возможность. А есть она? Всю жизнь, считай, просидел как гриб какой-то. Да еще и соблазны в каждом углу — ведь как-

никак складом заведует. Зимой там холод такой, что руки сводит, а летом от вони тресковой печени и ворвани прямо дух перехватывает. Да уж, запах тот еще; по утрам, когда дверь на склад открываешь, так в нос шибает, что аж назад отбрасывает. Так что нечего удивляться, что не такая уж он невинная овечка, да и характер тоже не сахар. И всегда, что бы он ни делал, подобные темные, мрачные мысли точили его, не давали покоя. Удивительно еще, как это он до сих пор не убил дважды консула и не разграбил его склад?

Но нет, на такую откровенную глупость он не пойдет, что он, совсем рехнулся, что ли? Гораздо более широкие возможности сулили маленькие хитрости при взвешивании и отмеривании товара, однако это тоже — в зависимости от покупателя. Да и эти таинственные воскресные походы на лодке — они тоже давали кое-что; домой он возвращался поздно ночью и всегда притаскивал с собой то одно, то другое. И, как правило, за пазухой у него всегда был этот пух. За все годы его скопилось много — целая куча, полный мешок, а если распушить, так и вообще всю комнату, пожалуй, займет. И вот — английское судно. Прекрасный случай продать его.

Оливер не спешил; практичный ум подсказывал ему, что тут надо действовать осторожно. Как бы в шутку он спросил своего ученого сына Франка, как по-английски будет «гагачий пух»; тот полистал словарь и быстро все нашел — да что там, для него это были пустяки, минутное дело! Вечером, покончив с делами на складе, Оливер не торопясь направился к пристани, вышел на набережную и завел разговор с англичанами — закинул удочку. Он вскользь заметил, что у него есть *eider down* — так это, кажется, произносится?

— Вот как? — Штурман, второй штурман, заинтересовался. — *Eider down*? И сколько?

— Да так, немного, примерно на перину.

— А еще на одну перину не будет? — поинтересовался стоящий поблизости матрос.

— Что ж, может, и будет. — Он, Оливер, покупал его понемножку несколько лет. Да, он думает, на пару перин пуха наберется...

Разговор продолжался. Оливер сказал, что вообще-то не имеет права продавать пух, поскольку у него нет своего магазина, однако, если уж он им так нужен, он может принести немного товара сегодня ночью, чтобы они его оценили. На том и порешили.

Пух оказался отличным, прекрасным, прямо-таки бесподобным: пущенная по ветру пушинка сразу же взвилась в облака. Лежать на перине из такого пуха — все равно что летать, парить в воздухе. Когда зашел разговор о цене и о том, как доставить товар, англичане торговались недолго. Они все считали в фунтах стерлингов, однако Оливер фунты брать не хотел — уж слишком это будет подозрительным, если у него вдруг окажутся английские деньги. Ол-райт, сказали они, предварительно посоветовавшись, он получит норвежские деньги, правда, уж тогда не сейчас, а в последний момент, перед самым отплытием. Но пусть не волнуется, все будет по-честному!

Оливер — старый моряк, душа нараспашку. Да и кроме того, господа ему сразу понравились, он им верил. Чуть попозже вечером он принесет им пух, и закончим на этом. А насчет расплаты никто и не волнуется, джентльмены!

Они уговаривали его не стесняться и быть как дома, наперебой угощали всякими вкусными вещами — в общем, отнеслись к нему прямо как к родному, не то что матросы с «Фии» — те едва замечали калеку. Нет людей лучше англичан! Оливера дружески обнимали, разговаривали с ним, спрашивали и не придавали особо большого значения, если он, не зная английского слова, время от времени вставлял что-нибудь по-норвежски. «Make it out»¹, — говорили они. Они уже почти со всеми в городе познакомились — вот только почтмейстера никогда не видели. Он что же, все время так и сидит в своей конторе и стережет ценные отправления? Штурмана и матроса, казалось, интересуется все, даже такие мелочи, например, как то, что квартира почтмейстера расположена в одном здании с почтой. И о самом Оливере, о его делах они много говорили. А, так у него, стало быть, один сын — студент? Здорово! И жена у Оливера красивая, они знают — видели ее на набережной, — что ж, действительно, видная женщина. Почему бы ему как-нибудь не привести ее с собой сюда? Ведь не съедят же они ее, в самом деле?

Выпить они ему тоже предлагали, однако Оливер был не большой любитель этого, когда же заметили, что он с большим удовольствием налегает на еду, то умудрились подольститься к стюарду и выпросить у него кучу

¹ Не будем об этом (англ.).

всяких лакомств, часть которых дали Оливеру с собой. Ну что за люди!

Наконец наступил последний день разгрузки, и вечером Оливер принес на корабль остатки пуха. На судне он застал только одного знакомого матроса. Погода испортилась, дул сильный ветер, шел дождь. Капитан и первый штурман были приглашены на прощальный ужин к консулу Ольсену; второй штурман, сославшись на зубную боль, извинился и отправился, несмотря на погоду, прогуляться быстрым шагом по проселочной дороге — быть может, согревшись и пропотев, он тем самым уймёт боль. Вся остальная команда тоже была на берегу.

Все в порядке, сегодня вечером Оливер, как они и обещали, получит деньги, норвежские деньги; собственно говоря, второй штурман за ними и отправился.

Поскольку на судне они были одни, то и церемонии были недолгими. Матрос пригласил своего гостя в кубрик и угостил бифштексом с жареной картошкой. Ужин был потрясающим. Оливер почувствовал, как от сытости и наслаждения его охватывает мягкая блаженная истома. Внезапно взгляд его замер на одном из матросских сундуков; и снова ему показалось, что он никак не может вспомнить чего-то. Он перевел взгляд с сундука на сидевшего рядом матроса и едва сдержался, чтобы не крикнуть: «Адольф!»

— Как тебя зовут? — спросил он вместо этого.

— Ксандр, — ответил матрос.

Оливер немного помолчал.

— Странно, — наконец сказал он, — этот сундучок здорово смахивает на мой.

Когда матрос ответил, голос его звучал равнодушно:

— Вот как? Это не мой — кого-то из ребят, точно не помню.

— Не твой?

— Нет. Ну что ж, если ты поел, давай я уберу тарелку. Ладно, пойдем на палубу.

— Ну точь-в-точь мой старый сундучок. Такие же ручки, тоже зеленый, а вон, видишь, царапины? Это мы табак на нем резали...

— Хм.

— Так как, ты говоришь, тебя зовут?

— Ксандр. Пойдем наверх. Скоро уже, наверно, все вернутся.

Они поднялись на палубу. Шторм и дождь усилились, быстро темнело, погода была отвратительная. Они по-

стояли у борта, опершись на перила и вглядываясь в ночь, поговорили немного о погоде, сокрушенно качая головой. Все ясно, лоцман, по-видимому, остался на ночь в гостинице и хочет переждать непогоду.

Внезапно брезент, прикрывавший стоящие на пристани ящики, зашевелился и приподнялся с одной стороны. Из-под него высунулась чья-то голова; человек прислушивался. Это был Олаус-С-Луговины, который пристроился здесь на ночлег.

От сытной еды Оливер как будто захмелел; внезапно он снова спросил:

— Так откуда он у тебя?

Матрос не понял.

— Сундук. Я продал его одному парню, которого звали Адольф.

— Слушай, ведь я уже сказал тебе—это не мой сундук!

— Ах да, извини, не твой; но...

Матрос перебил его:

— Сейчас тебе уже пора, а завтра приходи—только, смотри, пораньше. Ночью мы не отойдем.

Время было около одиннадцати.

VI

Слегка сбитый с толку, Оливер отправился домой. Что же это такое с ним случилось, что сытный ужин и какой-то старый сундук внесли такую путаницу в мысли? А еще считает себя хитрее и умнее того, кто спит сейчас под брезентом!

По дороге домой он встретил несколько матросов с англичанина, возвращавшихся из гостиницы на борт судна; при виде этих веселых, довольных ребят к Оливеру вернулось прежнее приятное расположение духа.

Перед домом Бакалейщика-Ольсена стояли несколько человек с зонтами и фонарями—это прощались и расходились по домам гости консула. Дважды консула среди них не было, консул Хейберг тоже пренебрег этим приемом—они с Бакалейщиком-Ольсеном давно были не в ладах. Оливер увидел адвоката Фредриксена и услышал раскаты его громового голоса; в остальных он узнал двух англичан, капитана и штурмана, консула Давидсена, почтмейстера, городского инженера, начальника таможни. Вот такая у них была компания. Внезапно

ему пришло в голову, что не мешало бы подстраховаться,—речь шла о деньгах за пух. Поэтому, чтобы поточнее узнать о времени отплытия судна, он решил перехватить по дороге капитана и штурмана. Ну вот, слава Богу, и сообразительность вернулась.

— Доброй ночи! Доброй ночи!

Почтмейстер, охваченный благородным желанием услужить, за неимением зонтика настойчиво предлагал кому-нибудь воспользоваться его фонарем:

— Капитан, вам не нужно? Я живу тут совсем близко, так что могу одолжить.

— Нет, спасибо, весьма благодарен. Благослови вас Господь!

Господин Давидсен, которому было по дороге с почтмейстером, пригласил его под свой зонтик; почтмейстер освещал путь своим фонарем, однако так, что бóльшая часть света падала перед Давидсеном; из-за сильного ветра, мешавшего открыть рот, говорили они не много, да и то лишь о пустяках. Консул Давидсен, мелкий торговец, оказался человеком довольно-таки наблюдательным. Когда они остановились у дверей его дома, он, напустив на себя чрезвычайно таинственный вид, спросил:

— А вы заметили, как увлечен был сегодня адвокат?

— Увлечен?

— Я имею в виду, увлечен дамой,— как бишь ее? — дочь Ольсена, ну, той, старшей.

Нет, почтмейстер этого не заметил.

Кое о чем это говорит, считал Давидсен.

— Может быть, может быть. Приятные все же у консула Ольсена дочки, милые девушки, и та, что вышла за художника, и эта, вторая, тоже. Весьма приятные юные дамы. Однако ваши предположения кажутся мне лишены оснований. Она такая симпатичная девушка, молодая, а адвокат чуть не вдвое ее старше.

— Такое случилось и раньше.

— Несомненно. Все мы работаем, трудимся, женимся, выходим замуж, ссоримся, делаем глупости и рассчитываем на то, что умрем еще не скоро! Простите, вы что-то хотели сказать?

На самом деле консул Давидсен говорить ничего не собирался, однако, услышав последнюю сентенцию почтмейстера, испугался, как бы тот не пустился в свои обычные пространные рассуждения, и порывисто протянул ему свой зонтик:

— Нет-нет, ничего такого, я просто хотел предложить вам воспользоваться моим зонтиком и взять его домой.

Однако почтмейстер отклонил его любезное предложение:

— Благодарю вас, не стоит, здесь всего несколько шагов, а дома у меня есть свой. Да, так я вот что хочу сказать: в отличие от зайца в лесу и чайки над морем...

— Но адвокат думает только о приданом,— торопливо перебил его Давидсен.

Почтмейстер продолжал:

— О-о, мы, люди,— странные существа. Все что-то делаем, копошимся, ни днем, ни ночью нет нам покоя. Никогда не довольствуемся тем, чего достигли,— все нам хочется чего-то большего. Мы то воодушевляемся, то падаем духом с горних высот, полежим распластавшись, побарахтаемся, поднимаемся опять и снова падаем. А потом наступает день, когда мы умираем. Взять, к примеру, этого английского капитана, который во что бы то ни стало хочет сняться с якоря именно сегодня ночью, хоть погода для этого совсем и не подходящая. Но он обязательно хочет к семи утра завтрашнего дня поспеть в соседний городок в двенадцати милях отсюда и начать грузить лес, чтобы потом выйти с ним в Северное море,— или, другими словами, учитывая сказанное мною, начать новый подъем, новое восхождение. Снявшись с якоря сегодня ночью, он выиграет один день. Но что такое один день? Стоит ли ради этого лезть из кожи вон и так рисковать? Звери, птицы — и те привыкли спать по ночам.

— Так вы уверены, что не хотите взять зонтик?

— Нет, спасибо, да и дождь уже почти кончился. Да, ну что ж, не хочу дольше отнимать у вас время... Между прочим, этот англичанин, капитан, он говорил о Боге...

— Да, я слышал, он человек религиозный. Однако, господин почтмейстер, не пора ли нам обоим уже спать?

— Да, религиозный... Я не совсем понял его, ведь у англичан — своя собственная религиозная доктрина, справедливость которой они утверждают в мире чисто английскими методами. Один за другим они подчиняют себе разные народы, отнимают у них самостоятельность, по существу кастрируют их, делают толстыми, ленивыми и спокойными. А в один прекрасный день говорят им: «А

теперь, как учит Писание, поступим по справедливости!» И дают этим кастратам нечто, называемое ими самоуправлением.

— Да-да, разумеется, вы правы. Ну что ж, спокойной ночи, господин почтмейстер!

— Спокойной ночи! Вы уже уходите? И вот еще что. Вероятно, эти англичане думают, что Бог у них какой-то свой, особый, как, например, собственная денежная единица. Иначе как объяснить, что они непрерывно ведут захватнические войны в самых разных уголках земного шара и, побеждая в них, считают, что совершают полезное, благородное дело? При этом еще и пытаются на полном серьезе убедить в этом других. Если очередная такая гнусность увенчивается успехом, они возносят благодарения своему английскому Богу, и именно в этом смысле они религиозны. Самое странное, что они, англичане, твердо верят, что и все остальные также должны радоваться, глядя на содеянное ими, что именно теперь все люди облагодетельствованы, справедливость торжествует и созданы все условия, чтобы стать религиозными. В действительности же другие народы лишь удивляются, как после всего этого англичанам не совестно смотреть им в глаза — ведь имеют же они в конце концов право верить в своего собственного, неанглийского Бога, право ждать спасения именно от него. В газетах сейчас пишут, что пришел момент, когда человечество должно измениться, они даже выдвигают определенную программу: «Что же еще нам теперь остается, кроме как стать религиозными?» — заявляют они во всеуслышанье. А для того, чтобы измениться самим, надо изменить и все то, что было прежде, все должно стать другим — картины на стенах, книги на полках, проповеди в церквях, отношения между людьми, мебель, любовь, даже вера; короче говоря, должно измениться решительно все. Но почему? Потому что меняются сами англичане? Нет, уж кто-кто, а англичане не меняются никогда. Потому что вдруг стала другой сама природа человека? Но человеческая природа меняется крайне медленно, и чтобы ей стать иной, потребуется не один десяток поколений...

Подняв глаза, почтмейстер увидел, что его давно уже никто не слушает — Давидсен ушел. Он честно терпел, сколько мог, но наконец не выдержал и ретировался. Это был уже не первый раз, когда слушатель убегал от почтмейстера прямо посреди такой речи, — паства часто покидала своего пастыря. Ведь они предпочитают слушать

только те проповеди, которые им по вкусу. А почтмейстер — он проповедовал то, что им не по вкусу, тем самым противопоставляя себя всей пастве.

Опустив голову, он уныло поплелся домой; задняя дверь, как обычно, была не заперта; он вошел в нее и прошел в коридор. Внезапно у противоположной стены кто-то шевельнулся; почтмейстер поднял фонарь и увидел какого-то человека.

Незнакомец был явно не из этих мест; на вид ему можно было дать лет тридцать, нижнюю часть лица покрывала редкая черная бородка; на нем был непромокаемый дождевик, стянутый в талии, чтобы не расходился, узким кожаным ремешком.

Эта встреча, по-видимому, и для него была полной неожиданностью. Несколько секунд они остолбенело смотрели друг на друга; потом незнакомец перевел взгляд на висевший на стене зонтик, снова посмотрел на почтмейстера и опять на зонтик. Человек был явно смущен; весь вид его как бы говорил: «Ах, так вот он где, этот чертов зонтик! Совсем забыл, куда его повесил».

Не мог бы почтмейстер ему помочь? Но как? Почтмейстер и сам, казалось, в данный момент сильно нуждается в помощи; он стоял, тяжело привалившись к стене, машинально продолжая сжимать в высоко поднятой руке фонарь.

Незнакомец снял со стены зонтик и невнятно попытался что-то объяснить; голос его при этом звучал как-то необычно, странно. В чем дело, что он — пьян или не в себе? Говорил он по-английски, отдельные слова звучали вполне отчетливо, однако вместо связной речи получался какой-то сумбурный бред. Машинально пытаясь открыть зонтик, он сказал:

— Зубной врач! Да-да, именно. О Господи, когда же это все кончится?! Понимаете?

Почтмейстер, бледный как смерть, застыл, не в силах шевельнуться. Внезапно лицо его просветлело; он как будто хотел что-то сказать, однако, подумав, вероятно, понял, что ошибся; слова замерли у него на губах, так и не сорвавшись; он снова погрузился в оцепенение.

Может, он не знал языка? Но нет, ведь он весь вечер беседовал по-английски с капитаном и штурманом. Или, может, сказать ему было нечего? Как же, уж в чем, в чем, а в желании высказаться недостатка он не испытывал. Однако, когда незнакомец наконец, отчаявшись, двинулся к двери, он едва сумел выдать из себя:

— Пойдите!

— Зубной врач,— повторил человек,— дантист, понимаете? Я с ума схожу от боли! Разве это не здесь? Я же ясно видел табличку...

— У меня был сын...— будто в каком-то забытии продолжал шептать почтмейстер.

— Ну, во всяком случае, это не я,— отвечал незнакомец и снова попытался пройти к выходу.

— А вы, вы сами, откуда вы?

— Пропустите меня,— грозным голосом потребовал человек.

Опустив глаза, почтмейстер пробормотал:

— А зонтик? Он ваш? Вы его принесли?

Незнакомец, казалось, слегка смутился:

— Зонтик? А что?..

Вдруг почтмейстер вспомнил о двери, ведущей в контору. Ценные письма! Ведь это же самое главное! Дверь была не заперта и даже слегка приоткрыта. Почтмейстер опрометью бросился в контору; немного погодя оттуда донесся его стон.

Незнакомец поспешно вышел во двор, однако вдруг остановился, какое-то мгновение постоял, по-видимому размышляя, потом снова вернулся в дом, прошел в коридор и повесил зонтик на место. Сквозь приоткрытую дверь конторы он увидел почтмейстера. Тот сидел за столом, откинувшись в кресле, как бы в изнеможении. Рядом на конторке стоял зажженный фонарь.

Человек снова выскользнул на улицу и пустился бежать. Ветер и дождь все еще не унимались. По дороге он обогнал Оливера, возвращающегося с пристани; человек пробежал мимо, не останавливаясь. «Ого, да это же второй штурман,— подумал Оливер,— эх егохватило!»

— Эй, эй,— крикнул он ему вслед, собираясь напомнить о деньгах. Однако штурман продолжал бежать, как будто и не слышал его.

— Гм.— В душу Оливера понемногу начали закрадываться подозрения. Куда это он так торопится? И почему не к набережной, а от нее? Ведь если к приливу шторм немного уляжется и ветер поменяет направление, его судно снимется с якоря и выйдет в море. Неужели он этого не знает? Оливер еще раз попробовал окликнуть его, но все было напрасно. Тогда он пустился вприпрыжку по проселочной дороге, стремясь догнать второго

штурмана. При этом костыль его так и мелькал, а сам он двигался вперед громадными скачками. Да если понадобится, он любому скороходу может дать фору. А ведь сейчас речь шла о деньгах — его деньгах!

Через некоторое время он уже почти достиг бегущего; внезапно тот остановился и издал какой-то звук — по-видимому, это был условный сигнал. В этом месте широкая дорога заканчивалась и переходила в узкую тропинку, уходящую в лес и теряющуюся между деревьями. Тот, кому предназначался этот сигнал, вероятно, прятался где-то на опушке. Оливер услышал, что на сигнал отвечают. Едва ли это могло быть любовное свидание. Уж слишком погода неподходящая. Нет, тут, видимо, было что-то другое. Но что? Стараясь не шуметь, он доковылял до ближайших деревьев и притаился за ними.

От опушки отделились несколько теней; подойдя ко второму штурману, они молча обменялись с ним кивками. Все это было весьма странно, таинственно. Ветер дул в сторону Оливера, так что, если бы они заговорили, он бы услышал. Однако все было тихо — они или молчали, или же еле слышно шептались. Больше всего они походили на призраки: их неясные силуэты колебались в темноте, то поворачиваясь друг к другу, то отходя слегка в сторону; что-то они несомненно там делали, но все молча. Оливер чувствовал себя не в своей тарелке, надо уйти, ведь все это его не касается.

Время шло, было уже, вероятно, за полночь; начинался прилив; ветер понемногу стихал. Внезапно в странной компании произошло какое-то движение, тени заколебались и двинулись в направлении Оливера; он даже сумел различить тихие голоса. Оказалось, что кроме штурмана здесь были еще двое: какая-то женщина и мужчина с длинной бородой. Когда они были уже совсем близко, Оливер покинул свое укрытие и выбрался на дорогу. Кто-то из компании негромко вскрикнул. Второй штурман подался в сторону, как будто собираясь вновь пуститься бежать, однако тут Оливер заговорил с ним и спросил о деньгах.

— Пойдем со мной на корабль! — предложил штурман. Но потом, вероятно, передумал, сунул руку под свой дождевик, порылся там и вынул деньги — целую кучу бумажек; было темно, однако длиннородый зажег спичку и осветил их, чтобы Оливер смог убедиться, что все без обмана.

В этот момент со стороны берега прозвучали три коротких гудка — это английский пароход собирал своих людей. Второй штурман бегом бросился к пристани.

Удивительно, но в данный момент эти двое, стоящие рядом, занимали мысли Оливера куда больше, чем даже лежащие в руках деньги. Нет, конечно же, он и не думал терять головы — аккуратно сложил купюры и сунул их в карман, — но тут же повернулся к женщине и, назвав ее по имени, удивленно спросил:

— Ты что, гуляешь? И это в такой-то вечер?!

— Да, — отвечала она, явно смутившись.

Раньше, казалось, темнота придавала ей уверенности, однако теперь, когда ее лицо осветили спичкой, мужество покинуло ее — она беспомощно озиралась, и это «да» было явно вымученным.

Что же в конце концов все это значит? Оливер был верен себе. Мысли его заработали; ситуация как раз способствовала этому: ночная тьма, загадочная куча денег, которую прячут под плащом, таинственная встреча в уединенном месте и, наконец, женщина. Да, он узнал ее, это была она — дочь кузнеца Карлсена, вдова. Она вела хозяйство в отцовском доме. Никогда прежде Оливер не слышал о ней ничего дурного, однако, вероятно, она переняла кое-что от своей сестры и бродяги-брата. Да, бедняга Карлсен, не повезло ему с детьми. Но чем она здесь занимается?

— Я тебя узнал, — сказал Оливер.

Ответа на это не последовало. Если раньше Оливер и рассчитывал извлечь для себя какую-то выгоду, выпытав у нее подробности этого загадочного вечера, то теперь он был разочарован.

— Что ты тут делаешь? — все же решил попытаться он.

В разговор вмешался длиннородый:

— Мы с ней тут пели дуэтом. А ты-то сам что здесь забыл?

— Я? Ты же видел — я пришел за своими деньгами.

— Ах да, за деньгами. За гагачий пух, не так ли?

— Откуда ты знаешь?

— Оттуда.

Оливер снова повернулся к вдове:

— Кто это такой? Твой хахаль?

— А если и так? — тихо, но грозно сказал длиннородый и шагнул к нему.

Оливер отшатнулся:

— Я просто хотел узнать, откуда ты... Ведь я же тебя не знаю, или... Постой-ка! Я тебя знаю, а?

— Откуда я? Ну, скажем, примерно с тех твоих гагачьих базаров. А? Что? Ха-ха-ха!

Оливер понял, что ничего не добьется, и присмирел:

— Что ты? Какие такие базары. Ей-богу, я покупал этот пух понемногу целых двадцать лет. Скажешь тоже, «гагачьи базары»! Да куда мне, ты же видишь — я ка-лека.

Но длиннобородый, по-видимому, знал все точно или же притворялся, что знает. Как бы там ни было, но оправдания Оливера на него, казалось, не подействовали: он с равнодушным видом отвернулся и сказал, обращаясь к вдове:

— Все складывается как нельзя лучше! Смотри-ка, и дождь кончился. Он, верно, уже на судне!

— Да.

— Ведь не такие же они свиньи, чтобы его оставить. Нет, ей-богу, все прошло чертовски здорово! А если бы он еще и не пересчитывал эти деньги, то уж давно был бы на месте. Нет, подумать только, и пух, и деньги! Лучшего и желать не приходится! Ты что, замерзла?

— Нет.

— Так в чем же дело? Ты чего-то боишься? Зря! Он ушлый, мы остались — вот и все. Нет, ей-богу, он молодец!

— И ведь как раз сегодня, когда у него так болели зубы, — льстиво вставил Оливер, пытаюсь напомнить о своем присутствии.

Длиннобородый, по-прежнему не обращая на него никакого внимания, продолжал:

— Ну, нам-то, положим, пришлось-таки помучиться с этой погодкой, пока мы тут его ждали. Кстати, почему ты не взяла у него плащ? Ведь он же предлагал.

— Не хочу.

— Не хочешь? Да ведь он от чистого сердца.

— Не нужно мне от него ничего, — сказала она.

Какое-то время они помолчали. Потом вдруг незнакомец рассмеялся:

— Что ты болтаешь? Ведь он же твой хахаль, что, скажешь, не так?

— Замолчи.

— Просто хотел сказать, что ж, теперь тебе и со своим парнем нельзя встретиться, что ли? Да и кроме того, с нас-то что взять? Мы просто шли и гуляли,

а тут — он нам навстречу. Что ж в этом такого?! Ну что, так и будем стоять посреди дороги?

— Ах, если б я только знала!.. — вздохнула она.

Тут неожиданно длиннородый выкинул забавный фортель: вынул из кармана губную гармонику и заиграл какой-то веселый мотивчик. Вероятно, он хотел немного подбодрить ее этим, а также показать, что сам он нисколько не боится, что в его появлении здесь, ночью, на дороге, нет ничего странного и предосудительного. Хотя, конечно, с другой стороны, момент он выбрал, прямо скажем, неподходящий. Но, как бы там ни было, он все же играл, — Оливер ясно слышал задорную мелодию. Снова пытаясь польстить незнакомцу, завоевать его доверие, Оливер воскликнул:

— Помилуй Господи, да как здорово-то! — И, повернувшись к вдове, добавил: — В свое время я весь мир объездил, но такой игры, клянусь, нигде не слышал.

Игравший остановился и взглянул на Оливера так, будто только сейчас вспомнил о его присутствии.

— А ты тут чего ждешь? — спросил он.

Сообразив, что расположения длиннородого ему так и не дожидаться, Оливер поспешно сказал:

— Нет-нет, ничего. Я и сам как раз уже собирался идти. Пойду взгляну, как они отчаливают.

Длиннородый вновь заиграл.

Однако оказалось, что, поступая столь необдуманно, он совершил большую ошибку. Игра его пробудила у Оливера определенные подозрения. Теперь, хорошенько подумав, он понял, что знает, кто этот человек. Еще с детства он помнил его игру. Кроме того, он не раз слышал легенды об этом бродяге-музыканте, непревзойденном виртуозе губной гармоники. Это был его земляк, сын кузнеца Карлсена, который успел побывать, вероятно, едва ли не на всех дорожных строительствах, которые велись в стране за последнее время. Что ему нужно? Вдобавок ко всему, с ним была сестра, а также, видимо, и брат, Адольф, — тот самый матрос с английского судна, чей сундучок он опознал. Нечего сказать — целая семейная банда. Какая досада, что Оливер не понял этого раньше, — вот бы выложить им все это прямо в лицо!

Всю дорогу домой он только об этом и думал. Нет, пожалуй, уж слишком их было много, Бог их знает, что бы случилось, свяжись он с ними! Кроме того, ведь второго-то штурмана он не знал, а он, вероятно, и есть

здесь главная персона. Да и потом, как бы там ни было, а своего Оливер добился: карман его туго набит деньгами — плата за его многолетние усердные поездки на гагачьи базары.

Он был уже почти возле дома, когда раздался длинный гудок — это англичанин отвалил от пристани.

Да, что и говорить, вечер выдался богатый приключениями. Сравнить его можно было разве что с тем памятным днем, когда он привел в родную гавань потерпевшую крушение шхуну. Оливер вошел в комнату. Вид у него был важный и значительный — что ж, сегодня право на него он заслужил честно. Он, Оливер, человек самостоятельный, работающий, котелок у него варит хоть куда. Он деньги принес, много денег, а кроме того, — но тс-с! — уж что он знает, то знает, тайна это. Однако дома его ждало разочарование — все уже спали. Петра — тоже. Нет, ему бы, разумеется, и в голову не пришло все ей рассказать — с ней он делился не больше чем с остальными; но в данный момент гордое чувство собственной осведомленности распирало его с такой силой, что он, может быть, и намекнул бы ей — так, самую малость. Пусть-ка голову себе поломает. Да-а. Но Петра спала. Устала, бедняга, ведь сегодня был как раз один из тех дней, по которым она ходила к адвокату Фредриксену на переговоры по поводу дома; она недавно вернулась и, судя по сладкому выражению, застывшему на лице, только что уснула.

Чтобы разбудить ее, Оливер нарочно уронил на пол свой костыль. Все еще преисполненный гордого сознания собственного величия, он сказал недовольным тоном:

— Гм, могла бы, кажется, что-нибудь горячее приготовить, когда человек приходит с важного дела, — я весь мокрый насквозь.

За столько лет совместной жизни Петра уже успела порядком устать от его вечного брюзжания и хвастовства по поводу всех этих «важных дел», поэтому, когда она ответила, в голосе ее слышалось едва сдерживаемое раздражение:

— Горячее? А к моему приходу кто-нибудь горячее приготовил?

— Ты ходила куда-то?

— А к адвокату, забыл?

— И когда только все это кончится! — сердито буркнул он.

Ответа не последовало.

— Не понимаю, о чем можно столько времени договариваться? Уже несколько недель прошло, а конца-края не видно. Черт подери! Ну ничего, теперь он у меня дождется! Когда-нибудь я засуну эти поганые деньги прямо ему в глотку! Что, не веришь? Твое дело. Но ты меня еще не знаешь. Я не такой дурак, как вы, может быть, думаете!

Ответа по-прежнему не было.

Да, видно, тут уж ничего не поделаешь. Однако Оливер решил все же попытаться еще, на этот раз более дружелюбно.

— Слушай, а англичанин-то ушел,— начал он.

Но Петра уже снова спала.

Торжественный момент был безнадежно испорчен. Вот и приходи к ним после этого с полным карманом!

Он стянул с себя мокрую одежду, отстегнул деревяшку и улегся рядом с женой—ни дать ни взять два острова, один подле другого. А что еще ему оставалось? У нее-то, небось, все в порядке, лежит себе спокойно, мерно посапывает—отдыхает в общем. В темноте он ее не видел, однако чувствовал тепло и исходящий от нее запах домашнего уюта. Засыпая, она позаботилась о том, чтобы ему тоже хватило места,—повернулась на бок. Оливер никак не мог уснуть, все думал о событиях минувшего вечера. За окном уже начало светать; когда солнце поднялось повыше, так что в комнате можно было уже все видеть не напрягаясь, он потянулся к одежде, достал деньги и, отвернувшись от Петры, тихонько пересчитал их.

Наутро он держался с видом оскорбленного достоинства и ни словом не намекнул Петре о том, что случилось вчера вечером. Ничего другого она и не заслуживает. Тоже мне, жена,—проспала такую возможность узнать интересные вещи. Однако, как оказалось, он тем самым не многого добился. Петра сама принесла потрясающее известие—в городе произошло неслыханное событие! Вернувшись от колодца, она не успела еще поставить ведра, как тут же единым махом выпалила, что сегодня ночью ограбили почту, а самого почтмейстера едва сумели разыскать далеко от почты, на другом конце города, сидящим на чьем-то крыльчке. Шляпы на нем не было, да и вообще, видимо, он слегка тронулся.

В любое другое время Оливер бы моментально схватил свой костыль и поскакал в город, сейчас же чувство

досады на Петру за то, что вчера она испортила ему торжество, удержало его. Ну нет, он и виду не подаст, что все эти рассказы, вся эта история с ограблением хоть как-то его интересует, наоборот, будет спокойно есть свой завтрак и не подумает ни о чем ее спрашивать—пусть-ка помучается хорошенько. Ну и злилась же она—с каждой минутой все больше и больше! Похоже, она тоже решила его проучить. Когда чашка его опустела, она и пальцем не пошевелила, чтобы налить еще кофе,—не барин, сам за собой поухаживает! Наконец она сказала:

— Ты что, за ночь онемел, что ли?

— Онемел?!—возмутился он.

— А-а, как хочешь,—твое дело.

— А о чем, собственно, мне говорить?—продолжал кипятиться он.—Чего тебе от меня надо?

— А то ты не слышал, что я сию минуту рассказывала!

— Ха, так ты об этом! Да если хочешь знать, мне известно гораздо больше, чем всем остальным!

Она вскинула на него удивленные глаза:

— Надеюсь, ты сам в этом не замешан?

Вот это действительно здорово: быть невинным, как младенец, и чтобы в то же время тебя подозревали! Он с многозначительным видом откашлялся и сказал:

— Ты бы хоть язык попридержала, что ли.

— Ну вот, уже и спросить нельзя! Да я ничего такого и не думаю вовсе.

— Сказано же—попридержи язык!—теперь уже рывкнул он, подымаясь со стула.

Как ни обидно было Петре, что он не оценил эту ее великую, можно даже сказать, колоссальную новость, все же она, заметив, что костыль находится теперь в пределах досягаемости его руки, сочла за лучшее молча ретироваться; сердито дернув головой, она пошла в комнату бабки, чтобы хоть ей поведать о происшествии.

Покончив с завтраком, Оливер вышел из дома. Поскольку все в городе были заняты исключительно обсуждением событий последних нескольких часов, на складе не было ни одного покупателя, и у Оливера появилась прекрасная возможность еще раз все хорошенько обдумать. Нет, это просто счастье—перст Божий,—что ему вчера так и не удалось ничего рассказать. Ведь Петра, пожалуй, для пущей важности разболтала бы все до единого слова и тем самым и его втянула бы в дело об

ограблении. А это привело бы к тому, что, несмотря на полную его невиновность, были бы поставлены под удар и полученные им за пух деньги. Теперь с ними надо было обращаться с величайшей осторожностью: поначалу никаких крупных трат, никаких обнов, нарядов, украшений, да уж, видимо, розовый галстук с витрины галантерейной лавки не скоро украсит его шею.

Оливер тщательно все продумал. Не было никаких сомнений, деньги у него в кармане — ворованные, но, Бог свидетель, он их не крал. Вероятно, если опросить детей кузнеца Карлсена, они смогли бы внести в это дело некоторую ясность, однако у Оливера и в мыслях не было доносить на них, этого еще не хватало! Ведь тогда все обстоятельства говорили бы против него самого: Абель был у кузнеца в учениках, дочь Карлсена, вдова, когда-то жила у него в доме. Нет, отцовские чувства Оливера не допускали, чтобы он своими руками навлек беду на младшего сына. Да и кроме того, неизвестно, а вдруг дети кузнеца окажутся вовсе непричастными? Ведь главным действующим лицом здесь, по-видимому, был второй штурман с этого иностранного судна, а кто его знает, кто он?

Да, точно, это они — второй штурман и Адольф, ну, тот, с сундучком, — это они — преступники! А еще говорили Оливеру, чтобы привел с собой жену — они, видите ли, ее не съедят! Счастье еще, что он не стал брать Петру в компанию к кому попало; нет, он, Оливер, не из тех, кто таскает с собой свою жену. Врожденное чувство приличия не обмануло его; если б не оно, жена, пожалуй, попала бы в самый настоящий разбойничий вертеп...

Весь городок жужжал, обсуждая сенсацию; в местной газете кто-то из мастеров печатного слова поместил пространную статью; Карлсен-Полицейский сновал взад-вперед, да и вообще с ног сбился, ведя расследование; от почтмейстера же так и не удалось добиться никаких вразумительных объяснений — он, казалось, впал в полнейшую протрацию и сидел с пришибленным видом, уставившись в пол. Единственное, что из него сумели поначалу вытянуть, это довольно расплывчатое описание человека, на которого он наткнулся в коридоре почты около полуночи: это был старик с длинной седой бородой и вроде бы в маске; говорил он по-английски. На более поздних допросах он изменил свои показания: незнакомец был, кажется, не старым, а напротив — молодым, так что ему, почтмейстеру, было бы не под силу с ним

справиться. Зонтика у него, видите ли, не было. Короче говоря, он нес всякую чепуху и только всех путал; похоже было, что он рехнулся или же его хватил удар; побывавший у него доктор констатировал размягчение мозгов и слабоумие. О Господи, и это у него-то, человека, которому раньше ничего не стоило рассчитать и начертить башню или даже целый дом с колоннами!

Да, город гудел. Излишне, видимо, говорить, что все сразу же бросились помогать в расследовании Карлсену-Полицейскому и другим городским властям; в первые дни все прочие дела были забыты и отложены, и люди посвятили себя исключительно этому занятию.

Таким образом, неудивительно, что среди всеобщей кутерьмы как-то потерялась другая новость, которая также, несомненно, заслуживала внимания, а именно, что консул К. А. Юнсен стал кавалером ордена Даннеброга. Но кто обратил внимание на эту выпавшую ему великую честь, кто говорил об этом? Пара скупых строчек в газете да случайные поздравления некоторых знакомых, кто был в курсе дела,— вот, пожалуй, и все. Тем понятнее, что супруга консула Юнсена пыталась всячески, как могла, раздуть сообщение о славной награде и даже телеграфировала это известие Шелдрупу в Новый Орлеан и Фии в Париж.

VII

В больших городах подчас бытует мнение, что для маленьких городишек Господь Бог просто не удосужился создать ничего, достойного внимания. Все это — досадное заблуждение; и здесь, как и во всем мире, случаются банкротства, ограбления, убийства и скандалы. Хоть городские газеты и не помещают ежедневной хроники подобных происшествий, однако самые точные новости о них разносятся от колодцев с молниеносной быстротой и проникают во все, даже самые отдаленные, уголки. Так и в этом прибрежном городке на следующее утро спозаранку не осталось, пожалуй, ни одного человека, кто не знал бы об ограблении почты. А если, паче чаяния, и нашелся бы кто, еще не знавший новости, то это наверняка был бы Бакалейщик-Ольсен — ведь он привык вставать поздно и завтракать в постели.

Обитатели маленьких городков, не испытывая недостатка в самих сенсациях, не могут также пожаловаться

и на их однообразии: происшествия случаются самые разные, на любой вкус. Возьмем, к примеру, пресловутое ограбление почты — событие, которое обсуждали до хрипоты. Хотя прошло уже немало времени, оно, казалось, по-прежнему не утрачивало волнующий ореол новизны. Одним из тех, кто дольше всех поддерживал интерес к нему местного общества, был доктор — ведь в какой-то степени он считал это чуть ли не личной своей победой над злополучным почтмейстером. Однако в конце концов и данная тема всем наскучила.

Чем же все, спрашивается, кончилось? Да практически ничем; дело не сдвинулось с мертвой точки. То ли молодой человек, то ли старик, говорящий по-английски, то ли в маске, то ли без, одно только точно — зонтика у него не было... Найти этого предполагаемого преступника не представлялось возможным. Вдогонку английскому судну были посланы телеграммы, однако оно уже загрузилось и покинуло Норвегию, взяв курс на родной порт. Телеграммы были посланы и туда, и по прибытии судна действительно состоялось что-то вроде судебного разбирательства, которое, тем не менее, ни к чему не привело. Разумеется, настал день, когда выяснилось, что Адольф — это действительно Адольф, норвежский матрос, однако теперь он был женат, являлся английским подданным, служил на английском судне и находился под прочной защитой английского флага. Кроме того, как уже было сказано, капитан его судна был весьма религиозным человеком.

Второй штурман оказался на поверку также норвежцем, сыном того самого злополучного почтмейстера; он не был женат, но имел самые хорошие характеристики и поручительства о примерном образе жизни. Таким образом, все это снимало с него подозрения — да и как могло быть иначе, действительно, неужели же отец не узнал бы собственного сына, столкнувшись с ним лицом к лицу в узком коридоре? А кроме того, ведь тут тоже был замешан английский флаг: всему миру известно, что флаг Англии ни дня, ни минуты не стал бы защищать преступника. Между тем, и второй штурман, и Адольф были на английской службе у религиозного английского капитана. Так что какие же могут быть разговоры об их выдаче?

Почему же ни один из них даже не удосужился навестить родителей, когда корабль их стоял под разгрузкой в родном городке? Да, это был один из самых деликат-

ных вопросов во всей этой истории, однако, когда его им задали, они и здесь дали в высшей степени удовлетворительные объяснения: к несчастью, им до сих пор так и не удалось скопить сколько-нибудь значительных сумм, а являться к отцу, матери, братьям и сестрам и другим близким с пустыми руками им просто-напросто не хотелось. Что и говорить, причина уважительная. Впрочем, по словам второго штурмана, он — видит Бог — чуть не каждый вечер бывал на берегу и кружил в окрестностях родительского дома, заглядывал в окна, вздрагивал при звуке открывающейся двери, ломал руки, когда различал за шторой силуэт матери. Все это было весьма трогательно, даже судебные чиновники и те были тронуты, а это, поверьте, многое значит.

Что касается матроса Адольфа, то здесь выяснилась одна довольно своеобразная подробность: во время личного обыска, когда осматривали его вещи, предварительно попросив его раздеться, оказалось, что все его тело густо покрыто татуировкой, причем сюжеты отнюдь не самые пристойные. Впечатление создавалось самое неприятное; на вопросы, где он ее заполучил, он отвечал кратко: в Японии. И хотя это ни в коей мере не могло служить доказательством его причастности к ограблению почты, однако все же изрядно повредило Адольфу в глазах чиновников, ведущих дознание. Тело второго штурмана, напротив, было чистым и, можно даже сказать, красивым, таким образом с ним все обстояло гораздо лучше; в общем и целом же это пошло на пользу обоим подозреваемым.

Что ж, ничего не поделаешь, дело об ограблении почты надо было, вероятно, закрывать, да и не такой уж в общем-то большой куш удалось сорвать этому вору или вора́м: семь-восемь тысяч крон в ценных письмах. Так что если похититель орудовал не в одиночку, то при дележе добычи на долю каждого пришлось не много. Так и подмывало сказать: «Да подавитесь вы!»

Итак, следствие понемногу сходило на нет, Карлсен-Полицейский уже не проявлял к нему особого рвения, да это и не удивительно — расследование уже принесло известные неприятности сыну его брата, а тем самым и ему самому. Тем более, что и его собственное руководство не особо на него давило: ведь это же нелепо — затевать конфликт с Англией из-за таких пустяков; общественное же мнение в городе было целиком на стороне кузнеца Карлсена, которого во всей этой истории, вне всякого

сомнения, следовало лишь пожалеть. Такой человек, как он, действительно заслуживал лучших детей.

А что же почтмейстер? Несчастье так потрясло беднягу, что его было прямо не узнать,—теперь это было убитое горем сгорбленное существо с блуждающим взглядом и что-то непрерывно бормочущими трясущимися губами. Человек, превыше всего дороживший своей честью, он, вероятно, так и не смог вынести постигшего его позора и того ущерба, который был причинен выполнению его служебных обязанностей,—ведь ни о чем другом вроде бы он мог не беспокоиться после того, как было доказано, что сын его здесь ни при чем. Почтмейстер был объектом всеобщего сочувствия. Хоть и верно, что на протяжении всего пребывания в городке он только и знал, что надоедал здравомыслящим людям, отлавливая их прямо на улицах, своей навязчивой религиозностью и метафизическими рассуждениями, однако, принимая во внимание постигший его удар, люди были склонны вспоминать скорее о достоинствах, чем о недостатках этого несчастного. Разве не им был выполнен эскиз нового здания школы, этого великолепного здания с колоннами, на которое все приезжие обращали внимание еще задолго до того, как сойти с судна на берег, и воспоминания о котором оставались у них на всю жизнь? А теперь кто он? Жалкий, съжившийся человечек с померкшим рассудком. Да-а...

— Блаженное помешательство, разум абсолютно мертв,—безапелляционно заявил доктор.—В последнее время появились симптомы, полностью убеждающие меня в этом. Судите сами—глубоко запавшие глаза, чрезвычайная ранимость и возбудимость, достаточно малейшего пустяка, простого несогласия с чьей-либо стороны, чтобы довести его до слез. Я бы сказал, его вера доконала его.

В отличие от всех остальных, доктор не так легко забыл об ограблении почты; он по-прежнему считал, что денежки уплыли на английском судне. Действительно, что мешало второму штурману, прекрасно ориентировавшемуся с детства в знакомой обстановке, проникнуть в родительский дом и выкрасть ценные письма? «Потомство!»—любил повторять сам почтмейстер. Да это потомство на все способно! И Адольф—точно такой же «потомок», достаточно одного только взгляда на украшающую его тело мерзкую роспись, чтобы составить себе полное представление о его характере. Да уж, нечего

сказать, привалило этим двум отцам счастья с собственным потомством!

Доктор никак не мог унять своего торжества. Проходя по улицам городка, он сейчас, как никогда прежде, ощущал какую-то приятную легкость, непоколебимую уверенность в правильности своих жизненных воззрений. Довольно часто наносил он визиты почтмейстеру — этому осколку веры, религиозной развалине; бегло осмотрев его, он уходил вполне удовлетворенный — не было никаких признаков того, что разум пациента когда-нибудь может вновь просветлеть, обрести прежнюю ясность; похоже, остаток своих дней он так и проведет в кромешной тьме. О чем, бишь, непрерывно твердил в свое время этот впавший в детство недоумок? *Мысль человеческая!* Мысль, которой нет конца, мысль человеческая, как светоч, который никогда не угаснет! В нем самом, во всяком случае, она уже угасла, оставив лишь обгорелый фитиль! Нет, человеку со столь слабой головой вредно думать самостоятельно; его дело — рисовать школы, церкви и заучивать катехизис.

Вроде бы особых причин задирать нос и ликовать у доктора не было, однако по-своему он был в высшей степени удовлетворен. А как же? Ведь это лишний раз подтверждало правильность его материалистических взглядов: тот факт, что почтмейстер стал идиотом, безмерно укрепил позиции доктора — все выглядело так, будто он давно уже предсказывал несчастье; никто теперь не мог тягаться с ним в смысле авторитета, суждения его стали непререкаемыми. Разумеется, когда он в очередной раз заявлял, что почтмейстера доконала вера, находился кто-нибудь, кто удивленно вскидывал брови: «Вера?» — «Ну да, суеверие!» — небрежно отвечал доктор. Как бы там ни было, а теперь в этом не оставалось никаких сомнений.

Однако о том, чтобы доктор чувствовал себя полностью счастливым человеком, не могло быть и речи; жизнь как была гнусной, так и оставалась. А если бы еще время от времени он не позволял себе маленького удовольствия поддразнивать людей, то она, пожалуй, была бы и вовсе невыносима. Вот, к примеру, сменил он постоянного торговца, у которого закупал припасы. Ну и что он от этого выиграл? Ну порвал он свои многолетние отношения с консулом Юнсенем и перешел в лавку к консулу Давидсену, причем, заметьте, вовсе без всякой задней мысли по отношению к последнему,

а наоборот, исключительно из желания поддержать его хиреющую торговлю. И что же из этого вышло? Вместо того, чтобы выразить ему свою признательность, Давидсен тоже начал присылать ему счета. Все они одинаковы, эти консулы, и Давидсен тоже не исключение. Да вдобавок еще с ним и поговорить-то толком невозможно — все время притворяется занятым, на вопросы не отвечает, зато постоянно усмехается чему-то, дьявол этакий, как будто издевается над тобой.

Нет, ей-богу, дважды консул был все же лучше, хотя тоже всего лишь торгаш да судовладелец.

Ходили слухи о забавной истории, вышедшей у него с Юнсенем, когда доктор приходил поздравить дважды консула с вручением ему ордена Даннеброга. Он прихватил в тот раз с собой аптекаря; оба держались весьма церемонно. В дом консула они вошли со стороны лавки, чего раньше никогда не делали, и велели приказчику передать свои визитные карточки; сами же тем временем, освободившись от шляп, галош и тростей, принялись тщательно приглаживать расческами бороды и шевелюры. Оба остались в перчатках.

Немного погодя в дверях появился консул; вид у него был слегка удивленный, в руках — визитные карточки гостей. Он шутливо осведомился, что угодно господам, быть может, они желают получить аудиенцию? Вместо ответа они чинно поклонились.

— В таком случае — прошу! — пригласил консул, пряча ироничную улыбку.

Но, видя, что, войдя в его кабинет и поздравляя его, они по-прежнему хранят все тот же торжественный и высокопарный вид, консул и сам решил, что, должно быть, это вполне в порядке вещей. Действительно, откуда ему знать?! Может, столь церемонные поздравления вполне соответствуют высокой чести посвящения в рыцарское достоинство. Конечно, он немного поломался, поотнекивался:

— Да что уж там, господа, не чинитесь, не стоит так торжественно!

Однако они упорно не желали менять взятый тон беседы.

Консул предложил им сигары; оба с поклоном взяли по одной, однако курить их так и не стали. Консул, стараясь быть любезным, заговорил об ограблении почты; на все, что бы он ни сказал, пришедшие господа отвечали вежливыми поклонами, будто каждое слово его

было полно глубочайшего смысла. Пока что все шло неплохо: консул Юнсен был изысканно любезен, да и кому, как не ему, самой значительной персоне в городе, знать правила хорошего тона. Вошел один из приказчиков и вручил консулу пачку адресованных ему писем; консул небрежно бросил их на бюро, так и не взглянув. Зашел и старший приказчик Бернтсен с каким-то вопросом; консул едва взглянул на него и кинул через плечо:

— Потом! Сейчас я занят!

Все это время оба посетителя сидели тихо, как мыши, изо всех сил стараясь, чтобы обстановка выглядела еще торжественнее. И когда дальше уже, пожалуй, было просто-напросто некуда, в докторе вдруг проснулся дремавший до поры бесенок: он решил доставить себе удовольствие привычным издевательским способом. Повернувшись к аптекарю, он сказал ему буквально несколько слов; разумеется, из уважения к новоиспеченному рыцарю говорил он весьма, весьма тихо. Он сказал:

— Нам, вероятно, стоило и башмаки оставить в прихожей!

Когда до консула дошел смысл сказанного, внутри у него как будто что-то оборвалось. Однако, отвечая доктору, он сдержался и ни на йоту не изменил выражения лица:

— По-видимому, господин доктор в этот момент подумал о своих носках!

Что ж, консул Юнсен оставался верен себе! Услышав колкий ответ, доктор поначалу смешался и не нашел ничего лучшего, как довольно неуклюже парировать:

— Вот именно, вот именно!— Но потом, вспыхнув, запальчиво прибавил:— И тем не менее, я заплатил вам и за эти носки, и за все остальное, что брал в вашей лавчонке.

— Неужели?— Консул изобразил на лице изумление.

— Я берегу все квитанции.

— Правда?— И поскольку доктор хранил оскорбленное молчание, консул продолжал:— Ну и что же? Я не понимаю, куда вы клоните.

— Никуда я не клоню,— огрызнулся доктор.— Я сказал только то, что хотел сказать.

В ответ на это консул, казалось, мог бы и промолчать, однако, чувствуя себя оскорбленным и осмеянным, он не удержался и довольно высокомерным тоном вставил еще одну шпильку:

— Не имею ни малейшего представления, что вы или кто другой покупают в моем магазине. Для этой цели у меня есть Бернтсен, сам я занят делами поважнее.

— Ну, разумеется, разумеется,— вставил аптекарь; он был явно испуган и хотел сгладить неловкость.

Но доктор лишь презрительно усмехнулся.

— Конечно!— воскликнул он.— Мы ведь такие важные, сидим в своем кабинете, у руля, если можно так выразиться! Не можем же мы, в самом деле, встать за прилавок и продавать мыло и наперстки!— Доктор с шумом втянул в себя воздух сквозь крепко стиснутые зубы и поежился, как если бы замерз,— он, несомненно, был просто взбешен!

Консул отвечал:

— Вот именно, вы абсолютно правы — я никогда лично не занимаюсь подобными мелочами.

— Ну да, разумеется, а как же иначе? Мы ведь такие важные!— взорвался доктор.— Господи, да к чему скромничать, вы ведь, сознайтесь, считаете себя великим человеком!

Аптекарь снова вмешался:

— Нет-нет, мы ничего такого... Простите, но у меня иное мнение. Да что на вас нашло, доктор, в самом-то деле?

Доктор начал подниматься:

— Знаете что, дражайший господин аптекарь, дражайший...

— Довольно! Дело в том, консул, что мы пришли к вам сегодня, чтобы... мы оба, доктор и я, мы, как ваши хорошие знакомые, считали, что имеем право немного подшутить над вами,— нет-нет, разумеется, нам и в голову не приходило сделать из вас посмешище... мы просто хотели немного пройтись по поводу вашего ордена и рыцарства, которому, конечно же, ни вы, ни мы не придаем особого значения. Может, это была и глупая затея, однако мы думали, что это будет забавно и мы вместе с вами посмеемся.

— И вы не ошиблись,— ответил консул.— Как вы, вероятно, заметили, я сразу же подхватил вашу шутку.

— Охота вам тут сидеть и объяснять ему то, что и так всем понятно!— продолжал бушевать доктор.— Удивляюсь я вам, аптекарь! Ну, ладно, пошли. Адье!

Аптекарь поднялся с места, однако не вышел сразу вслед за ним, а попытался еще раз в самых вежливых выражениях объяснить консулу весь инцидент. Он надеет-

ся, что это недоразумение не явится причиной разрыва дружеских связей между старыми добрыми знакомыми; доктор, разумеется, слишком далеко зашел, никто и не думал снимать башмаки, и потом, несомненно, регулировать движение пароходов из одного порта мира в другой — например, из Генуи в Цюрих, — ведь это такое трудное дело, что даже уму непостижимо, как это консул...

— Цюрих никогда не был портовым городом, — со сдержанной усмешкой заметил консул.

— Ах да, разумеется. Я ничего не смыслю в судоходстве, просто мне часто поступают пилюли из Цюриха. Так что же я хотел сказать? Ах да, ведь это, вероятно, необычайно сложно одновременно и управлять судами, бороздящими просторы океана, и руководить крупнейшим торговым центром города, я бы сказал даже, это просто титанический труд. Так что, в общем-то, быть может, нам с доктором и следовало в знак уважения к вам оставить обувь за дверью, однако, зная вас, я понимаю, что это пришлось бы вам не по вкусу. Доктор, несомненно, вел себя неправильно, даже, я бы сказал, глупо, но я очень надеюсь, что господин консул будет снисходителен к нам обоим!

— Да полноте, я уже забыл. Не хватало только, чтобы я действительно принял близко к сердцу болтовню этого лекаришки. Как будто у меня дел других нет. — Консул Юнсен был, как всегда, весьма любезен. — Так что не будем больше об этом.

— Наконец, что касается ордена — вы ведь первый в городе кавалер его, и никто не сможет отнять у вас этой великой чести. По-видимому, это награда за то, что вы тогда, лет двадцать назад, так прекрасно все устроили с потерпевшим крушение судном?

Консул усмехнулся:

— Ну, с тех пор я и еще кое-что сделал...

— Конечно, конечно! Массу важных дел! Взять, к примеру, ваши замечательные доклады и отчеты. Я думаю, что в самом скором времени ваши заслуги будут по достоинству оценены и правительством второй страны — Боливии, кажется?

— Что? Я вовсе не являюсь консулом Боливии.

— О, прошу прощения!

— Быть может, Ольсен или Хейберг — но во всяком случае не я. Хм, Боливия!

— Да-да. Но, поскольку вы дважды...

— ...консул? Ах, вот оно что.— Видя, что собеседник весьма смущен, консул Юнсен расхохотался.— Ну да, разумеется, я дважды консул. Ха-ха-ха! Но только не консул Боливии, ну нет, благодарю покорно, пусть уж лучше кто-то другой будет здесь консулом Боливии, ха-ха-ха!

— О, простите, я такой рассеянный,— еще больше, казалось, смутился аптекарь,— конечно же, я имел в виду Голландию. Но как бы там ни было, ваш рыцарский крест—это высокая честь, и не только для вас, но и для всего города. Мы все этим гордимся! Голландское правительство тоже, вероятно, скоро вас отметит.

— Вы так считаете? Не думаю, чтобы у них были на то какие-нибудь серьезные основания... Не угодно ли сигару на прощанье? Нет? Ну как хотите.

«Ну, вроде бы достаточно с них!»— вероятно, думал консул, проводив незадачливых посетителей. Он был, видимо, уверен, что доктор не сможет извлечь для себя никакой выгоды из этого глупого визита. Однако, видит Бог, сами господа придерживались, похоже, иного мнения на этот счет. Во всяком случае, выходя от консула, аптекарь хитро усмехнулся, а когда он рассказал поджидавшему его доктору подробности своего прощания с дважды консулом, они некоторое время потешались вместе. Нет, ей-богу, здорово— «управлять судами, бороздящими просторы океана»! Это он-то?— когда всем известно, что он в этом ничего не смыслит и что всем, касающимся торговых рейсов «Фии», руководит его сын Шелдруп.

Тем не менее доктор все же был не полностью удовлетворен. Он сказал:

— А ведь он, вероятно, так и не понял, что над ним издевались. Наверное, сидит себе сейчас и примеряет свой Даннеброг.

Аптекарь, напротив, считал, что консул все прекрасно понял.

— Понял? Да что он мог понять, тупица! А вы так прямо и сказали— «титанический труд»?

— Именно так— титанический.

— И про Боливию и Цюрих? И он при этом не вышвырнул вас вон?

— Видно, потребовалось время, чтобы до него дошло. Однако, мне кажется, под конец он все понял.

— Ничего подобного, уверяю вас. Вероятно, зря мы все это затеяли.

Расставшись с аптекарем, доктор направился к Бакалейщику-Ольсену. В последнее время он часто бывал у него, почти каждый день, и всегда — по делу. Стояло лето, и в доме гостил зять консула, художник, с супругой и ребенком. Ребенок был вполне здоровым, но дочь консула, как и все молодые матери, вечно всего боялась и посылала за доктором из-за каждой мелочи.

Доктор не имел ничего против этих визитов в дом Бакалейщика-Ольсена, можно сказать, он даже вошел во вкус — ведь это был довольно-таки весомый приработок. Атмосфера здесь, правда, не такая уж утонченная и изысканная, однако и недостатка ни в чем не ощущалось — хозяйство было поставлено на широкую ногу, никто ни в чем себе не отказывал, можно даже сказать, швырялись деньгами. В прихожей вечно валялись непарные дамские перчатки, стояли сломанные дорогие зонтики. Нельзя сказать, что в самом доме царил беспорядок, однако первые признаки неухоженности замечались во всем: в картинных рамах, коврах, обивке мебели, длинные шторы обвисли и нижние их края лежали на полу. Нет, скупостью здесь и не пахло, однако вся обстановка наводила на мысль о *selfmade*¹ состоянии, о недавно приобретенном капитале.

«Ну и что?» — думал доктор, потягивая дорогое вино и попыхивая хорошими сигарами; здесь, во всяком случае, обстановка самая сердечная, принимают его как гостя и во всем стараются угодить. Удобно устроившись на мягком диване, он раз за разом мысленно задавал себе этот вопрос: «Ну и что, что этот капитал приобретен недавно?» Деньги есть деньги, и иметь миллион — гораздо лучше, чем тысячу. Уж в этом-то доктор не сомневался. Вид у доктора и вообще-то был не слишком представительный, а в этой обстановке он и вовсе являл собой довольно жалкое зрелище: манишка издавала неприятный скрип, а манжеты приходилось все время прижимать мизинцем, иначе они сползали до самых пальцев.

— Сегодня с ребенком тоже все в порядке, — сказал он. — Просто у нее скоро появятся зубки, и она станет такая же красивая, как мамочка.

Молодая мать покраснела, заметно польщенная:

— О, спасибо, как это мило! А мы-то снова беспокоились. Самое забавное, что на этот раз больше всех переживала не я.

¹ Самостоятельно составленное (англ.).

— А кто? — удивился консул Ольсен.

— Ах, папа! Сознайся, ведь это ты больше всех испугался!

Консул слабо оправдывался:

— И вовсе не испугался, просто я подумал, что, наверно, можно что-то сделать, чтобы ей не было так больно. Знаете, доктор, а ведь ее назвали в мою честь.

— О, тогда все понятно, — улыбнулся доктор.

Здесь доктор чувствовал себя совсем другим человеком: здесь можно было расслабиться, не быть все время настороже, наподобие ошетинившегося ежа; во всяком случае, здесь его уважали. Держался он весьма дружелюбно, хотя, разумеется, с достоинством, испытывая от этого очевидное удовольствие; убежденный в собственном своем превосходстве, он ни в коей мере не пытался углубить пропасть, разделявшую его и этих людей. Здесь всегда царило хорошее настроение; доктор, отнюдь не избалованный этим дома, был вовсе не прочь сменить обстановку; здоровое веселье и атмосфера какой-то подетски чистой нравственности, душевного здоровья явно были ему по душе.

Дом постоянно был полон народа. Вот и сейчас вместе с зятем и его семьей приехал и другой художник, сын маляра; он был желанным гостем здесь, и хотя он не породнился с семьей консула, как его коллега, однако встречали его как близкого человека; на чердаке у него даже была своя комнатка с коврами и тяжелыми гардинами.

Случилось так, что как раз он-то, сын маляра, и решил написать портрет доктора.

— Зачем это вам? — искренне удивился доктор. — Сам я купить его не смогу, да и, пожалуй, никому другому вы его не продадите.

— Просто мне нравится ваше лицо, — ответил художник. — К черту деньги! — Он рассмеялся. Сын маляра был парнем неплохим, надежным, хозяином своего слова; он легко загорался какой-нибудь идеей и постоянно был в кого-то влюблен; лицо у него было простое, честное, руки же — большие, грубые — не нравились доктору, он частенько поглядывал на них со скрытой неприязнью.

— Что ж, рисуйте, коли вам так хочется! — сказал доктор, стараясь казаться безразличным.

— Благодарю. Однако мне бы хотелось изобразить вас в рабочем кабинете, окруженным разными пузырька-

ми с лекарствами и толстыми фолиантами, знаете, погруженным в науку, что ли?

Доктор даже поежился от удовольствия. Какой все же замечательный парень этот художник! Какое тонкое понимание души ученого, его труда! Предложение заметно польстило ему, на впалых щеках доктора появились красные пятна; пытаясь скрыть радость, он отхлебнул из своего бокала.

Нет, что и говорить, в доме Бакалейщика-Ольсена ему нравилось.

Поначалу ничего хорошего от этих своих посещений он не ждал. Об этом доме он был такого же мнения, как о домах Хенриксена-С-Верфи, Хейберга, Давидсена с его лавкой и Юнсена-С-Пристани. Теперь же, по крайней мере пока, он испытывал к нему самые теплые чувства. У него возникла одна идея: а что, если попытаться сделать консула Ольсена хозяином города вместо Юнсена-С-Пристани — посмотрим, как это придется Юнсену по вкусу! Добиться равновесия, равенства сил с обеих сторон, — ведь, кроме всего прочего, наличие двух враждующих партий сулило ему лично превосходную возможность управлять городком, играя на их противоречиях!

Быть может, это бы ему и удалось, не будь Ольсены такими добродушными рохлями. Нет, действительно, они оказались крайне несообразительными и абсолютно неспособными на какие-нибудь хитрости или интриги. Вот что касается товаров, денег или мебели, это да, в этом они знали толк, однако культуры в этом доме не хватало — ни тебе иллюстрированных журналов, ни тарелок, расписанных дочерьми. Слишком уж они были приземленными, эти Ольсены.

— Юнсена-С-Пристани уже возвели в рыцарское достоинство, — заметил доктор, — теперь ваша очередь!

Бакалейщик-Ольсен недоверчиво покачал головой:

— За что мне такая честь?

— Это не так уж невозможно — чуть-чуть больше поработать...

Консул Ольсен добродушно усмехнулся и ответил:

— Я состою на службе у такой страны, где нет орденов.

— Вот как? Послушайте, консул, а почему бы вам не завести себе загородную усадьбу?

— Усадьбу? Хм-м. Что ж, пожалуй.

— Вот именно! Кто сказал, что только один человек в городе может иметь усадьбу? Да и почему именно он? Уж если на то пошло, вы ведь богаче его.

Ольсен снова с улыбкой покачал головой:

— Ну, это уж вы преувеличиваете!

— Нет, вы только подумайте—загородная усадьба! И вы в экипаже, запряженном парой лошадей.

— Парой? Нет.

— Но что в этом такого? Ведь вы же можете себе это позволить.

— Разумеется.—Консул приосанился.—Но парой—нет уж, извините. Я и с одной-то, пожалуй, не управлюсь.

— Наймите кучера. Кстати, неплохая идея, клянусь Богом! Я всегда говорил, что вы человек, умеющий себя преподнести. Вы только представьте—кучер в ливрее с блестящими пуговицами и фуражке с золоченым кантом, а?!

— Нет, нет и еще раз нет! Да этот кучер сам будет потешаться надо мной до слез,—решительно запротестовал Бакалейщик-Ольсен.—Да и не привык я ездить в экипаже.

— Если хотите, поначалу я сам несколько раз проеду с вами,—великодушно предложил доктор.—Вы, фру Ольсен и я, не так ли, фру Ольсен?

Однако и фру Ольсен его не поддержала:

— Я? Господь с вами! Уж пусть лучше с вами едет докторша, возьмите ее...

Ну что тут поделаешь?!

VIII

Жизнь в городе вошла в привычную колею, лишь на беднягу почтмейстера продолжали сыпаться несчастья. Даже в инвалидной пенсии ему было отказано, семье пришлось перебраться в маленький домик напротив верфи, а в освободившуюся служебную квартиру в здании почты въехал новый почтмейстер.

Лето кончилось, и оба студента покинули город, чтобы вернуться к своим занятиям. Хотя они и не были закадычными друзьями, однако отплыли на одном пароходе. Закадычные друзья? Да и как они могли быть ими, когда Франк, усердно занимавшийся все каникулы, теперь, вероятно, намного опережал Рейнерта. Какие уж

тут добрые отношения?! Сколько же всего выучил Франк за эти недели! Да по нему это было и видно. Искусно вплетая в свою память все эти сложные языковые премудрости, он, казалось, не испытывал никаких особых трудностей, не зазубривал, а брал все старанием и терпением, не жалея тратить на учебу силы и время. Худой, без малейшего намека на лишний жирок, стоял он на палубе; на его желтоватом лице ясно читалась готовность в любую минуту вернуться к прерванным занятиям. К тому, что происходило вокруг него, он не проявлял особого интереса, ручной труд всегда был ему чужд, и за действиями матросов он следил с явным безразличием. К тому же эти кочегары всегда такие грязные. Франк ни за что не стал бы таскать и укладывать в трюме все эти бочки и ящики, нет, это ему вовсе не по душе. Вот открывая свои словари, он действительно становился обладателем изысканных, поистине божественных богатств — сокровищ языка. Какое же тут может быть сравнение? Изящество и легкость, присущие ученым занятиям, не свойственны физическому труду.

Вышло так, что именно здесь, на корабле, ему пришлось столкнуться со своим знакомым еще со школьной скамьи, Кнопкой. Прямо перед ним из машинного отделения вылез черный как негр полуодетый человек с лоснящимся от пота и угольной пыли лицом. Увидев Франка, он радостно улыбнулся и кивнул ему:

— Добрый день!

— Добрый день.— Франк был немного удивлен, однако, мгновение спустя, узнал «негра».— Так ты, значит, здесь работаешь?

— Ну да. А ты что, не знал?

— Нет,— рассеянно отвечал Франк.

— Я кочегар. А как у Абея дела — хорошо?

— У Абея? Да, вроде бы...

Кнопка пустился в школьные воспоминания: а помнишь? Да ты что, забыл? Он смеялся, обнажая при этом белоснежные зубы; казалось, его нисколько не заботит собственный чумазый вид и то, что он стоит на самом сквозняке. Франк уже пару раз порывался отойти куда-нибудь в сторону, однако Кнопка никак не реагировал. Наконец Франк не выдержал:

— Здесь что-то так дует!

— А как у тебя дома, как сестры?

— Все ничего, кажется...

— Ха-ха-ха, да ты как будто не из дома едешь! — рассмеялся Кнопка. — Так, говоришь, ты не знал, что я здесь? Вот это забавно! Сестры твои знают.

Франк возразил:

— У меня, знаешь ли, столько дел — мысли совсем не тем заняты.

— А помнишь, как мы с тобой стекло вышибли? Ну, тогда еще директор за нами погнался?

Франк ответил, с равнодушным видом глядя куда-то в сторону:

— Нет, не помню, ведь это все так давно было.

Кнопка, зная, что собеседник его — человек ученый, решил перевести разговор на то, что, очевидно, интересует его больше воспоминаний детства:

— Так ты сейчас в университете?

— Разумеется.

— Здорово! Ты, небось, теперь столько всего знаешь! Скоро станешь священником?

— Священником? — хмыкнул Франк. — Нет, не думаю!

— ?

— Я изучаю языки.

— А, иностранные? Ну что ж, это тоже не пустяки. Все языки знаешь, прямо как наш директор? А Рейнерт? Уж он-то, видно, будет священником?

— Нет... не знаю.

— Не знаешь?

Франк нехотя сказал, поддерживая разговор:

— Не знаю, кем он собирается стать.

— Сегодня утром я видел его, Рейнерта, тоже сидел на судно, он меня не узнал.

— Что ж, вполне возможно. Ты ведь весь вымазан углем.

— Да, но я же поздоровался с ним, — задумчиво сказал Кнопка и как бы невзначай подцепил лопатой угольную пыль из топки и высыпал ее за борт.

— Да ты что, ведь ветер! — отшатнулся Франк.

Что ж, Рейнерт действительно узнавал лишь тех, кого хотел узнать; даже Франку, своему коллеге, который к тому же, если на то пошло, был поученее его, он едва кивнул при встрече. Во время путешествия Франк лишь мельком видел его пару раз — Рейнерт плыл вторым классом, однако большую часть времени проводил в салоне первого. Франк же, путешествуя третьим классом, до самого конца плаванья никуда со своего места не

отлучался; суета эта ему претила — хватит и того, что в языках он преуспел гораздо больше.

В каникулы Рейнерт почти не занимался, а если что и делал по учебе, так только для того, чтобы хоть немного порадовать своего отца, звонаря. Ему и без того хватало дел. Да уж, кто-кто, а Рейнерт не терялся. Он полностью покори́л сердца Лидии-младшей и девчонок Хенриксена-С-Верфи; несмотря на свой юный возраст, он даже пользовался успехом у Хейберговой Алисы. Что и говорить, парень он был что надо — аккуратно завитые волосы, модный костюм... Да и манеры были такие, что он вполне мог сойти за взрослого. В глазах юных дам он даже затмевал помощника нотариуса, хотя тот уже давно вышел из студенческого возраста.

Франк, посиневший от холода, бродил по палубе, тщетно пытаясь отыскать укрытие от ветра. Корабль часто менял курс, и молодому человеку все время приходилось маневрировать. Нет, первое, что он сделает, приехав в Христианию, — купит себе пальто с меховым воротником.

Проходя мимо широко распахнутой двери курительного салона, он на мгновение остановился и заглянул внутрь. Кивнув в знак приветствия, он хотел уже было проследовать дальше, однако задержался — все сидевшие в салоне были ему знакомы. Одним из них был адвокат Фредриксен — важная фигура в их городе; собеседник его, Рейнерт, казалось бы, в этом смысле и в подметки ему не годился, однако болтали они вполне непринужденно, почти на равных. У адвоката в руках был маленький перламутровый ножичек, он чистил им ногти; оба курили.

Внутри Франк не вошел, но поскольку и его, по видимому, тоже узнали, уходить было уже поздно. Остановившись в дверях, он сказал, обращаясь к Рейнерту:

— Я встретил здесь Кнопку, он спрашивал о тебе.

Рейнерт не ответил; рассеянно моргнув несколько раз, он сделал вид, что пытается вспомнить, о ком идет речь.

— Он служит здесь кочегаром.

— Вот как? — равнодушно заметил Рейнерт.

— Кто это такой — Кнопка? — спросил адвокат Фредриксен, делая вид, что тоже не знает.

— Один из наших одноклассников, — небрежно бросил Рейнерт. — Да, так вот, я уже и сейчас предвкушаю удовольствие еще раз увидеть «Корневильские колокола».

— К сожалению, не видел.

— Клаусен там бесподобен. Все так считают.

— На театр и цирк у меня остается так мало времени,— пророкотал Фредриксен.— Знаете ли, вся эта работа в стортинге, а теперь я еще к тому же и председатель парламентской комиссии...

Франк понял, что здесь ему делать нечего, и отошел от двери. Найдя наконец на палубе укромный уголок, он примостился там, улыбаясь: да он знает больше, чем оба они вместе взятые. Вот хотя бы тот же Фредриксен. Ну что он может знать? Какие-то ошметки немецкого? Вот именно — ошметки!

Впрочем, что касается адвоката Фредриксена, то он нимало не страдал от этого. В конце концов, что такое язык? Просто одна из частей тела. То, что ему надо было, он знал прекрасно. Вот вернется он в свою комиссию, отдохнувший, и снова за работу — с того места, где закончил. Заседания комиссии — это вам не пустяки: даже в газетах наверняка появятся соответствующие сообщения, когда он вернется и работа возобновится; кстати, проезд и отпуск оплачивает ему казна. Снова по вечерам они с коллегами будут сидеть за тодди и длинными трубками. Престиж его неизмеримо вырос за последнее время; одна провинциальная газета даже упомянула его фамилию среди прочих предполагаемых кандидатов на пост министра: «Неужели же у нас нет достойных кандидатур? Взять хотя бы адвоката суда средней инстанции Фредриксена!» Что ж, его совсем не смущало, что теперь он на виду, он от этого только выигрывал — ну конечно, разумеется, выигрывал; все это открывало перед ним богатые перспективы. Он уже и теперь был человеком, который мог себе позволить во время беседы достать из кармана перочинный ножик и начать чистить ногти.

Вот так трое земляков — Франк, Рейнерт и адвокат — и плыли в Христианию. У каждого — своя цель, свои планы, свое будущее. В трюме корабля Кнопка подбрасывал в топку уголь.

Приморский городок остался далеко позади.

Отъезд каждого из них в той или иной степени имел определенное значение для жизни его обитателей. Что касается Франка, то с ним дело обстояло проще всего. Теперь, когда комната его опустела, бабке не надо было уже ходить на цыпочках в старой части дома, да и у плиты она могла вволю греметь своими кастрюлями. Это, конечно, было немаловажно. Комнатка брата автомати-

чески переходила теперь к Абелю, которому, в общем-то, по правде сказать, это было безразлично: ведь он не был ученым и пользовался комнатой только как спальней, а спать он мог везде.

Отъезд адвоката был сопряжен с более серьезными последствиями. Не то чтобы его отсутствие как-то негативно сказывалось на его практике, нет, дела были не ахти какие важные и вовсе не требовали его личного присутствия,— он вполне спокойно мог вести их посредством деловой переписки, не покидая своего депутатского кресла. Однако ведь теперь он был связан определенной предварительной договоренностью с фрекен Ольсен; теперь, когда голос его стих, ей, вероятно, будет его не хватать. Но тут уж ничего не поделаешь. Остается только ждать, причем не так уж и долго; одна провинциальная газета, поместив на своих страницах список готовящихся вступить в брак, в числе прочих упомянула и адвоката. Несомненно, фрекен Ольсен теперь недостает грузных шагов по лестнице, его самого, запыхавшегося от быстрой ходьбы, его морщинистой шеи, характерного быстрого взмаха руки: «Добрый вечер, добрый вечер!» Если она не забывчива, то помнит, вероятно, и полную окурков пепельницу, и все их непринужденные беседы, и своеобразную манеру одинаково деловито говорить и о любви, и о норвежской политике:

— К чему мы все по существу стремимся? К хорошей жизни, к чему ж еще? Подымаемся вверх по служебной лестнице, всеми способами пытаемся улучшить свое положение, вкусно едим, хорошо одеваемся, приумножаем доходы, становимся в конце концов состоятельными людьми, владельцами городских домов, кораблей в гаванях, загородных имений, хотим — живем спокойно, хотим — путешествуем по морю или посуху. Того, что нам не подобает, мы не делаем, за недостижимым не гонимся, оставляя это другим, имеющим к этому вкус. А потом — потом мы открываем свои собственные предприятия и можем дать работу людям; мы благотельствуем окружающим, протягиваем им руку помощи. Услышав о бездомной семье, мы можем пустить ее в один из принадлежащих нам домов — пожалуйста, живите, пользуйтесь! Узнав о несчастных случаях, мы оказываем посильную помощь пострадавшим. Нет, никто не вправе назвать нас бессердечными: вот, к примеру, дошли до нас известия о матросах, получивших увечья на своей опасной службе, и мы тут же вступаемся за их права

и добиваемся для них справедливости. Именно таким образом и достигается солидарность, именно так движемся мы по пути прогресса и демократии, так служим мы во славу нашего стяга и родины...

— Да,— кратко отвечает фрекен Ольсен.

— Вот я и говорю, так должно быть и так есть! Но когда делающий все это — одинок, ведь это плохо, очень плохо. Человек, и сам по себе, и в работе, нуждается в поддержке, в помощнике, не так ли, фрекен Ольсен?

— Еще сигару?

— Благодарю вас. Да, так вот, в помощнике, или, точнее, в помощнице. Она необходима по многим причинам: в доме должна быть хозяйка, которая заботилась бы об обстановке, делала бы всевозможные полезные приобретения. Далее, к примеру, кто-то приходит к мужу, а он занят, он работает, он на государственной службе; в таком случае место его занимает супруга, она принимает посетителя вместо мужа. Все ждут от нее ценной поддержки: и правление дома престарелых, и руководство лечебницы для душевнобольных; она не отказывает никому, ее фамилия значится первой на подписном листе. О, теперь уже она выступает в новом качестве; это одновременно и большая честь, и новые обязанности. Она просто не может от них уклониться. За ней следит все общество, к ней предъявляются самые высокие требования. Как вы думаете, фрекен, вы могли бы с этим справиться?

— Я?— со смехом переспрашивает фрекен Ольсен.— Вот уж не знаю. Что ж, вероятно, если потребуется, то смогу. А вы как думаете?

— Не сомневаюсь. Теперь только остается выяснить, хотели бы вы этого? Со времени первой нашей договоренности прошло уже несколько месяцев, у вас было достаточно времени обдумать все не один раз. Однако в данный момент я жду кое-каких решительных изменений в своем положении, поэтому я вас не тороплю, можете еще раз все взвесить.

В ответ фрекен Ольсен удивляется:

— Наша первая договоренность? Не понимаю, о чем это вы?

— Дорогая, я говорю о нашей предварительной договоренности. Помните, на свадьбе вашей сестры? Мне казалось, мы пришли к согласию...

— Да вроде бы мы ни о чем не спорили...

— Ну вот видите!

— Но ведь это вы о чем-то хотели договориться.

— Да-да, разумеется, не будем спорить, вы правы, в тот раз в основном говорил я. Я дал вам слово...

Да она просто ломается, приходит к заключению адвокат Фредриксен. Однако, на всякий случай, решает все же кое-что сказать, намекнуть на беспокоящие его обстоятельства. Действительно, все эти художники и прочие люди искусства, которыми кишит их дом! А вдруг они задурят ей голову, даже, хотя это и маловероятно, уведут у него девушку. Нет, намекнуть все же стоит.

— Итак, я делаю вам предложение и смиренно кладу его к вашим стопам. Хм. Кстати, а кто это поет там наверху?

— Художники. У них там мастерская.

Адвокат улыбается:

— А-а. эти мальчишки, беззаботные, знаете ли, пташки, чирикают себе, пачкают свои холсты! Впрочем, не знаю, как второй, а ваш зять — из образованной семьи; с его отцом мы учились в университете. Как у него идут дела? Ведь отступать ему некуда — он ничего больше толком делать не умеет, нигде не учился. О втором я ничего не могу сказать, но у вашего зятя, похоже, все еще в будущем... Что ж, будем надеяться, что все образуется; время от времени он сумеет продавать свои картины, да что там, я и сам, вероятно, когда-нибудь позволю себе купить у него кое-что, а выбор предоставлю сделать вам.

— Что?!

— Да-да, вот именно, — несколько свысока кивает господин Фредриксен. — Я куплю картину, а выбрать ее предстоит вам. Как вы на это смотрите?

— И вы мне доверите?

— Разумеется, я без колебаний доверил бы вам и гораздо более важные вещи. А что касается картин, то мы, пожалуй, купим даже не одну, а две. Да-да, именно так. Ну а теперь мне пора в Христианию — снова пришло время послужить отечеству. Итак, наша договоренность хоть и откладывается, но по-прежнему остается в силе. Я надеюсь, что по прошествии определенного времени мы сможем прийти к полному согласию...

Итак, снова предварительное соглашение. Верно, прежде желал этого главным образом сам адвокат! Что ж, если несколько месяцев назад он один испытывал радость, заключая его, то теперь он вполне был вправе надеяться, что и другая сторона разделяет его чувства.

Разумеется, фрекен Ольсен не станет дольше противиться; достаточно будет лишь чуть погодя спросить ее, выслушать ее мнение. Все шло как надо: конечно, будут здесь и еще кое-какие фокусы с ее стороны — без этого, видно, не обойтись, — но в конце концов они ведь ничего не значат — все кончится тем, что они купят эти картины для своей гостиной.

С этими мыслями адвокат Фредриксен и вступил на борт.

Однако и оставшаяся в городе фрекен Ольсен в этот момент тоже кое о чем думала. Обещала ли она на самом деле что-нибудь этому человеку? Да ничего, ровным счетом ничего. Ответила ли она ему определенным отказом? Есть женщины, которые никогда и никому не отказывают, — ведь даже о самом невероятном предложении иногда не грех подумать. Ни особой жадностью, ни хитростью фрекен Ольсен не отличалась; но в то же время ведь этот кандидат в мужья был всегда тут, под рукой, она могла держать его про запас, уж лучше он, чем вообще никто; годы-то идут, сестра уже замужем. Бог знает что случится, а будущее есть будущее, и в конце концов муж-министр — вовсе не худший вариант. Во всяком случае, здесь есть над чем подумать! Нет, жадность тут вовсе ни при чем, впрочем как и расчет. Она самая обыкновенная девушка, такая же, как все остальные, и все эти мысли вполне естественны. Никогда ни в чем у нее не было недостатка, так стоит ли тревожиться из-за какого-то там поклонника? Ей всего хватает, а понадобится — так будет у нее и муж-министр, если, конечно, он им когда-нибудь станет! Что тут такого странного, это и курице понятно.

Так что с тем, как фрекен Ольсен недоставало адвоката, все вроде бы тоже было ясно.

Был ли еще кто-либо особенно опечален его отъездом? Быть может, семья Оливера? Вот уж ничуть. Сам Оливер был более чем доволен тем, что его надоедливый кредитор снова покинул город, да и Петре уже порядком наскучило то и дело таскаться в дом адвоката. Наконец-то все эти ее переговоры закончены. Да и что, собственно говоря, могла она чувствовать к этому человеку, который только и знал, что мучил ее. Уж что угодно, только не симпатию, этого еще не хватало! Чего только не говорили о них у колодца: и волшебство, и чудо это, и безжалостная любовь, которая сжигает их обоих, как короткое замыкание. В действительности же просто адвокату при-

надлежала крыша над ее головой, и ходила Петра к нему только для переговоров как бы ее сохранить. Вот и все. Разумеется, ходить и разговаривать приходилось часто, и муж ее, Оливер, нет-нет и начинал ворчать, что это, похоже, никогда не кончится. А что до того, что приодевалась она к этим визитам, так что ж тут такого необычного, если она и меняла сорочку? Оливер и не знал ничего об этом. Да, есть у нее новые рубахи, и она совсем не прочь их иной раз надеть. Петра — замужняя женщина, и никакие попытки ухаживания с ней не пройдут. Когда-то, много лет назад, будучи еще совсем молодой, она не остановилась перед тем, чтобы вклеить Шелдрупу Юнсену пощечину просто за неосторожное слово, так что ж говорить теперь, когда у нее уже седые виски и почти взрослые дети!

Оснований для каких-либо подозрений у Оливера не было.

— А, так он, стало быть, уехал? — просто сказал он.

— Да, — отвечала Петра. — Как бы я хотела, чтобы он никогда не возвращался!

— Как так? Ты что, думаешь, он уехал навсегда?

— Не знаю, просто говорю, что была бы этому рада.

Оливер внимательно посмотрел на жену, стараясь понять, насколько искренне она говорит; она, в свою очередь, с гадливой гримасой сплюнула в сторону. Яснее выразить свое отвращение она не могла бы даже словами.

— Ну да, он, конечно, не ангел, — продолжал Оливер. — Однако где же ты видела других адвокатов?

— Учти, — не унималась Петра, — в следующий раз ты сам пойдешь к нему. Я даже и не подумаю!

Что уж тут могло быть яснее! Оливер, против ожидания, не вскипел, наоборот, он твердо сказал, что в следующий раз сам нанесет визит адвокату Фредриксену, да-да, — он даже кивнул в подтверждение, — краткий и решительный визит. Он собирается раз и навсегда покончить со всем этим; попомнит еще этот кровосос Оливера Андерсена, когда он выложит перед ним на стол кучу денег и потребует расписку. Калека, казалось, совсем забыл свою обычную трусоватость и с упоением разглагольствовал, как именно это будет выглядеть.

Как бы там ни было, но за последнее время Оливер действительно осмелел; сознание того, что теперь карманы у него набиты деньгами, вселяло в него какой-то внутренний подъем; характер снова стал исправляться.

В первые дни после ограбления почты он чувствовал себя довольно неуверенно; именно тогда он и попросил Петра пришить к его жилету внутренний карман. Петра сердито отмахнулась от этой очередной причуды. «Пришей, да смотри, попрочнее!» — повторил Оливер. «Ну да, как же, может, еще из парусины?!» — презрительно буркнула Петра. Так что пришлось Оливеру обращаться с этой просьбой к матери.

Теперь, когда тугая пачка ассигнаций была надежно спрятана во внутреннем кармане, Оливер полностью успокоился. Действительно, кому придет в голову обыскивать безобидного инвалида? Так что денежки за гагачий пух теперь его.

Досадно, конечно, что толком-то их нельзя потратить. Больше всего Оливеру хотелось бы сейчас зайти в какую-нибудь лавочку, потребовать ту или иную мелочь и, расплачиваясь, вытащить из кармана как бы невзначай всю свою наличность; однако это удовольствие ему заказано — привалившее богатство приходилось тратить крайне осторожно. Одно хорошо — почти все деньги были в мелких купюрах, и он мог себе позволить, выждав некоторое время, украдкой извлечь из кармана очередную бумажку и что-нибудь купить. Таким образом, он имел возможность теперь каждый день сосать леденцы, а также подкупать кое-что из одежды: например, новый галстук и стоячий воротничок; девочкам он купил нарядные туфли с бантиками на мысках. Траты эти были отнюдь не такими значительными, чтобы вызвать у кого-либо подозрения; несколько крупных купюр все еще так и лежали мертвым грузом во внутреннем кармане.

Таким образом, все складывалось как нельзя лучше; многого Оливеру не требовалось, и, удовлетворив свои мелкие нужды, он чувствовал себя полностью счастливым. Ведь жадным он никогда не был, если не считать пристрастия к сладостям. Петра же полная его противоположность — живой образец алчной и скупой жены. Вот здесь-то как раз Оливеру и пригодилось все его вновь обретенное прекраснородушие и рассудительность: он постоянно вынужден был прощать Петре ее ворчание и даже пробовал кротко увещевать ее. Черт ее поймет, в последнее время она стала как-то особенно упряма и несговорчива. И что на нее нашло? То то ей было не так, то это; ни еда, ни питье ей были не в радость. В последний раз он принес домой кофе — она заявила, что он воняет

тухлятиной,—и где это только он его взял?! Однажды в витрине лавки Давидсена она увидела головку швейцарского сыра — служи она по-прежнему у консула Юнсена, она бы наверняка каждый день его ела! В другой раз у парикмахера Холте она увидела кусок золотистого мыла — вот, наверно, хорошо пахнет!

Оливеру, сидя с деньгами во внутреннем кармане, ничего не стоило быть рассудительным:

— Нет, Петра, так дело не пойдет — нельзя стремиться купить все, что видишь. Вспомни-ка, сколько я получаю? То-то. Вот все и встало на свои места!

Но смирить строптивый нрав Петры было не так-то просто — она тут же начала браниться. Нисколько не смущаясь тем, что костыль по-прежнему был у Оливера под рукой, она принялась издеваться и над костылем, и над мужем: что это за жизнь — жить, разговаривать, спать с костылем, да она, пожалуй, и помрет — а постылый этот костыль все будет тут! С этими словами она сплюнула прямо на пол, а вид у нее при этом был такой, словно ее вот-вот стошнит.

Оливер — даром что калека — был все еще мужчина сильный. Он мог, к примеру, схватить топор и одним ударом разрубить стол, или же сломать печь, или сделать еще что-нибудь в этом роде ей в назидание, однако в данном случае он поступил и вовсе неожиданно: встал, вышел из дому и вскоре вернулся с сыром и куском мыла. Вот, пожалуйста! Ну, что вы на это скажете?! В первый момент Петра даже не поняла и замерла от изумления; потом разразилась слезами: не нужны ей эти вещи, не хочет она их! Вот ведь идиот — шуток не понимает, в долги, небось, влез! Сейчас же неси все обратно!

— Ну уж нет, хотела — получай, — отвечал он.

Хотела? Что ж, теперь и пошутить нельзя, что ли? Или она уже и слова не может сказать, так ей и молчать до самой смерти? Тьфу!

В другое бы время Оливер этого так не оставил. Подумать только — и на него плюет так же, как на этого адвокатишку! Но теперь он промолчал. О, это многое значит, коли уж у человека исправился характер! Оливеру удалось даже уговорить жену попробовать сыр. Что ж, она попробовала — и тут же выплюнула. Что это такое? Это совсем другой сыр, он вздумал шутки над нею шутить! Петра побледнела от негодования, а заметив, что девочки улыбаются, закатила и им скан-

дал. Потом она понюхала мыло и с отвращением зажала нос.

Ничем ей не угодишь!

Что ж, Оливер и девочки вовсе не прочь были оставить покупки себе.

Так и тянулись дни за днями, хватало в них и хорошего, и плохого; были тут и разные ссоры и мелкие счастливые события. Время от времени вечером Оливер выходил порыбачить в море, и потом в доме устраивались роскошные рыбные трапезы; иногда, разменяв очередную купюру, он покупал к кофе всевозможных пирожных и сладостей. Все шло совсем не плохо, семья жила, пожалуй, даже лучше, чем многие в городе. Действительно, сколько было таких, кто мог бы похвастаться постоянным местом, да еще и набитым деньгами внутренним карманом впридачу?

Вот кому действительно было плохо, так это несчастному почтмейстеру и его семье. Во время домашних визитов к пациенту доктор не усматривал в нем никаких намеков на улучшение; он неподвижно сидел там, куда его посадят, по-прежнему немой и согбенный, совсем как мертвый. Ничто не указывало на то, что он может про себя чему-либо радоваться, что он когда-либо улыбается или внутренне смеется в своем одиночестве, не похоже было, что он когда-нибудь еще сможет хлопнуть себя по коленям в приливе безудержного веселья. Нет, какое уж там веселье. Глядя на него, трудно было заподозрить даже, что он утешает себя своей прежней философией, что он сможет испытать когда-нибудь радость при взгляде на своих детей, достигших большего, чем он сам, на детей, которые — хвала Господу! — работают ради лучшей жизни в будущем своем существовании. Казалось, почтмейстер ни о чем не думает, ни к чему не стремится, ни во что больше не верит. Все эти годы он искал и наконец нашел свой путь — узкую тропинку, озаренную слабым светом; и вот он шел и шел по ней — вплоть до того самого момента, пока безжалостная судьба таким ужасным образом не оборвала этот его путь. Все его мысли и чаяния пошли прахом.

Его жена и дочери были женщины толковые и трудолюбивые, одна из дочерей скоро уже должна была начать работать в лавке консула Юнсена; сын его, крестьянин, как мог помогал семье, да и назначенная все же ему пенсия хоть и была мала, однако оказалась не такой уж мизерной, как это представлялось с самого начала,—

разумеется, несмотря на это, такому количеству взрослых людей на нее одну было бы просто не прожить. В действительности, все выглядело бы достаточно мрачно, если бы в дело не вмешался сын почтмейстера — бравый второй штурман, живущий в Англии. Узнав об ограблении почты и то, в каком плачевном состоянии находится теперь отец, он поступил как настоящий мужчина. Он прислал проникновенное письмо, в котором призвал родителей, братьев и сестер положиться в постигшем их испытании на волю Господа; здесь же он рассказывал, что и на его долю уже выпало немало невзгод в связи с этим делом; его допрашивали, он сам попал под подозрение, хотя, как выяснилось, он, разумеется, был кристально чист. Эти подозрения и предъявленные ему обвинения он уже простил всему миру. Правосудие, слава Богу, восторжествовало — в Англии всегда торжествует правосудие. В заключение он писал, что все это послужит городу хорошим уроком, заставит всех опомниться и задуматься, ибо подобное неслыханное событие касается интересов не только его самого и его семьи, но и всех городских обитателей. Короче говоря, хороший, религиозный человек. А какой сын! В письме он ни словом не упоминал самого важного для семьи вопроса, однако, тем не менее, сумел сделать нечто большее — единым махом решить его. Неизвестно, повысили ли ему жалование или же он неожиданно открыл в Англии новое месторождение угля, — но, как бы там ни было, он прислал домой целую кучу денег и обещал выслать еще. Да, поистине это было настоящим спасением для семьи; матери и сестрам его великодушный жест принес нежданное счастье. С этой новостью они поспешили к главе семьи, причем обставили все таким образом, чтобы это явилось для него чистой неожиданностью, надеясь, вероятно, расшевелить его дремлющее сознание и считая, что радостное известие сможет единым махом вернуть ему утраченный рассудок, — кто знает, а вдруг да получится! Но их постигло разочарование — из затеи ничего не вышло. Почтмейстер их выслушал, казалось даже, он добросовестно силится разобраться в том, что они тараторили, перебивая друг друга, но увы! — ума это ему нисколько не прибавило. Создалось даже такое впечатление, что он обо всем этом уже слышал раньше или же сам подозревал нечто подобное. Единственной заметной переменной в нем было то, что он слегка побледнел. Жена расплакалась.

— Ну вот, видите,—сказал доктор,—уж кто-кто, а ваш сын, второй штурман, и по давню не в состоянии излечить вашего мужа.

Почтмейстерша, обычно весьма молчаливая и сдержанная, была, по-видимому, уязвлена высокомерием доктора.

— Почему бы и нет?—спросила она.

— Почему бы и нет?—повторил доктор.— Да скорее я поверю в то, что нашему уважаемому почтмейстеру самому надоест наконец сидеть вот так и созерцать свой пуп!

Господи милостивый, и это в отношении семьи, на долю которой и так выпало столько невзгод! Тем не менее — что ж, окончательный диагноз был вполне в духе доктора.

Доктор отправился домой. В эти часы он обычно позировал художнику, поэтому сейчас на нем был самый его приличный костюм — старый сюртук и полосатые брюки, подаренные ему в день конфирмации Фии Юнсена. Казалось, с тех пор миновала уже целая вечность.

Он проходил мимо конторы дважды консула Юнсена, и поскольку, оказываясь вблизи этого здания, всегда бывал настороже, то сразу же обратил внимание на появившуюся на нем новую табличку: «Салон готового платья. Блузки. Трикотаж. Изготовление модных шляпок». Вероятно, ее повесили только сегодня ночью.

Доктор остановился, еще раз внимательнейшим образом перечитал надпись, потом оглянулся и, не найдя лучшего собеседника, кивнул проходящей девчужке, которая тотчас же присела в глубоком книксене.

— А, так у нашего рыцаря теперь новый девиз на щите!

Что ж, консул Юнсен действительно освободил пристройку к своей лавке, где у него годами пылились несколько печек и борон, которых никто не покупал, и открыл в ней салон готового платья. Вот и все.

Иронически улыбаясь, доктор двинулся дальше и, уже подходя к своему дому, увидел у дверей художника, который нетерпеливо поджидал его.

— У меня новость, молодой человек,—закричал он издалека,—потрясающая новость!—И приблизившись, начал захлеб рассказывать.

Просто так доктор ни за что не стал бы беседовать с каким-то там сыном маляра, однако здесь случай был особый — молодой человек был художником, следова-

тельно, не совсем уж незначительной персоной, а кроме того, хоть и был абсолютно, прямо-таки изумительно необразован, но обладал одним завидным свойством — умел слушать, когда к нему обращался человек мудрый и ученый. Таким образом, во время своих сеансов они перемыли косточки всему городу — от несчастного почтмейстера до Юнсена-С-Пристани и Бакалейщика-Ольсена, от Давидсена и Хейберга до адвоката Фредриксена и калеки Оливера — того самого, в доме которого засел целый кареглазый выводок. Художник узнал за это время много забавных подробностей о жизни городка. Доктор говорил остроумно и зло, не упуская ни единой возможности пройтись по чьему-либо поводу, однако иногда случалось, что, войдя в раж, он слишком спешил, и потому стрелы его, слегка подрагивая, вонзались рядом, не поражая мишени. Что ж, и доктор — человек, время от времени может ошибаться.

— Вы тут чужой, молодой человек, — любил говаривать он. — Имейте в виду, наш городок — это гнусная дыра, самое настоящее осиное гнездо, а без меня он и вовсе превратился бы в болото. Я хоть как-то пытаюсь оздоровить здешнюю атмосферу!

Вот так и проходили дни в кабинете провинциального врача: художник рисовал, а доктор болтал не умолкая. Обстановка в кабинете была не такая уж научная, несмотря на все пожелания художника, собиравшегося озаглавить свой будущий шедевр «Врач». Доктор сумел найти и разместить на столе лишь несколько книг и пробирок, здесь же красовался и большой стетоскоп; на стене висела таблица алфавита, которая предназначалась для проверки зрения и выписки очков нуждающимся в них, в углу примостилась банка с остатками сулемы. И это было все. Где же операционный стол, спросите вы, где стеклянные шкафчики с набором всевозможных инструментов? Даже те два стула, что стояли в кабинете врача, были самыми обычными венскими стульями. Ни тебе микроскопа, ни скелета, ни даже самого завалящего черепа на столе, который свидетельствовал бы о железных нервах хозяина кабинета, привыкшего иметь дело с мертвецами.

Ничего не поделаешь, приходилось рисовать доктора на этом фоне. Тем не менее обстановка во время сеансов, прерываемых лишь визитами того или иного пациента с нарывом на пальце или же молодухи со вздувшимся флюсом, крайне благоприятствовала работе. Доктор оказался великолепной моделью: вечно он был оживлен,

язвительно болтал о разных пустяках, кого-то яростно критиковал, лицо его все время меняло свое выражение, единственное, что было в нем неизменным, так это застывшая гримаса высокомерия и превосходства. О, как любил он просвещать молодого человека по поводу того, что за гнусная дыра и осиное гнездо — этот городишко!

Итак, столкнувшись с художником у двери собственного дома, он, даже не потрудившись пригласить собеседника и самому войти внутрь, сразу же начал пересказывать поразившую его новость:

— Оказывается, молодой человек, не только адвокат Фредриксен любит у нас соединять собственную выгоду со служением родине! А вспомните-ка, как он неистовствовал, какие громы и молнии метал! Ну вот, а теперь и Юнсен-С-Пристани открыл у себя торговлю готовым платьем. Конечно же, это дело рук старшего приказчика Бернтсена, я всегда говорил: этот человек далеко пойдет; ему надоело возиться с этими печками и боронами, которые вряд ли когда-нибудь удастся продать, и вот вам, пожалуйста,— модная лавка! Юнсену-С-Пристани уже не достаточно, что он торгует всеми этими хозяйственными мелочами, нет, теперь, видите ли, подавай ему другое — буду, мол, продавать наряды для служанок. Отдел готового платья! А кто, скажите на милость, будет в нем работать? Ах, ну да, ведь у бедняги-почтмейстера есть две дочери — вероятно, он возьмет к себе старшую. Что ж, повезло Юнсену, что почтмейстер оказался в таком положении и одной из дочерей придется поступить на службу. Плохого о ней я ничего не могу сказать — она всегда была приятной и приличной девушкой,— однако теперь ей придется покинуть свое уютное гнездышко у верфи и перебраться в эту модную лавчонку. Что с того, что она не умеет торговать? Ведь на многое-то ей все равно рассчитывать не приходится — Юнсен наверняка задешево ее купит. Да еще, пожалуй, и благодетелем будет выглядеть в ее глазах — как же, ведь он дал ей работу! Нет, молодой человек, я всегда говорил: городок наш — гнусная дыра...

Болтая в таком духе, он ни на секунду не закрывал рта. Художник не мог вставить ни слова. Наконец доктор опомнился:

— Ну, так что ж, пойдете рисовать!

— Как раз сегодняшний сеанс я хотел бы отменить,— смущенно сказал художник.

— Вот как, отменить? Ну что ж, согласен. Вы чем-то сегодня заняты?

— Да так, есть кое-какие дела.— Художник уклонился от прямого ответа.

— А-а, ну ладно. Тогда — всего хорошего!

Однако доктор проводил художника весьма недоверчивым взглядом. Что он там болтает о других делах, когда явился сюда, как обычно, со своим мольбертом? Да кто ему поверит, что он собирался еще куда-то!

И тем не менее у художника действительно имелись еще кое-какие дела. Супруга консула Юнсена просила его зайти и пририсовать к портрету ее мужа, выполненному им несколько лет назад, орден Даннеброга. Ох уж эти консулы и консульши из прибрежных городков! В маленьком послании, полученном художником, она писала: «Несомненно, портрет очень похож на оригинал, но Фиа, которая только что вернулась из Парижа, говорит, что для полной завершенности не мешает сделать еще пару мазков. Да и кроме того, даже Пастера изображают на портретах с орденом Почетного Легиона в петлице».

IX

Прошла осень, наступила зима; дни становились все короче и короче. Работать в кузнице было, можно даже сказать, уютно — все-таки, как-никак, крыша над головой, да и раскаленное докрасна железо излучало приятное тепло и мягкий свет; кроме того, в еде и питье в доме кузнеца недостатка не было — нет, уж кто-кто, а Абель устроился ничуть не хуже, если не лучше многих других. Во всяком случае, сам он придерживался именно такого мнения. По душе ему было и то, что работать можно было без всяких там теплых варежек и шапки. Единственная одежда, в которой он ходил в кузнице, был широкий кожаный фартук.

В последние месяцы сам мастер Карлсен сильно сдал; все чаще жаловался он, что силы уже не те, намекал, что хотел бы продать кузницу, рассуждал о смерти: что ж, на этот раз пронесло, что-то будет в следующий? — ну, да все мы смертны! Осень оказалась для него очень тяжелой — волосы поредели и стали совсем седыми, разум ослабел, если он о чем и думал теперь, так только о божественном; пока Абель работал, он сидел и отдыхал. Естественно, что история с ограблением почты не

прошла для него бесследно: его брат, Карлсен-Полицейский, не утерпел и рассказал ему о допросе Адольфа в Англии и о том, какая мерзкая татуировка была обнаружена у него на теле. Старый кузнец только и смог выдать из себя:

— Нет, не верю, это не наш Адольф!

Карлсен-Полицейский продолжал:

— И подумать только, все это время, пока судно грузилось, он был тут, рядом, и не удосужился даже зайти!

— Мне кажется,— отвечал кузнец,— он все же встретился с сестрой. Оба моих парня, когда бывают поблизости, видятся с ней. Я— другое дело, зачем я им нужен? Но с ней он увиделся бы наверняка, так что тут ты не прав!

— А, так, значит, он все же был у вас? — востропнулся полицейский.

— Нет,— упрямо повторил кузнец.

Да, все это было довольно странно, но с ним всегда так — не поймешь. Тем не менее само происшествие подействовало на кузнеца не так сильно, как на почтмейстера; человек он был простой, необразованный, привык к грубому ручному труду, и это сказывалось на характере — в истерики он никогда не впадал, умел держать себя в руках, твердо знал свое место. Хорошая это черта — знать свое место. Ведь без этого того и гляди станешь выскочкой, оторвешься от корней, а там — смотришь, и покотился... Да и кроме того, разве он, кузнец, не был отцом? Разве не знал он об Адольфе больше хорошего, чем плохого, разве не верил собственному сыну? Разве не бегал тот малышом по этой самой кузнице, не стучал молотком по разным железякам. Не он ли, отец, успокаивал его, плачущего карапуза, когда, расшалившись, тот ушибал себе пальчик? Да как ему не помнить всего этого? Конечно, Адольф из Англии — уже не тот прежний Адольф, и все же он еще так молод, да к тому же, видать, опять ушиб себе пальчик. «Нет на свете плохих людей, за исключением отпетых негодяев», — любил повторять кузнец. И тем не менее он давно уже отказался от надежды увидеть в кузнице сыновей в качестве своих преемников. Кому же он передаст дело?

Как-то раз он сказал Абелю:

— Через год ты будешь смыслить в нашем ремесле больше, чем я, когда начинал работать самостоятельно.

Что имел он в виду, говоря это? Ведь не простое же это признание заслуг ученика? Как бы там ни было, но эти слова запали Абелю в душу; мысли его сразу же обратились к Лидии-младшей и их будущему! Ну что за парень! Он по-прежнему оставался все таким же — прокопченный насквозь, простой, безыскусный, чуждый всякому лукавству, притворству; с годами он еще больше раздался в плечах, и хотя его волосатые руки и не отличались особым изяществом, однако в каждом движении чувствовалась заключенная в них огромная сила. Он сам выковал металлический рант для своих башмаков и поставил на них железные подковки; тому, кто разбирается в сапожном деле, хватило бы одного взгляда, чтобы признать в этой работе руку настоящего мастера.

Придя в тот вечер домой и повстречав отца, он посвятил его в ситуацию. Оливер — даром что все мысли его в последние недели были заняты лишь тем, что происходило дома, — сразу же отвлекся от своих раздумий и выслушал сына с величайшим вниманием.

— Вполне вероятно, он хочет сделать тебя своим преемником и уж во всяком случае собирается передать тебе управление кузницей! — сказал он.

— Хм, — неопределенно хмыкнул Абель.

— А что, по-моему, в этом нет ничего невозможного. Сам-то ты какого мнения?

— Не знаю.

Отец важно кивнул, как будто это могло считаться делом решенным, и подвел итог:

— Ничего иного и быть не может!

Дети по праву считали Оливера своим другом; со всеми сомнениями и печалью они шли именно к нему и находили в нем самое живое участие. Он как будто создан был для этой роли — отец, позволяющий своим детям развиваться самостоятельно. Взять, к примеру, Абею. Этот отъявленный сорванец намекнул однажды, что собирается жениться и жить своим домом. Что ж, верно, у него были на то свои резоны, ведь он так и заявил, что не видит ему счастья, пока он не женится на Лидии. Отец и не думал смеяться над ним, наоборот, благожелательно кивнул: в конце концов не так уж это и неразумно, да и кроме того, этого следовало ожидать. Ведь стоит только посмотреть на Абею — вон как вырос, раздался в плечах, скоро станет самостоятельным кузнецом, владельцем мастерской, так почему бы ему и не поступать, как он сам решил? Вот пусть только сначала

хорошенько еще раз все обдумает, позаботится о жилье, домашней утвари и прочем, а там, годика через два,— почему бы и нет? Да не волнуйся ты, пролетят они — не заметишь! Абель возразил, что два года — слишком большой срок, он не может ждать так долго.

— Ну ладно, ладно, убедил,— легко сдался отец.

Абель пояснил:

— Ведь в любое время этот Рейнерт снова может приехать на каникулы и оставить меня с носом.

— Рейнерт! — насмешливо протянул отец. Тон его отчасти успокоил Абеля.— Да ведь он совсем еще мальчишка — ему не больше восемнадцати!

Абель, которому только что исполнилось шестнадцать, быстро вставил:

— Мне же тоже не больше восемнадцати.

— Ну, с тобой случай особый. Ведь ты уже работаешь, а там, смотришь, вскорости станешь владельцем всей мастерской, вот только еще подучишься немного. Как говорится, сам себе работник, сам себе хозяин. Поэтому-то я и говорю: ничто так быстро не проходит, как какой-то там год или два! Сам подумай, вот женится человек, а сам он — даже не подручный каменщика. Ну куда это годится?! Нет, ты — совсем другое дело! — Разумеется, говорил это Оливер с тайной надеждой, что со временем мальчишка забудет свой дурацкий каприз.

Вот и сегодня он всячески пытался ободрить сына и даже подбирал для этого довольно-таки цветистые обороты: дескать, мастер Карлсен хочет возвысить Абеля, как некогда фараон — Иосифа.

— Вот что я тебе скажу, Абель,— продолжал он,— по моему мнению, ты так преуспел в деле, а кроме того, настолько прислушиваешься ко всем его советам, а также к слову Божьему, что ничего другого он не мог иметь в виду, говоря это.

Абель был с ним согласен.

— Нет, правда, ведь он же все свое имущество тебе передаст. Пойдем-ка поскорее домой и расскажем твоим сестрам эту великую новость. Один год — да что это такое, в конце концов, один год? Так, суцая безделица! Господь Бог и глазом не успеет моргнуть — и на тебе, год прошел. А коль скоро ты чем-то управляешь, то это уже, считай, все равно что твое собственное. Но учти, это огромная разница — хороший ты управляющий или плохой. Вот когда я, помнится, стал управляющим складом и пакгаузом у консула...

И он ударился в пространные напыщенные рассуждения. Закончил он их довольно неожиданно:

— Я всегда говорил — из вас, ребята, толк выйдет, из тебя и из Франка! А я тут как раз захватил пирожные — как кстати, будет с чем вечером нам кофе пить, — с довольным видом прибавил он. — Ведь сегодня суббота — завтра тебе в кузницу не надо.

Однако у Абеля еще были дела, он наспех умылся, переоделся, привел себя в порядок и выскочил из дома. Больше всего он был похож сейчас на рыбака, у которого клюет и он боится прозевать поклевку. Рейнерт снова все лето провел дома — для Абеля это время тянулось как вечность. Снова проклятый фронт портил ему жизнь; теперь он наконец уехал, но Лидию-младшую как будто подменили — по вечерам, когда Абель расставался с ней, на сердце у него было тяжело. Сегодня же, идя к ней, он, наоборот, чувствовал прилив радости.

Подойдя к дому, он вызвал ее на улицу; заметив по его виду, что произошло нечто значительное, она с готовностью последовала за ним.

Лишь после того, как они вышли на крыльцо, он наконец протянул ей руку и, видя, что девушка не торопится принять ее, попытался насильно взять ее за руку и поздороваться.

Но с тех пор, как Лидия начала работать для нового салона готового платья консула Юнсена — шить юбки и блузки, — в руках у нее всегда была игла, да и все платье на груди было утыкано ими. К ней было прямо не подступиться теперь.

— Ах, кажется, я тебя уколола? — равнодушно заметила она.

Что до него, то ему это не просто показалось — он имел возможность хорошо почувствовать иглу; болезненно скривившись, он слизнул выступившую на ладони кровь.

Это маленькое событие подействовало на него отвращающе, успокоило его, иначе он, пожалуй, видя такую ее реакцию, сразу наговорил бы ей разных колкостей.

— Так ты хотел мне что-то сказать? — спросила она.

— Во-первых, — начал он, — я, вероятно, скоро стану хозяином кузницы! — Затем он выложил ей все, кое-что, разумеется, слегка приукрасив, и ответил на те вопросы, которыми Лидия, конечно же, сразу его забросала. Ну да, пока он еще только ученик, однако уже и теперь умеет

практически все, так что год-другой к этому ничего не прибавит. Отец посоветовал ему начать подыскивать для них жилье и постепенно обзаводиться хозяйством...— Ну, что ты все время улыбаешься, как глупая гусыня?— не выдержал и вспылил он.

Она была, казалось, сама кротость: нет-нет, это ему только почудилось. Однако что-то не совсем верится, ведь он же только что подтверждался— ведь ты же уже подтверждался, да?

— Даже отвечать на такие глупости не стану,— сердито буркнул он.

Господи, да в самом-то деле, что он, сам не понимает, какую околесицу несет? Мама ее, так каждый раз смеется, видя его. Ну, сколько ему лет?

— Двадцать три года и три месяца,— не моргнув заявил он с таким видом, будто сам в это верил.

Лидия расхохоталась и переспросила:

— Сколько-сколько? Господи, Абель, да за кого ты меня принимаешь?

— Можешь смеяться, сколь влезет,— сердито парировал он.— А тебе-то самой сколько? Ну-ка, подумай!

Но и для Лидии вопрос ее юного возраста был, так сказать, больным местом— ведь она так хотела, чтобы все считали ее настоящей портнихой. А что тут такого? Уж столько времени прошло с тех пор, как она перестала ходить в коротких платьицах.

— Мне?— переспросила она, мгновенно закипая.— Сколько лет мне? Да ты понимаешь, о чем спрашиваешь? И слушать тебя не желаю— сейчас же уходи!

Абель изменил тактику:

— Ну конечно, тебе бы только этого Рейнерта слушать. Но с этим пора кончать. И что ты только в нем нашла?

— Я? Мама считает, что он весьма приятный молодой господин.

— Это он-то? Проходимец проклятый!— раздраженно выкрикнул Абель.— Да я в порошок его сотру в следующий раз, когда он приедет! Понятно тебе?

— Все, ухожу,— сказала она.

— Вот этими самыми руками!— продолжал кричать он, потрясая в воздухе кулаками.— Вот тогда посмотрим, кто из нас двоих настоящий мужчина!

Вероятно, она поняла наконец, что он уже дошел до предела, и потому, когда он вслед за этим заявил, что хочет жениться на ней немедленно и не собирается долъ-

ше ждать, вдруг неожиданно уступила, можно сказать, даже ответила согласием. Когда он снова заговорил, голос его заметно изменился, дрожал, он тщательно взвешивал каждое слово. Она же стала сразу чрезвычайно серьезна и ответила ему даже как-то слишком по-взрослому для своих лет:

— Да, но учти, я тебя не люблю!

Он недоверчиво улыбнулся:

— Ну да, глупости.

Потом он снова пустился в мечты: вероятно, жить они будут в комнате, расположенной над кузницей; стены там выкрашены в голубой цвет, везде красивые аккуратные полочки; кузнец, видимо, имел в виду, что и эта комнатка отойдет Абелью — а как же иначе? Вот где, оказывается, он собирается ее спрятать; хватит, по его словам, ей кокетничать с этим приезжающим на каникулы поразвлекаться юнцом, с этим проходимцем, этим молокососом в брюках-гольф. Пора начинать новую жизнь! И Абель продолжал в том же духе расписывать ей их будущее в самых радужных тонах.

Лидия, казалось, воспринимала это все с гораздо большим благоразумием, чем он сам: когда он говорил об их будущей комнате, она согласно кивала, когда же он заявил о том, что отныне со всем ее кокетством будет покончено, она, конечно, подумала, что решение это слишком суровое, однако, разумеется, понять его можно, во всяком случае, возражать не стала. Однако, мало-помалу, пока она его слушала, глаза ее постепенно закрывались; ей казалось, что она начинает терять свой собственный взгляд на вещи; внезапно она круто повернулась и вошла в дом.

Ушла!

Он некоторое время постоял, поджидая, не выйдет ли она опять; всю жизнь Лидия обходилась с ним достаточно сурово, и теперешний ее уход был еще не самым худшим из того, что ему пришлось от нее вытерпеть. Достаточно вспомнить, как она облила его руки горячим кофе, собираясь побрить их! Или как вынесла из дома половую тряпку и хотела стереть грязь, которая якобы была у него под глазами, хотя в действительности это были тени, появившиеся в результате глубоких переживаний!

Когда он уже собирался уйти, Лидия не утерпела, слегка приоткрыла дверь и выглянула в щелочку.

— Вижу, вижу тебя, — сказал он, — давай, выходи!

Он расстегнул куртку и слегка выпятил живот — невинная хитрость: он надеялся, что она обратит наконец внимание на его цепочку от часов — на которой, впрочем, часов-то как раз и не было.

Снова выйдя из дома, она, как ни в чем не бывало, сказала:

— А, так ты все еще здесь?

— Да,— хладнокровно отвечал он,— я тебя жду.

Она сделала вид, что вышла исключительно по делу: подойдя к сараю, набрала охапку дров; хитрый маневр, если учесть, что он не мог разговаривать с ней, когда она стояла вот так, с дровами. Поэтому, потрогав свою цепочку, он сказал примирительным тоном:

— Ну ладно, Лидия, коли так, я зайду через полчаса.

В общем-то ему вроде бы и не о чем было с ней больше говорить — но какая разница! Ему ведь просто-напросто хотелось все время быть там, где она. Поэтому, прогулявшись до набережной, он повернул назад и снова вернулся к дому Лидии. Нет, теперь уж он постарается сдерживаться — не станет ее больше укорять, будет предельно благожелателен, а там, глядишь, она смягчится и поболтает с ним.

Было ли это специально подстроено так, или же просто ему посчастливилось,— но как бы там ни было, когда он вошел, она была в комнате одна; родители уже легли спать, а сестры, поскольку был субботний вечер, отправились гулять; Лидия с преувеличенно усердным видом сидела за шитьем.

Конечно, сразу же его внимание привлекли ее губы, однако, хотя они и казались ему необычайно соблазнительными, он проявил такт, взял себя в руки и не стал действовать бесцеремонно, приставать к ней, сразу же стараться поцеловать. Будет потом говорить, что он грубый и всегда хочет любой ценой добиться своего.

— Вечно мы с тобой ссоримся,— сказал он.

Она этого не отрицала.

— Но зачем это нам?

— Нет-нет, Абель, оставь в покое эти белые ленточки, перестань сейчас же!

Ну вот, опять она кобенится! Так он, пожалуй, сегодня ничего не добьется. А тут еще снова эти иглы у нее на груди,— да еще сколько! — наверное, специально навтыкала как защиту от него. Что ж тут удивительного, что, услышав ее слова относительно ленточек, он сразу вскипел!

— Да ладно тебе,— с досадой проворчал он.— Если хочешь знать, я и не такие вещи трогал раньше, и ничего. Хотя, если тебе так хочется, пожалуйста,— прибавил он, убирая руки.

Даже если она и не была влюблена в него, все равно последние слова, казалось, должны были бы тронуть ее до слез и заставить по крайней мере обнять его — но нет, никаких нежностей.

Он давно уже собирался снять мерку с ее безымянного пальца, причем сделать это ненароком, как бы случайно; тут он преследовал кое-какие практические цели, потому-то и взял в руки этот кусок тесемки.

— У тебя такие тонкие пальчики,— сказал он,— безымянный, так вообще, наверное, вот такой. Дай-ка взгляну!

Ну, уж это было похоже на оскорбление! Он, вероятно, думает, что она еще маленькая и пальцы у нее как у ребенка!

— Отстань,— резко сказала она,— не видишь, я занята!

А что, если прямо сейчас взять и поцеловать ее? Подумаешь, какая важная! Правда, вид у нее уж больно неприступный — как будто он ее укусит! Однако было поздно: он уже решился и начал целовать ее, несмотря на все протесты. В конце концов она уступила и лишь время от времени постанывала: «Ты с ума сошел! Перестань! Что тебе от меня надо?» Однако же сопротивляться перестала. Что ж, им было уже не впервой, они с Лидией и раньше это не раз проделывали.

Наконец Абель, слегка досадуя даже на такое пассивное выражение недовольства с ее стороны, немного отстранился и, улыбаясь, начал было шутливо оправдываться, однако она ничего не хотела слушать. Торопливо поправляя волосы и смятый им воротничок, она сразу же накинулась на него: да как он смеет так с ней обращаться, он всю ее растерзал! Высказав это, она обиженно умолкла и решительно взялась за оставленное шитье. Действительно, как же так, что он себе позволяет! Нет, она в самом деле была возмущена: ведь все эти поцелуи — и сейчас, и раньше — не что иное, как пустая трата времени, вечно он ей мешает!

Лидия, желая продемонстрировать свою занятость, вся обложилась разными кусками материи, кружевами, шелковыми нитками, пуговицами и лентами, достала также лучшие выкройки сестер, чтобы скопировать их,—

сама-то она в основном пришивала к готовым вещам подкладку. На Абеля все эти приготовления мало действовали — он ничего не смыслил в портняжном деле.

— И не смей меня больше никогда целовать! — внезапно сказала она.

— Как так?

— А вот так!

— Ну и что, ну и поцеловал, эка важность! Подумаешь!

Но и наигранная дерзость не помогла. Тогда он, видя, что она всего только притворяется рассерженной, прибег к старому испытанному средству, много раз уже помогавшему ее успокоить: он снова принялся убеждать ее, что никуда она от него не денется, а когда настанет пора каникул, он будет следить за ней вдвойне строго.

— Замолчи! — прикрикнула она.

— Завтра я отправлюсь за печкой, — решительно сказал он. — Юнсен-С-Пристани недавно выкинул две старые печки, я пойду и возьму одну из них — уж что-что, а от ржавчины-то я ее смогу очистить. Да-да, завтра же этим займусь.

— Только посмей! — пригрозила она.

Они еще немного попрепирались в таком духе; наконец Лидия, как наиболее разумная, все же одержала верх.

— И не стыдно тебе? Ведь ты меня опозоришь, — сердито выговаривала она ему.

— Ну ладно, несколько дней могу подождать, — смиловился Абель.

— Хм, несколько дней! — презрительно хмыкнула она.

— А ты что, может, думаешь, она мне вовсе не понадобится? — мигом вспыхнул он. — Ты на это намекаешь?

Ледяным тоном, с оттенком пренебрежения в голосе она подтвердила:

— Вот именно!

— Так ты что же, выходит, отказываешь мне, что ли?

— Наконец-то дошло, — с облегчением сказала она. И как бы давая понять, что разговор окончен, сгребла и пододвинула к себе поближе лежащие на столе лоскутки — подумать только, ответ она сейчас иначе, и все, даже это, было бы поставлено на карту! Она вдруг резко обернулась — в дверях комнаты стояла мать.

— Сейчас же иди спать, — сказала Лидия-старшая, обращаясь к дочери. — И ты, Абель, тоже выметайся! Мне

надоело уже, что ты отираешься здесь с утра до вечера! Вот еще новости! Глупый мальчишка! Сейчас же ступай домой и подожди, пока молоко на губах обсохнет!

Дверь в спальню захлопнулась, однако тотчас же приоткрылась опять, и Лидия-старшая, вероятно, не в силах так сразу успокоиться, завершила свою тираду следующими словами:

— И не забудь передать своему отцу, чтобы он тебя хорошенько выпорол!

Абель прямо-таки остолбенел. Когда она вошла, он поднялся, да так и застыл с табуреткой между ног. Постепенно он взял себя в руки, отвел глаза от закрывшейся двери и взглянул на Лидию-младшую. Побледнел он почти до синевы, но нашел в себе все же силы улыбнуться:

— Фу ты, черт возьми!

Однако Лидия-младшая не поддержала и не оценила этот мужественный жест. В то же время она его и не прогоняла, нет, ничего подобного, тут спешить вовсе не стоило, ведь, Господи, речь идет о жизни! Да и к острому языку матери Лидия-младшая уже давно привыкла и нисколько не боялась ее. И тем не менее, когда Абель направился к двери, она почувствовала нечто похожее на облегчение оттого, что он наконец уходит, и не стала его удерживать.

— Ну что ж,— сказал он, чтобы хоть как-то смягчить свое поражение,— ладно, раз так, то я уйду с твоего пути.— Но, видно, он погорячился, говоря это, поскольку тотчас же обернулся к Лидии и попросил: — Ты не могла бы на минуточку выйти, мне надо тебе кое-что сказать.

— И не подумаю,— отрезала она.

Абель пошел домой. Родители сидели в столовой и как всегда ругались; не прислушиваясь, он прошел в свою комнату.

Впрочем, происходящее в родительской комнате было совсем небезынтересно: то, о чем Оливер размышлял на протяжении недели, вылилось наконец в настоящий допрос, который он устроил жене. Дело было в том, что Петра снова ждала ребенка — но ведь это же ни на что не похоже!

Чрезвычайно странно было то, что сама Петра до последнего старалась скрыть свою стремительно растущую полноту — как будто замужняя женщина не может забеременеть или в этом есть что-то зазорное! Как раз это-то и пробудило в Оливере первые подозрения.

Однако сегодня, когда он обратился к ней с прямым вопросом, она недолго запиралась.

— Петра,— начал он,— ты что, опять на сносях?

— Не болтай чепухи! — отрезала было она.

Однако он не унимался:

— Какого дьявола, как же это тебе удалось?

— Видно, уж отпираться бесполезно.— Она переменила тактику и перешла на льстивый тон.— От тебя ничего не укроется.

— Да,— подтвердил он,— я уже несколько недель как заметил.

У Петра было достаточно времени, чтобы подготовиться к этому разговору, поэтому она не накинулась на него сразу же со встречными упреками, а напротив, спокойно, как ни в чем не бывало сказала:

— Ты и сам прекрасно знаешь, как это получается! — Она парировала удар, отведя его в сторону.— Говоришь, как мне это удалось? — переспросила она.— Да все так же. Почему, собственно, если Марен Салт могла забеременеть, то я не могу?

— Что?! Марен Салт? Она-то тут при чем? — Оливер от неожиданности с трудом находил слова.

— Что ж, коли хочешь, я прямо скажу,— продолжала Петра, сурово и оскорбленно поглядывая на мужа.— Ведь ей было гораздо больше лет тогда, чем мне сейчас, и я до сих пор не понимаю, как это некоторые могли ею, Марен этой, увлечься.

— Что за чушь ты несешь?

— Ах так,— сказала Петра,— ну так я тебе скажу: кругом только и разговоров о том, что ты — отец ее ребенка.

От изумления Оливер раскрыл рот. Да что они все, рехнулись, что ли?

— Ты с ума сошла! — воскликнул он.

Петра сердито хмыкнула и напустила на себя еще более обиженный вид.

— Клянусь, я тут абсолютно ни при чем! — настаивал он.

— Это уж тебе судить! — оскорбленно поджав губы, отвечала она.

Ее невозмутимость отчасти уязвляла его, но в то же время он уже начал входить во вкус происходящего. В конце концов он действительно не имел ничего против этого обвинения, не считал это чем-то постыдным, быть может, лишь слегка досадовал.

— А можно узнать, кто это тебе наврал? — поинтересовался он.

— Не все ли тебе равно, — отвечала Петра. — Но уж раз тебе непременно хочется знать — пожалуйста, скажу: Маттис.

— Маттис сказал тебе это?

— Да. И, по-видимому, у него были на то свои причины.

Оливер задумался, при этом вид у него был необычайно важный и значительный.

— И чего только люди не придумают, — сказал он наконец. — В общем-то мне, конечно, наплевать на то, что ты думаешь обо мне вместе со своим Маттисом. Ну а с ним, будь уверена, мы еще посчитаемся.

— Если ты считаешься с одним только Маттисом, это тебе не поможет. Тебе придется также посчитаться со всем городом.

— Так что, об этом, выходит, весь город говорит? — забеспокоился Оливер.

— А ты как думал?

Снова он стал прикидывать и так, и этак. Да уж, положеньице, Господи помилуй! Все это так странно и в высшей степени неожиданно. Что бы такое предпринять, как все это использовать, какую выгоду можно из этого извлечь? Он крепко задумался, даже начал мурлыкать себе под нос какой-то мотивчик. Петра смотрела на него с удивлением, не понимая, что за странные вещи происходят с этим гадким, безобразным человеком — как, он еще и напевает?! А он, может, ощущал себя сейчас счастливее, чем когда-либо за последние двадцать лет, ощущал, как что-то в нем как будто заново родилось; у него вновь появилось острое чувство собственного достоинства, осознание своей важности, значимости; хотя то, что говорили о нем, и был чистой воды вымысел, однако именно этот-то вымысел, как это ни удивительно, и реабилитировал его в глазах всего города. Почему же у него был такой важный и в высшей степени довольный вид? Что он, получил причастие и благословение Божие, перед ним разверзлись небеса, или же случилось какое-то иное чудо? Бедняга действительно был сам на себя не похож; в свое время ему пришлось немало путешествовать, и сейчас он чувствовал себя так, будто снова отправился в плаванье; он сидел и облизывал пересохшие губы, чувствуя, что внутри происходят какие-то перемены, — он снова становится таким, каким был в те давние

дни своей молодости, когда счастье улыбалось ему и в каждом порту он заводил себе новую подружку. Петра уже привыкла видеть его таким, каким он был все эти годы, — заплывшим жиром, ко всему безразличным калекой, тяжело опирающимся на свой неизменный костыль или же балансирующим на шатком табурете во главе обеденного стола; он казался ей таким же убийственно глупым и ничтожным существом, как те медузы, что плавали в море у пристани. И вот теперь это странное, непонятное воодушевление. Как? Почему?

Петра ничего не понимала, а тут еще это его мурлыканье окончательно сбивало ее с толку; если бы она знала его чуть хуже, она, вероятно, не удержалась бы и подошла поближе, чтобы удостовериться, действительно ли это Оливер Андерсен и в своем ли он уме.

— Что это ты распелся? — попыталась она вернуть его к действительности.

— Что?

— Чего распелся, я спрашиваю? — повторила она.

— Распелся? Да нет, так, ничего, просто задумался. Трам-там-там. Вздор, я ничего не пел!

— Ну ладно, может, и правда задумался и сам не заметил — с кем не бывает.

Как по-вашему, что выкинул Оливер? Внезапно встал и облапил ее своими ручищами, неумело, как обезьяна, повторяя подсмотренный им где-то жест. При этом он делал вид, что не может устоять перед ее прелестями и исходящими от нее флюидами, — язык его вылез наружу, слюнявые губы кривились в улыбке. О, уж в чем, в чем, а в этом она прекрасно разбиралась! Если бы она хоть на минуту рискнула предположить, что это действительно может привести к чему-то более или менее реальному, вполне вероятно, она бы ответила на этот его порыв, и даже, как более опытная в таких делах, направила бы его в нужное русло. Однако, прекрасно зная, что все это не более чем глупая выходка, она лишь отпрянула, ее даже слегка передернуло. Видя это, он помрачнел и снова бессильно опустился на табурет.

Петра, с ее здоровой натурой, едва удержалась, чтобы не плюнуть в его сторону, — эта медуза внушала ей страх и отвращение. Чтобы хоть как-то спасти положение, она отвернулась и тихо, как бы про себя, сказала:

— Эх, вот если б я могла поверить, что это не ты тогда сработал с Марен Салт!

Оливер слабо отнекивался:

— Да заткнись ты! Ни при чем я здесь, слышишь!

— Что ж, тебе виднее!

— Раз тебе так хочется, верь себе на здоровье! Мне-то какое дело?

— Конечно, тебе ни до чего дела нет,—с видом мученицы ответила Петра.—Ведь в доме ты хозяин, мы, остальные, и слова сказать не смеем.

— Ну уж, ведь, по правде говоря, не такой уж я и тиран, верно?

— Меня ты, по крайней мере, не жалуешь,—сказала она.

Теперь это был уже прежний Оливер; он задиристо спросил:

— Вот как? А позволь узнать, кто же тебя в таком случае жалует?

Ответа на свой вопрос он не получил—да, вероятно, и не ждал,—однако и Петра, не желая, чтобы последнее слово оставалось за ним, поспешила поставить его на место:

— Если бы я была из тех, кто этого хочет, только б ты меня и видел. Но я, слава Богу, не такая. Я не собираюсь совать свой нос в твои дела, а что до Марен Салт—ей, кстати, наверно, уже лет шестьдесят,—то что ж, если тебе так хочется, пожалуйста, бери ее!

Ах так, стало быть, Петра не отказалась от этой глупой идеи! Что же оставалось Оливеру, как не сделать хорошую мину, позволив ей думать все, что хочется? Она уже почти заставила его поверить, что подозревает его вполне серьезно; в конце концов, если правильно использовать эту сплетню, то от нее могло быть больше пользы, чем вреда.

— Что ж,—сказал он, делая вид, что вынужден с ней согласиться,—наверно, ты права, и у меня тоже есть недостатки. Не знаю ни одного человека, у кого бы их не было, кто не раскаивался бы в каких-то своих мелких грешках.

Удивительно, с какой легкостью Петра выслушала это его заявление. Но нет худа без добра—теперь, по крайней мере, спорить им было не о чем. Тон их дальнейшей беседы стал даже слегка легкомысленным и фривольным. Он прекратил свой допрос, перестал допытываться у жены, каким же все-таки, черт возьми, образом ей удалось снова забеременеть. Оливер, казалось, полностью с этим смирился, больше того, он даже высказал

нечто вроде шутливого одобрения, пройдясь на счет ее чертовской плодовитости: сорок с лишним лет, а смотри ты, туда же!

— Так что ж,— шутливо, в тон ему заметила она,— значит, теперь все в порядке, я снова порядочная женщина?

— Ты? — воскликнул он.— Да ты, можно сказать, прямо-таки бесподобная женщина и, по моему мнению, заслуживаешь всяческих похвал! Господи, помилуй меня, грешного, да ведь ты женщина до мозга костей, вот именно, женщина не только снаружи, но и изнутри.

Х

Утром Оливера вновь одолели сомнения.

— Неужели Маттис так и сказал? — спросил он.

— Что именно?

— Что я отец ребенка?

— Ну да.

— Не понимаю, откуда он это взял.

Петра развела руками:

— Ну конечно, тебе и невдомек, однако ведь ей, Марен, виднее.

— А что, Марен тоже так говорит?

— Во всяком случае, она назвала мальчишку в честь тебя.

— В честь меня? — вскричал Оливер.— А как его зовут?

— Оле Андреас.

Оливер помолчал. Все одно к одному; что ж, действительно, в этом что-то есть, хотя... Вот ведь чертовы бабы, вечно они что-нибудь выдумают!

— Так что, как видишь, у Маттиса были основания, чтобы сказать это,— продолжала Петра.

Еще какое-то время Оливер стоял, размышляя. Ну и что же теперь ему со всем этим делать? В конце концов он решил отправиться к Маттису и выяснить все поподробнее.

Было воскресное утро, и он застал столяра на кухне полуодетым. Ребенок был с ним, Марен Салт ушла в церковь. Маттис был явно удивлен визитом и хмуро поглядывал на вошедшего.

— Доброе утро!

— Доброе. Чего надо?

Оливер немного помолчал. Поскольку стула ему не предложили, он устроился на деревянном ящике. Затем они перекинулись парой слов о погоде, о надвигающихся холодах; Маттис был немногословен и то и дело отвлекался на мальчишку, который возился на полу.

— А он вырос,— заметил Оливер.

— А то как же.

— Сколько ему сейчас? Смотри-ка, зубы уже есть! Как его зовут?

Глаза столяра потемнели от ярости:

— Не все ли равно? Просто парень, и все.

— Уж и спросить нельзя. Да ладно, это я так.

— Его мать придумала, конечно, ему какое-то дурацкое имя, ну да это ее дело.

Видя, что столяр настроен довольно враждебно и из него слова не вытянешь, Оливер попытался выразиться пояснее:

— И на кого же он похож?

— На мать,— отрезал Маттис.

— Конечно, конечно. А на отца?

— Кого ты об этом спрашиваешь? — разозлился Маттис.— Ты, может, знаешь его отца?

Оливер добродушно усмехнулся, однако от прямого ответа уклонился:

— Маттис, старина, а ты все такой же, не меняешься! Ну уж я-то, по крайней мере, тут вовсе ни при чем!

— Когда доходит до дела, все так говорят.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что хочю сказать? Что обычно все это отрицают. А тот, кто действительно виноват, отнекивается упорней всех, а то как же? Он и заплатить может — взятку дать,— чтобы об этом не болтали.

Оливер согласно закивал и даже вслух посочувствовал несчастным матерям и их детям.

— Больше всего, конечно, жалко бедных ребят! — вздохнул он.

— Все так говорят,— жестко ответил Маттис, взял ребенка на колени и, обращаясь к нему, сказал: — Ну что, ушла твоя мать, да? Все на дверь смотришь? Нет, раньше чем через час ее теперь не жди. Ей-то что? Вот, смотри-ка, видишь — часики!

Оливер умолк; к болтовне столяра он не прислушивался — напряженно думал. Что и говорить, голова у него работала что надо, причем лучше всего он соображал именно в таких неясных и запутанных ситуациях. Рука его

украдкой потянулась к внутреннему карману, двигалась она медленно и как бы невзначай, будто бы он просто хотел почесаться. Когда он вынул ее из кармана, в ней оказались зажатými пара бумажек; тут он на несколько секунд замер, с удивлением посматривая на них, как бы пытаясь понять, как они здесь оказались. Ведь Маттис не сказал ничего достаточно определенного; выражался он крайне неясно, и поэтому, подумав немного, Оливер продолжал:

— Я как будто бы слышал, что мальчишку зовут Оле Андреас, но не поверил. Ведь это же не так, верно?

Столяр пришел в ярость:

— А, так ты уже слышал? Так какого же черта ломаешь комедию, спрашиваешь? Что ты тут у меня в доме вынюхиваешь? Что тебе здесь надо?

Мягко, как будто не замечая возбужденного состояния собеседника, Оливер сказал:

— В конце концов, какое мне дело, как его зовут? Не будем больше об этом...

— Еще бы, ведь ты и так это знал.— Столяр презрительно шмыгнул своим длинным носом.

Расчетливо выдержав паузу, Оливер все так же спокойно продолжал:

— Так ты спрашиваешь, Маттис, зачем я к тебе пришел?

Маттис угрюмо кивнул.

— Сейчас узнаешь!— С этими словами Оливер извлек на свет Божий зажатые в кулаке банкноты.— У меня действительно есть к тебе дело. Сколько стоили те двери, что ты когда-то сделал для меня?

— Двери?..

— Ну те, которые ты когда-то мне дал. Я хотел бы расплатиться за них. Прошло ведь уже столько времени, и, по-моему, так дальше не годится.

Маттис-Столяр был, похоже, окончательно сбит с толку.

— Да ведь это не горит...— выдавил он наконец.

— Не хочу я тянуть с этим до Страшного Суда.

— Двери? Но что за спешка? Ты что, только ради этого и пришел?

С достоинством и в высшей степени рассудительно, Оливер ответил:

— Видишь ли, Маттис, ведь ты так до сих пор и не прислал мне счета— что отчасти меня извиняет. Но теперь цена не имеет для меня значения, я собираюсь

заплатить все до последнего скиллинга. А если между нами что и было, мне бы хотелось сейчас все уладить.

Маттис пробормотал что-то насчет того, что оба они тогда были неправы. Теперь ему было стыдно за то, что поначалу он так вспылал.

— Вон стул, присядь! — сказал он. Тем не менее он по-прежнему был довольно сдержан и, казалось, вовсе не в восторге от этого визита. Разговаривая, он все так же обращался в основном к ребенку.

— Повезло ему, что ты оставил его у себя! — заметил Оливер. — Что ж, это большое дело! Кстати, я всегда считал, что она, Марен, заслуживает поддержки. Между прочим, она вовсе недурно сложена.

— Хм, — неопределенно хмыкнул Маттис.

— Да-да, вовсе недурно. А пару годиков назад, когда ребенок появился на свет, ей и лет-то было не так много. Так что ничего удивительного.

— Не суй часы в рот, парень, — проглотишь! А что касается этого, то не всегда возраст имеет решающее значение, — сказал столяр, оборачиваясь к Оливеру. — Эти бабы когда угодно умеют задом крутить.

— Ха-ха-ха, Маттис, тут ты в самую точку попал! Что ж я такое хотел сказать? Ах да, я смотрю, у него карие глаза.

Ответа не последовало.

— Карие — это хорошо, красиво. У самого у меня голубые, но тут уж ничего не поделаешь, я не жалею. А вот у детей у моих почти у всех глаза карие — как будто и не в меня.

Столяр ни единым словом не подтвердил, но и не опроверг сказанного. Он только заметил:

— У матери его карие глаза. Между прочим, кончай болтать, нечего ребенку слушать всю эту чепуху — он ведь все понимает.

— Ну, этого он не поймет.

— Он? Да он понимает все, что бы ты ни сказал. Абсолютно все. Стоило тебе упомянуть двери, и он сейчас же посмотрел на дверь, а когда я напеваю что-нибудь у верстака, он сразу же воспринимает это на свой счет.

— Мои тоже были такими же, — сказал Оливер.

— Он и вправду удивительный парень, — продолжал с воодушевлением столяр, — я боюсь даже, как бы однажды он не выучил наизусть газету от корки до корки, исключительно только слушая, как я ее читаю. Вечернюю молитву, например, он запомнил в два счета.

— Ну точь-в-точь как мои!— снова подтвердил Оливер.

— Нет, ей-богу, никогда я еще не видел такого ребенка,— не унимался Маттис.

— Во всяком случае, ему повезло, что ты оставил его у себя!— повторил Оливер. Он был разочарован— разговор принимал явно ненужный оборот; он не продвинулся вперед ни на йоту. Пора было переходить к решительным действиям и брать быка за рога.— Так что же я тебе еще хотел сказать? Я стал таким забывчивым! Ах да, во-первых, вот деньги, а во-вторых,— когда я шел к тебе, я все время думал об одной вещи: ладно, ребенок этот пока у тебя, ты его, как видно, любишь, ну а случись такое, что настанет день, когда к тебе заявится его законный папаша и скажет...

— Уж не ты ли его приведешь?— быстро спросил столяр.

— Я? Приведу? Да ты что, смеешься? Ведь я же калека—где я его найду?

— С тебя станется.

Оливер ухмыльнулся:

— Я вовсе не хочу казаться лучше, чем есть на самом деле, мне это ни к чему. Но мы не о том говорили. Представь себе, что в один прекрасный день тебе придется с ним расстаться...

— Ты что же, думаешь, они могут забрать его? Пусть только попробуют!— угрожающе заворчал Маттис.

— Я имею в виду, что в один прекрасный день у тебя самого в жизни могут произойти какие-нибудь изменения, к примеру, ты женишься. Куда ж ты его тогда денешь?

— Дену? Что ж ты, считаешь, я выброшу его на улицу? Никуда не денется—останется со мной, уж об этом я позабочусь!

— А если придет его отец и...

— Да что тебе в конце концов от меня надо? Какого черта ты добиваешься? Чего ты боишься—за свою шкуру трясешься, что ли? Сидит тут, понимаете ли, и забивает уши ребенку всякими непристойностями! Сейчас же прекрати.

Оливеру наконец удалось вставить слово:

— Я? Да я ничего такого непристойного не говорю— просто принес тебе деньги, вот видишь, две бумажки...

— Ну, это уже слишком! Сидит тут, болтает гадости и строит из себя невинного младенца! Ах, так вот оно

что, говоришь — деньги принес?! — внезапно взорвался он. По-видимому, в конце концов до Маттиса дошло. Поблуднев от ярости, он вскочил, держа мальчугана на руках. — Сейчас же спрячь свои деньги — не нужны они мне — и проваливай!

Оливер тоже встал, драться он не хотел, однако не утерпел и, прежде чем проковылять к двери, решил еще поддразнить столяра:

— Ха, ты так нянчишься с ним, как будто это твой собственный ребенок. Так что ж, выходит, ты — его отец?

— Что ты сказал — я?!

— Я только спросил, — поспешно прогнусавил Оливер. Теперь уже не было никаких сомнений — он просто-напросто издевался. — Так это, стало быть, именно для него ты сделал ту кроватку? — не унимался он.

Маттис поначалу принялся оправдываться:

— Нет, не для него. А ты сам что, на полу спишь, что ли? Что тут такого, что у ребенка есть своя кровать? А теперь, ну-ка, живо убирайся! — заорал Маттис и поставил мальчика на пол. — И деньги свои поганые прихватить не забудь! Ха-ха, ты что же это, взятку мне хотел дать, купить меня думал, чтобы я молчал, что ты его настоящий отец? Ну, со мной у тебя это не пройдет, побереги свои бумажки для кого-нибудь другого. Ну и свинья же ты! Ты что, не слышал — вон из моего дома!

И Оливер ушел.

Он был доволен — все вышло как нельзя лучше; он даже снова начал мурлыкать что-то под нос. Придя домой, он, однако, ничего не стал рассказывать Петре, которая прямо-таки лопалась от любопытства. Не обращая внимания на холод, он вышел на порог, засунул руки за проймы жилета и с молодцеватым видом принялся любезничать с проходящими мимо женщинами и девушками.

Ну, вот все и хорошо — в доме согласие, все довольны, семья преуспевает, с каждым днем жизнь становится все лучше и лучше, дай Бог, чтобы так было всегда! Улучшение отношений выразалось и в конкретных действиях. Вот, к примеру, у Маттиса-Столяра на стене дома висит красный почтовый ящик. Что ж, Оливер купил блестящую медную ручку для входной двери. «Теперь только не забывай начищать!» — сказал он Петре. Рискую быть пойманным с поличным, он, по доброте душевной, сорил деньгами, покупая подарки жене и дочкам, и стал

чаще, чем раньше, приносить бабке пакетики с кофе — хотя это-то как раз ему ничего и не стоило.

Веселая это была жизнь! Прошла зима, а за ней и весь год; прав был Оливер — пролетел он незаметно. За это время событий было не так уж много, хотя кое-что все же случилось. Правда, дело это было уже привычное. И снова глаза у новорожденного оказались голубые! Черт возьми, тут так сразу не разобраться, однако теперь этому вопросу придавалось куда меньшее значение, чем раньше. С чего это он станет устраивать Петре допрос? А что, если и она вздумает его допрашивать? Ведь и о нем по городу ходят разные сплетни! Когда он однажды вздумал вслух удивляться, почему это в семье снова голубоглазое пополнение, Петра резонно ответила:

— Да, но ведь и у тебя, и у меня глаза голубые.

Рассуждая об этом со своим старым другом Йоргеном-Рыбаком, Оливер тонко заметил, что ведь и растения тоже отнюдь не одинаковые: у одних плоды на поверхности, у других — под землей. Возьмем, к примеру, яблоки: одни — красные, другие — желтые. Или же картофель под землей: одни клубни желтые, другие — чуть ли не багровые. То же самое и с человеческими глазами — у всех они разные, можно насчитать сколько угодно оттенков.

— Знаешь, мне кажется, что у меня это зависит от настроения: когда я дурею от бабы, то в результате и получают эти карие глазки. Ты как считаешь, а, Йорген?

Однако Йоргену было уже за семьдесят, годы, прожитые с Лидией-старшей, сделали его человеком забитым; кроме того, он был отцом трех уже взрослых дочерей, а его собственные глаза выцвели и стали белесыми, какого-то молочного цвета. Нет, он ничего не мог сказать по этому поводу — не знал или просто не помнил.

— Что значит — дуреешь? — не понял Йорген. Он-то всегда считал, что глупостей и безрассудства приходится, скорее, ожидать от баб.

Но Оливер, видимо, желал быть понятым до конца.

— Ну, взять, к примеру, эту Марен Салт, — сказал он. — Ты же знаешь, болтают, что я отец ее ребенка. А ведь у него-то глаза как раз карие.

— А-а, — промычал Йорген-Рыбак.

— А возьмем других кареглазых — ведь в городе их полным-полно; слава Богу, хоть здесь меня ни в чем не

обвиняют. Вообще-то мой тебе совет, Йорген, не особо прислушиваться ко всему, что обо мне болтают; я, разумеется, не хочу сказать, что я такой уж ангел — ведь если на то пошло, человек я по натуре заводной, горячий, у меня у самого в доме и карие глаза, и голубые.

— Угу,— согласился Йорген-Рыбак.

Вот так теперь привык выражаться Оливер, и недаром он все более и более упрочивал свои позиции в созданном им самим иллюзорном мирке. Что ж, нам остается только молчать,— ведь он действительно был создателем и хранителем этого мира, подходил к нему со своими мерками, неустанно раздвигал его границы и уже через два года свысока взирал на простирающиеся перед ним обширные владения.

Ну и как же он чувствовал себя в этих владениях? Не хотелось ли ему когда-нибудь со смехом их разрушить? Нет, уж если ты создал себе мир, то он прочно тебя затягивает,— это, как правило, судьба всех творцов.

Иногда, правда, случалось и ему испытать горечь неудачи. Теперь он частенько позволял себе вечерами пойти прошвырнуться по городу, полюбезничать, распушить хвост перед дамами, занять их приятным разговором. Еще с тех пор, как был матросом, он помнил кое-какие нравящиеся им словечки, знал галантное обращение, однако на этом поле прежняя удача, казалось, покинула его,— он терпел поражение за поражением. Может, виной этому было то, что он утратил прежние навыки, а может, женщины теперь пошли не те. В чем же все-таки дело, почему эти проклятые бабы смеются над ним? Соплячки, жабы несчастные, они что же, не верят, что у него могут быть вполне честные намерения? А если верят, тогда какого черта вздрагивают, стоит к ним только прикоснуться? Нет, и в роли властелина мира тоже есть свои недостатки.

В последнее время Оливер стал снова выходить в море, решив испробовать старое доброе средство — подвергнуть себя испытаниям, чтобы снова Господь узнал, как трудно ему живется. Со стороны казалось, будто он старается слегка подзаработать на рыбе, однако на самом деле улов, как правило, был мизерным, а то и вовсе приходилось возвращаться домой ни с чем. Так что ж, неужели деньги ему не нужны, или, может, этот его удивительный внутренний карман поистине бездонный? Нет, напротив, Оливера чрезвычайно беспокоило, что карман постепенно пустеет. Что же делать, чтобы

предотвратить это опустошение? Может, брать в долги или даже начать воровать — не слишком-то приятно, когда перед тобой явственно маячит призрак разорения. Ну, разумеется, место на складе по-прежнему оставалось за ним, да и заработок был прежний, постоянный, что позволяло хоть как-то сводить концы с концами, но и только. Он больше не мог себе позволить регулярно покупать сладости и разные лакомства, к которым успел уже привыкнуть. Куда же все-таки подевались все деньги, вырученные за гагачий пух? Ведь их была целая куча, так где ж они, черт возьми? Он недоумевал. За дом адвокату Фредриксену он так и не заплатил, одеждой хотя бы на пару лет вперед ни себя, ни семью не обеспечил; пару крупных банкнот разменял в соседнем городе еще год назад. Наконец карман опустел. Сколько он ни заглядывал в него, сколько ни выворачивал — все было напрасно. Он был пуст.

Что ж ему оставалось, как не рыбачить!

Вообще-то Оливеру, можно сказать, даже нравились эти прогулки. Прихватив с собой котелок и снасти, он уходил в море в субботу вечером и возвращался домой лишь в понедельник утром. За это время он, как правило, сам съедал бóльшую часть улова. Счастливые и беззаботные это были часы; весла он обычно бросал и потихоньку дрейфовал вдоль берега, заглядывая в маленькие бухточки и тщательно исследуя острова; разумеется, он снова стал собирать гагачий пух, разумеется, опять разыскивал вещи с потерпевших крушение судов и собирал плавник. Однажды он выловил пустой бочонок, в другой раз — бутылку с запиской; и то и другое не имело никакой ценности. Далеко в море, в том месте, где пароходы ложились на курс для входа в городскую гавань, высилась скала; там был птичий базар. Он не был там уже года два, действительно расстояние до нее было немалое, однако игра стоила свеч — на всех ее уступах до самой остроконечной вершины гнездились непуганые птицы.

Дни шли за днями; спасибо Абелью — хороший, добрый мальчик, — время от времени он совал отцу крону-другую, не то Оливеру туго было бы без сладостей — он уже успел привыкнуть к ним, как бы он без этого обходился? Правда, был еще и другой сын, Франк, образованный, вундеркинд, но он никогда ничего не присылал домой, не приезжал сам и не писал; ходили слухи, что он получил где-то место учителя и в то же время продол-

жает свои занятия,—подумать только, продолжает!—когда же это кончится! Младшая дочь Хенриксена-С-Верфи, Констанс, получила от него письмо; он писал, что учиться ему, вероятно, осталось еще около года. Так что еще год, целый год, Оливеру не приходилось рассчитывать на помощь с его стороны. Ну да ладно, в конце концов все как-нибудь устроится—во всяком случае не многие могут похвастаться, что у них такой образованный сын!

А пока что у него есть Абель, тоже молодец парень; Оливер человек справедливый и не делает разницы между сыновьями; уж если на то пошло, то Абель даже как-то ближе отцовскому сердцу. Утром по дороге на склад Оливер частенько заглядывает к нему в кузницу; Абель, как правило, уже работает; отцу приятно немного посидеть и поболтать с ним, услышать, как идут дела. Все шло у него отлично: Абель наконец стал самостоятельным мастером и заправляет теперь в кузнице всем. Да, вот это сын—каждому бы такого! Многие заходили к нему, среди прочих и Кнопка—тот парень, что плавал кочегаром на местных рейсах; он часто околачивался здесь, и всем было известно, что он ждет, пока не подрастет одна из сестер Абеля—он собирался на ней жениться. Вот какие были у Кнопки планы. Однажды, придя по обыкновению к Абелю, он спросил:

— Слушай, а кузницу-то ты выкупил?

— Нет,—ответил Абель,—на это у меня денег не хватит. Пока что я просто работаю здесь за мастера. Но одному трудно справляться. Лучше скажи, нет ли у тебя на примете подручного для меня?

— Хм,—задумчиво протянул Кнопка,—а почему бы тебе не купить паровой молот с керосиновым двигателем? Тогда и помощника не надо будет.

— Брось болтать глупости!—сердито проворчал Абель.

— Это вовсе не глупости,—настаивал приятель,—в Хортене я сам видел много таких молотов.

Абель давно уже слышал разговоры об этих паровых молотах, работающих на керосине, но зачем—и, главное, на что—покупать ему эту машину, ведь кузница-то даже еще и не его собственная?

— Не будем говорить об этом!—отрезал он.

Но Кнопка не сдавался. Он предложил Абелю, чтобы тот сам купил молот, а деньги, которые мастер Карлсен положил на жалование и харчи подручному, взял

бы себе. И Абель, и сам Карлсен только выиграют на этом.

— Но откуда мне взять деньги на молот?— спросил Абель.

— Кое-что у тебя у самого есть, кое-что я добавлю, а остальное пообещаешь выплатить со временем!— уверенно сказал Кнопка. Нет, видно, и впрямь он был здорово влюблен в Синеглазку, сестру Абеля!

Что ж, верно, кузница пока еще не полностью перешла к Абелю, но по существу он делал здесь все, да и платили ему неплохо. Кузнец Карлсен, правда, еще бывал здесь, заходил иногда, но в основной работе он, как правило, не участвовал— зажав в тиски какую-нибудь деталь, обтачивал напильником заусенцы. Теперь, если ему приходилось все же делать что-то самостоятельно, он всегда спрашивал совета у Абеля. В кузнице он не проводил и полдня— приходил поздно, а уходил рано. Поэтому по утрам, когда Оливер заходил к сыну, он мог быть уверенным, что застанет его одного.

Они болтали о разных пустяках, обсуждали городские новости.

— Этот Йорген-Рыбак все больше и больше становится идиотом,— рассказывал Оливер,— он даже не видит разницы между желтой и бурой картошкой. С ним говорить— только время зря терять. Теперь, когда его вижу, я всегда норовлю пройти мимо!

Отец с сыном никогда не спорили, на равных беседовали обо всем, что их волновало, рассказывали друг другу о любой мелочи; расставаясь, они ни о чем не договаривались, никогда не бывало такого, чтобы один из них пытался лезть в дела другого, однако, уходя, Оливер всегда знал, чем сын собирается заняться сегодня. Кому это ты оковываешь железом двуколку? А, это для загородного поместья консула Юнсена! А эта красивая ширма тут откуда— вчера ее еще не было? Ах, доктор прислал. Да, вот это сын, вот это Абель,— смотрите, ведь он же работает для самых важных людей в городе!

— Так что ты считаешь насчет того парового молота, о котором я говорил тебе в прошлый раз?— спросил однажды Абель.— Ты обещал хорошенько все обдумать.

Естественно, Абель и мысли не допускал, что отец станет забивать себе голову каким-то там фантастическим молотом, однако ведь недаром же его считали хорошим парнем— он просто обязан выслушать мнение

отца, прежде чем принять какое-то решение! С кем из близких он мог еще посоветоваться? А отца он уважал, никогда не относился к нему свысока, да и кроме того нужна же ему хоть чья-нибудь поддержка.

— Ну что ж,— важно начал Оливер,— я, как ты знаешь, немало поездил по свету на своем веку, побывал во многих странах, видел разных людей. Я действительно обдумал это дело со всех сторон, и вот тебе мое слово: если ты можешь себе это позволить— не сомневайся, покупай!

— Да?

— Это я тебе говорю! Ведь ни в городе, ни в округе ни у кого такого молота нет; вот увидишь, повсюду только и разговоров будет, что о нем, а как врежет он по железяке, да как посыплются искры... эх!

— Что ж...

— С этой штуковиной ты наверняка попадешь в газеты, уж поверь моему слову. Я-то знаю— ведь и обо мне немало писали, когда я в бурю и дьявольский шторм спас и привел в гавань иностранную шхуну. Да, тогда, помнится, я сразу же послал за консулом, чтобы он пришел и составил протокол. Сколько народу высыпало тогда на пристань посмотреть! А через три дня мое имя появилось в газете.

— Ага.

Уж о чем, о чем, а об этом событии Оливер мог рассказывать без устали по нескольку раз, надоедая всем и каждому. Но и о молоте он не забывал, делая вид, что мысль о нем прочно засела ему в голову. Будь у него возможность, обязательно помог бы сыну, но как только денешки у него заведутся, Абель вполне может на него рассчитывать, пусть не сомневается. «Погоди-погоди, дай-ка подумать!»— с глубокомысленной миной сказал он, как будто такая возможность и впрямь представлялась ему вполне реальной и близкой. Но ведь должен же существовать какой-то выход? Если он не придумает ничего лучшего, то можно в конце концов каждую ночь выходить в море за плавником— продать его ничего не стоит.

Разумеется, все это он болтал просто так, по доброте душевной. Денег после ухода отца у Абея не прибавилось, наоборот, даже убавилось— он проиграл ему на пари две кроны. Было это так. Абель сказал:

— Теперь тебе, пожалуй, уже не под силу выходить в море по ночам— годы уже не те.

— Подумаешь,— отвечал отец,— руки и плечи у меня по-прежнему сильные.

— Ну да, ты, небось, и эту болванку-то теперь не поднимешь?

— Что? Ту, что я подымал еще в прошлом году?

— Да ведь с тех пор уже год прошел. Нет, ни за что не поднимешь! Спорим на две кроны?

Даже не поплевав в ладони, Оливер поднял болванку и таким образом победил.

— Оставь себе денежки! — сказал он.

— Бери-бери, не то сам этой болванкой получишь,— грубовато заметил Абель, протягивая ему бумажку.

Такие вот шутливо-дружеские отношения установились между ними.

Ни один из них теперь ни словом не упоминал о Лидии-младшей, а тем более о женитьбе; нет, Абель стал теперь постарше, заметно посерьезнел. Волосы на его руках курчавились по-прежнему, но ведь он стал хозяином в кузнице, занял место прежнего мастера — как тут не повзрослеть. Кроме того, тут была и другая причина — сказанное Лидией-старшей не прошло для него даром. Сам он, конечно, никогда в этом не признался бы, но в тот вечер пару лет назад он получил от старой ведьмы хороший урок, который никак не шел у него из головы. Ее слова подействовали на него отрезвляюще, как щелчок бича, как удар грома; следствием этого было то, что теперь он старался держаться подальше от дома Йоргена-Рыбака. Что ж, как он и обещал, он не будет больше стоять у нее на пути! Когда Эдеварт, ее брат, вернулся домой из Новой Гвинеи — или откуда-то там еще, — Абелю тут же об этом сообщили, но он все так же продолжал обходить их дом стороной. Потом как-то раз встретил на улице Лидию-старшую; она была весьма приветлива. «А, это ты, Абель, ну, здравствуй, здравствуй!» Походя она сказала ему еще пару слов, он вежливо отвечал. А несколько недель спустя он встретил и предмет своих воздыханий, Лидию-младшую. Удивительно, но он почувствовал, что вовсе не рад этой встрече; кроме того, именно в данный момент он меньше всего хотел ее видеть — он как раз возвращался домой из кузницы и был, как всегда в конце дня, чумазый и насквозь прокопченный. Когда же он понял, что встречи не избежать, он сперва почувствовал неприятную дрожь в конечностях, однако сумел взять себя в руки, равнодушно поздоровался и прошел мимо. Странно, но за эти недели

он стал каким-то робким, стеснительным. Потом он еще несколько раз встречал ее в городе; иногда она шла с сумками и свертками в руках; раньше он не преминул бы предложить свою помощь и проводить ее, теперь же не стал этого делать.

Нет, о женитьбе он теперь и не вспоминал.

Желая слегка позлить отца, он воскликнул:

— Эге, да я вижу, в этом году ты поднимаешь эту штуку не так высоко, как в прошлом!

— Не так высоко? — возмутился Оливер. — Да я подниму ее, даже если ты сядешь сверху!

Может показаться, что Оливер был в особо хорошем расположении духа, раз шутил так весело и беззаботно. Однако, напротив, как раз сегодня его мучило какое-то дурное предчувствие. И точно, когда он пришел в свою каморку в пакгаузе и, приведя себя в порядок перед зеркальцем, начал работать, все мысли его были лишь об одном: ему снова грозит опасность! По дороге к складу он встретил адвоката Фредриксена, тот опять был в городе! Вымогатель, кровопийца проклятый! Видели бы вы, как он посмотрел на инвалида — как на свою собственность. А ведь прошло уже два года с тех пор, как они виделись в последний раз.

Впрочем, Оливер преувеличивал, адвокат спокойно прошел мимо него, погруженный в свои мысли, и даже его не заметил. Однако теперь от прежнего мужества Оливера мало что осталось: внутренний карман опустел, приподнятое настроение развеялось. Придя на обед домой, он имел серьезный разговор с Петрой; правда, для нее это не было новостью — она и сама уже успела встретить адвоката.

— Он что-нибудь тебе сказал? — поинтересовался Оливер.

— Нет, вот еще! Станет он разговаривать со мной на улице!

— Ну и что, как он тебе?

— В каком смысле — как? Я на мужчин не заглядываюсь, а на него и подавно! Эта старая свинья достаточно уже поиздевалась надо мной в прошлый раз.

— Мне почудилось, вид его ничего хорошего для нас не сулит.

Подумав с минутку, Оливер продолжал, что, по его мнению, теперь адвокат Фредриксен снова примется строить им козни.

— Я, по крайней мере, больше к нему не пойду, — решительно сказала Петра.

Так что ж, лучше будет, если все они останутся без крыши над головой? Не слушая ее возражений, Оливер твердо стоял на своем: никогда еще опасность остаться бездомным не была для них так реальна. Раньше они еще хоть как-то могли надеяться, что адвокат отнесется к ним по-человечески, но теперь, когда он, по-видимому, намерен всерьез взяться за несчастного калеку, Петре не остается ничего другого, как снова идти к нему и еще раз попытаться.

— Ну как, пойдешь? — спросил Оливер.

Немного подумав, Петра стала отказываться уже не так решительно. Однако ее еще многое останавливало: у нее ведь, в сущности, даже не в чем к нему пойти.

— Не в чем?

Ну да, нижняя юбка совсем истрепалась. А блузка? Нет, для такого дела ей абсолютно необходима новая — ну, такая, с глубоким вырезом, знаешь? Да и все остальное тоже.

Ну, если дело только за этим, то Оливер может достать одежду — возьмет в кредит, да и дело с концом. Он снова повеселел, сдвинул фуражку набекрень и с видом кормильца семьи громко, как перед публикой, заявил:

— Сейчас же иду в магазин готового платья и принесу тебе все эти тряпки!

Что ж, когда нужно, Оливер мог действовать решительно.

XI

Однако Оливер и его дом меньше всего заботили адвоката Фредриксена; на уме у него, как, впрочем, и у всех, было сейчас совсем другое. Как раз в эти дни городок постигло такое испытание, такое тяжкое потрясение, что по сравнению с этим все остальное, даже ограбление почты, выглядело чем-то второстепенным. Пароход «Фиа» затонул! Что могло сравниться с этим, особенно если учесть, что, как оказалось, «Фиа» не была застрахована, и теперь самому дважды консулу Юнсену грозило банкротство и разорение.

Да, все остальное отступало теперь на второй план.

В городе и раньше происходило немало важных событий, таких как, например, смерть старого директора школы, того самого, что знал все языки и обучал многие

поколения горожан, вплоть до последнего, премудростям грамматики и других наук. Так вот, он умер и был похоронен, а с ним и вся его ученость. Другое событие также явилось предметом жарких пересудов у колодца: жена доктора вот уже два месяца жаловалась, что забеременела. С ней это было впервые; Господи, как же ей этого не хотелось, какое отвращение и ужас испытывала она — неужели же ничего нельзя сделать, почему судьба так жестока к ней?! И вот в один прекрасный день оказалось, что докторша уже не беременна. «Как!» — вскричали женщины у колодца; одни перестали качать воду, другие, уже направлявшиеся было домой с полными ведрами, застыли на месте как вкопанные. Что ж, она ошиблась, что ли, в самой себе не могла разобраться, значит, она вовсе и не... Но нет, чепуха! Не может такого быть! Все же верно говорят — неисповедимы пути Господни: одни женщины вынуждены рожать каждый год, другие — и вовсе избавлены от этого. Вот что значит быть замужем за доктором — он человек ученый, что захочет, то и сделает, ему это раз плюнуть...

Так что недостатка в сенсациях вроде бы не было.

Но однажды утром как будто раскаты грома прокатились над колодцем — в город пришло известие о гибели «Фии». Сообщил об этом Шелдруп Юнсен, он прислал телеграмму из Нового Орлеана; телеграмма была трехдневной давности, в ней вкратце указывалось время и место гибели и выражалась надежда, что со страховкой все в порядке. Однако как раз с ней-то дело обстояло неважно. Это подействовало на маленькое общество у колодца как удар молнии.

Корабли были главным источником существования этого приморского городка; любая женщина здесь прекрасно знала, что означает для судна страховка, так что уж кто-кто, а дважды консул Юнсен это также хорошо понимал! И ведь это же как раз и входило в круг тех важных забот, которые он взял на себя, оставив на долю Бернтсена хлопоты по управлению лавкой и салоном готового платья! Известие привело к столкновению между консулом и его старшим приказчиком: консул был уверен, что отдал Бернтсену распоряжение продлить страховку, Бернтсен же соглашался, что да, когда ему это было приказано в прошлый раз, он действительно продлил ее, но и только, с тех пор никаких дополнительных указаний на этот счет от консула не поступало.

— Но ведь я велел тебе возобновлять ее регулярно,— настаивал консул.

— Ничего подобного,— отвечал Бернтсен,— из ваших слов, господин, этого вовсе не следовало.

Консул рвал на себе волосы и божился, что сказанное им имело лишь один смысл—делать это всегда, всю жизнь! Неужели же Бернтсен и сам не мог это понять—ведь видел же он, что творится на рабочем столе у консула: пачки ежедневных писем, отчеты для двух правительств, разные там книги,—одним словом, дикий, невообразимый хаос! Что ж, Бернтсен сам сообразить не мог, что ли?!

Да ведь он, Бернтсен и так делал достаточно, иначе хаос этот был бы еще большим.

Но ведь консул подготовил все бумаги для оформления страховки и положил их на самое видное место.

Бернтсен видел их, они лежали на столе чуть ли не три недели, а потом исчезли.

Что ж, по-видимому, консул счел, что все наконец оформлено, и убрал их. Ну да, черт возьми, конечно, теперь консул все вспомнил! Он как раз еще говорил, что надо бы выслать команде страховую премию, и тогда же попросил старшего приказчика не забыть оформить страховку. Господи помилуй, что же теперь с ним будет!

В кабинет, пошатываясь, вошла супруга консула; она плакала, заламывала руки, поминутно сморкалась и вытирала платочком слезы, всхлипывала и причитала дрожащим голосом; потрясение заметно отразилось на консульше—она вся пожелтела: у нее была больная печень. Пришла и дочь, фрекен Фиа; ее реакция была несколько иной—она не хотела видом своих переживаний усугублять родителям тяжесть постигшего их несчастья.

— Что ж, слезами горю не поможешь,—просто сказала она,—надо попытаться стойко встретить выпавшее на нашу долю испытание.—В любом случае, сказала она, они должны показать всем, что остаются по-прежнему культурными людьми; она, со своей стороны, будет работать еще напряженнее, ведь в конце концов у нее остается все то же призвание и талант; две копии, снятые ею в Лувре, имели успех—она сейчас же выставит их на аукцион. Так что не надо так расстраиваться, папа!

Но консул, казалось, ничего не видел и не слышал вокруг себя.

Зато был в городе другой человек, который все прекрасно видел и слышал,—адвокат Фредриксен! Оказыва-

ется, черт возьми, он и вправду верно все рассчитал; о, как упивался теперь своей дальновидностью этот счастливый победитель! Проведя все это время на бесчисленных заседаниях парламента и своей комиссии, он вернулся наконец домой. Лицо его даже как будто посвежело, с него исчезло прежнее ненасытное выражение; одному Богу известно, быть может, это было следствием каких-нибудь сеансов массажа? Иначе откуда бы взяться этой мягкой улыбке, этой поистине душевной кротости, озарявшей его теперь? Вполне возможно, определенное влияние здесь имело и то, что за время своего отсутствия он был избран председателем городской коммуны; однако нельзя же только этим объяснить, что адвокат не поленился посетить дома, отмеченные печатью бедности и скорби, и, жертвуя своим драгоценным временем, провести в каждом не менее получаса, выслушивая сетования и жалобы несчастных. Он побывал у дочери директора школы, недавно потерявшей отца, а также в доме старого почтмейстера, чей разум так и не восстановился, и со всеми был неизменно добр и любезен. Да, вот каким он теперь стал. И даже бесстыжему Олаусу-С-Луговины, который, едва он сошел на берег, принялся ему тыкать, называя просто Фредриксеном, он ответил лучистой улыбкой.

— Поднеси-ка лучше мой чемодан, Олаус,— мягко попросил он, на что нахал Олаус грубо возразил:

— Таскай свое барахло сам!

Прежде чем целиком отдаться исполнению своих тяжелых общественных обязанностей, прежде чем собрать городское руководство на первое заседание, адвокат Фредриксен позволил себе немного расслабиться и отдохнуть; его часто видели прогуливающимся в светлом костюме и шляпе с широкими полями, он также купил себе трость, постоянно курил сигару и вообще выглядел теперь совсем другим человеком. Какую цель преследовал он данными прогулками, что заставляло этого сурового человека каждый день устремляться за город, к красотам природы? Со стороны эта изысканная тяга к одиночеству выглядела довольно странно, похоже, здесь не обошлось без нежных чувств и любовных переживаний. Проходя как-то вечером мимо дома консула Юнсена, все с теми же неизменными бетонированными клумбами, благоухающей ароматом сиренью и порхающими над ней бабочками, он, увидев сидящих на веранде консульшу—против которой, кстати, он ничего не

имел,—фрекен Фию и самого консула, вежливо приподнял краешек своей огромной шляпы. Да, верно, он являлся председателем комиссии, чья деятельность была направлена непосредственно против консула; но зачем же переносить эти отношения в частную жизнь, а тем более на семью?

— С возвращением из Парижа в родные пенаты! — пророкотал он из-за забора, обращаясь к фрекен Фию.

Она подумала, что с момента ее приезда из Парижа прошло уже немало времени и, скорее, это его следовало бы поздравить с возвращением из стортинга, однако промолчала, лишь поблагодарив его небрежным кивком. Нет, все же трудно понять этого человека!

Вместо того чтобы продолжать свой путь, он оперся толстенькими ручками о забор и спросил:

— Ну и как, приятно снова оказаться дома?

— Да.

— Я тоже так думаю.

Консул, который также оказался на веранде, сидел погруженный в чтение газеты, однако, почувствовав неловкость ситуации, он на мгновение отвлекся и также поднес руку к краю шляпы, после чего немедленно снова углубился в чтение.

— Так вот, не могу с вами не согласиться, весьма приятно снова почувствовать себя дома. Даже мне, у которого нет такого дома, как у вас.

— Не хотите ли зайти? — пригласила его консульша.

— О, нет, благодарю вас, уже поздно. Я просто проходил мимо, знаете ли, прогуливаюсь перед сном. Поля за городом передают вам привет, фрекен Фию.

— Вероятно, прогулка доставила вам удовольствие?

— Это было изумительно! Представьте себе, величественный закат, живописные облака! Конечно, я не так разбираюсь в этом, как художники и прочие люди искусства, однако, на мой взгляд, это было просто потрясающее зрелище. Быть может, согласитесь на небольшую прогулку?

— Как, прямо сейчас? Нет, благодарю.

— Конечно, конечно, я и забыл — вы предпочитаете гулять в одиночестве.

Консул, не прерывая чтения, разжег потухшую сигару. Интересно, что в газете так привлекло его внимание? Да и с консульшей, как видно, что-то случилось. В прежние времена она обычно болтала без умолку, с радостью подерживала любую тему, предложенную ей адвокатом

Фредриксеном; теперь же она как будто онемела, а взгляды, которые она изредка бросала на адвоката, отнюдь не свидетельствовали о добром расположении к нему. Ох уж эти богатые и знатные, никогда не упустят случая подчеркнуть это! Взять, к примеру, их дочь — уж несколько лет как вполне взрослая девица, да и красоты ей, как говорится, не занимать стать, а все еще упрямится, причем исключительно из-за того, что богата и считается выгодной партией. А ведь, между прочим, адвокат Фредриксен мог бы во многом быть полезным их семье — он же теперь не кто-нибудь, а член стортинга, большой человек, а со временем — он твердо на это надеется — добьется и большего, все должно решиться на следующих выборах. И чего только он стоит здесь, у них под забором? Нет, это ниже его достоинства, ну, погоди, доберусь я еще до тебя, гордячка, да стоит мне лишь мизинцем шевельнуть!.. В столице он кое-чему успел уже научиться и не сомневался, что рано или поздно сумеет прибрать к рукам эту штучку.

Теперь же, по-видимому, ничего не оставалось, как попрощаться и уйти.

Мгновение спустя, консул оторвался от газеты и также потянулся к шляпе, однако увидел лишь спину и затылок адвоката. Подумаешь, какие мы высокомерные! Что ж он, вернулся к чтению? Ничуть не бывало. Широко зевнув, он отбросил газету, медленно, с трудом встал и сказал:

— Пожалуй, пойду лягу!

Дамы пожелали ему спокойной ночи.

Все дышало покоем и не предвещало никакой беды. Однако на следующий день грянул гром.

Адвокат Фредриксен услышал эту новость, бреясь в парикмахерской; выйдя оттуда, он встретил аптекаря, который подтвердил ему достоверность известия. Если прежде адвокат собирался, как и в предыдущие дни, чисто выбрившись, чинно проследовать на прогулку все тем же маршрутом мимо сада консула Юнсена, то теперь, узнав о гибели «Фии», он решительно изменил свои планы, круто развернулся и зашагал в сторону дома Бакалейщика-Ольсена. Походка его была уверенной, он шел, не скрываясь; что ж, он так и предполагал, и, как оказалось, был абсолютно прав. Разумеется, он с самого начала хотел пойти к Бакалейщику-Ольсену, куда ж еще? И с каждым шагом он все больше и больше убеждался в своей правоте!

Его ждали; при первых звуках его голоса щеки фрекен Ольсен слегка порозовели; она знала, что вот уже два дня, как он вернулся, однако до сих пор так и не побывал у них.

— Оказывается, в мое отсутствие меня избрали председателем коммуны,— оправдывался он,— так что сразу же навалилась масса работы, надо же было войти в курс дела. К вечеру же так уставал, что хотелось хоть немного побыть в одиночестве, погулять... Иначе, разумеется, я бы уже давно нашел случай засвидетельствовать фрекен свое почтение.

— Да, я слышала, папа с мамой толковали о вашем возвращении.

Продолжать она не стала, нет, не стала; однако если бы в этот момент он дал понять фрекен Ольсен, что теперь ей не удастся дольше отвергать его пылкие любовные притязания, вероятно, ее прежняя неприступность была бы поколеблена. Со времени их последней встречи прошло уже два года; она становилась все старше; те пара писем, которые она получила от него, не в состоянии были вдохнуть жизнь в день ото дня угасающие воспоминания о нем. Со вторым художником, сыном маляра, так ничего и не вышло,—ничего удивительного, художник, человек искусства, натура взбалмошная; он постоянно— вот именно, постоянно!— кем-то увлекается, однако при этом ему положительно не хватает серьезности. Подумать только, ведь в конце концов он выкинул-таки фортель: вышел на пристань и начал рисовать портрет Олауса-С-Луговины! И это после того, как он писал портрет консула Ольсена! Нет, это уже ни на что не похоже! Не то чтобы консул Ольсен считал себя такой уж важной персоной, просто не хотелось, чтобы о тебе зря болтали. И потом—выйти замуж за художника? Ну уж нет, никогда! Сестра ее уже попробовала, и что же? Оказывается, не так уж это и весело; она даже поговаривала о разводе—как раз они начали входить в моду в стране. У них было уже двое детей, и она с ними подолгу жила в доме родителей—это хоть как-то облегчало семейный бюджет; когда же она уезжала к мужу, родители, как правило, щедро снабжали ее деньгами и разными подарками, упакованными в бесчисленные коробки и ящики. Хотя, впрочем, в последний год произошли все-таки кое-какие изменения: художнику наконец удалось сделать себе имя, он выставял свои работы в Берлине, и ему

даже посчастливилось выгодно продать несколько картин. В результате теперь уже с его стороны следовали намеки на развод — ну, разумеется, сейчас, прочно встав на ноги, он уже мог себе это позволить. Все это так прискорбно, так глупо; правда, до сих пор катастрофы удавалось избежать, однако во всяком случае удачным этот брак не назовешь. Нет, что ни говори, а художники — люди ненадежные!

«А что же помощник нотариуса?» — спросите вы. Он уехал. В городке он пробыл около года, а затем уехал, получив где-то место ревизора; нельзя сказать, чтобы кто-нибудь был особо опечален этим. У преемника же его — молодого магистра юридических наук — была возлюбленная, с которой он уже даже был помолвлен, так что в городе его прибытие интереса не вызвало; фрекен Ольсен также не была здесь исключением. Достаточно сказать, что, когда молодой человек явился в дом консула с визитом, она даже не спустилась в гостиную — просто-напросто заперлась в своей комнате, да и к чему, спрашивается, ей было спускаться? Как-то раз она встретила его на улице; он производил впечатление беженца — какой-то нервный, измученный, погруженный в тягостные раздумья. И вдобавок ко всему — невеста и кольцо на пальце. Нет уж, благодарю покорно!

Так и сидела фрекен Ольсен дома, перебирая свои воспоминания, а годы все шли и шли. Сердце ее вовсе не тосковало по адвокату, однако нельзя сказать, чтобы он совсем выпал из поля ее зрения, — для нее он был синицей в руках. Да, между прочим, а как там обстоят дела с его видами на пост министра? Что ж, ее вполне можно понять — ведь когда-то же надо выходить замуж.

— Если хотите, можете закурить, — милостиво разрешила она адвокату.

Он заговорил о гибели судна — что ж, поделом этим Юнсенам. Подумать только, не застраховать пароход! И чем только занимается консул в своем кабинете, раз даже такую важнейшую вещь забыл сделать? Нет, всему есть предел! Конечно, следовало бы, наверное, посочувствовать людям — все-таки попали в беду, однако, Бог знает, может, даже неплохо, что этих Юнсенов постигло такое наказание. Все они всегда были напыщенными тупицами.

— Что вы, — возразила фрекен Ольсен, — уж Шелдруп-то, по-моему, вовсе не глуп.

— Не знаю, о Шелдрупе мне трудно судить — глуп он или нет,— равнодушно сказал адвокат.— Я говорю о стариках и дочери.

— Интересно, как отнесся к этому Шелдруп? Как вы считаете, что он будет делать?

Адвокат посмотрел на нее как на существо из какого-то иного мира; брови его удивленно поползли вверх:

— Странно как-то, что вы об этом меня спрашиваете. Какое мне до этого дело? Как будто мне больше думать не о чем, как о том, чем заняты разные там юнцы. Не знаю я, что он будет делать — по-видимому, то, что делал раньше. Ведь он, если не ошибаюсь, служит где-то продавцом, или что-то в этом роде?

— Шелдруп? Да он никогда не был продавцом!

— Ах так? Ну, да в сущности это безразлично.

— Может, теперь он вернется и займется делами отцовской фирмы?

Беседа эта, по-видимому, уже начала действовать адвокату на нервы, и он высокомерно заметил:

— У меня нет времени гадать, кому достанется эта обанкротившаяся фирма и жалкая лавчонка. Может быть, и Шелдрупу. Кстати, а образование-то у него есть?

— Образование? Что же, по-вашему, он делал все эти годы за границей?

— Вот как? Может, он закончил какое-то училище или даже университет за границей? Странно, что никто об этом ничего не слышал.— Однако тут адвокат понял наконец, что выбрал неверную тактику, и поспешил сказать:— В конце концов, речь не о Шелдрупе Юнсене. Я имел в виду только, что не мешало бы прочим членам этой семьи поубавить свою спесь.

Фрекен Ольсен решила вступить за Фию:

— Но ведь она так замечательно рисует.

— Вы так считаете?— Всем своим видом адвокат показывал, что вынужден с ней не согласиться. Когда же фрекен удивленно спросила:

— А разве вы придерживаетесь на этот счет иного мнения?— он, в свою очередь, ответил ей вопросом:

— Не лучше ли нам—вам и мне!—поговорить о чем-нибудь другом?

Он решил наконец перейти к цели своего визита.

Да, другой бы на его месте, пожалуй, на это бы не решился. Ведь он не знал, как себя с ней держать. Видно было, что фрекен Ольсен, мягко говоря, удивлена его холодностью и молчанием в течение всего этого года,

и ему пришлось спасти положение и всячески оправдываться, что, признаться, было делом отнюдь не из легких. Да и откуда у него взяться опыту делать предложение, одновременно осторожно выведывая размер приданого? А его всегдашний львиный рык? Нет, он, скорее, подходит для ожесточенных схваток и жарких дебатов в парламенте. Здесь же следовало шептать, едва дыша, быть может, чуть ли не петь. Действительно, другой на его месте давно бы сдался. Но он, презирая все опасности, смело приступал к делу.

Ему повезло — фрекен Ольсен не стала высказывать особых претензий. Конечно, его поведение в течение этого года вполне давало ей право на них, однако она ведь была уже не девочкой и умела трезво оценивать обстоятельства. Да и кроме того, главное, что и эта графиня Фиа Юнсен преуспела отнюдь не больше ее.

Тем не менее, с ее точки зрения, адвокат был слишком уж настойчив — ну, прямо как мужлан какой-то. «Что она думает об их дальнейшем сближении?» — без обиняков спросил он.

Она промолчала — что значит «сближение»? Однако, в то же время, слово это — очевидно, просто неудачно выбранное — не вогнало ее в краску, не заставило с негодованием удалиться.

Адвокат же продолжал разглагольствовать по поводу того, как он думал о ней все эти два года — она-то, вероятно, уже успела его забыть, но он — нет, он ничего не забыл; кстати, в качестве подтверждения, он сослался на два письма к ней. Это — документальное доказательство искренности всего того, о чем он сейчас говорит. Так что вопрос теперь только в том, могут ли они достичь определенного взаимопонимания и ответит ли она взаимностью на глубокую симпатию к ней с его стороны?

Ответа не последовало, хотя он ждал довольно долго. Наконец она сказала точно так же, как и он за несколько минут до этого:

— Не лучше ли нам поговорить о чем-нибудь другом?

Что это, снова жеманство с ее стороны? Однако ее слова о Шелдрупe Юнсене вселили в душу адвоката некоторое беспокойство: она так решительно протестовала против предположения, что он служит где-то продавцом, так явно надеялась, что фирма отойдет к нему. Что бы все это значило, да тем более в такой момент? Не в силах дольше выдерживать приторно-сладкий тон, он

решил действовать напрямик и поинтересовался, нуждается ли она еще в каком-нибудь времени на размышление. Что касается его, то тут вопрос ясен, он хочет раз и навсегда покончить с неизвестностью и явился к ней сегодня с единственной целью узнать, что она думает по этому поводу. Хотя, быть может, она действительно нуждается в каком-то дополнительном времени на размышление?

— Вот именно,— поспешно ответила она.

Неужели? Он едва может в это поверить после двух лет терпеливого ожидания и всего того, что было между ними. Да и кроме того, неужели ей не кажется, что их городок — просто-напросто гнусная дыра? Унылый, скучный городишко, где люди только и знают, что разоряются. Во всех других местах люди счастливы, радуются жизни. А здесь? Ну какие у них здесь, скажите на милость, могут быть развлечения?

— Я не привыкла к развлечениям,— слабо улыбнувшись, вставила она.

— И зря,— подхватил он. Ведь есть же места, где все по-другому: красивые улицы, роскошные витрины магазинов, парки, кафе. Неужели все это ее нисколько не привлекает? А какая там еда! Каждый может выбрать все, что душе угодно, сообразуясь только со своим вкусом,— ведь нет таких продуктов, которых бы невозможно было там достать. Все, что есть в жизни полезного и приятного, сосредоточено там: газеты выходят утром и вечером, повсюду играет музыка, над зданием стортинга развеваются флаги; по воскресеньям можно весь день не вставать с постели или ходить по театрам, кататься на трамвае, гулять в Студентерлунден, слушать умные лекции... А здесь?! Да стоит ей только захотеть разделить с ним такую жизнь, и он тотчас же увезет ее отсюда.

Казалось бы, все это должно было пробудить в ней хоть какой-то интерес, но нет! Как видно, он снова выбрал неверный тон. Бог знает чем же тогда можно увлечь эту даму? Он незаметно сделал к ней шаг, другой и наконец приблизился вплотную. О, кое-чему он все же научился в столице! Все с той же отчаянной решимостью рука его обвила ее плечи.

— Милая фрекен Ольсен,— сказал он, да-да, именно так он выразился.— Милая фрекен Ольсен, я надеюсь, что мы сможем понять друг друга...

Она резко встала, однако, поднявшись, не поспешила скрыться за дверь, как можно было бы ожидать; как

видно, она решила не делать из случившегося большой трагедии и ограничилась тем, что сказала, пристально глядя ему в глаза:

— Господин Фредриксен, я надеялась, что вы порядочный человек...

— Хм, разумеется. Но ведь обычно дамы не так строги и с меньшей суровостью воспринимают невинное ухаживание,— возразил он с видом опытного волокиты и даже слегка подмигнул ей. Нет-нет, он и в мыслях не имел ничего дурного, это просто дружеский жест— ведь они старые друзья,— она же прекрасно знает, что он за человек...

— Да, несомненно,— подтвердила она, по-видимому отчасти удовлетворенная его объяснениями, и снова опустилась на софу.

Что ж, ему приходилось вращаться в обществе дам, уж чего-чего, а этого в столице ему хватало; он часто бывал на приемах, даже во дворце, слушал известных певиц, и все такое прочее. Скольких в высшей степени приятных и прекрасных дам он повидал за это время! Все эти глубокие декольте, обнаженные спины, броши, кулоны, бриллианты...

— Однако чтобы выбрать из их числа надежную подругу жизни, супругу,— нет, тысячу раз нет, об этом не может быть и речи!— гремел Фредриксен, решительно качая головой. Нет, в его памяти вечно жил образ некоей дамы из его родного провинциального городка; именно к ней, к этой даме, возводил он все свои робкие надежды...

— Ну да, разумеется, вы говорите о Фие!— воскликнула фрекен Ольсен.

Удар был нанесен неожиданно. Он моментально сбился с высокопарного тона и лишь сумел с трудом выдать:

— Но почему именно о ней?

Фрекен Ольсен смотрела на него с язвительной улыбкой.

— Фиа,— презрительно хмыкнул он.— При чем здесь она? Пусть себе разгуливает в своей красной шляпе и мажует свои картины. Можно ли представить себе существо более бесполезное, чем она, спрашиваю я вас? Однако довольно о ней, какое нам, в сущности, до нее дело? Не хочу, чтобы вы меня неправильно поняли, ну конечно, не спорю, искусство, всякие там картины, наброски и все такое— это великое дело. Но, Господи, как же она не

похожа на вас, фрекен. Нет, правда, не может быть и речи о том, чтобы сравнивать. Долговязая, тщедушная, худосочная, бр-р-р, Господи сохрани!

Вполне естественно, что такое явное предпочтение не могло оставить фрекен Ольсен полностью равнодушной; адвокат, в свою очередь, чувствуя это, не жалел красок: видно, не часто балуют ее столь высокими оценками ее внешних достоинств — так пусть хоть теперь порадуетесь! Фрекен Ольсен снова поднялась, однако на этот раз, чтобы пододвинуть ему пепельницу; эта ее заботливость, такой по-домашнему непринужденный жест опять всколыхнули в нем нежные чувства — он снова осмелел и взял ее за руку. Повторилась прежняя сцена.

— Ведите себя прилично, господин Фредриксен,— сказала она, не делая, впрочем, попытки удалиться, наоборот, она опустила в стоящее подле него кресло. Ведь в конце концов он не был каким-то коварным искусителем, не представлял никакой серьезной опасности. Просто, как и все мужчины, невоспитан и слегка грубоват,— ну да, впрочем, это им даже идет.

— Однако, признайтесь, ведь было время, когда вы были серьезно увлечены Фией,— сказала она.

Ха, Фией?! Да как могла она подумать, как могла произнести такое? Нет, вы только послушайте — эта жалкая пачкунья, эта немочь бледная! Куда ей там со всеми ее картинками; вот фрекен Ольсен — совсем другое дело, для нее он мир готов перевернуть! Да-да, вот именно! Искусство — это, конечно, хорошо, однако в повседневной жизни он куда больше склонен ценить ручки, ножки, фигурку, в общем, все то, чем может по праву гордиться фрекен Ольсен. О, фрекен! — он не находил слов.

А какие прелестные у нее губки!

— Это вы о Фие?

Черт возьми, фрекен Ольсен, когда хотела, могла быть дьявольски упорной. В ответ на это адвокат все ближе и ближе подвигался к ней и наконец, обвив рукой ее плечи, плотно прижался грудью к теплой спине. Разумеется, в то же время он не забывал приговаривать: он может сказать ей, у кого прелестные губки — да-да, он может сказать, кто, по его мнению, самая красивая и очаровательная девушка города, кого можно считать подлинным украшением, жемчужиной богатого родительского дома. Он бывал во многих, да-да, во многих знатных домах, в таких домах, какие ей и не снились, так что уж ему, слава Богу, есть с чем сравнивать; так вот, он готов

поклестся, что нигде и никогда он не встречал никого, кто бы хоть отдаленно напоминал своей внешностью или фигурой очаровательную фрекен Ольсен. А Фиа? Да судите сами, любезная моя фрекен Ольсен, Господи помилуй, ведь вы и Фиа—это же как небо и земля! У этой Фии, что бы она ни говорила, что бы ни делала,—вечно кокетство, разные там фокусы, жеманство, выкрутасы...

Упоминание о выкрутасах позабавило фрекен Ольсен—она улыбнулась; видя это, адвокат еще более осмелел:

— Да-да, и так она пыжится, так крутится, так жеманится—чуть из платья не выпрыгивает!

Он почувствовал, что плечи фрекен Ольсен слегка шевельнулись; она сделала движение, по-видимому собираясь встать, однако рука его, лежавшая у нее на плечах, удержала ее.

Да, вот именно, продолжал он. Да, кроме всего прочего, ведь не собирается же он в самом деле жениться на одной только видимости женщины, практически на воздухе, ха-ха-ха! Ведь он вовсе не из тех, кто чурается маленьких радостей жизни,—нет, напротив, он не прочь иной раз и попроказничать, не чужд разного рода удовольствий. Да и фрекен Ольсен, если он не ошибается, также привыкла потакать своим маленьким слабостям, не так ли?

— Пустите,—сказала она и снова передернула плечами, пытаясь сбросить его руку.

Оставив игривый тон, он снова вернулся к делу: наконец настал его час, говорил он ей, на следующих выборах он наверняка войдет в народное представительство, а это почти автоматически означает, что его введут в состав нового правительства. Быть может, все это покажется ей слишком самонадеянным—однако в морском ведомстве как раз не хватает народного представителя, а ведь он как председатель комиссии по делам матросов лучше, чем кто-либо иной, разбирается в подобных вещах.

— Подумать только, и вы действительно станете министром?!—с восхищением пролепетала она.

— Так считают многие,—скромно ответил он. Ведь не думает же она, что он стал бы вот так, попусту хвастаться? Кроме того, что на это уже ясно намекали в газетах, он слышал и еще кое-какие закулисные разговоры.—И тогда, фрекен Ольсен,—с жаром воскликнул

он,—если все сложится так, как я говорю, смею ли я надеяться, что вы станете наконец женой известного политика, супругой министра?

Ответа не последовало.

Пустившись в дальнейшие рассуждения, он, быть может, сам того не желая, дал ей понять, что, в общем-то, не пропадет и без нее—знакомств у него хоть отбавляй,—но, разумеется, фрекен Ольсен всегда была и остается предметом его самых сокровенных мечтаний. При этом он исходит из того, что ее родители, консул с супругой, разумеется, не будут иметь ничего против,—а как же иначе, ведь она теперь будет не просто женой адвоката—супругой министра! Так каков же будет ее ответ, может ли он надеяться?

Наконец, прервав молчание, она ответила:

— Я не в состоянии сейчас ничего вам сказать.

— Вы имеете в виду, что хотели бы все еще раз хорошо обдумать?

— Да-да, конечно, я подумаю.

— Но как долго?

— Не знаю. Давайте сейчас не будем больше говорить об этом.

— А если мы вернемся к этому вопросу после выборов?—спросил он.

— Когда это будет?

— Приблизительно через месяц—недель через пять. Мне хотелось бы, чтобы к тому времени, как я снова уеду в Христианию, вы сопровождали меня в качестве супруги—я чувствую, что вы мне нужны, я люблю вас. Мы будем жить в собственной квартире, принимать у себя разных влиятельных людей, политиков. Ах да,—вот видите, я не забыл!—кроме того, мы сразу же купим пару картин вашего зятя, я умею держать свое слово—как сказал, так и будет; а вам я предоставлю выбрать их на свой вкус. Договорились—ждемся выборов?

— Да-да.

И тем не менее, как и в прошлый раз, она ровным счетом ничего ему не обещала. Когда адвокат откланялся, она еще некоторое время сидела, размышляя. Нет, определенно, жаловаться ей не на что: ничто еще не потеряно, ее вовсе не бросили, положение складывается отнюдь не худшим образом. Может статься, что она выйдет замуж за человека, в честь приезда которого их родной город будет вывешивать флаги,—кто еще может этим похвастаться?

Она услышала шаги на лестнице. «Неужели снова он?» — подумала фрекен Ольсен. Однако, как оказалось, ее подстерегала большая неожиданность: в гостиную в сопровождении ее отца вошел консул Юнсен: да-да, дважды консул собственной персоной, чьей ноги никогда не было в этом доме, пришел сегодня к ним, чтобы продать Бакалейщику-Ольсену свое загородное поместье.

ХП

Между тем положение, в котором оказался дважды консул, было куда серьезнее, чем представлялось многим. Он ведь даже не пытался скрыть, что «Фиа» погибла незастрахованной, наоборот, потрясенный известием о катастрофе, он сразу же во всеуслышанье заявил об этом; последствия такого шага не замедлили сказаться — консул и старший приказчик Бернтсен с трудом сдерживали толпу встревоженных кредиторов. Все эти дни Юнсен и его правая рука непрерывно совещались и пытались хоть что-то предпринять: консул даже попробовал по телеграфу застраховать погибшее судно задним числом, сделав это, правда, на собственный страх и риск; Бернтсен же, узнав об этой его безумной затее, моментально, также ни с кем не советуясь, аннулировал телеграмму. Что за умница этот Бернтсен!

Однако умница Бернтсен тоже был обыкновенным человеком. Посреди всей этой суматохи, охватившей город, он сумел сохранить ясную голову и не забывал чисто по-человечески подумать и о себе самом.

Люди собирались на улицах небольшими кучками и толковали о катастрофе; подумать только, ведь разорился-то не кто-нибудь, а сам дважды консул, человек, который никогда ни в чем не нуждался, ни в чем себе не отказывал, тот, с именем которого была прочно связана судьба всего городка; было время — он щедрой рукой раздавал направо и налево, выстроил себе огромный особняк с балконом и верандой, и вот — он банкрот. Что было известно об этом в городе? Да практически все — и всем. Вчера, например, к нему неожиданно прибыл господин из Христиании с определенными законными требованиями! А сегодня — другой господин, из Гамбурга, и также с требованиями! А там, глядишь, пожалуют и третий, и четвертый, и так каждый день! Да, люди понимали, что это — настоящая катастрофа.

Она повлияла на всю жизнь маленького городка и явилась предметом живого обсуждения во всех его уголках; влияние это не замедлило сказаться на практике доктора, а верфь и вовсе закрылась. Хенриксен-С-Верфи, окончательно потеряв голову, так и сказал:

— Ступайте-ка домой, ребята, я больше так не могу!

Сейчас, когда город лежал в предсмертных конвульсиях, по-видимому, было самое время одуматься и обратиться к Господу. Ведь уже несколько лет назад поступило первое предостережение — то самое пресловутое ограбление почты, — но что поделаешь, люди они и есть люди. Тогда этому придали не больше значения, чем рождению теленка с двумя головами. Так что ж сейчас? Неужели же и это мощное потрясение — а банкротство дважды консула можно было сравнить разве что с подземным толчком — не пробудит наконец народ? Что ж это тогда за люди! В городской газете было напечатано обращение, где народ горячо призывали снова обратиться к вере, женщины у колодца с жаром обсуждали этот призыв, он распространился и дошел до каждого дома, однако не похоже было, чтобы люди менялись, по крайней мере, по ним это было незаметно; наоборот, казалось даже, что день ото дня положение ухудшается. На том же пароходе, на котором приплыл господин из Гамбурга, в городок прибыла также одна пожилая дама — давно и хорошо известная в городе особа — учительница танцев! Нет, действительно, весь мир как будто с ума сошел! Именно сейчас, когда всем следовало бы обратиться наконец к религии, стать богобоязненными, приезжает эта учительница танцев, чтобы распространить свое пагубное влияние и на подрастающее поколение. Что ни говорите — люди есть люди!

А что же Бернтсен? Однажды, закрыв, как обычно, лавку, Бернтсен размеренным шагом, так, будто ничего не произошло, пересек улицу, минуя одну за другой кучки оживленно беседующих людей. Что ж, наверно, так и должен был вести себя старший приказчик разорившегося хозяина — блюсти интересы своего патрона и делать вид, будто перспективы торговли остаются самыми радужными. Однако в данный момент он пекся о своих собственных интересах.

В тот вечер старший приказчик Бернтсен, против обыкновения, не направился сразу же домой, в свою маленькую каморку под самой крышей; нет, он уверенно вошел в дом К. А. Юнсена и спросил, не мог ли бы он переого-

ворить с фрекен Фией. О том, что самого консула в данный момент нет дома, он прекрасно знал заранее. После свалившегося на него несчастья консул охотнее бывал где угодно, но только не у себя. Из гостиной до Бернтсена доносились посторонние голоса — Алиса Хейберг, Констанс с верфи и даже фрекен Ольсен, а также дочь почтмейстера, та самая, что работала теперь в магазине готового платья, пришли в дом консула, чтобы не оставлять фрекен Фию наедине с ее горем.

Фрекен Фиа же, как и подобает настоящей графине, умела показать, что если ее и постигло какое-то несчастье, то ей хватит и воспитания, и культуры, чтобы с честью переносить все невзгоды; в данный момент она развлекала дам, пересказывая им содержание недавно прочитанной ею индийской сказки, которую она собиралась в скором времени иллюстрировать.

Пригласив старшего приказчика Бернтсена в соседнюю комнату, которую в доме называли будуаром, она присела и приготовилась выслушать его. В гостиной же, между тем, решили, что Бернтсен, по-видимому много беседуя в последние дни с консулом, захотел также переговорить еще с кем-нибудь из домашних, а поскольку фру Юнсен отнюдь не жаловала его и в дни своего процветания, то к ней он не пошел, а решил встретиться с Фией. Что ж тут удивительного, с кем еще он мог серьезно разговаривать здесь? Вероятно, сейчас он излагает ей последние новости, рассказывает, какой опасный поворот приобретают события, рисует ей картину гибели отцовской фирмы. О чем еще он мог бы с ней беседовать? Что ж, во всяком случае, времени на это ему потребовалось совсем немного; буквально через несколько минут Бернтсен уже покинул дом консула, а фрекен Фиа все с тем же, что и прежде, спокойным и благожелательным выражением лица вернулась к дамам. Они смотрели на нее с искренней жалостью — наверно, Бернтсен приходил, чтобы сообщить о каком-то новом несчастье, постигшем семью. Но надо отдать ей должное, Фиа держалась хорошо.

И тут, неожиданно для всех, Фиа проявила свое самообладание в полной мере. Она и так уже была сильно раздосадована тем назойливым сочувствием, которое выказывали ей эти девицы, стоявшие неизмеримо ниже ее как в моральном, так и в социальном плане. Войдя в комнату, она посмотрела на них с какой-то странной улыбкой.

Дамы тут же повеселели и заулыбались в ответ.

— Что, хорошие новости? — спросили они.

— Как вы думаете, зачем он приходил? — вопросом на вопрос ответила им Фиа. — Он сделал мне предложение.

Последовало минутное замешательство, во время которого все молчали.

— Кто? Бернтсен?

Фиа с широкой улыбкой кивнула:

— Вот именно, приказчик моего отца.

Еще минуту никто не мог оправиться от неожиданности. Затем Алиса Хейберг, которая хоть и не была богата, однако никогда не упускала случая подчеркнуть, что принадлежит к высшему обществу, проговорила:

— Ну и осмелели же эти лакеи!

Фиа ответила:

— Да уж, некоторые слишком много себе позволяют.

Но как ни величественна при этом была ее гордая осанка графини, фрекен Ольсен не могла удержаться от некоторых мыслей. Сила духа ведь тоже хороша в меру. Вот перед ней Фиа Юнсен, отец которой вынужден был только что продать свое поместье; ни для кого не секрет, что дела его пришли в упадок, так что ж невероятного в том, что именно в этот момент к ней приходит приказчик с предложением руки и сердца.

— И что же ты ему ответила? — спросила фрекен Ольсен.

Брови Фии изумленно взметнулись вверх; она молча посмотрела на фрекен Ольсен.

— Мне вовсе не кажется, Фиа, что это такое уж нахальство с его стороны. Бернтсен ненамного старше тебя, со временем он, вероятно, откроет свое собственное дело, да и внешне он вовсе не такой уж урод.

Фрекен Ольсен была вовсе не прочь посмотреть, как эта гордычка Фиа Юнсен в конце концов скатится до столь незавидной партии; потому она и рисовала все эти перспективы в столь выгодном свете. Но Фиа — она лишь выразительно взглянула на нее: что с нее взять, ведь она из семьи этого Бакалейщика-Ольсена, они вечно в своем репертуаре! Нет, конечно, фрекен Ольсен не такая изысканная, утонченная и образованная барышня, она не умеет рисовать копии с картин известных мастеров и, разумеется, не так сильна в правописании, как некоторые, да и индийских сказок она не читает. Зато у нее есть

здравый смысл, и она считает, что рано или поздно даже Фие Юнсен придется-таки выйти замуж.

— Вероятно, Фиа, у тебя есть на примете кто-то другой,—сказала она.— В противном случае, я не понимаю, почему ты считаешь, что бедняга Бернтсен слишком далеко зашел.

Вот так, пусть получает, гордячка!

— Да полно, полно! — попыталась смягчить ее слова Алиса Хейберг.

— Затрудняюсь ответить! — сказала Фиа.

— А я повторяю, значит, кто-то у тебя уже есть.

Когда графиня ответила, голос ее звучал несколько более взволнованно, чем обычно:

— Да если б я только захотела, я бы себе хоть десяток нашла.

Снова наступило молчание. Видимо, всех четырех дам поразила названная ею цифра. Наконец фрекен Ольсен сказала:

— Ах, ну, коли так!..

— Именно так,—отрезала Фиа и в подтверждение своих слов кивнула.— Но даже если бы у меня не было на примете никого, то и тогда я не вышла бы за Бернтсена, да, впрочем, и ни за кого другого из этого города.

— Вот как? — Фрекен Ольсен поджала свои полные губки. У нее-то самой уже была синица в руках, причем именно отсюда, из города; что ж, на худой конец, конечно, и он сгодится, тем более если учесть, что не исключен вариант, когда в честь него в городе будут вывешивать флаги. Однако в то же время она не могла не почувствовать укола ревности — ведь она знала, что эта синица, прежде чем прилететь к ней, вилась вокруг Фии Юнсен! А сознавать это для нее было просто невыносимо!

— Дело в том, что я немного поехала по свету и кое-что повидала,—сказала Фиа.— Единственное, что меня интересует, это искусство, да и вращаться мне приходилось в основном в обществе художников, а не в кругу здешних господ.

Теперь уже и Алиса Хейберг почувствовала себя задетой: у нее ведь тоже имелся жених отсюда, из города,— Рейнерт, сын звонаря; правда, он был еще довольно юн, однако волосы у него так чудно вились, он был такой обходительный, а уж как он умел ухаживать! Да, в последний раз, когда этот веселый студент приезжал на каникулы, они немало времени провели вместе.

Фиа задумчиво покачала головой и пробормотала:

— О Господи, как бы смеялись сейчас надо мной мои друзья художники!

— Если бы ты вышла за Бернтсена?— быстро переспросила фрекен Ольсен.— Во всяком случае, мой зять не стал бы над тобой смеяться.

— Да, ты так считаешь?— с любопытством спросила Фиа. Казалось, это ее заинтересовало. Зять фрекен Ольсен—это ведь не кто попало, а художник, чье имя приобрело все бóльшую и бóльшую известность, новая восходящая звезда.— Кстати, интересно было бы узнать, что думает он о моих работах?— поинтересовалась она.

— Он говорит, что ты уж слишком утонченная, что тебе одинаково чужды и любовь, и ненависть. Не знаю, что именно он имел в виду, но он сказал, что такова, по-видимому, твоя натура, и потому ты никогда не выйдешь замуж.

Пропустив мимо ушей эти глупости, Фиа снова спросила:

— И все же, что он сказал о работах?

— Не помню. Кажется, он сказал, что в них не хватает огонька.

— Чего не хватает?

— Огонька. Точно не помню. Но он сказал, что ты слишком холодна, такого мнения придерживаются все художники.

Бедная фрекен Фиа; на этот раз она надолго замолчала и задумалась. Для нее это был чувствительный удар; когда наконец она заговорила, вид у нее был присмиривший.

— Он не видел моих последних копий из Лувра,— сказала она,— думаю, в них он бы нашел огонек. Кроме того, он не видел, разумеется, и тех рисунков, которые я задумала как иллюстрации к индийской сказке. А уж они-то, мне кажется, должны кое-кому открыть глаза.

Когда дамы ушли, Фиа отправилась к матери, причем впервые за все это время она казалась по-настоящему взволнованной и удрученной. Мать ее, утомленная горестями и переживаниями этого дня, уже легла; визит дочери, как видно, особой радости ей не доставил. Что хочет от нее Фиа?

Разумеется, Фиа и здесь показала себя с лучшей стороны и вежливо спросила, не помешает ли она, не зайти ли ей как-нибудь после— дело в том, что она... просто ей... ну, да в общем все это неважно...

— В чем дело, Фиа?

— Нет-нет, я вижу, тебе нехорошо, да и в общем-то ничего спешного, это вполне может подождать. Но скажи, мама, ведь раз я художница, то не стоит особо болезненно реагировать на критику, верно?

— О чем ты говоришь, девочка, да ведь у тебя всегда были только хорошие отзывы?

— Ну да, конечно! О, я им всем еще покажу! Вот увидишь, мама, завтра я начну одну работу—это будет лучшее из того, что я когда-либо делала.

— Что, приходил Бернтсен?

— Да. И знаешь, что он хотел?

— Кажется, догадываюсь.

— Сомневаюсь. Он сделал мне предложение.

К изумлению Фии, мать не подскочила в постели и не потребовала немедленно уволить старшего приказчика Бернтсена, нет, она продолжала спокойно лежать и, казалось, задумалась.

— Ты ведь знаешь, конечно, что папа продал поместье?—спросила она.

— Какое поместье?—Фиа ничего не знала. Новость явилась для нее полной неожиданностью, и она тут же заявила, что сделку следует расторгнуть. Подумать только, продать поместье!

— Продал он его Бакалейщику-Ольсену.

Фиа тяжело опустилась на край кровати. Так вот почему явилась к ней сегодня вечером эта четверка юных дам; вероятно, дочка Бакалейщика-Ольсена взяла их с собой, чтобы они стали свидетельницами ее триумфа. Да, если бы не искусство, Фиа была бы сейчас полным банкротом, однако она богата, по-прежнему богата!

— Мы много говорили об этом, папа и я,—продолжала мать,— нам посоветовал это Бернтсен, и мы согласились, что в этом случае у тебя по крайней мере останутся хоть какие-то средства к существованию.

— У меня?—с изумлением сказала Фиа.—Но у меня есть мое искусство.

Мать с дочерью долго еще обсуждали создавшееся положение. О, фру Юнсен давно уже начала задумываться, она даже, можно сказать, предвидела этот маневр Бернтсена, да и вообще с некоторых пор она стала гораздо лучше понимать людей, чье положение в городе было ниже ее собственного. Да и что такого ужасного, собственно, сделал этот Бернтсен? Практически то же самое, что сделал некогда ее собственный муж; так по-

ступают многие мужчины. Все мы живем на свете лишь раз.

В этом ключе и шел у них разговор; Фиа упорно стояла на своем и никак не хотела спускаться с небес на землю. Художники считают, что она слишком холодна,— вот их благодарность за все, что она для них сделала! Ведь она же всегда помогала им, верно, мама?

— Да, разумеется. Но все это в прошлом. Теперь гораздо больше возможностей для этого у Бакалейщика-Ольсена, у консула Ольсена.

— Но ведь он такой некультурный,— утешала себя Фиа.

— Что ж с того? Зато он богат. Знаешь, ведь у них в доме даже полоскательницы для рук и те хрустальные.

Тем не менее мать с дочерью все же слегка успокоились и повеселели. Даже фру Юнсен, чье лицо в последние дни совсем пожелтело от всех этих горестей и забот, слегка улыбнулась и сказала:

— Ну, ничего, вот скоро придет Шелдруп, тогда посмотрим. Может, он сумеет найти какой-нибудь выход.

— Да-да, конечно, не волнуйся, мама! А художники — что ж! — не так уж сильно они, в сущности, и критикуют — просто считают, что моим работам чуть-чуть не хватает огня. Ну, да я им еще докажу — они все увидят!

И она принялась дальше развивать эту тему.

Бедная фрекен Фиа! Ей было уже немало лет, некогда нежная, цвета молодого персика кожа ее лица утратила свою свежесть; становилось все более заметно, что она уже перезрела, да и за внешностью своей она ухаживала теперь не так старательно, как прежде. За все эти годы она так ни разу и не испытала счастья, как, впрочем, и настоящего несчастья в ее жизни еще не было; казалось, ничто не в силах заставить ее измениться; она была бесстрашна и удивительно самоуверенна. Она никогда не ошибалась, поскольку не рисковала. Да и к чему ей было рисковать? Всегда была такой порядочной, такой сдержанной. Весь запас своей девичьей и материнской любви изливала она на свои картины; для них у нее всегда находилось время; было ли это обусловлено некими внутренними причинами или чисто внешними обстоятельствами — как бы там ни было, но она рисовала, творила. Никто никогда не замечал, чтобы она была недовольна собой, всегда у нее все было в порядке, она никому не

причиняла вреда, не позволяла себе ничего лишнего, со всеми была одинаково благожелательна, приветлива. Вполне возможно, что вопросы «кто я?» и «что я?» и приходили ей когда-нибудь на ум, но в таком случае она обращала их не к людям, а к небу над головой или же к земле под ногами. Что ж, может, она и была права!

Пожалуй, единственное, в чем Фиа винила себя, это в том, что, ступая по дороге, придавливает землю весом своего тела. Видит Бог, не может же человек прожить жизнь, ни разу ни в чем не испытав раскаяния.

— Это я-то холодный человек?—повторила она, вставая.—Это я-то не умею ненавидеть?

Настроение у обеих дам поднялось настолько, что они уже были в состоянии шутить. Мать села в кровати и даже начала посмеиваться; они с дочерью обладали схожим темпераментом— всегда были рады отвлечься от грустных мыслей.

Фиа разошлась вовсю— резвилась, вертелась, дурачилась, как могла, подталкивала мать локотком, томно закатывала глазки, изображая страстную влюбленную. Получалось это у нее вовсе не так уж плохо. Обеими руками она высоко подняла юбки, так что видны стали ее белые панталоны; это было поистине бесподобное, прямо-таки райское зрелище— причудливая пена кружев, разных подвязок, бантиков. Фиа игриво брыкнула левой ножкой. При этом вид у нее был такой озорной и веселый, что, казалось, никаких сомнений и быть не может— в самом что ни на есть скором времени она удивит братьев-художников и заставит их горько раскаяться в своих необдуманных словах. Оп-ля!— снова повторила она свое па. «Вот вам, смотрите, смотрите все, какая я на самом деле, лихая, взбалмошная!»— как будто говорила она. Она в третий раз вскинула юбки и продемонстрировала импровизированный канкан.

— Ну, полно, полно тебе, не хватает еще, чтобы ты что-нибудь себе сломала!

О, разумеется, во всем этом не было ничего безнравственного— просто невинное развлечение старой девы, однако зрелище этих ее сумасшедших прыжков рассмешило бы, пожалуй, и дерево.

— А где же наш любезный Бернтсен?— внезапно опомнилась она.— Уже ушел? Жаль! Если ты советуешь, мама, так почему бы и нет? Я согласна на все. Но, может, он так и стоит у дома и ждет? Что ж, в таком случае— пойду приведу его.

Однако вышло так, что этой жертвы от нее так и не потребовалось, благородный порыв пропал втуне. Судьба распорядилась так, что у Фии появилась возможность снова вернуться к своей прежней красивой и беззаботной жизни. А раз так, то к чему ее менять? В город приехал человек, который привел в порядок все дела, выручил фирму, вернул семье ее прежнее положение в обществе, словом, скрепил ослабевшие было обручи на бочке,— домой вернулся Шелдруп Юнсен!

Привел в порядок все дела? Да нет, как раз в некоторые он внес еще больший беспорядок. Ну, да ведь без этого не обойтись. Люди отпихивают один другого, перешагивают друг через друга, часть их падает и служит мостом, по которому проходят более удачливые и сильные, некоторые, самые слабые, те, кто не умеют сносить тычки и толкаться сами, погибают. И это неизбежно. Победители же, между тем, благоденствуют и процветают. Таков извечный закон жизни. Все это было прекрасно известно там, у колодца.

Примчавшись из Нового Орлеана, Шелдруп Юнсен с первых же шагов показал, что прибыл отнюдь не для того, чтобы кого-то жалеть или с кем-то миндальничать. Он ни в чем не упрекал старшего приказчика Бернтсена, возложив всю ответственность за случившееся исключительно на отца.

Консул возмутился: как, наверно, он ослышался?! Нет, это ни на что не похоже, почему, спрашивается, он должен отвечать за все? Ведь он же абсолютно ясно и недвусмысленно поручал Бернтсену позаботиться о страховке.

— А сам ты о чем думал? — жестко спросил Шелдруп.

Нет, с этим глупым, самонадеянным мальчишкой абсолютно невозможно разговаривать; он стал таким черствым, таким современным; он только и говорит теперь, что о фунтах стерлингов да о долларах. Он сама деловитость — перерыл все отцовские книги, как будто стремился найти как можно больше ошибок. Похоже, он действительно полагает, что отец ни о чем не думает. Да как он смеет! Ведь консул не только по праву всегда считался столпом общества — он к тому же, кроме всего прочего, еще и консул двух государств, недаром же он все это время составлял для них отчеты.

Однако оправдываться было бесполезно; в споре с сыном консул чувствовал себя все более и более беспомощ-

ным. В конце концов он намекнул, что собирается все распродать. Продав поместье, он уже обеспечил будущее Фии, ну а они с матерью как-нибудь обойдутся, в крайнем случае он может открыть какое-нибудь новое дело, быть может, страховое агентство...

На губах Шелдрупа играла презрительная улыбка. Видя это, отец почувствовал себя уязвленным до глубины души и еще раз уверенно повторил, что продаст фирму и выплатит все долги, как и подобает честному человеку.

— Мы ничего не будем продавать,— ответил на это Шелдруп.

— Нет, будем!— настаивал отец, упорствуя в своей самоотверженности.— И чтобы доказать тебе это, я сейчас же откажусь от обоих консульских постов.

— Ничего подобного!— жестко возразил Шелдруп. Да, действительно, дела с активами у них обстоят, прямо скажем, неважно. Он просмотрел книги и теперь может сказать, что в них есть кое-какие неточности.— Нехорошо, папа, ведь цифры— важная, я бы даже сказал, упрямая вещь, они не терпят никакой приблизительности, шутить с этим недопустимо! Но положение вовсе не так плохо, и знаешь, папа, мне даже кажется, что если действовать осторожно и с умом, то все можно еще исправить. Если к тебе будут являться все эти неугомонные господа из Христиании, Гамбурга, Гётеборга или Гавра— посылай их прямо ко мне!— твердо закончил он.

— Что ты говоришь?

— Да, но только с одним условием, папа,— ты в это не вмешивайся, тебе необходимо отдохнуть.

Наконец-то в нем проснулись сыновние чувства— он понял, что отец нуждается в отдыхе. Да и сам консул не был против того, чтобы отдохнуть, ведь всю жизнь он не знал ничего, кроме работы; за последнее время он сильно изменился— почти лишился волос, глаза потухли, днем у него не было ни минуты покоя, да и ночи почти не приносили облегчения.

— Но не могу же я в такой момент просто сидеть и бездельничать?— неуверенно заметил он.

— Я возьму все руководство фирмой в свои руки, а ты— отдыхай,— заявил Шелдруп.

Начал Шелдруп с того, что решительно расстался с частью людей и покончил кое с какими вещами, которыми традиционно занимался консул. Прежде всего, он

уволил Оливера Андерсена с места заведующего складом, далее — прекратил выплату пособия на обучение и выдачу бесплатной одежды филологу Франку, сыну Оливера; он уволил также и старика-дровосека, за крышу и харчи присматривавшего за домиком, где родилась фру Юнсен, порвал он и определенные деловые связи, бывшие у консула с Хенриксеном-С-Верфи!

И снова люди собирались в кучки на улицах и делились мнениями по поводу происходящего: никто не сомневался, что консул теперь отошел на второй план, а всеми делами заправляет Шелдруп. Вокруг было много тому подтверждений, и все последствия этого — как хорошие, так и дурные — тут же становились предметом обсуждения у колодца. О, разговоры об этом не смолкали ни на минуту. Вот, например, заметили, что фру Юнсен стала носить маленькую шляпку. Раньше-то она всегда ходила в шикарной шляпе с широченными полями, которые колыхались вверх-вниз в такт шагам. Ну так вот, а теперь у нее шляпка крохотная, дешевая, совсем как та, в которой все уже давно привыкли видеть фру Давидсен. Наверняка и тут не обошлось без Шелдрупа. Куда он только не совал свой нос! Одним махом он покончил и с таким таинственным предприятием, как городская верфь. По всей видимости, в свое время, когда ныне покойной фру Хенриксен было лет тридцать с небольшим и она была еще вполне цветущей женщиной, между нею и консулом было заключено какое-то соглашение, в результате которого верфь будто бы обрела второе дыхание. Да, вероятно, так оно и было. И вот теперь верфь встала, он закрыл ее; это было, похоже, самое худшее из всего, что он предпринял. Каспер и прочие рабочие потеряли места, и теперь им ничего не оставалось, как только сидеть по домам и охранять своих жен друг от друга.

Но самым наглядным образом Шелдруп продемонстрировал свою хватку, когда к нему один за другим начали приходить посланцы кредиторов. Их по одному проводили к нему в контору, и с каждым он переговорил с глазу на глаз. С господами из Гавра и Гётеборга он уладил все в мгновение ока; уже после нескольких минут разговора с ним они показались в дверях кабинета и вежливо откланялись. Интересно, что же такое он сказал им, что они выглядели такими довольными? А дело заключалось в том, что подобная реакция господ была вызвана не словами, а действиями Шелдрупа: в ответ на выдвину-

тые требования он тут же выписал им чеки. Пожалуйста, господа,— вот вам один, а вот другой! Ущерб, нанесенный предприятию отца гибелью «Фии», оценивали в двести тысяч крон, откуда же у господина Шелдрупа Юнсена такая куча денег, чтобы покрыть его? Черт возьми, да у него, по-видимому, во всем мире связи!

А он все развивал и развивал свою деятельность. Пришел день, когда достопочтенный Шелдруп Юнсен показал всем, что умеет с блеском обделывать не только дела фирмы — уж в чем, в чем, а в этом теперь, пожалуй, уже никто не сомневался. В данном случае речь шла о делах сердечных. Как-то днем он отправился с визитом в дом Бакалейщика-Ольсена и вышел оттуда уже помолвленным. Да, нечего сказать, вот это хватка! Все случилось так, как будто это давно само собой разумелось — не пускаясь в долгие рассуждения, Шелдруп и фрекен Ольсен сразу же покончили с этим делом. Даме даже не пришлось настаивать на том, чтобы он вел себя с ней как благородный человек; выходило, будто все это — логическое завершение еще детской влюбленности, оба они всегда этого хотели, чувствовали, что нужны друг другу,— и вот, пожалуйста! Произошло это как раз в те дни, когда адвокат Фредриксен был занят своей предвыборной компанией — встречался с избирателями; из-за этого он не смог лично прибыть на поле боя, встретить неприятеля и ликвидировать грозный прорыв, а потом было уже слишком поздно. Что ж, на одних выборах он все же победил. Зато на других — поражение было безнадежным. Да, никогда еще, пожалуй, адвокат Фредриксен не ошибался так в своих расчетах: главные выборы окончились отнюдь не в его пользу. Поражение в политике он бы еще стерпел — ничего, подождем до следующих выборов,— однако решение фрекен Ольсен навсегда лишало его каких-либо шансов. Теперь уже не помогут ни робкие пожатия ручки, ни громы и молнии. Что же остается делать?

Какое-то время — около недели — он ходил хмурым. Но нет, не такой адвокат Фредриксен человек, чтобы долго предаваться унынию. Жажда жизни одержала в нем верх, он уже снова рвется в бой, а эта чепуха — прочь с дороги! И вовсе не к власти он стремится, а к почестям и славе, связанными с карьерой политика-парламентария, к зажиточной и обеспеченной жизни. Вот его истинная цель. Вроде бы достаточно скромно. Так неужели же он ее не достигнет? Ведь и сейчас уже он немало

добился — депутат от своего города в стортинге, председатель постоянной парламентской комиссии, в перспективе — министр юстиции. Кто еще может похвастаться таким взлетом? Кто бы мог еще несколько лет назад ожидать такой карьеры от заштатного адвокатишки без практики, щеголявшего в вытертом до блеска сюртуке; ведь тогда он не всегда мог позволить себе сигару, а зачастую даже брился в кредит у парикмахера Холте: «Я забыл захватить мелочь, запиши, пусть будет за мной!»

Да, фрекен Ольсен сыграла с ним злую шутку, но он сумел оправиться, уж кто-кто, а адвокат Фредриксен всегда умел сносить удары судьбы. О, он еще будет заседать во многих комиссиях, у него еще появятся и жена, и состояние, и парикмахеру Холте он будет всегда аккуратно платить сполна. Став министром юстиции, он будет педантично исполнять свои обязанности, а большего и не требуется, никто от него большего и не ждет. Старые приятели по парламентской скамье будут время от времени приходить к нему и спрашивать совета или просить помощи в тех или иных служебных делах — что ж, министр юстиции, разумеется, не откажет никому, пообещает обратить на это внимание и рассеянно выслушает благодарность депутата. Да и разве это так уж трудно для такого, как он, обратить на что-то внимание, — нет, нисколько не трудно; человек он энергичный, настоящий лидер, да и министерство занимается всякими вопросами, не делая разницы между большим и малым. Те же, кто ждет от министра Фредриксена какой-то инициативы, самостоятельности, просто плохо его знают; ведь по самой своей натуре он как бы создан для того, чтобы делать лишь самое необходимое, обойтись без чего просто нельзя. И станет он одним из колесиков государственной машины, которые все крутятся в такт. Нет, разумеется, крутятся они отнюдь не быстро, на низшей передаче, — но ведь и не стоят!

Когда он умрет, многим будет его искренне не хватать.

ХІІІ

Да, нечего сказать, снова Оливер попал в хорошенькое положение — ведь это ж надо, уволен! Пока, правда, он все еще исполняет свои обязанности, однако, когда

кончится срок, отведенный ему на поиски нового места, он опять прочно сядет на мель. Оливер ждал всего, но только не этого! Он был полностью сломлен.

Оливер пошел к Абелю посоветоваться. К кому ж ему еще идти? Старший сын, Франк, стал филологом, великим лингвистом; он уже учительствовал где-то, однако по-прежнему не присылал домой ни гроша, а ведь отец так рассчитывал на это. Единственное, что знали о нем в городе, это то, что он помолвлен с Констанс, дочерью Хенриксена-С-Верфи. Но Оливеру это, разумеется, помочь не могло.

Абель теперь стал полновластным хозяином в кузнице, права на которую мастер Карлсен передал ему за вполне умеренную плату; он купил, наконец, паровой молот с двигателем — прекрасная штука, вполне заменяет молотобойца, — заказов у него, как правило, хоть отбавляй, и зарабатывал он прилично. По натуре своей он никогда не был скрягой, не трясся над каждой кроной и уже успел купить кое-что из обстановки, постельного белья, даже комод. Как-то раз он побывал у ювелира Эверсена и купил двенадцать граммов золота. Купил — что? Золото. Тем не менее у него всегда находилась пара лишних крон для отца.

Что ж, разницы между детьми Оливер никогда не делал — когда что-то было ему нужно, гораздо удобнее было обратиться в кузницу к Абелю, нежели к Франку, который к тому же был неизвестно где. На этот раз речь шла не о паре крон — дело было гораздо серьезнее; Оливер рассказал сыну, что Шелдруп Юнсен самым бессовестным образом уволил его, несчастного калеку, отняв тем самым у их семьи последний кусок хлеба. Что же ему теперь делать?

— Хм, — задумался Абель, — пожалуй, я вижу здесь только один выход — мне надо жениться.

Черт возьми — отец даже рот разинул от изумления!

— Ты что это, серьезно? — спросил он.

— У меня уже давно все готово, — настаивал Абель, — и мне уже, сказать по правде, надоело ждать. Пора с этим кончать.

Хоть Оливеру и не была понятна логика сына, но он тем не менее переборол себя и, на время забыв о собственных проблемах, проявил внимание к делам Абеля.

— Мне кажется, ты вполне еще можешь подождать какое-то время, — сказал он.

— Ты так думаешь?

— Убежден! Посмотри, кто — ты, а кто — она. Глупая маленькая девчонка, перышко, пушинка — и ничего больше.

— Хочешь взглянуть на кольцо? — перебил его Абель. Выдвинув ящик из шкафчика у окна, он достал оттуда массивное золотое кольцо. Отец взвесил его на ладони: да, вот это кольцо так кольцо — толстое, тяжелое. — Вот видишь, как раз и оно готово, — сказал сын.

Оливер скептически промолчал, хотя все же сумел сдержать ироническую гримасу.

— Ну, и сколько же Эверсен взял с тебя за него? — наконец спросил он.

— Эверсен? Да ведь я сам его сделал! — Абель показал отцу форму для отливки, аккуратно собранные золотые опилки и сами напильники, на которых еще сохранились следы золота. — Пришлось-таки с ним повозиться — сначала грубым напильником, потом мелким, потом шлифовать наждачной бумагой, а под конец хорошенько отполировать замшей.

Без сомнения так все и было; Оливер восхищенно покачал головой:

— Господи, Абель, да ведь стоит тебе только захотеть, и ты, верно, все что угодно сможешь сделать!

Гордый похвалой отца, Абель тем не менее гнул свое:

— Теперь самое главное, чтобы оно ей понравилось.

— Понравилось? — вскричал Оливер. — Знаешь, что я тебе скажу, уж если оно ей не понравится — посылай ее прямо ко мне. Чтобы такое кольцо, да не понравилось?! Клянусь, оно вдвое тяжелей того, что я привез матери из-за границы. Да ты что, смеешься — «не понравится»!

За этими разговорами они так и не решили, что дальше делать отцу, тем не менее визит в кузницу немного подбодрил беднягу. Уже одно сознание того, что надвигающаяся на семью нужда не пугает Абеля, было для Оливера большой поддержкой и утешением. Нет, уж кого-кого, а Абеля этим не испугаешь!

Абель вдруг попросил у отца платок, кончик которого торчал из нагрудного кармана Оливера, — ему что-то в глаз попало, — и когда вернул его, платок потяжелел на пару крон.

Ну что ж, Оливеру пора. Удивительно все же, как взбодрил его этот визит к сыну; снова в кармане у него позвякивают монетки, завтра воскресенье, погода обеща-

ет быть подходящей, он снова выйдет в море,— да и в будущем, надо надеяться, все как-нибудь образуется! Вернувшись домой к обеду, он кое-что принес с собой для детей; вечером он ушел в море.

Прошла ночь — он не возвращался, прошел день — он так и не вернулся. Все было как обычно — лодка понемногу дрейфовала по течению, Оливер ловил рыбу, приставал к берегу, готовил себе пищу, ел, спал. Что может быть лучше такой блаженной праздности?

В первое утро его плавания море и острова были абсолютно пустынные; кое-где на берегу виднелись одинокие телеграфные столбы, иногда до Оливера долетали далекие звуки церковного колокола; он чувствовал, как вместе с ними в душу его входят покой и умиротворение. В такое утро вновь загорались угасшие было надежды, проклятия и богохульства сами собой замирали на устах; нет, ей-богу, мир прекрасен и замечателен, а разогрев и съев остатки вчерашней рыбы, Оливер почувствовал, как по всему телу разливается блаженная сытая истома, и, не удержавшись, воскликнул: «Благодарю тебя, Господи, за хлеб наш насущный!» Да, на берегу такое от него не часто услышишь.

Утро действительно выдалось чудесное: звонил воскресный колокол, созывая народ в церковь, время от времени лицо Оливера приятно оведали порывы свежего ветерка, у ног его простиралась равнина моря — его родная стихия, его колыбель; волны слегка покачивали лодку, докатываясь до песчаной отмели, они разбивались о нее и превращались в пену. Красота! Когда-то, помнится, в молодости он купил лотерейный билет и выиграл скатерть... В другой раз привел в гавань потерпевшую крушение шхуну... Да, все это было с ним, Оливером Андерсеном...

Он снова какое-то время поспал; как все же это приятно — вот так есть и спать, спать и есть. Когда он проснулся, солнце было уже высоко; и время, и погода вполне благоприятствовали тому, что он задумал, — попытаться снова сплавить к утесу с птичьим базаром, который возвышался далеко в море, там, где проходили большие суда. Наверняка на террасах снова найдется немало гагачьего пуха. «Ну, с Богом!» — вздохнул Оливер и взялся за весла. Впрочем, набожность эта, как и у большинства людей, была у него напускной; во всяком случае за ней он отнюдь не забывал собственных интересов. Оливер знал, что местный пароходик

уже успел побывать в городе и отправился дальше по своему обычному маршруту, так что опасаться встречи с ним не приходилось,— он был в море один, никаких свидетелей его поездки, по-видимому, не предвиделось. Да и что ему свидетели? Ведь он просто рыбачит, что ж тут такого?

Как всегда, как и все последние двадцать лет, Оливер не совершал сейчас ничего, что впрямую бы шло вразрез с законом,— то, что он делал, было где-то на грани дозволенного, в какой-то степени, может быть, самую капельку, выходило за его рамки.

Однако на этот раз он не был таким разборчивым и привередливым, как обычно,— хватал, не разбирая, первое, что попадалось под руку, стремясь поскорее набить мешок, не очищал пух от мусора, собирал, собирал... Произошло нечто такое, что заставляло его торопиться и отвлекало от обычной процедуры сбора. Мысли Оливера лихорадочно путались; он всегда смело шел навстречу разным приключениям, и вот приключение само нашло его. Так что же все-таки случилось?

Казалось бы, время было самое подходящее — яиц в гнездах уже не было, птенцы давно вылупились, и птицы улетели. Но, осматривая уже первое гнездо, Оливер вдруг наткнулся на кипу бумаг. Что за бумаги? Письма? Но откуда они здесь? Да, так и есть, письма с марками! Удивительное дело! Сдвинув в сторону подстилку из гагачьего пуха, Оливер собрал и вытащил их. Ценная почта! Большинство конвертов было разорвано, сургучные печати сломаны, денег внутри не было. Отложив их в сторону, он принялся за вторую, нераспечатанную, партию писем. Это были в основном рекомендательные письма, адресованные известным Оливеру людям из города и окрестностей. Вскрыв одно из них, он обнаружил несколько денежных купюр. Тогда он принялся лихорадочно вскрывать остальные — почти в каждом были деньги!

Да, вот это случай так случай!

Оливер провозился на птичьей скале всю вторую половину дня; с торопливой жадностью обшаривал он все новые и новые гнезда, до которых только мог добраться, то и дело находя в них то, что искал; груды писем все росла и росла, с каждой минутой Оливер становился все богаче. Собрав наконец добычу, он отплыл от скалы, когда уже начало смеркаться, и греб изо всех сил; лодка летела стрелой, по дороге никто ему не встретился, свиде-

телей не было. Причалил он к тому самому островку, где ночевал накануне.

С этого дня до самой смерти Оливер, вспоминая все детали этого происшествия, чувствовал, как сердце его замирает. Сперва он ошибочно считал, что это письма с какого-нибудь судна, потерпевшего крушение где-то неподалеку. Потом ему вспомнились разные газетные истории о ворах-почтальонах, которые вытаскивают из ценных писем содержимое, а затем выбрасывают их подальше в море. Однако голова Оливера уже привыкла решать разные мудреные задачи, и в конце концов он пришел к правильному выводу — письма эти не что иное, как остатки ценной переписки, похищенной во время ограбления почты. Он, как, впрочем, и другие, не забыл этого памятного для всех и прежде всего для семьи почтмейстера события, — ведь и ему самому досталась тогда на память приличная сумма. Но кто бы ни был этот тогдашний вор — Адольф, владелец сундучка, тот, что называл себя Ксандром, или же второй штурман, сын почтмейстера, или кто-то другой, — все равно, он просто-напросто жалкий осел, халтурщик и неумелый новичок в этом деле! Подумать только, иметь такой сказочный случай и распорядиться добычей как последний дурак, — вероятно, стоя в темноте у борта, он распотрошил лишь самые толстые письма, а остальное выкинул в море! Ничего святого нет у этого проходимца, ведь это ж надо, поступить так с деньгами! Оливер был прямо вне себя. Да ведь даже гаги, даром что бессловесные твари, а и то, пожалуй, разумнее и хитрее — умеют хранить то, что находят, вот и письма в гнезда спрятали.

Занятый этими мыслями, Оливер совсем забыл о еде и сне, так и просидев всю ночь над письмами; когда начало светать, он аккуратно перебрал еще раз эту морскую почту — хотя, скорее, ее можно было бы назвать Божьей, небесной почтой, — вынул из конвертов все деньги и спрятал их во внутреннем кармане, собрал все письма в одну большую кучу и сжег их. Потом развеял пепел по ветру и тщательно уничтожил все следы. Сам он неплохо заработал на этой рыбалке, однако, по-видимому, были еще и другие, кто немало выиграл оттого, что письма сгорели.

Он снова сел на весла, и лодка стремительно понеслась в сторону берега. Было уже утро понедельника; благополучно добравшись до дома, Оливер наконец позволил себе слегка расслабиться, стряхнул напряжение

последних суток. С домашними он почти ни о чем не разговаривал, был необычно тих и кроток и с благодарностью съел все то, что поставили перед ним на стол. Что ж, теперь, когда карман его набит деньгами, он снова сможет позволить себе есть что захочет, например, разные сладости. С этими мыслями он отправился на склад.

В течение дня он несколько раз уходил в дальний угол пакгауза, прятался за штабелями мешков и бочек и пересчитывал купюры, расправлял их, разглаживал загнутые уголки. Время от времени на склад заходил кто-нибудь из посетителей, они сочувственно здоровались с ним, зная, что он уволен, жалели и утешали его, как могли. Оливер отвечал:

— Что ж, теперь мне, видно, ничего не остается, как уповать на Божью помощь!

Однако при этом внутри у него все так и пело. Хоть и доживал он на этом складе последние деньки, хоть и был на нем все тот же до дыр заношенный костюм, но приятная тяжесть купюр, оттягивающих внутренний карман, снова делала его мужчиной, придавала уверенности в своих силах, твердости, вызывала небывалый душевный подъем. Неудивительно, ведь теперь он был на коне, на вершине счастья, парил в недосыгаемости; даже вид у него стал каким-то важным и надменным. Нет, конечно же, он не будет шататься по дорогим отелям, изображая из себя богатого англичанина, заказывать экипажи для загородных прогулок и тому подобное — никаких излишеств. По дороге домой ему, правда, взбрело в голову, что хорошо бы зайти в те магазинчики, где он уже успел задолжать, и сполна рассчитаться с хозяевами, однако он вовремя взял себя в руки и одумался. Господи, ведь в конце концов свалившееся на него богатство не так уж и велико — к примеру, не может же он купить на него себе пожизненную ренту. Однако его вполне хватило на то, чтобы придать бедняге мужества возроптать на свою злую судьбу. Стукнув костылем об пол, он воскликнул:

— Нет, я не позволю так просто выкинуть меня со склада! Я пойду к самому консулу!

Прежде всего он накупил и принес домой кучу всяких лакомств, упакованных в разные красивые коробочки и блестящую фольгу; названий многих из них никто из членов семьи даже и не знал. С этих пор сладости и другие вкусные вещи, типа засахаренных груш, не переводились.

лись в доме Оливера. Все это немало удивляло его домашних, которые, не в пример ему, и мира-то толком никогда не видели. Петра даже как-то раз поставила его в тупик, насмешливо поинтересовавшись, не нашел ли он клад во время своей последней рыбалки. Несмотря на это, он продолжал поражать их все больше и больше: казалось, он полностью отказался от осторожной бережливости, с которой тратил деньги в тот прошлый раз, когда ему подфартило. Всем в доме он накопил кучу всякой одежды, да и сам приоделся с головы до ног. Кроме всего прочего, он раскошелился и на роскошный галстук в серебристую крапинку. Вообще-то галстук был, скорее, женский, но Оливер никак не мог смириться с мыслью, что он будет красоваться на чьей-либо шее, кроме его собственной. Однажды, ближе к вечеру, он зашел к ювелиру Эверсену, который торговал также сборниками псалмов, очками и музыкальными инструментами, и купил блестящую медную трубку, вернее, кларнет, и повесил ее на стенку в комнате. При этом он строго-настрога наказал Петре регулярно начищать ее до блеска.

Да, вид у него стал гордый и чрезвычайно важный. Теперь, вероятно, было самое время, как он и собирался, переговорить с консулом — ему было что сказать этому господину, пусть знает, с кем имеет дело...

Тем не менее он со дня на день откладывал этот визит, казалось, он все время о чем-то напряженно думает и никак не может принять окончательное решение. И вот тут-то на имя Оливера пришло письмо от адвоката Фредриксена, министра Фредриксена. Он писал, что теперь, став министром, собирается ликвидировать все свои дела в городке, а потому Оливеру надлежит или заплатить старый долг, или же выехать из дома со своей семьей.

Получив это письмо, Оливер не стал дольше раздумывать; дождавшись конца работы, он закрыл склад и решительно направился к дому доктора.

Да, что и говорить, миссия его была не из приятных, однако он все же пошел.

Обстановка в квартире доктора по-прежнему поражала глаз своей убожеством: не было здесь ни скелета, ни микроскопа, ничего, что указывало бы на научный характер занятий ее хозяина; на стене висел незавершенный портрет самого доктора. Когда-то, несколько лет назад, его начал тот самый сорванец, молодой

художник, задумавший написать картину «Врач», что ж, это внесло тогда приятное разнообразие в небогатую событиями жизнь доктора, он даже, честно говоря, одно время гордился этим. Но однажды этот молокосос решил прервать свою работу ради того, чтобы пририсовать к портрету одного господина, живущего по-соседству, крест Даннеброга; смириться с этим доктор не мог — нет уж, спасибо, нечего из него шута делать, он им не кто-нибудь и не потерпит... «Забирайте свою картину и уходите!» — сурово заявил доктор. «Сожгите ее, если хотите!» — ответил художник. «Жгите сами свой мусор,— взорвался доктор,— я вам не уборщица!» Услыхав такое, молодой художник обиделся: «Это вовсе не мусор, а ваш портрет,— сходство очевидно, просто он еще не закончен!» Сперва картина стояла и пылилась в углу, перевернутая, но мало-помалу мнение доктора о ней изменилось; не так уж он был глуп, чтобы не почувствовать, что в словах художника, несмотря на язвительный тон, которым они были сказаны, есть рациональное зерно. Доктор принадлежал к поколению, которое подвергало сомнению все, за исключением науки; он свято верил в существующую в природе закономерность — примером тому могла служить его теория о карих глазах; отличительной чертой его поколения было также бесстрашие — эти люди привыкли смело смотреть в глаза жизни, и ни ее бездуховность, ни самые беспросветные серые будни не могли привести их в уныние. Доктор считал себя человеком ученым, стоящим во всех отношениях неизмеримо выше обитателей этого жалкого городишка, строгим судьей и безжалостным обвинителем; но и он время от времени соглашался принять превосходство того или иного свежего человека; к примеру, так было с приехавшими в город англичанином, французом, парой немцев, голландцем. Нет, доктор был вовсе не глуп и вполне мог согласиться, если уж на то пошло, что его собственное несовершенство некоторым образом гармонирует с незавершенностью портрета. Потому, вешая на стену кабинета незаконченный портрет, он свято верил, что совершает нечто такое, в чем ясно прослеживается оттенок истинного величия его души.

Что понадобилось от него Оливеру?

Обследование.

И что же он хочет, чтобы доктор обследовал?

Бедро, ну и все вокруг него. Он хочет, чтобы доктор осмотрел его увечье и выдал ему заключение.

Но для чего? Доктор стал решительно отказываться. Когда-то он сам предлагал это Оливеру, а теперь все это — только напрасная трата времени. Так что пусть уж идет себе домой!

Оливер был изумлен: как, неужели доктору уже не хочется осмотреть его бедро? Он принялся объяснять, что семья их попала сейчас в трудное положение и они надеются извлечь кое-какую пользу из письменного заключения.

Нет-нет, пусть себе идет домой.

Сунув руку во внутренний карман, Оливер заявил, что готов заплатить; с прежней лихой матросской расточительностью он сказал, что даст доктору сто крон.

— А есть они у тебя, эти сто крон? — насмешливо поинтересовался доктор.

— Есть.

Когда доктор задавал свой последний вопрос, щеки его слегка порозовели. О чем он при этом думал? Быть может, вспомнил, как давным-давно, еще в юности, пообещал жене бриллиантовое кольцо, да так с тех пор и не выполнил своего обещания? Как бы там ни было, но проступившая краска чрезвычайно оживила его лицо, даже, пожалуй, сделала его привлекательным. Одевая на нос очки, он спросил:

— Так ты говоришь, что тебе в бедро угодил бочонок с ворванью и раздробил его?

Оливер почувствовал себя несколько неловко — ведь это была та самая придуманная им небылица, которую от него все слышали уже сотню раз.

— Ну, не то чтобы бочонок... сказать по правде, он здесь совсем ни при чем. Я раз перешагивал через грузовую стрелу, она поднялась и угодила мне как раз между ног... Потом мне сделали операцию...

— Раздевайся!

Оливер разделся, доктор внимательно осмотрел его, ощупал и сказал:

— Так что ты хотел от меня услышать? Что ты не можешь быть отцом? Но это ты и сам прекрасно знаешь! — Тут он не удержался и, желая покрасоваться своей ученостью и безошибочной интуицией, добавил: — Впрочем, я ведь никогда в этом и не сомневался.

Оливер сдержался и не стал с ним спорить — только еще раз попросил, чтобы доктор дал ему письменное заключение.

Но зачем оно ему? Доктор снова заупрямился.

— Сколько детей у твоей жены?

— У нас... хм... у нее пятеро.

— Вот видишь, уже слишком поздно — эти карие глазки сияют по всему городу; мое заключение теперь ничего не значит. Так что давай одевайся!

— Да мне оно нужно совсем для другого. А что до карих глаз, то они меня несколько не волнуют, — тем более что у двоих моих детей они вовсе голубые.

Доктор насторожил уши — недаром считалось, что по части распространения слухов он мог бы дать сто очков вперед самым завзятым городским сплетницам; однако он был не из тех, кто любит задавать лишние вопросы, наоборот, он с заметной неприязнью сказал:

— Да я и слушать не желаю об этих твоих семейных делишках!

Действительно, Оливеру вовсе незачем было рассказывать ему подобного рода новости, доктор и так уже давно обо всем слышал, так что ему отнюдь не сложно было сейчас сохранять невозмутимость и безразличие. Он написал заключение и прочел его вслух; Оливер кивнул в знак того, что полностью удовлетворен им, и потянулся к внутреннему карману.

Но доктор остановил его:

— Неужели ты думаешь, что я возьму с тебя за это деньги?

— А что тут такого? — не понял Оливер.

— Нет-нет, и думать забудь!

С тем Оливер и ушел.

Он отправился к Шелдруппу Юнсену и попросил отпуск на несколько дней за свой счет. Да-да, пожалуйста! Шелдрупп Юнсен охотно разрешил, недвусмысленно давая понять при этом, насколько бесполезным считает присутствие Оливера на складе. От него Оливер пошел домой и объявил, что собирается на несколько дней уехать из города; когда же все домашние принялись всплескивать руками и причитать, он преисполнился чрезвычайной важности, всем своим видом показывая, какой пустяк для него, исколесившего чуть не весь мир, эта поездка.

— Да я только быстренько смотаюсь в Христианию, — сказал он, — и мигом назад. Мне нужно повидать там одного министра, — сказал он, — у меня тут для него есть одна занятная бумага! — Как загадочно он изъяснялся и как отчаянно хорохорился при этом! Отведя в сторо-

ну Абея, он сказал: — Ну а тебе в Христиании ничего не нужно, может, что-нибудь из машин, а? Ты только скажи — я достану!

— Что ж, — отвечал Абель, — коли так, привези мне, если достанешь, металлический складной метр. Здесь у нас такого не купишь, а в кузнице я без него как без рук.

— Получишь свой метр, не волнуйся, — пообещал Оливер. — И притом, уж будь уверен, самого высшего сорта, — добавил он. — Уж что-что, а это отец для тебя сделает!

И Оливер уехал.

Когда несколько дней спустя он вернулся, настроение у него было превосходное — ему удалось добиться всего, чего он хотел, от своего мучителя.

Он также попытался отыскать в столице старшего сына, Франка, — что ж, Оливер никогда не делал никакой разницы между детьми, вот он и хотел теперь найти Франка. Однако — тщетно: Франк преподавал в какой-то большой школе, а где — никто не знал; университет ему пришлось бросить — там его уже ничему не могли научить. Зато Оливер привез в родной город привет и наилучшие пожелания от министра Фредриксена, который оказался прекрасным человеком, таким чутким, любезным и отзывчивым, что сразу же подписал бумагу, согласно которой старый долг Оливера полностью аннулировался. Все его домашние чуть рассудка не лишились от счастья. Оливер, лихо заломив набок новую соломенную шляпу, хвастался:

— Мне стоило сказать ему всего пару слов — и вот, результат налицо!

Семья сторала от любопытства, засыпала его вопросами, но все напрасно — Оливер упрямо молчал.

Оливеру не впервой было добиваться чего-либо с наскока, у него даже был для этого свой особый, проверенный метод; разговаривая, он время от времени посматривал на собеседника, причем взгляд его был таким зловещим, что это как нельзя лучше подчеркивало угрожающую многозначительность его слов. От него как бы исходил дух некой безнравственности, развращенной подлости; все это действовало практически безотказно — собеседник сразу же пасовал. Вот и в этот раз он отнюдь не был груб со своим кредитором, во всяком случае не набросился на него с кулаками. Что он ему сказал? Да так, мелочи. Вечером, лежа в постели, он все же не

выдержал и удовлетворил жадное любопытство жены, передав ей содержание своего разговора с министром; ох уж эти супруги, эти Оливер с женой, нимало не смущаясь, они обсуждали все подробности беседы, а Петра даже время от времени восторженно ахала и хвалила мужа за наиболее удачные ответы: «Ну, здорово ты его!» Оливера прямо-таки распирало от гордости.

Так что же он все-таки ему сказал? Он объяснил министру, что тому самому будет лучше, если они уладят вопрос с долгом тихо и полюбовно, министру просто-напросто нужно подарить Оливеру дом — ему, Петре и их детям — да и дело с концом...

— Детям? А что, они уже взрослые? — спросил министр.

— Не все еще. Двое, у которых голубые глаза, еще маленькие. Один — так совсем малыш.

— Вот как?

Да, малыш. Совсем еще крошка. Так вот, он и говорит: господин министр теперь человек занятой — заседает в правительстве, с королем разговаривает, — почему бы ему не бросить это хлопотное дело и не простить Оливеру его долг?

— Простить? Нет, ни за что!

Оливер положил перед ним на стол справку, выданную ему доктором, где было сказано, что он — инвалид. Министр прочел и вернул ее, сказав, что не видит, какое ему-то до всего этого может быть дело.

— Разумеется, разумеется, — подхватил Оливер, — у господина министра и без того дел предостаточно. Стоит ли ему еще забивать себе голову мыслями о каком-то там домишке в родном городке — не проще ли, так сказать, списать его со счетов и думать о нем забыть?

— Но почему, с какой стати я должен это делать?

Тут Оливер, который до этого упрямо разглядывал пол, поднял глаза и прямо посмотрел на министра:

— Потому что иначе у господина министра появятся еще кое-какие проблемы, над которыми ему придется-таки подумать!

Вот такой у них вышел разговор.

Неизвестно, понял ли министр Фредриксен, что его репутация находится под угрозой, или нет. Как бы там ни было, но он не мог себе позволить торговаться из-за какого-то дома с несчастным инвалидом — что сказали бы о нем его избиратели, как отнеслись бы к этому в его родном городе?! И он — подписал дарственную.

Долго еще после этого Оливер, не скрывая радости, упивался этим своим триумфом. А ведь вдобавок ко всему у него все еще оставалось немало денег, хотя, конечно, многое ушло на поездку, одежду для семьи, металлический складной метр, кларнет, сладости, ну, и так, по мелочам—то одно, то другое, однако, как бы там ни было, а деньги у него все еще водились, и он чувствовал себя настоящим мужчиной. Лишь одно обстоятельство по-прежнему удручало его—предстоящее увольнение; в самом скором времени ему предстояло покинуть склад. Он понимал, что рано или поздно с ним разделяются, и сознание этого тяжким грузом давило ему на плечи.

И вот однажды, набравшись наглости, Оливер, прихватив свою справку, отправился к консулу. Он хотел переговорить с ним лично. С министром Фредриксеном все получилось у него так гладко, что Оливер решил попробовать и здесь повторить попытку; как ни трудно было ему заставить себя пойти на это, но все же пришлось,—ведь ничего другого не оставалось...

Никогда еще не думал он так напряженно, как готовясь к этому разговору,—ему вовсе не хотелось ставить консула Юнсена в неловкое положение, он с удовольствием ни слова, как и прежде, не упоминал бы об этих веселых карих глазах. Но как же все-таки ему быть? Ведь совсем скоро он рискует потерять последний кусок хлеба. Консул всегда так много делал для семьи Оливера, неужели же он не может сохранить для него место кладовщика? А уж Оливер сумеет как-нибудь отслужить, за ним не пропадет. Да он для консула все сделает. Его преданность хозяину будет поистине безграничной, он согласен взять на себя роль его дуэньи, уступить ему все свои права, быть верным псом, охраняющим его гарем...

Итак, он отправился к консулу.

Но поход его кончился ничем. Нет, консул, дважды консул, Юнсен, был теперь уже не тот, что прежде,—он отдыхал, был не у дел; всем в фирме заправлял теперь сынок, Шелдруп, старая крепость была сокрушена. Даже внешне было заметно, что теперь он никто,—он вдруг разом поседел, стал каким-то блеклым, даже сюртук его, казалось, нуждался в щетке. Не зная консула, можно было предположить, что он единственный в городе вял призывам, печатающимся в газетах, и обратился к религии. Разумеется, он по-прежнему оставался консулом

двух государств и продолжал регулярно высылать отчеты обоим правительствам, все то же округлое брюшко топорщило его жилет, но — и только. Всё и вся теперь взял в свои руки Шелдруп; идя к нему, многие вовсе не считали нужным сперва засвидетельствовать свое почтение отцу. В последнее время консул стал даже замечать, что некоторые, говоря о нем, называют его просто Юнсеном-С-Пристани. Да, вот такие-то дела! Таковы люди. Начались разные разговоры: «Как могло случиться, что погибла команда «Фии»?» Конечно, эти парни, матросы, долгие годы не видели дома, однако семьи по крайней мере получали за них их жалованье у владельца судна; теперь же все они покоятся на дне морском, и чья же в конце концов в этом вина, как не Юнсена-С-Пристани? Поначалу консул пытался урезонивать, даже оправдывался, потом махнул рукой — какой смысл спорить с этими глупцами! Они не давали ему и слова сказать, недовольно ворчали, перебивали, даже огрызались. Прошли те времена, когда ко всем, у кого на жилете красовалась массивная золотая цепочка, люди относились с уважением, считали господами.

Удача, которая сопутствовала Оливеру в Христиании, здесь, в городе, изменила ему. Консул внимательно выслушал его; при этом, по мере того как он слушал, вид у него становился все более растерянный и беспомощный; Оливеру даже стало его жаль, и он решил не показывать ему врачебное свидетельство.

— Мне кажется, ты согласишься — я всегда неплохо относился к тебе и твоим близким, — сказал консул, — однако теперь я ничего не могу для тебя сделать. Прости, но мне нечего больше тебе сказать, будем надеяться, лучшие времена еще настанут!

Невесело было человеку, столько лет прослужившему консулу верой и правдой, слышать от него такие слова.

Тогда Оливер решил пойти к самому этому мерзавцу Шелдрупу и хорошенько пригрозить ему. Поможет ли это? Несомненно. Оливер Андерсен — это ему не кто-нибудь. Однако внутренний карман его пустел с катастрофической быстротой, и с той же быстротой таяли его мужество и уверенность в себе; дни шли за днями, а он все откладывал и откладывал этот визит, пока наконец однажды Шелдруп не объявил ему, что время истекло и он должен отнести ключи от склада в лавку Бернтсену.

Таким образом, Оливеру не надо было на следующий день идти на склад — он был окончательно уволен.

Что ж, ничего другого ждать и не приходилось, и все-таки этот удар показался Оливеру необычайно тяжким и внезапным; ведь вместе с увольнением пропадала и надежда на те хоть и небольшие, зато регулярно поступающие в дом пакетики с почти бесплатной крупой и кофе. Да, по-видимому, теперь семье придется-таки затянуть пояса потуже.

Прошел месяц, тяжелый, трудный месяц; вид у Оливера всегда был недовольный, он постоянно брюзжал, ворчал, с домашними разговаривал лишь постольку, поскольку это было необходимо, предпочитая целыми днями слоняться по городу, благо теперь ему было в чем показаться на людях. Да и в самой семье атмосфера была отнюдь не из лучших: дети день ото дня становились все бледнее, кларнет на стене так и висел нечищенным, даже бабка и та жалобно сопела и вздыхала — она тяжело переживала отсутствие в доме своего любимого кофе. Оливер сердито прикрикнул на нее:

— Коли не можешь потерпеть, попробуй сходи в кассу для бедных, может, они и подкинут тебе на кофе!

— Ох-хо-хо,— кряхтела бабка,— стара я стала, хоть бы скорее Господь меня прибрал, что ли!

Наконец настало утро, когда в доме не осталось ни капли кофе — нечем было даже завтрак запить. Петра еще хоть как-то утешалась: сходя к колодцу и поболтав с женщинами, она возвращалась несколько прибодренная. Оливер же угрюмо молчал. Он-то считал, что сейчас самое время Провидению вмешаться в судьбу семьи, однако, как видно, Провидение занималось чем угодно, но только не ими. А тут еще Петра как назло — интересно, кто это подкинул ей эту идею! — будто невзначай обронила:

— Как ты считаешь, может, мне стоит сходить поговорить с Шелдрупом?

Оливер ничего ей на это не ответил. В последнее время он сильно изменился — щеки ввалились, кожа на лице висела складками, глаза потухли и стали какими-то безжизненными, ничего его не интересовало. Лишь придя домой к обеду, отставив в угол костыль и тяжело рухнув на стул, он вернулся наконец к этому вопросу.

— Так, говоришь, ты хочешь пойти поговорить с Шелдрупом? — с насмешливыми нотками в голосе спросил он.

Петру это застигло врасплох:

— А что тут такого?

— Ну, и что же ты, в таком случае, не идешь?

Она уже успела овладеть собой и отвечала теперь своим привычно-сварливым тоном. Как, прямо сегодня? Ну уж нет, она не может собраться так сразу — ей надо еще кое-что простирнуть, да и самой вымыться.

Днем позже она наконец была готова — привела себя в порядок, приделалась, и вообще стала похожа на прежнюю Петру — чертовски привлекательную, очаровательную плутовку; в старые времена, глядя на крутой изгиб ее красивых губ, Оливер ни за что бы не удержался и попытался бы ее поцеловать, но теперь он лишь равнодушно взглянул на нее. Что ж, видно, есть причины так прихорашиваться.

Однако и ее визит к Шелдрупу Юнсену окончился неудачей: было такое впечатление, что она разговаривает с деревом, с каменным изваянием; нет, он решительно не нуждается ни в каких услугах Оливера, он не желает больше кормить его даром — и все, и не о чем тут больше разговаривать! О, по всему видно, Шелдруп не забыл той оплеухи, которой Петра наградила его в молодости; кроме того, сейчас он был без пяти минут женатый человек, а характер у него как был, так и остался мелочным — ничего общего с отцом, а ведь консул в свое время всегда способен был на широкий жест.

Да, тут уж, вероятно, ничего нельзя было сделать, но вдруг, неожиданно Оливер почувствовал такой приступ ярости, что не сдержался и сам отправился к Шелдрупу. Роковой шаг, имевший для него, как выяснилось, самые серьезные последствия. Здесь ему нисколько не помогла прежняя тактика туманных намеков и косых взглядов, таящих в себе скрытые угрозы; Шелдруп был человек современный, жесткий и прекрасно владел своими чувствами. Если кто предполагал, что этот господин испугается скандала, тот жестоко ошибался, — Шелдруп без колебаний пошел бы на любой скандал, если бы на этом можно было что-то заработать. А тут он и подавно был спокоен: в любом случае он сохранял за собой фрекен Ольсен.

Оливер был краток, выложил ему все начистоту, однако при этом вел себя отнюдь не умно — он потерял контроль над собой и перешел на крик. Шелдрупу, естественно, это вовсе не понравилось — он цыкнул на него. Тогда Оливер достал из кармана и выложил на стол свою

справку; Шелдруп Юнсен взял ее, внимательно прочел и затем поинтересовался:

— Ну, и что все это значит?

— Я не могу быть отцом,— сказал Оливер.

Шелдруп рассмеялся:

— А мне-то какое до этого дело?

Этому здравомыслящему коммерсанту, похоже, даже и в голову не приходило, что подобные глупости могут иметь влияние на его будущую жизнь, и хотя он и уловил какой-то подлый и грязный оттенок, который, по-видимому, вкладывал в свои слова стоящий перед ним гнусный калека, тем не менее все же продолжал улыбаться как ни в чем не бывало. Под его насмешливым взглядом Оливер струсил и, как всегда в таких случаях, смешался; он быстро забормотал как раз то, чего говорить в данном случае вовсе не следовало бы: упомянул каждого из своих пятерых детей, начал повторяться, неся всякую чушь о карих глазках, прекрасных карих глазах, которые...

— Убирайся отсюда! — рявкнул Шелдруп.

— Да, но эти карие глаза...

— Ну и что?

Оливер уже даже не пытался сохранить остатки собственного достоинства. Упрямая непонятливость собеседника бесила его, он снова принялся кричать:

— Ну да, конечно, вам легко смеяться! Но скажите мне, у кого в городе карие глаза, а?

— У меня! — отрезал Шелдруп, смеясь еще громче.

— Нет, нет, не у вас. Вы хорошо знаете, о ком я говорю! А что у вас они карие — ну так что ж тут удивительного? А вот тот, о ком я...

— Знаешь что, — угрожающе начал Шелдруп, поднимаясь, — доктору это и в прошлый раз не удалось. Так что забирай-ка с собой эту его бумажку и катись отсюда! На этот раз я уже не шучу.

XIV

Прошло не так уж много дней, и в городе поползли слухи о том, что Оливер — не только одноногий калека, но и инвалид совсем иного, особого рода; говорили, у него даже справка от врача имеется, что он вовсе не отец своим детям. Нет, ведь это ж надо! Сам Оливер узнал об этих слухах от Маттиса-Столяра.

Этого еще ему не хватало! Вдобавок ко всему — такой позор! Каким образом вышла наружу эта тайна, так тщательно оберегавшаяся им все эти годы? Неужели же ничто нельзя сохранить в секрете? Новость эта просачивалась сквозь стены, о ней кричали камни мостовой, все бессловесные предметы вдруг разом ожили и наперебой заговорили об одном и том же. Этот проклятый мальчишка-торгаш, вероятно, шутки ради разболтал их разговор своим друзьям, представив все это как забавный анекдот.

Когда слухи дошли до Маттиса-Столяра, он был немало изумлен; искренне негодуя, что напрасно подозревал невинного человека в том, что он был отцом ребенка Марен Салт, Маттис решил исправить свою ошибку — как-то раз, повстречав на улице Оливера, он подошел и поздоровался с ним за руку. Оливер ничего не мог понять — что за странная встреча?

— Да-да,— начал Маттис,— не удивляйся, я просто хотел пожать тебе руку и попросить прощения за то, что было между нами!— Он говорил так туманно и был так подчеркнуто вежлив, что Оливер не сразу заметил подвох. Станный он все-таки человек, этот Маттис-Столяр, чудак какой-то,— вот так просто взял и простил Оливеру все обиды: двери, которые тот у него, можно сказать, украл, золотое кольцо, которое Оливер выманил обманом, да уж если на то пошло, то и Петру, уведенную чуть ли не из-под венца. И вот теперь он стоит и толкует о том, чтобы Оливер извинил его, что он себе покоя не находит с тех пор, как услышал про то, что Оливер...

— А что такое, собственно, ты обо мне услышал?

— Ну, то, что ты инвалид, что тебе сделали такую операцию...

Оливер прямо-таки остолбенел.

— Выходит, ты знаешь?— наконец сумел выдавить из себя он.

А почему бы Маттису и не знать, когда об этом весь город говорит? Вчера Марен Салт вернулась от колодца и рассказала, что новость эта у всех на слуху, причем она обрастает все новыми и новыми деталями и воспринимают ее отнюдь не как что-то достойное сожаления, а наоборот, как нечто смешное, забавное. Нет, а Петра-то, Петра — хороша, нечего сказать! Выходит, она сама себе всех своих детишек сделала — да-а, не каждая так смогла бы, хи-хи-хи!

Маттис же судил Оливера не так строго, он даже выказал несчастному свое искреннее сочувствие, сказал, что, по его мнению, судьба жестоко и несправедливо обошлась с ним. Но, может статься, все это неправда?

Оливер стоял, опустив голову, он был совсем сбит с толку: что ему делать — признавать все или отпираться? Наконец он решил и, собрав все свое мужество, сказал:

— Да, все так и есть.

Услыхав его ответ, столяр вздохнул с видимым облегчением; казалось, вдруг разом исчезло какое-то неприятное препятствие, мешавшее ему лично. Что ж, может, так оно и было на самом деле? Может, в данный момент он вдруг вспомнил кое-какие интимные обстоятельства своей собственной жизни? Как бы там ни было, но он заметил, обращаясь к Оливеру:

— Да уж, бедняга, что и говорить, не повезло тебе! Одно могу сказать: все мы в руках судьбы, никто не знает, что с ним может случиться.— И он, в качестве примера, стал рассказывать, как не так давно ребенок Марен стащил спички, принялся ими играть и едва не подпалил стружки в мастерской. Ведь он запросто мог сгореть! Продолжая нести всякую чепуху в этом духе, Маттис, как мог, утешал Оливера, называл его «беднягой» и вообще старался изо всех сил.— Да, кстати, чуть не забыл,— он хлопнул себя по лбу, пытаясь переменить тему,— ведь я же начинаю делать кровать для Абеля. Сегодня он пришел ко мне и сказал, что зайдет за ней недельки через две.

— Как,— удивился Оливер,— мой Абель?

— Вот именно, твой Абель. Что ж ты хочешь, он ведь собрался жениться. Да, действительно, просто диву даешься, как быстро они растут, эти ребята, можно сказать, прямо на глазах!— Однако Маттис не ограничился замечанием о том, как быстро мужают дети; продолжая разглагольствовать о превратностях судьбы, он вдруг заявил, что и достаточно пожилые люди вполне могут в любой момент ощутить это на себе. Оливер молчал; видя это, Маттис пояснил:— Хоть и стыдно мне в этом признаться, но я и сам того... женюсь вот.

Почувствовав возможность перевести разговор с обсуждения собственных проблем на другое, Оливер встретился:

— Как так?

— Да вот, представь себе!— кивнул столяр.— Ну да ладно, это дело уже решенное. А что мне еще,

собственно, оставалось делать, скажи на милость? Марен, так та ни за что не хочет расставаться с парнем, да и я, старый дурак, уже успел к нему здорово привыкнуть. Нет, конечно, не так чтобы очень, но ведь всякий скажет, что если ребенок начнет стружки поджигать, то и сгореть недолго,—так что уж приходится за ним смотреть. А он за мной целыми днями как хвостик таскается, а по воскресеньям берет за руку и тянет гулять. Нет, ей-богу, он забавный малыш! Конечно, не настолько, чтобы я как-то уж особо к нему привязался, но ведь Марен — она ни за что не хочет...

И он снова понес всякую чепуху, пока наконец Оливер не прервал его:

— Так ты что же, решил все-таки жениться на Марен?

— Ну да,— отвечал столяр,— а что мне остается?

Однако — странное дело — когда Маттис-Столяр, попрощавшись, наконец ушел, по его виду не заметно было, чтобы решение это так уж сильно его удручало; наоборот, он шагал торопливо, как будто стремясь поскорее оказаться дома. У него словно гора с плеч упала. Бог свидетель, все, что угнетало Маттиса до сих пор, теперь развеялось! Как будто чудаковатому столяру только и надо было, чтобы ребенок Марен Салт был не от Оливера. Ну а если не от него, а от другого, чем это, спрашивается, лучше?

Оливер тоже направился к дому. Встречные старались его избегать; завидев его издали, люди пользовались любым прикрытием, чтобы хоть как-то спрятаться и пропустить калеку. Да, действительно, он производил на окружающих прямо-таки отталкивающее впечатление: весь какой-то изломанный, уродливый, если уж на то пошло, просто страшный. Что ж тут удивляться, что взгляды окружающих были, мягко говоря, не слишком доброжелательными? Жир висел на нем безобразными складками, во всей фигуре было что-то гадкое, вызывающее брезгливость, передвигался он какими-то немислимыми неровными скачками, что также отнюдь не красило его. Одноногий — даже к животным, к четвероногим такого не отнесешь; насквозь прогнивший изнутри и снаружи, пустая, никчемная развалина — одним словом, урод. И тем не менее когда-то это был человек.

Да, вот каков был он, этот инвалид, этот калека, ковылявший сейчас по улице. Даже Маттис-Столяр и тот почувствовал немалое облегчение, расставшись с ним.

Когда Оливер проходил мимо дома доктора, ему вдруг пришло в голову: что, если это он выдал его тайну? В таком случае следовало бы свести с ним счеты. Свести счеты? Но нет, теперь уже Оливер был на это не способен. Увидев, что доктор подошел к окну кабинета, он торопливо свернул в сторону; что ж, быть может, он и ошибается.

Итак, Оливер свернул, даже перешел на другую сторону улицы; доктор проводил его внимательным взглядом. Хм, да, жалкое зрелище; однако у доктора были свои причины наблюдать за Оливером: последнее время ему не давала покоя одна мысль. Этот проклятый хромой дьявол, всегда такой пряткий, вечно вынашивающий какие-то идеи, вращающийся в центре всех городских событий, и вот — он сломлен, раздавлен. Городские остряки когда-то окрестили его медузой — кличка, которую в общем-то выдумала его собственная развеселая женушка. Доктор находил это прозвище глупым. Медузу раздавить не так-то просто. Ведь она — как плевок или блевотина: нечто расплывчатое, бесформенное. Внутри у нее всегда что-то сверкает, переливается причудливыми оттенками красок — ни дать ни взять какая-то сказочная яичница-глазунья. А что такое Оливер? Ребус, недоразумение ходячее, ошибка природы, скачет на своем костыле, землю топчет... Но одно дело физический недостаток — вот он, у всех на виду, костыляет; о том же, чего никто не видит, служанка доктора достаточно наслушалась у колодца. Когда-то давно один-единственный взмах скальпеля начисто вычеркнул из жизни Оливера все человеческое; с тех пор он поставлен вне людского общества, потерял свое естество, стал пустым местом. Слишком сильно сказано? Но почему, разве не правда, что он урод? Пожалуйста, можно повторно его обследовать, а о внутренней его пустоте и говорить даже не приходится — она всегда была здесь, на поверхности, несчастье лишь усугубило ее, превратив бывшего матроса в ничто. Он уничтожал сам себя, причем если вдуматься, то процесс этого добровольного самоуничтожения был разыгран им самим с непревзойденным мастерством, как по нотам.

А ведь смотри-ка, как-никак, а он все еще живой, не совсем уничтожен, да, он обломок, осколок прежнего человека, да, с одной стороны у него костыль, с другой — деревянная нога, больше всего он напоминает какой-то рунический знак, какую-то причудливую завитуш-

ку из древнееврейской грамоты. Почему милосердное Провидение настолько жестоко, что до сих пор не даровало ему смерть? В чем смысл такой жизни? Или же он призван олицетворять собой неудачную попытку Господа Бога создать человека, призван служить предостережением, примером возможного вырождения? Он — обломок, осколок, распадающийся на более мелкие, каждый из которых по-своему, однако, полезен. Может, кому-то они, глядишь, пригодятся, эти осколки — что ж, налетайте, берите, ведь у него еще есть одна нога, он еще умеет разговаривать...

Да, когда-то это был человек, когда-то...

Жизнь так прочно засосала его, вовлекла в свою круговерть, что ему ничего не оставалось, как жить. И он жил! Он научился приспособливаться, научился лгать и изворачиваться ради спасения собственной шкуры, научился притворяться мужчиной, носить мужские штаны. Чтобы скрыть от людей свой недостаток, он выдумал сказку о бочонке с ворванью — это окрашивало случившееся в более достойные тона и позволяло ему многозначительно рассуждать о превратностях судьбы. Обман был для него единственным доступным утешением; притворяясь, что он такой же человек, как все, ничем от них не отличается, бедняга и сам в конце концов начинал в это верить. Лишь в этом, и больше ни в чем, заключался источник, время от времени дарующий ему скромные радости. Так, значит, все это — игра? Да, игра. Однако сыгранная весьма неплохо.

И вот пришел день, когда его разоблачили, игра окончена, служанка доктора рассказывала невероятные вещи, о которых всю судачили у колодца; оказывается, к Петре в спальню время от времени наведывался месяц, с ним-то она — хи-хи-хи — и прижила всех своих детей. А Оливер-то, Оливер — вот мастер. Двадцать лет все ходили к нему на склад, и он всех дурачил, притворяясь нормальным человеком. Случись такое с кем-нибудь другим — да он бы со стыда сгорел, в себе бы замкнулся, всех бы сторонился, в конце концов стал бы молить Господа Бога смягчить его жалкую долю! А что же Оливер? Ничуть не бывало. Да кто он такой после этого, как не самый закоренелый негодяй? Всю эту болтовню докторша пересказала мужу.

— Но ведь это же просто смешно, — заметил доктор, — неужели люди не могут понять, что после всего, что с ним произошло, он просто-напросто потерял веру

в Бога! Да и откуда им известно, какому Богу он молится? Ведь коли этот ему не помог, как знать, ему же ничего не стоило стакнуться и с его извечным антиподом!

Провожая взглядом ковыляющего прочь от дома калеку, доктор что-то бормотал себе под нос; с веселых деньков его юности мироощущение доктора практически не изменилось, поэтому и словечко, найденное им для бедняги, слегка отдавало озорным студенческим жаргоном — «кастракус востокус жирный». Да-да, именно! Неизвестный в биологии зверь с деревянными конечностями. Странно, но увече даже, можно сказать, пошло ему на пользу, стало предметом его гордости. Инвалид? Да, инвалид. Но зато человек заслуженный. Так что он имеет все основания хранить гордую осанку, твердо стоя на своей одной ноге и опираясь на деревяшку,— ни дать ни взять святой мученик. О-хо-хо, неисповедимы пути Господни!

Наконец Оливер доковылял до конца улицы и свернул за угол, к дому.

Войдя, он первым делом бросил настороженный взгляд в сторону Петры, но хотя она, разумеется, уже была в курсе, по ней это было практически незаметно. Все было как обычно. Оливер снова прибодрился, ощутил прилив сил и вместе с тем — чувство голода. Еда стояла на столе, и хотя предназначалась она явно не ему, он, не раздумывая, набросился на холодную кашу и принялся уписывать ее за обе щеки. У него были на то смягчающие обстоятельства — денек выдался трудный. Пытаясь предупредить град упреков, вот-вот, казалось, готовых посыпаться с уст Петры, он начал рассказывать о том, что Маттис наконец-то надумал жениться.

Однако Петру не так-то легко было провести; она тут же раскусила его хитрость и недовольно проворчала:

— Что ты делаешь, ведь ты же всю кашу съешь!

Оливер промолчал.

Новость, тем не менее, заслуживала внимания, и Петра мало-помалу сменила гнев на милость.

— Ты что, разговаривал с самим Маттисом? — спросила она.

— Да.

— И кого же он решил взять?

Для пущей важности Оливер выдержал небольшую паузу.

— А сама-то ты как думаешь?—наконец сказал он и опять умолк.

— Меня это не касается,— решительно отрезала Петра; посмотрев на миску и увидев, что та уже опустела, она снова набросилась на мужа: чем же ей кормить теперь остальных?

— Он женится на Марен,—сказал Оливер.

Потребовалось несколько секунд, чтобы Петра смогла осмыслить сказанное. Когда же наконец до нее дошло, что он не шутит, в глазах ее блеснуло нечто похожее на ревность, и она разразилась потоком брани в адрес Марен, при этом слюна так и брызгала во все стороны: как, на этой старухе, да еще и с ребенком впридачу, который у нее неизвестно от кого?! Да уж, определенно, Оливеру крупно повезло, что он сумел явиться домой с такой ошеломляющей новостью,—это полностью отвлекло внимание дражайшей половины от всего остального, в частности от его собственных неприятностей.

Везение не покидало Оливера на протяжении еще нескольких дней и даже недель — так или иначе, но ему всегда удавалось уйти от ответа. Объяснялось ли это вмешательством каких-то высших сил, судьба ли решила наконец смилостивиться над беднягой — однако всякий раз, как позор его грозил вот-вот стать предметом семейной сцены, происходило что-то, что спасало его, помогало выпутаться из затруднительного положения. Крупнейшим из подобного рода событий была, несомненно, женитьба Абея. Да-да, ни больше ни меньше! Что и говорить, событие важное, серьезное; все в доме Оливера только о нем и думали.

Итак, Абель наконец женился.

Однако вовсе не на той, на ком собирался; он взял в жены дочь владельца хутора, расположенного недалеко от города, высокую миловидную девушку по имени Ловисе. Она была его ровесницей, так что пара получилась довольно-таки юная, однако у обоих были сильные руки и широкие плечи. Что ж, отнюдь не худший вариант для такого бесшабашного и легкомысленного сумасброда, как Абель. Болтать-то о женитьбе он давно болтал, но к действиям решился перейти лишь только в тот день, когда отец поведал ему, что семья останется без куска хлеба. Принятое им тогда решение, помнится, в немалой мере было для Оливера неожиданным, но, как выяснилось впоследствии, вполне зрелым и правильным.

Да, верно, кольцо, сделанное кузнецом, украшало теперь не ту руку, для которой он его предназначал. Лидия-младшая, когда он принес ей свой подарок, отказалась его принять—она сама недавно купила себе кольцо с красным камушком, так что второе ей ни к чему, да еще к тому же гладкое.

— Оно что же, не нравится тебе, да?—обиделся Абель.—Я сам его для тебя сделал, так что не понимаю, как тут можно сравнивать?

Нет-нет, спасибо, она его не возьмет; люди еще, чего доброго, могут подумать, что она помолвлена. Да и кроме того, как раз сейчас у нее совсем нет времени разговаривать—ей надо спешить, не то она опоздает на урок в доме Карлсена-Полицейского—она все еще продолжала заниматься на фортепиано; Лидия вдруг засуетилась, начала метаться по комнате от шкафа к зеркалу, прикладывая к груди разные наряды; высокие каблочки ее туфель—настоящее произведение архитектурного искусства в миниатюре—так и мелькали.

Но от Абеля, как всегда, не так-то просто было отделаться. Он продолжал болтать в обычной своей манере—на этот раз, быть может, с несколько большим волнением и легкой неуверенностью,—отпустил пару шуточек, но под конец перешел на серьезный тон и сказал, что теперь оба они уже взрослые; он, Абель, стал полновластным хозяином кузницы, так что ему хотелось бы наконец знать.

Знать—что? О чем это он? Ей никак не понять. Абель, верный себе, не заставил долго себя уговаривать и, стараясь сохранять терпение, выложил ей все начистоту.

Лидия тут же заявила, что и слушать его не желает, что вполне довольна своей жизнью у родителей и не имеет ни малейшего намерения выходить в ближайшее время замуж—разве он не знает, что она шьет для модного салона?

Да-да, разумеется. И тем не менее Абель хочет услышать ее окончательное решение прямо сейчас. У него теперь и паровой молот есть, и для их будущего хозяйства он много чего накупил, а жить они будут у родителей Абеля в старой части дома, он уже и о кровати позаботился—заказал Маттису-Столяру...

Ну, нет, теперь уж точно с Лидии довольно, да от него, ей-богу, и свихнуться недолго; продолжая слушать, она в упор смотрела ему в глаза.

— Что это ты так на меня смотришь? — насторожился Абель.

— Ха, — хмыкнула она, — да вот прикидываю, как у тебя только наглости хватило подумать, что я согласуись на это?

Еще какое-то время они разговаривали в подобном ключе; да ей даже слушать его и то смешно, сказала она. Тем не менее говорила она вполне серьезно; в результате все кончилось тем, что она поведала Абелю, что за люди его родители.

Да, как видно, теперь — прощай все надежды. Он надолго умолк. Лидия вовсе не была такой уж бессердечной — просто самая обыкновенная девушка; видя, в каком он состоянии, она принялась болтать о разных безобидных пустяках; брат ее, Эдеварт, скоро возвращается домой, он написал ей из Бостона. Абель, стараясь быть вежливым, буркнул в ответ что-то неопределенное и снова замолчал. Ну вот, теперь она наконец совсем готова и может идти. Абель встал и направился к двери; напоследок, стараясь скрыть, насколько потрясло его все то, что довелось сейчас услышать, он все же нашел в себе силы пошутить:

— Ну что ж, так я еще, может, как-нибудь зайду!

Однако больше он не приходил.

Выйдя от Лидии, Абель отправился напрямик за город. Всегда такой легкий на ногу, теперь он шагал тяжело. Единственной целью этой прогулки было как следует встряхнуться, избавиться от уныния и тяжелых мыслей; он пошел быстрее, потом еще быстрее, как будто от того, насколько он сейчас поторопится, зависело решение какого-то важного вопроса, к примеру, получение наследства. Чувство обиды и гнева постепенно нарастало.

Он остановился возле хутора, расположенного прямо у дороги. В нем шевельнулись детские воспоминания: если память ему не изменяет, когда-то именно здесь он, тогда еще совсем несмышленный сорванец, стянул с бельевой веревки дамскую сорочку, потом попросил дать ему что-нибудь поесть и получил грубый отказ, наконец, отчаявшись что-нибудь выпросить, попытался купить у них чашку кофе и снова получил от ворот поворот под тем предлогом, что еще слишком мал, чтобы пить кофе. Как он переживал! Между прочим, он поклялся тогда, что, когда вырастет, обязательно придет сюда снова и отпла-

тит сполна этим чертовым жадюгам. И вот он пришел.

Во дворе хутора стояла девушка; Абель немного знал ее — иногда встречал в городе, — он поздоровался; она, должно быть, тоже узнала его и, покраснев, ответила на приветствие, делая вид, что занята чем-то у точильного камня. Звали девушку Ловисе. Ну конечно же, Абель оказался здесь не совсем случайно — чистые случайности вообще большая редкость; после того, как в одном месте его отвергли, Абель решил поискать утешения в другом, возле нее. Юная Ловисе также не совсем случайно вышла из дома именно в этот момент, уж во всяком случае не только для того, чтобы осмотреть точило. У них завязалась беседа; Абель — юноша прямой, откровенный — сказал ей в тот день немало. Она же отвечала по большей части односложно, чувствовалось, что она смущена, уголки ее губ то и дело приподнимались в неуверенной улыбке. Все же в этот первый раз они договорились кое о чем, во второй раз — уже о большем, а в третий раз — обо всем. Видно, Абелю действительно не терпелось подарить кому-то свое кольцо.

Общее мнение было таково, что Абель взваливает на себя непосильный груз: как прокормит он такую ораву — жену, родителей, бабу, двоих сестер, малышей? Верно, туго им придется уже в самые первые недели после свадьбы. Однако Абель не унывал — трудился не покладая рук, под стать своему паровому молоту, а тут к тому же оказалось, что и отец вполне может помогать ему в кузнице — руки-то у него были по-прежнему сильные, да и напильником он орудовал прямо-таки мастерски. Так что все складывалось совсем не так плохо. А некоторое время спустя одним ртом в доме стало меньше — Синеглазка вышла замуж. Когда эта маленькая плутовка перебралась на Горную пустошь, в уютное гнездышко к своему верному Кнопке, Абель, чудак, весь день ходил как в воду опущенный, с трудом сдерживая подступающие слезы. Отец, как мог, утешал его:

— Да ладно, ладно, что уж там, в самом-то деле? Ведь они еще с детства любили друг друга, да и сейчас — посмотри! — такая милая пара!

— Все это так, однако не стоило ей так торопиться, — только и мог ответить на это Абель.

На этом дело не кончилось; у Абеля оставалась еще одна сестра, теменькая, с «фамильными» карими глазами и нежным овальным личиком. «Ну, уж она-то, по

крайней мере, еще какое-то время потерпит»,— решил про себя Абель, однако судьба распорядилась иначе. На этот раз судьба носила имя Эдеварт, да-да, Эдеварт, тот самый матрос, который ушел в море еще мальчишкой несколько лет назад; и вот теперь он вернулся уже взрослым парнем и женился на кареглазой. Здесь, правда, не обошлось без некоторых сложностей: во-первых, невеста была еще совсем девчонка, а во-вторых, мать и сестра Эдеварта были решительно против.

— Что за чепуха!— возмутился он.— Ну и что, что у нее такая мать, ну и что, что неизвестно, кто ее отец? Мне-то какое до всего этого дело?

— Ну как же?— Они принялись наперебой объяснять и просвещать его, однако Эдеварт недаром был бравым морячком, да к тому же еще и влюбленным: да плевать он хотел на всю эту болтовню. Он так прямо и заявил— я признаю только то, что вижу собственными глазами. В качестве последнего довода они попытались рассказать ему всю историю, как Лидия-младшая отказала Абелью, не желая идти в такую семью.

— Ну и дура,— не дослушав, ответил Эдеварт.

Ничего, как видно, не поделаешь.

На свадьбе присутствовали обе семьи, и здесь Абель снова встретился с Лидией-младшей. Они даже немного поговорили друг с другом. Она не спросила его впрямую, совсем ли он ее забыл, но вид у нее был такой, будто она ждет от него объяснений, почему он больше не заходит, как обещал. Голос ее звучал покорно и печально, смысл слов был самым благочестивым. Время от времени она, прикладывая руки к груди, начинала кашлять; всем этим она пыталась доказать ему, что стала теперь совсем другим человеком, воспринимает жизнь всерьез, плачет по ночам, иногда даже кашляет кровью и так далее, и так далее... Несмотря на то, что все в ее облике должно было свидетельствовать о почти монашеской смирности, несмотря на слезы, затуманивающие время от времени ее глаза, платье на ней было самое роскошное— что ж, ведь она еще так молода и вовсе не думает всерьез отречься от мира; внезапно она достала из-за корсажа что-то, что Абель сперва принял за кружевные оборочки платья,— на самом деле это оказался носовой платочек, которым она аккуратно смахнула пыль с кончиков туфель. О, Лидия вполне умела владеть собой в любых ситуациях; тот, кто вздумал бы улыбнуться при виде ее повлажневших от слез глазок, тут же встретил бы совсем иной их взгляд—

сухой и твердый; да, уж что-что, а постоять за себя Лидия умела.

Эдеварт с молодой женой не остались ни в городе, ни даже в стране—сразу же после свадьбы они уехали в Америку. Поглядев, как обстоят дела у всех этих молоденьких сестричек на выданье, которые целыми днями только и делали, что сидели и шили, Эдеварт счел за лучшее как можно скорее сбежать отсюда. Абель настойчиво отговаривал молодых от этого шага—в основном, разумеется, из-за сестры: он даже сказал ей, что теперь они, по-видимому, больше уже никогда не увидятся. Ему-то, в общем, все равно, заявил он, однако по отношению к остальным это довольно несправедливо! Но его уговоры не подействовали, сестра твердо решила последовать за своим мужем.

— Тебе и в голову не приходит, что мы здесь, дома, остаемся совсем беспомощные,—с досадой воскликнул он. Ох уж этот Абель, весь дом, все женщины подняли его на смех.

Разумеется, для большинства людей в городке все эти свадебные хлопоты и прочие мелкие события не имели такого значения, как для семейства Оливера. Тут же их считали выдающимися и исполненными величайшего смысла, надеясь, что все это—к лучшему. Самому Оливеру, пожалуй, жаловаться было не на что—по крайней мере, его никто не трогал, события следовали одно за другим, не причиняя лично ему никаких неудобств, наоборот, теперь он ел вдоволь за столом Абеля, да и карманные денюжки, благодаря сыну, у него по-прежнему водились. Что ж ему еще желать! Косые взгляды в его сторону прекратились, Петра помалкивала. Да и чего греха таить, как бы там ни было, а отцом он был отнюдь не худшим; хорошее расположение духа и уверенность в собственных силах вновь вернулись к нему. Что уж там, ведь и сам дважды консул, когда с ним случилось несчастье, тоже махнул на все рукой и опустил-ся. А взять этого неисправимого человеколюбца—почтмейстера? Стоило той памятной ночи нанести первый чувствительный удар его хрупкой теории о благородстве человеческой мысли, как он сошел с ума и навеки лишился дара слова. Старый, всеми уважаемый Карлсен-Кузнец также не перенес своего позора—нелегко слышать, что твой сын разгуливает весь разрисованный всякими японскими картинками,—

и впал в детство; целыми днями он только и знал, что плакал или беззвучно шевелил губами, благодаря за что-то Господа и призывая скорую смерть. Оливер же был сделан из более прочного материала; бесшабашный, не такой ранимый и чувствительный, как они, он гораздо легче сносил все горести и печали, уготованные ему судьбой. А уж на его долю их выпало предостаточно! Но то пользуясь счастливым случаем, то удачливо воруя по мелочам, то провернув ловкое мошенничество, он неизменно вновь поднимался на ноги вполне довольный собой и счастливый. Так что в пору ему было примерить лавровый венок победителя. Правда, Оливер достаточно поехал по свету и лавровых листьев повидал вдоволь—так что прекрасно знал, что им можно найти другое, более достойное применение.

Шли дни. В доме у него царил мир, мальчишки на улицах не кричали ему вслед обидные слова, один только Олаус-С-Луговины преследовал его, как только мог. Оливер мог бы чувствовать себя почти счастливым, если бы не этот зловредный Олаус—как-то раз он не постеснялся в присутствии посторонних с самым невинным видом осведомиться у бедняги насчет того самого врачебного свидетельства. В тот же день, придя домой, Оливер с проклятиями сжег злополучную бумажку. Он старался изо всех сил избегать встречи со своим мучителем, а когда в следующий раз все же столкнулся с ним, в кармане у него лежала заранее припасенная пачка табака. Да, теперь они поменялись ролями—теперь Олаус разговаривал с ним свысока.

— Жаль мне тебя все же,—сказал Олаус.

— Как тебе табачок?—льстиво спросил Оливер.— Неужто не нравится?

Но улестить Олауса было не так-то просто.

— Правда то, что о тебе болтают?—в свою очередь осведомился он.

Оливеру пришлось на ум, что он, верно, напрасно потратился на табак; тем не менее он осторожно намекнул, что пачка эта—не последняя: он неплохо зарабатывает теперь в кузнице у Абея и может время от времени помогать табачком старому приятелю. Тут к ним подошел Йорген-Рыбак; он-то и услышал все те мерзкие и злобные измышления, которые Олаус приберег под конец. То, что именно он оказался этим невольным слу-

шателем, вдвойне уязвило Оливера—ведь он не раз прежде задира́л нос перед Йоргеном, к тому же теперь они с ним как-никак породнились. Думаете, в других бесцеремонных вопросах Олауса была хоть капля такта или деликатности? Последнее, о чем он спросил Оливера: зачем ему теперь одежда? Уж коль он ничего не стесняется, так что ж он тогда просто-напросто не разгуливает по улицам в чем мать родила! С этими словами Олаус, как всегда дерзкий и весьма довольный собой, двинулся своей дорогой.

Ярость, в которую он привел Оливера, была неопи-семой. Йорген-Рыбак примирительно заметил:

— Да брось ты, стоит ли обращать внимание на этого Олауса!

Выходило, что стоит. Калека метнул ему вслед свирепый взгляд, поиграл желваками и угрожающе мотнул головой.

— Ну ладно, этого я ему никогда не забуду!—с расстановкой произнес он.

Но толковать об этом со стариком Йоргеном было бесполезно; Оливер круто повернулся и заковылял в сторону главной улицы. Стоял субботний вечер, и, верный себе, он был одет в лучший свой костюм. Остановившись перед витриной обувного магазина, он принялся рассматривать выставленные в ней дамские сапожки; по временам он оглядывался по сторонам, подманивал к себе кого-нибудь из прохожих и обменивался с ним парой замечаний относительно этих сапог: да, что и говорить, высокие, во-о-он куда по ножке, небось, доходят; Оливер даже причмокивал, с видимым удовольствием отпуская разные сальности на этот счет. Внезапно какой-то из проходивших мимо мальчишек выкрикнул в его адрес ту обидную кличку, которой отныне его наградили; последовал взрыв хохота, Оливер смешался и замолчал.

— Да, обувь теперь дорогая—простому человеку не по карману,—раздался голос позади него. Это снова был Йорген-Рыбак. Оливер опять принялся причмокивать, оценивая высоту голенищ, однако разговор не клеился. Это было лишь смутное подобие их прежних долгих и приятных бесед,—черт его знает, почему, может, с годами он уже остыл? Тут ему в голову, по-видимому, пришла новая идея, и он с энтузиазмом воскликнул:

— Пойду-ка я, пожалуй, схожу на танцы!

Предварительно он зашел в лавку и как следует экипировался: купил и вылил на себя чуть ли не весь флакон одеколона, так что благоухал им теперь за версту; взял он также и пакет леденцов, а впридачу немного бараньего жира, нарезанного тонкими ломтиками,—его он намеревался разбросать по полу в танцевальном зале. Да, что-то он определенно задумал—о Господи, похоже, он собрался снова выйти на охоту, этот сердцеед, этот похититель чужих невест! Ну теперь только держись! Однако в самый последний момент уже у дверей зала—Бог знает, почему, быть может, он вспомнил всю свою жалкую и смешную жизнь,—мужество оставило его. Он вдруг побледнел и разом вспотел; достав из кармана зеркальце, он принялся прихорашиваться и растирать щеки, стремясь вернуть в них отхлынувшую кровь. Наконец он решительно распахнул дверь и, постукивая деревяшкой, вошел внутрь.

Моментально все взгляды устремились на него: «Оливер, смотрите, Оливер, ха-ха-ха!»—пронеслось в зале. Найдя место, он сел. Танцы были в самом разгаре.

— Держи-ка свой костыль поближе к себе!—предостерегающе крикнул ему какой-то проплывающий мимо в вальсе морячок.

— Что это он там кричит? В свое время я бы постеснялся кричать в танцзале,—неодобрительно покачал головой Оливер, обращаясь к сидящим поблизости.

Немедленно кто-то из них откликнулся:

— Видать, ты тогда был резвунчиком, а, Оливер?

Он с готовностью закивал головой и принялся рассказывать об «Алкасаре» в Гамбурге, о «Гринхорне» в Нью-Йорке, о том, как он танцевал и любезничал с дамочками всех рас и оттенков кожи, как кружил в свое время малаек и китайнок, индианок и негритянок, между прочим, одна индианочка была такой милашкой, да, а целовалась лучше, чем кто-либо из тех, кого он знал...

Оливер, обычно вялый и ленивый, не привык к таким усилиям; вскоре он побледнел и залился потом. Кто-то из слушателей заметил, что, да, может, когда-то так оно и было, но чего ж теперь-то вспоминать?

— Почему это?—искренне удивился Оливер, всем своим видом давая понять, что такую горячую натуру, как у него, нелегко унять,—пришел же он в танцзал! Да, кстати, вот у него тут конфетки есть, угощайтесь, молодые люди!

А эти нынешние танцы — ну кто ж так танцует, спрашивается? Вот в его время — это да, танцевать умели! Взять, к примеру, хотя бы того парня, что крикнул ему, — как он вальсирует?! Не на каблуках надо вертеться, а носочками отталкиваться, и даму нужно поддерживать и вести поуверенней, чтобы не так уставала. Нет, теперь танцоры уже не те; Оливер, ей-богу, едва сдерживается, чтобы не пойти самому показать, как это делается.

Вокруг засмеялись.

Как, ему не верят?! Напрасно, напрасно... Вот, к примеру, взгляните на эту девчонку, — ляжки у нее что надо, я бы и сам не прочь за них поддержаться! Тогда б вы поняли, как это делается! Та-ти-та-та!

— А ну-ка, пойдите-ка и разбросайте это по полу, — сказал он, протягивая пакетик с кусочками жира.

— Что это, бараний жир?

— Да, жир. В свое время мы всегда разбрасывали его, когда пол так истаптывали, что становилось трудно танцевать.

— Что ж, посмотрим.

Жир разбросали.

Странно, но это, видать, действительно помогло; музыка и танцы слились в едином вихре, ноги танцующих заскользили, замелькали, пары закружились быстрее.

С жиром дело пошло на лад.

— Что ж, видать, ты действительно знаток в этих вопросах, Оливер! — снисходительно похлопали калеку по плечу.

— Да, уж не вам меня учить, — довольный, проворчал он. Признание его правоты как бы подхлестнуло его — он снова начал посмеиваться, гримасничать, казалось, еще чуть-чуть — и он запоет. Вечерок выдался на славу!

— Вон, видишь ту девицу с пышной грудью? Сходика, сынок, скажи, что я хочу с ней поговорить.

Девушка подошла; Оливер — человек светский до кончиков ногтей — протянул ей пакетик с леденцами:

— Не желаете ли слегка освежиться, фрекен?

Девушка захихикала, взяла горсточку конфет и, покачивая бедрами, отошла. К нему подошла другая, третья, Оливер щедро угощал всех; бледный, весь покрытый капельками пота, он заигрывал направо и налево, толкая, как его к ним влечет.

— Это тебя-то? — Визг, хохот...

— Ну да, и еще как!

Какая разница, что он хромает. Уж на что, на что, а на это он еще способен! Посмотрели бы они, какая медсестра-итальяночка в свое время вешалась ему на шею — уж как ей хотелось выйти за него! Да она покою ему не давала, все целовала, обхаживала, а целоваться она, скажу я вам, умела...

Танцы продолжались. Оливер выглядел уже утомленным, однако продолжал громко стучать своей деревяшкой, отбивая такт; видно, ему почудилось, что внимания на него обращают недостаточно, и он принялся греметь еще и костылем. Это немедленно вызвало неудовольствие нескольких парней, которым он уже давно действовал на нервы не только грохотом, но и тем, что постоянно отвлекал их дам своей непрестанной болтовней и конфетами. Его предупредили, чтобы он сидел спокойно и не шумел, но это не помогло — он продолжал отпускать сальности: да уж, сегодня он решил тряхнуть стариной, повеселиться, да и до женского пола он охоч — ничего не поделаешь, мужчина он горячий! Что ж, шила в мешке не утаишь, не стоит и пытаться, да ведь и так все это прекрасно знают. Желаете еще немного освежиться, фрекен?..

Ох! — одна из танцующих пар поскользнулась и оказалась на полу. Послышались возмущенные возгласы, визг. На упавших налетела вторая пара, началась кутерьма. Кто это так здесь насвинячил, что это тут на полу? Бараний жир?! Откуда? Отчаянно бранясь и отряхивая с одежды кусочки жира и грязь, пары обступили Оливера. Много они понимают, отвечал калека, да сам он сколько раз на жире¹ танцевал — и ничего; да кого они учить вздумали, тоже мне, танцоришки! Но они не унимались, настаивая, чтобы он возместил им стоимость испорченной одежды; при этом они ругали его на все корки, обзывая идиотом и жирной свиньей. Тут Оливер важно надулся — да знают ли они, с кем говорят, ведь он, Оливер Андерсен, чуть ли не полвека заведовал складом у самого консула Юнсена, да как им, в конце концов, не стыдно так вести себя по отношению к людям, в сотни раз более достойным, чем они сами...

¹ Игра слов: *talg* (норв.) — бараний жир, *talk* (норв.) — тальк.

— Выметайся-ка отсюда вон! — раздались крики. Ох, как же они его честили, обзывали по-всякому, обсуждали, что в этой развалине осталось от нормального человека, — пустая мошонка, баран кастрированный! Ишь ведь, одеколоном обрызгался, а то ведь насквозь протух, воняет от него, как из хлева! Убирайся!

Разумеется, в городе сразу все стало известно; особенно негодовали женщины у колодца: как же это в самом деле, такой пропащий, а в церковь не ходит, танцы ему подавай! Для кого ж тогда, спрашивается, церковь-то? Странное дело, но и на этот раз дома все обошлось спокойно; такое впечатление, что Петра махнула на него рукой. Да, конечно, не успел он на порог ступить, как весь дом провонял своим одеколоном, Петра даже отшатнулась, увидев его, но — и только: скандала не последовало. В дело вновь вмешалось Провидение: как раз в этот момент стало известно, что филолог Франк, их старший, недавно назначен директором городской школы.

Никто теперь не посмеет сказать, что у Оливера нет детей! Что? Они не от него? Пусть так, но ведь он их вырастил, воспитал, кем же, как не отцом, был он для них все это время? И между собой, и в разговоре с другими они его иначе и не называли. Вот вам, пожалуйста, — Франк, его сын, вернулся домой, взрослый, ученый. Оливера так и распирало от гордости. Петра и бабка хотели бы, конечно, видеть его священником, ну да что уж тут. Оливер по праву теперь мог гордиться. Вот это сын!

XV

В городе вывесили флаги — вывесили их у Бакалейщика-Ольсена, у дважды консула, вообще во всех консульских домах, а также у Хенриксена-С-Верфи. Чествовали Шелдрупа Юнсена и фрекен Ольсен, которые ездили венчаться в Христианию и сегодня должны были вернуться домой уже супружеской парой. Когда показался почтовый пароход, в небо взметнулся еще один флаг — на шхуне консула Хейберга, стоящей под погрузкой у почтового причала.

На набережной собралась куча народа, многие еще подходили. Из консулов отсутствовал лишь один Давидсен, владелец мелочной лавки; он, как обычно, избегал

общества своих более богатых коллег. Доктор с нотариусом также отсутствовали, зато пришел Франк, новый молодой директор школы. Он недавно женился на Констанс, дочери Хенриксена-С-Верфи, однако жены с ним сейчас не было. Ну что ж, в конце концов и он отнюдь не незаметная персона — кто ж еще в городке, да, пожалуй, и на всем побережье, мог похвастаться такой ученостью? По части филологической образованности, преподавания иностранных языков и грамматики ему не было здесь равных. Он стоял чуть поодаль, у штабелей бочек с ворванью, которые грузили на бриг; на нем была новая фрачная пара, купленная к свадьбе, так что, вообще-то говоря, вероятно, ему не следовало бы особо близко подходить к бочкам, однако они хоть как-то защищали от пронзительного ветра, гулявшего по пристани, к которому молодой человек был весьма чувствителен. Оливер держался в стороне от сына, на противоположном конце причала, — как себя вести, его учить не надо.

И снова Оливер чувствовал себя на подъеме. Да, разумеется, ему пришлось оставить теплое местечко на складе, но и в кузнице у Абея было, пожалуй, ничуть не хуже. Как правило, он проводил там целые дни, когда было настроение, что-то выравнивал напильником; по временам же он по-прежнему садился в лодку и уходил в море, иногда ему даже удавалось добыть белугу. «Мой сын, кузнец...» — любил теперь иной раз небрежно бросить он, или даже так: «Мой сын, директор школы...» Да, что и говорить, сыновья стали его надежной опорой, и он не стеснялся извлекать выгоду из того уважения, с которым все теперь к ним относились.

Наконец-то, по-видимому, все наладилось, да и то сказать — чего ж ему еще-то? Он всем теперь доволен, даже счастлив. Само собой понятно, мальчишки на улицах не смели теперь дразнить его — отца директора школы; сам он также, разумеется, не пойдет теперь в танцзал, да и скандала не затеет. Единственный, кого он еще мог опасаться, Олаус-С-Луговины, и тот, казалось, забыл свою былую неприязнь к нему. Так что дни протекали ровно и спокойно. Вот и здесь, на причале, он был персоной не из самых последних — были тут люди и поменьше. В конце концов, кто они такие — все эти «добропорядочные» люди, собравшиеся тут? Самые обыкновенные посредственные обыватели — тоже мне, сливки общества, высший свет! — да просто скучные индюки

в крахмальных воротничках. Оливер специально держался чуть в стороне от них. Все они как две капли воды похожи один на другого — надо же хоть чем-то от них отличаться. Да, разумеется, он жертва, страдалец, судьба жестоко обошлась с ним, можно сказать, прожевала и выплюнула, высадила из общей лодки, однако она так и не смогла уничтожить в нем главного — непобедимой жажды жизни. И пусть себе городская газета печатает свои призывы и снова твердит на все лады о пользе приобщения к религии — как же, ведь все добропорядочные люди повсюду нуждаются в этом, да в конце концов и само время призывает к тому, короче говоря, нам необходимо начать с конца! Нет, он, Оливер, ничего не хочет больше начинать, да и к чему это ему, не его это дело. Он вполне доволен тем, что у него есть, — людская молва его не тревожит, и женщинам у колодца никогда не обратить его ни в какую веру. Жизнь, судьба, Бог — все это, разумеется, чертовски важные, нужные и возвышенные вопросы. Вот и пусть их решают люди образованные, — а Оливер тут при чем? Да и ничего хорошего не выйдет, если он, не дай бог, попробует сосредоточиться на чем-то таком — он просто-напросто не сможет работать по-прежнему, не будет получать удовольствия от еды и сладостей, в общем, не будет больше собой, прежним Оливером. Нет уж, пусть лучше другие корчат из себя нечто большее, чем они есть на самом деле!

Он и так доволен — об этом говорил весь его вид. Он твердо стоит на ногах, пусть одна из них и деревянная, да и из родственников есть кому за него слово молвить, если потребуется. Все кругом как-то разом снова его зауважали — как же, все-таки отец директора школы...

Почтовый пароходик причалил к пристани. Молодые стояли у борта в окружении членов семей; в знак приветствия многие из встречающих молча сняли шляпы, с пароходика им отвечали тем же. Фрекен Фиа, оставаясь верной себе, не стеснялась привлекать к себе всеобщее внимание и была одета во все красное, даже пурпурное; кроме того, в последнее время она стала интересоваться болонками, и вот теперь у нее на руках сидело ослепительно белое пушистое существо с голубым бантом на шее и длинными прядями шерсти на морде, почти полностью закрывающими глаза. Фиа была как всегда изящна и разговаривала ровным, слегка приглушенным

голосом — настоящая великосветская дама, вылитая графиня, чего она теперь желает, так это оставаться по-прежнему бодрой и с прежней неутомимостью заниматься своим любимым искусством, иллюстрируя индийские сказки. Учитывая ее воспитание, а также безобидность этих стремлений, осуществить их, по-видимому, было вполне возможно.

Мать ее, фру Юнсен, тоже уже полностью пришла в себя и оправилась от былых забот и потрясений. Лицо у нее, правда, оставалось желтоватым, однако она снова стала носить шляпы с широкими полями. Ходили слухи, что им удалось повернуть какую-то ловкую мошенническую аферу с гибелью «Фии» и банкротством, и после мнимой бедности, длившейся всего три недели, фру Юнсен теперь по-прежнему все так же богата. Грузная, массивная, она стояла тут же, рядом с дочерью; это она, точнее, ее приданое, позволило в свое время К. А. Юнсену-С-Пристани стать большим человеком, так что она вполне чувствовала себя вправе носить широкополые шляпы. От Бакалейщика-Ольсена она старалась держаться в некотором отдалении, всем своим видом как бы говоря: «Да, конечно, теперь мы с ними породнились, однако пусть не слишком-то обольщаются по поводу того, что мы будем с ними общаться!» То, что ее муж, потеряв голову, продал загородное поместье именно этим людям, было досадным недоразумением, игрой случая — не более. К чему, спрашивается, им это поместье? Они и побывали-то там всего один-единственный раз, причем не в экипаже, не верхом, нет! — оба они, и Ольсен, и супруга, шли просто пешком. Этой пешей прогулки им, по-видимому, вполне хватило: в Христиании они преподнесли поместье молодым в качестве свадебного подарка. Действительно, к чему оно людям, которые даже толком не знают, что с ним делать!

Чуть позже остальных на палубе показался и сам дважды консул Юнсен — единственный из всех в цилиндре. В руках у него был плед, он заметно запыхался, по-видимому, прибытие застало его врасплох — быть может, в тот момент, когда он рассчитывался, а может — черт его знает? — просто любезничал с горничной; дважды консул большой человек, дел у него хватает, у фирмы много филиалов. Что, говорите, поверженная крепость? Нет, это крепость уже восстановленная. У него снова такой вид, будто стóит он по крайней мере милли-

он или около того; в Христианин он все время ходил с орденом Даннеброга на груди. Неужели же вся эта история с гибелью «Фии» и страховкой была лишь ловким и хорошо рассчитанным трюком? Как бы там ни было, но счастье, похоже, снова улыбалось консулу Юнсену, он снова вернулся к делам, прервав вынужденное бездействие, да и разговоры о нем и его семье теперь совсем уже стихли. Когда-то давно, пребывая в состоянии особой задумчивости, он посетил старого почтмейстера, вероятно, с целью обрести душевный покой; несколько дней спустя, он, с еще более озабоченным видом, нанес визит кузнецу Карлсену, по-видимому, с той же целью, хоть, очевидно, в обоих случаях и безрезультатно. У кого после этого повернется язык назвать его человеком равнодушным? Нет, свой долг он сознает полностью. Но дни шли, и со временем все, казалось, малопомалу улеглось, по крайней мере в посторонней помощи он теперь не нуждался. Да и к чему она ему? Иногда, вспоминая почтмейстера с его скромностью и непритязательностью, он усмехался. Вот ведь человек — всю свою жизнь стремился обрести покой, настойчиво искал его, и что же? Нашел свою маленькую звездочку и живет себе в ее свете; нет, разумеется, свет этот не яркий — не солнце, не ясный день, — однако ему и такого вполне достаточно, чтобы различать свой путь. Нужно лишь уметь довольствоваться малым! Консул Юнсен ничего не искал — для него это слишком тяжелый, непосильный труд; вот если бы узнать, где на рынке можно приобрести этот покой, узнать, сколько он стоит... В результате — вот он стоит на борту парохода, снова веселый и уверенный в себе; да, судя по его виду, он вполне в состоянии пережить еще хоть три, а то и все четыре столь же сокрушительных удара. Ну что за молодец этот дважды консул, ведь он, по всей видимости, нашел-таки способ приструнить своего не в меру ретивого сыночка, ограничить его бурную деятельность; «мы», говорил он теперь, имея в виду фирму, «мои люди» — вот так! Да и в отношении к нему людей эти перемены, произошедшие с ним, не замедлили сказаться: снова все смотрели на него снизу вверх и не позволяли себе пройти мимо, не поздоровавшись; в конце концов, именно отец, а не сын, всегда пользовался всеобщей любовью и уважением. Ведь он обладал в общем-то теми же качествами, что и простые горожане, — был добродушным, мягким, нисколько не важничал, не подчеркивал свою не-

преклонность, однако при этом чувствовалось, что он первый среди равных—краса и гордость всего города, натура широкая и одаренная; никто не сомневался, что в самом скором времени у него появится новая «Фиа»...

Консул Юнсен, единственный из прибывших, громко приветствовал собравшихся на берегу. Что ж, он, именно он мог себе это позволить.

— Проследи, чтобы выгрузили багаж,— обратился он к Шелдрупу и снова прошел в глубь парохода. Может, забыл что-то в своей каюте, а может, не успел с кем-то проститься, кто его знает?

Наконец на пристани появился и Олаус-С-Луговины—он примчался как ветер. Проспал он, что ли, или дулся где-то в карты до последней минуты? Схватив сходни, он одним махом перебросил их на борт, да так, что раздавшийся грохот заставил даже испуганно отпрянуть стоявшую поблизости запряженную в повозку лошадь—на ней молодожены должны были отправиться в свое поместье; не обращая на это ни малейшего внимания, Олаус крикнул матросу, стоявшему у трапа:

— Эй, там, принимай сходни, чего ждешь, таракан ты безногий?!—и прибавил еще парочку крепких словечек.

Олаус пил уже несколько дней и потому несколько не стеснялся привлекать к себе внимание. А уж если Олаус-С-Луговины пил, то пил капитально, до тех пор, пока был в состоянии,—это вам не в церкви причащаться. Вот и сейчас, на набережной, он явно был навеселе, по крайней мере, в блаженном подпитии; весь окутанный клубами дыма своей неизменной носогрейки, он держался подчеркнуто прямо и, как всегда, был преисполнен самоуверенности и упрямства. Голос его звучал хрипло и грубо, он как бы выплевывал отдельные слова. Вы, может, думаете, что понять его было нелегко? Напротив, смысл сказанного им ни у кого не вызывал ни малейших сомнений. Притворившись, что не замечает стоящего на борту Шелдрупа, он без тени смущения повел речь именно о нем.

— Так ты что ж, Шелдрупа, что ли, в поместье повезешь?—громко прохрипел он, обращаясь к кучеру, сидящему на козлах.— Да уж, он парень хоть куда, ничего не скажешь! Спроси-ка его, кстати, как там все это вышло со страховкой «Фии». Слышал, небось? Шелдруп, этот

востроносый, верно, сам застраховал ее, а денежки-то в карман себе положил.

Люди, стоящие на набережной, прислушивались. Не такая уж это и чепуха, Олаус не выдумывал ничего нового — подобные слухи уже давно ходили по городу. В том, что он только что сказал о Шелдрупе, не было ничего невероятного: ведь судно до самого последнего момента находилось полностью в его распоряжении, отец им практически и не занимался, так почему бы Шелдрупу и не уплатить очередной страховочный взнос? Вполне мог, очень даже похоже на правду. По крайней мере, это сразу объясняло, почему Шелдруп вдруг вернулся домой, уселся в отцовское кресло и легко выписывал кредиторам чек за чеком. В конце концов, в этом случае становилось понятным и то, что, когда афера вот-вот должна была вскрыться, отец снова занял свое место в кабинете. Так вот в чем причина внезапного прилива энергии и неожиданного взлета оступившегося было консула Юнсена, так вот почему ему удалось прибрать к рукам своего не в меру расхоронившегося суперсовременного отпрыска и снова сосредоточить руководство фирмой в своих руках. Ничто так не окрыляет человека, как одержанная победа.

Молодожены, нагруженные целыми охапками цветов, сели в экипаж и, раскланиваясь направо и налево, двинулись по направлению к поместью — своему новому семейному очагу, где их уже ждал накрытый стол. Олаус мало-помалу уgomонился. Свита молодых один за другим сошла на берег; Олаусу наконец надоело болтаться на трапе, и он прошел к трюму, чтобы понаблюдать за разгрузкой. На берег вынесли несколько ящичков. Олаус не преминул проводить их довольно-таки солеными шуточками; как обычно, он держался в общем-то беззлобно, однако не стеснялся в выражениях, а энергичные словечки, употребляемые им, были явно рассчитаны на то, чтобы шокировать окружающих, чего он с успехом и достиг — кругом раздался смех.

Новый директор школы, худосочный знаток иностранных языков Франк случайно оказался в закутке среди штабелей разных хранящихся здесь грузов.

— Эй, там, осторожней, смотри не испачкай бочки с ворванью! — крикнул обращаясь к нему Олаус.

В толпе встречающих раздалась смешки и приглушенный ропот; все ждали от Олауса новых острот. Оливер, услышав этот в высшей степени непочтительный окрик

в адрес сына, сделал несколько неуклюжих прыжков в его сторону, как будто собираясь вмешаться. Глаза у него злобно сверкнули; вне всякого сомнения, Олаусу сейчас не поздоровится.

Однако Олаус, окрыленный вниманием слушателей, торжественно продолжал:

— Ты что же, не видишь, что устроился прямо в моей квартирке, а? Да-да, мы с одним моим другом, Олаусом-С-Луговины, частенько ночуем здесь под брезентом. Хочешь присоединиться к нам, приходи вечером — так уж и быть, приютим!

Так, еще один знак неуважения!

Франк, заложив руки за спину, с независимым видом отошел подальше от бочек. Он чувствовал, что не сможет достойно ответить, не прочтя нахалу лекции, однако читать лекции на набережной он считал ниже своего достоинства.

Но от Олауса было не так-то просто отделаться. Презрительно расхохотавшись, он бросил ему вслед:

— И прими мои уверения в совершеннейшем почтении к тебе! — Тут его взгляд упал на отца, Оливера, и он, ничуть не стесняясь окружающих, крикнул ему, что, дескать, смотри, вон идет тот самый парнишка, сынок Петры, прижитый ею с месяцем. Услышав это, Оливер застыл на месте и опустил глаза. Что ж, Петра молодец, во всяком случае, он ее понимает, продолжал Олаус, да он знает ее с тех пор, как она была еще девчонкой; с такой милой, хорошей девушкой, какой она была в то время, никогда не могло бы случиться ничего дурного. И вот дернула же ее нелегкая выйти за Оливера — ведь она век с ним, с живым, вдовою прожила. — Да будь я проклят, Оливер, если кто-то еще на тебя смог бы позариться. Жаль мне тебя, конечно, бедняга, — ты ведь единственное, что умеешь, так это не хуже бабы управляться с ниткой и иголкой, — сам сколько раз от тебя слышал. Ну а Петра тем временем...

Тут он заметил приближающегося к набережной доктора, и его воспаленная выпивкой фантазия нашла себе новую пищу. Да уж, чего-чего, а фантазии у него хватало:

— Петра — это вам не докторша, для которой дети как кость в горле; нет, коль скоро ей не удалось занять их дома, то она заимела их где-то в городе. И правильно, черт возьми, какое ей дело до того, что об этом думают

всякие там святоши в церкви! А то что это, скажите на милость, за новости — баба, и без детей? Чепуха! Что ж, прикажете им выплакивать их наружу, как докторша? Ревет себе, понимаешь, и ревет, — да утопить ее за это мало, вот что я вам скажу! А ты-то, доктор, небось, — орал он вконец разойдясь, — взял себе тряпочку да преспокойненько утер с пола эти ее слезки? Что морду воротить, слушать не хочешь? Но пока не ушел, я все же кое-что тебе скажу: бабы, которые отказываются производить на свет новую жизнь, должны сами себя в могилу закапывать, вот так-то...

— Эй, там, прими трап! — раздался окрик капитана.

Олаус схватил сходни, зачем-то высоко поднял их и, слегка помедлив, с размаху швырнул наземь, так, что доски пирса задрожали. Пароход отвалил от пристани.

То был последний раз, когда Олаусу-С-Луговины удалось продемонстрировать городу свою неукротимость и ораторское искусство, — ночью он навеки умолк: Хейбергов бочонок с ворванью свалился на брезент, которым он укрывался, и раздавил ему грудь. Печальный конец, ничего не скажешь, хоть он и едва ли заслуживал другого. Однако, что бы там о нем ни говорили, но и с ним судьба обошлась не лучшим образом — как с той лошадьё, которую, объезжая, искалечил неумелый седок...

Люди со стоящей у пристани шхуны слышали ночью какой-то шум, но потом все снова стихло, и они уснули. Утром же они нашли Олауса. Грудная клетка его стала совсем плоской, в ноздрях и в углах губ запеклась кровь, рот был закрыт, зубы плотно стиснуты. Вид у него был спокойный, казалось, он просто спит. На самом деле, конечно, он был уже давно мертв и даже окоченел. На лице — ни злобы, ни насмешки. «Не будите, пока не приедем!» — казалось, говорит он...

Слухи о несчастье быстро распространились по городу, дошли они и до Оливера. Странно, но как раз в ту ночь Оливера не было дома; он вышел побродить по городу и слышал грохот рухнувших бочек, однако не придавал этому особого значения. По словам Оливера, он бы никогда не пожелал такого конца своему старому приятелю, ведь тот, как сказал Оливер, в сущности был неплохим мужиком. Трогательно было слушать его, рассуждающего в таком тоне о бедняге, который не мог даже нитку в иголку вдеть, но оно и понятно — ведь кому,

как не Оливеру, знать, что такое увечье, так что тут слова его не вызывали сомнений...

Снова стали люди задумываться о том, что такое жизнь, судьба и Господь Бог; в обсуждении этих вопросов многие немало преуспели. Некоторые даже приходили к мысли о том, что жизнь наша — всего лишь тонкая нить, на которой пляшем мы, грешные! Да, Олаус-С-Луговины теперь навеки умолк, зато продолжали болтать другие. Однако все же Олаус-С-Луговины был персоной столь незначительной, что о смерти его говорили не долго — люди быстро устают думать о смерти, людям хочется танцевать. Тут как тут оказалась и учительница танцев, она продолжала все так же приезжать в город, сея вокруг себя грех и мирскую суетность! Словно какой-то внутренний голос подсказывал ей, что наконец-то пробил ее час. Разумеется, бывало, что дела ее шли неважно, но она умела терпеливо ждать — действительно, чего не сделаешь ради искусства! Когда некоторое время назад гибель «Фии» погрузила город в тишину и уныние, дела ее пошатнулись было и ей пришлось уехать, теперь же наплыв посетителей в ее заведении возрос чуть не вдвое против прежнего. Да, люди не меняются — ничто человеческое им не чуждо. Тяга к танцам не исчезает у них никогда — ни тогда, когда смерть действительно стоит у дверей, ни тогда, когда она — пусть только на этот раз — благополучно проходит мимо.

Некоторые, особо нетерпеливые, пытаются сами управлять жизнью, изменить ее, сделать мир другим; они придумывают разные программы, стремясь выкинуть из жизни все дурное. Причиной тому не какая-то их особая заносчивость и высокомерие, нет — они не бунтуют против воли небес, занимают позицию смиренных просителей, стоят за спиной пианистки-жизни и, ласково нашептывая ей на ухо, переворачивают страницы нот. Но жизнь не играет по нотам, предложенным ей людьми.

Ну кто, скажите, более старого почтмейстера заслуживает того, чтобы его жизненная программа была оценена по достоинству? А каков результат? Кто, как не он, пал жертвой чудовищного обмана? Пресловутое ограбление на всю оставшуюся жизнь сделало из него полного идиота, отнюдь не даровав при этом блаженства. Или, быть может, все-таки это и есть истинное блаженство, ведь теперь он, хотя и по-своему, всем доволен, да и ви-

дит и чувствует, пожалуй, лучше и глубже, чем все остальные? Отныне он живет в ином мире, достиг наконец столь желанного для него слияния со звездами и ветром, стал частью всего сущего, влился в его единый поток. А пища? Что ж, он, разумеется, ест, но что есть и есть ли вообще — не имеет для него ровно никакого значения! Собственная тень, бесплотный призрак, облаченный в человеческую одежду, жалкий мертвец, способный лишь щуриться, видя свет, вдыхать и выдыхать воздух, а будучи простуженным — чихать. Во всем же прочем он — ничто. Чувствует ли он себя по этому поводу несчастнейшим существом в городе? Сам он никогда об этом не говорит, да и вообще, скорее всего все, что он хотел сказать, он сказал уже раньше. Те, кто видел его хоть раз, готовы признать, что он — само спокойствие и уравновешенность; вид его настолько естествен, что как будто говорит: «Я не просто так лишился рассудка, у меня есть на то свои причины, и такое положение вещей в высшей степени меня устраивает».

А жизнь, между тем, продолжает свое течение. Кто знает, быть может, прав был почтмейстер, утверждая, что всем в мире правит какой-то великий и справедливый высший разум. Иначе как же объяснить тот факт, что в конце концов все снова идет к лучшему? К примеру, вновь открылась городская верфь. Произошло немало и других радостных событий, но то, что после долгого перерыва опять заработала верфь, поистине было счастьем для городка: Каспер вновь получил работу, а вместе с ним вновь обрели заработок и все прочие. Это объяснялось вовсе не тем, что Хенриксену вдруг удалось каким-то чудесным образом одним махом разбогатеть, — просто он получил щедрую помощь; теперь, когда дважды консул Юнсен снова утвердился в своем кресле и принял на себя руководство фирмой, он доказал, что по-прежнему способен на добрые дела.

Итак, все идет и изменяется, при этом многое, очевидно, к лучшему. Ведь о том, что такое истинное благо, человек может только догадываться, не больше. Взлеты чередуются с падениями, все в жизни взаимосвязано. Свеча горит спокойным пламенем. Но вот — дверь открыли, и пламя задуло. Кто виноват в этом? Да и виноват ли вообще?

«Надо быть терпеливыми, как деревья в лесу», — любил говаривать кузнец Карлсен. Что ж, он, как и каждый,

имел право на свое мнение. Человек неученый, он не умел выражаться высокопарно и привык быть благодарным Господу за каждый прожитый день. Казалось, в последнее время он утратил всякое ощущение реальности, даже если речь шла о его прежнем ремесле. Однажды, сидя в кузнице, он, посреди разговора о гибели Олауса-С-Луговины или каких-то тому подобных вещах, вдруг неожиданно начал рассказывать о том, что как-то раз остался совсем без угля. Свой-то он, дескать, уже весь сжег, и вот пришлось ему сидеть сложа руки, ведь в городе, по его словам, угля тогда днем с огнем было не сыскать—ни у кого не было. Правда, слава Богу, не так уж долго это длилось—наконец уголь все же появился,—однако если бы он нужен был лишь ему одному, то ждать пришлось бы гораздо дольше.

— Это почему же?—не понял Оливер.

— Да, гораздо дольше,—задумчиво повторил кузнец.— А то как же? Чем я лучше других? Я и получил-то его только потому, что и всем остальным он был тоже нужен.

При этом вид у него был такой, будто на него только что снизошло откровение,—кроткий и слегка униженный, быть может, даже отчасти глуповатый, что, однако, характерно для любого человека в момент познания высшей истины.

— А у тебя как идут дела?—поинтересовался он у Абея.

— Да все хорошо.

— Ну, а подручный твой, ничего, работает?—шутливо кивнул Карлсен в сторону парового молота.— Что ж, раз хорошо, то благослови Бог и тебя, и эту твою машину!—с чувством пожелал старый кузнец.

Внезапно он заглянул под лавку у окна и принялся что-то искать. Абель спросил его, что именно он ищет, и предложил помочь. Нет, нет, ничего особенного, он ничего не ищет. А, вот он, так я и знал, что он здесь, просто боялся, что уже давно его выкинул как ненужный хлам. Это был грубо сколоченный ящик, полный каких-то кулечков и мешочков.

— Что в нем?—спросил Абель.

— Что, говоришь? Да так, мелочь всякая, я подумал—чего он здесь будет мешаться.

— Так, может, просто сжечь его в горне, и дело с концом?

Кузнец пропустил это замечание мимо ушей.

— Просто мешочки, видишь, у каждого из них был свой, они складывали в них разные игрушки, которые сами же и вырезали. Да, было время, они любили с этим возиться; что и говорить, ничего особенного, по большей части самые обычные щепки, но некоторые из них похожи на кораблики, другие — на топорики, третьи — на человечков. Мы их всегда прятали, у каждого был свой мешочек, и они внимательно следили, чтобы их не перепутать. Никогда бы не подумал, что они все еще здесь. Да-да, я сам, сам, сейчас их выну, отнесу домой и — в печь...

Абель предложил помочь ему донести ящик домой, но кузнец предпочел сам нести свои драгоценные мешочки.

Абель вновь занялся работой. Один заказчик принес колеса от двуколки — их надо было оковать железом, другой, владелец баржи, просил поскорее склепать порванную цепь. Абель начал ее чинить. Как бы невзначай он сказал отцу:

— Не мог бы ты слегка зачистить вот эти железяки, конечно, если ничем не занят? — Нет-нет, он и не думал давать ему какое-то задание, просто так спросил, по-родственному, по-домашнему. Отцу это, конечно же, пришлось по душе — по крайней мере никто его не упрекает, что он болтается здесь без дела, наоборот, он чувствует себя теперь персоной важной и значительной.

— Да ладно, что уж там, чего-чего, а время как-нибудь найдется!

Оливер добросовестно, до блеска зачистил железо — металлические ручки и уголки для обивки сундука. Это — важный товар для деревни, где люди по-прежнему ценят добротную кузнечную работу и с удовольствием оковывают железом свои лари. Вот так и проходит день — в работе и дружеской болтовне. Накануне к ним в кузницу по дороге в лавку зашла Синеглазка и тоже вдоволь наболталась с ними. Заметив, что на ней светлое платье, Абель галантно встал с угольного ящика, уступая место дорогой сестричке; потом он принялся уверять, что у нее пятно на лбу и в качестве доказательства ткнул в это место своим закопченным пальцем. Отец же с готовностью протянул ей карманное зеркальце: не веришь? на, убедись.

Как же хорошо им было втроем, никто не сердился друг на друга за эти невинные шутки; когда Синеглазка ушла, оба они почувствовали сожаление.

Вечером заморосил мелкий дождь — самая погода для рыбалки; Оливер собрался в море. Абель, договорившись заранее купить у него весь улов, попросил его подвесить связку рыбы на дверях кухни в доме инженера.

— Сколько я буду тебе должен? — спросил он.

— Нисколько, — отвечал отец.

— Ага, ясно, ты, верно, думаешь, что если постучишь к инженеру со своей связкой, то больше получишь, — улыбнулся Абель. — Как бы там ни было, ничего не желаю слушать, — продолжал он. — Вот тебе две кроны, а на большее не рассчитывай!

Оливер плывал недолго; порыбачив часа два, он погреб к берегу; погода как раз прояснилась. Нанизав рыбу на веревку — получилась приличная связка, — он похромал в город. Надо сказать, Абель с самого начала догадался, кому достанется эта рыба. Миновав дом инженера, Оливер подошел к большому каменному зданию с колоннами и остановился у дверей кухни. Да-да, он шел к старшему сыну, директору школы. Кто посмеет его осудить — все ж таки родная кровь, что бы там ни говорили. Поплевав на единственный сапог, он тщательно вытер его, так что на какое-то время он даже заблестел как новый, деревяшка же, слава богу, в этом не нуждалась. Проделав все это, Оливер осторожно постучал.

На кухне была одна служанка; она пошла позвать хозяйку. Наконец появилась и сама Констанс-С-Верфи, талия у нее располнела — она ждала ребенка. Оливер, человек воспитанный, снял шляпу и молча протянул ей рыбу, однако приняла ее не госпожа, а служанка. Невестка держалась запросто, даже поблагодарила, однако стула ему предлагать не стала.

— Да, жаль, что мы уже пообедали, а то можно было бы ее приготовить, — сказала она, чтобы хоть что-то сказать.

Оливер, даром, что он не из важных господ, напустил на себя самый любезный вид и пообещал, что в следующий раз сделает все возможное, чтобы поспеть вовремя. Нет-нет, заторопилась невестка, он не понял, им вовсе не нужна его рыба, не стоит себя утруждать, ведь ему, хромоту, это, наверное, так сложно, ну и все такое. Слушая всю эту чепуху, Оливер не удержался и презри-

тельно хмыкнул, правда, совсем тихо и незаметно, и даже сделал протестующий жест рукой: да вовсе ему не трудно, он обязательно придет, тем более что и хромать он уже почти перестал.

— Я же ясно сказала — не надо! — упрямо повторила она. — Да и мужу, уверена, это совсем не понравится, — привела она последний аргумент.

Но Оливер, казалось, ничего не понимал и продолжал шумно настаивать на своем. Видя, что он вовсе разошелся и унять его теперь непросто, Констанс спросила служанку о какой-то мелочи и, выслушав ее ответ, резко повернулась и скрылась в комнате. Оливер подумал, что она сейчас снова выйдет и вынесет ему какое-нибудь угощение, возможно, кусок пирога, или же подарит что-то на память, поэтому он попытался заговорить со служанкой — в самом деле, уйти сейчас, не дождавшись невестки, было бы просто невежливо. Но и служанка отвечала ему весьма неохотно. Вглядевшись хорошенько, Оливер узнал в ней ту самую грудастую девицу из танцзала, которую он угощал конфетами. Разумеется, он ни словом не обмолвился с ней о том веселом вечере, нет, здесь, в этом доме, Оливер вел себя как пай-мальчик. Осмотревшись по сторонам, он похвалил:

— Хорошая кухня, уютная, ничего не скажешь!

— Да, ничего себе, — согласилась девушка.

— А что, сам директор школы дома? — осведомился

Оливер.

— Дома, где ж ему быть.

— Что же он делает, верно, читает?

Об этом она не имела ни малейшего представления — что у нее, своих дел нет, что ли? Оливер постоял и подождал еще какое-то время — невестка все не появлялась. Тогда он вежливо попрощался и ушел.

А что, собственно, такого? Ничего страшного не случилось, Оливер даже доволен, как-никак денежки за рыбу получил. Да и вообще он не привык задумываться. Если бы сейчас кто-нибудь предложил ему умереть, Оливер взглянул бы на него с удивлением, — зачем? Ведь жизнь, по его мнению, совсем даже не плохая штука. А у него, так и подавно, не каждый похвастается такой жизнью, как у него. Крыша над головой есть, сыт, обут, одет, в кармане — две кроны, жена и дети тоже имеются — и какие дети! Нет, грех жаловаться, он скроен из прочного материала.

Он заковылял к дому. Ну да — инвалид, ну да — не все с ним в порядке или, как еще выражаются, неполноценный! А кто, скажите на милость, полноценный? Да, он яркое олицетворение жизни в городе; как и он, жизнь медленно ползет вперед, ну так что ж, быть может как раз в этом и заключается высший ее смысл. День за днем она начинается утром и движется к вечеру, потом все ложатся спать. Некоторые — под брезент...

Большое ли, малое, зуб ли выпадет изо рта, умрет ли человек, воробей ли свалится на землю...



КОММЕНТАРИИ

В четвертый том Собрания сочинений Кнута Гамсуна включены прозаические произведения второй половины 1910-х годов, отразившие его напряженные и мучительные раздумья о судьбах норвежского крестьянства, духовности, подлинных и мнимых жизненных ценностях. «Я вышел из крестьян, и корни мои в земле, в крестьянском труде» — слова Гамсуна, ставшие его художническим кредо в этот период. После смерти Бьёрнсона, последовавшей в 1910 году, Гамсун заявил о себе как о продолжателе его дела, как о духовном вожде крестьянского движения в Норвегии. Трудиться на своей земле, участвуя в естественном круговороте бытия и не ставя никаких искусственных преград между ним и собою, — вот высшее предназначение и смысл жизни человека. Эта мысль красной нитью проходит через публицистику и художественные произведения писателя. Наиболее ярко она воплощена в романе «Плоды земли» (1917). За этот роман, явившийся мощным гимном плодородию, земле, ее жизненной силе, Гамсун в 1920 году был удостоен Нобелевской премии.

ПЛОДЫ ЗЕМЛИ

К работе над романом Гамсун приступил летом 1916 года, в разгар кровавых событий первой мировой войны, убедивших его в бесчеловечном характере индустриальной цивилизации. В «Плодах земли» он решил противопоставить ей свою мечту об идеальном крестьянском обществе, сильном и жизнестойком, уверенном в своем будущем. Замысел романа в значительной степени основывался на реальных фактах норвежской истории. В период первой мировой войны и после нее в стране осваивалось много новых земель. Эту тенденцию

времени Гамсун художественно переосмыслил и выразил в романе, воплотив ее в судьбе своего легендарного героя, Исаака из Селланро, плоть от плоти норвежской земли. Подобно сказочному богатырю, он превращает дикий лесной край в плодородную ниву. Косвенную характеристику герою романа дает другой персонаж, ленсман Гейслер, по словам которого Норвегии для процветания надо бы «иметь тридцать две тысячи таких молодых».

«Плоды земли» — программное произведение Гамсуна с явно ощутимой морализирующей тенденцией. В образе Исаака из Селланро воплощен идеал норвежского крестьянина-труженика, свободного и независимого, неразрывно связанного с родной землей. В то же время он фигура символическая, как и другие персонажи романа, плод авторской фантазии. Триумф его крестьянского труда противопоставлен краху начинаний других героев, занявшихся торговлей, горным делом и т. п. Младший сын Исаака Сиверт пошел по стопам отца, и ему сопутствует успех. Старший сын Элесеус оторвался от родной почвы и поселился в городе. Его вина, в глазах писателя, в том, что он не удовлетворен своей крестьянской жизнью. В конце концов он вынужден уехать в Америку, и след его теряется. Жена Исаака Ингер, проведя шесть лет в исправительном доме и приобщившись к городским нравам, только после возвращения в Селланро вновь обретает душевный покой. Не случайно Гейслер, в уста которого Гамсун вкладывает свои сокровенные мысли, так восхищается трудолюбием Исаака и, предостерегая его от земельных спекуляций, просит лишь об одном: продолжать возделывать свою землю.

Программа жизнеустройства, предложенная Гамсуном в романе, — призыв вернуться назад, к традициям патриархального норвежского крестьянства, консервативная утопия, игнорирующая реальный процесс исторического развития Норвегии. Значение книги, однако, в другом. Роман увидел свет в декабре 1917 года, в разгар мировой войны, и прозвучал как мощный призыв к миру, к мирному созидательному труду. В разрушенной, разоренной войной Европе он был с восторгом встречен читателями.

Высокую оценку «Плоды земли» получили в России. М. Горький в письме Гамсуну 24 января 1923 года назвал новую книгу норвежского писателя «удивительно своеобразной», «эпической идиллией». «Я человек страны, где литература о мужике, мужицкой жизни разработана больше, чем в какой-либо другой стране Европы, — писал Горький. — Труд хвалебно воспевал Лев Толстой и десятки русских литераторов, поляк Реймонт написал

огромный роман-эпопею «Год», посвященный деревне и мужику, но все это и многое другое уступает прекрасной и мощной Вашей поэме»¹.

Стр. 39. ...*назначу за все про все сто далеров.*— Далер— норвежская серебряная монета, замененная в 1875 г. кроной (из расчета 1 далер—4 кроны).

Стр. 42. ...*один орт, а это было совсем не мало.*— Орт— старинная мелкая монета.

Стр. 43. *Фогт*— в Норвегии до конца XIX в. судейский и податный чиновник.

Стр. 112. ...*как Израиль, например,— взысканный и обману-тый, но все же верующий.*— Израиль в ветхозаветном предании патриарх, сын Исаака и Ревекки. Живя у своего дяди Лавана, полюбил младшую его дочь красавицу Рахиль и отслужил за нее семь лет. Но Лаван обманом дал ему в жены Лию, свою старшую дочь. Чтобы получить в жены Рахиль, Израиль должен был отслужить дяде еще семь лет.

Стр. 118. ...*явились члены Армии Спасения.*— Армия Спасения— международная христианская организация, возникшая в 1865 г. в Англии. Позднее распространила свою деятельность в других странах, в том числе и в Норвегии. Занимается вопросами нравственного воспитания и благотворительностью.

Стр. 122. *Святой Олаф*— имеется в виду норвежский король Олаф II (ок. 995—1030), завершивший введение христианства в Норвегии.

Стр. 135. *Семнадцатое мая*— национальный праздник Норвегии, День конституции, принятой 17 мая 1814 г.

Стр. 140. *Епитимья*— нравственно-исправительная мера в православии и католицизме, налагаемая в качестве наказания на мирян, иноков и пастырей за греховные мысли и поведение.

Стр. 142. *Лютер чуть не убил его однажды.*— Лютер Мартин (1483—1546)— деятель Реформации в Германии, основатель направления протестантизма-лютеранства. Перевел на немецкий язык Библию, утвердив нормы общенемецкого литературного языка.

Стр. 154. *Маркграф*— правитель пограничного округа— марки во Франкском государстве в VIII—IX вв. В средние века— владетели феодальных княжеств.

¹ Переписка А. М. Горького с зарубежными литераторами. М., 1960, с. 286.

Стр. 185. ...предстал бы правым и богатым пред Агнцем и Престолом...—Выражение «Агнец Божий» в христианстве употребляется для обозначения Иисуса Христа, своей смертью искупившего грехи людей. Престол—четырёхугольный стол посредине алтаря в католическом и православном храме, на котором освящаются хлеб и вино для причастия.

Стр. 213. ...когда ангелы трубили в трубы на Иерихонских стенах.—Иерихон—город в Палестине (VII—II тыс. до н. э.). В конце II тыс. до н. э. был разрушен еврейскими племенами. По библейскому преданию стены Иерихона рухнули от звуков труб завоевателей (Иис. Н., 6; 19).

Стр. 258. ...незамужнюю мать следует освободить от наказания даже за убийство своего ребенка.—Позиция Гамсуна в этом вопросе явно противоположна и вызвана резким несоответствием, на его взгляд, характера преступления и меры наказания, применявшегося в норвежской судебной практике. «Матери, убивающие своих детей, недостойны жить»,—писал Гамсун в статье «Ребенок» (1915), написанной как отклик на судебный процесс в Осло, в результате которого молодая работница за убийство своего новорожденного ребенка была осуждена всего на 8 месяцев тюремного заключения.

Стр. 262. Эразм Роттердамский Дезидерий (1469—1536)—гуманист эпохи Возрождения, филолог, писатель.

Стр. 263. Леонардо да Винчи (1452—1519)—итальянский живописец, скульптор, архитектор, ученый, инженер.

Стр. 278. ...содомские грехи...—По названию города Содом, жители которого, погрязшие в распутстве, были испепелены огнем, посланным с небес.

Стр. 283. ...вино знал по браку в Кане Галилейской.—Намек на библейское предание о «первом чуде» Иисуса, превратившего воду в вино во время брачного пира в Кане Галилейской (Еванг. от Иоанна, 2; I—II).

Стр. 329. Благовещенье—христианский праздник, в основе которого лежит христианский миф о том, что посланец Бога—архангел Гавриил явился избраннице Божьей Марии и возвестил о ее непорочном зачатии от Духа Святого и рождении Иисуса Христа.

ЖЕНЩИНЫ У КОЛОДЦА

Роман «Женщины у колодца» был написан в 1920 году. В нем Гамсун снова высказал свое негативное отношение к «механической цивилизации», изобразив жестокий антигуманный

мир обитателей небольшого провинциального городка. В этом «буржуазном обществе в миниатюре», возникшем в процессе материального, индустриального развития Норвегии, мелкие преступления, сплетни и разврат уже давно стали привычной нормой. В подобном ключе тема провинциальной жизни впервые прозвучала в рассказе Гамсуна «Жизнь маленького городка» (1903), главное действующее лицо которого, городской гуляка по имени План, на страницах романа появляется в несколько измененном виде под именем Оливера Андерсена. Это бесполое, хитрое и преступное существо отличается удивительная способность выживания, однако гармоничные отношения с окружающим миром ему недоступны. Образ Оливера Андерсена приобретает в романе особое значение. По замыслу писателя, он призван символизировать неспособность современного «городского человека» жить естественной полнокровной жизнью, поэтический образ которой с редкой художественной силой запечатлен в романе «Плоды земли».

Стр. 334. *...когда... стал консулом...*— Консул — должностное лицо, назначаемое городским советом.

Стр. 401. *...моим детям не досталась судьба сыновей Гёте.*— Неточность: у Гёте был только один сын — Август. Как это часто бывает с детьми великих людей, он не унаследовал талантов своего отца.

Стр. 408. *Ганнибал* (247 или 246—183 гг. до н. э.) — карфагенский полководец. С 221 г. — главнокомандующий карфагенскими войсками в Испании. В ходе 2-й Пунической войны (218—201 гг. до н. э.) совершил переход через Альпы. В 202 г. до н. э. при Зиме (Северная Африка) был побежден римлянами.

Александр. — Имеется в виду Александр Македонский (356—323 гг. до н. э.) — царь Македонии с 336 г. до н. э. Сын царя Филиппа II, воспитывался Аристотелем. Один из великих античных полководцев. Победив персов, вторгся в Среднюю Азию (329 г. до н. э.), завоевал земли до реки Инд, создав крупнейшую мировую монархию древности.

Стр. 418. *...Иосиф, который стал большим человеком при дворе египетского фараона.* — Иосиф Прекрасный, младший из одиннадцати сыновей Иакова и Рахили. Согласно библейскому повествованию, был продан братьями в рабство и после долгих злоключений стал фактическим правителем Египта.

Стр. 428. *...ему разрешили поскорее конфирмоваться...* — Конфирмация — у католиков и протестантов обряд приема в цер-

ковную общину подростков, достигших определенного возраста.

Стр. 434. *Стортинг* — название парламента в Норвегии.

Стр. 436. ...*храня... даты Пунических войн...*— Пунические войны — войны между Римом и Карфагеном за господство в Средиземноморье (1-я — 264—241 гг. до н. э.; 2-я — 218—201 гг. до н. э.; 3-я — 149—146 гг. до н. э.).

Стр. 449. *Помните прутья Иакова? В Библии есть какая-то история про белые и черные прутья...*— «И взял Иаков свежих прутьев тополевых, миндальных и яворовых, и вырезал на них белые полосы, сняв кору до белизны, которая на прутьях... И зачинал скот перед прутьями, и рождался скот пестрый, и с крапинками, и с пятнами» (Быт., 30, 37—39).

Стр. 454. ...*рассказывал о своего рода золотой арфе...*— Эолова арфа — музыкальный инструмент, названный по имени бога ветров Эола. Известен с X в. Струны золотой арфы приводятся в движение колебаниями воздуха.

Стр. 462. ...*не был Никодимом, который ночью пришел к Учителю...*— Никодим — тайный ученик Иисуса Христа из числа фарисеев, который приходил учиться у него и участвовал в снятии с креста и положении во гроб его тела.

Стр. 469. ...*отвечает цитатами: «Женись, и ты в этом расквешься! Но женитьба — все равно что смерть: никому ее не миновать».*— Очевидно, вольно цитируемый афоризм датского философа Сёрена Киркегора: «Женись, и ты расквешься в этом, не женись — тоже расквешься; женись или не женись — ты все равно расквешься...» («Или — Или», 1848).

Стр. 481. ...*групповой снимок членов стортинга созыва 1884 года...*— 24 июня 1884 г. в Норвегии было создано первое правительство партии «Венстре», опиравшееся на либерально-демократическое большинство депутатов. Наиболее видным идеологом партии был Б. Бьёрнсон, представлявший интересы крестьянской демократии.

Стр. 504. *«Последние станут первыми»* — неточная цитата из Евангелия от Матфея: «Многие же будут первые последними, и последние первыми» (19, 30).

Стр. 553. *Вы учились когда-нибудь в высшей народной школе?*— Высшая народная школа, учебное заведение для взрослых. Основана в середине XIX в. в Дании в результате реформаторской деятельности Н. Ф. С. Грундтвига (1783—1872), считавшего, что народ должен обладать необходимыми познаниями в области национальной истории, языка и литературы. В Норвегии, по примеру Дании, первые народные школы возникли в 1864 г.

Стр. 554. *Моисей и пророки...* — Моисей, в преданиях иудаизма и христианства, первый пророк бога Яхве и основатель его религии, религиозный наставник и политический вождь еврейских племен во второй половине II тыс. до н. э. Пророки — ветхозаветные прорицатели и проповедники.

Стр. 589. *...стал кавалером ордена Даннеброга.* — Орден Даннеброга учрежден в 1671 г. королем Дании и Норвегии Кристианом V (1670—1699) и вручается за особые заслуги перед государством.

Стр. 605. *«Корневильские колокола»* — оперетта французского композитора Р. Планкетта (1848—1903), поставленная 19 апреля 1877 г. в Париже и в том же году в Копенгагене.

Стр. 619. *Пастер Луи* (1822—1895) — французский ученый, основоположник современной микробиологии и иммунологии.

А. Сергеев



СОДЕРЖАНИЕ

ПЛОДЫ ЗЕМЛИ. Роман. <i>Перевод под редакцией Н. Федоровой</i>	7
ЖЕНЩИНЫ У КОЛОДЦА. Роман. <i>Перевод С. Белокриницкой (с. 333—510) и О. Рождественского (с. 510—726)</i>	333
Комментарии <i>А. Сергеева</i>	727

Гамсун К.

Г18 **Собрание сочинений. В 6 т. Т. 4. Плоды земли; Женщины у колодца: Романы: Пер. с норв./Редкол.: М. Климова, А. Сергеев, Ю. Яхнина; Сост. Ю. Яхниной; Коммент. А. Сергеева.—М.: Худож. лит., 1996.— 734 с.**

ISBN 5-280-02133-4 (Т. 4)

ISBN 5-280-01700-0

В четвертый том шеститомного Собрания сочинений Кнута Гамсуна (1859—1952) входят романы «Плоды земли» (1917) и «Женщины у колодца» (1920). За роман «Плоды земли» писатель в 1920 г. был удостоен Нобелевской премии.

ББК 84(4Нр)

КНУТ ГАМСУН
Собрание сочинений
в 6-ти томах
Том 4

Зав. редакцией М. Климова
Редактор Э. Шахова
Художественный редактор Л. Калитовская
Технический редактор Л. Сеницына
Корректор И. Лебедева

Изд. лиц. № 010153 от 27.12.91. Сдано в набор 6.07.95. Подписано к печати 19.03.96. Формат 84×108^{1/32}. Бумага тип. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 38,64+альб.=39,48. Усл. кр.-отг. 42,0. Уч.-изд. л. 44,39+альб.=45,2. Тираж 20 000 экз. Заказ № 1796. «С»—291

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера». 163002, Архангельск, Новгородский пр., 32

